

Семь искусств 1/2016



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

1/2016

Журнал

**«Семь искусств»
№ 1 (70) 2016**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2020

Журнал «Семь искусств» № 1 (70) /2016 — Ганновер:
Семь искусств. 2020. — 370 с., 24,5 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2020

Оглавление

<i>Евгений Беркович</i> Физики и время. Портреты ученых в контексте истории	5
<i>Владимир Тёмный</i> Как С.И. Вавилов мог стать президентом Академии наук СССР после осуждения и гибели в тюрьме родного брата? Версия	23
<i>Оскар Шейнин</i> Эконометрика. Несколько основополагающих статей	33
<i>Василий Демидович</i> Интервью с Предрагом Обрадовичем	52
<i>Эдуард Бормашенко</i> Мера человеческого. Часть I	59
<i>Алексей Курилко</i> В долгу перед самим собой	62
<i>Анатолий Добрович</i> Образ мира, в слове явленный	79
<i>Леонид Гиршович</i> Если б гармошка умела...	84
<i>Владимир Аникин</i> Семен Португейс – как советолог и системный «могильщик» большевизма. К 135-летию со дня рождения С.О. Португейса	87
<i>Павел Нерлер, Александр Дунаевский</i> Нотография: музыкальные сочинения на стихи Осипа Манделъштама	101
<i>Сергей Колмановский</i> Пока я помню...	133
<i>Борис Родоман</i> Мое происхождение	154
<i>Владимир Бабицкий</i> Отблески минувших встреч	162
<i>Дмитрий Бобышев</i> Я здесь (человекотекст). Трилогия. Книга вторая. Автопортрет в лицах	175
<i>Андрей Алексеев, Анатолий Марасов</i> Человек на все времена	200
<i>Лариса Миллер</i> Новые стихи ноября-декабря 2015 года	242
<i>Сергей Носов</i> Из стихов 2015 года	249
<i>Мишель Деца</i> Чёрные лебеди	254
<i>Александр Бирштейн</i> Неправильные стихи	262

<i>Юрий Кудлач</i>	
Балерина	265
<i>Анна Наталия Малаховская</i>	
Откуда взялась тьма. Повесть	270
<i>Юрий Котлер</i>	
Он, Она... они, или блюз "Воспоминание о качелях"	
Драма в трёх действиях	298
<i>Владимир Плетинский</i>	
Шесть ступеней вверх	
Предисловие составителя к сборнику интервью Евгения Берковича	327
<i>Владимир Каганов</i>	
Трансфер из Реховота в Одессу	330
<i>Виктор Каган</i>	
Времена не выбирают...	
Лев Бердников – Евреи в царской России: сыны или пасынки?	335
<i>Александр Левинтов</i>	
Две прогулки по Москве	342
<i>Алла Дубровская</i>	
Хроники Уолл-стрига. Хроника первая. Шериф Уолл-стрит	347
<i>Игорь Ефимов</i>	
Закат Америки. Саркома благих намерений	362

Евгений Беркович

ФИЗИКИ И ВРЕМЯ

Портреты ученых в контексте истории

(продолжение. Начало в № 11/2013 и сл.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Расцвет и закат Гёттингена

Чудесное назначение

Гёттингенский университет, открытый в 1737 году, не раз оказывался в числе мировых лидеров в области физико-математических исследований. Достаточно вспомнить первую половину XIX века, когда в этом небольшом провинциальном городке на юге Нижней Саксонии жил и творил «король математиков» Карл Фридрих Гаусс (Carl Friedrich Gauß, 1777-1855).

Снова в научном мире о Гёттингене заговорили в конце XIX – начале XX веков, когда в университете собралась сильная команда математиков – Феликс Клейн (Felix Klein; 1849-1925), Давид Гильберт, Герман Минковский (Hermann Minkowski; 1864-1909). Руководство физико-математической школой Гёттингена взял на себя Клейн, сумевший заинтересовать университетскими научными исследованиями ряд крупных промышленников и финансистов. Кроме того, неоценимую помощь Клейну оказало Прусское министерство науки, искусства и народного образования в лице куратора университетов Фридриха Альтхоффа (Friedrich Althoff, 1839-1908). В результате университет расширился как за счет строительства новых зданий, так и за счет привлечения выдающихся ученых, физиков и математиков. В 1909 году от осложнения аппендицита внезапно умирает Герман Минковский, ему на смену в Гёттинген призывается Эдмунд Ландау (Edmund Landau, 1877-1938). Кроме него, профессорские кафедры занимают Карл Шварцшильд (Karl Schwarzschild, 1873-1916), Людвиг Прандтль (Ludwig Prandtl, 1875-1953), Феликс Бернштейн, Карл Рунге (Carl Runge, 1856-1927)...

Эта славная плеяда ученых вырастила себе достойную смену, и в двадцатых годах двадцатого века в Гёттингене собрались люди, способные развивать революционные преобразования в физике, начатые в начале века Планком и Эйнштейном и продолженные во втором десятилетии Бором и Резерфордом. Именно в этом университетском центре создавалась новая наука – квантовая механика, ставшая со временем основой наших знаний о микромире. Новой наукой занимались ученые и в Копенгагене у Бора, и в Мюнхене у Зоммерфельда (Arnold Sommerfeld; 1868-1951). Но и на этом фоне Гёттинген выделялся полученными результатами. В центре гёттингенского физического сообщества стоял, без сомнений, Макс Борн.

Макс начал свое студенчество в Гёттингене в 1904 году. До этого он шесть семестров провел в университетах Бреслау, Цюриха и Гейдельберга. В 1906 году университетское образование завершилось защитой докторской диссертации по прикладной математике, после чего Макс вернулся в родной Бреслау.

Вторично Макс попал в Гёттинген в 1908 году, когда Минковский пригласил Борна поработать его личным ассистентом. Сотрудничество было плодотворным, но недолгим – знаменитый математик, создавший математический базис для теории относительности Эйнштейна, скоропостижно скончался в январе 1909 года. Вторую докторскую диссертацию Борн защитил в том же году и оставался приват-доцентом гёттингенского университета, пока его в 1914 году не пригласили экстраординарным профессором в Берлин.

С 1918 года Макс Борн – полный профессор теоретической физики в университете Франкфурга-на-Майне. В апреле 1920 года он получил заманчивое предложение занять профессорскую кафедру в Гёттингене, снова вернуться в свою альма-матер.

Без помощи Борна Джеймс Франк вряд ли стал бы директором Физического института и профессором Гёттингенского университета. Чтобы оценить уникальность этого назначения, нужно представлять себе наличие должностей профессор-физиков на философском факультете университета.

В начале XX века в Гёттингене существовали две кафедры физики, условно называвшиеся кафедрами теоретической и экспериментальной физики. Первую из них возглавлял профессор Вольдемар Фойт (Woldemar Voigt, 1850-1919), руководитель второй диссертации Макса Борна. Во главе второй кафедры стоял профессор Эдуард Рике.

После окончания строительства нового здания физического института в 1905 году было решено создать третью профессорскую должность и пригласить в Гёттинген молодого, но уже знаменитого физика-теоретика Петера Дебая (Peter Joseph Wilhelm Debye, 1884-1966), завоевавшего себе имя работами по дифракции рентгеновских лучей.

После смерти Рике в 1915 году на его место, правда, в должности экстраординарного профессора, был принят Роберт Поль, товарищ Борна и Франка еще со времен учебы в Гейдельбергском университете. Поль поселился в самом здании Физического института (его квартира была на последнем этаже под крышей) и взял на себя чтение лекций по экспериментальной физике. Необходимые приборы для демонстрации опытов Поль приобрел за свой счет. Его лекции пользовались большой популярностью, их посещали не только будущие физики, но и химики, биологи, врачи... Преподавателем Поль был строгим, лекции начинались в семь часов утра (зимой – в восемь), опоздавших в аудиторию не пускали.

В 1920 году Петер Дебай принял предложение стать профессором в Цюрихе, и его место в Гёттингене освободилось. При выборе нового места работы Дебай, несомненно, учитывал, что условия жизни в богатой Швейцарии несравненно лучше, чем в разоренной войной Германии. Как преемника Дебая Гёттингенский университет и предложил назначить Макса Борна ^[1].

Стандартная процедура назначения на освободившееся или вновь созданное место профессора состоит в следующем: факультет составляет список из трех претендентов на эту должность, а министерство утверждает одну из трех кандидатур. Если министерство не устраивает ни один претендент, то факультету предлагается составить новый список, и процедура повторяется.

В апреле 1920 года Борн получил письмо из Прусского министерства образования и культуры о том, что предложение философского факультета Гёттингенского университета назначить Борна профессором теоретической физики вместо Дебая министром принято [Lemmerich, 1982 стр. 51].

Это предложение имело свои плюсы и минусы. Борн не сразу его принял. Еще до решения министерства Макс попробовал спросить совета у друга Альберта Эйнштейна. Мудрый отец теории относительности ответил осторожно. В письме от 3 марта 1920 года он пишет:

«Дорогой Борн, здесь трудно советовать. Теоретическая физика будет процветать там, где будете Вы, так как второго Борна в Германии больше нет. Итак, спросите себя самого, где Вам будет приятнее. Если я себя на Ваше место ставлю, то я бы лучше остался во Франкфурте. Ибо мне было бы непереносимо оказаться в узком кругу надутых и большей частью черствых (и узкомыслящих) ученых (никаких других отношений). Подумайте о том, как Гильберт восстал против этого общества. И еще вот о чем стоит подумать. Если Максу приспичит что-то дополнительно заработать, что при наших нестабильных отношениях вполне может произойти, то для этого будет несравненно лучше жить именно во Франкфурте, чем в Гёттингене. С другой стороны, жизнь в Гёттингене для хозяйки дома несравненно приятнее, чем во Франкфурте, также и для детей это лучше; но тут я не берусь судить, так как я франкфуртские отношения недостаточно хорошо знаю» [Einstein-Born, 1969 стр. 48].

Гёттинген, как и Гейдельберг, - классический университетский городок. Небольшой, в те годы около сорока тысяч жителей, он располагается в живописной лесистой местности неподалеку от холмов и гор Гарца. Политические передрыги в послевоенной Германии пощадил этот регион. Деревенское окружение обеспечивало Гёттингену значительно более сытную и здоровую жизнь, чем в больших городах типа Франкфурга или Берлина. Промышленность в Гёттингене была представлена небольшими фирмами и мастерскими, изготавливавшими различные аппараты для научных лабораторий.

При всех преимуществах жизни и работы в Гёттингене было одно обстоятельство, останавливающее Макса: его новая должность предполагала ответственность за физический практикум студентов, чем теоретик Борн страшно не хотел заниматься. Поэтому он поставил перед министерством условие своего назначения: вместе с ним философский факультет приглашает профессора Джеймса Франка, который возьмет на себя физпрактикум.

В министерстве это условие поначалу решительно отвергли: штатное расписание факультета на год уже утверждено и меняться не может, а в нем есть только два профессорских места: для Поля и Борна. Третье профессорское место, которое занимал скончавшийся в 1919 году Вольдемар Фойгт, исключалось из штатного расписания со смертью профессора.

Положение казалось безвыходным, и Борн поехал в Берлин, чтобы на месте обсудить проблему с министерскими чиновниками. Те охотно представили Максу все документы, касавшиеся штатного расписания. И тут настойчивость ученого была вознаграждена. Борн обнаружил, что какой-то министерский чиновник допустил ошибку: надпись «должность отменяется после смерти профессора» стояла не около позиции, которую занимал Фойгт, а около фамилии Поля. Но он-то был жив! Формально должность профессора Фойгта оставалась не занятой. И министерству ничего не оставалось, как согласиться с предложением Борна.

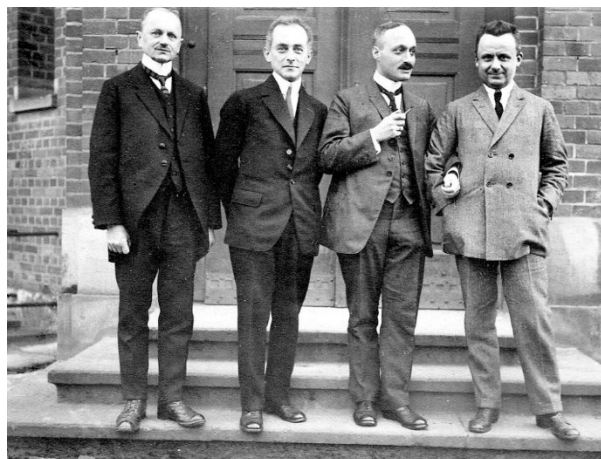
Факультет тоже поддержал идею пригласить ставшего уже известным физика-экспериментатора. С назначением Борна и Франка физическая школа Гёттингена становилась одной из сильнейших в мире. Было решено создать целых три

физического института. Первый институт экспериментальной физики возглавил Поль, директором Второго института экспериментальной физики становился Франк и, наконец, Борн получил Институт теоретической физики. Борн настоял, чтобы Поль тоже получил статус ординарного профессора.

Боровский фестиваль

Студенты, склонные к юмору, придумали шуточные прозвища, обыгрывающие фамилии их руководителей: «полированные» (Pohlierten – искаженное Polierten) для учеников Поля, «франкированные», т.е. оплаченные на почте (Frankierten – искаженное Frankierten) – для студентов Франка и «борнированные», т.е. тупые, ограниченные (Bornierten), – для обучающихся у Борна. По аналогии студенты, которые учились в Копенгагене у Нильса Бора, стали называться «упертыми», или «пробуренными» (Verbohrtен).

Через несколько лет в Гёттингене была в ходу поговорка, что ученики Франка любят своего руководителя, ученики Борна им восхищаются, а ученики Поля – уважают.



Макс Райх, Макс Борн, Джеймс Франк, Роберт Польш, 1923 г.

Франк охотно согласился переехать в Гёттинген, хотя его родители и сестра остались в Берлине. Как директор института и профессор он получил в Гёттингене значительно больше свободы для научной работы, а его жена и две дочери – более здоровую и спокойную жизнь. Научные контакты с берлинскими коллегами, как из института Общества кайзера Вильгельма, так и из Берлинского университета оставались тесными, поэтому его часто приглашали в столицу на разные научные мероприятия. Так что Джеймс виделся с родными часто.

Джеймс Франк официально назначен профессором Гёттингенского университета 15 ноября 1920 года, его преподавательская деятельность должна начаться с летнего семестра следующего года, годовой оклад определен в 15 300 марок [Lemmerich, 1982 стр. 52].

В анкете, заполненной Франком для канцелярии философского факультета в разделе «Ордена и знаки отличия» вписаны Железные кресты первого и второго классов, в разделе «Иностранные знаки отличия» указан гамбургский Ганзейский крест. В разделе «Прочие знаки отличия» Джеймс поставил прочерк. Через пару лет сюда можно будет вписать Нобелевскую медаль и многие другие почетные звания.

Кроме Франка на философском факультете Гёттингенского университета числилось еще двадцать четыре ординариуса. Они представляли широкий спектр знаний – от филологических наук и древней истории до ботаники и географии. Такая структура университета шла еще с античных времен и Средневековья, когда философский факультет объединял все «вспомогательные» дисциплины, нужные для главного, чему учили студентов: медицине, богословии и юриспруденции. В двадцатом веке такая структура университетов выглядела анахронизмом. На общем Ученом совете, объединившем все кафедры, было трудно решать конкретные вопросы о защите той или иной диссертации или о назначении на должности тех или иных кандидатов. По инициативе Давида Гильберта было решено выделить из философского факультета естественно-научный, куда вошли физические и математические кафедры.

Такие организационные преобразования не проходили гладко, вызывали множество внутренних конфликтов. Франк неизменно стоял в стороне от подобных ситуаций, он избегал лишних общественных нагрузок, отнимавших время от истинно научной работы. В отличие от многих профессоров, он никогда не претендовал на почетную должность декана или ректора. В договоре о приеме на работу Джеймс потребовал специально указать, что не участвует в вопросах взаимодействия факультета с внешними организациями, ограничиваясь только внутренними делами его института. Такое поведение позволило ему сохранить хорошие отношения с большинством коллег, с руководством факультета и университетским куратором юристом Теодором Валентинером.

Рабочая атмосфера, созданная Франком и Борном в их институтах, подкупала приезжих, ею гордились сотрудники университета. Казалось, что физические институты были местом жизни и работы одной большой семьи, где более опытные люди помогали своим юным коллегам советом, обсуждением и дискуссиями по главным проблемам, охотно делились своими знаниями и наработками. Улыбчивый, скромный и простой в общении, Джеймс Франк пользовался особой любовью коллег. Обычно он даже немного принижал себя. Тем не менее, к его мнению прислушивались многие коллеги, а его высказывания, начинавшиеся со слов «я бы сделал это так», воспринимались сотрудниками как приказ.

Руководитель большого института обычно не имеет времени обращать внимание на простых сотрудников. Не таков был Джеймс Франк. Даже спустя 25 лет после ухода из Гёттингена он интересовался жизнью лаборантов и техников, работавших в мастерской его института.

Франк мог навестить большого студента в больнице, вместе с Борном он серьезно занимался материальной помощью молодым ассистентам, трудоустройством выпускников университета, что в разоренной войной Германии было большой проблемой.

Дружба между Борном и Франком, начавшаяся со времен студенчества в Гейдельберге, с годами только крепла и дополнялась общими научными интересами. Надо сказать, что они принадлежали к абсолютно разным типам ученых. Макс постигал физическую проблему, когда мог построить адекватный ей математический

аппарат. Для Джеймса математика играла лишь вспомогательную роль, главным для него было понять физическую суть проблемы. Ученик Франка Герхард Ратенау вспоминал одно заседание совместного семинара Борна и Франка, когда обсуждалась какая-то физическая проблема. Франк довольно быстро нашел решение, опираясь на придуманную им модель. Борн, напротив, собрал бумаги и удалился в свою комнату, чтобы без помех провести математические расчеты, из которых должно следовать решение [Rathenaу, 1983 стр. 23].

За все двенадцать лет совместной работы в Гёттингене Франк и Борн опубликовали только три совместные статьи. Но это ничего не говорит об интенсивности их совместной научной работы. Они буквально ежедневно обсуждали каждую публикацию, выходящую из их круга, не было дня, чтобы Джеймс и Макс не беседовали о проблемах их науки. Борн жил немного дальше от университета, чем Франк, поэтому каждое утро директор Института теоретической физики заезжал за директором Второго института экспериментальной физики, и они оба на велосипедах следовали к месту работы, обмениваясь на ходу новостями и свежими идеями.

Стилем мышления и подходом к физическим задачам Франк был похож на Альберта Эйнштейна и Нильса Бора.

Не случайно еще до начала занятий со студентами Франк поехал в Копенгаген, чтобы лучше познакомиться с Бором, укрепить зародившиеся еще в Берлине дружеские отношения. Уезжал он со спокойной душой – его жене жизнь в Гёттингене нравилась, дети ни в чем не нуждались.

Поездка в Копенгаген выдалась насыщенной и плодотворной. Кроме интенсивных бесед с Бором, Джеймс доложил 24 февраля 1921 года Датскому обществу естествоиспытателей о своих опытах с Герцем по столкновению электронов. Об итогах поездки Франк написал своему коллеге Карлу Штилю:

«В Копенгагене все было, действительно, чудесно. Меня порадовал тот факт, что тамошние ученые придают большое значение связи с нами в Германии» [Lemmerich, 2007 стр. 90].

Чтобы в полной мере оценить радость, которую вызвал у Франка прием датчан, нужно помнить, что Германия после войны оказалась в научной и культурной изоляции от остального мира. Немецких ученых не приглашали на конгрессы и конференции. На первом Сольвеевском конгрессе в 1911 году, созванном бельгийским химиком и меценатом Эрнестом Сольвеем и посвященном теме «Излучения и кванты», от Германии присутствовали Эйнштейн, Нернст, Планк, Рубенс, Зоммерфельд, Варбург и Вилли Вин. Когда весной 1922 года в Брюсселе был созван третий Сольвеевский конгресс по теме «Атомы и электроны», ни Франк, ни Герц не были приглашены, несмотря на то, что их работы имели важнейшее значение именно в этой области. Альберт Эйнштейн, чья слава после экспериментального подтверждения в 1919 году выводов общей теории относительности стала истине всемирной, ездил в разные страны с научными и научно-популярными докладами. Подобные контакты помогали вернуть Германии облик нормальной страны и снять с нее научную блокаду. Этому же служил и доклад Франка в Копенгагене.

Во время пребывания в Дании Джеймс договорился с Бором, что тот придет в Гёттинген с докладами о последних достижениях атомной физики. Мнение Франка о датском физике как о выдающемся ученом только укрепилось. В письме Штилю недавно назначенный гёттингенский профессор отметил:

«Личные отношения с Бором не меньше, чем его работы, показывают, что Бор наряду с Эйнштейном и Резерфордом является крупнейшим из живущих физиков» [Lemmerich, 2007 стр. 90]

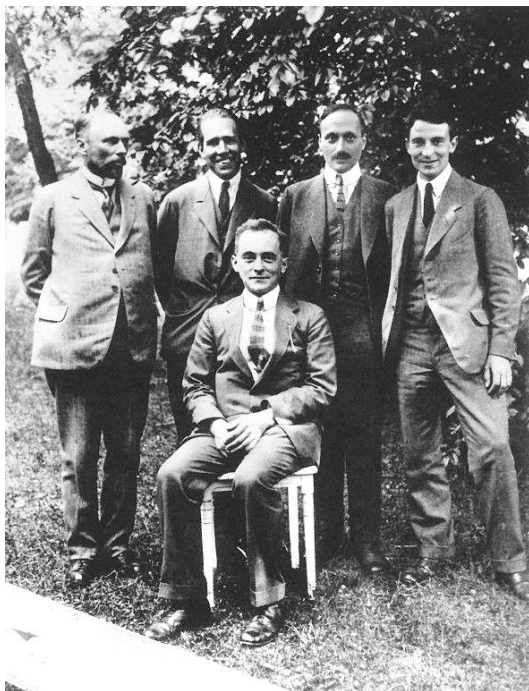
Вернувшись в Гёттинген, Франк снова погрузился в преподавательскую и исследовательскую работу. Практически ежедневно Борн и Франк обсуждали последние научные новости, делились соображениями, как решить ту или иную физическую проблему.

Это было время, когда физика вплотную подошла к изучению структуры атома, к исследованию тонких взаимодействий вещества и энергии. Рождалось новое научное направление – квантовая механика, а местом ее рождения стал небольшой университетский городок на юге Нижней Саксонии. У колыбели новой науки стояли многие физики, приезжавшие или работавшие в Гёттингене, но обстановку в этом центре, привлекавшую ученых со всего мира, создали два друга, два профессора, два директора физических институтов гёттингенского университета – Макс Борн и Джеймс Франк.

Существенную часть научной жизни Гёттингена составляли семинары. Борн и Франк вместе руководили семинаром по актуальным проблемам атомной физики. Частные семинары профессора устраивали у себя дома.

Обстановка в Гёттингене царила непринужденная, начинающие ученые на равных участвовали в обсуждениях с корифеями, профессора не стеснялись спрашивать мнение молодых коллег. Нередко Джеймс Франк, охваченный очередной идеей, ловил в коридоре Института теоретической физики какого-нибудь молодого человека и пытался его ввести в курс дела. Если этим молодым теоретиком оказывался не Гейзенберг и не Паули, то проблема обычно оказывалась слишком сложна для него, зато Франку после такой беседы многое становилось понятнее, а начинающий физик учился новым подходам к физическим загадкам.

Важнейшим этапом в становлении квантовой механики стали лекции Нильса Бора, которые он прочитал в Гёттингене летом 1922 года, выполняя обещание, данное год назад Джеймсу Франку. Впоследствии этот цикл лекций назовут «Боровским фестивалем» по аналогии с музыкальным «Генделевским фестивалем», ежегодно устраиваемым в Гёттингене с 1920 года. Послушать Бора съехались ведущие физики Европы. Из Мюнхена приехал Зоммерфельд, взяв с собой двадцатипятилетнего Вернера Гейзенберга, которого впоследствии назовут отцом квантовой механики. В то время Вернер еще не закончил обучение в Мюнхенском университете. Другой ученик Зоммерфельда – Вольфганг Паули – уже работал в Гёттингене ассистентом Борна. Будущий нобелевский лауреат Паули существенно обогатит квантовую механику, введя понятие спина электрона и сформулировав так называемый «принцип запрета». Паули известен острой критикой работ коллег, его называли «совестью физики». Из Швеции приехал Вильгельм Озеен, учившийся в свое время у Гильберта. К тому времени, когда Бор посетил Гёттинген, Озеен занял пост директора Нобелевского института теоретической физики в Стокгольме и смог в 1921 году выдвинуть Альберта Эйнштейна на нобелевскую премию по физике за работу о фотоэффекте. Предыдущие несколько десятков выдвижений ориентировались на теорию относительности и систематически отклонялись Нобелевским комитетом. Озеен нашел правильную формулировку, устроившую членов комитета, и Эйнштейн вместе с Нильсом Бором получил осенью 1922 года Нобелевскую премию по физике за 1921 год.



Карл Озеен, Нильс Бор, Джеймс Франк,
Оскар Клейн, Макс Борн (сидит)

Из Цюриха на лекции Бора прибыл Пауль Шерер, из голландского Лейдена – Пауль Эрэнфест. На лекции был приглашен известный издатель научной литературы Фердинанд Шпрингер, которого потрясла дружелюбная и творческая атмосфера, царившая в течение всех шести вечеров, когда выступал Нильс Бор.

Именно во время этих чтений Бор познакомился с Вернером Гейзенбергом, которого Зоммерфельд представил как молодого человека, имеющего обоснованные возражения к построениям Бора. Датчанин, который, как и Франк, обожал научные беседы и не очень любил лекции, совершал с юным физиком из Мюнхена длительные пешеходные прогулки в предгорьях Харца. Вряд ли тогда кто-то предвидел, что через три года Гейзенберг построит стройную научную теорию, которая включит в себя многие идеи Бора, высказанные им в Гёттингене.

Бор рассказывал слушателям, как, по его мнению, устроены молекулы и атомы, как от количества электронов на орбитах зависят свойства элементов периодической системы Менделеева. Среди прочего он предсказал открытие новых элементов, указав химикам направления поисков. Догадки Бора впоследствии блестяще подтвердились. Настоящей законченной теории строения атома еще не было, но идеи Бора выглядели многообещающими, хотя и непривычными.

Многие из пожилых слушателей «Боровского фестиваля» жаловались на плохой сон, обвиняя в этом крепкий кофе, который Бор привез с собой из Дании. Физик Фридрих Хунд полагал, что людей возбуждал не кофе, а необычность боровских идей [Lemmerich, 2007 стр. 98].

В день окончания лекций, 22 июня 1922 года, Нильса Бора от лица хозяев поблагодарил Давид Гильберт, отметив откровенность, с которой докладчик допустил слушателей до «*святая святых своей научной кухни*» [Lemmerich, 2007 стр. 98]. Великий математик воздал должное великому физико, показавшему, каких глубин может достичь человек в познании тайн природы.

После напряженных лекций Бор и Франк провели вместе три дня в маленьком курортном городке Бад Карлсхафен на реке Везер. Как раз во время этого отдыха Германию потрясла очередная трагедия: 24 июня был убит министр иностранных дел Вальтер Ратенау. Заголовки газет рисовали страшную картину происшедшего:

«Организованный заговор против государства.

Кто защитит республику?

Враг стоит справа» [Lemmerich, 2007 стр. 98-99].

Вальтер Ратенау, выдающийся предприниматель, политик и публицист, был застрелен членами правозкстремистской националистической организации «Консул». Год назад, в августе 1921 года, члены этой же организации застрелили министра финансов Веймарской республики Маттиаса Эрцбергера (Matthias Erzberger, 1875-1921).

День похорон Ратенау – 27 июня – был объявлен в Германии траурным днем. Националисты, противники Веймарской республики, наоборот, торжествовали. Нобелевский лауреат по физике Филипп Ленард, директор Физического института в Гейдельберге, объявил для своих сотрудников день 27 июня рабочим и отказался вывесить траурные флаги.

Члены «*Социалистической студенческой группы*» под руководством Карло Мирендорфа (Carlo Mierendorff, 1897-1943) вместе с рабочими, поддерживающими правительство, ворвались в здание института и арестовали профессора. Не помог даже приказ Ленарда поливать нападавших холодной водой из пожарного шланга со второго этажа: рабочие просто перекрыли воду во дворе института. Для нобелевского лауреата было немислимым унижением оказаться в кутузке даже на несколько часов. Ленард вспоминал потом, что рабочие предлагали бросить его в воды реки Неккар, так что инцидент мог закончиться еще одним политическим убийством. К счастью, директор института отделался слегка помятыми ребрами, из-за чего должен был провести несколько дней в постели [Schirmacher, 2010 стр. 255]. Однако моральная травма осталась на всю жизнь. Естественно, что университетский профессор считал виноватыми во всем евреев.

Несмотря на все политические скандалы и провокации, жизнь продолжалась, научная работа тоже. Вернувшись домой, Бор в письме от 15 июля 1922 года поблагодарил Франка за теплый прием:

«Все мое пребывание в Гёттингене стало для меня чудесным, живым, поучительным переживанием, и я не могу Вам сказать, каким счастьем было для меня ощущать дружбу, которую проявляли ко мне со всех сторон» [Lemmerich, 1982 стр. 63].

В зените славы

Франк довольно быстро стал своим человеком в Гёттингене. Дружеские отношения установились у него с Рихардом Курангом, возглавившим после Феликса и Клейна Институт математики. Немалую роль сыграла музыка – жена Рихарда Нина,

дочь профессора Рунге, великолепно играла на скрипке. Ей охотно аккомпанировала жена Джеймса, Ингрид, профессиональная пианистка. Дети тоже любили музицировать, и скоро образовался квартет, в котором участвовали обе дочери Франка.

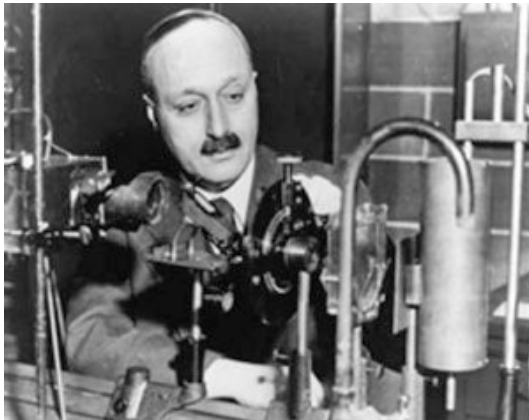
В большом доме Франков по выходным часто собирались гости, устраивались музыкальные вечера. Школьный друг Джеймса Филип Элькан приносил скрипку, ему аккомпанировала жена Франка. Иногда и Эйнштейн брал с собой инструмент, и нередко Нина Курант строго отчитывала его за огрехи в скрипичной технике [Lemmerich, 2007 стр. 110].

В воскресные дни устраивались велосипедные прогулки по окрестностям Гёттингена, а то и поездки на поезде в живописные городки по течению реки Везер. Зимой выбирались кататься на лыжах в расположенном неподалеку Гарце.

Но суть жизни в Гёттингене определяла, конечно, наука.

В конце 1922 года Джеймс должен был принять трудное решение: его пригласили стать профессором в Берлинском университете, в котором он когда-то начинал свою деятельность. В июле умер Генрих Рубенс, его бывший руководитель. Франк участвовал в траурной церемонии, держал речь у гроба.

В декабре Джеймс получил письмо от Макса Планка, в котором отмечалось, что речь произвела на слушателей впечатление не только глубоким научным содержанием, но и теплотой и сердечным отношением к покойному. Далее Планк ставил Франка в известность, что факультет включил его кандидатуру в тройку претендентов, одного из которых должно было выбрать прусское министерство. Со своей стороны признанный глава берлинской школы физиков заверил Джеймса, что не видит никого из более молодых коллег, кто был бы более Франка достоин стать преемником профессора Рубенса.



Джеймс Франк

В конце августа 1923 года из министерства пришло официальное предложение Франку занять профессорскую кафедру в университете Берлина и стать директором Физического института на Вильгельмштрассе.

Это здание Джеймс хорошо знал, ведь он там работал со студенческих лет. Постройке было уже полвека, и многое требовало ремонта и переделки. В условиях безумной инфляции и послевоенной разрухи найти средства для этого было нереально, что и подтвердило письмо из министерства от 1 сентября. Кроме того, в Гёт-

тингене у Франка сложилась уже своя школа, многие ученики и ассистенты ждали его помощи. К тому же семья чувствовала себя в этом провинциальном городке, расположенном в одном из красивейших мест Германии, легко и привольно.

Известие о возможном возвращении Франка в Берлин взволновало его коллег. По инициативе Макса Борна шестнадцать профессоров Гёттингенского университета подписали письмо Джеймсу, в котором говорилось:

«Значение и результативность нашего факультета в целом зависят от совместной работы индивидуальностей. Это сообщество понесло в последние годы большие потери. Ваш уход угрожает разрушить ту работу, которая здесь в это трудное и опасное время проводится при Вашем таком существенном участии» [Lemmerich, 1982 стр. 89].

Среди подписавших письмо были Давид Гильберт, Эдмунд Ландау, Рихард Куранг, Людвиг Прандтль и другие известные ученые.

Уникальной особенностью Гёттингена тех лет была свобода общения ученых друг с другом, независимо от ранга и научных регалий. Профессора и ассистенты, студенты и аспиранты, математики, физики-экспериментаторы и физики-теоретики, работавшие в Гёттингене и приехавшие со всего мира, обсуждали научные проблемы, обменивались информацией, критиковали новые работы и восхищались новыми результатами...

Научная жизнь в этом маленьком университетском центре на юге Нижней Саксонии кипела с утра до глубокой ночи, остряки называли поздние научные посиделки «маленькой ночной физикой» («Eine kleine Nachtphysik») по аналогии с «Маленькой ночной серенадой» («Eine kleine Nachtmusik») Вольфганга Амадея Моцарта. Здесь устанавливались научные контакты, завязывались знакомства, переходившие в дружбу и тесное сотрудничество. Гёттинген был уникальным научным центром, его атмосфера способствовала не просто успеху, а революционному прорыву в науке. Не случайно именно тут в те годы рождалась новая физика микромира.

Взвесив все «за» и «против», Джеймс отказался от заманчивой должности столичного профессора. В письме министру от 15 октября 1923 года он сообщал:

«Мне крайне жаль, что после того, как доставил Вам столько беспокойства, я вынужден сообщить Вам решение об отказе от берлинской кафедры. После моего возвращения из Берлина в Гёттинген я постоянно боролся с этим решением, отчего не знал покоя ни днем ни ночью. С одной стороны, я понимал, что предложенная должность – это большой почет, это знак Вашей и коллег любезности по отношению ко мне. Поэтому я чувствовал себя обязанным согласиться и принять предложение. С другой стороны, я видел день ото дня растущие трудности, с которыми бы встретились институт и особенно моя семья. В конце концов, я серьезно проверил себя, обладаю ли я нужными способностями, чтобы преодолеть все трудности, которые только сейчас мне стали по-настоящему ясны, и работать в этой должности так, как она при всей своей важности этого заслуживает. Я пришел к результату, что с чистой совестью не могу подвергать риску ни министерство, ни факультет, ни себя самого» [Lemmerich, 2007 стр. 105-106].

Отказ Франка переехать в столицу был встречен по-разному в Берлине и Гёттингене. Берлинские друзья и коллеги Джеймса, среди них Лиза Мейтнер и Фриц Габер, выражали свое горькое разочарование и сожаление.

В Гёттингене, напротив, встретили решение профессора с радостью и ликованием. Было устроено театральное представление, на котором показан гигантски увеличенный опыт Франка-Герца, при этом по-доброму высмеивался лекторский стиль Джеймса, который выступал перед студентами, немного волнуясь и нервничая [Lemmerich, 1982 стр. 83]. Как уже сказано, лекции были не в его вкусе. Читал он свой спецкурс по часу в неделю, всегда по четвергам после обеда. Ему куда больше нравились личные беседы и обсуждения.

Наиболее ценные контакты со студентами Франк устанавливал во время физического практикума, которым руководил. Дважды в неделю в сопровождении ассистентов профессор обходил лаборатории, в которых студенты учились ставить опыты. Он задавал вопросы, давал советы. Его искусство экспериментатора и физическая интуиция помогали молодым людям понять, что такое физика. Многие его ученики стали известными учеными не только в Германии, но и во многих странах мира.

Но и сам Джеймс немало получал от контактов с молодежью. Виктор Вайскопф, ставший потом известным физиком, директором Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), вспоминал свои студенческие годы в Гёттингене:

«Профессора нам часто помогали. Регулярно собирались мы в доме Борна, если позволяло его здоровье, велись также многочисленные дискуссии с Франком, который всегда любил поговорить с нами, юными теоретиками, чтобы показать, как иногда можно обойтись без сложной математики – и это оказывается даже лучше» [Lemmerich, 1982 S. 81].

И дальше Вайскопф поясняет, чем был замечателен прославленный университет в те годы:

«Самым интересным и увлекательным в Гёттингене было то, что всегда находились представители различных стилей мышления для занятий физикой. Борн воплощал математические установки – шел всегда от общего к частному. Франк олицетворял интуицию – он видел частное и понимал в нем общее» [Lemmerich, 1982 S. 81].

Не терял Франк и контактов с друзьями и коллегами из Берлина. Он был членом многочисленных комиссий и Ученых советов, в частности, Попечительского совета специальной обсерватории в Берлине, которая должна была подтвердить или опровергнуть общую теорию относительности Эйнштейна.

В 1923 году отмечалось десятилетие выдвинутой Нильсом Бором идеи о строении атома. Этой дате был посвящен специальный номер журнала «Естествознание» («Naturwissenschaft»). Для этого номера юбилейную статью о флуоресценции в газах Франк подготовил вместе с Петером Прингсхаймом [Franck, et al., 1923 S. 559-563].

Франк хорошо понимал, что гениальная гипотеза Бора открыла новую эру в физике атомов и молекул. С ее помощью можно исследовать бесчисленные явления микромира. Это и стало программой деятельности руководимого им института. Понимая огромность поставленной задачи, Франк добивался все новых сотрудников - ассистентов, аспирантов, гостей, участвовавших в проводимых институтом экспериментах.

От многих других профессоров Франк и Борн отличались тем, что их лекции и семинары посещало немало женщин. Для научного мира тех лет это было непривычно. Профессора-мужчины всячески препятствовали научному росту женщины-ученых, не допускали их к защите диссертаций, дающих право читать лекции студентам.

Давид Гильберт и Феликс Клейн долго и безуспешно пытались добиться, чтобы гениальной Эмми Нётер, создательнице современной алгебры, было разрешено защитить вторую докторскую диссертацию и стать приват-доцентом. Ученый совет философского факультета, состоявший, в основном, из гуманитариев и специалистов по сельскому хозяйству, географии и т.п., постоянно голосовал против. Главный аргумент состоял в том, что если женщине разрешить стать приват-доцентом, то она может получить звание профессора и даже стать членом сената университета. На что Гильберт ответил знаменитой фразой:

«Meine Herren, я не вижу, почему пол кандидата должен быть причиной против присуждения ему звания приват-доцента. В конце концов, ведь сенат – не бани» [Рид, 1977 стр. 188].

С похожей ситуацией в 1925 году столкнулся и Джеймс Франк, когда пытался добиться допуска его ассистентки Герты Шпонер (Hertha Spöner, 1895-1968) к защите второй докторской диссертации. Против этого решительно возражал Роберт Поль. Формальная претензия состояла в «недостаточной научной квалификации», фактически же Поль не хотел видеть женщин в профессорском кругу естественно-научного факультета. Не помогли давние дружеские отношения между Франком и Полем. После этого отношения между старыми друзьями надолго испортились.

Герта Шпонер получила стипендию от Рокфеллеровского фонда и провела год в США, где занималась вакуумной спектроскопией, вернулась в 1926 году в Гёттинген, написала монографию об этой новой области исследований. Впоследствии ей, как и другим ученым с еврейскими корнями, пришлось покинуть Германию. В эмиграции она стала второй женой Джеймса Франка.

Много сил отдал Франк, добываясь научного признания другой своей близкой подруги Лизы Мейтнер (Lise Meitner, 1878-1968). Здесь его усилия увенчались успехом: в 1926 году Лизу избрали членом-корреспондентом Гёттингенской академии наук. Она стала первой женщиной-физиком в стенах этой академии.

Надо сказать, что Рокфеллеровскому благотворительному фонду нравился стиль работы гёттингенских ученых, предполагающий тесное взаимодействие теоретиков, экспериментаторов и математиков. Поэтому фонд охотно финансировал и расширение физического и математического институтов, и заграничные стажировки их сотрудников. Для гёттингенского университета финансовая помощь фонда была настоящим спасением в те трудные и беспокойные годы.

Джеймс сам физические опыты уже не ставил, посвятив все силы координации и научному руководству работой сотрудников. Им была предоставлена большая свобода, но раз в неделю Франк обходил все лаборатории и обсуждал с каждым его успехи и неудачи. Советы и рекомендации Франк всегда давал в очень деликатной форме, в общении с коллегами вел себя как «первый среди равных», не выпячивая свои должности и научные заслуги. Всегда был готов выслушать возражения и критику. Несмотря на то, что почти в каждой работе его сотрудников был немалый вклад их руководителя, он редко становился соавтором опубликованных работ, исключая случаи, когда его участие было решающим.

Нильс Бор блестяще объяснил спектральный анализ простейшего из атомов – атома водорода. Попытки же проделать то же для более сложных атомов и, тем более, молекул, сталкивались с большими трудностями. Квантовая механика только рождалась, ее математический аппарат еще предстояло создать. Поэтому были так важны общие физические постулаты, позволявшие разобраться в сложных законах микромира. Один из таких постулатов сформулировал в 1925 году

Джеймс Франк. Сложными формулами он не пользовался, а оперировал вполне наглядными физическими моделями. Достаточно упрощенно утверждение Франка состоит в том, что электронные переходы в молекулах происходят очень быстро по сравнению с движением ядер, благодаря чему расстояние между ядрами и их скорости при электронном переходе не успевают измениться. В следующем году этот принцип с квантово-механических позиций обосновал американский физик Эдвард Кондон (Edward Uhler Condon, 1902-1974). В историю науки это утверждение вошло под названием «*принцип Франка-Кондона*».

Он стал одним из эффективных инструментов в руках исследователей микромира.

Надо сказать, что роль экспериментаторов уровня Джеймса Франка в становлении квантовой физики, как правило, недооценивается. Обычно рождение новой науки связывают с теоретиками – Вернером Гейзенбергом, Максом Борном, Паскуалем Йорданом и др. Однако отделить эксперимент от теории тут трудно. Не было бы открытия квантов Максом Планком без опытов Генриха Рубенса, не было бы открытия законов фотоэффекта Альбертом Эйнштейном без экспериментов Филиппа Ленарда. Специфика Гёттингена 20-х годов двадцатого века состояла в том, что здесь теоретики работали в теснейшем контакте с экспериментаторами и математиками. И лучший пример такого благотворного симбиоза дает научная и дружеская связь Борна и Франка. Их совместный семинар создавал ту питательную среду, в которой только и могла родиться новая физика.

(продолжение следует)

Литература

- Bade, James N.** 2010. *Eine beispiellose Trennung. Thomas Mann Jahrbuch, Band 23*. Frankfurt a.M. : Vittorio Klostermann, 2010.
- Barbeck, Hugo.** 1878. *Geschichte der Juden in Nürnberg und Fürth*. Nürnberg : F. Heerdegen, 1878.
- Beyerchen, Alan.** 1982. *Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich*. Frankfurt a.M., Berlin, Wien : Ullstein Sachbuch, 1982.
- Born, Max.** 1975. *Mein Leben. Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers*. München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1975.
- Bürgin, Hans и (Hrsgb.), Mayer Hans-Otto.** 1976. *Die Briefe Thomas Manns. Regesten und Register. Band I. Die Briefe von 1889 bis 1933*. Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 1976.
- Cassidi, David.** 1995. *Werner Heisenberg. Leben und Werk*. Heidelberg, Berlin, Oxford : Spektrum Akademischer Verlag, 1995.
- Dohm, Christian.** 1781. *Über die bürgerliche Verbesserung der Juden*. Berlin, Stettin : б.н., 1781.
- Einstein-Born.** 1969. *Albert Einstein – Hedwig und Max Born. Briefwechsel 1916-1955*. München : Nymphenburger Verlagshandlung, 1969.
- Engel, Michael.** 2005. Die Pringsheims. Zur Geschichte einer schlesischen Familie (18.–20. Jahrhundert): [авт. книги] Horst Kant и Annette (Hrsg.) Vogt. *Aus Wissenschaftsgeschichte und -theorie. Hubert Laitko zum 70. Geburtstag*. Berlin : Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte, 2005.
- Engelmann, Bernt.** 1998. *Deutschland ohne Juden*. Göttingen : Steidl, 1998.
- Fischer, Gerhard.** 1983. Beethoven's Fifth in Trial Bay: Culture and Everyday Life in Australian Internment Camp during World War I. *Journal of the Royal Australian Historical Society*. 1983 г., T. 69, Pt. 1.

- Franck, James. 1906.** Über die Beweglichkeit der Ladungsträger der Spitzenentladung. *Verh. Phys. Ges.* 1906 г., Т. 8, стр. 252-263.
- Franck, James и Pringsheim, Peter. 1923.** Fluoreszenz von Gasen. *Naturwissenschaft* 1923 г., Т. 11.
- Frank, James и Hertz, Gustav. 1911.** Über einen Zusammenhang zwischen Quantenhypothese und Ionisierungsspannung. *Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin.* 1911 г., Т. 13.
- Fry, Varian. 1995.** *Auslieferung auf Verlangen. Die Rettung deutscher Emigranten in Marseille 1940/41.* Frankfurt a. M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 1995.
- Goudsmit, Samuel A. 1947.** *Alsos.* New York : Henry Schuman inc, 1947.
- Grossmann, Kurt. 1963.** *Ossietzki: Ein deutscher Patriot.* München : Kindler Verlag, 1963.
- Hamburger, Ernest. 1968.** *Juden im öffentlichen Leben Deutschlands.* Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968.
- Harprecht, Klaus. 1995.** *Thomas Mann. Eine Biographie.* Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1995.
- Heine, Gert и Schommer, Paul. 2004.** *Thomas Mann Chronik.* Frankfurt a.M. : Vittorio Klostermann, 2004.
- Himmler, Katrin. 2005.** *Die Brüder Himmeler. Eine deutsche Familiengeschichte.* Frankfurt a. M. : S. Fischer Verlag, 2005.
- Jüngling, Kirsten и Brigitte., Roßbeck. 2003.** *Die Frau des Zauberers. Katia Mann. Biografie.* München : Propyläen Verlag, 2003.
- Katz, Jacob. 1986.** *Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft. Jüdische Emanzipation 1770-1870.* Frankfurt am Main : Jüdischer Verlag bei Athenäum, 1986.
- Krause, Alexander (Hrsg.). 2006.** «*Musische Verschmelzungen*». *Thomas Mann und Hermann Ebers.* München : peniope, 2006.
- Landau, Edwin M. и Schmitt, Samuel (Hrsg.). 1991.** *Lager in Frankreich: Zeugnisse der Emigration, Internierung und Deportation.* Mannheim : Von Brandt Verlag, 1991.
- Large, David Clay. 1998.** *Hitlers München. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung.* München : Verlag C.H. Beck, 1998.
- Laurenz, Demps. 1996.** *Berlin-Wilhelmstraße. Eine Topographie preußisch-deutscher Macht.* Berlin : Ch. Links Verlag, 1996.
- Lemmerich, Jost. 2007.** *Aufrecht im Sturm der Zeit. Der Physiker James Frank. 1882-1964.* Berlin : Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 2007.
- , 1982. *Max Born, James Frank, der Luxus des Gewissens: Physiker in ihrer Zeit.* Wiesbaden : Reichert, 1982.
- Lenard, Philipp. 1937.** *Deutsche Physik in vier Bänden.* München : J.F. Lehmanns Verlag, 1937.
- , 1929. *Große Naturforscher. Eine Geschichte der Naturforschung in Lebensbeschreibungen.* München : J.F. Lehmanns Verlag, 1929.
- Mann, Heinrich. 1978.** *Ein Zeitalter wird besichtigt.* Berlin : Aufbau-Verlag, 1978.
- Mann, Katia. 2000.** *Meine ungeschriebenen Memoiren.* Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 2000.
- Mann, Klaus. 2007.** *Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht.* Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007.
- Mann, Thomas. 1960-1974.** An Bruno Walter zum siebzigsten Geburtstag. *Werke in dreizehn Bände, Band 10.* Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 1960-1974.
- , 2009. *Betrachtungen eines Unpolitischen. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 13.1.* Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 2009.
- , 1962. *Briefe 1889-1936 Hrsg. von Erika Mann.* Frankfurt a. M. : S. Fischer Verlag, 1962. стр. 141-142.
- , 1963. *Briefe 1937-1947. Hrsg. von Erika Mann.,* Frankfurt a.M. : S.Fischer Verlag, 1963.

- , 1965. *Briefe 1948-1955 und Nachlese*. Hrsg. von Erika Mann. Frankfurt a. M. : S. Fischer Verlag, 1965.
- , 2003. *Essays. Band 3*. Hrsg. Kurzke Hermann; Stachorski Stephan. Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 2003.
- , 1974. *Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Band XI*. Frankfurt a.M. : S.Fischer Verlag, 1974.
- , 2002. *Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 21. Briefe I. 1889-1913*. Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 2002.
- , 2004. *Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 22. Briefe II. 1914-1923*. . Frankfurt a. M. : S. Fischer Verlag, 2004.
- , 2002a. *Musik in München . Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 15.1*. Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag,, 2002.
- , 1979. *Tagebücher. 1918-1921*. Herausgeben von Peter de Mendelssohn. Frankfurt a.M. : S.Fischer Verlag, 1979.
- , 1982. *Tagebücher. 1940-1943*. Herausgeben von Peter de Mendelssohn. Frankfurt a.M.: S.Fischer Verlag, 1982.
- , 1995. *Tagebücher. 1953-1955*. Herausgeben von Inge Jens. Frankfurt a.M. : S.Fischer Verlag, 1995.
- Mann-Meier**, 1992. *Mann Thomas, Agnes E. Meyer. Briefwechsel*. Herausgeben von Hans Rudolf Vaget. . Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1992.
- Mendelssohn, Moses**. 2005. *Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum*. Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2005.
- Mendelssohn, Peter de**. 1997. *Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Bd. 2*. . Frankfurt a. M. : Fischer Taschenbuch Verlag , 1997.
- Mühsam, Erich**. 1994. *Tagebücher*. Hrsg. von Hirte Chris. München : Dtv, 1994.
- Müller, Wilhelm**. 1936. *Judentum und Wissenschaft*. Leipzig : TheodorFritsch Verlag, 1936.
- Planck, Max**. 1922. *Physikalische Rundblicke gesammelte Reden und Aufsätze*. Leipzig : S. Hirzel Verlag, 1922.
- Pringsheim, Peter**. 1949. *Fluorescence and phosphorescence*. New York : Interscience Publ., 1949.
- Pringsheim, Peter и A., Terenin**. 1928. Über die Bandensysteme im Spektrum des J₂-Dampfes. *Zeitschrift für Physik*, 50(1928). 1928 r.
- Pringsheim, Peter и Marcel, Vogel**. 1943. *The Luminescence of Liquids and Solids and their Practical Application* .New York : Interscience publishers, 1943.
- Pringsheim, Peter и S.J., Wawilow**. 1926. Polarisierte und unpolarisierte Phosphoreszenz fester Farbstofflösungen . *Zeitschrift für Physik*, 37(1926). 1926 r.
- Rathenau, Gerhart**. 1983. James Franck. *James Franck und Max Born in Göttingen. Reden zur akademischen Feier aus Anlaß der 100. Wiederkehr ihres Geburtsjahres*. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1983.
- Rechenberg, Helmut**. 2010. *Werner Heisenberg – die Sprache der Atome*. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2010.
- Redin**. 1914. *Deutsche Reden in schwerer Zeit, gehalten von den Professoren an der Universität Berlin*. Berlin : Carl Heymanns Verlag, 1914.
- Schirnding, Albert von**. 2008. *Die 101 wichtigsten Fragen. Thomas Mann*. Nördlingen : Verlag C.H.Beck, 2008.
- Schirrmacher, Arne**. 2010. *Philipp Lenard: Erinnerungen eines deutschen Naturforschers. Kritische annotierte Ausgabe des Originaltyposkriptes von 1931/1943*. Berlin : Springer Verlag, 2010.
- Schramm, Hanna**. 1977. *Menschen in Gurs. Erinnerungen an ein französisches Internierungslager (1940-1941)*. Worms : Georg Heintz Verlag, 1977.
- Schweitzer, Eva**. 2004. *Amerika und der Holocaust*. München : Knaur Taschenbuch Verlag, 2004.

- Segal, Sanford L. 2003.** *Mathematicians under the Nazis*. Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2003.
- Szabó, Anikó. 2000.** *Vertreibung. Rückkehr. Wiedergutmachung. Göttinger Hochschullehrer im Schatten des Nationalsozialismus*. Göttingen : Wallstein Verlag, 2000.
- Thomson, Joseph John. 1903.** *Conductions of electricity through gases*. Cambridge : б.н., 1903.
- Titze, Hartmut. 1987.** *Das Hochschulstudium in Preußen und Deutschland. 1820-1944*. Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, 1987.
- Toller, Ernst. 1990.** *Eine Jugend in Deutschland. Leipzig* : Reclam, 1990.
- Trojan, Martin. 1922.** *Hinter Stein und Stacheldraht, australische Schattenbilder. , 1922*. Bremen : Druck von C. Schunemann, 1922.
- Volkov, Shulamit. 2000.** *Antisemitismus als kultureller Code*. München : Verlag C.H.Beck, 2000.
- Walter, Bruno. 1960.** *Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken.*, . Frankfurt a.M. : S. Fischer Verlag, 1960.
- Weber, K.K., Güttler, Peter и (Schriftleitung), Ahmadi Ditta. 1979.** *Berlin und seine Bauten. Herausgegeben vom Architekten-Verein zu Berlin*. Berlin : Ernst und Sohn, 1979.
- Wehefritz, Valentin. 1999.** *Gefangener zweier Welten. Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. h.c. Peter Pringsheim (1881-1963)*. Dortmund : Universitätsbibliothek, 1999.
- Wiedemann, Hans-Rudolf. 1985.** *Thomas Manns Schwiegermutter erzählt. Lebendige Briefe aus großbürgerlichem Hause*. Lübeck : Grafische Werkstätten, 1985.
- Wyman, David S. 2000.** *Das unerwünschte Volk. Amerika und die Vernichtung der europäischen Juden*. Frankfurt a. M. : S. Fischer Taschenbuch Verlag,, 2000.
- Wysling, Hans и Schmidlin, Yvonne. 1994.** *Thomas Mann. Ein Leben in Bildern*. Zürich : Artemis, 1994.
- Адо, А.В. (Отв. ред.). 1990.** *Документы истории Великой французской революции: Учеб. пособие для студентов вузов. Том I*. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990.
- Апф, С.К. 1972.** *Томас Манн. Серия «Жизнь замечательных людей»*. Москва: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1972.
- Бабичев, Н.Т. и Боровской, Я.М. 1982.** *Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений*. Москва : Русский Язык, 1982.
- Беркович, Евгений. 2014.** Антиподы. Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард в контексте физики и истории. *Нева, №9, 10*. 2014 г.
- , **2008с.** Дело Феликса Бернштейна, или Теория анти-относительности. *Заметки по еврейской истории №12*. 2008 г.
- , **2008а.** Наука в тени свастики. *Нева № 5*. 2008 г.
- , **2011.** Одиссея одной династии. Триптих. . . *Историко-математические исследования. Вторая серия, выпуск 14(49), стр. 266-296*. 2011 г.
- , **2009.** Прецедент. Альберт Эйнштейн и Томас Манн в начале диктатуры. *Нева № 5*. 2009 г.
- , **2012.** Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна. *Вопросы литературы, № 1*. 2012 г.
- , **2008.** Сага о Прингсхаймах. Альманах «Еврейская Старина» №2. 2008 г.
- , **2008б.** Феликс Клейн и его команда. *Еврейская Старина, №6(59)*. 2008 г.
- Гейзенберг, Вернер. 1989.** *Физика и философия. Часть и целое*. М. : Наука, 1989.
- Коллектив, авторов. 1952.** *Философские вопросы современной физики*. . М. : Изд-во АН СССР, 1952.
- Манн, Г. – Манн, Т. 1988.** *Эпоха. Жизнь. Творчество*. . М. : «Прогресс», 1988.
- Манн, Томас. 2009.** *Аристократия духа*. М. : Изд. «Культурная революция», 2009.
- , **1960.** Очерк моей жизни. Перевод А. Кулишер. *Собрание сочинений в десяти томах. Том 9*. Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960.

—, 2009. Очерк моей жизни. Перевод А. Кулишер. *Собрание сочинений в восьми томах, том 1*. Москва: ТЕРРА - Книжный клуб, 2009.

Наджафов, Д.Г. (ред.). 2005. *Сталин и космополитизм. Документы Агитпропа ЦК КПСС. 1945 - 1953*. М.: МФД: Материк, 2005.

Прингсхейм, П. и Фогель, М. 1948. *Люминесценция жидких и твердых тел*. М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948.

Рид, Констанс. 1977. *Гильберт*. М.: «Наука», 1977.

Фейнберг, Е.Л. 2003. *Эпоха и личность. Физики. Очерки и воспоминания*. М.: Издательство Физико-математической литературы, 2003.

Хаеш, Анатолий. 2003. Еврейская эмиграция по материалам фонда Департамента общих дел МВД в РГИА 2003. *Альманах «Еврейская Старина», № 2*. 2003 г.

[1] Особенности назначения Макса Борна и Джеймса Франка профессорами в Гёттинген рассказал мне почетный доктор Берлинского университета, известный биограф Франка и Борна Йост Леммерих (Jost Lemmerich). Письмо Леммериха от 02.07.2012 хранится в архиве автора.



Владимир Тёмный

КАК С.И. ВАВИЛОВ МОГ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ АКАДЕМИИ НАУК СССР ПОСЛЕ ОСУЖДЕНИЯ И ГИБЕЛИ В ТЮРЬМЕ РОДНОГО БРАТА?

Версия

В творческой биографии академика Сергея Ивановича Вавилова существует двухлетний пробел периода военных лет – 1943-1945 годов. Известно, что семью Вавиловых постигло несчастье. В 1940 году был арестован по печально известной 58-й статье родной брат Сергея Ивановича академик Николай Иванович Вавилов, всемирно известный генетик. Обычные в те времена репрессии родственников не коснулись Сергея Ивановича. По-видимому, это можно объяснить его высоким научным авторитетом в среде физиков, не пересекавшейся с сообществом биологов. Известно, какие репрессии обрушились на научную школу Николая Ивановича после его ареста.

1941 год, начало войны, окружение и начало блокады Ленинграда. В Йошкар-Олу эвакуирован из Ленинграда Государственный оптический институт (ГОИ), имеющий важное оборонное значение. Сергею Ивановичу поручено вернуть работу ГОИ на новом месте. Этой работой он был занят до 1944 года. Кроме того, на нём лежал груз ответственности за работу и судьбы оставшихся в Москве сотрудников Физического института, который в своих дневниках он обозначил как «несчастный ФИАН в Харитоньевском переулке». В эти тяжёлые для страны и для себя лично годы он нашёл силы написать блестящую биографию Исаака Ньютона. Тем не менее, беспокойство за неизвестную судьбу брата, да и за свою тоже, вряд ли способствовало его плодотворной работе. Поэтому можно считать неожиданным его назначение 23.06.1943 года уполномоченным науки Государственного Комитета Обороны (ГКО) по развитию и координации научной работы в области инфракрасной техники [1], а после окончания войны 17.07.1945 года избрание президентом Академии наук СССР. Рассмотреть версию такого крутого поворота в жизни Сергея Ивановича дают возможность мемуары и скупые устные рассказы 60-х годов моего научного руководителя 1963-1966 гг. профессора Валерьяна Ивановича Красовского, заведующего отделом физики верхней атмосферы Института физики атмосферы АН СССР. Публикация об этом переломном периоде жизни С.И. Вавилова представляется уместной ещё и потому, что до сих пор периодически у некоторых историков науки возникают вопросы о том, как он мог дать согласие на руководство Академией, членом которой был Т.Д. Лысенко – непосредственный виновник ареста и гибели его брата. Надеюсь, что воспоминания В.И. Красовского, а также его выступление в ИИЕТ в 1992 году на семинаре, посвященном 100-летию С.И. Вавилова, помогут понять неизбежность такого поворота судьбы Сергея Ивановича.

Производственные пути академика Вавилова и талантливого 27-летнего экспериментатора-самоучки Валерьяна Красовского с необычно сложной судьбой пересеклись в Ленинграде в 1935 году¹.

Плодился об этом рассказано в книге, посвященной 100-летию со дня рождения С.И. Вавилова по инициативе Сергея И. Ч. ФМНКА.

К столетию со дня рождения С.И. Вавилова.

За последние полвека и сейчас
уже много рассказано о разнообразной организационной и научной деятельности С.И. и ей дана высокая оценка. Поэтому могу по-видимому ограничиться только некоторыми малоизвестными результатами *своей работы по исследованию зрения* более полувека назад. И был знаком с С.И. с 1936 г. и до его кончины. Это *близким* знакомство связано с разработкой и применением электронно-оптических преобразователей, сокращенно называемых ЭОП. В начале как научный руководитель ГОИ, затем как Уполномоченный Государственного Комитета Обороны по делам видения в темноте и наконец, после *успешной деятельности в этой области* как Президент АН СССР, С.И. оказал их внедрению исключительно большое содействие. *Он был чуждым занятием для него, с кем ему пришлось работать.*

Я познакомился с С.И. *в 1936 году* еще в Ленинграде во время демонстрации с помощью ЭОП видения в темноте. Хотя С.И. и сам занимался этой проблемой с помощью флуоресцирующих экранов, возбужденных ультрафиолетом, он, тем не менее, оказал такому начинанию исключительно большую помощь в очень многих направлениях. ЭОП нельзя было успешно реализовать без светосильной оптики, флуоресцирующих веществ, светофильтров, инфракрасных осветителей и портативных источников высоковольтного питания с напряжением в несколько десятков киловольт. *Первые приборы были изготовлены с помощью ГОИ, там же были изготовлены и ГОИ по инициативе С.И. и других.*

При помощи С.И. к началу Великой Отечественной Войны уже были рассчитаны и изготовлены в ГОИ первые образцы оптики для этих целей. Это обеспечило их серийное производство в самом начале Войны. С.И. всегда принимал активное участие в многочисленных испытаниях приборов в реальных условиях и затем исключительно активно заботился об их дальнейшем внедрении. Области *и их применение* были разнообразными.

После эвакуации из Ленинграда уже в Москве на мою долю выпала обязанность разработки и изготовления портативных очков с ЭОП для видения в темноте. Они предназначались для саперов при разминировании

Факсимиле текста выступления В.И. Красовского в ИИЕТ РАН на конференции «К столетию со дня рождения С.И. Вавилова»

Полученные Красовским навыки экспериментатора дали ему возможность в 1934 г. самостоятельно создать первый электронно-оптический преобразователь (ЭОП) к прибору ночного видения. Его ЭОП превосходил по качеству разрабатываемые всеми другими научно-техническими группами Ленинграда и Москвы, в том числе и группы академика Вавилова. Сергей Иванович заинтересовался работами Красовского и им самим, отметив его природный талант экспериментатора. Поэтому он стал постоянно помогать ему во многих разработках, в том числе и при создании уникальной оптической аппаратуры инфракрасного (ИК) диапазона спектра. В 1938-1940 гг. на заводе «Светлана» лаборатория Красовского налаживает выпуск ЭОПов. С помощью академика Вавилова Красовский подключает ГОИ к производству оптики для приборов ночного видения. Дальше научно-производственные пути академика С.И. Вавилова и создателя первого отечественного ЭОПа расходятся. Они пересекутся только в 1943 году.

Война застала лабораторию В.И. Красовского в Ленинграде. Правительственным решением она была эвакуирована с оборудованием самолётом из осаждённого города в Казань. Попытки наладить производство армейских приборов ночного видения в Казани и в Новосибирске, куда последовательно перемещались сотрудники и оборудование лаборатории Красовского, оказались неудачными. В начале марта 1942 г. Г.М. Маленков образовал инициативную группу по восстановлению разработок этих приборов в Москве. В состав этой группы вошли: академик В.С. Кулебякин, заместитель директора эвакуированного завода «Светлана» В.А. Бирюков, профессор Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ) П.В. Тимофеев (позже член-корреспондент АН СССР) и В.И. Красовский, назначенный заведующим лабораторией ВЭИ. На основе этой группы было создано особое конструкторское бюро (ОКБ), в котором ведущим конструктором и начальником одной из лабораторий был назначен В.И. Красовский, а другой – П.В. Тимофеев. Летом 1942 г. вышло правительственное распоряжение о восстановлении рабочих помещений бывшего ВЭИ на территории московского электролампового завода (МЭЛЗ). Для организации производства ЭОПов на этой территории в Москву из Новосибирска были вызваны все сотрудники лаборатории Красовского завода «Светлана». К осени 1942-го года несколько изготовленных приборов ночного видения испытывались с участием Красовского на Брянском фронте.

К зиме 1942-1943 гг. на МЭЛЗе объединёнными силами двух лабораторий созданного ОКБ был начат массовый выпуск приборов ночного видения. Они помогали ориентироваться при ночных переходах в степи нашим танковым подразделениям при окружении армии фельдмаршала Паулюса во время Сталинградского сражения.

В начале апреля 1943 г. к этим приборам ночного видения проявил интерес И.В. Сталин и распорядился подготовить рабочую встречу с разработчиками этой техники. В.И. Красовского предупредили, что он приглашается на это совещание, запланированное на ближайшее время. Опубликованы документы ГКО военного периода [4] журнала посещений Сталина. Из них следует, что совещание у Сталина состоялось ночью 21 апреля 1943 г. и продолжалось с 00.50 до 02.25 21.04. Всего в нём, кроме Сталина, участвовали 5 человек:

1. **Молотов** 23.15-02.25
2. **Маленков** 00.50–01.25
3. **Бирюков** 00.50–01.25
4. **Тимофеев П.В.** 00.50–01.25

5. Красовский В.И. 00.50–01.25

Берия 01.40–02.00

Микоян 02.10–02.25

Последние вышли 02.25

Следовательно, в 35-минутном ознакомлении с прибором ночного видения участвовали, кроме Сталина, 5 человек, выделенные в тексте. Возможно, что прошедшие позже Берия и Микоян могли выслушать мнение Сталина о необходимости поддержки этой работы, куратором которой был Г.М. Маленков.

По воспоминаниям Валерьяна Ивановича, эти события развивались так:

«...в середине месяца объявили, что совещание отменено. В конце апреля ночевал дома и никаких посетителей к себе не ожидал. Поэтому, когда в полночь раздался входной звонок, на него не реагировал. Открыли соседи. Но вошедшие затем постучались в мою дверь. Открыл, и ко мне вошли люди в штатском, представившись, что они пришли по поручению Г.М. Маленкова. Быстро собравшись, я с попутчиками вышел к машине, ожидавшей во дворе. Без всяких пропусков я был доставлен в ЦК партии к Г.М. Маленкову, где уже находились заместитель директора ВЭИ В.А. Бирюков и профессор П.В. Тимофеев. Нам было объявлено, что сейчас мы все уезжаем к И.В. Сталину. Г.М. Маленков просил при встрече с И.В. Сталиным не вдаваться в мелочи и со всякими снабженческими делами к нему не обращаться. Мы все разместились в одной машине Маленкова и выехали в Кремль. Кроме перечисленных лиц, в ней находился охранник в гражданской одежде. В Кремль въехали через Спасские ворота без всяких пропусков. Без них вошли и в вестибюль здания, где нас приветствовал старый швейцар с седою бородой. Никакой охраны видно не было. Быстро сами разделись в гардеробе и проследовали в комнату для ожидающих посетителей, где на столе стояли бутылки с газированной водой и лимонадом. Г.М. Маленков сразу же вошёл к Сталину без доклада. Мы же ожидали около полчаса. Затем к нам вышел секретарь Сталина А.Н. Поскрёбышев и пригласил нас в кабинет Сталина. При входе в большой, но не роскошный кабинет, нам навстречу выходил авиаконструктор А.С. Яковлев. На совещании, прошедшем около часа, кроме И.В. Сталина и Г.М. Маленкова присутствовал ещё и В.М. Молотов. Это совещание носило сугубо деловой характер. Сталин во время совещания всё время оживлённо ходил по кабинету с трубкой в руках» [2].

Здесь следует прервать мемуарные записи В.И. Красовского для того, чтобы дополнить их по памяти его устными рассказами о том, как проходил этот приём, названный им «деловым совещанием», так как по каким-то причинам он не стал описывать того, что происходило в кабинете Сталина во время получасового ожидания и приёма. За эти полчаса в кабинете был развёрнут прибор ночного видения для демонстрации его работы авторами. Войдя в кабинет, В.И. Красовский и П.В. Тимофеев вкратце изложили принцип его работы, включили прибор. По команде Сталина был погашен свет, задёрнуты плотные шторы и к экрану прибора Сталин послал В.М. Молотова. «*Меня видишь, Георгия (Маленкова) видишь? Хорошо. Выключайте прибор, включайте свет*» [5]. И хотя демонстрация работы прибора прошла успешно, приглашённые были ни живы, ни мертвы. Дело в том, что в кабинете в военное время было достаточно прохладно и сыро, а на рабочие эле-

менты прибора подавалось напряжение около 20 киловольт. Во время приближения В.М. Мологова к экрану ЭОПа произошёл высоковольтный разряд прямо к его лбу. И хотя это был слабый разряд от токов утечки, но всё же болезненный. Однако, как вспоминал В. И. Красовский, «Вячеслав Михайлович и виду не подал!» [4].

Теперь становится понятной следующая фраза из мемуаров Валерьяна Ивановича, свидетельствующая о том, что во время приёма происходила такая демонстрация работы прибора.

«Сталин предложил нам не увлекаться демонстрациями новых приборов, а больше сосредоточиться на их усовершенствовании. Приветствуя наш энтузиазм, он сказал, что для успешного развития и внедрения нам необходим авторитетный научный руководитель с крупным именем. Г.М. Маленков сказал, что уже обсуждались кандидатуры академика А.Ф. Иоффе и профессора Л.А. Арцимовича в качестве его помощника, но эти кандидатуры отпали, так как они намечены для других дел. П.В. Тимофеев резко возразил против назначения каких-либо новых руководителей, как и раньше заявил, что справится со всем успешно сам. Я же предложил в качестве руководителя академика С.И. Вавилова и его коллег – академика А.А. Лебедева и члена-корреспондента АН СССР А.И. Тудоровского, с которыми имелось длительное сотрудничество по разработке ЭОП. И.В. Сталин в заключение сказал, что всё это будет обдумано и завершится целесообразным решением» [2].

Здесь следует сделать ремарку на основе устных рассказов Валерьяна Ивановича, более эмоциональных, чем текст его мемуаров. И хотя последующее будет изложением воспоминаний о рассказе Красовского в моменты доверительных бесед, которые у него возникали нечасто, я всё же выделю курсивом последующий текст, чтобы по возможности сохранить чёткий и образный язык Валерьяна Ивановича. К сожалению, во время этого рассказа я не имел возможности спросить его о том, знал ли он в 1942 г. о судьбе Николая Ивановича Вавилова и, следовательно, о положении самого Сергея Ивановича. Думаю, что он ничего не знал. Иначе он как человек смелый, но достаточно осторожный вряд ли рискнул бы подставить под возможный удар не только С.И. Вавилова, но и себя. Но Красовский был человеком дела и руководствовался всегда только этим принципом, чем нажил себе немало врагов. Возвращаясь к окончанию «совещания» у Сталина, попробую восстановить устный рассказ Красовского. *«Оставившись довольным результатом демонстрации работы прибора, Сталин сказал: вы, молодые люди сделали нужное и полезное дело, но вам нужен «дядя». Подразумевалось, что мы назовём авторитетного руководителя нашей дальнейшей работы по созданию приборов ночного видения для нужд Красной армии. Естественно, такого руководителя, который будет нести полную ответственность за порученную работу в трудное военное время» [4].* Дипломатичную позицию В.И. я привёл выше цитатой из его мемуаров. Устный его рассказ звучал иначе.

«Когда я назвал кандидатуру С.И. Вавилова как возможного руководителя наших будущих работ, то сразу же почувствовал на себе колющий взгляд жёлтых глаз Сталина. От него у меня мурашки побежали по спине. Он сделал затяжку из трубки, ещё раз взглянул на меня и, обернувшись к Маленкову, произнёс: ми с Георгием подумаем, идите, отдохните, к Вам придут! Я отправился в гостиницу «Москва», где стал ожидать обещанного визита неизвестно кого» [4].

Дальше по тексту мемуаров Красовского...

«Через несколько дней из Йошкар-Олы, где находился эвакуированный из Ленинграда Государственный оптический институт (ГОИ), был вызван С.И. Вавилов. Встретившись со мной, расспросил, о чём говорилось на совещании у И.В. Сталина, и сказал, что мне не стоило бы предлагать его кандидатуру. Тем не менее, через несколько дней депутат Верховного Совета РСФСР академик С.И. Вавилов оказался назначенным специальным уполномоченным Государственного Комитета Обороны по нашим делам, а академик А.А. Лебедев – его помощником. А.И. Тудоровский нигде не упоминался. Сергею Ивановичу был выделен основной рабочий кабинет в здании МЭЛЗ. В нём он осуществлял руководство нашими работами до конца войны...» [2].

Скупые строки подготавливаемого к печати личного дневника С.И. Вавилова свидетельствуют лишь о его участии в разработке и изготовлении армейских приборов ночного видения, не раскрывая этапов этой работы. По-видимому, из-за её секретности он отмечает лишь эмоционально-бытовые эпизоды выполнения этой работы, не упоминая нигде её сути. Из выдержек из них [6], относящихся к руководству работами по массовому производству приборов ночного видения, видны сложные взаимоотношения со своим коллегой академиком А.А. Лебедевым.

1943-й год

6 июня.

Маленков, вызывавший сюда, ещё не принимает. Компаньон А.А. Лебедев нем как рыба, с таким товарищем, как со стулом.

12 июня.

Был вчера с Севченко у маршала Ворошилова... в 2 часа ночи. Шли через «тревогу», продолжавшуюся 4 часа.

17 июня.

Наконец, принял Молотов. Не сумел отказаться от важных поручений.

25 июля.

Йошкар-Ола.

С 8 до 6 часов в Институте. Инфракрасные дела, глупые «отеческие» разговоры в лаборатории с Севченкой, Свешниковым и прочими.

1 августа.

Йошкар-Ола. Воскресенье.

Визит С.Г. Суворова из ЦК – три дня.

15 августа.

Москва.

В Москву приехал 12-го.... Сажу часами в Электропроме.

22 августа.

Йошкар-Ола.

19-го уехал из Москвы с А.А. Лебедевым, молчаливым как камень. Разберись-ка в таком человеке. День в Казани.

13 сентября.

Понедельник. Москва.

Прошла ещё одна московская неделя. Приехал вчера. Надо думать – последний рейс в Йошкар-Олу. Днём Электропром, ламповый завод, ВЭИ, несчастный ФИАН в Харитоньевском переулке.

10 октября.

Москва.

... поездки на завод, ВЭИ. Сложный переплет ГОИ, ФИАН, ВЭИ, 2-го Управления, Электропрома.

28 ноября.

Москва.

После Миусс поездки на 632(-ой) завод, ВЭИ, Электропром.

1945-й год

6 февраля.

Москва.

Сегодня: 1) ФИАН, 2) Ламп(овый) завод, 3) ЦК комсомола (Ломоносовские лекции), 4) НКЭП [Наркомат электротех. промышл.], 5) И-т философии (руководство отделом философии естествознания), 6) Дом Ученых.

18 апреля.

Йошкар-Ола.

Приехал вчера. Надо думать – последний рейс в Йошкар-Олу.

Изложенную выше канву событий, связанных с работой С.И. Вавилова в 1943-1945 гг., кратко описывает и академик И.М. Франк [7]. «Во время войны Сергей Иванович был уполномоченным Государственного комитета обороны по оптической промышленности. Но и об этом сведений в Архиве Академии наук не имеется. Профессор Валериан Иванович Красовский – специалист по оптике атмосферы – вспоминает, что однажды ночью в апреле 1943 г. его подняли с постели и отвезли сначала к Маленкову, а затем к Сталину. Вопрос, который обсуждался, состоял в том, кому поручить руководство оборонными оптическими исследованиями, которыми он занимался, и он назвал имя Сергея Ивановича. По его воспоминаниям, назначение Сергея Ивановича уполномоченным ГКО произошло вскоре после этого, т. е. во второй половине апреля 1943 г. Вместе с тем в письмах Сергея Ивановича в конце 1942 г., посланных из Москвы в Казань, говорится, что он занят целый день. Несомненно, он выполнял оборонные работы, связанные с ГКО. Так или иначе, но Сергей Иванович оказался вскоре руководителем В.И. Красовского, который очень тепло вспоминает о деятельной помощи С.И. Вавилова не только в его работе, но и ему лично. Дело в том, что он – сын священника, репрессированного и погибшего на строительстве Беломорканала. С такой анкетой, да ещё без диплома о высшем образовании ему непросто было находиться на секретной работе. Сергей Иванович преодолел здесь все трудности, а затем помог ему с защитой диссертации».

Правительственные награды, которыми были награждены и С.И. Вавилов, и разработчики армейских приборов ночного видения во время войны и сразу после её окончания свидетельствуют о высокой оценке их созидательного труда. С.И. Вавилов был награждён орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами Ленина. Он 4 раза был удостоен Сталинской премии. В.И. Красовский оставался заведующим лабораторией Всесоюзного электротехнического института с 1942 по 1946 г. Он был занят только производством ЭОП для приборов ночного видения: «...была только работа» [2].

Возвратимся к вопросу о роли Сталина в выдвижении Сергея Ивановича Вавилова на пост президента Академии наук СССР. В своей статье о С.И. Вавилове И.М. Франк писал:

«...меня занимает вопрос, почему участь Николая Ивановича не постигла Сергея Ивановича, ведь не только родство, но и взаимная любовь и глубочайшее уважение друг к другу братьев Вавиловых были известны не только их друзьям, но, несомненно, и тем, от кого зависела их судьба. Приходится думать, что Сталин решил до поры до времени держать Сергея Ивановича заложником. Теперь мы знаем, что такое поведение вождя было для него довольно обычным, и можно вспомнить немало аналогичных случаев. Сергей Иванович и тогда, и позже был готов к тому, что судьба брата может в любой момент постигнуть и его. Уже будучи президентом АН СССР, он говорил мне: *"Каждый раз, когда вызывают в Кремль, не знаю, вернусь ли я оттуда домой или отвезут на Лубянку"*» [7].

Можно попытаться представить себе, как могла бы развиваться эта ситуация, не будь в 1943-м году рискованно смелого предложения В.И. Красовского Сталину о возможном назначении С.И. Вавилова руководителем работ по созданию приборов ночного видения для Красной армии. Конечно же, без этого предложения он мог бы попасть в поле зрения Сталина и его окружения только как родной брат осуждённого и погибшего в тюрьме Н.И. Вавилова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Недаром В.И. Красовскому на всю жизнь запомнились пронзительный взгляд Сталина и его реплика *«ми с Георгием подумаем»* после предложения о кандидатуре С.И. Вавилова на роль «дяди». Не исключено, что в промежутках между двумя затяжками трубки в сталинской голове мелькнула мысль: *завалит работу – посадим, как и брата!* Возможно, что это он потом и обсудил с Маленковым и пришедшими позже Берия и Микояном, как и то, кто придёт потом к Красовскому: *«идите, отдыхайте, к Вам придут»*...

Вот как отражен этот непростой зигзаг судьбы С.И. Вавилова 1945-го года в кратких строчках его дневника [6], относящихся к первым послевоенным месяцам:

1945-й год

11 июля.

Москва.

Приехал сюда сегодня по вызову Маленкова.

14 июля.

Москва.

...был в Кремле у В.М. Молотова и Г.М. Маленкова. Предложено стать академическим президентом вместо В.Л. Комарова. Нечувствительность, развившаяся за последние годы, вероятно, как самозащита, дошла до того, что я не очень удивился этому предложению... А сумею ли я что-нибудь сделать для страны, для людей? Повернуть ход науки? ...Вчера вечером 3 часа в ЦК у Александрова и Суворова. Сам не свой.

Практически единогласное избрание С.И. Вавилова президентом Академии наук СССР состоялось 17 июля 1945 года. Можно продолжить предположения о возможной кандидатуре президента Академии наук в послевоенные годы, не будь этого приёма у Сталина в 1943 г. курируемой Г.М. Маленковым группы разработчиков армейских приборов ночного видения и предложения Красовского о С.И. Вавилове на роль «дяди». При подборе нового президента Академии наук в первый послевоенный год в поле зрения Сталина могли попасть многие выдающиеся академики. Можно упомянуть А.Ф. Иоффе, П.Л. Капицу, Н.Н. Семёнова, Д.В. Скобельцына, В.Г. Хлопина, Б.А. Введенского, О.Ю. Шмидта, А.А. Лебедева, И.П. Бардина, А.А. Благонравова, А.И. Опарина и других [8]. Однако для управления этим хлопотным хозяйством вполне могла быть назначена («избрана») такая одиозная фигура,

как А.Я. Вышинский. Вот уж он наверняка бы разобрался и с идеализмом в физике, и с квантово-механическими теоретиками, и «буржуазной наукой кибернетикой», да попутно и с космогонией. Благо, прикормленных партийных философов с обострённым чувством «флюгер-эффекта» в рядах Академии было предостаточно. Для этого не хватало лишь малого – такой одиозной фигуры в рядах учёных-естественников, как Т.Д. Лысенко у биологов. Найдись такой, разгром и физики, и самой Академии наук был бы гарантирован со всеми вытекающими отсюда последствиями. А что касается создателей ядерного оружия и ракетных средств его доставки к потенциальным целям, то приласканные властью сразу после интеллектуального создания своих творений, они вполне могли пожизненно оказаться в позолоченных клетках приснопамятных бериевских «шарашек». Конечно, они лишились бы права несанкционированного выезда из них и уж, конечно, общения с зарубежными коллегами. Какая судьба ждала бы наши естественные науки, можно только догадываться!

Поэтому с этих позиций роль Сергея Ивановича Вавилова в сохранении и самой Академии наук, и дальнейшего развития отечественной науки представляется поистине выдающейся. Не зря за 5 лет руководства Академией наук он расплатился девятью инфарктами, последний из которых стал для него смертельным. Можно себе представить, какие чувства он испытывал, проводя заседания Академии в присутствии «заклятого врага» семьи Вавиловых – Т.Д. Лысенко! По-видимому, Сергей Иванович лучше Красовского в 1943 понимал, в какую сложную и опасную ситуацию он попал после предложения Сталину молодого энтузиаста. Ёмкая фраза Красовского о реплике Вавилова при их личной встрече после приёма у Сталина говорит о многом. *«Встретившись со мной, спросил, о чём говорилось на совещании у И.В. Сталина, и сказал, что мне не стоило бы предлагать его кандидатуру»* [2]. В ней просматривается не только беспокойство интеллигентного человека за свою дальнейшую судьбу, но и за судьбу молодого человека, совершившего по молодости и незнанию ситуации не совсем обдуманый поступок. Тем не менее, он, по-видимому, не имел никакой возможности отказаться от порученного дела и со всей ответственностью взялся за его выполнение.

Возвратимся к оценке возможной роли Сталина в назначении на пост президента Академии наук СССР академика Вавилова. Как ни парадоксально, с сегодняшних позиций это решение представляется вполне позитивным для сохранения этого научного интеллектуального сообщества страны. Широка научная интерес Сергея Ивановича, его поддержка многих новых направлений исследований, которые даже не были близки его научным интересам физика-оптика, сыграли позитивную роль в сохранении преемственности существовавших научных школ и развитии новых направлений исследований. Даже среди представленного выше списка академиков – возможных кандидатов на пост президента Академии наук – не просматривается ныне другой столь же масштабной фигуры на период 1945 г. Требовалось сохранить научный потенциал страны в условиях жёсткого сталинского диктата в области гуманитарных наук и при подавлении генетики воинствующим партакадемиком Лысенко. Одиозный президент Академии наверняка бы погубил всю систему гибкой взаимоподдержки внутри неё. Расплатиться за столь тяжкую ношу С.И. Вавилову пришлось ценой преждевременной кончины. Он оставил после себя научное наследие, которое продолжало развиваться в условиях ещё не столь обюрокраченных научных взаимоотношений до конца 60-х годов.

Список литературы

1. Архив РАН, фонд 596.
2. Семёнов А.И., Тёмный В.В., Шефов Н.Н. Валерьян Иванович Красовский – основатель отечественной научной школы физики верхней атмосферы Земли. Отв. ред. и автор предисл. Голицын Г.С. – М.: Красанд, 2013. 224 с.
3. Тёмный В.В. Валерьян Иванович Красовский - основоположник отечественной космической геофизики // Институт истории естествознания и техники. Годичная научная конференция. 2009. С.296 – 299.
4. Горьков Юрий. Государственный Комитет Оборона постановляет (1941-1945). // Цифры. Документы. Москва. «ОЛМА-ПРЕСС» . 2002. С.368.
5. Красовский В.И. Частное сообщение. // Москва. 1964 г.
6. Вавилов С.И. Дневники. 1909 - 1951.: в двух книгах. Кн.2: 1920, 1935 - 1951. - М.: Наука, 2012. (Научное наследство. т. 35, кн. 2).606 с.
7. Франк И.М. Мысли о С.И. Вавилове // Сб.: С.И. Вавилов. Очерки и воспоминания. – М., 1991.
8. Визгин В.П. Частное сообщение. // 2008.

[*] Творческую биографию этого уникального физика-экспериментатора мы, его ученики, подготовили к печати [2]. Краткие выдержки из неё приведены в [3].



Оскар Шейнин

ЭКОНОМЕТРИКА

НЕСКОЛЬКО ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ СТАТЕЙ

Перевод Оскара Шейнина

Статья Фриша и сообщение Шумахера описывают становление эконометрики как отдельной ветви экономики. К её истории можно добавить, что в 1910-1911 гг. В.И. Борткевич попытался создать марксистскую эконометрику. Попытка оказалась неудачной уже ввиду характерной для этого автора сухости изложения.

В Советском Союзе эконометрика начала пробиваться, да и то в скрытом виде, лишь в 1960 г.; только за год до того, в 1959 г., ведущие советские статистики отказались признать её, и вообще представляется, что никакого её практического приложения в Советском Союзе так и не произошло. См. Шейнин (2001, с. 189-190).

* * *

Рагнар Фриш

Редакционная статья

Ragnar Frisch, Editorial. *Econometrica*, vol. 1, 1933, pp. 1-4

Вот уже два года прошло после образования Эконометрического общества. Хотя оно намеренно воздерживалось от предания своих дел гласности в течение этих лет организационной работы, из многих мест были получены вопросы и предложения, проявлявшие готовность к чему-то подобному тому пути, по которому следует Общество, и сильную надежду на это. Существует, видимо, источник потенциальной энергии, намного более мощный, чем первоначально представлялось учредителям Общества, лишь ожидавший своего выявления и направления на эконометрические исследования. Такова причина, которая побудила Общество учредить свой собственный журнал. Он будет называться *Эконометрика*, выходить ежеквартально, и это – его первый выпуск.

Будет, видимо, целесообразно объяснить в нескольких словах термин *эконометрика*. Его определение намечено в §1 Устава Общества [который был опубликован на с. 106-108 этого же выпуска журнала]:

Цели Общества. Сфера его деятельности

Эконометрическое общество является международным и имеет целью продвижение экономической теории в её отношении к статистике и математике. Общество будет действовать в качестве совершенно беспристрастной научной организации, без каких-либо политических, социальных, финансовых или националистических предпочтений. Его основной целью будет содействие исследованиям, направленным к объединению теоретико-количественного и эмпирико-качественного подходов к экономическим проблемам и потому пронизанным конструктивным и строгим мышлением, аналогичным тому, который стал руководящим в естествознании. Всякая деятельность, обещающая в конечном итоге продвигать такое объединение теоретических и фактических исследований в экономике, окажется в сфере интересов Общества.

Это ударение на количественную сторону экономических проблем весьма многозначительно. Экономическая жизнь является сложной сетью взаимоотношений, которые действуют во всех направлениях. Поэтому, пока мы ограничиваемся общими утверждениями о каком-то экономическом факторе, *влияющим* на какой-то другой фактор, можно выбрать почти любое взаимоотношение, объявить его законом и *пояснить* его доводом, внушающим доверие.

Таким образом, существует реальная опасность выдвигать утверждения и выводы, которые, хоть и верны в весьма ограниченном смысле в качестве тенденций, тем не менее приводить их как объяснение существующего положения совершенно недостаточно и может даже ввести в заблуждение. Вот пример, приводящий к нелепости. Утверждения и выводы могут оказаться столь же обманчивыми, как объяснение неудачи попытки гребца плыть вперёд тем, что лодка движется назад, испытывая давление его ног¹.

Этот пример, конечно же, не проясняется тем, что существует давление в одну или другую сторону, а тем, что имеет место давление в обоих направлениях¹. Реальное значение анализ приобретает только при сравнении от носительных *величин* некоторого числа давлений в одну и другую сторону. Именно такие сравнения обеспечивают анализу реальное значение.

Многие и быть может большинство состояний, которые нам приходится рассматривать в экономике, имеет именно такой вид. Полная польза от существенной и важной части наших экономических анализов произойдёт только, если нам удастся формулировать обсуждения в количественных терминах.

Есть всё же некоторые стороны количественного подхода к экономике, ни один из которых в отдельности не должен ошибочно считаться эконометрикой, которая ни в коем случае не совпадает с экономической статистикой. Она также отлична от того, что мы называем общей экономической теорией, существенная часть которой тем не менее определённо имеет чёткий количественный характер. Эконометрика также не должна считаться тем же, что приложение математики к экономике. Опыт показал, что каждая из этих трёх точек зрения, статистическая, теоретико-экономическая и математическая, являются необходимыми, но, взятые по отдельности, они недостаточны для истинного понимания количественных отношений современной экономической жизни. Только *объединение* всех указанных точек зрения оказывается мощным средством и именно оно составляет эконометрику.

Такое объединение более необходимо сегодня, чем это было когда-либо раньше. Статистические данные ныне собираются с беспрецедентной скоростью, но, как бы они не были полны и точны, и каков ни был бы их объём, они не могут сами по себе объяснить экономические явления. Чтобы не затеряться в подавляющем и сбивающим с толку массиве статистических данных, который теперь становится доступным, нам нужны руководство и помощь мощного теоретического каркаса. Без этого невозможно никакое существенное истолкование и согласование наших наблюдений.

В таком случае теоретическая структура, которая нам поможет, должна быть более точной, более реалистической и во многих отношениях более сложной, чем все, доступные нам до сих пор. Теория, формулируя свои отвлечённые количественные понятия, должна в большей степени вдохновляться техникой наблюдения, а свежие статистические и иные исследования, основанные на данных, должны быть здоровым элементом нарушений, должны постоянно угрожать и беспокоить теоретика и предотвращать его от почивания на каких-либо унаследованных и устаревших предположениях.

Взаимное проникновение количественной экономической теории и статистического наблюдения является сутью эконометрики. Здесь и заключается потребность в математике, а именно в формулировании принципов экономической теории и в технике обработки статистических данных. Математика, конечно же, не является волшебством, которая сама по себе может решить загадки современной экономической жизни, во что верят некоторые восторженные специалисты. Но, если она сочетается с глубоким пониманием экономического значения явлений, то представляет собой исключительно полезное *средство*.

Действительно, в очень многих случаях это средство необходимо. Многие существенные обстоятельства нового общего формулирования проблем настолько сложны, что их нельзя спокойно и логично обсуждать без применения математики.

Стимулирование работы в указанных здесь направлениях и является целью Эконометрического общества и его журнала. *Эконометрика* будет давать отчёт об исследованиях, преподавании, научных конференциях и иной деятельности, интересных для эконометрики и происходящих в различных странах. Журнал будет публиковать оригинальные статьи, значимые непосредственно или косвенно как способствующие развитию эконометрики. Мы уделим внимание и истории нашей дисциплины. Однако, мы не будем пытаться заранее завладеть всеми важными эконометрическими работами для страниц нашего журнала. Напротив, он будет поощрять и возможно время от времени сообщать об эконометрических статьях во всех ведущих экономических журналах мира. Наша общая политика будет заключаться в том, чтобы наш журнал стал *расчётной палатой* эконометрической работы.

Со временем быть может разовьётся некоторая форма сотрудничества. Журнал может, например, быть готов принять для публикации статьи, настолько пропитанные математикой, что они оказываются неподходящими для некоторых других экономических журналов. В самом деле, как принцип редактирования *Эконометрики*, ни одна рукопись не будет отвергнута только потому, что она слишком математическая. И этот принцип будет соблюдаться вне зависимости от степени сложности математического аппарата. Разумеется, мы не говорим, что рукописи будут приняты для публикации уже потому, что в них применяются математические символы. Мы будем так же усердно осуждать тщетные игры с математическими символами в экономике, как и поощрять их созидательное применение. И существенная часть материала, которая будет появляться в нашем журнале, вероятно окажется вовсе не математической.

В статистических и других материалах, имеющих дело с числами и публикуемых в *Эконометрике*, будут как правило включаться необработанные исходные данные, если только их объём не окажется чрезмерным. Это важно для стимулирования критики, контроля и для дальнейших исследований. Наша цель здесь заключается в том, чтобы представить этот вид статей в сжатой форме. Существенным будет краткое и точное описание исходных теоретических положений; исходных данных; метода исследования; и результатов.

В своё время мы обсуждали включение в наш журнал обширного раздела кратких сообщений об эконометрической литературе, однако обнаружили, что это в известной мере будет означать перекрытие работы других экономических журналов и что *Эконометрика* окажет читателям лучшую услугу публикацией *обзоров* существенных событий по основным темам, интересующим эконометристов. Ежегодно мы будем публиковать четыре таких обзора, по одному в каждом выпуске: общая экономическая теория (включая чистую экономику) будет неизменно отра-

жаться в январском, теория циклов экономической деятельности – в апрельском выпуске, техника статистических исследований в июле и статистическая информация в октябре.

Все эти обзоры будут международными по охвату, но мы не станем пытаться сделать их всеобъемлющими. Напротив, материал будет отбираться. Цель этих обзоров будет состоять в оценке действительно важных событий, и таким образом в представлении руководства для интересующихся соответствующими темами, но возможно не имеющих времени для внимательного ознакомления с литературой. Один автор будет ответственным за каждый обзор, но при необходимости он постарается привлечь к сотрудничеству соответствующих специалистов. Имена авторов первых четырёх обзоров указаны в конце этого выпуска.

Нашим правилом будет полная свобода мысли, и мы всегда будем приветствовать беспристрастное обсуждение обзоров или других публикуемых материалов. Судя по стимулирующим обсуждениям, которые имели место во время и Европейской, и Американской конференций Общества, не существует никакой опасности появления [и господства] у эконометристов родственных мнений. Да, присутствовавшие на этих конференциях поистине восторгались общей целью, т. е. эконометрикой, но вместе с этой общностью интереса и отношения к делу, были высказаны различные идеи и проявилась откровенная взаимная критика, которая обеспечивает широту и свежесть будущей работы. Этот живительный дух будет несомненно отражён на страницах нашего журнала.

Мы предлагаем *Эконометрику* общественности в надежде, что наш журнал сможет полностью выполнять свою часть работы, запланированной Эконометрическим обществом².

Примечание

1. Давление ног не могло сказаться на движении лодки.
2. В том же выпуске журнала, на с. 445, за подписью председателя Совета Общества Ирвинга Фишера был опубликован список членов Общества, в котором мы нашли О. Андерсона и Н.Д. Кондратьева.

* * *

Дж. Шумпетер

Здравый смысл эконометрики

J. Schumpeter, The common sense of econometrics. *Econometrica*, vol. 1, 1933, pp. 5-12

Цели этого журнала и Общества, органом которого он должен быть, были указаны выше Редактором так кратко и точно, как это характерно для формулировки обоснованного дела [xv]. То, что я могу сказать в качестве комментария и разработки мысли, подтвердит, как я надеюсь, впечатление, что в нашем рискованном предприятии нет ничего поразительного или парадоксального, но что оно естественным образом следует из нынешнего состояния нашей науки. Мы не хотим воскрешать споры об общих проблемах *метода*, мы просто желаем представлять и обсуждать результаты нашей работы. Мы не навязываем никаких убеждений, ни научных, ни каких-либо иных, и у нас нет никаких общих верований. Мы лишь придерживаемся двух положений. Во-первых, что экономика это наука, и, во-вто-

рых, что у неё есть очень важная количественная сторона. Мы не являемся ни сектой, ни *школой*, ибо мнения об отдельных проблемах, которые вообще могут иметь место у экономистов, различаются, и как я надеюсь, всегда будут различаться любым возможным образом.

Как и на всё остальное, на экономическую жизнь можно смотреть с громадного, и, строго говоря, бесконечного множества точек зрения. Только некоторые из них относятся к области науки, ещё меньшее число допускает или нуждается в количественных методах. Для большинства умов многие не-количественные стороны экономики всегда были более интересны, и плодотворная работа может быть произведена совершенно без приложения количественного подхода. Многое из того, что мы хотим узнать об экономических явлениях, может быть открыто и указано обычным размышлением без всякой технической и тем более математической обработки и без сложной обработки статистических данных. Нет ничего более чуждого нашим представлениям, чем ожесточённая вера в исключительное превосходство математических методов, или какое-либо желание принижать труд историков, этнографов, социологов и др. Мы не хотим воевать ни с кем и ни с чем, кроме любительства. Мы хотим быть *полезными* в силу наших возможностей.

1. Экономика — количественная наука

В одном смысле экономика, однако, является наиболее количественной не только из *социальных* или *моральных* наук, но из *всех* наук, не исключая физику. Хоть масса, скорость, сила тока и аналогичные понятия несомненно *могут* быть измерены, но для этого нам всегда приходится придумывать определённый процесс измерений. Это должно быть сделано до того, как удастся рассматривать эти явления [понятия] *численно*. Напротив, некоторые самые фундаментальные экономические факты представляются нашему наблюдению как количества, которые сама жизнь уже сделала численными. Они имеют смысл только ввиду своего числового характера. Движение существовало бы даже при нашей неспособности превратить его в измеряемое количество, но цены не могут быть независимыми ни от численного представления каждой из них, ни от определённых численных соотношений между всеми ими.

Эконометрика является лишь явным признанием этого довольно очевидного факта и попыткой смотреть в лицо его последствиям. Мы даже осмелимся утверждать, что ввиду сказанного каждый экономист, желает ли он этого или нет, является эконометристом, если только он имеет дело с этим сектором нашей науки, а не, скажем, с историей организации предприятий, культурными сторонами экономической жизни, экономическими побуждениями, философией частной собственности и пр.

Легко понять, почему явное признание этого факта должно было быть так затруднено и так длительно. Философы, которым неизменно нравилось классифицировать науки, всегда чувствовали неловкость по поводу точного места, которое следовало бы отвести экономике в целом. Практически они всегда придерживались эмпирической границы между *естественными* и *моральными* науками и относили экономику к последним. А там количественная сторона или сектор нашей науки встречал лишь неподходящую почву.

Другой причиной оказался практический дух, с которым к экономическим проблемам обычно подходили, — дух, бывший либо безразличным, либо враждебным требованиям научной привычки мышления. Но ни одна наука не преуспевает в атмосфере непосредственных практических целей, при которой даже практиче-

ские результаты являются лишь побочным продуктом незаинтересованной работы над проблемами самими по себе.

Стремилась бы физики в той же мере неизменно добиваться *приложения*, как желало и желает большинство экономистов вплоть до сегодняшнего дня, мы всё ещё были бы лишены большинства удобств современной жизни. Это объясняет пренебрежение эконометрикой, равно как и неудовлетворительное состояние нашей науки в целом. Страстно желающий быстрых и кратких ответов на жгучие текущие вопросы не станет запугиваться в трудностях, которые можно было бы разъяснить лишь терпеливым многолетним трудом.

Тем не менее, количественный характер нашей науки должен был утвердиться. Одним из наиболее поразительных фактов её истории является то, что большинство тех, – а если исключить историков, то *все* те, – которых мы обоснованно называем великими экономистами, неизменно проявляют примечательный математический склад ума, даже если они совсем ничего не знают за пределами количественных методов, известных школьнику. В качестве примера можно назвать Кенэ, Рикардо, Бём-Баверка.

Но это ещё не всё. Если эконометристы желают подражать другим и гордиться своим героическим прошлым, они могут обоснованно притязать на великое имя Уильяма Петти как на своего собственного. Вторая половина XVII в. полна энергичных рискованных вторжений в область эконометрики; достаточно указать на статистическую кривую спроса Грегори Кинга¹. Некоторый интерес представляет вопрос, как оказалось возможным, что подобное обнадеживающее начало не смогло вдохновлять на дальнейшую работу, так что их результаты владели существование в сумерках, хоть и никак не были забыты. Ссылки на *правило Кинга* неизменно появлялись с тех пор почти в каждом стандартном второсортном учебнике.

В области явлений, связанных с денежным обращением (*monetary phenomena*) и смежными вопросами количественный и даже численный² анализ укоренился в практике уже в XVI в. в основном в Италии, и с тех пор эта традиция не прерывалась. Отрывки из сочинений таких итальянских авторов XVIII в., как Беккариа, Карли, Верри и др., представляются хорошо знакомыми современному читателю. Перед нами прямо-таки сознательная попытка спаять в единый неделимый довод теоремы и статистические факты.

Если же откинуть *сознательность*, то мы отыщем по существу ту же тенденцию в любом труде наших предшественников, который только захотим просмолотреть. Вот лишь один пример. Мы привыкли насмехаться над литературой по освященной временем дискуссии о стоимости. Но что лежит в её основании, которое, правда, покрыто тяжёлой массой умозрительного многословия, как не поистине научный поиск экономической единицы измерения или нескольких таких единиц, приспособленных к различным классам явлений? Там не было больше внеэмпирических умозаключений, чем по поводу любой науки в её младенчестве. Там также не меньше связи со статистическими материалами, имевшимися в распоряжении каждой эпохи, чем мы были бы вправе ожидать. Каждый, кто позаботится прочесть ответ Рикардо *Vosanquet*, согласится с этим.

2. Дальнейшие разработки

Количественный по существу анализ, искалеченный, однако, отсутствием надлежащих методов и недостаточностью статистического материала, – вот диагноз, к которому мы приходим, изучив труды экономистов вплоть до того времени,

когда принципы Милля начали хорошо представлять то, что наша наука была в состоянии дать. Это тоже является частью той истины, проявляющейся во враждебном слого, который мы по привычке употребляем по поводу *классического учения*, очевидно потому, что наше общество оправдывает всё, кроме нововведений. Это не больше, чем сознательная попытка устранить препятствия потоку ручья, который протекал с тех пор, с каких человек начал думать и писать об экономической жизни³.

Чтобы усмотреть всю значимость условий, которые привели к желательности и по существу необходимости собрать под знамёнами эконометрики *союз* различных типов экономистов, которые в нашем обществе возьмутся за руки. Но мы должны ныне бросить взгляд на дальнейшие разработки.

Фаза экономики, которую ещё примерно десять лет назад можно было назвать *современной*, описывается в терминах трёх фактов и их следствий. Первый, быстрый рост нашей копилки статистических и иных материалов; второй, успехи статистических методов, находящихся в нашем распоряжении. Развиваясь в основном вне нашей области и без ссылок на наши потребности, они были счастливой случайностью, очень схожей с подвернувшейся машиной, подвозящей странника, бредущего по пыльной дороге. Третий, появление теоретического средства, намного превосходящего прежде. Ни по одному из этих пунктов мы, по правде сказать, не были и никогда не будем удовлетворены. Мне думается, что настоящий прорыв ещё впереди, и нынешние достижения требуют скорее извинения, а не поздравления. И всё же было бы не только неблагодарным, но просто ошибочным отрицать значимость достигнутого или возможности, которые начинают маячить в будущем.

Во всём этом ясно заметна эконометрическая сторона. Было окончательно установлено, что экономическая теория включает количество и потому требует единственного имеющегося языка или метода для обращения с количественным доводом, лишь только он перерастёт свою наиболее примитивную стадию. Джевоксу принадлежит честь формулировки одной из тех простых сообщений, которые временами кажутся сосредоточивающими прошлую и будущую историю и становящимися навсегда заметными важнейшими событиями. Это он сказал во введении к своей книге (1871): *Ясно, что если экономика вообще станет наукой, она должна быть математической.*

Ещё большую дань уважения заслужил Курно, который, без поощрения или руководства, в тогдашнем самом неподходящем окружении полностью предвосхитил эконометрическую программу в своих *Исследованиях* (1838), одном из самых поразительных достижений истинного гения. Мы до сих пор оказываем ей уважение, ибо почти всегда начинаем с неё.

Было бы, конечно, излишним делать особое ударение на первостепенной значимости этого нашего великого учителя, чьё изложение точной теории выскочило из его головы как Минерва из головы Юпитера. Но я хочу подчеркнуть, что он выстроил свой аналитический аппарат, имея ясное представление о конечной эконометрической цели. Каждая его часть была продумана так, чтобы, когда придёт время, она охватила статистический факт.

Здесь он прошёл намного дальше, чем Джевокс. Звучит это как парадокс, потому что Джевокс фактически работал с числами, как, например, в вопросе индексов. Но в зоне самой чистой теории он, видимо, был намного меньше, чем Курно, озабочен указанной целью, и на численной лошади намного труднее перепрыгнуть через заборы Джевокса, чем пуститься быстрой рысью по дороге Курно.

В нашем пантеоне Тюнен занимает место рядом с Курно. Теперь следует упомянуть не только, и на самом деле даже не в первую очередь, идею предельной продуктивности⁴, а его особое отношение к множеству фактов, которое так же важно и эконометрике, и собственно статистике. Тюнен указал, что калькуляция стоимости, счетоводство и родственные направления включают массу материала, которой экономисты полностью пренебрегали. Пренебрегали настолько, что специалисты по *управлению коммерческой деятельностью* начали теперь строить свои собственные теоретические здания, огораживающие их от *общей теории* так же полностью, как она, в свою очередь, исключала их, хоть обе группы специалистов вспахивают в основном ту же почву. Замечательным примером этого является вопрос кривых стоимости. Ясно, что экономисты не могут бесконечно обходиться без того обширного кладеза фактов, равно как калькуляторы стоимости, счетоводы и др. не могут обходиться без сотрудничества экономистов. И, оглядываясь назад, мы теперь видим, что уже в 1826 г. книга Тюнена могла бы нас научить *как теория разрастается из наблюдений деловой практики*.

Я, по крайней мере, всегда буду считать Леона Вальраса величайшим из всех экономистов. В своей теории равновесия он построил прочное основание для всей нашей работы. Сделав решительный шаг в *количественном*, он не шёл по *численному* пути, хотя *слияние* этих двух направлений характерно для эконометрики. Но нас недавно научили с большей надеждой рассматривать даже *численные* возможности той самой общей и самой отвлечённой части нашей науки, которая в смысле Вальраса является теорией равновесия. Этот факт равным образом указывает на эконометрические притязания трудов Auspitz и Lieben, Кнута Викселля, Френсиса Эджуорта и Вильфредо Парето, великом преемнике Вальраса в Лозанне.

В несколько ином смысле мы можем, наконец, притязать, считая нашим собственным, самого великого учителя экономики, Альфреда Маршалла. Для некоторых из нас стало привычкой говорить о нём как о представителе *неоклассического* учения. Здесь не место указывать, как это произошло, не без некоторой вины его самого, что такой совершенно непредвиденный и по существу бессмысленный ярлык был прикреплён к его имени. Но я хочу подчеркнуть, во-первых, что никто не сможет внимательно прочесть его доклад о *Старом и новом поколениях экономистов* (1897), не открыв, хотя может быть и не без некоторого удивления, как ясно наша программа виднелась ему.

И никто из тех, кто знает как читать его *Принципы* (1890) в свете его *Промышленности и торговли* (1919), также не сможет определить, чего он действительно стремился достичь ни в каких терминах, кроме эконометрических. Важнее всего, что он всегда работал, имея в виду статистические приложения, и лучше всего в качестве *теоретика* он был при введении таких удобных инструментов, как эластичность, квазирента, внешнее и внутреннее хозяйства⁵ и пр., каждый из которых является мостом между островом чистой теории и прочной почвой практики коммерческой деятельности и её статистики.

У меня нет желания говорить ни о каких живущих экономистах, но читатели вероятно не простят, если я не допущу двух исключений и не упомяну авангардные работы Ирвинга Фишера и Генри Мура.

3. Нынешнее состояние

Все эти достижения были по меньшей мере достаточны как хорошее начало, с которого можно было строить дальше. И действительно, за последние 20 лет в

нашем направлении была проделана многообещающая работа. Поэтому, глядя сейчас на систему Вальраса, мы чувствуем в очень большой степени то же, что и рассматривая марку автомобиля, сконструированного 40 лет назад. И всё же, большинство из нас несомненно согласится заключить, что нынешнее состояние нашей науки разочаровывает не только по сравнению с достижениями других наук, но и с обоснованным ожиданием того, что она совершит.

Много есть причин для этого, но только некоторые из них, имеющие особое отношение к целям нашего Общества, требуют внимания. В пределах очень важного сектора размышление над экономическими фактами означает, и всегда означало, количественные размышления. Между такими мыслями элементарного характера и теми, которые применяют *высшую математику*, нет никакого *логического* разрыва. Но ничего не приводит к более серьёзному *практическому* разрыву в развитии какой-либо науки, чем введение привычки думать, которая до сих пор была чужда признанному арсеналу специалиста и в то же время доступна лишь напряжённому усилию.

Когда некоторые поняли, что и в экономической теории, и в статистике, необходимо переходить к применению более утонченных математических методов, большинство даже тех экономистов, которые работали в количественном секторе, отказалось. Вначале они посмеивались, но теперь уже нет. Интегралы постепенно перестают быть для них иероглифами. Многие из них стараются понять нас и примириться с нами, оставляя за собой право критиковать наши результаты и возражать против математических излишеств. Но это не является необходимым для нас полным сотрудничеством. Даже в этом улучшенном состоянии экономика лишена того широкого пространства общего профессионального поля, которое в физике передает добытые результаты общественности. Новички в замешательстве от неустановившейся ситуации. Энергия растрачивается, и настоящая работа в науке затруднена. Недавние успехи, а ещё больше, чем *достигнутое*, – его широкие *возможности* привлекли к нам многообещающий сонм новичков, но старое состояние фундаментально изменилось, и мы не можем предложить им единой системы обучения. Отсюда происходит недостаточная согласованность в работе. Новые люди рассматривают наши проблемы с весьма разных позиций. Обладая весьма отличными друг от друга знаниями, они нетерпеливо желают очистить почву и строить всё совершенно заново. Человек, работает ли он в статистическом бюро или самостоятельно, по своей природе восхищается истинными неискажёнными фактами и часто плохо знаком и ещё меньше интересуется тем средством анализа, который мы называем *экономической теорией* или утонченными статистическими методами. С другой стороны, овладевший этими методами, ощущая их мощь и замечательный материал, который следует им обработать, пытался поспешно вывести свои собственные закономерности или обобщения. А теоретик, осознающий свои задачи, чаще, чем это было бы разумно, отказывался признать работу первых двух типов лиц чем-либо, кроме как (возможным) подтверждением своих теорем. Но, хоть и не согласованно, прирост был подобен тропическому. Можно ожидать, что он установится и со временем принесёт плоды, но пока обстановка хаотична, и только весьма наметанный глаз может усмотреть скрытую тенденцию, медленно, но мощно стремящуюся к общей для всех цели.

4. Программа

Здравый смысл программы нашего Общества сосредоточивается в вопросе: нельзя ли сделать это лучше? Разумеется, было бы неразумно присесть и ожидать,

пока всё в конце концов само отыщет своё место, а до тех пор разрешить эконометристам всех стран вести тяжёлые бои в одиночку. Что мы хотим создать, это, первое, центр для эконометрических попыток всякого рода, достаточно обширный, чтобы обеспечить просторный кругозор для всех возможных взглядов на наши проблемы, но не слишком громадный. В противном случае дело затруднялось бы давлением присутствующих, так что будут сохраняться обсуждения действительных проблем в коридорах, что заставит докладчиков или авторов каждый раз повторять предварительные соображения.

В этом центре, который мы представляем себе всемирным, мы хотим, во-вторых, создать дух и привычку сотрудничества лиц с различными типами мышления путём обсуждения конкретных проблем количественного и, насколько возможно, численного характера. Сами эти проблемы должны научить нас, как они желали бы быть обработаны. Мы хотим научиться помогать друг другу и понять, *почему* и в точности *в чём* мы сами, теоретики статистики, сборщики фактов, или наши соседи как-то не вполне доходили до того места, куда это нам желательно.

Никакие общие обсуждения принципов научного метода не могут нас этому научить. Довольно нам этого! Мы знаем, что это никуда нас не приводит и лишь оставляет различные стороны спора на их прежних местах, быть может ещё более раздражёнными той нежной грубостью, которую мы в таких случаях по обычаю высказываем друг другу.

Никакие общие доводы подобного рода никогда не убедят человека, который думает о реальной работе. Но, будучи поставлено перед чёткими вопросами, большинство из нас, как мы надеемся, окажется подготовленным принять единственное компетентное суждение о научном методе и его единственном подходящем критерии, а именно критерии результата или его суждение.

Количественный довод и точное доказательство обладают сильным лечающим качеством. Та часть наших различий, будь она серьёзна или нет, вызванная взаимным непониманием, исчезнет сама собой как только мы покажем друг другу подробно и практически, как работает наш арсенал и в чём он может быть исправлен. Умозрительная резкость и огульные суждения попутно исчезнут.

Теоретические и *реальные* исследования сами отыщут надлежащее соотношение между собой, и мы сможем разумно надеяться, что в конце концов согласимся, каков верный тип теории и правильный вид фактов и какими методами исследовать их, ничего не предполагая о них в программе, а определяя их, давайте надеяться, положительными достижениями.

Мы не должны мечтать о быстрых результатах для непосредственного применения в экономической политике или практике коммерческих отношений. Наши первые и последние цели являются научными. Мы не подчёркиваем численную сторону только потому, что полагаем, что она подведёт нас сразу к сердцевине жгучих повседневных проблем, но потому, что ожидаем, ввиду наших непрерывных попыток справляться с трудностями работы с числами, появления благотворной дисциплины, предложения новых точек зрения, а также помощи в построении будущей экономической теории.

И мы, конечно же, верим, что количественный подход будет иметь громадные косвенные практические последствия. Единственный путь к положению, при котором наша наука сможет дать существенный положительный совет политикам и деловым людям, обеспечивает количественная работа. Пока мы не в состоянии перевести свои доводы в числа, практики никогда не услышат голоса нашей науки, хоть

иногда она и может помочь убрать с дороги крупные ошибки. Все они, практики, инстинктивно эконометристы по своим сомнениям во всём, не поддающимся точному доказательству.

Сведения об упомянутых лицах

Беккариа Ч. (1738-1794), юрист, философ

Викселль К. (1851-1926), экономист

Кене Фр. (1694-1774), основатель школы физиократов

Кинг Г. (1650-1712), статистик.

Auspitz R. (1837-1906), В соавторстве с Lieben опубликовал две книги о теории ценообразования (1887 и 1889 гг.)

Bosanquet B. (1848-1923), философ

Carli G. R. (1720-1795), астроном и экономист

Lieben R. см. Auspitz

Moore H. L. (1869-1958), экономист

Verri P. (1728-1797), философ, экономист, историк

Примечания

1. Единственное опубликованное сочинение Кинга указано в Библиографии.
2. Автор не разъяснил различия между численным и количественным.
3. Это не очень понятно.
4. Предельная продуктивность – это обобщение теории ренты Рикардо, специальный случай общей теории определения стоимости.
5. Квазирента – это разность между продажной ценой и издержками производства. Внешнее хозяйство (есопому) связано с попытками примирить конкуренцию с убыванием издержек производства. Внутреннее хозяйство связано с убыванием издержек производства и возрастанием объёма продукции.
6. Отличие между указанными понятиями нам неизвестно.

Библиография

Шейнин О.Б. (2001), Статистика и идеология в СССР. *Историко-математич. исследования*, вып. 6 (41), с. 179-198.

Cournot A.A. (1838), *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*. Paris, 1890.

Jevons W. (1871), *Theory of Political Economy*. London – New York.

King G. (1801), *Natural and Political Observations upon the State and Condition of England in 1696*. London

Marshall A. (1890), *Principles of Economics*. London.

— (1897), *The Old Generation of Economists and the New*. Boston.

— (1919), *Industry and Trade*. London.

Thünen J.H. (1826), *Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie*. Hamburg.

* * *

Йогансен считается одним из основателей генетики. Его статья интересна также и чётким описанием различий и битв между биометрической школой Пирсона и биологами.

Т. Андерссон Вильгельм Иогансен, 1857 – 1927

Tor Andersson, Wilhelm Johannsen, 1857-1927. *Nordic Stat. J.*, vol. 1, 1929, pp. 349-350

В английском мире наследственность исследовалась таким образом почти так же, как социальная статистика. Подопытные животные и растения наблюдались как единое целое. Даже если Гальтон знал бы об исключениях из законов среднего, его часто утонченные специальные наблюдения тоннули в потоке математических методов выравнивания, которые после Гальтона применял Карл Пирсон, нынешний директор лондонского Института генетики, основанного Гальтоном¹.

В свете дарвинизма наука наследственности таким образом замерла с одной стороны в туманных морфологических рассуждениях, с другой – в сводно-статистической поверхностности с общим взглядом на то, что в органической природе нет регулярных типов. Все вопросы скрещивания, учения производства гибридов и пестроты вариаций у потомков гибридов были перепутаны.

Так Иогансен описал сложившееся примерно в 1900 г. состояние наук о наследственности и вариационной статистике, в которых он провёл свои выдающиеся исследования. *Наука об эволюции превратилась в авгиевы конюшни, которые поистине надо вычистить*, – так он сам чётко объявил о своем великом исследовании, которое принесло ему всемирную славу.

Дальнейшие сведения о содержании этой работы будут приведены в следующем томе этого журнала, здесь же мы только укажем, что Иогансен с самого начала своих исследований наследственности вполне представлял себе значение тщательной обработки чисел при изучении вариаций и, затратив громадный труд, представил в общепонятной форме математические основы вариационной статистики, отдельному разделу², который позднее развился в тесной связи с наукой наследственности.

Путь вперёд, как он сказал, лежит в первую очередь в точных исследованиях чисел, мер, весов и хронологии порядка. Этот методический принцип, особенно за последние 50 лет, обеспечил результаты, которых никто не мог бы ожидать в области наук оплодотворения и наследственности.

Иогансен с удовольствием воспринял появление этого журнала и прислал для первого номера статью из самых мастерски написанных его искусной рукой, о биологии и статистике, которая впервые представлена здесь на языке континентальной Европы³.

Со смертью Вильгельма Иогансена в 1927 г. Дания потеряла своего до сих пор самого выдающегося учёного этого столетия. Как человек, Иогансен был ещё более велик. Его благородная мужественность не имела подобия. В период стандартизации, со стремлением ясности, отчётливости и простоты мысли, равно как и их представления, он был сверхчеловеком. В его непрестанной борьбе за заботу и культивирование науки ему не был равных. Для тех из многих скандинавских учёных, обладающих определённой репутацией также и за пределами своих стран, но, однако, часто слишком малодушных, Вильгельм Иогансен выступал как рыцарь без страха и упрёка. Его имя знаменито и не умрёт пока живы его науки.

В. Иогансен Биология и статистика

W. Johansen, *Biology and statistics. Nordic Stat. J.*, vol. 1, 1929, pp. 351-361.

Впервые опубликовано в первом номере *Nordisk Statistisk Tidsskrift* в 1922 г.
В 1929 г. впервые вышло на английском языке

[1] Несмотря на довольно ясное опасение, я не считал бы благоприятным воздержаться от искреннего и любезного приглашения редактора представить статью в новом журнале *Nordic Statistical Journal*, который я приветствую с большим удовольствием. В том, что я представляю сейчас, нет ничего нового, это лишь сводка опыта и идей, связанных с вмешательством [вторжением] моих исследований в статистику. Ничего другого или большего я предложить не могу.

Поскольку, как сказано в Соломоновых притчах, всё создаётся в соответствии с числами, весами и измерениями, конечно же при исследовании разнообразия Создания необходимо для отыскания общих законов применять технические приёмы и количественные методы. Цель изучения, однако, не только в том, чтобы стремиться обнаружить общие законы жизни, но также, чтобы заглянуть в проявления жизни одного индивида. Этот индивид, например, человек, животное или растение, является не только значком, числом, отдельным кусочком, солдатом, как говорят в армии. Индивидуум это более или менее установленная личность, реальная индивидуальность, которая отличается его от всех остальных.

Мы никогда не должны забывать, что при совместном измерении организмов нельзя знать заранее значение индивидуальных отличий в группе по отношению к реальной степени однородности материала. Действительно, организм сам по себе это на самом деле система, *микросм*, как раньше говорили. Но он равен сумме или союзу отдельных существ, отдельных деятельностей, органов или их элементов, каждый из которых отвечает за свою цель в жизненных проявлениях коллективного организма. Это, однако, упускается из вида, умышленно или нет, при совместном измерении одной какой-либо характеристики группы организмов с целью определить средний отличительный признак группы и вариации относительно его.

Из статистики, которая часто имела дело с проблемами, интересными для биологии, биологи заимствовали количественные методы, неизменно сохраняя за ними название *статистика* или *вариационная статистика*¹, хотя здесь вовсе нет статистики в собственном смысле слова. Было бы, однако, щепетильной задачей исключить здесь применение слова *статистика*, которое теперь прочно укоренилось.

Когда приходится статистически исследовать группу организмов по отношению к одному или более характерному признаку, мы обращаемся с материалом, не зная наперёд степени однородности; напротив, она должна быть оценена по результатам совместного измерения. По этому поводу Кетле в своих антропометрических трудах указал метод, который стал опасным, поскольку он предположил, что довольно симметричное распределение отдельных измерений в окрестности среднего было основанием их естественной принадлежности *типу*, выраженному средним значением. В нескольких своих работах Гальтон² руководствовался довольно схожими идеями.

Легко понять, как подобное понятие могло возникнуть, а именно из опыта точных измерений, например, астрономических определений, установления атомных весов и т.д., результаты которых группируются симметрично в окрестности

среднего, вычисленного обычными методами. Таким образом, с учётом вычисленной средней ошибки будет получено *типичное*, т.е. примерно истинное значение.

Фрэнсис Бэкон говорит, что мы слишком склонны предполагать большую степень однообразия и регулярности вещей, чем впоследствии находим; и это применимо к статистической тенденции, исходящей от Кетле и Гальтона, которая имела в виду отыскание чего-то, в глубоком смысле слова, типичного для организмов в довольно правильном распределении отдельных измерений отличительного признака около их среднего.

В случае других распределений, представленных, например, асимметричными или многогорбыми кривыми частостей, они пытались доказать своими математическими исследованиями существования в совокупности различных типов. Всё это может быть очень интересно для описания исследуемого материала в целом; к примеру, при двугорбых распределениях сразу же видно, что имеются два *типичных* значения, так что общее среднее не обладает *типичной* значимостью в смысле Кетле и Гальтона.

Однако, с биологической точки зрения такая чисто описательная обработка статистического материала неудовлетворительна, потому что индивидуальность более или менее уничтожается и нельзя изучить причины, которые определяли возможность развития личного характера каждого из них, имевшиеся у отдельного индивидуума, наблюдением, измерением или другим анализом.

[2] Короче говоря, наследственное предрасположение (генотип) индивидуума, его возможности с биологической точки зрения и отличительные признаки никак не выясняются по его месту в вариационных статистических таблицах, которые могут только отметить *видимый отличительный признак*, т. е. фенотип. Конечно же, фенотип имеет очень большое значение, потому что с ним нам приходится непосредственно иметь дело, и группа организмов, взятая *как она существует в жизни*, яснее и лучше всего описывается по отношению к своим различным измеримым качествам средствами вариационной статистики.

Что бы мы ни исследовали, если собранный материал, будь то либо камбала, треска или сельдь, либо любой материал, животные, растения или люди, статистический обзор с его средним, стандартным отклонением и вычисляемой стандартной погрешностью среднего обеспечивает намного более ясную картину совокупности, чем можно было бы получить без него. Стандартная погрешность среднего очень важна, потому что при сравнении результатов совместных измерений степень надёжности средних, измеряемая их стандартными ошибками, представляет незаменимое руководство.

Описания совокупностей организмов впервые обрели действительно научное значение при помощи вариационной статистики. Здесь мы очень многим обязаны Кетле, Гальтону и другим. Сегодня биолог не может защитить сравнение средних без учёта стандартных ошибок, которые часто оказываются сравнительно крупными даже в пределах биологических исследований. В прежние дни довольно часто в определённой степени *произвольно* и некритически решалось, было ли различие между двумя средними достаточно большим, чтобы иметь какое-либо значение³.

Даже рассмотрение распределений отдельных индивидуумов ныне является немаловажным в биологических исследованиях совокупностей. Дву- и многогорбые распределения часто могут иллюстрировать существование различных возрастных групп, местных отличий в условиях, расовые различия и т.д. и даже пере-

ходы, часто существующие в таких случаях между горбами, – *типичные измерения*, – очень интересны.

Здесь, конечно, существует примерно та же вероятность вывести как отрицательные отклонения от *большого* типа, так и положительные – от *меньшего* типа⁴. Довольно ровный переход между типами таким образом вводят в заблуждение. В целом, многие подобные переходы, указанные кривыми частостей и таблицами, действительно вводит в заблуждение.

Математический анализ часто недостаточен; техника вычислений не доводит дело до конца, должны последовать собственно биологические исследования. По Тию⁵, статистическое понятие подобно взгляду на лес в целом, но биолог, как мы, видимо, можем сказать, не часто видит лес за деревьями! Здесь мы благодарим статистику за сводку. Она научила нас понятию о природе, полученному совместным измерением. Но это, однако, лишь одна из существующих тенденций. Почти слишком легко статистическая сводка ввиду своей односторонности может стать поверхностной, она не видит деревьев за лесом⁶. Говоря о лесе в буквальном смысле слова, мы не можем не заметить, что каждое отдельное дерево индивидуум, микрокосм. Если лес смешанный, – к примеру состоящий из ели и лиственных деревьев или различных видов последних (дуб, береза, ясень, ольха и т. д.), легко понять значение анализа состава леса.

Но в воображаемых *чистых* совокупностях, как, например, во многих датских буковых лесах или скандинавских сосновых или еловых лесах, отдельные деревья выглядят как солдаты в армии, в основном тождественные, как бы со *случайными* качествами, каждое условно подчеркнуто характеристиками вариаций. Лесоводство, которое в столь большой степени применяло статистический метод, лишь в последние 20 лет отказалось от одностороннего статистического понятия о росте отдельных деревьев. Достаточно упомянуть Оппермана (A. Opperman) и L. Nauch как датских пионеров более подробного и индивидуального изучения индивидуумов различных генотипов в воображаемом чистом материале. Аналитические принципы изучения наследственности открыли нам здесь глаза на расовые различия, на которые ранее довольно значительно влияло обобщённое понятие и потому соответствовали наивным ламарковским идеям о влиянии среды⁷.

[3] Гальтоновская статистика наследственности также была полностью ошибочна, будучи беспорядочной смесью совместного измерения не рассортированного сырого материала и биологического анализа действительных единиц некоторой совокупности. Гальтон исследовал небольшую часть вариаций англичан, например, рост. Сравнивая взрослых детей сравнительно высоких, среднего роста и низкорослых родителей, он обнаружил характерные различия между соответствующими группами потомков: дети родителей с отрицательным отклонением от среднего всей совокупности были во всех случаях меньше ростом, а в случае положительных отклонений они неизменно были выше среднего роста совокупности.

Гальтон представил это и другие результаты в виде количественных законов. Было найдено, что имел место соответствующий результат селекции в опытах с растениями. Всё это подтверждало более ранний опыт, который образовал основу дарвиновской довольно хорошо известной теории селекции. Гальтон перевёл эту теорию в статистический вид, и Карл Пирсон описал её следующим образом:

Если дарвинизм является верным понятием эволюции, т.е. если мы должны объяснить эту эволюцию, прибегая к естественному отбору, соединенному

с наследственностью, то закон, который ясно и решающим образом описывает потомков как следствие характеристик более ранних поколений, одновременно является краеугольным камнем биологии и основанием, которое делает теорию наследственности точной наукой.

Он имел в виду именно закон влияния отбора, который впервые пытался определить Гальтон. Позже Пирсон в качестве главы *биометрической* школы продолжил исследования в этом направлении при помощи всех утонченных методов высшей математики. Исследования наследственности и социальная статистика родственны, и поэтому широко применимо вычисление коэффициентов корреляции, которые отправляются от формулы Браве⁸. По существу наследственность определяли как *корреляцию между природами источника и потомка*.

Эти статистические исследования наследственности естественно важны с социологической точки зрения и практически важны для вычислений страхования и т. д., но они не доходят до биологических проблем этого явления. Единственный способ решить их состоит в изучении отдельных индивидуумов и прослеживании их потомков. Эти две возможности рассматриваются в первую очередь. Мы можем проследить потомков самоопыляющихся индивидуумов поколение за поколением и таким образом различать потомков каждой особи. Здесь мы имеем чистые линии и полученные результаты всегда можно суммировать и критически рассмотреть со статистической точки зрения.

С другой стороны, мы можем скрестить данного индивидуума, если возможно чистой линии (из чистой линии растений), с индивидуумом другой расы и получить гибрид. Его потомки (полученные либо самоопылением, либо опылением индивидуумом в точности того же типа) затем исследуются один за другим и выявляется действие, вызванное скрещиванием в противоположность тому, что происходит в случае чистых линий. Тут мы достигли так называемой менделевской системы исследования.

Применение принципа чистых линий привело к отбрасыванию гальтоновской теории о влиянии отбора. Внутри чистых линий происходят вариации с тем же распределением положительных и отрицательных вариантов (частных случаев) около среднего как и в смешанном случае. Но отбор и распределение положительных и отрицательных вариантов при чистой линии не обладает наследственностью. Корреляция между специальными отличительными признаками исходных индивидуумов и потомков равна нулю!

Всё это можно легко иллюстрировать при помощи следующей полусхематической фигуры, представляющей пять чистых линий гороха, распределённых группами и по размеру с указанием внизу сумм этих пяти серий. Общий результат не выглядит менее равномерным, чем каждая из чистых линий. Кстати, частости чистых линий часто оказываются более асимметричными с большим (положительным) *эксцессом* чем в смешанном случае, в котором оттенки различных линий выравниваются в распределении, так что могут быть нарисованы благоприятные (*fair*) кривые вариаций.

Взгляд на чертёж показывает влияние отбора в смешанном собрании материала. Положительные и отрицательные варианты образуют существенно различные представления чистых линий материала.

Таким образом, биологический анализ указывает на устойчивость генотипа организмов несмотря на индивидуальные вариации фенотипа. Напротив, суммарная статистика соответствует мнению Дарвина и Гальтона об отборе, регулярно влияющим на *тип*.

[4] Принцип чистых линий при анализе смешанного материала показал, что существенная по виду однородность может скрывать весьма различные генотипные различия и что соответствующие *типы жизни* (биотипы) в принципе обладают генотипной устойчивостью в соответствии с химическими формулами. Ровных переходов между генотипами биотипов, так же как и между формулами химических соединений, не существует.

Различия *разрывны*, что в большой степени противоречит дарвинизму и мнению, достигнутому при рассмотрении фенотипов с одной лишь суммарной статистической точки зрения; самые ровные переходы находятся между этими типами. При вычислении корреляций, притом относящихся не только к наследственности, но и к другим биологическим соотношениям взаимности, мы находим довольно схожие обстоятельства. Разности могут быть утоплены в средних, которые, возможно, представляются регулярными, что не соответствует действительности при рассмотрении индивидуумов действительно чистого материала. Истина суммарной статистики может оказаться ошибочной в пределах естественных частей собранного материала; обратно, истина в пределах последних может оказаться ошибочной для материала в целом. Статистика может только выявить совпадение, но не причинность в более глубоком смысле.

При исследовании гибридов в соответствии с принципами Менделя, которые в настоящее время всё в большей степени применяются во всём мире, можно рассмотреть проникновение анализа индивидуальности. Действительно, стало ясно, что генотипы можно подразделить, по крайней мере частично, на отдельные элементы (единицы наследственности; факторы Менделя; гено-элементы или блоки генов; или, одним словом, гены). Их природа неизвестна, хотя во многих случаях их влияние может быть ясно и отчётливо прослежено в сочетаниях, в которых они являются членами всего генотипа данного организма.

Разделение гено-элементов происходит при развитии половых клеток, но описание этого обстоятельства завело бы нас слишком далеко. Главное здесь в том, что гено-элементы, которые находятся в организме только в *единой дозе* (так как были внесены либо яйцеклеткой, либо спермием, образовавшими организм), появляются только в половинной части половых клеток организма.

Поскольку различные соответствующие гено-элементы более или менее независимы при делении, они в той или иной степени произвольно соединяются в созревших половых клетках. Этот факт объясняет подчас пестрое разнообразие *типов*, в котором долгое время не могли обнаружить никакой регулярности и которые нельзя объяснить статистикой Гальтона. Мендель заметил здесь вопрос комбинаторики, и его точные перечисления прояснило всё, но только, как вполне можно добавить, потому что он начал специально исследовать потомство каждого индивидуального гибрида.

Биометрическая школа воевала с менделизмом, видимо ввиду явного пренебрежения, и тем самым необоснованно и догматически придерживалась утверждения Гальтона о том, что

Исследования наследственности относятся скорее к сравниваемым сериям братьев и сестёр и более многочисленным совокупностям, которые можно рассматривать как одно целое, чем к рассмотрению индивидуальных случаев.

Эта школа, следовательно, отказалась от более глубокого проникновения в биологические причинности. И в то же время и исследователи наследственности,

применявшие биологические методы, и нынешние более глубокие исследования клеток прояснили внутренние обстоятельства проявления наследственности таким образом, о котором 20 лет назад никто и мечтать не мог. И тем самым во всё большей степени было подтверждено, хоть и после длительных сомнений и продолжительного обсуждения, что одиночные гено-элементы обладают устойчивостью типа, сравнимой с устойчивостью химических радикалов.

Итак, биологическое исследование индивидуальности выявляет устойчивость генотипов в целом и отдельных гено-элементов. Разрывные изменения гено-элементов, называемые (*designed; designated?*) мутациями, и происходящие время от времени, – совершенно отличное явление, которое расстраивает теорию устойчивости генотипов не более, чем радиоактивность нарушает теорию постоянства элементов. Действительно, в обоих случаях появляющиеся изменения лишь подтверждают наше мнение о разрывной природе, которую статистика очень часто стирает.

Но ведь не можем же мы обойтись без статистики! При исследовании с чистыми линиями и с гибридами, что занимает намного больше времени, мы должны иметь дело с последовательностью индивидуумов, чьи средние или их группировки из различных сочетаний генов подвергаются числовой обработке. Биолог здесь никогда не должен пренебрегать элементами статистических методов, ибо только в этом случае можно добиться чёткого выражения полученных результатов и более подробно обсуждать количественные соотношения в рассматриваемом материале. Часто необходимо понимать специальные количественные отношения, например, в связи с имевшими место сочетаниями генов, когда численное значение результата должно быть удостоверено.

В пределах многих областей, в которых производятся физиологические опыты, от самых утонченных химических измерений крови и других жидкостей до массовых, приспособленных к практическим потребностям, принципы совместного измерения исключительно важны. Как сказал Тиле, здравый смысл и небольшой стол недостаточны. Теперь это признают все биологи, которые, взятые в целом, способны понимать дело, и это понимание преобладает также в такой области как, например, в статистике форм географии растений, которую в Дании представляет Raunkjær⁹. Хотя биологи и особенно исследования наследственности ввязывается в стычки с тенденциями в статистике, они в то же время многому научились от подчас высшей формальной логики чисел *противника*. Но в пределах естественных наук значение предпосылок в конце концов является решающим первоначальным основанием, обработка которого навсегда останется вторичной. Гёте был прав, утверждая, что *Это из старых грехов. Вы думаете вычисление, а это изобретение*.

Наконец, биология в действительности лишь одна наука среди других. Бесчисленные обстоятельства в жизни, – и в культуре, и в природе, – как это бывает в действительно смешанных совокупностях организмов в мире расположены не в области биологии, а под или над ней. Хорошо бы биологам видеть, что у дорогих живых существ имеются интересы, отличающиеся от биологических. С другой стороны, несомненно хорошо было бы социологам, статистикам и представителям всех других наук уважать биологические ползучие растения или корни их сфер интересов.

Эти различные науки должны решить многие проблемы совместно. К ним относится, например, такая запутанная проблема как пьянство. Она выглядит несколько отличным образом с биологической точки зрения исследователя наследственности, чем с точки зрения статистика, и это обстоятельство иногда приводило к спорам по поводу причинности.

Если истины биологии и, например, статистики располагаются на различных уровнях, как в рассмотренных выше проблемах, обе они могут быть значимыми, но для различных целей. Истин более, чем одна, или, точнее, истина относительна. При взгляде с каждой области исследования она представляется различным образом в зависимости от широты проникновения в подробности или краткого обзора целого. Как сказал поэт, *Если воюет ответ с ответом, то, чтобы быть верными, они должны стремиться к одному и тому же.*

Рисунок, описанный в тексте

Из подписи к нему: Показаны пять чистых линий гороха, группированные по длине. Как правило, по размеру гороха невозможно определить соответствующую линию.

Примечания

1. Термин *вариационная статистика* малоупотребителен. По описанию автора, она сводится к элементам теории ошибок.
2. Автор неоднократно ссылается на Гальтона (и на Кетле), но неплохо было бы указать, основные упомянутые им формулы вывел Гаусс.
3. В естествознании (Мендель, Ньюком) было принято без особого обоснования считать, что разность между двумя эмпирическими величинами значима, если она превышает сумму соответствующих вероятных ошибок, см. Шейнин (2005/2009, §§ 10.10.3 и 10.9.4). Марков (там же, § 10.9.4) одобрил это правило, опять же без обоснования.
4. Это непонятно.
5. Т.Н. Тиле (1838-1910), датский астроном и статистик.
6. Интересна мысль Чупрова (1906/1960, с. 125): *Я оставляю открытым вопрос, в какой мере оба вида интереса к индивидуальному могут послужить основой самостоятельных наук; могут ли, следовательно, рядом с географией утвердиться и другие науки об абсолютно индивидуальном.* Впрочем, любая наука должна обобщать, в том числе и география, и учение о наследственности.
7. Автор не указал, что среда всё-таки влияет на внутривидовые различия, достаточно вспомнить о роли географической изоляции.
8. О Браве см. его собственный мемуар (1846) и Пирсон (1920).
9. С.С. Raunkiär (1860-1938), датский ботаник.

Библиография

- Чупров А.А.** (1906, нем.), *Статистика как наука*. В книге автора *Вопросы статистики*. М., 1960, с. 90 – 141.
- Шейнин О.Б., Sheynin O.** (2005, русск.), *Theory of Probability. Historical Essay*. Berlin, 2009.
- Bravais A.** (1846), *Sur les probabilités des erreurs de situation d'un point. Mém Acad. Roy. Sci. Inst. France*, t. 9, pp. 255 – 332.
- Pearson K.** (1920), *Notes on the history of correlation. Biometrika*, vol. 13, pp. 25-45. Reprinted in Pearson E.S., Kendall M.G., Editors (1970) *Studies in the History of Statistics and Probability*. London, pp. 185-205.



Василий Демидович

ИНТЕРВЬЮ

С ПРЕДРАГОМ ОБРАДОВИЧЕМ

Во время моей командировки в Черногорию Милоица Ячимович, у которого я уже взял интервью, предложил мне организовать ещё интервью с первым деканом Природно-математического факультета Университета Подгорицы, профессором Предрагом Обрадовичем (Predrag Obradović). При этом Милоица предупредил меня, что интервью с профессором Обрадовичем может «сорваться», поскольку он теперь на пенсии, живёт, в основном, в своём загородном «дачном» доме, и в Подгорицу приезжает лишь изредка. Разумеется, я выразил своё пожелание, чтобы такое интервью, всё-таки, состоялось.

И вот через несколько дней Милоица сообщил мне, что профессор Обрадович готов приехать со своей дачи в Подгорицу для беседы со мной. Интервью он предложил организовать в уютном кафе «Башчаршца», расположенном на «Улице 13 Июля» (примеч. В.Д.: *тринадцатое июля является Днём государственности Черногории, причём эта дата была выбрана по двум причинам: во-первых, 13 июля 1878 года Берлинский конгресс признал Черногорию независимым государством, а, во-вторых, в ночь на 13 июля 1941 года черногорцы подняли восстание против войск фашисткой Италии, оккупировавшей Черногорию в апреле 1941 года*). Там, в присутствии Милоицы Ячимовича, оно и состоялось, завершившееся нашей поездкой в (находящийся недалеко от Подгорицы) ресторан «Ниагара» (Niagara) возле живописного водопада на реке Циевна (Cijevna).

Далее следуют расшифровка этой беседы, любезно осуществлённая уже упоминавшимся, в связи с моим знакомством с Милоицей, Сергеем Владимировичем Свиридовым.

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДРАГОМ ОБРАДОВИЧЕМ

В.Д.: Я буду задавать Вам, дорогой профессор Обрадович, свои вопросы по-русски, а Вы можете отвечать мне, как Вам будет удобнее - по-сербски или по-русски. Причём, если ответ будет по-сербски, то Милоица поможет мне с переводом его на русский язык.

Я считаю за честь, Предраг Милетович, что Вы согласились на беседу со мной. Разрешите, прежде всего, поблагодарить Вас за это.

Мой первый вопрос. Расскажите сначала о себе и своей семье, а также о том, как появился у Вас интерес к математике?

П.О.: Очень универсальный вопрос, и на него все отвечают одинаково.

В.Д.: Ну, у Вас папа математику знал?

П. О.: Мои родители были неграмотными крестьянами. Что касается семьи - я первый закончил университет.

В.Д.: Первый в семье получил высшее образование? А почему Вы пошли учиться на математический факультет? Вы ещё в школе заинтересовались математикой?



П.О.: Перед поступлением в Белградский университет я долго обдумывал, на что мне там лучше учиться - на математику, или на философию, или на право, или на электротехнику.

В.Д.: Это Вы так раздумывали, или был лишь такой выбор?

П.О.: Просто я колебался. То, что я стал учиться на математика, было лишь следствием того, что я встретил друга, который тоже имел такую же альтернативу. И мы оба решили, всё-таки, учиться на математика. Это был 1957-ой год.

В.Д.: Значит, Вы поступали в Белградский университет в 1957-ом году? Точнее, вместе со своим школьным другом, Вы были зачислены на математический факультет Университета?

П.О.: Да. Если бы я встретил тогда кого-нибудь другого, то, возможно, сейчас был бы юристом.

В.Д.: У кого Вы учились на первом курсе Белградского университета? Я имею в виду математические курсы, скажем, курс математического анализа.

П.О.: Мне в то время преподавал старый профессор, сейчас его уже не в живых, Тадиа Пейович. Он написал 7-8 учебников по анализу и дифференциальным уравнениям. Он был учеником французской математической школы

В.Д.: А-а, Пейович – он присылал свои книги моему отцу.

П.О.: У него есть книга по математическому анализу в 5 томов - основательный студенческий курс с большим количеством задач. Это книга имитирует курс Гурса и другие французские книги.

В.Д.: И что, он советовал студентам изучить ещё курс Гурса?

П.О.: Да. Но я, за время обучения, не дошёл до курса Гурса. Но у Пейовича, по существу, этот курс был изложен, потому что он учился во Франции.

В.Д.: А Вы по-французски читаете?

П.О.: Позже, да, немного. Но тогда не было французских книг в Белграде.

В.Д.: И русских не было?

П.О.: У нас стало много русских книг лишь после 1960-ого года.

В.Д.: Да, понятно.

П.О.: Югославия же в 1948-ом году поссорилась с Советским Союзом.

В.Д.: Но ведь Хрущёв приехал в Югославию «мириться» ещё в 1955-ом году! И всё равно, до 1960-го года у вас не было литературы, даже научной, из Советского Союза?

П.О.: Да, так и было.

В.Д.: Ну, теперь у меня такой вопрос. Вы, наверное, знали Воина Дайовича?

П.О.: Да, это мой профессор.

В.Д.: Он Вам читал лекции, понятно. А сына его, Слободана, знаете?

П.О.: Да, знаю.

В.Д.: Вот из Интернета я прочёл, что у Слободана Дайовича учителем был Младен Беркович. Расскажите немного о нём.

П.О.: Я про него ничего не знаю.

В.Д.: А он указан «супервайзером» по РШ Слободана Дайовича. Ну раз Вы про него ничего не знаете, то мой вопрос отпадает.

В 1974-ом году был создан университет в Черногории.

П.О.: Да.

В.Д.: Вы стояли у истоков его создания. И Вы сразу стали деканом природно-математического факультета, или такого факультета, по началу, ещё не было?

П.О.: Сначала шла подготовка к формированию университета. Одна черногорская делегация была в Москве, встречалась там с советскими руководителями.

В.Д.: В Москве, в Московском университете?

П.О.: Да-да. И встречались мы с Петром Матвеевичем Огибаловым.

Он, ещё во время войны с фашисткой Германией, бывал в Югославии. Он был лётчиком. Был сбит над Белградом в ходе его освобождения и долго лежал в больнице в Белграде в 1944-ом году. И там он познакомился со многими черногорцами, некоторые из которых стали генералами.

Я думаю, что это было в начале 1944-ого или в конце 1943-ого года, когда команда советских пилотов, в которой был и Огибалов, передислоцировала наш штаб с острова Вис сначала в Румынию, а потом в Москву. А потом Огибалов воевал над Белградом. В общем, у него появилось много друзей-югославов.

(Примеч. В.Д.: Упомянем, что «Угя» расположенный в Южной части Хорватии остров, самый удалённый от материка среди населённых островов Адриатики. В центральной части этого острова есть так называемая «Пещера Тито», где в 1944 году он организовал сопротивление против немецкой оккупации Югославии.

Напомним некоторые сведения о жизненном пути этого многолетнего лидера Югославии, принявшего партийный псевдоним Тито, впоследствии соединившийся с его фамилией.

Иосип Броз /Иосип Броз/ (1892-1980) родился в многодетной крестьянской семье в деревне Кумровец /Китровец/ «Королевства Хорватии и Словении», существовавшего тогда в составе Австро-Венгерской империи. С 17 лет он начал свою трудовую деятельность на различных заводах Загреба и Любляны, вступив вскоре в Социал-демократическую партию Хорватии и Словении. Мобилизованный в Австро-Венгерскую армию, он участвовал в Первой мировой войне, где, тяжело раненный, был захвачен в 1915 году в Российский плен.

В Российской больнице Тито провёл около года, а вслед за тем он был отправлен в трудовой лагерь на Урал. Освобождённый из лагеря после Февральской революции 1917 года, он активно включился в Российскую политическую деятельность. Временное правительство его дважды арестовывало, но он оба раза устраивал свои побеги. С наступлением Гражданской войны Тито вступил, в 1918 году, в Красную армию, но пробыл в ней недолго: после женитьбы (речь идёт о его первой женитьбе - а вообще он был женат пять раз) на молодой русской девушке Пелагее Денисовне Белоусовой (1904-1968), он устроился работать механиком в Омске, а в январе 1920 года вернулся на родину, ставшую частью государства Югославия.

С возвращением на родину Тито вступил в Коммунистическую партию Югославии (КПЮ). Но в конце 1920 года эта компартия была запрещена, а затем и разгромлена. Тем не менее, Тито не прекращал свою подпольную коммунистическую деятельность, за что неоднократно подвергался преследованиям, арестам, тюремным и каторжным заключениям.

В 1935-1936 годы Тито жил в СССР, работая в Коминтерне. В декабре 1937 года он вернулся в Югославию и возглавил подпольную КПЮ.

В 1941 году, после оккупации Югославии войсками Германии и Италии, коммунисты страны, организовав сопротивление, сформировали партизанские отряды для изгнания захватчиков. Эти отряды вскоре составили единую Народно-освободительную армию Югославии (НОАЮ), во главе которой встал Тито. Успешность деятельности НОАЮ в борьбе с фашистскими оккупантами была признана всеми странами анти гитлеровской коалиции. А в апреле 1945 года НОАЮ, совместно с частями Красной Армии, полностью освободила Югославию (за что Тито, к тому времени имевший звание «маршала Югославии», был награждён советским орденом «Победы»).

После освобождения страна была провозглашена Демократической Федеративной Республикой Югославией (ДФРЮ), позже переименованной в Социалистическую Федеративную Республику Югославии (СФРЮ), и Тито стал её премьер-министром. Но возникшая в 1948 году у Тито идея образовать с Болгарией «Балканскую федерацию» вызвала негодование Сталина. И в 1949 году советское руководство разорвало Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с Югославией. В СССР развернулась пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию югославского руководства. В этих условиях Тито принимает решение о сближении Югославии с США и другими странами блока НАТО.

В 1953 году Тито был избран президентом страны и занимал эту должность до конца своих дней. Несмотря на восстановление советско-югославских отношений при Хрущёве, Компартия Югославии во главе с Тито и далее успешно отстаивала «собственную модель социалистического общества».

В годы правления Тито Югославия заняла видное место в Движении неприсоединения. За весь период его правления уровень жизни и экономического развития был одним из самых высоких среди стран социалистического лагеря.

В 1980 году Иосип Броз Тито тяжело заболел. Ему была проведена ампутация обеих ног, но это не привело к улучшению состояния. И в мае 1980 года он скончался Любляне. Его усыпальница находится в Белграде, в мавзолее «Дом цветов» /Кућа цвећа/.)

В.Д.: А правда ли, что за то, что Огибалов участвовал в освобождении Белграда, ему в Югославии подарили дачу на берегу Адриатического моря? На Мехмате МГУ ходил такой слух.

П.О.: Он - кавалер высокого югославского военного ордена. Но насчёт дачи – такого не было.

В.Д.: Вот у нас и говорили, что он имел такой высокий югославский орден, что по нему полагалась ещё и дача.

П.О.: Личной дачи в Югославии у него не было - просто у него была возможность пребывать на государственной даче столько времени, сколько он захочет, во время посещения Югославии.

Итак, мы готовились в 1970-ых годах к формированию университета, и наши люди встретились с Огибаловым. Он включился в этот процесс. И с этого момента началось сотрудничество нашего университета с Московским университетом. Конечно, в первую очередь через математику, так как деканом Мехмата МГУ был Огибалов. И сотрудничество началось еще до того, как наш университет был реально создан.

А в 1966-1967 годы я был ещё и в Воронеже. Десять месяцев там был.

В.Д.: И с кем Вы там общались?

П.О.: В основном, с Красносельским.

В.Д.: Там были, также, Перов, Забрейко...

П.О.: Забрейко тоже помню

В.Д.: Хорошо.

Владимир Михайлович Тихомиров там ещё был? А, нет, он уже был в Москве. Это мой бывший заведующий кафедрой – он тоже работал в Воронеже, но раньше, где-то в начале 1960-ых годов.

Марк Александрович Красносельский тоже потом переехал в Москву. А его сын, Александр Маркович, стал учеником у Тихомирова на Мехмате МГУ.

Ну ладно. Итак, Вы стали деканом...

П.О.: ... Моя должность называлась «Директор института математики и физики».

В.Д.: Но, по существу, это был факультет?

П.О.: Да.

В.Д.: И Вы, как я понял, активно сотрудничали с деканом Мехмата МГУ Петром Матвеевичем Огибаловым. Ну а с деканом ВМиК МГУ, Андреем Николаевичем Тихоновым, Вы тоже контактировали?

П.О.: Нет.

В.Д.: Ладно.

А с кем ещё, скажем, «из руководителей» нашего факультета, Вы общались? Например, с Виктором Антоновичем Садовничем Вы тогда тоже контактировали?

П.О.: Огибалов занимался сотрудничеством с нами не только от имени своего факультета, но и от имени всего Московского университета. А Садовничий был у него тогда заместителем декана. Это потом он стал сначала проректором, а затем и ректором, МГУ. Но общение у нас с ним и тогда уже было, и до сегодняшнего дня сохраняется.

Мы маленькая страна. А Московский университет сотрудничает с университетами по всему миру. И выделяет квоты, сколько можно послать людей учиться в МГУ. А когда в Московском университете увидели, сколько нас всего, то сказали, что мы можем хоть все приехать учиться в МГУ (*смеются*).

В.Д.: Теперь вот такой вопрос. Наверное, Вы знакомы с Владимиром Антоновичем Зоричем?

П.О.: Да-да-да. Когда мы формировали университет, Зорич работал полгода с нами.

В.Д.: В тот год, когда открылся ваш факультет?

М.Я.: Даже раньше.

В.Д.: И не на недельку приезжал..

М.Я.: На семестр. Он читал нам лекции.

П.О.: Помощь, которую нам оказывал Московский университет, просто неизмерима. Белград немного завидовал: «Как вы можете так напрямую работать с МГУ? Сначала вам помогал Огибалов, потом Садовничий, одно время - и Потапов».

В.Д.: Да, Михаил Константинович Потапов был заместителем декана при Огибалове.

П.О.: У нас установились с ним хорошие отношения, приятельские.

В.Д.: Сам Огибалов никогда лекции у вас не читал?

П.О.: В общем, нет.

М.Я.: Но зато помогал их «организовать».

В.Д.: Да, он умел «руководить».

П.О.: Установление в 1955-м году сотрудничества между Югославией и Советским Союзом явилось поводом для национального югославского праздника. Был устроен приём в Югославском посольстве в Москве. И единственным советским гражданином, который явился на этот приём с югославскими орденами, был Огибалов.

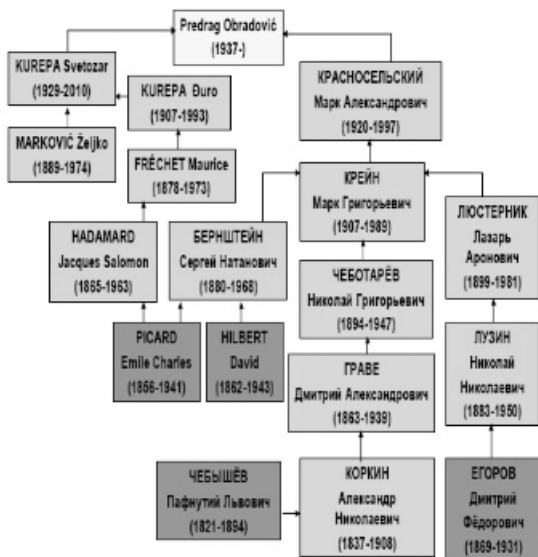
В.Д.: Да, он сохранил югославские ордена, я слышал об этом.

П.О.: Другие советские граждане должны были вернуть ордена, или их выбросить. А Огибалов сказал, что не сделает этого, потому что за них свою кровь проливал.

В.Д.: Понятно. Я прочёл в Интернете, что Университет в Подгорице, в частности, окончили такие известные политические деятели как последний Президент Государственного Союза Сербии и Черногории Светозар Марович /Светозар Маровић/ (р. 1955) и неоднократный (в том числе и нынешний) Премьер-министр Черногории Мило Джуканович /Мило Ђукановић/ (р. 1962). Вы учили их? Например, Светозара Маровича?

П.О.: Нет, я с ним познакомился позже.
 В.Д.: А Мило Джукановича?
 П.О.: Он был Премьер-министром, когда я был Министром образования.
 В.Д.: В его кабинете? А он экономист?
 П.О.: Да.
 В.Д.: Возможно он и математику немного знал? Скажем, задачки по математическому анализу умел решать?
 П.О. и М.Я.: (*смеются*)
 В.Д.: Хорошо: без комментариев.
 Теперь мой личный вопрос. Я знаю, что Ваш сын, Олег, математик. А невестка?
 П.О.: Нет, к математике она не имеет отношения.
 В.Д.: А дети Олега? Они проявляют интерес к математике?
 П.О.: Ну, они еще маленькие. Старшему сыну Олега всего 8 лет.
 В.Д.: А-а, они ещё совсем маленькие. Понятно.
 Ну, у меня вопросы исчерпались. Было очень интересно. Я хочу поблагодарить Вас, Предраг Милетович, за нашу беседу и пожелать Вам всего наилучшего.
 П.О. Спасибо и Вам, Василий Борисович. И передайте от нас привет московским математикам ...

Май 2013 года



Эдуард Бормашенко

МЕРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Часть I

ד'סז

Представим себе марсианского антрополога, засланного на Землю изучать человеческое общество. Свой отчет, помеченный декабрем 2015 года, инопланетянин начнет так: по всей территории планеты Земля отмечается любопытное смешение культур. Культурный компот удивительно сбит из древних мифологий и знаний, полагаемых землянами передовыми, научными. Наш марсианский гость, добросовестный ученый, отметит с удивлением, что старые, проверенные, традиционные мифологии бодры и жизнеспособны, их представители задорно отрезают друг другу головы, в то время как прогрессисты следят лишь за тем, чтобы не отрубали головы им самим, что ничего хорошего жрецам храма Разума не сулит. Выживать сколь-нибудь исторически значимое время, лишь только прикрывая уязвимые части тела от колотушек, невозможно.

Смешение патриархального и нового стилей бросается в глаза. Рядом с мечетью, располагается напичканный суперкомпьютерами банк, муэдзин сзывает правоверных на молитву через громкоговоритель. Проповеди Римского Папы передаются по телевидению. Молящиеся иудеи вместо молитвенника подглядывают в мобильные телефоны. Старый и новый стили неразделимы ни в пространстве, ни во времени, ни в сознании землян. Нобелевские лауреаты: профессор Уман – иудей, физик Абдус Салам – мусульманский сектант, а профессор Таунс – христианин. Продвинутые ученые, отринувшие и попирающие все возможные табу, бледнеют, завидев черную кошку, пересекающую тропинку университетского кампуса; когда профессоров прихватывает рак и дело идет на чистоту, прячут под подушку амулеты и советуются с шаманами.

А сами пассионарные шаманы и ворожеи, наподобие Алана Чумака, вместо того чтобы трясти блестящими погремушками и плясать ритуальные танцы, рассуждают о всепроникающих полях и вшлетают в заклинания загадочные слова: биоэнергетический, инфракрасный, спектральный, без которых пассы, которыми они осеняют паству, по-видимому, не действуют.

Наиболее загадочны – прогрессивные, передовые земляне, полагающие себя незащоренными атеистами. На самом деле, они верят в гуманизм и науку, не замечая того, гуманизм и наука не сшиваются, и чем дальше, тем непреложнее друг от друга отдаляются.

Первым известным землянам гуманистом был Протагор из Абдеры, говоривший: «о богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, – и вопрос темен, и людская жизнь – коротка». И еще он говорил: «человек есть мера всем вещам – существованию существующих и несуществованию несуществующих» (Диоген Лаэртский, «Протагор»). Обе эти цитаты должны бы предвещать конституции западных демократий. Они же составляют и конституцию постмодернизма, ведь, если человек мера всех вещей, а сколько людей столько и мнений, то абсолютной истины нет, и взыскать ее бессмысленно.

Из протагоровой максимы «человек – мера всех вещей», вырастают суд присяжных и демократия, доверяющие человеку с улицы, не юристу, не антропологу, не политологу – жизнь подсудимого, да что подсудимого – государства. Безбрежное распространение этого подхода непринужденно приводит к безумию, это происходит, когда человеческой мерой начинают мерить нечеловеческое: защитники прав животных, повизгивающие, приплясывающие, защищающие права грызунов и требующие прекратить опыты ученых вивисекторов на мышках – тому пример. У животных нет прав, но у людей есть обязанности.

До Нового Времени, учению Протагора не везло. Образованное человечество предпочло Протагору Платона (а необразованное, кто ж спрашивал?). Платон утверждал прямо обратное, а именно существование *абсолютной меры всех вещей*, истины, пребывающей в Б-жественном разуме. А ученому, философу надлежит, очистив душу, созерцать величественную и вечную Б-жественную истину. Платон был очень вдохновлен успехами геометрии, являвшей несомненный пример красоты нетленных Истин, тех самых, что с большой буквы. В самом деле, тот факт, что сумма углов треугольника равна двум прямым, кажется независимым от мнений, пищеварения и зубной боли столь ненадежной меры всех вещей, как человек.

Платон органично ненавидел демократию, имея к ней личный счет: афинская демократия казнила его любимого учителя, лучшего из людей, Сократа. Платон полагал, что «несведущий должен следовать за руководством разумного и быть под его властью».

Очень пристрастный критик Платона, Карл Поппер, возлагал на платонизм ответственность за скверный, зверский ход человеческой истории, за тоталитаризм, пуше чумы истреблявший людей, в попытке создать идеальное платоновское государство, за снобистское отношение к человеку, просто человеку, не призванному созерцать мир идей, но мудро созданному, для того чтобы от рождения и до смерти выносить за аристократами ночные горшки.

Сейчас для аристократизма настали худые времена. В моде Протагор, и человек стал-таки мерой всех вещей. Но просвещенный мир покоится не на одной чрепахе гуманизма, он опирается еще и на слона науки. И скажем откровенно, без науки, без «зеленой революции», без антибиотиков, без электричества и компьютеров гуманизма было бы значительно меньше. Когда нечего кушать, не до гуманизма.

Дело, однако, в том, что современная наука все менее согласуется с протагоровым «человек есть мера всех вещей», все более утрачивает меру человеческого. Старинные меры: локти, футы, сажени были привязаны к человеку, понятны и соизмеримы человеку, и легко человеком представимы. Пикосекунды, фемтосекунды и нанометры с человеком несоизмеримы. Но мы оперируем ими, и успешно. Ландау, как-то гениально заметил: «оказалось, что мы можем понять, то чего не можем представить».

Но мы можем понять непредставимое, лишь все выше восходя по лестнице платоновских абстракций, совершенно отделенных от человека. Объекты современной физики, такие как суперструны – несоразмерны человеку. Нынешние элементарные частицы уже и вовсе не частицы в привычном смысле слова. Мир квантовой гравитации – дистиллированный мир платоновских идей. Современная наука – условная игра условных объектов, рассказанная условным языком, кодом, почти полностью отделившись от живого, человеческого языка. И доступна эта

игра лишь специалистам, готовым отдать десятки лет жизни, колуванию в очень узко очерченной проблемке.

Таким образом, в науке сегодня, не человек мера всех вещей, но эксперт – мера вещей, доступных этому эксперту. И та же самая «экспертизация» происходит в литературе, музыке, живописи. Это для знатоков сочиняли Пруст и Джойс, для них выходят научные журналы, пишут додекафонистскую музыку и устраивают выставки инсталляций. Нам ничего не остается, кроме, как доверять экспертам. Я вот не климатолог, и не могу составить суждения о том, реально ли глобальное потепление. Мне не остается ничего иного, кроме как доверится знатоку, которые, как говорил Марк Алданов, только и делают, что ошибаются, но не иначе, как по всем правилам науки.

Но если так, какая уж из меня «мера всех вещей»? Вера в специалистов, мало отличается от веры в шаманов и ворожей, в обоих случаях – я доверяю слепо. Но что-то иногда и верится с трудом. Я – не усердный дегустатор живописи, но, врожденная жестокосердность мешает мне поверить гурманам, что «Черный Квадрат» выше рембрандтова «Возвращения блудного сына».

А для простого человека снимают сериалы «про любовь», фильмы про бандитов, пишут незатейливые детективы и растекаются в сиропные лужицы попсовые певцы. И очень часто, утром ты – сноб, знаток, эксперт, а вечером (ну, нельзя же весь день мозги сушить) – включишь детективчик. То есть специалист и серый обыватель – это один и тот же человек, и представляет собою очень ненадежную меру всех вещей.

Весь прогресс науки был обеспечен платониками, верующими. Ньютон, Лейбниц, Эйнштейн были верующими в платоновском понимании слова, они не изобретали Истину, но открывали ее, как скульптор, снимая драпировки, открывает статую. Статую открывают, но в ее существовании никто не сомневается. Роджер Пенроуз, быть может наиболее всеобъемлющий ум современной науки, не скрывает своих платоновских предпочтений.

Наш марсианский гость, подытоживая отчет, заметит, что семь земных, городских искусств в XXI веке становятся все платоничнее, все менее человечны и измеримы мерой человеческого, а окружающий землянина обыденный мир – все вульгарнее, протагорски пошлее и площе.



Алексей Курилко

В ДОЛГУ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ

Почти на самом краю XIX века, а именно 11 апреля 1895 года, в центральный суд Лондона было передано уголовное дело, обвиняющее одну всем известную и скандальную личность в "глубоко непристойных действиях с мужчинами". Гомосексуализм карался законом сурово. Свобода личности оказалась под угрозой ареста и тюремного заключения. А эта личность мало того что дорожила, но и стремилась к абсолютной свободе во всем и всегда. В те времена такое чрезмерное стремление переходило все мыслимые границы тогдашних традиций нравственности и морали. Поэтому, возможно, представители высшего света, позволяли себе и не такое, но исключительно тайно, упиваясь вкусом запретных плодов, не афишируя себя и свои пристрастия, свои наклонности и пороки, а на людях вели себя благопристойно, и даже слишком благопристойно, чопорно... Ханжество набирало силу, лицемерие становилось нормой... И вот один человек сделал себе имя тем, что стал говорить вслух то, о чем многие только думали... Это было началом его возвышения. Затем он стал вести себя так, словно не ведал правил приличий и воспитания, а точнее, не желал им следовать, высмеивая тех, кто стал их заложником. Это было пиком его возвышения. А чтобы с той высоты свалиться вниз, и стремительно достигнуть самого дна, и разбиться насмерть, для этого достаточно было сделать всего один шаг вперед. И... Он его сделал.

Если бы это произошло теперь, и если бы я имел честь быть его адвокатом, я бы свою заключительную речь защиты построил бы так:

«Ваша честь! Уважаемые присяжные заседатели! Дамы и господа! Леди и джентльмены! Друзья, недруги, нейтралы!..

Мой подзащитный – человек незаурядный, талантливый. Я бы даже сказал – великий. Да-да, я не побоюсь этого слова! Великий! Чтобы это доказать, достаточно прочесть его роман, или посмотреть спектакли по его пьесам... Благодаря его творчеству мировая антология афоризмов заполучила в его лице одного из самого плодovitого и лучшего создателя нескольких десятков остроумных цитат и парадоксальных, стилистически безукоризненных, блестящих сентенций.

Английский философ, сатирик, эстет, писатель, поэт ирландского происхождения и один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода. Да, да, да... Все это он один. Лондонский денди и острослов. Мыслитель. Романист. Сказочник. В первую очередь известен своими воспитательными пьесами, полными тех самых остроумных парадоксов и филигранно отточенных афоризмов. Автор скандального романа «Портрет Дориана Грея». Все это – Оскар Уайльд, чье полное имя звучит как Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллис Уайльд.

Сегодня мой подзащитный обвиняется в том же, за что был осужден еще при жизни. Он обвиняется в непристойном поведении. Господин обвинитель также настаивает на пункте «безнравственность». Ну что же, это его право. А мое право и моя святая обязанность защищать гениев и злодеев, защищать тех, кто заслужил наше внимание и свое место в истории, защищать по мере моих сил, а сил у меня, как говорил один кинопошляк, сил у меня не меряно.

Только умоляю вас – не торопитесь с выводами, прослушайте мою заключительную речь до самого конца и только потом, взвесив все «за» и «против», выно-

сите ваш окончательный вердикт... и да поможет вам Бог. Тот самый Господь Бог, который, как отец родной, любит своих детей и беленькими и черненькими, чистенькими и не очень, всякими любит... Любит и прощает нам наши грехи, наши слабости... Не только потому, что мы созданы по образу Его и подобию, но и поскольку принимает нас такими, какие есть... Он хотел бы, чтобы мы были идеальными, чтобы Он гордился нами, как любящий отец гордится и радуется успехами своих сыновей. Но отречься от тех, кому не повезло, или от тех, кто отличается от других, Он не собирается. Я, само собой, ничего этого знать наверняка не могу, мы не так уж близко знакомы, всё это лишь мои предположения. Помыслы Бога, равно и Его истинное отношение к нам, к простым смертным, Его характер мне не ведомы. Я даже не могу поручиться в том, что Он существует, не могу так же знать, существовал ли Он...

Вернемся к тому, о ком мне известно точно. Пусть далеко не всё, но многое...

2

История его падения звучит сегодня невероятно, и по сей день остается одной из самых знаменитых и самых ужасных литературных катастроф.

Прежде чем сотворить свои литературные шедевры, Оскар Уайльд сотворил самого себя. Недаром он писал: «Цель жизни – саморазвитие, выразить во всей полноте свою сущность – вот для чего всякий из нас призван в этот мир». Неглупо, очень неглупо. И для той эпохи довольно смело и свежо.

Еще в Оксфорде сформировалась его неподражаемое остроумие, изящные манеры и своеобразный стиль одежды. И некоторая часть напускного равнодушия, напополам с презрением, высокомерия и самолюбия, которое он не скрывал, а подчеркивал. Всё это было игрой. Но чем старше он становился, тем высокомернее он себя вел. С годами та застывшая маска гордеца, циника, эстета и представителя если не высшего аристократического света, то уж во всяком случае, человека богемного, за которой, вероятно, он прятал своё истинное и живое лицо человека раннего, из небогатой семьи, прислала к коже и стала частью его образа. Многие полагали, что на людей он смотрит с всезнающим и плохо скрываемым презрением, и чуть свысока, и не только из-за своего высокого роста. Это была позиция. И вера. (Но не уверенность!) А ещё он был близорук, глядя человеку в лицо, слегка щурил глаза, тем казалось, что взгляд его глаз презрителен, насмешлив...

За все вышеперечисленное большинство сверстников не любили Оскара. Он их раздражал, даже бесил. Однажды шестеро сверстников, предварительно сговорившись, напали на него. Он бы справился с каждым из них по отдельности, один на один в честном поединке, а так... они сбили его с ног и, пиная ногам, проволокли вверх по склону высокого холма, прямо по земле, и только на вершине холма отпустили. Я повторяю – их было шестеро, а он один. Но он встал на ноги и, не теряя чувства достоинства, сверх того, с явной демонстрацией чувства своего превосходства, спокойно и небрежно стряхнул с себя пыль и ровным тоном холодно сказал: «Спасибо вам, господа! Вы правы! Вид с этого холма действительно очаровательный». Согласитесь, это красиво и вполне достойно восхищения. Кто бы что ни говорил, он умел держать удар – и в прямом смысле, и в переносном.

Он еще ничего не сделал, не написал по сути ничего стоящего, а о нем уже говорил весь Лондон, а потом и весь мир. Он зарабатывал на жизнь тем, что писал рецензии на книги и произведения искусства, а так же чтением лекций в Англии и в Америке...

Кстати, первый по-настоящему громкий триумф он получил именно в Америке. Там его эксцентричность не раздражала, а производила впечатление. А вызывающие наряды вызвали интерес уже к самому человеку, который осмеливался выглядеть не так как все. К нему шли на лекции из любопытства, а уходили с лекций покоренные его манерой держаться, нестандартно мыслить, ловко отвечать на каверзные и провокационные вопросы. Публика как женщина. Мы это знаем. Ярких и уверенных в себе она ценит и поддается очарованию того, кто умело и смело берется её завоевывать и очаровывать.

Но и это не всё. Вот что написал один исследователь его творчества о лекциях в Америке: "После лекций Оскара увозили на попойки, и крепкая голова снискала ему такое уважение, какого он никак бы не мог завоевать свои прозой. Ещё внукам потом рассказывали об одном щеголеватом английском поэте, который мог переписать дюжину горняков, а потом вынести их, взяв под руки по двое враз".

На родину Уайльд вернулся знаменитым. Но большинство продолжало относиться к нему с презрением. Его мало кто воспринимал всерьёз. Он заявлял, что он великий поэт, но практически не пытался предоставить никаких веских для таких громких заявлений доказательств. Да, эпатировать читателей или слушателей неожиданным выпадом он научился. И совершал это настолько тонко и элегантно, что на него не мог сердиться даже объект его острых шуточек, далеко не все и не всегда могли уловить: этот выскочка и недоучка Уайльд дерзит нам, пародирует нас, издевается над нами или он просто забавный шут?.. Некоторые побаивались его критики. Словом он владел совершенстве. Его экспромты мгновенно передавались устно по всему Лондону, а потом распространялись и дальше. Журналы и газеты теперь боролись за каждую новую его публикацию. Но статьи, интервью, да одна тоненькая книжка стихов, этого мало чтобы завоевать сходу британскую публику. Она была избалована наличием целого списка гениев. Тот список возглавлял Шекспир, а завершался Диккенсом. Всех нынешних претендентов, чопорные англичане, ненавидя перемены, равняли на самых лучших из этого списка, и пополнять его новыми именами не спешили.

Пусть он высоко ценится за рубежом... Что они понимают в истинных произведениях искусства? Все эти американцев, немцы, русские... Варвары... Ну, стишки... Кто их только не писал?... Рецензии, статьи, критические очерки... Не велика заслуга... Ну, забавен... Ну, непредсказуем... Ну и что? Выпустил книгу философских сказок... Ну, чистый, хороший слог... И всё так красиво описано... Но взрослым сказки не нужны, а детям нравятся сказки попроще... С ясным и крепким сюжетом, с ясным и понятным финалом... С моралью в конце... И...это... Без лишних выкрутасов... А тут какие-то намеки... Всё так красиво, но надо думать, разгадывать... Если это притчи, пусть будет в конце четкий вывод, так, мол, и так... Добро, дескать всегда одолеет зло... В гостях хорошо, но дома... и стены помогают... Как-то так... Это привычно. Традиционно!

3

А так-то он большой оригинал. Одет он всегда был безупречно, но допускал в одежде какой-нибудь неожиданный элемент. То вденет в петлицу ярко оранжевый цветок, то пройдет с подсолнухом, или явится на званый ужин с живой ручной белой мышью на плече, то наденет шубу с большим зеленым воротником, и при этом на дворе – лето. "Мода – это то, что носишь сам. Все, что носят другие – немодно". (Оскар Уайльд)

Культ красоты умилял. Цинизм притягивали. Юмор впечатлял... Парадоксальность мышления по-честному удивляли, шокировали... Ну, а внешний вид... Я Вас умоляю! Пусть хоть абажур на голову напялит вместо цилиндра! Чудак или шут? Пусть! Но уверяет, что он великий эстет. Секунду! Ну, ладно, этика, но эстетику он дискредитирует, называя себя королем безупречного вкуса. Посмотрите на него! Эти вызывающие шорты, и к ним облегающие гольфы... Эта смешная шляпа... А эти отпущенные волосы до плеч?

Эту экстравагантность ему прощали, потому как после окончания университета Оскар очень скоро стал любимцем лондонского общества. Причем, как тонкий стратег, он сперва завоевал высший свет, понимая, что чернь всегда прислушивается к тому, что говорят о ком-то там наверху. А то, что сперва все критики его ругали и высмеивали, играло ему только на руку. Мы и теперь критикам верим только тогда, когда они подтверждают наше мнение. А если мы не знаем того, о ком они говорят, ругаясь, говорят, возмущаясь, трясясь в пароксизме гнева, то мы склонны сомневаться, а так ли он гадок, как говорят о нём те, кто годами хвалил тех, кто нам уже давно надоел.

Уайльда ругали, критиковали и высмеивали... Но жадно следили за каждым его шагом, и он этим пользовался... Когда его спрашивали, каков его основной род занятий он скромно заявлял: быть гением...

В личном же общении он всегда очаровывал собеседника. Это тоже своеобразный дар. Рядом с ним всегда было интересно. Он оригинально мыслил, тонко и парадоксально шутил, был интересен...

Его заваливали приглашениями. Он был желанным гостем в любом доме. Один из его современников написал: «Он был без преувеличения самым великолепным собеседником, которого я встречал в своей жизни. Никто не мог затмить его в любой компании. В его присутствии вообще ни на кого больше уже не обращали никакого внимания».

Затем Оскар Уайльд написал роман «Портрет Дориана Грея». Сюжет был навеян бальзаковским романом "Шагреновая кожа". Самое интересное заключалось в диалогах. Скорее всего, циничная сторона автора учила правде жизни часть своей романтической натуры. Вот и всё. Думаю, лорд Генри и Дориан Грей это всего лишь две стороны одной медали. Но лицевой стороной своей медали, главным лицом собственного образа, Уайльд сделал лорда Генри. Именно таким он себя показывал большинству наблюдавших за ним.

Роман вызвал нешуточный скандал. В первую же неделю на роман было написано тридцать шесть отрицательных отзывов и рецензий. Есть версия, что около десяти из них написал сам Уайльд. Чтобы ещё больше усилить бум возмущения против романа. Думаю, это легенда. Огонь ненависти к автору разгорался среди газетчиков и без дополнительных дров, в виде отрицательных рецензий.

Книгу осудила церковь, это сразу помогло продать весь тираж за месяц! Критики, словно сговорившись, называли эту книгу ужасной и даже безнравственной. Но самыми аморальными в книге были всего лишь мысли – для кого-то страшные и чересчур смелые острые мысли. Мысли! И только-то!

В прессе против Уайльда устроили войну на уничтожение. Его травлили все газеты. Пустив в ход деньги и связи, Уайльд через одну из газет ответил сразу всем критикам разом. Ответ был, как всегда, вызывающим, но лаконичным: "Прошу сделать мне любезность предоставить эту книгу Вечности, которой она принадлежит".

Кое-кто, особенно чувствительный и чересчур щепетильный в таких вопросах, скривится, буркнет недовольно, мол, как не скромно, нельзя быть о себе столь высокого мнения, да у него, дескать, все признаки мании величия... А я, признаюсь, восхищён его смелостью, терпением и умением держать выбранный раз и навсегда образ самовлюбленного и самоуверенного художника. Некоторым талантливым людям следовало бы поучиться ценить себя... Куда там переоценивать, тут хотя бы десять процентов истинной стоимости держать... А что - быть не скромным позволительно только бездарностям? В том-то и беда, что в данном случае, талантливый человек потому так себя и вёл, что был совершенно в себе не уверен. Жаждал славы не ради удовольствия её иметь, а в качестве подтверждения того, что его хрупкая надежда на право претендовать на роль выдающегося человека была не напрасной, он одновременно чувствовал в себе огромный потенциал и страх остаться никем, страх не суметь реализовать себя, ничего не создать, или создать, но не то, что хотелось бы, прослыть шарлатаном, по глупости распылить силы, опозориться...

Теперь-то мы знаем, никакой манией величия он не страдал, он имитировал наличие мании величия, а страдал от ужаса своей неполноценности. Словно неопытный игрок, не зная всех карт, выдавал себя за профи, всё ставил, блефуя, на кон, рискуя всем, что было, вплоть до позора стать всеобщим посмешищем.

Но роман ему удался. Критики ругают? Критики только лишний раз подтвердили, что роман его - прехвосходный. Что? Безнравственный? Это кто выкрикнул? Мы не знакомы? Вас как зовут? Иммануил Кант? Блез Паскаль? Или... Ох, вы, должно быть, сам философ Флоренский?.. Нет? Странно... Тогда вы может даже и не человек, а дух святой... Ваша реплика о безнравственности в наше время так мила и трогательна, что я могу найти ей всего три объяснения. Вы либо ханжа, да ещё и прибыли к нам с помощью машины времени, раз. Либо вы лицемер, да ещё и саму книгу-то не читали... Это, стало быть, два. И третье объяснение, самое точное, как по мне, и логически понятное: вы обыкновенный человек, родом из Советского союза, гомофоб, а значит, вполне возможно, латентный гомосексуалист, и скорее всего вас вызывает антипатию не сам роман, который, вы все-таки, наверное, так и не прочли до сих пор (или, наоборот, до сих пор вы читали его не так), а его автор, мой бедный Оскар Уайльд... Ну, признайтесь! Мы же тут все свои люди, соседи все по планете Земля, это ведь так понятно... Всем!.. Но не вам... М-да...

«Нет книг нравственных или безнравственных. Книги или хорошо написаны, или плохо. Вот и все». Конец цитаты. И это вновь - Оскар Уайльд.

4

Когда ему исполнилось тридцать ещё один роман был четко продуман и даже, особенно поначалу, был неплохо устроен. Роман с очаровательной и скромной девушкой из хорошей, уважаемой и обеспеченной семьи. Он женится на Констанции Ллойд. Та была без ума от него, а он... Ну... Он к ней относился тепло и нежно. Некоторые злопыхатели утверждают, будто он её обманул... Смешно до кома в горле, честное слово. Если он кого и попытался обмануть, то исключительно самого себя. Долго пытался он себя обманывать, честно... Он был с ней обходителен, любезен... Раз в две недели выполнял свой супружеский долг... Четко, как по расписанию, без особенной страсти, степенно, холодно, сдержанно, но исполнял. Даже в таком щепетильном вопросе, не любил, как я понимаю, залазить в долги. Ей всё казалось таким как и быть должно. Сравнить не с кем было. Ничего странного в его поведении она не замечала. Вот только чувствовала какой-то холод с его сто-

роны. Когда она ему что-то рассказывала, он внимательно слушал, однако глаза выдавали безразличие. Обращаясь к ней, он мило улыбался, голос ласкал слух, но глаза, его глаза... Они оставались холодными...

Она родила ему двоих детей. Их он обожал. Когда он рассказывал им сказки на ночь или, лежа с ними на ковре, играл, шутил и смеялся, вот тогда-то она и увидела, какими живыми, сияющими от счастья, могут быть его глаза.

Но это было редко. Появилась ещё одна женщина в их жизни, которая претендовала на его внимание и время. Звали её Популярность. Её сменила Широкая и Шумная Известность. Затем, разогнав всех, ему вскружила голову блистательная Слава. О последней он давно мечтал. И вот, наконец, она ответила ему взаимностью.

Публикация романа, последующий скандал и как следствие скандала, переиздание романа, принесли Уайльду не только долгожданную славу, но и деньги. Однако же, он быстро высчитал, что читающая публика, во много раз уступает по количеству театральной публике. Живи он в двадцатом веке, он наверняка подался бы в сценаристы кинематографа, а в двадцать первом, стал бы телевизионным шоуменом. Он не боялся публики, напротив, он так страстно жаждал ее внимания, что следовал за ней туда, куда были устремлены их взоры. Самым массовым искусством тогда был театр. Оскар Уайльд понял, чтобы иметь возможность быть услышанным множеством людей, чтобы овладеть их умами и душами, необходимо покорить сцену. Стать королем театральных подмостков. Его основной конкурент (других он не воспринимал всерьёз) был главный английский драматург. И хотя он уже давно был мертв, своих позиций он живым отдавать так просто не собирался. У Оскара Уайльда появилась мечта, превзойти своим мастерством самого Шекспира. До сих пор это никому не удавалось. Уайльду, на короткий срок, посчастливилось затмить великого барда, потом он надолго совсем исчез, но только лишь затем, чтобы вновь, уже после смерти, триумфально вернуться в своих пьесах на лучшие столичные сцены всего мира, и стать вторым английским драматургом, покорившим весь мир.

Комедии Уайльда, в отличие от романа, пользовались огромным успехом у широкой публики. Он стал зарабатывать хорошие деньги, но к сожалению он всегда тратил больше, чем мог себе позволить. Так случается со многими художниками. И чтобы продолжать вести тот роскошный образ жизни, к которому он очень быстро привык, ему нужно было работать много, без усталости и как можно быстрее и лучше, ведь в какой-то момент, это уже чисто жизненный парадокс, ему было необходимо состязаться с самим собой. А ведь собственная победа над самим собой, в каком-то смысле, есть и проигрыш самому себе. И даже для того чтобы сохранять такое неустойчивое положение на пьедестале, приходится прикладывать массу усилий, не отвлекаясь ни на что другое... Но Оскар никогда бы не смог работать без удовольствий, удовольствия можно было получать после трудового напряженного дня, но когда и они были поставлены в под угрозу из-за того, что он зашел слишком далеко в попытках проникнуть за пределы допускаемой морали в получение этих самых удовольствий, встал вопрос, что важнее - искусство или жизнь? А еще точнее, что важнее, жизнь искусства или искусство жизни?

5

Итак, он был экстравагантен, щедр и даже расточителен, но он был счастлив. Вот в чем штука. Цель жизни, писал он, есть самовыражение. Высший долг – это долг перед самим собой. И уж этот долг Оскар выплачивал постоянно.

Уайльд самовыражался «по полной», и может быть именно поэтому и был счастлив. Но счастье, как мы знаем, недолговечно. Уайльд этого не знал. Или забыл об этом. А может, как и каждый из нас, верил, искренне верил, что он и на сей раз за Уайльда вступятся сами Боги. Нет, у Богов бывают периоды, когда им приходится, для интереса ли, для интриги ли или испытания ради, но пожертвовать самой крупной фигурой.

6

До 35 лет Оскар Уайльд был однозначно гетеросексуален. Если у него и были гомосексуальные наклонности, то сугубо латентного порядка. Друг Уайльда Роберт Росс, который сохранил свою преданность Оскару до конца его жизни, как-то похвастался, что устроил профанацию, что был первым любовником Оскара, когда ему было 18, а Уайльду уже 35. Причем он утверждал, что не Оскар его соблазнил, а как раз наоборот.

Но если гомосексуальная интрижка на стороне - всего лишь страшное грехопадение, то гомосексуальная любовь, для того времени, уже - верная гибель виду слишком долгого падения с огромной высоты, да ещё и не вызывающая никакого сочувствия или понимания со стороны общества, того самого общества, чьим кумиром он так страстно добивался стать на протяжении стольких лет...

В 1891 году Уайльд познакомился с 22-летним аристократом лордом Альфредом Дугласом, которого члены семьи и друзья называли просто Боуззи, и которому суждено было стать самой большой любовью в жизни Уайльда.

Оскар действительно любил Альфреда Дугласа, а вот Боуззи похоже любил только себя. Ему льстила дружба со знаменитым поэтом и писателем. Он и сам собирался прославиться, как поэт, и надеялся, что достигнет этого с помощью Оскара Уайльда. Если последний пытался скрывать свои наклонности, поскольку понимал, что общество снисходительно относится ко всяким отклонениям от нормы, но только если это совершается тайно, то его любимый жаждал того, чего всегда жаждет пустая личность, лишенная ярких качеств, благодаря коим могла бы гордиться собой или любить себя. Тот, кто лишен самолюбия, готов пойти на всё, лишь бы не только самому узнать о том, что любим, но что бы и весь мир узнал о том, что он так горячо и страстно любим. И не кем-то там, а самим Уайльдом. Один делал всё, чтобы оставить свои пагубные наклонности в секрете, стыдился их, и стыдился того, что их стыдиться... А вот Боуззи в отличие от Оскара любил дразнить публику и изо всех сил рвался к эпатажу.

При этом связи с Уайльдом ему было мало. Он изменял ему, когда тот слишком надолго уходил в сочинительство или в режиссуру... Уайльд не сразу замечал его исчезновения, а заметив, бросался на его поиски, чтобы найти того в каком-то дешёвом борделе, в окружении продажных мальчишек. Далее, по логике, должна была следовать сцена ревности, истерика, упреки, обидные слова и слезы... Но поскольку такая роль и такого рода сцены были противны Уайльду, имеющему безупречный вкус, исключительный такт и самовоспитание, то всё это устраивал Боуззи! Он обвинял своего друга в том, что работа ему важнее, чем их отношения, что он одинок, чувствует себя игрушкой в руках гения... Оскар Уайльд, тонкий, наблюдательный психолог и насмешник в пьесах, настоящий профессионал в мире театра, не замечал, как мальчишка мелко и подло им манипулировал, не замечал явной фальши в истеричных монологах партнёра, поскольку первый винил себя в том, что проповедовал на публике - эгоцентризм, нарциссизм и самовлюблен-

ность... "Бедный мальчик, прости меня, я был слишком увлечен работой, я сам виноват в том, что ты так поступи!"...

Слепец! В эти минуты он, вероятно, вспоминал себя ребёнком, чья мать больше думает о стихах, чем о том кто нуждается в её помощи, заботе, любви... Парадокс! Эгоизм исцелялся ещё более глубоким эгоизмом, выращенном на поле собственной обиды. Чувствуя, не столько правоту любовника, сколько собственную вину за чрезмерную любовь к литературе, Оскар одаривал Боуззи дорогими подарками... Тот обожал всякие драгоценности, а Уайльд был человеком щедрым...

7

В детстве Оскара дорогими подарками не баловали. И дело не в том, что его семья имела скромные доходы. Просто... Как сказать? В семье духовные ценности ставились выше материальных. Родители Уайльда были не только эксцентричными, но и талантливыми людьми. Хотя, вероятно, не настолько мощно, чтобы природа решила отдохнуть на втором их сыне, которому было суждено прославить фамилию Уайльдов на весь мир.

Отец всю жизнь собирал и записывал ирландские сказания и легенды. Он был неплохим врачом. Интересовался историей, археологией, читал лекции... Был, как говорят теперь, разносторонне одаренным человеком. Мать – одна из самых образованных и умнейших женщин своего времени, по молодости имела отношение к движению, борющемуся за независимость Ирландии. Имела сильную волю, железный характер... Писала сильные патриотические стихи, издала несколько интересных книг, сборников эссе. Литературный талант и гордый независимый нрав Оскар явно впитал с молоком матери. Известно, что миссис Уайльд страстно мечтала, чтобы у нее родилась дочь. Когда же вопреки ожиданиям родился второй сын Оскар, она стала одевать его, как девочку. Во всяком случае, лет до пяти.

Все мы родом из детства. Вы понимаете о чём я? С другой стороны, Эрнеста Хемингуэя как мы знаем, мать тоже лет до четырех одевала как девочку, баловала его, но в результате, он всю жизнь пытался доказать всему миру насколько он настоящий, стопроцентный мужчина, не раз демонстрировал, порой чересчур грубо, свою хищную самость, свои лучшие качества мужчины и воина - храбрость, а то и бесстрашие, а также силу, азарт... В отличие от Уайльда, весь вид и вся жизнь папаша Хэма не давали ни малейшего повода заподозрить его в том, будто в нём есть хотя бы доля женского начала, изнеженности или чего-то вроде этого... Он культивировал и развивал образ воина, спортсмена, охотника, солдата, борца...

Но есть ещё одна деталь из детства. Когда Оскару исполнилось лет пять, мать окончательно охладела к мальчику и полностью препоручила заботу о нём няньке. Когда же сын, жаждущий тепла и ласки, тянулся к матери, та говорила с ним холодно, строго и как со взрослым. Вот, скажем, она буквально обращалась к нему не по имени, как делала бы любая другая мать на её месте... Нет! Раз уж родился мальчик, решила она, то хватит его баловать, пусть растёт настоящим мужчиной. «Мистер Уайльд! – обращалась она, например, к нему за обеденным столом, – Если вы не пригронетесь к куриному супу, я вынуждена буду оставить вас после обеда в кладовой...» С годами Оскар привык, от матери можно получить дельный совет, но никаких нежностей или ласки... Она была величественна, мудра и аристократична. Она была божеством, на глаза которой лучше не попадаться, если ты не причёсан идеально, или не готов ответить на один из каверзных и неожиданных вопро-

сов, к примеру: «Мистер Уайльд, надеюсь, вы знаете, кто в конце прошлого века решился возглавить очередной мятеж против английского владычества?»

Отец, хотя и был человеком почтенным, солидным, был с сыном более ласков. Когда Оскар слёг с ангиной, и ему казалось он умирает, а может так оно и было, ведь он неделю провалялся на жару, в беспомощности... Зная в каком положении тогда находилась медицина, можно легко предположить, что мальчишка был на краю гибели. И от куда менее серьёзных недугов умирали в то время дети. Оскар пришёл в себя на восьмой день, мокрый от пота, обессиленный, застонал... Почувствовал, что рядом кто-то сидит и держит его за руку. Он с трудом открыл, нет, приподнял пудовые веки, однако рядом, у его изголовья сидела не мать, а отец. Бледный, уставший, с тёмными кругами вокруг глаз... Оказалось мистер Уайльд, отказавшись от услуг сиделки, сам дежурил у постели сына. Никто, никогда, даже человек, который будет клясться ему в любви, не будет ухаживать за ним во время болезни так как это делал отец. Узнав о том, что тот и ночевал здесь же, прямо в кресле, а несколько ночей и вовсе не спал, Оскар, обнял отца за шею и, заплакав, шепнул «в самое ухо: «Папочка, ты самый лучший, я тебя так люблю...»»

Нет, с детством Хемингуэя и сравнивать смешно детство моего подзащитного. Тот обожал мать и боялся отца, а Оскар Уайльд наоборот, всем сердцем обожал отца, о чем не раз признавался друзьям, а мать он уважал, побаивался и боготворил.

Я не говорю, что всё заложено с детства... Не всё, но многое... Хемингуэй всю жизнь доказывал, что он не такой тряпка, каким был его полубезумный отец, покончивший с собой, и в результате, всю жизнь был эталоном для brutальных мужчин, хотя в финале тоже «снёс себе выстрелом половину черепа, улучив момент, когда его супруга, следившая за ним, на минутку отошла к соседке»... Тем не менее, поступок его отца называют бегством и проявлением трусости, а точно такой же поступок сына трактуется как угодно, но только не слабостью. (Хотя что-то меня унесло в сторону!)

Другое дело мой подзащитный... Уайльд действительно на всю жизнь сохранил в себе какую-то женственность во внешнем виде. Он рос высоким, элегантным, красивым юношей. Некая изнеженность не исчезла даже после того, как он довольно основательно увлекся занятиями боксом. Ирония судьбы? Улыбка Бога? Может быть, не знаю...

8

Думаю, Уайльд сильно заблуждался на свой счёт и преувеличивал свою страсть к работе. Ах, если бы он действительно был поглощён литературными делами больше, чем отношениями, никакой беды с ним бы не случилось... Но, к сожалению, он лишь учил людей, тому к чему пришёл умом, но никак не всем своим существом. Это из разряда: делайте, как я говорю, а не как я делаю. Эх, кто бы ему сказал: врач, исцелись сам... Нет, в данном случае, заразись той полезной заразой, коей заражаешь других. Почему рядом не нашлось того, кто напомнил бы ему его же слова, что наиглавнейшая цель жизни для художника - самовыражение. А высший долг - "долг перед самим собой". Он предал себя, предал своё истинное призвание, за что и поплатился. И слишком поздно увидел истинное лицо того монстра, живущего в прекрасном юноше. Впрочем, не то слово, ведь монстр хоть страшен, а тот был жалок. Чтобы быть монстром надо быть сильным, а тот был жалок, слаб и смешон. Какая ирония, что гений способен погубить полнейшее ни-

что, хуже того, ничтожество, которое не то, что достоинств, помимо внешних данных, не имеет, но не имеет так же право на некоторые человеческие недостатки. Пройдёт несколько лет и Оскар напишет своему любимому правду: "чтобы быть эгоистом надобно прежде иметь эго". Я, например, считаю, и думаю мой подзащитный всецело меня поддержал бы, чтобы себя любить или требовать к себе любви, надо сперва быть достойным этой любви другого. Или хотя бы своей... Не правда ли?

Уайльд и Дуглас – вот два ярких примера эгоизма. Но первый заслужил его, а второй его не достоин...

Хотя вокруг имени Уайльда и Дугласа постоянно ходили всякие слухи и сплетни, это ещё ничего не доказывало, и даже ни о чём, кроме популярности не говорило, и вероятно, все закончилось бы тихо, если бы о сексуальных пристрастиях своего сына не узнал отец Дугласа. Боuzzi ненавидел своего отца, который его, когда Альфред был маленьким, нещадно порол. И поэтому обожал выводить своего старика из себя. Думаю, связь с Уайльдом – был еще один повод позлить своего старика маркиза Куинсберри. Маркиз приходил в ярость от одного только имени Уайльда. Кульминацией его злобы стала скандально знаменитая открытка, которую он послал в клуб, членом которого был Уайльд. На открытке было написано всего только три слова: «Оскар Уайльду – содомиту». Об инциденте узнали слишком многие, что бы можно было проигнорировать провокационный выпад. Но оставалась маленькая надежда выставить тот отвратительный поступок пьяной выходкой вздорного старика. Сам Оскар, наверняка, склонился бы к тому, чтобы уладить скандал без лишней шумихи. Совершенно иного развития этой истории требовала его... Извините... Требовал его молодой дружок.

Неврастеник Боuzzi настаивал на том, чтобы Уайльд подал на старика в суд. Он убеждал, что это единственный верный поступок. Оскар так и не понял, что стал пешкой, или лучше сказать орудием в войне между сыном и отцом. Они ведь ненавидели друг друга, и ни перед чем уже не останавливались.

Поставив на карту собственное достоинство, честь, если они её имели, имя... Казалось, борьба между отцом и сыном вот-вот закончится единственно логическим финалом – смертью одного из них. При таких раскладах, эти двое меньше всего думали о его репутации.

Друзья отговаривали Уайльда от такого необдуманного шага, но тот был слаб. Им управлял мальчишка, которому больше всего хотелось внимания и скандала. К тому же, он, недооценивая старика, переоценивал влияние на общественное мнение авторитет и славу Оскара Уайльда. Дело в том, что тебе позволительно учить жизни и смеяться над нравами века и человеческими недостатками только тогда, когда сам ты либо абсолютно чист и безгрешен, либо когда ты и сам такой же низкий, несовершенный и падкий человечиска, как все. Но - чего-чего, а быть как все Уайльд не хотел, и вел себя так, словно был сверхчеловеком, сказочным принцем, полубожеством, не от мира сего... Он всегда подчеркивал свою индивидуальность, свою необыкновенность, своё превосходство над людьми... Но если ты выше нас, не смей делать того, что делаем мы, и уж тем, паче что-то, что делает тебя хуже большинства...

Уайльд подал на маркиза в суд за клевету, но маркиз великолепно подготовился к процессу. В свое время он нанял целую команду ищек и платных информаторов, которые нарыли множество неопровержимых доказательств естественной связи между Уайльдом и Боuzzi. А поскольку Оскар был намного старше

друга, напрашивался вывод о соvrращении. Ситуация очень быстро менялась не в лучшую для Уайльда сторону. Он был вынужден отозвать свой иск, но теперь уже ему грозил процесс, в котором он сам становился обвиняемым.

9

А теперь ему грозил арест. Друзья советовали Уайльду покинуть Англию. Он отказался. Ему претила роль беглеца. Альфред Дуглас, не колеблясь ни минуты, покинул страну, а Оскар Уайльд решил бороться и нести свой крест до конца. Не прошло и месяца, как он был арестован. На том суде Уайльд держался вполне достойно. Все свидетельские показания равно как и лжесвидетельские, а таких тоже хватало, он выслушивал с редким самообладанием. Своими ответами на некоторые вопросы обвинителя он вызывал у публики взрывы хохота – настолько остроумно и обаятельно у него это получалось. Публика валила валом в зал суда, чтобы насладиться его унижением, но его поведение, его манера держаться, его остроумные ответы вызывали у присутствующих симпатию, а то и восторг. Даже при всем том, что с каждой судебной минутой становилось ясно: виновен. До конца судебного разбирательства держался молодцом, казался невозмутимым и спокойным. Хотя конечно, конечно он уже понимал, что близится катастрофа. Глобальная Катастрофа всей его жизни.

Например, обвинитель сказал: «Мистер Уайльд! Я тут прочел ваш роман». «Это делает вам честь» – заметил обвиняемый. «Я прочел ваш роман, – продолжал обвинитель, – и у меня возникло пару вопросов». «Странно, – удивился Уайльд. – Вы должны были найти там пару ответов, а не пару вопросов». «Скажите, Уайльд, не может ли привязанность к Дориану Греху натолкнуть обыкновенного человека на мысль, что художник испытывает к нему влечение определенного рода». На это Уайльд бесстрастно ответил: «Не могу знать. К сожалению... Мысли обыкновенных людей мне неизвестны».

Когда его уже без обиняков, напрямую спросили, ощущал ли он протivoестественную страсть к Альфреду Дугласу, он ответил, что... предпочитает слово любовь – это более высокое чувство. Мир этого не понимает, сказал он в финале своей речи. Мир издевается над этой привязанностью, стыдит, высмеивает, презирает... Осуждает её. Тех, кто испытывает такую любовь, порицают, но смеют ли блюстители нравов осуждать и наказывать за чистое чувство любви?

Что он наделал? Эта речь была контрпродуктивной в юридическом смысле, поскольку закрепляла позицию обвинения в гомосексуальном поведении Уайльда. В тот раз присяжные не смогли вынести вердикт. Адвокат получил разрешение от судьи отпустить Уайльда до решения суда под залог. Священник Стюарт Хедлам, не знакомый с Уайльдом, но ужасно недовольный судом и травлей Уайльда в газетах, внес большую часть суммы залога.

И вновь была возможность бежать за границу... Но Оскар и на сей раз, после мучительных раздумий, решил не покидать поле битвы, не позорить себя трусливым бегством...

В газетах печатали грязные подробности этого дела... В окна дома, приоткрывшего его на время, летели гнилые помидоры, а то и камни... Столичные театры демонстративно отказывались от спектаклей, поставленных по пьесам Уайльда. Круг друзей вокруг вчерашнего кумира постепенно редел...

25 мая 1895 года Уайльд был признан виновным в грубой непристойности с лицами мужского пола и приговорен к двум годам каторжных работ. Судья, брезг-

ливо поморщившись, завершил заседание словами: «Это самое грязное и дурное дело, в котором я участвовал». «Я тоже», – грустно парировал Уайльд.

Когда его выводили из зала суда, большинство зрителей орало ему: «Позор!» и кое-что еще, не совсем приличное.

Константин Паустовский: "На вокзале в Рэйдинге собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал. Впервые в жизни. Толпа хохотала. До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страдания".

Чем выше взбирается человек, тем страшнее и большее падение в случае одного неосторожного шага. Представьте себе, еще вчера он был знаменит, богат и всеми обожаем, а сегодня он никто. Его презирают. Его имя на театральных афишах закрашивают черной краской. «Народная любовь» переменчива. Проигравших никто не любит. Ну разве что наши женщины, но это скорее сродни жалости.

9

Итак, тюрьма. Для некоторых тюрьма хуже смерти. Она их ломает, калечит, уродует... Условия тюремного заключения в те времена в Англии были крайне тяжелыми. А уж для изнеженного, привыкшего к роскоши Уайльда, это был суший ад.

Помимо тяжелого и ненужного бессмысленного физического труда, помимо ужасных условий обитания и скудной пищи, были ещё и побои. Когда его избивали заключенные, было немного легче. Был шанс защитить себя, дать сдачи... Иногда ему удавалось выйти из потасовки победителем, но чаще его уносили в тюремный лазарет уже бессознательного. Но хуже, когда тебя бьёт надзиратель или конвоиры... А ты не смеешь ударить в ответ, а иначе неделя карцера, и опять лазарет... А ведь помимо физических страданий, ему приходилось страдать нравственно... Душевные страдания подчас невыносимее телесных. Увы, но это так. А какого терпеть унижения от скотов, которые потому и спешат оскорбить тебя и унижить, дабы просто насладиться беспомощностью того, кто вчера ещё, стоя на авансцене, и глядя на рукоплескавшую в его честь толпу, не выделял тебя из толпы, даже не подозревал о твоём существовании, ибо вы с ним изначально из "разных социальных кругов"...

В тюрьме он чуть не умер. И хотя он все-таки выжил, но здоровье подорвал основательно. Ужасы тюрьмы сказались и на психическом здоровье.

Несколько раз его навещала Констанция. Во время первого свидания она едва сдерживала слезы. За год он постарел лет на пять, а то и на все десять. С трудом держался на ногах от слабости. Руки дрожали. Он едва сдерживал слезы...

Просидев всего половину срока, он понял, что ему живым оттуда уже не выбраться. Но узнав о его скорой гибели, пожалев его, или желая несколько облегчить предсмертные мучения знаменитого узника, Уайльду, в виде исключения, разрешают пару часов в день посвящать литературным занятиям... Это его спасло. Стало своеобразным лекарством, придающим ему силы, пережить этот ад...

10

На свободу вышел почти старик. Но живой. С практически написанной поэмой «Баллада Рэйдингской тюрьмы».

Пока он сидел, всего два года, многое изменилось. Большинство бывших друзей окончательно от него отвернулись. Жену так затравили, что в конце концов она просто была вынуждена сменить фамилию и эмигрировать вместе с детьми. Они навсегда уехали в Германию.

Умерла мать Оскара. Сердце старой матери не выдержало. Когда-то перед самым судебным процессом она сказала сыну: «Если ты сбежишь, как тебе многие советуют, я от тебя отрекусь. Ты должен выступить на суде смело, гордо и победить, если сможешь. А если проиграешь – то принять позор с гордо поднятой головой». Так сказала мать. Когда сына посадили, она сильно переживала и горько сожалела, что дала ему такой совет. Она была сильной женщиной, но...мать есть мать, сами понимаете.

Жить в Англии было невыносимо. Почти как в тюрьме. Ему казалось он отсидел своё, вышел на свободу, но скоро понял, что тюрьма просто раздвинула свои границы до границ целой страны. Театры не желали ставить его пьес. Издательства не спешили вкладывать деньги в такой заведомый провальный проект, как публикация его произведений... Он вынужден был просить деньги у жены, которая не спешила приглашать его к себе. Та, через адвоката пообещала выплачивать ему небольшую сумму денег, если он забудет о свиданиях с детьми, а также не станет отныне видеться со своим бывшим любовником. В этом случае, она даже давала понять, что со временем он сможет воссоединиться с семьей...

Многие огромные перемены наступили за столь короткий срок...

Родной брат, которому он раньше старался всячески помочь, и тот, под каким-то смешным, малоубедительным поводом отказался приютить у себя старшего брата. Почти все избегали встреч и с ним. Так словно он был прокаженным. Тот, с кем вчера было за честь быть знакомым, сегодня был никому не нужен. Как быстро и с какой лёгкостью всё изменилось...

11

После освобождения Оскар Уайльд сменил имя и уехал во Францию. Дальше все было очень грустно. Он больше уже не творил. Написал одну балладу, собственно он написал ее еще в тюрьме. А после выхода он безуспешно старался творить, но то ли потерял свой дар, то ли просто не мог себя заставить. Что таить – он начал выпивать, и довольно основательно присел на абсент. Но это пока у него ещё были хоть какие-то деньги. Однако, абсент сжигал их быстрее, чем остатки здоровья.

Нищий, старый, больной... В чужой стране... В таком положении он не мог творить... Не умел... Новых доходов ждать было неоткуда. А в принципе, никаких и старых дохода у него уже не было. Книги его не переиздавались, пьесы не ставились...

Ему сделали предложение написать скандальную книгу о его развратных похождениях, что-то вроде воспоминаний старого Казановы-гомосексуалиста... Он, не раздумывая отказался, поскольку не считал себя развратником... И это было противно! Нет, никаких похждений не было... Он никакой не Казанова... Он вообще любил только однажды... Но предмет его обожания был недостоин его любви... И за это ему пришлось заплатить всем, что у него было...

С Альфредом он несколько раз встречался. Хотя осознавал, насколько подло тот с ним поступил, и поступал так не раз: и когда втянул его в свои распри с отцом, и когда требовал призвать отца к ответу через суд, и когда сбежал, оставив его одного, и когда ни разу за два года не навестил его в тюрьме, не написал ни одного письма... Все понимал... Понимал, наверное, и то, что если тот предал его один раз, а тут даже далеко не один раз, то будет предавать и впредь. Люди никогда не были склонны к переменам, а уж к переменам в лучшую сторону – тем паче... Все понимал... Не глупее нас был... Но, извините за тривиальную фразу, сердцу не прикажешь... Встречался... Искал этих встреч... Нет!.. Уже не было того чувства. Погас-

ший костер страсти хранил угли верности и любви, но тот костер, тот огонь горел лишь в его груди, а кто был искрой для огня, тот мог оставаться твердым и холодным, как каменное огниво.

Альфред Дуглас его предал. Но никакой вины за собой не чувствовал... Уайльд его простил... Хуже того, он сам просил прощения за своё большое письмо, полное упреков и обиды, написанное, по горячим следам разочарования, еще в тюрьме...

Уайльд даже в собственных глазах пал. Он был никто и ничто. Когда-то в него влюблялись, но любили не его, а тот образ, который он культивировал, пропагандировал и демонстрировал, и сам поверив в то, будто он именно такой и есть, он себя таким принимал, а теперь, он искал поддержки в других, но именно тогда, когда представлял из себя уже довольно жалкое зрелище... Это раньше он пленял всех, людей, муз, фортуна... А себя?

12

Нет, Оскар. (Извини, что на «ты», это не есть проявление амикошонства, панибратства... Я к тебе обращаюсь как к брату, вернее, собрату; товарищу по оружию [наше главное оружие – защиты ли, нападения ли – перо или слово, верно? {а знаешь, один талантливый поэт, который тоже потом себя предал, Владимир Маяковский, чья молодость была столь же яркая и вызывающе-эпатажная, однажды сказал: «Я хочу к штыку приравняли перо!»} Иного оружия мы не признаём, а если признаем, то владеем им не столь умело.] Ты, только ты знал, насколько ты не уверен в себе, насколько слаб, добр, тих, малодушен... И лишь сила твоего гения могла вознести тебя на такую высоту, упав с которой, ты лишь чудом не разбился насмерть, уцелел... И остался калекой... Кому ты теперь был нужен?.. Никому, думал ты. А думая так, ты и себе был не нужен...

Уайльд встречался с Дугласом, зная, что рискует лишиться единственного верного источника финансовой поддержки, пошёл на заведомо безрассудный поступок. И я убежден, повторится всё сначала, он поступил бы так же. Ибо там, где царит любовь, там нет расчета. И наоборот.

Когда-то он тратил на Дугласа огромные суммы денег... Делал дорогие подарки... Те времена канули в Лету... Всё кардинально поменялось... Уайльд стал нищим... А его друг – разбогател... Настолько, что даже стихи писать бросил... (А настоящий поэт пишет без всякой зависимости от того, приносит ему это деньги или нет...) Несколько раз он просил у него денег займы. Дело в том, что лорд Дуглас после смерти своего отца стал наследником большого состояния, и вот Оскар просил у него займы. Тот давал какую-то мелочь, а однажды, разозлившись после очередной просьбы денег, он сказал: «Ты ведешь себя, как старая шлюха, которая требует плату». Увы! Такова жизнь... Больше всего страдает тот в паре, кто больше любит... Между гетеросексуальными и гомосексуальными парами нет никаких различий, во всяком случае – в этом вопросе.

Но, впрочем, сейчас не о этом речь!

Часто писатели описывают свою жизнь. Истинные творцы – не случайно он так зовутся – всегда работают с реальностью. Порой с той, что их окружает, порой с той, в которой они жили... Уайльд описал в своем единственном романе «Портрет Дориана Грея» своё страшное будущее. Хотя ему-то казалось, он пишет о настоящем. Он полагал, что он лорд Генри, а его Дориан Грей вот-вот ему повстречается... Но случилось иначе! Он был Дорианом Греем, а желал быть мудрым, ци-

ничным, остроумным и холодным... Дориан пошёл на поводу у своего злого гения, а талантливый художник сделал всё, чтобы старел только его портрет... И что же? Книга, словно грозное предсказание, оказалась пророческой. Но не в прямом смысле! Жизнь оказалась такой же как художественный вымысел, но только страшнее. Так словно искусство не отображение нашей жизни, а сама жизнь, но вывернутая наизнанку. Вот он вымысел, ставший реальностью. К концу своей жизни Оскар Уайльд внешне стал точной копией того безобразного старика, что брал на себя все грехи и пороки вечно молодого и прекрасного Дориана Грея.

Оскар Уайльд опускался все ниже. Все чаще его видели в барах и кафе. Ему хотелось только одного - напиться... Без денег это тяжело, но Уайльду удавалось... Ему всегда удавалось достичь того, к чему он стремился. Вероятно, теперь он стремился довершить то, что уже началось в тюрьме... Саморазрушение... А ведь поступали предложения выгодные от разных издательств... Увы, он мало какие предложения принимал, а из тех, что принимал, ни одно так до конца и не выполнил... Художник и творец умер в нём раньше человека...

Он опустился до такой степени, что был вынужден попрошайничать. Если он слышал английскую речь, то подходил и развлекал остроумной беседой этих людей в надежде, что они заплатят за его выпивку.

13

Какой-то всеильный остроумец устроил из его жизни поучительную трагикомедию, полную парадоксов. Но печальный финал был уже близок...

Однажды, когда он сильно заболел, с ним был его старый друг Роберт Росс, который продолжал ухаживать за ним и заниматься его литературными делами. Так вот перед смертью Уайльду вдруг приснился страшный сон. Он проснулся и сообщил верному Роберту: «Ты знаешь, мне приснилось, что я нахожусь в обществе мертвецов, и мы гуляем, пьем, веселимся...»

На что Роберт сказал: «Я уверен, ты был душой этого общества!»

Оскар Уайльд был эстетом и оставался им до последней минуты. Он жил в дешевой гостинице, в самом дешевом номере. И уже умирая, он однажды сказал: «Все, мне надоело! К утру кто-то из нас двоих должен исчезнуть... Или я, или эти ужасные обои в цветочек»...

...Обои остались. Уайльд, как и обещал, умер. Но о тех обоях никто бы и не вспомнил, если бы не Уайльд, ибо ему было уготована вечная жизнь»

14

Вот такой бы была моя заключительная речь на этом процессе.

Вы спросите: "А где же в моей речи то, что должно было бы его оправдать?"

Господа и дамы, да в том-то и дело, что ему не в чем оправдываться... И мне незачем находить никаких особенных оправданий для его поведения. Это была его жизнь. Он был волен делать с ней что захочет. Не наше с вами дело до его ориентации. Мы любим (или не любим) Уайльда не за то, как и с кем он жил, кого любил, с кем спал, и в чем расхаживал по улицам, а что он оставил после себя. Память. И творения. Прекрасные сказки. Глубокий и смелый роман. Остроумные пьесы. Горькую балладу. И невеселую, тяжелую и страшную биографию своей жизни. В чём-то даже поучительную... Хотя, если быть откровенным, то чужой опыт никогда ничему нас ничему не учит, к сожалению...

Это может современники не понимали, что он человек выдающийся, ведь такие люди всегда так или иначе нарушают какие-то законы, правила, условности... Но мы-то теперь знаем какого масштаба личность была загублена, искалечена из-за каких-то дурацких предрассудков.

В каждое время в каждой стране свои табу, нарушать которые нельзя даже тем, кто мог бы многое сделать во славу того времени и для славы той страны... Проходит время, выясняется, что нарушение тех табу ничего страшного в себе не несёт. Сейчас никто особенно не удивляется, узнав, что тот или иной мужчина любит другого мужчину... И в Древней Греции это было вполне обычным явлением. Но я сейчас защищал не однополюе связи, нет, я лишь хотел, на примере Оскара Уайльда, показать, что судить художника, уважать или не уважать, любить или не любить, читать или не читать, хвалить или критиковать, нужно по его творениям, а не по его человеческим качествам или пристрастиям!

Когда мы слушаем Высоцкого, мы не думаем о том, что он употреблял наркотики... Когда читаем Мережковского, нам до лампочки, что он когда-то в одной статье славил Гитлера... Когда смотрим фильмы Чаплина, нас не заботит, что он любил пятнадцатилетних девочек... Я хочу сказать, есть творец и есть его творения, а есть просто человек и его человеческие поступки и проступки... Они почти никакого отношения к процессу творений не имеют, а когда и имеют, то не они должны быть предметом нашего отношения к творцу... Судить или прощать человека может Господь Бог или он сам, человек, а мы не должны судить творения по человеческим качествам творческой личности... Какое нам вообще дело до того с кем он делил по ночам свою постель, или что употреблял после обеда из спиртного?... У каждого свои слабости, недостатки, пристрастия... Это дело вкуса, а о вкусах не спорят... А если спорят, то никогда не находят истину, ибо правда у каждого своя, а истина одна, и нам она неведома. Она недоступна. Тем интереснее, и тем увлекательнее её бесконечный поиск...

15

К слову сказать, а вот лично Уайльд, знаю наперёд, осудил бы мою защиту, особенно последний абзац, поскольку сам он не считал однополую любовь чем-то постыдным... Не считал это пороком, грехом, отклонением, болезнью... Он считал постыдным давать по этому поводу отчёт, считал постыдным искать этому оправдание...

Он-то как раз во время своей заключительной речи на суде, явно ухудшая свое и без того трудное положение, честно заявил то во что верил, то о чём мог бы умолчать, но не пожелал. Он признал, что испытывал и продолжает испытывать к Альфреду Дугласу влечение «определённого рода»: «В нашем веке это чистое чувство остается непонятым, - сказал он в заключение речи - настолько непонятым, что о нем уже можно говорить, как о любви, не смеющей назвать свое истинное имя. Мир насмехается над ней и норовит пригвоздить за неё к позорному столбу...» Говорят, что когда Уайльд закончил, в зале повисла гробовая тишина, а потом, якобы, раздался шквал аплодисментов. Последнее как-то не вяжется с тем, что когда его выводили из зала суда, после объявления приговора, толпа ликовала, с презрением и ненавистью выкрикивала в его адрес проклятия и всякие обидные и грязные слова. Вероятно, это его последнее публичное выступление было ярким, эмоционально мощным и красочным, наверняка, публика была заморожена его подачей, но смысл его речи толпа одобрить не могла, даже при условии, что поняла.

Ну, скажите вы, теперь-то уж иные времена. Полноте, господа! Сейчас мало кто верит в искренность любви между мужчиной и женщиной, где уж большинству поверить в любовь мужчины к мужчине или женщины к женщине?.. Так что лично меня поражает и я предлагаю оценить и вам не столько то что он говорил, а то, что он посмел об этом говорить открыто тогда, да ещё и осознавая, что тем самым окончательно подталкивает судьбу и присяжных вынести вердикт не в его пользу. Это Поступок, господа. И на такой Поступок (или на Поступок подобный) решиться далеко не каждый из нас, «настоящих», гетеросексуальных мужчин...

И не каждый мог бы выдержать и половины того, что затем выпало на долю того, которого до сих пор некоторые из вас презирают за его "не совсем достойное поведение"...

Когда-то в юности Уайльд сказал товарищу: "Я знаю точно, что стану всемирно прославленным... В крайнем случае, ославленным"... Ему было суждено пережить и то, и другое.

После тюрьмы ему следовало бы много и плодотворно работать, дабы наверстать упущенное время. Доказать при жизни, что его родное отечество жестоко просчиталась, когда прервало творчество лучшего из своих сынов, а творчество и составляло главную ценность его жизни, но он не умел относиться к творчеству как к работе, и частенько из-за этого залезал в долги.. Но страшнее всего то, что рос долг перед самим собой.. Он всё реже брался за перо... Долги росли, счета копилась... А если долго не платить, приходится расплачиваться... От кредиторов можно скрыться, но как убежать от себя? Разве что умереть?.. Но это опасный выход из положения... Ведь он же сам, сам Оскар Уайльд, говорил и не раз: "Всё можно пережить, кроме смерти!" И тут с ним тоже не поспоришь...

Конечно, я мог, защищая его, приблизить его к любому и каждому, легко доказав, что он был таким же человеком как мы. Но ведь он же сам однажды сказал: Что вы мне рассказываете о страданиях простых людей? Я им сочувствую, конечно... Но расскажите мне о муках гения, и я обольюсь слезами!" Я так и сделал...

Сентябрь – ноябрь 2015 год



Анатолий Добрович

ОБРАЗ МИРА, В СЛОВЕ ЯВЛЕННЫЙ

1.

Сочинять стихи – занятие сомнительное. Как быть довольным своими стихами, если они никогда не дотянут до образца, который поставил перед собой с юности? У меня этим образцом был Борис Пастернак.

У него КАК ГОРЫ МЯТОЙ ЯГОДЫ ПОД МАРЛЕЙ/ ВСПЛЫВАЕТ ГОРОД ИЗ-ПОД КИСЕИ. Или: У КАПЕЛЬ ТЯЖЕСТЬ ЗАПОНОК/ И САД СЛЕПИТ, КАК ПЛЁС/ ОБРЫЗГАНЫЙ, ЗАКАПАННЫЙ/ МИЛЬОНОМ СИНИХ СЛЁЗ. У него самолёт, летящий в тумане, ИСЧЕЗ В ЕГО СТРУЕ/ СТАВ КРЕСТИКОМ НА ТКАНИ/ И МЕТКОЙ НА БЕЛЬЕ. Надо хоть немного знать русскую лирику, чтобы оценить, какую революцию произвел в ней Пастернак, используя бытовые реалии – те же ягоды под марлей, запонки или крестик на ткани – для передачи увиденного. У него неслыханное по дерзости расширение поэтического словаря, когда *шквив*, *градирня*, *пакгауз*, *хобот малярный* и даже *стафилококк* сидят в стихе в своих гнездах, как вкопанные, и лучшего не надо. Подражать этому как «приёму» – расписаться в имитаторстве. Для самого Пастернака это не «приём», а (благодаря бесконечным переборам вариантов) прорыв: ИЗ ВЕРОЯТЬЯ В ПРАВОТУ. Но так воспринимать мир (и передавать его речь) – было дано ему одному.

Уже пожилым, покинув СССР, я вдруг понял, что не только пытался всю жизнь выкарабкаться из-под заваливших меня глыб дарования, безмерно превосходящего мои собственные возможности, – это-то было ясно с самого начала, – но и сохранял **верность** своему кумиру. Многие из людей моего поколения сформированы Пастернаком – эстетически, вкусово, музыкально, да! – но в определенной мере и мировоззренчески. Мы заимствовали у него систему «основных отношений» к бытию. Отношение к природе и языку. К истории и к женщине. К культуре и к будничному долгу. К Богу и к смерти. К себе и к другому. К отечеству и к сведениям О СВОЙСТВАХ СТРАСТИ. К труду и к правопорядку (ХОТЕТЬ, В ОТЛИЧЬЕ ОТ ХЛЫЩА/ В ЕГО СУЩЕСТВОВАНЬЕ КРАТКОМ /ТРУДА СО ВСЕМИ СООБЩА/ И ЗАОДНО С ПРАВОПОРЯДКОМ). К определению того, что есть **пошлость** – в тексте или в жизни.

БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО./НЕ ЭТО ПОДНИМАЕТ ВВЫСЬ... ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА – САМООТДАЧА./А НЕ ШУМИХА НЕ УСПЕХ./ПОЗОРНО, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧА./БЫТЬ ПРИТЧЕЙ НА УСТАХ У ВСЕХ... Художественные достоинства этого стихотворения, возможно, ниже планки, установленной самим Пастернаком (что ему самому безразлично, ведь ПОРАЖЕНЬЯ ОТ ПОБЕДЫ/ ТЫ САМ НЕ ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬ), но разговор о другом. Для скольких людей, родившихся в России, эти строки выглядят как «сама собой разумеющаяся» духовная и нравственная позиция! Словно и не поэт это написал, а родители и школьные учителя – да сами рощи и поля! – заложили в сознание... Что-то такое они, без сомнения, заложили. Но **сказал** это Пастернак. В глубине всего им написанного гудит, как машинное отделение под палубой, то, что язык не повернётся назвать «идеологией». Но философией – безусловно.

Это, конечно же, философия повседневного бытия. Она усвоена поэтом из среды, в которой он рос, и передана читателю феноменальным свечением жизни

сквозь текст, а не путем умствований, – что, конечно же, редкость. Источник, из которого черпает свое мировоззрение Борис Пастернак, – ни для кого не тайна. ВСЮ НОЧЬ ЧИТАЛ Я ТВОЙ ЗАВЕТ/ И КАК ОТ ОБМОРОКА ОЖИЛ. Здесь «обморок» - слово уместнейшее. Тот же «в обмороке духа» находящийся искатель Завета - в прозе Андрея Платонова с его болью за одухотворенного человека, которому необходимы хлеб, милосердие, мир, справедливость и красота.

2.

Пастернак, особенно ранний, видится язычником. Явления природы у него мало что одушевлены – обожествлены. У него тигры СНЯТСЯ ГАНГУ. У него СНЕГ ВАЛИТСЯ И С КОЛЕН – /В МАГАЗИН/ С ВОСКЛИЦАНИЕМ: «СКОЛЬКО ЛЕТ/ СКОЛЬКО ЗИМ!» Его сад ОБВОДИТ ДЕНЬ ТЕПЕРЕШНИЙ/ ГЛАЗАМИ АНЕМОН. А в дождь этот сад такой: УЖАСНЫЙ! – КАПНЕТ И ВСЛУШАЕТСЯ. А ветер у него – такой: ВЕТЕР ЛУСКАЛ СЕМЕЧКИ/ СОРИЛ ПО ЛОПУХАМ... А про пыль – так: ПЫЛЬ ГЛОТАЛА ДОЖДЬ В ПИЛЮЛЯХ/ ЖЕЛЕЗО В ТИХОМ ПОРОШКЕ. Про солнце: И СОЛНЦЕ, САДЯСЬ, СОБОЛЕЗНУЕТ МНЕ... Про листву: ЗА ОКНАМИ ДАВКА, ТОЛПИТСЯ ЛИСТВА,/ И ПАЛОЕ НЕБО С ДОРОГ НЕ ПОДОБРАНО... Про мирозданье: СО МНОЙ, С МОЕЙ СВЕЧЕЮ ВРОВЕНЬ/ МИРЫ РАСЦВЕТШИЕ ВИСЯТ... И ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ЗА ТЫН ПЕРЕЙТИ/ НЕЛЬЗЯ, НЕ ТОПЧА МИРОЗДАНЬЯ. Старость страшит поэта тем, что с её приходом НА ЛУГАХ ЛИЦА НЕТ,/ У ПРУДОВ НЕТ СЕРДЦА, БОГА НЕТ В БОРУ. Но сам он старости не подвержен и продолжает спустя десятилетия в том же духе: МЕНЯ ДЕРЕВЬЯ ПЛОХО ВИДЯТ/ НА ОТДАЛЁННОМ БЕРЕГУ... И ВЕТЕР, ЖАЛУЯСЬ И ПЛАЧА, /РАСКАЧИВАЕТ ЛЕС И ДАЧУ... СНЕГ ИДЁТ, СНЕГ ИДЁТ,/ СЛОВНО ПАДАЮТ НЕ ХЛОПЬЯ/ А В ЗАПЛАТАННОМ САЛОПЕ/ СХОДИТ НАЗЕМЬ НЕБОСВОД. Тут не просто метафоричность – тут детскость восприятия мира: приписывание неодушевлённому свойств одушевлённого. Что-то детское и в деталях биографии поэта: незащищен, наивен, влюбчив, доверчив. Эта детскость – выбранный им угол зрения, модус реагирования. Не потому ли, что с юности открылось: ЛЮДИ В БРЕЛОКАХ ВЫСОКО БРЮЗГЛИВЫ/ И ВЕЖЛИВО ЖАЛЯТ, КАК ЗМЕИ В ОВСЕ? Не потому ли, что У СТАРШИХ НА ЭТО СВОИ ЕСТЬ РЕЗОНЫ, несовместимые с резонами поэта?..

Но когда уже знаешь, в чем поистине состояло ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ Пастернака, такой выбор им угла зрения становится более понятным. «Детскость» оборачивается следованием заповеди: *Будьте как дети.*

Да и с самого начала не в «язычестве» дело, не в пантеизме. Мир Пастернака всецело одухотворен. В нём устанавливается присутствие сверх-личного начала, исполненного поразительной личечности, но занесенного далеко ввысь над любой конкретной личностью, в том числе, над личностью самого художника. Бог, угадываемый В БОРУ, – это не «бог бора» или какой-нибудь «лесной бог». Он то же, что и СЕРДЦЕ ПРУДОВ или ГРОЗА, которая КАК ЖРЕЦ, СОЖГЛА СИРЕНЬ. Бог – это Тот, Кто творит «диво» нашего пребывания в мире. И НА ЭТИ-ТО ДИВА/ ГЛЯДЯ, КАК МАНИАК... – вот самописание Бориса Пастернака. Так что его воздух, его дождь, его закаты, его море, его ошеломительный снег – суть распознанные знаки высшего начала, которому поэт открыт постоянно. А если недостаточно открыт, то видит в этом собственный грех – грех слабости духовной работы. Грех для него и пустословие – это одно из обличий пошлости: как механическое проборматывание молитвы при занятости головы чем-то посторонним. Пафос сам по себе

не пошл: пошло его затасканное выражение. Я ВИШУ НА ПЕРЕ У ТВОРЦА – так он себя ощущает. А труд свой оценивает словами: И ТВОРЧЕСТВО, И ЧУДО-ТВОРСТВО.

Снег, человеческие глаза, выдающие ЧУВСТВ РУДОНОСНУЮ ЗАЛЕЖЬ; тени соединения мужчины и женщины, лежащие НА ОЗАРЁННЫЙ ПОТОЛОК; сад, роняющий ЯНТАРЬ И ЦЕДРУ/ РАССЕЙННО И ЩЕДРО; чудовищной мощи рассветный дождь, шумящий в то время как НА ДАЧЕ СПЯТ, УКРЫВШИ СПИНУ, – да ведь за всеми этими бесчисленными образами открывается не что иное как видимое человеку еще при жизни Царствие небесное! В «Докторе Живаго» Царствие небесное даже провозглашается иным названием... истории! В самом деле. Что есть история как не путь соединения человека с Богом? – Мысль ровно столько же иудейская, сколь и христианская. Вы не веруете, читатель? – А он верует, да так, что перестает страшиться невзгод и самой смерти. О ГОСПОДИ, КАК СОВЕРШЕННЫ/ ДЕЛА ТВОИ, – ДУМАЛ БОЛЬНОЙ./ – ПОСТЕЛИ, И ЛЮДИ, И СТЕНЫ/ НОЧЬ СМЕРТИ И ГОРОД НОЧНОЙ... КОНЧАЯСЬ В БОЛЬНИЧНОЙ ПОСТЕЛИ./ Я ЧУВСТВУЮ РУК ТВОИХ ЖАР./ ТЫ ДЕРЖИШЬ МЕНЯ, КАК ИЗДЕЛЬЕ./ И ПРЯЧЕШЬ, КАК ПЕРСТЕНЬ, В ФУТЛЯР.

3.

Он полагался на свою способность УСЛЫШАТЬ БУДУЩЕГО ЗОВ. Услышал ли? Весной сорок пятого года написано стихотворение «Всё нынешней весной особое»... Я ДАЖЕ ВЫРАЗИТЬ НЕ ПРОБУЮ./ КАК НА ДУШЕ СВЕТЛО И ТИХО. Война подошла к концу. В стране-победительнице уверены, что после стольких жертв должен наступить поворотный момент в истории России, в истории мира. Всевраждующие стороны, потрясенные произошедшим, протянут друг другу руки. В конце стихотворения говорится: МЕЧТАТЕЛЮ И ПОЛУНОЧНИКУ/ МОСКВА МИЛЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ./ ОН ДОМА, У ПЕРВОИСТОЧНИКА/ ВСЕГО, ЧЕМ БУДЕТ ЦВЕСТИ СТОЛЕТЬЕ (курсив мой). Примечательно (отсюда и курсив), что истоком будто бы начинающихся преобразовательных процессов на планете мыслится ему Россия. Советская, сталинская Россия – никакой другой в тогдашнем сознании попросту не было, и уместиться не могло.

А ведь видел, что творилось в тридцатые, потом в сороковые, да и в ходе войны. И, судя по «Доктору Живаго», с самого возникновения советской власти понимал, чем оборачивается «диктатура пролетариата». Ан нет, внушил себе, что Ленин БЫЛ КАК ВЫПАД НА РАПИРЕ...ОН УПРАВЛЯЛ ТЕЧЕНИЕМ МЫСЛИ/, И ТОЛЬКО ПОТОМУ – СТРАНОЙ. Убеждал себя, что надо МЕРИТЬСЯ ПЯТИЛЕТКОЙ, хотя тут же спохватывался: НО КАК МНЕ БЫТЬ С МОЕЙ ГРУДНОЮ КЛЕТКОЙ/ И С ТЕМ, ЧТО ВСЯКОЙ КОСНОСТИ КОСНЕЙ?.. Что ж, тут Пастернак оставался верен интеллигентской традиции своей страны. Я ЛЬНУЛ КОГДА-ТО К БЕДНЯКАМ... ПРЕВОЗМОГАЯ ОБОЖАНИЕ./ Я НАБЛЮДАЛ, БОГОТВОРЯ./ ЗДЕСЬ БЫЛИ БАБЫ, СЛОБОЖАНЕ./ УЧАЩИЕСЯ/СЛЕСАРЯ. Вера в правоту простонародья, отстрелявшего и изгнавшего бар после их многовекового гнета сочеталась в нем с убеждением в том, что народ его страны – «богоносец». Умение терпеть, стойкость, «чудная понятливость» (В. Одоевский), необычайная отвага, беззлобный юмор, отзывчивость, доброта... Свойства эти коренятся, как поэт полагал, в постоянной, почти безотчетной повернутости русской души к Христу. Когда Пастернак противопоставляет «беззаботность» русских («Доктор Живаго») суетливой озабоченности евреев, понимать это надо так: с Христом и му-

чительная жизнь выносима, и смерть не страшна, ведь верующему в Него открыта жизнь вечная. А не пришедшие к Нему – мечутся в заботах и смертном страхе, ибо жизни вечной не удостоены.

Тяготясь еврейством своих родителей и предков, Пастернак разделяет отчуждение Юрия Андреевича Живаго от евреев, вполне понимает открыто высказываемую неприязнь к ним Лары. Дорогие ему персонажи относятся к «малому народу» **высокомерно**, и автор романа пытается объяснить, почему. Евреи, мол, замечательный народ, Господом выделенный, – но для того и выделенный, чтобы породить Иисуса... А они погубили Христа, отреклись от Него и продолжают упорствовать в отказе от Его учения. Их следует вразумить. Перестаньте быть евреями, придите к Христу – и вы окажетесь лучшими среди нас... Проникновением в суть иудаизма, в длящееся веками противостояние религий поэт себя не утруждает. Евреи, два тысячелетия лишенные собственной страны, говорящие в разных уголках мира на разных языках, повсюду чужаки и неудобные, – они, как только переставали быть евреями по вере, переставали и **существовать**. Вот, и ладно. Вот и решение вопроса! Так целый народ стирается с карты мира. Зулусы, алеуты, маори – пусть себе будут, а евреев не надо... Поразительно! А ведь еще вчера на глазах Пастернака осуществлялся биологический геноцид евреев. И ужаса в ответ на это он в себе не ощутил.

Есть о чем заново задуматься обсуждающим «русскую идею». Действительно ли ангисемитизм занимает в ней место красугольного камня? Может ли русский обрести свою идентичность, не выставляя еврея в качестве контрастирующей фигуры? На мой взгляд, это все-таки бред. И поэт бредил вместе с имперским культурным слоем, к которому принадлежал. Сегодняшний читатель не вправе от этого отворачиваться. В чем преемственность нынешней интеллигенции по отношению к давешней? Что следовало бы изменить?.. Однако никакие суждения (и заблуждения) Пастернака не отменяют его величия в поэзии. КАК БРОНЗОВОЙ ЗОЛОЙ ЖАРОВЕН./ ЖУКАМИ СЫПЛЕТ СОННЫЙ САД... У кого мурашки не побегут по спине, с тем и разговаривать бессмысленно.

4.

Израильский еврей, думающий на русском, я понял, что люблю и буду любить Россию такой, какой она запечатлена Пастернаком. Другая Россия, от «немьгой» до «не измеряемой общим аршином», от Киевской до путинской – страна мне, репатрианту, в сущности, уже **не своя**. И когда возникает желание вернуться, то именно – в Россию Пастернака. С другой стороны, чтобы вернуться туда, может, и нет необходимости заказывать билет. Она и так с нами. В нас. Порой думаешь: она могла бы даже называться иным именем, являть иные ландшафты, иметь иную историю...

В самой же России, помнится, в 70-е – 80-е стали высказываться в том духе, что Пастернак не русский – «русскоязычный» поэт. Может ли русский поэт сказать И НОЧЬ ПОЛЗЁТ АТАКОЙ ГАЗОВОЮ? Или: И ВЕЧЕР ВЫРВЕШЬ ТОЛЬКО С МЯСОМ? Экий дёрганный экспрессионизм, экая бестактность в обращении со словом. Явно нерусский вкус. Как ни крути, *прекрасное должно быть величаво*. Так что крестись, не крестись, от еврейского темперамента не отделаешься... Господа, а вы по-прежнему уверены, что от него надо отделяться?

Вот картинка: сидим, группа выходцев из той страны, беседуем. Водки достаточно. Голос иногда приходится повышать: за стеной уже гроыхает. Арабские снайперы обстреливают наш квартал из ближней деревни за обрывом, а израиль-

тяне отвечают огнем из танков на склоне. Археологические свидетельства еврейского присутствия всюду, где удастся, арабами уничтожаются. Евреи здесь – уже целых 120 лет оккупанты, убивать надо их всех, от мала до велика, пока не убежится, – такова воля Аллаха. Идеологема «сионистские крестоносцы» могла бы расмешить своим идиотизмом, если бы не гвозди и металлические шарики во взрывчатке мусульманских самоубийц. Не до смеха.

Каждый из собравшихся за столом оккупантов где-нибудь служит. Кто газетчиком, кто врачом, кто рентгенотехником, кто чиновником. Один даже преподает славистику в еврейском университете, а другой стал хозяином (но, кажется, и единственным работником) маленького книгоиздательства. Почти у всех за спиной резервистская служба. Наши дети говорят по-русски с акцентом, вызывающим улыбку либо оторопь. Так накладываются друг на друга чужеродные просодии. Возможно, они, когда подрастут, еще посетят Россию и Украину – туристами. Пастернака им вряд ли прочесть.

ЭТО ЛЮБЕРЦЫ ИЛИ ЛЮБАНЬ... ЭТО ЗВОН/ ПЕРЕЦЕПОК У ЦЕЛИ О ВЕСЬ ПЕРЕГОН... Куда легче кровь перелить, чем перекачать подобное в другую речь! Собравшиеся Пастернака не цитируют. Зачем? Образованность показать? Но начни один, например: ДЛЯ ЭТОГО ВЕСНОЮ РАННЕЙ/ СО МНОЮ СХОДЯТСЯ ДРУЗЬЯ – и услышим почти хором: И НАШИ ВЕЧЕРА – ПРОЩАНЬЯ/ ПИРУШКИ НАШИ – ЗАВЕЩАНЬЯ, ЧТОБ ТАЙНАЯ СТРУЯ СТРАДАНЬЯ/ СОГРЕЛА ХОЛОД БЫТИЯ.

Не знаю, как чьё, а наше бытие этим согревается.

(редакция 2015 г.)



Леонид Гиршович

ЕСЛИ Б ГАРМОШКА УМЕЛА...

Рахманинов говорил: «Во мне 85% музыканта и 15% человека»; я бы мог сказать: «во мне 85% ученого...», но сейчас этот процент ученого быстро сокращается, а процент человека не нарастает, получается в промежутке вакуум, от которого тяжело.

М. Гаспаров

Если б гармошка умела задавать вопросы, она бы наверняка спросила: «Для чего вы пишете?» И балалайка бы спросила. И матрешка бы спросила. Отвечать надо доступно.

Почему мечтают поступить в театральный институт? За известной артисткой, хоть и с отрывом, следует прославленный писатель. Его романы проходят в школах: завалишь на вступительных экзаменах литературу – загремишь в армию. В каждом доме, имеющем право так называться: «дом» – пусть это будет комната в коммуналке – парад подписных изданий. Авторы выстроились в своих фасонистых переплетах, по которым их различаешь. Численность полка, носящего то или другое имя, достигает двух-трех десятков томов. Писателю не требуются внешние данные, как при поступлении в театральный институт. Если кто-то толст или еще по какой-то причине отвергнут миром, он в восьмилетнем возрасте начинает писать романы. Сперва на полстраницы. Потом в состоянии исписать несколько страниц подряд, каждый раз беря новую общую тетрадь. В классе пятом приходится смирить гордыню: отказаться от романного жанра. Писали же Куприн с Чеховым короткие рассказы.

И т.д. Рассказ, он как безразмерный носок (галантерея не стоит на месте), может растягиваться, даже вымахать с повесть. Но и ты уже вымахал, пора прекратить это ребячество – что-то там кропать. Вон как вытянулся, построинел, хоть в театральный институт иди. Многие так и делают: идут в театральный или в другой, такой же театральный. Но не всякому по силам устроить театр из своей жизни. Страх перед зрительным залом порожден обыкновением запирается на ключ, на крючок – сочиняя. Писательство, к вашему сведению, форма агорафобии, тогда как страдающий клаустрофобией, наоборот, никогда писателем не будет.

Говорю не ради того, чтобы «изречь». Привычка не видеть тех, к кому обращаешься, делает их существование не только излишним, но и мучительным: в их присутствии ты и сам под оптическим прицелом. Я начинал как скрипач в симфоническом оркестре, десять лет просидел на берегу моря, бросая бестрепетный взор в глубину зрительских барашков. Потом на смену симфоническому оркестру пришел оперный оркестр, на смену сцене – или, как меня поправляли в детстве, эстраде – пришла оркестровая яма, оркестровый ров, «оркестерграбен», когда на месте публики глухая черная стена и всё черно, как ночь, кроме светящегося козырька над нотами. Через сколько-то лет не можешь сидеть с краю эстрады (если незаряженное ружье стреляет раз в жизни, то оперный оркестр выступает с концертом раз в месяц). Убегающий вглубь партер и четыре заполненных яруса поднимают тебя на штыки. Под вперенными в тебя взглядами из последних сил вдавливаешь подметки в пол, цепляясь за него пальцами ног. Руки в холодном поту: только бы не выронить

скрипку. Смычок едва ли не сжимаешь в кулаке. При этом им еще надо махать, шибко-шибко, и бегать пальцами по грифу, быстро-быстро. И чтобы никто не заметил, что ты уже в шаге от инсульта, пригибаешься, насколько это возможно, на своем стуле. А выйти на глазах у публики нельзя ни при каких обстоятельствах.

Вот строки из Елены Шварц:

Ой-ой-ой!
Я боюсь сидеть на стуле –
Потому что он висит
Над зияющею бездной!

Я справился со своей напастью. Сказал себе, внушил себе, что всегда могу встать и уйти. И все как рукой сняло.

Речь шла о привычке не видеть тех, к кому обращаешься. Интересно, что бы мне ответил наш консерваторский Павел Миронович с кафедры марксизма-ленинизма, спроси я у него: что первично, писатель или читатель? (Обожал задавать вопросы вроде того, чем отличается объективный дух от материи, если, по Ленину, «атом неисчерпаем»?) Ведь спрос рождает предложение, верно, Павел Миронович? Так что сперва появился читатель, потом писатель. И еще вопрос, Павел Миронович: если в отсутствие плановой экономики неизбежно перепроизводство, то значит при капитализме неизбежны войны между писателями за рынки сбыта?

На семинарах по диалектическому материализму всегда находился какой-нибудь активный студент. Но продолжим. Неважно, первичен ли читатель или он производное от писателя. Куда важнее, что все, и материалисты, и идеалисты, убеждены: слова произносятся в расчете на то, что будут услышаны, текст пишется в расчете на то, что будет прочитан. Это как утверждать: мы пьем, чтобы не умереть от жажды, едим, чтобы не умереть с голоду. Нет же, мы пьем, потому что хочется пить, едим, потому что хочется есть – а то и потому что вкусно.

– До тех пор, пока у меня есть хоть один читатель, я буду писать!

А если ни одного не будет, я что же, перестану? (Синтонацией старого еврея, которая в моем случае уже уместна.) И когда пробьет мой час, разве не скажу: «Сейчас, только допишу страничку...» – пусть даже ее пришлось бы взять с собой.

Один рассказ я вспоминаю, может быть, даже слишком часто, словно кроме него других рассказов у Борхеса не читал. Вскоре после того, как в Прагу входят танки («Светало. Бронированный авангард третьей империи входил в Прагу»), Мирослава Хладика приговаривают к расстрелу. «Кого-то обеспокоило, что кровь может замарать стену. Осужденному приказали сделать несколько шагов вперед». После слов команды стоп-кадр. «На каменной плите застыла тень летящей пчелы. Ветер тоже замер, словно на картине. Он подумал: „Я мертв“. Потом: „Я сошел с ума“. Потом: „Время остановилось“. Затем сообразил, что в таком случае мысль его тоже должна остановиться. Через какое-то время он заснул. Проснувшись, нашел мир таким же неподвижным и беззвучным. Прошел еще день, прежде чем Хладик понял: он просил у Бога целый год для окончания драмы – Всемогущий отпустил ему этот год... Он трудился не для потомков, даже не для Бога, чьи вкусы были ему неведомы. Недвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершенный лабиринт...» Работа идет в уме. «Он закончил свою драму. Не хватало лишь одного эпизода. Он нашел его». Дальше «коротко вскрикнул, дернул головой, четыре пули...»

Это эффектная притча о том, что есть «правда художественная». Точность. Ничего приблизительного, неточный расчет – и дом обвалится. А еще – для чего я пишу. «Недвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершен-

ный лабиринт...» Переданную мне эстафету совершенства надлежит передать дальше, не через продолжение рода, а перпендикулярно сему – надстроив из отпущенных мне слов еще крошечную малость Вавилонской Башни. Потом мое место заступит следующий. Норма выработки для каждого своя, самоотдача одинакова. Это не свободный труд, ты раб, но цепь, которой ты прикован – непреодолимая потребность делать свое дело.

«Злописучий графоман!» Мне это говорилось. Мне безразлично. А когда так отвечал, то говорилось: «Брань у графомана на врату не виснет». Хотя на «графомана» я не обижался, руководствуясь логикой абрамтерцовского рассказа, мол, это относится ко всякому, кто одержим писанием – в действительности я различаю два вида этой одержимости, в душе подсуживая себе. Графоман во что бы то ни стало хочет увидеть себя напечатанным, хотя бы для этого пришлось нанять негра (я бы даже нанялся: устаешь от себя, хочется спрятаться за кого-то – допускаю, что в этом причина многих мистификаций). Граф Вальзегг был графоман. Тот самый «человек в черном», заказавший Моцарту реквием. Графоман от музыки. Но когда каждое написанное слово – последнее («Минуточку, только допишу»), когда в насущных трудах над ним и думать забываешь о его посмертном, книжном воплощении, это уже не графомань. Так говорить, господа, зелен виноград. И дело вовсе не в самонадеянности пишущего, который с легкостью отразит атаку: «Сказать, что пишу для других – для этого я не настолько самонадеян».

Многие славословят тюремный опыт, от Достоевского до Лимонова и Солженицына, сказавшего: «Спасибо тебе, тюрьма». Иные – не хочу называть дорогие мне имена – славословят цензуру: вырастила умельцев эзопова языка, способных подковать антисоветскую блоху. Почему не благословить свой письменный стол? Искусство писать в стол, которым овладеваешь за долгие годы занятий этим благодарным делом, приобщает к свободе творчества (в трусливые кавычки не беру).

В свое время после исключительно лестной для меня публикации в журнале «Эхо» я ничуть не смутился, услышав от его редактора: «А теперь перестаньте печататься» (мы тогда еще были на вы). Впрочем, этим советом порой воспользоваться легче, чем пренебречь. Если у Снявского были стилистические расхождения с советской властью, то у меня – стилистические расхождения с читателем. В какой-то момент часть содержимого моего письменного стола попала на «рынки сбыта» в виде книг, но я иллюзий на сей счет не питаю, я всегда готов к наступлению второго ледникового периода. Хотя и не намерен разделить судьбу динозавров, с помощью интернета этого можно избежать.

Некто – читателю его имя все равно ничего не скажет – в начале своего пути вздохнул: «Поскорей бы все написать». Когда мне об этом рассказали... о, как я его хорошо понял! Сизиф, говорящий себе: сделал дело – гуляй смело. Каждый раз горю: только бы скорей закончить – чтобы в следующую минуту все начать снова.

«Талант всегда спешит» (слова Лидии Гинзбург).



Владимир Аникин
СЕМЕН ПОРТУГЕЙС – КАК
СОВЕТОЛОГ И СИСТЕМНЫЙ
«МОГИЛЬЩИК» БОЛЬШЕВИЗМА

К 135-летию со дня рождения С.О. Португейса

Этапы жизненного пути. В конце XIX-начале XX столетий в главном городе Бессарабской губернии – Кишиневе, проживало несколько ветвей фамилии Португейс, как видно, прочно сохранившей название страны исхода. Широкой публике фамилия эта стала известна в связи с тем, что один из ее носителей, а именно Абрам Иосифович Португейс, в качестве присяжного поверенного (адвоката) участвовал в защите интересов пострадавших в результате кровопролитного Кишиневского погрома 1903 года и впоследствии активно занимался благотворительностью. Родившийся же в Кишиневе, в 1880 году, Семен Осипович Португейс принадлежал к малообеспеченной семье ремесленника-еврея. В юные годы Семен Португейс вступает в тайный политический кружок Д.Б. Гольдендаха (Рязанова), видного деятеля российского революционного движения, начинавшего революционную работу в Одессе (в 1896-1899 годах находился в ссылке в Кишиневе под гласным надзором полиции). Окончательный выбор в пользу революции молодой Семен Португейс сделал в 1901-1904 гг. во время получения образования в Германии. Почему он оказался в рядах противников царского режима, достаточно вразумительно ответил один из его биографов Борис Николаевский: *«Снизу вверх он выбылся тем путем, который едва ли не один оставался открытым для талантливой молодежи этого слоя: через участие в революционном движении»* [11, с. 394]. На этом поприще Семен Осипович Португейс сумел укрепить достоинство рода.

Первые литературные опыты приходится на время его сотрудничества в «Южном обозрении», которое редактировал будущий член кадетского ЦК А.С. Изгоев (Ланде), а затем в «Искре». После возвращения в Россию Португейс сблизился с группой петербургских меньшевиков во главе с А.Н. Потресовым, видным деятелем российской социал-демократии, одним из лидеров меньшевизма. Одновременно он начал активно сотрудничать с меньшевистскими и просоциалистическими непартийными изданиями, такими как «Современный мир», «Образование», «Литературный распад», «Вершины», «День», «Современное слово». В годы первой мировой войны Португейс вместе с Потресовым редактировал газету «День».

В 1921 году Семен Португейс, не сумевший приспособиться к существующему в Советской России режиму, который он охарактеризовал как *«тошлый большевистский иллюзион»*, бежал в родную Бессарабию, а оттуда перебрался в Париж, более чем на пятнадцать лет ставший ему домом. Последние годы жизни Португейс провел в Америке, где, как и многие другие изгнанники, оказался после начала второй мировой войны. Здесь, в 1944 году, он скончался. Наиболее известные литературно-политические псевдонимы С.О. Португейса – «Ст. Иванович» и «В.И. Тагин» [10, с. 122].

За годы, проведенные в эмиграции, Португейс из талантливого политического публициста вырос в глубокого ученого-политолога и оригинального социального

теоретика. С.О. Португейс может по праву считаться одним из родоначальников *научной советологии*. Наиболее полно его научный потенциал раскрывается в работах, посвященных анализу сущности большевистского режима и его эволюции. . .

В чем же состояли самобытность мировоззрения С.О. Португейса как советолога и его политическая проницательность?

Отношение к большевистскому перевороту. Основой социально-политического мировоззрения С.О. Португейса являлось представление об истории как о процессе постепенного превращения «среднего человека» в «гражданина». Такая демократическая позиция, выкристаллизовавшаяся у него под влиянием Гольдендаха-Рязанова, с одной стороны, отмежевывала Португейса от всякого рода политического сектанства и заговорщичества, а с другой, от народнического комплекса преклонения перед народом. Подвергая критике либерализм за высокомерную элитарность, нечувствительность к проблемам большинства и «буржуазность», он тем не менее критично относился и к современной ему социалистической доктрине, подменившей, по его мнению, «принцип гражданина» «принципом рабочего», ибо, *«как только исчезает критерий гражданина, исчезает и критерий свободы»*. [1, с. 74].

Главным пороком социализма С.О. Португейс считал «диктатуру экономики», абсолютизацию материальных факторов в ущерб культурным. Видя в экономических формах жизнедеятельности людей «базис» социального развития, он вместе с тем был убежден, что прогресс осуществляется главным образом «в вершинах надстроек» и состоит в постепенном высвобождении личности от пут экономической зависимости. «Диктатура экономики», по Португейсу, – это результат обрушения культуры и «неслыханного обнищания человечества» [1, с. 77], надолго отодвинувших достижение общественной гармонии. «Социализм, - писал он в статье «О диктатуре», - произойдет от богатства... Чтобы вспыхнула революция (а революции только вспыхивают), общество должно прийти в состояние крайнего упадка. Чтобы осуществился социализм, общество должно находиться в состоянии наивысшего расцвета» [5, с. 238].

К числу одной из важнейших причин большевистской катастрофы Португейс относил давно обозначившийся разрыв между русской элитой, достигшей безусловных высот в искусстве, литературе, социальной теории, и массой, неспособной «подпереть эти культурные максимумы»: «... когда в великой войне и затем в великой революции понадобился народ, понадобились массы, национальная воля и государственный разум, то вместо этого оказалось пустое место...» [10, с. 123; 4, с. 378]. В конечном итоге в России победили те, кто полагал, что капитализм – не *предпосылка* социализма, а лишь *помеха* ему. Возобладала опасная логика: «Когда капитализму худо – социализму хорошо. Когда капитализм болен – надо его добить, чтобы стал возможен социализм...». Между тем, Португейс отмечал, что между понятиями *«невозможен капитализм»* и *«возможен социализм»* существует принципиальная логическая и политическая разница. По Португейсу, буржуазию можно свергнуть (что не так уж трудно, если та погрязла в преступлениях, глупа, бездарна, эгоистична до слепоты), но этот шаг будет иметь прогрессивные последствия только в том случае, если «то дело, которое она делала плохо, делать хорошо...» [9, с. 11-13].

Опираясь на известную формулу Жореса «революция есть варварская форма прогресса», Португейс доказывал, что большевистский переворот – это «варварская форма регресса» и потому революцией, строго говоря, назван быть не может. Только прогресс (прежде всего – расширение возможностей культурного творче-

ства) оправдывает радикализм революционного метода. Большевизм же, по Португейсу, нанеся главный удар по культуре, обозначил «горьчество начал регресса в цикле событий, начавшихся весной 1917 г.» [7, с. 25-26].

Для Португейса другим важным критерием подлинной революции был ее национально-патриотический характер. Действительно «настоящей» он признавал Великую французскую революцию: даже за «варварским неистовством Конвента» / крылась/ была естественная попытка нации защитить себя от исходившей извне угрозы. Варварство же большевиков родилось из национального предательства: «Те Дзержинские состояли при Дантонах, призывавших к оружию против внешнего врага, наши же Дзержинские состояли при Крыленках, призывавших к похабному миру поротно и повзводно» [7, с. 27]. По мысли Португейса, при существующем низком уровне культуры и национального самосознания революция неизбежно обернулась не более чем механическим «переворотом» социальных ролей. Вместо «свободы, равенства, братства» большевизм привел к новому угнетению и диктату: «Могучее инстинктивное тяготение истомленных в рабстве душ к социальной справедливости и социальному равенству не находит иного выражения кроме антигегической перестановки членов в формуле неравенства... Ибо в равенстве нет необходимого искупления прежних мук и прежнего рабства...» [7, с. 50-51]. Именно эту психологию русских низов использовали большевики.

В отличие от историсофского надрыва, который был характерен для русской эмиграции, Португейс тщательно анализирует факторы, позволившие большевизму победить. Большевизм для него – это срыв восходящей революции в смуту, прежде всего вследствие поражения культуры и ее носителей. В таком драматичном повороте событий огромную роль сыграла мировая война, пробившая хрупкую оболочку культуры и обнажившая отечественный хаос. И к несчастью для России нашлась политическая сила, сделавшая сознательную ставку на разнуздание варварства. Лидеры большевиков, и в первую очередь Ленин, уловили то, что их оппоненты не видели и не хотели видеть. Они поняли, что «война другие народы разорившая, русский народ... физически и духовно искалечит» и «решились дух войны, ее яд, ее аморальную, зверскую, хаотическую стихию сделать духом своей партии... Тот, кому приходилось с ними спорить на митингах... не мог не унести с собою незабываемого впечатления ставки, бесстыдно-откровенной, до конца доведенной ставки на хаос...» [10, с. 124].

По Португейсу, непосредственной движущей силой переворота стали группы, деклассированные в ходе мировой войны и крушения культуры повседневности: «Мир распался, на оголенном мировым пожарищем месте стал голый, искалеченный человек, которому все нипочем. Этого человека большевики искали на фронте, среди дезертиров, среди деклассированных масс деревни и города, среди разношерстных толп, втянутых военно-промышленной вакханалией в горячее пекло индустрии. И этого человека они нашли в количествах, достаточных для того, чтобы стихийной лавиной затопить разрозненные экземпляры человека-гражданина...» [7, с. 14-15].

Оппоненты большевизма, стоящие на демократических позициях, недооценили силы разложения и анархии, которые скопились к тому моменту в России. Португейс сетует, что подлинная демократия все равно не имела в то время шансов в жесткой схватке (а иной она быть не могла) победить силы хаоса: «Демократия, которая не была в состоянии идти по линии хаоса, вынуждена была искать *равнодействующую* линию между силами хаоса и идеалами демократии. Но она не была

в состоянии найти достаточно мощную силу, *противодействующую* хаосу [7, с. 14-15]. Гораздо позже, в 1936 году, Португейс, анализируя события прошлого, приходит к выводу, что российская демократия оказалась беспомощной перед лицом большевизма еще и потому, что тот являл собой абсолютный новый феномен – *демократизацию реакции*. «Случилось то, к чему демократическое сознание XIX и XX вв. было менее всего подготовлено. Политическая реакция из господской, из барской, превратилась в реакцию народную, плебейскую... В качестве народной эта реакция легко стала впитывать в себя некоторые идеи социализма-антикапитализма, и тут-то явственно обнаружилось, какой варварской, губительной для человеческой индивидуальности силой может стать социализм, из которого выпотрошены идеи и идеалы политической демократии» [10, с. 125].

О противоречиях большевизма. Как социальному мыслителю С.О. Португейсу нельзя отказать в оригинальности его методологии социально-исторического анализа. Исторические события он рассматривает на скрещении двух разнонаправленных аналитических стратегий. С одной стороны, он признает, что каждое событие «*входит в историю*» (в том числе и цепь российских революций начала XX в.), с другой стороны, Португейс был убежден в том, что история также «*входит в каждое событие*»: в него «врываються силы «диалектики», силы социологического развития, превращающие первоначальную значимость этого события из одной в другую, нередко прямо противоположную» [10, с. 125]. Этого не избежал и большевизм. Специфика же большевизма, по мнению Португейса, в том, что он «возымел безумное намерение запереть Россию и запереть себя таким образом, чтобы русская история никоим образом сюда не вошла». Отсюда – «террористическая истеричность» большевиков, движимая стремлением защититься от «проникновения истории в собственный организм» [4, с. 356]. Именно в этом принципиальное отличие большевиков от Петра Великого: если Петр, прорубив «окно в Европу», *впустил историю в Россию*, то Ленин и Сталин пытались *отгородить Россию от истории* [10, с. 126].

Анализируя истоки большевизма, Португейс широко использует понятия «история» и «исторический случай». Большевики, считает он, хорошо осознают, что история, объективные законы исторического развития не на их стороне. В попытке превратить случай «в историю, а историю, хотя бы тысячелетнюю историю России, в необязательный случай» и состоит, по Португейсу, суть коммунистической утопии. Глубинный смысл большевизма, заключает Португейс, – не в провозглашении некоего общественного идеала. Разветвленная коммунистическая мифология и связанная с ней изощренная политическая демагогия есть не более чем способ удержания политической власти. Конечно, стремление сохранить завоеванные позиции присуще всем захватившим власть. Но для большевиков власть – это воля не только «к жизни», но и «к определенному ее смыслу, хотя бы и самому фантастическому».

В связи с этим С.О.Португейс пишет: «Вспомним только, с какой заклятой силой отстаивали себя и свои «принципы» партии французской революции. Посылая друг друга на эшафот, они считали свои принципы, иногда самого отвлеченного свойства, чем-то таким, ничтожное, временное отступление от чего грозило мировой погубелью. Гильотина разрешала философские споры» [10, с. 126]. Власть как таковая – вот что является для большевиков единственной ценностью. Большевизм, согласно Португейсу, – «холоден, расчетлив, весь погружен в бухгалтерию». Во имя сохранения власти он готов поступиться любой идеологией: «Это оголенная

форма узурпации, чистый ее вид, не подчиненный никаким идеям, идеалам, принципам, кроме одной всепожирающей цели – быть, жить... Здесь его особая статья. Здесь он был безусловно оригинален, смел, ловок, талантлив. Здесь была особая, тонко проводимая политика, изучение и анализ которой легче... и скорее вводит в самую душу большевизма, чем томительные раскопки в груди наваленных большевиками мыслей, слов, теорий, мероприятий...» [10, с. 126].

По мнению аналитиков, важной заслугой Португейса-советолога является его всесторонний анализ взаимоотношений «органики» истории большевистского насилия над ней. Все «антиисторические» планы большевиков, отмечает он, неизбежно терпели фиаско. Но именно потому, что эти планы проваливались (и именно в той мере, в какой они проваливались), и сохранялось господство большевиков над Россией: «Только старательно облегчаясь от своей программы, только ценой неслыханного в истории революции бесстыдного оппортунизма, большевики могли удержаться у власти. Только терпя изо дня в день поражение как принцип, большевизм мог до сих пор удержаться как факт. Они объявили священный поход против истории, но история забралась внутрь их самих, дала им жизнь и отняла у нее их смысл» [10, с. 126]. Несомненно, последовательная сдача ключевых коммунистических принципов (ликвидация имущественного неравенства, мировая революция, отказ от государства как машины насилия и пр.) – есть летопись русского большевизма.

В ответ на излюбленные в эмигрантской среде рассуждения о том, что «советская власть в тупике», Португейс-советолог вносит в них принципиальное уточнение: «Нет, советская власть сменяет один тупик на другой, и все ее многочисленные перемены курса не более, как выход из одного тупика в другой. Какой из них будет последним, сейчас сказать нельзя, но что каждый новый тупик будет для нее гибельнее предыдущего – это совершенно очевидно [2, с. 63]. Во многом отслеживанию и анализу блужданий большевизма «из тупика в тупик» и посвящены основные работы Португейса-мыслителя.

О «средних слоях» и молодежи. Не соглашаясь с абстрактными разговорами о большевизме как о «рецидиве русского варварства», «реванше азиатчины», «реставрации восточной деспотии» и т.п., характерным для большинства эмигрантов антибольшевистской ориентации, Португейс пытается определить конкретные социальные силы, которым Россия обязана своей «стамбулизацией». При этом он делает упор не столько на тех, кто возглавил и непосредственно осуществил переворот, сколько на тех, чьим интересам тот отвечал. Согласно Португейсу, решающую роль в большевистском перевороте сыграли «средние слою», «мелкая буржуазия», т.е. те социальные силы, которые были вытеснены на «зады» русской жизни в ходе лобового противостояния реакционных верхов и революционных низов. Русская интеллигенция, по замечанию Португейса, никогда не ценила и в результате опасно недооценила «средние слою». Между тем, мощная антимещанская струя в элитарном сознании, свидетельствуя о высоком уровне духовности русской интеллигенции, была вместе с тем и «грозным признаком выпотрошенности русского социального тела» [10, с. 127].

По заключению Португейса, большевистский переворот по своему объективному содержанию представлял собой спровоцированный случайными обстоятельствами стихийный прорыв тенденций, которые подспудно назревали в России десятилетиями. «Регрессивный метаморфоз» русской экономики обнаружился еще в начале первой мировой войны: «Легионы мелких торговцев и спекулянтов, гро-

мадное разбухание починочной индустрии, резко увеличившаяся зависимость спроса от ремесленного и кустарного предложения – все это были симптомы не только экономического, но и социального подъема средней и мелкой буржуазии». Переориентировавшись на военные заказы, крупный капитал «перестал работать на удовлетворение потребностей жизни и стал работать на удовлетворение потребностей смерти – потребностей войны» [4, с. 364].

Усилившееся бегство крупного капитала с рынка личного потребления имело далеко идущие психологические последствия – массовое сознание отозвалось на него псевдосоциалистической «карикатурой»: «Не нужно нам никаких капитализмов!». Португейс не сомневался, что вульгарный социализм большевистской эпохи был естественным продуктом «регрессивного метаморфоза» предреволюционных лет. В то же время контркультурный радикализм большевиков лишь придал этому явлению необычайно мощный размах. По мнению Португейса, процесс «разрушения капитализма» пошел на пользу вовсе не пролетариату (быстро исчезающему по причине полного паралича промышленности), а прежде всего «мелкотравчатой буржуазии» [10, с. 127].

Исходя из этого, по заключению Португейса, русская революция (включая Февраль) не была ни буржуазной, ни социалистической: «Не пролетариат и не буржуазия, а вот именно этот конгломерат средних элементов города и деревни, «мещан», которых мы раньше не замечали или всячески презирали, – вот они-то и заявили о своем существовании и о своих исторических претензиях с наглядностью воистину убийственной» [4, с. 363-365]. «Убийственность» эта заключалась в том, что необходимым условием выхода на историческую арену плебейско-мещанских слоев была социокультурная катастрофа нации, «обвал всех достигнутых столетиями дореволюционного развития уровней – экономических, культурных и духовных»: «Все должно было стремительно покатиться вниз для того, чтобы эти поздно родившиеся социальные элементы могли подняться вверх...» [10, с. 128].

В конечном счете, «средние слои» сумели вырваться на авансцену русской истории лишь благодаря большевизму, найдя в нем «питательный бульон» для своего бурного роста. При этом речь шла как о социально-экономическом, так и о культурно-психологическом «реванше»: «Надо было разбить духовную гегемонию русской интеллигенции, сбить с нее ее антимещанский пафос, унижить ее не только социально, но и душевно» [4, с. 368].

Таким образом, власть большевиков смогла утвердиться потому, что под заветой демагогических рассуждений о «пролетарской диктатуре» вызвала к жизни массовые средние слои. Однако, сотворив нового «субъекта истории», она неизбежно вступила с ним в непримиримый конфликт. Большевизм же, стремясь упрочить собственную власть, не жалея сил, создавал механизмы влияния на различные социальные группы, а те, со своей стороны, использовали данные механизмы для исторического самовоспроизводства и – тем самым – против «антиисторического» большевистского диктата. Именно столь третируемое в России (в т.ч. и большевиками) «мещанство», проникшее со временем во все поры советского режима, и оказалось в конечном счете «могильщиком большевизма» [10, с. 128].

Посвящая свои работы проблеме о роли молодежи в русской революции, Португейс, как всегда скрупулезно, пытается выявить причины, обусловившие, по его словам, «педократизацию» российской жизни. Говоря о «решительной схватке поколений», он считает, что это является характерной чертой для эпох бурных общественных трансформаций: «Всякая революция и по причинам своим, и по послед-

ствиям своим является глубоким историческим разрывом поколений. С этой точки зрения революцию следует рассматривать не только как явление социально-политическое, но в значительной мере и как явление социально-биологическое» [13, с. 479]. «Восстание детей против отцов», принявшее в России особо острые формы, советолог связывает с отсутствием прочных культурных традиций. Происшедшее Португейс склонен объяснять, как и во многих других случаях, фактором мировой войны. Вместе с тем он подчеркивает, что главная проблема заключалась не в росте поколенческих *претензий* как таковом, а в смене поколенческих *настроений*. По мнению Португейса, большевизм умышленно сделал «ставку на «омоложение» русской революции, правильно сообразив, что чем менее кадры и аппаратура будут обременены годами, чем они будут зеленее, тем они будут краснее...» [10, с. 130].

Объективно оценивая возможность молодежи укрепить свой социальный статус посредством политической активности (комсомол), и получать профессиональное образование, Португейс вместе с тем обращает внимание на существующие ограничительные барьеры, выстроенные советской системой (политический контроль, подмена прав льготами и привилегиями и т.п.). Португейс выражает уверенность в неизбежности замены распределительных приоритетов молодежи правовыми нормами.

Большевизм и экономика. На все лады перепевавшемуся в эмигрантской среде (подчас весьма талантливо) тезису о «большевистском разрушении экономики», Португейс предпочел феномен большевистского вмешательства в экономику расшифровать социологически, опираясь на данные статистики: «Когда мы говорим о разрушении большевиками в первый период их господства промышленности, то надо иметь в виду его социальный смысл. Ибо в этом разрушении весьма значительную роль играет перераспределение и расхищение оборудования, запасов сырья и отчасти денежных капиталов... Коммунистическое разрушение было в значительной мере формой и предпосылкой мелкобуржуазного накопления... Произшедшие при этом грандиозные усушка и утруска самой материи владения были всего только издержками революционного производства новых собственников» [4, с. 368-370; 10, с. 128].

Согласно Португейсу, за процессом «разрушения через перераспределение» (присущим, по мнению советолога, всем революционным эпохам), в свою очередь, просматриваются далеко идущие тенденции, раскрывающие глубинную логику эволюции системы. Они позволяют, в частности, объяснить такое явление, как тотальная криминализация советского общества: «Когда все имущества, все ценности были перераспределены под водительством советской власти, когда все было прибрано к рукам и грабить других стало более невозможно, тогда стали грабить ее самое. В атмосфере грандиозной социальной инерции коммунистическая собственность, собственность самого государства стала не более священной, чем та собственность, поход на которую организовала советская власть» [4, с. 371]. Рано или поздно, заключает Португейс, когда режим окончательно одряхлеет, коммунистическая (государственная) собственность неизбежно окажется объектом варварского расхищения. И это будет ничем иным, как прямым следствием порожденной большевизмом варварской перераспределительной психологии [10, с. 129].

Португейс подчеркивает, что заявления большевиков о занятии пролетарским государством командных высот в российской экономике не имеют под собой никаких оснований. За счет контроля над национализированной промышленностью кормится не народное государство и уж тем более не пролетарский класс-гегемон,

вполне конкретные частные лица. «Даже пресловутая «командная высота» национализированной промышленности, – отмечает он, – и та косвенно питала и питает средние классы населения, переводя в их частное накопление немаловажную часть накопления государственного. ...Внутри самого аппарата крупной национализированной промышленности образовались уже значительные кадры тороватых хозяйственников, которые при помощи буржуазных спецов научились водить за нос советскую казну, прятать прибыли в дебрях хитроумных отчетов...» [4, с. 373]. Далее Португейс пишет: «Вырастают элементы будущих собственников, «на всякий случай» воздерживающихся отдавать «им» «свои» деньги. Однако пока эти деньги «им» не отдаются, эти деньги греют множество людей, тучей вьющихся вокруг каждого предприятия, которое без них и не может жить, нуждаясь в сложной системе толкачей, посредников, «связей», подставных лиц, акробатов чудовищной советской бюрократии, умеющих ходить по канату и прыгать с крыши» [4, с. 374].

Современные аналитики подчеркивают, что сделанные С.О. Португейсом в конце 1920-х годов «удивительно точные оценки хозяйственной системы», более чем на полвека предвосхитили работы отечественных экономистов, начавших на закате советской эпохи исследовать «народное хозяйство» страны в русле концепции «бюрократического рынка» [10, с. 129; 15, с. 16].

О «коммунистической партии» и «советском обществе». Безусловно, ключевой для Португейса является идея, что повседневная жизнь, развиваясь вопреки большевизму, постепенно регенерирует объективную логику человеческих отношений, культуры и истории. В итоге важнейшие институты большевистского режима, создававшиеся для поддержания его стабильности (партия, комсомол, армия), становятся ареной острейшей внутренней борьбы. В них и, учитывая их значение, прежде всего в них проявляется имманентное противоречие системы – возрождение культуры повседневности наперекор пароксизмам революционной чрезвычайщины.

К числу излюбленных тем Португейса-советолога относится исследование метаморфоз, претерпеваемых главным институтом большевизма – коммунистической партией. Собственно, правомерность использования понятия «партия» применительно к РКП-ВКП вызывает у него серьезные сомнения: «Партия – это всегда только часть политических сил данной страны, большая или меньшая. Но все-таки только часть... Там же, где все партии уничтожены, где действует только одна группа людей, выжигая огнем и вырубая мечом всех не только инакодействующих, но и инакомыслящих, притом не только вне своего круга, но и внутри его самого, – там эта господствующая часть превращается в целое. А превратившись в целое, перестает быть частью, она перестает быть партией» [8, с. 3].

Однако суть проблемы Португейс усматривает не в ложном самоназвании, а в том, что, установив монополию на власть, партия загоняет внутрь себя общественно-политические противоречия: «Партии удалось предупреждать и пресекать появление второй партии в стране, но она потерпели жестокое поражение у себя дома, ибо этот дом превратился в арену грандиозной междоусобицы... В кривом зеркале коммунистической монополии наскакивают друг на друга чудовищно карикатурные отражения социальных реальностей, не имеющих пока иной возможности выявиться, как в этом чудовищно искажающем зеркале» [14, с. 415; 10, с. 132].

По мнению Португейса, история «сыграла с РКП злую шутку». Действительно, в условиях преследования и изгнания сил, чья деятельность так или иначе противоречит целям партии-монополиста, местом спасения этих сил оказалась...

сама партия: «Если хозяйствовать можно только состоя в РКП, или «примыкая к ней»... то, стало быть, весь многообразный мир интересов, страстей, столкновений, связанных с хозяйственной деятельностью, с классовой борьбой, с борьбой в пределах каждого класса – все это должно найти то или иное отражение внутри этой огромной губки – РКП. Если никуда нельзя пойти и ничего сделать нельзя, не побывав внутри и около РКП, то естественно здесь образуется водоворот, дикая свалка тех интересов, которые в нормальной обстановке находят себе свои собственные многочисленные русла, свои собственные организационные формы... Борьба населения с монополией легальности РКП была перенесена в пределы самой РКП» [10, с. 132].

По образному выражению Португейса, «борьба за партийный билет – это борьба за власть, и каждая социальная группа вносит в эту борьбу... *свое* социальное содержание». Так, проведенный им анализ настроений в советской деревне конца 1920-х годов показывает, что «партийные влечения» среди крестьянства определяются целями, *не вполне большевистскими* («занять какую-нибудь должность», «укрепить свое хозяйство», «получить командировку в учебное заведение», «приобрести власть над односельчанами»), а иногда и *полностью антибольшевистскими* («замаскировать свое хозяйственное обрастание», «прибедничаться перед налоговыми органами», «укрыться от судебного преследования» и т.п.). Иными словами, коммунизм в деревне – «это не исповедание и убеждение, а профессия или состояние» [1, с. 133].

Весьма поучителен и анализ Португейсом существа «сталинского термидора» – политики «раскулачивания» и огосударствления аграрной сферы. Согласно его заключению, изначальная легитимность большевистской революции в общественных низах объяснялась прежде всего тем, что последняя создала условия для быстрого социального восхождения. Диктатура живет верой в то, «что революция еще не кончилась», «что для тех, кто был «ничем», есть еще большие возможности стать «всеми». Внезапное осознание массами, что «мест уже нет», ставит под удар устойчивость системы» [12, с. 2].

На рубеже 1920-х – 1930-х годов в советской России, по оценке Португейса, сложилась «психологически опасная» для режима ситуация: растущее в массовых слоях ощущение, что «революция выдохлась», подогревалось риторикой влиятельного «правого» крыла партии «о мирном вращении в социализм». Разумеется, в этой ситуации правящей группировке, стремящейся сохранить свои позиции, требовалось наглядно продемонстрировать, что «революция продолжается». Отсюда следует, что главной целью сталинского «огосударствления деревни» было даже не изъятие крестьянского хлеба в пользу города, а расширение командно-бюрократического сословия как главной опоры режима, осуществление «повальной бюрократизации всего русского сельского хозяйства».

Согласно Португейсу, определенную роль в массовом «раскрестьянивании» сыграла и марксистская догма о благодетельности тотального обобществления производства, но «шилом в мешке сквозь этот эксперимент проглядывала необходимость утолить жажду власти и командования у миллионов людей, не столько сплотившихся, сколько столпившихся внутри и вокруг ВКП и комсомола, обобщенных посулами и перспективами социального возвышения...» [10, с. 134].

Вместе с тем, расширив свою «социальную емкость» за счет деревни, партия столкнулась с новой проблемой вынуждающей партию искать пути для приобщения «к частичке общественно-политического и хозяйственного командования» и других

элементов населения, что в свою очередь ставит перед партией необходимость периодически «прореживать» собственные ряды. В связи с этим Португейс делает принципиальный вывод о «безысходности» и «конечной неразрешимости» данного противоречия. Подобным же образом он анализирует метаморфозы, происходящие в среде советского рабочего класса. По большому счету, Португейс был фактически первым из исследователей большевизма, который обращает внимание на один из ключевых парадоксов советского строя: хотя пролетариат официально объявлен в России «господствующим классом», наиболее инициативные его представители в лице «рабочего молодняка» мечтают «перебраться» в другие социальные группы [13, с. 492, 502]. Очевидно, на смену «революционному романтизму» приходят практицизм и рациональный расчет. Развитие этой тенденции, по оценке советолога, со временем приведет не только к окончательному выхолащиванию «пролетарской» мифологии, но и к основательному социально-политическому перерождению режима.

О «старении режима» и способах его «омоложения». Исходя из того, что главной проблемой большевистского строя, по Португейсу, является неизбежное столкновение возрождающейся культуры повседневности с доктринально узкими коммунистическими рамками, он подвергает проблему «старения режима» и формы его «омоложения» тщательному анализу. Он подчеркивает, что одним из наиболее эффективных способов искусственного продления «революционной молодости» власти является постоянное поддержание в массовом сознании «образа врага», этакое «турка» в лице буржуа, белогвардейцев, врагов пролетариата и т. д. Отсюда – перманентные кампании по выявлению подлинных и мнимых «врагов народа». Другим радикальным средством самоомоложения режима он считает «политические чистки». Вместе с тем, по мере неуклонного «старения» режима активные формы его «самоомоложения» (террор, чистки, процессы над «врагами народа») сменяются все более «вегетарианскими», характерными скорее для суетливой «кутермы», нежели для возвышенной «революции». Характерно, что при описании совокупности мер, с помощью которых дряхлеющий режим противодействует процессам возрождающейся исторической «органики», советолог использует обобщенное и очень точное понятие «дерганье».

Между тем, по оценке Португейса, необратимые процессы «старческого перерождения» захватывают уже самую коммунистическую верхушку: энтузиастов революции постепенно замещают чиновники, бессовестно и цинично стремящиеся к консервации своего статуса. «Окончание революции» станет делом рук самой коммунистической элиты, и коллапс советской системы начнется с ее главного института – партии. Заметим, что этот аналитически точный прогноз был сделан Португейсом еще на рубеже 1920-1930 годов [10, с. 136].

О контурах будущей России. Вопреки большинству эмигрантов первой послереволюционной волны, Португейс был убежден, что «большевизм могут преодолеть не те, которые с ним и к нему не пошли, а только те, которые из него ушли» [10, с. 136]. С нескрываемой иронией и даже жалостью он относился к тем эмигрантским деятелям, которые все еще лелеяли мысль о своей «особой роли» в грядущих событиях. Решение же своей собственной задачи советолог видел в трезвом анализе процессов, изнутри подтачивающих большевистскую диктатуру.

По мнению аналитиков, корни его удивительной исследовательской и политической убежденности в конечности большевистской диктатуры крылись в глубоком знании европейской истории и прежде всего – истории Французской револю-

ции. В его рассуждениях о перспективах развития большевистского режима аналитики улавливают явные отголоски блестящего анализа соотношения «старого порядка» и «революции», проведенного, в частности, Алексисом де Токвилем на примере Франции. Не исключено, что именно знакомство с идеями Токвиля позволило Португейсу выстроить цель рассуждений, раскрывающих беспочвенность революционного нетерпения его коллег по эмиграции [10, с. 136-137; 15, с. 20].

Если «новый порядок», по убеждению Португейса, «успел благополучно миновать «детские болезни» своего роста, если он устоял против первых конвульсивных конгратак того общества и государства, которые он обезвластил и обесправил, тогда ему уже более или менее гарантирован относительно длинный период жизни». Поскольку большевикам удалось справиться и с тем, и с другим, надежды на преодоление советского режима следует связывать с его «постарением»: «Он обязательно должен постареть, чтобы сконцентрировать на себе ненависть народного большинства, чтобы разрушить все иллюзии, связанные с его рождением и молодыми годами... Режим должен остыть, сложиться, стать «пожилым», потерять блеск великих событий... чтобы в отношении к нему страдающих масс могла проявиться свобода оценки и в психике народа могли бы накопиться элементы объективной ориентации в своем собственном положении» [6, с. 391-392].

По утверждению Португейса, в основе того «обмещивания» советского общества, о котором с презрением писали многие эмигрантские авторы, лежит определенный подъем уровня жизни населения, и это не просто прозаическое благо, но одна из необходимейших предпосылок «пробуждения в замороженном советском человеке духа свободы». Для него не подлежит никакому сомнению, что процесс «обмещивания» свидетельствует о «переходе России в органическую эпоху». И эта историческая органика, по его убеждению, гораздо опаснее для диктатуры, чем «лихорадка революции»: «Аппетит не только к материальным, но и духовным и моральным благам будет у русского народа быстро возрастать в прогрессии, за которой реформаторской колеснице диктатуры все труднее и труднее угнаться...». И как итог – излюбленный тезис Португейса, ставший его кредо еще со времен внимательного изучения работ Г.В. Плеханова: «Россия до-эволюционирует до революции» [10, с. 137].

О характере будущей «революции» Португейс высказывается весьма осторожно, однако из его работ понятно, что он предпочел бы максимально бескровный исход. По поводу же будущей, «разбольшевиченной», России он не высказывает особый оптимизм: очень трудно, если вообще возможно, разом перепрыгнуть из диктатуры в царство подлинной демократии. Он предупреждал о трагической ошибке, уже сделанной однажды русскими революционными мечтателями.

Главной задачей нового поколения российских демократов, согласно Португейсу, должно быть не столько приближение конца коммунистического режима, сколько подготовка условий, при которых «финал коммунизма» стал бы действительно прогрессом. В отличие от ностальгирующей по прежним временам эмигрантской массы, он хорошо усвоил тот урок, который был преподан его соотечественникам в 1917 году: если не подготовлены культурные условия, способствующие позитивному преодолению «старого порядка», падение ненавистного режима может оказаться шагом не вперед, а назад. Не случайно Португейс с тревогой констатировал, что большинство антибольшевистски настроенных русских эмигрантов сами отмечены печатью большевизма. Он решительно не разделял психологию бескомпромиссного уничтожения любого инакомыслия.

Последовательна установка Португейса – работать не на любой «антибольшевизм», а (по возможности) на «культурнический», просвещенный «постбольшевизм». При этом если даже в полной мере чистоту такой стратегии соблюсти не удастся, принципиальная задача ясна: в случае, если антибольшевистская революция в России произойдет спонтанно, постараться принять все меры к тому, чтобы «обезопасить ее от возможных реакционных и реваншистских искажений». Это, в свою очередь, предполагает активную политико-культурную борьбу против существующей диктатуры.

Об историческом смысле большевизма. Твердо убежденный в том, что большевизм проник в историю в результате исторического «зигзага», Португейс тем не менее не склонен рассматривать большевистскую эпоху как некую «черную дыру» и «потерянное время» для российской истории. Он подчеркивал, что любую фазу истории, даже трагическую, можно прожить и изжить по-разному. По его мнению, объективно-исторический смысл большевистской эпохи заключается в том, что «поверхностный прогресс социальной и культурной верхушки нации» (такова была ситуация до революции) был превращен в «глубинный прогресс всей народной толщи» [4, с. 378]. Данный тезис, понятно, резавший ухо аристократическо-снобистской части эмиграции, представляется вполне логичным для Португейса-советолога. Как известно, он связывал большевистский обвал с огромным разрывом между российской культурной элитой и массами, а потому видел в росте культуры широких слоев населения, даже медленном, неровном и происходившем в условиях большевистского господства, несомненное историческое благо.

Исторические процессы, утверждал Португейс, нельзя оценивать «с позиции рекордов» (типа: «сто миллионов людей, научившихся рисовать, не стоят одного Рафаэля»); развитие демократии есть развитие социальной и культурной самостоятельности крупных классовых и национально-государственных «массивов». Только тогда, когда подобные «массивы» сформировались, возвышающиеся над ними «культурные максимумы и рекорды» приобретают устойчивость и историческую прочность. Однако если бы посткоммунистическая Россия избрала именно такую стратегию преодоления большевизма, то это могло бы служить «оправданием» советского периода «не только с точки зрения материи, но и с точки зрения духа» [4, с. 379].

Представляется, что большевистский эксперимент для Португейса – это серьезный повод задуматься и о состоянии социалистического мировоззрения в целом. Практика большевизма показала, что «в теоретическом царстве социализма не все ладно». Советский большевизм, по Португейсу, безусловно, – «карикатура», «грандиозный поклеп», «гомерическое издевательство» над основными идеалами и принципами социализма. В большевизме обнаружилось свойство всякой карикатуры, если она талантливо исполнена: при взгляде на такую карикатуру становится понятным, что именно так «безобразит и искажает» оригинал [10, с. 139].

Характерно, что к числу опасных теоретических заблуждений, порочность которых вскрыл опыт большевизма, Португейс относит не только учения о «диктатуре пролетариата» и «социальной революции», но и идею «обобществления производства как наиглавнейшей задачи социализма»: «Коллективное хозяйство перестало быть фетишем. В условиях несвободы и даже недостаточной свободы оно не благо, а проклятие, потому что отнимает у человека и ту свободу, свободу хозяйствования, на которую даже наиболее консервативные и реакционные политические режимы капитализма меньше всего покушались. С отнятием и хозяйственной

свободы рабство становится тотальным. В условиях деспотии коллективное хозяйство есть великое несчастье. Каковым оно будет в условиях демократии – для ответа на этот вопрос достаточных данных еще нет. Представление о том, что в нем самом заключаются зиджительные силы, творящие только общественное добро, оказалось ложным и, по меньшей мере, неподтвержденным» [3, с. 312].

Анализируя взгляды Португейса-советолога, целесообразно вспомнить еще один важный вывод, к которому он пришел, изучая сущность большевизма. Этот вывод заключается в том, что подобное «историческое помрачение» приходит в историю не только как прямое насилие, но и как серьезный «соблазн». Еще в начале 1920-х годов Португейс предвидел, что и после своего краха большевизм не утратит притягательности для массового сознания: «Побежденный как факт большевизм, весьма возможно, будет гораздо более нынешнего соблазнять как идея и иллюзия... в особенности, если большевизм сойдет в царство теней в ореоле мученичества, а его победители не сумеют скоро создать в России сколько-нибудь сносные условия жизни» [10, с. 140]. Представляется, что эти слова свежо звучат и остаются удивительно актуальными и в наши дни.

В целом же следует констатировать, что труды системного советолога С.О. Португейса, на наш взгляд, заслуживают более пристального внимания отечественных политологов и особенно молодых исследователей.

Article is devoted to the native of Bassarabia, one of the founder of scientific Sovietology in Russian emigration, to talented publicist Simeon Osipovich Portujgejs (1880-1944). It is emphasized, that is the fullest its scientific potential reveals in works where the essence of the Bolshevism and its evolution from the Soviet Russia is analyzed.

The article is considered the features of outlook and S. O. Portujgejs' political insight. The special attention is given the analysis of approaches and assessments by the Sovietologist of the problems connected with its attitude to Bolshevik revolution, with revealing contradictions of the Bolshevism, with disclosing a role of average layers and youth in revolution, with the attitude of the Bolshevism and economy, with evolution of communist party and the Soviet society. The forecast of the future of Russia is given, the historical sense of the Bolshevism reveals. It is emphasized, that S. O. Portujgejs' basic political predictions for evolution of the Bolshevism have proved to be true also conclusions of the Sovietologist remain actual and nowadays.

Библиография

1. Иванович Ст. Демократия и социализм. // Современные проблемы. - Париж, 1922.
2. Иванович Ст. Из тупика в тупик. // Заря, 1922, № 3.
3. Иванович Ст. Кризис социалистического сознания. // Новая жизнь, 1942, № 1.
4. Иванович Ст. Об историческом массиве (Из размышлений о русской революции). // Современные записки, 1927, № 32.
5. Иванович Ст. О диктатуре. // Современные записки, 1922, № 10.
6. Иванович Ст. Пути русской свободы. // Современные записки, 1936, № 60.
7. Иванович Ст. Пять лет большевизма. - Берлин, 1922.
8. Иванович Ст. Российская коммунистическая партия. - Берлин, 1924.
9. Иванович Ст. Сумерки русской социал-демократии. - Париж, 1921.
10. Кара-Мурза А.А. Первый советолог русской эмиграции: Семен Осипович Португейс // Политические исследования (Полис), 2006, № 1.

11. Николаевский Б. Памяти С.О. Португейса (Ст. Ивановича). // Новый журнал, 1944, № 8.
12. Талин В.И. Кутерьма и революция. // Последние новости, 1929, 2 апреля.
13. Талин В.И. Наследники революции. // Современные записки, 1927, № 30.
14. Талин В.И. Побежденные и победители. // Современные записки, 1928, № 4.
15. Аникин В. Бессарабец Семен Португейс как советолог. // Moldoscopie (Probleme de analiza politica), № 2 (LXI), Chisinau, 2013.



Павел Нерлер, Александр Дунаевский
НОТОГРАФИЯ:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
НА СТИХИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА *

Составление и вступительная заметка

П.М. Нерлера и А.Д. Дунаевского

Предисловие П.М. Нерлера

«ОНА И МУЗЫКА, И СЛОВО...»

Она и музыка, и слово...

О. Мандельштам

Музыка была непреходящей любовью Осипа Мандельштама. Ее многочисленным отражениям в творчестве поэта посвящены десятки статей на разных языках.^[1]

Но и сам Мандельштам и его поэзия послужили источником вдохновения для нескольких поколений композиторов и музыкантов. Песни, романсы, вокальные циклы, оратории были написаны 160 авторами на тексты 224 его сочинений, включая детские и переводные стихи. В количественном отношении среди авторов безусловное первенство принадлежит П. Старчику (118 опусов на стихи О.М.!), далее с гигантским отставанием следуют Л. Новосельцева (25), И. Гельман (17), С. Коренблит (15) и Ю. Зыслин (14). Наряду с русскими авторами в нотографии оказались представлены также немецкие (О.-Г. Блаэр, Р. Бредемейер, Б. Кинцлер и Д. Куртаг), швейцарские (К. Хубер), австрийские (И. Эрёд) и польские (А. Зарицкий) композиторы и авторы.

Наиболее вдохновляющими на музыкальные интерпретации произведениями О.М. оказались два ранних стихотворения – «Нежнее нежного...» (21 версия) и «Скудный луч, холодной мерою...» (19). За ними следуют три стихотворения 1930 года – «Ленинград» и «Жил Александр Герцевич...» (по 17) и «Я скажу тебе с последней прямотой» (14), а за ними – «Только детские книги читать» (12), «Мы с тобой на кухне посидим» (11) и «За гремучую доблесть грядущих веков...» (10).

Самым ранним музыкальным произведением, написанным на тексты О.М., стал вокальный цикл А.А. Крейна «Две еврейские песни» на стихи Л. Яффе и О. Мандельштама (Ор. 29/2). Он был создан в 1918 и опубликован в 1922 г. Возможно, поэт присутствовал и на его публичном исполнении: 30 октября 1924 года под эгидой «Общества еврейской музыки» в Малом Зале Консерватории состоялся концерт из произведений Крейна, во 2-м отделении которого, среди прочего, исполнялся и этот романс (исполнительница – Сирануш Кубацкая или Е.А. Бекман-Щербина).^[2]

* Статья подготовлена для «Мандельштамовской энциклопедии» в рамках проекта «Мандельштамовская энциклопедия: завершающий этап» (грант Российского государственного научного фонда № 15-34-11210а(ц)).

Так же при жизни О.М., в апреле 1936 года, Л.К. Книппер написал музыку к песне Неле из романа Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель» в переводе О. Мандельштама, датированном 1932 годом. В свете «Битвы под Уленшпигелем»^[3] можно высказать осторожное предположение о причастности этого произведения к возможной работе О.М. над очередной радиопередачей для Воронежского радио. Кстати, примерно в это же время О.М. перевел на русский язык для одной воронежской певицы так называемые «Неаполитанские песенки»^[4].

К творчеству О.М. обращались такие известные современные композиторы как К. Буркхард (вокальный цикл), Л. Гофман (камерная кантата «Армения» в 4-х частях для сопрано и струнного оркестра), В. Дашкевич (вокальная симфоническая поэма «Сохрани мою речь» для голоса и камерного оркестра памяти Н.Я. Мандельштам), Э. Денисов (два вокальных цикла – «На повороте» и «Боль и тишина»), М. Меерович (вокальный цикл), В. Сильвестров (вокальные циклы «Тихие песни», «Простые песни», «Ступени» и др.), С. Слонимский (романсы и хор без сопровождения), Б. Тищенко («Шестая симфония памяти Е.А. Мравинского на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и В. Левинзона»), Е. Фирсова (вокальные циклы и камерные кантаты), К. Хубер («Чернозем. Опера в девяти картинах»), М. Цайгер (вокальный цикл «Воронеж») и др. О.-Г. Бларр, Л. Гурвич, В. Кисин, В. Рябов – единственные композиторы, отозвавшиеся на творчество О.М. сугубо инструментальными произведениями.

Подавляющее большинство авторов, обратившихся к творчеству О.М., – это барды, или, иначе, исполнители песен на собственную музыку. Большинство из них поют под гитару, иногда в сопровождении скрипки или других инструментов. Встречается и клавишный автоаккомпанемент (П. Старчик, И. Егиков и др.).

Некоторые из бардов специализируются на О.М. настолько, что выпустили свои индивидуальные «мандельштамовские» CD-диски: в частности, И. Гельман (CD «И слово в музыку вернись...», 2009) и Л. Новосельцева (CD «Вослед лучу...», 2009; DVD «Вослед лучу...», 2010). Т. Алешина, А. Деревягин, Е. Фролова и Н. Якимов сообща выпустили коллективный CD-диск «Улица Мандельштама» (СПб: «АЗиЯ- плюс», 2005).

Стихи О.М. не оставили равнодушными, в отдельных случаях, и популярных эстрадных исполнителей (ярчайший пример – Алла Пугачева), перформансистов (Псой Короленко) и даже рэперов (Иван Алексеев^[5]). Исполнение А. Пугачевой песен на стихи О.М. «Жил Александр Герцевич...» и «Ленинград», а точнее, ее вольное обращение с текстом поэта (объединение строф 3 и 6 и превращение их в рефрен в первом случае и замены мужского рода на женский и «Петербурга» на «Ленинград» во втором) в свое время поляризовало слушательскую аудиторию и породило дискуссии о том, насколько допустимы такие искажения^[6].

Стоит упомянуть, что большой любительницей классической и современной музыки была и Н.Я. Мандельштам. Она была знакома и общалась со многими композиторами и музыкантами. Так, в дневнике Гладкова читаем в записи за 3 августа 1963 года о Гарусе: *«Все дни жарыща. Тут кроме постоянно присутствующих: Надежда Яковлевна Мандельштам, Лидия Яковлевна Гинзбург, Коля Панченко и Варя Шкловская, композитор Каретников, еще молодой композитор Дашкевич^[7], Евгений Яковлевич и пр.»*^[8]. Знала она и киевлянина Валентина Сильвестрова, который познакомил ее с пианистом Алексеем Любимовым.

П.М. Нерлер

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящая нотография составлена по данным, выявленным по состоянию на 1 сентября 2014 года.

В основном разделе представлены музыкальные сочинения, в которых тем или иным образом использованы произведения^[9] Осипа Мандельштама. Сочинения располагаются в алфавитном порядке фамилий композиторов.

Источниками послужили актуализированные материалы нотографии Б. Розенфельда^[10] (*они помечены звездочкой: **), материалы, подчерпнутые из интернета (личные сайты авторов сочинений и исполнителей, порталы музыкальных записей и др.), а также сведения от отдельных авторов. В сборе первичных данных принимали участие О. Шамфарова, А. Любимов, А. Миронова, П. Трубецкой (*о П. Старчке*) и М. Шиндхельм, а также Е. Беркович.

За основным разделом следует алфавитный указатель стихотворений Мандельштама, положенных на музыку. После названия стихотворения перечисляются композиторы, писавшие музыку на данный текст.

Составители будут признательны за любые уточнения, добавления и замечания.

П.М. Нерлер, А. И. Дунаевский

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

*АДЛЕР Ефим Самуилович (р.1937).

«Нежнее нежного...». Романс для тенора, баса и мужского хора.

Библ.: Поет хор. М., Сов. Россия, 1981. С. 55-58.

АЛЕШИНА Татьяна Владимировна (р.1961).

1. «Я вздрагиваю от холода...»; 2. «Образ твой, мучительный и зыбкий... 3. «Холодок шекочет темя...»; 4. «Я не знаю, с каких пор...».

Ист.: CD «Улица Мандельштама», «АЗИЯ-плюс», СПб, 2005.

АЛЬПЕРОВИЧ Лев

1. «Я ненавижу свет однообразных звезд...»; 2. Раковина; 3. Флейта; 4. «Эта ночь непоправима...»; 5. Новеллино; 6. Злая осень; 7. Часы-кузнечик; 9. «Ты прошла сквозь облако тумана...»; 10. «Скудный луч, холодной мерою...»; 11. «Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант...»; 12. «Вы помните, как бегуны...».

<http://www.alplev.narod.ru/>

АРАПОВ Борис Александрович (1905 – 1992)

I. Из вокального цикла на стихи А. Ахматовой, О. Берггольц, М. Дудина, О. Мандельштама для голоса, колоколов, виолончели и фортепиано.

«Я вернулся в мой город...» («Ленинград»).

Нотная рукопись. 1988 (*ЦГАЛИ СПб. Ф.559. Оп.1. Д.98. Л. 4, 5*).

II. «Душа и тело». Вокальный цикл на стихи Н. Гумилева и О. Мандельштама для баритона и фортепиано: «Дано мне тело - что мне делать с ним...»;

Нотная рукопись. 1991 (*ЦГАЛИ СПб. Ф.559. Оп.1. Д.98. Л. 12-13 и 7-8*).

III. «Окаменела Иудея»; «Душный сумрак кроет ложе...».

Клавиш с авторскими разметками и подписным текстом (*ЦГАЛИ СПб. Ф.559. Оп.1. Д.98. Л. 15 об.-17об.*).

АРЦИНОВИЧ Всеволод Константинович (р.1956).

1. «Кинематограф»; 2. «Был старик застенчивый, как мальчик...» (Ламарк).

АСТРАХАНЦЕВА Н.

Прелюдия («Скудный луч холодной мерой...»).

<https://www.youtube.com/watch?v=f4-haNFxswg>

БАННИКОВ Евгений

«Как кони медленно ступают!..».

<http://www.bards.ru/archives/author.php?id=2252>

БАСНЕР Вениамин Ефимович (1925 – 1996)

І. Два романа на стихи О. Э. Мандельштама:

1. «Нежнее нежного...»; 2. «Возьми на радость из моих ладоней...».

ІІ. Сюита на стихи О. Мандельштама и других авторов для баритона, гобоя, английского рожка, двух фаготов и фортепиано (1983).

БАХМУТОВА Н.Н.

1. «Сестры тяжесть и нежность...»; 2. «Только детские книги читать...».

БАХОВ Валентин

«Здесь прихожане – дети праха ...» (Бах).

БАХТИН Юрий

«Бессонница, Гомер...»

БЕРЕЖКОВ Владимир Владимирович (р.1947)

1. «Я буду метаться по табору улицы тёмной...»; 2. «Я скажу тебе с последней прямой...».

*БЕЛОВ Геннадий Григорьевич (р.1939).

Ночное солнце. Вокальный цикл для баритона, гитары и фортепьяно. Посв. судьбе Петербурга-Петрограда-Ленинграда.

Состав: 1. На страшной высоте («На страшной высоте блуждающий огонь...»); 2. «Я скажу тебе с последней прямой...»; 3. «За гремучую доблесть грядущих веков...»; 4. «В черном бархате...».

Лит.: *Казанская Л.* «Верю в здоровое чувство прекрасного» // Сов. музыка. 1991. № 3. С. 50.

БЕЛЯЕВ Владимир (р.1948).

Прощание (из цикла «Армения») на стихи «Я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо...»). Авторская надпись: «Посвящается светлой памяти Вити Гордина». 1994.

*БЕНДИЦКИЙ Александр Семенович (р. 1932).

Романсы на стихи О.Э. Мандельштама, Э. Успенского, И. Бродского.

Лит.: Что завершено, что в работе, что задумано? // Музыкальная Академия. 1992. № 3. С. 53.

БИКТАШЕВ Валерий Надирович (р. 1963)

Луч. Из вокального цикла «Шесть романсов» на стихи О. Мандельштама.

<https://www.youtube.com/watch?v=jhw0vZILx4>

БЛАПП Оскар Готтлиб (Blatt Oskar-Gottlieb) (р. 1934).

Музыка для Осипа Мандельштама (1991).

*БОБЫЛЕВ Леонид Борисович (р. 1949).

Из Мандельштама. Вокальный цикл из пяти стихотворений для восьми исполнителей (1978).

Состав: 1. «Нежнее нежного...»; 2. «Звук осторожный и глухой...»; 3. «О, небо, небо, ты мне будешь снится!...»; 4. «Холодок щекочет темя...»; 5. «На луне не растет...».

БОГДАНОВА Наталья

«На луне...»

БОРДЮГ Нина Дмитриевна (р.1937)

Романсы на стихи О. Мандельштама,

БРЕДЕМЕЙЕР Райнер (Bredemeyer Reiner) (1929—1995).

«...Как всегда» (1987). Три стихотворения О. Мандельштама (в переводе Р. Кириша) для мужского голоса и гитары.

[Названия стихотворений не установлены]

*БРОННЕР Михаил Борисович (р.1952).

Серая птица печали. Кантата для голоса, скрипки, ф-п. и камерного оркестра в шести частях. Посв. Д. Д. Шостаковичу (1992).

Состав: 1. Интродукция (исп. без слов); 2. «Скудный луч, холодной мерою...»; 3. «Сегодня дурной день...»; 4. «Смутно-дышащими листьями...»; 5. «Я вздрагиваю от холода...»; 6. «Нежнее нежного...».

Лит.: *Долинская Е.* Школа мастерства // Сов. музыка. 1985. № 3. С. 19.

*БЭЛЗА Игорь Федорович (1904-1994).

Шесть четверостиший на стихи О. Мандельштама, Н. Гумилева, А. Радловой, Н. Барабанщикова. Вок. цикл для голоса и ф-п.

Состав: 1. «Звук осторожный и глухой...»; 2. «Что поют часы-кузнечик...».

ВАЙХАНСКИЙ Борис Семенович (р.1952)

«Я наравне с другими хочу тебе служить...».

<http://www.vaikhansky.com/>

ВОЙНЕР Г.В. (р.1978)

«За гремящую доблесть...»

* ВУСТИН Александр Кузьмич (р. 24.4.1943, Москва).

Три романса. Вок. цикл на стихи М. Лермонтова, В. Брюсова, О. Мандельштама (1975): <...> № 3: Жил Александр Герцевич. Посв. Владимиру Хачатурову.

Библ.: Из поэзии Мандельштама. М., Сов. композитор, 1992. С. 24-26.

ГАЛЕЕВА Эльмира Вилевна (р.1962).

Песни на стихи Осипа Мандельштама.

1. «Я скажу тебе с последней прямой...» (Шерри-бренди)

Ист.: кассета «Живущая на сквозняке», 1993; CD «Предчувствие», CD «Сибирский тракт», Казань, 2004-2005.

2. Тифлис («Мне Тифлис горбатый снится...»)

Ист.: CD «Елена Фролова, Юлия Зиганшина, Эльмира Галеева. Трилогия»; CD «Сибирский тракт», Казань, 2006.

3. «Жизнь упала...»; 4. «Петербургская зима».

Ист.: аудиокассета «Ночной разговор», «Сибирский тракт», Казань, 1997.

5. Чёрный ветер

Ист.: аудиокассета «Нежность». Казань: Сибирский тракт, 1995.

6. «Вы, с квадратными окошками...»; 7. «Кружевом, камень, будь...»; 8. «Истончается тонкий тлен...»; 9. «Невыразимая печаль...».

ГАНЗБУРГ Григорий Израилевич (р.1954)

Романс на стихи О. Мандельштама.

ГЕЛЬМАН Игорь (р.1954).

I. Песни на стихи Осипа Мандельштама.

Состав: 1. «Я по лесенке...»; 2. «Сократ»; 3. Колыбельная; 5. «У меня немного денег...»; 6. «Бессонница. Гомер...»; 7. «Вечер нежный...»; 8. «Я ненавижу свет...»; 9. «Пою, когда гортань...»; 10. Афродита; 11. «Мы с тобой на кухне посидим...»; 12. «Скудный луч...»; 13. «Дано мне тело...»; 14. «Не говори никому...»; 15. «Я вернулся...»; 16. «Нет, не мигрень...»; 17. «Сестры, тяжесть и нежность...».

Ист.: CD «И слово в музыку вернись...» Песни на стихи О.Э. Мандельштама». ООО «Акмэ», 2009.

II. «Нежнее нежного».

Ист.: CD «У меня в Москве...», 2000.

III. «Душу от внешних условий...».

<http://igorgelman.ru/>

ГОГОЛИН Михаил Рудольфович (р.1962)

I. «Мандельштам-концерт» для смешанного хора и ударных, соч. 2002 г.

Состав: 1. Неизбежное; 2. СебастьянБах; 3. Хрустальная роса; 4. Хабанера; 5. Вещая печаль; 6. «О, небо, небо»; 7. Пчелы; 8. Барабан.

II. «Два криминальных хора» для мужского хора, соч. 2002 г.

1. СебастьянБах; 2. Хабанера

<http://www.gogolin.ru/>

ГОРЕВ А.

Романсы на стихи О. Мандельштама:

1. «Я наравне с другими...»; 2. «Скудный луч...»; 3. «Я буду метаться...»; 4. «Мой тихий сон...»; 5. «Я пью за военные астры...»; 6. «Не спрашивай...»; 7. Раковина; 8. Дождик.

ГРЕКОВ Сергей

«Жизнь упала, как зарница...»

*ГРИНБЕРГ Сергей Львович (р.1947).

Белее белого («Нежнее нежного...»). 1987.

Ист.: пластинка в исп. Н. Брегвадзе.

*ГОФМАН Леонид Давидович (р. 1945).

I. Армения. Камерная кантата в 4-х частях для сопрано и струнного оркестра. (Примечание. Существует авторская версия для струнного квартета, арфы, фортепиано и голоса.)

Состав: 1. «Орущих камней государство...»; 2. «Какая роскошь в нищенском селе...»; 3. «О порфирные цокая граниты...»; 4. «Лазурь да глина, глина да лазурь...» Премьера: Московская осень-1999.

II. Три стихотворения О. Мандельштама и С. Рябинского. Вок. цикл (1999).

Состав: 1. «На бледно-голубой эмали...»; 2. «На полицейской бумаге верже...».

III. Три пьесы для голоса и фортепиано на стихи О. Мандельштама и С. Рябинского.

Ист.: «Московская осень — 99», исполнители — С. Савенко и Ю. Полубелов.

<https://www.youtube.com/watch?v=kc9Voclotuc>

IV. Четыре пьесы для голоса, альты и фортепиано на стихи И. Бунина, В. Ходасевича, А. Вознесенского, О. Мандельштама.

Ист.: «Московская осень — 2006», исполнители — С. Савенко, И. Гофман, Ю. Полубелов.

<https://www.youtube.com/watch?v=-eB8G1piLwM>

ГУРВИЧ Леон (Gurvitch Leon) (р.1979).

I. Памяти Осипа Мандельштама (2006/2007): версия для саксофона (или кларнета, или флюгельгорна), фортепиано, контрабаса и ударных.

II. Памяти Осипа Мандельштама (2006/2009): версия для скрипки и фортепиано.

<https://www.youtube.com/watch?v=XYTWRlsD1oY>

ДАВЫДОВ Борис.

1. «Колот ресницы...». <https://www.youtube.com/watch?v=FHRNDULoOOw>

2. «Казино». <https://www.youtube.com/watch?v=Cfaf4tDCyzs>

*ДАШКЕВИЧ Владимир Сергеевич (р.1934).

Сохрани мою речь. Вок. симфоническая поэма для голоса и камерного оркестра памяти Н.Я. Мандельштам (1980-1987; существует авторское переложение для голоса и ф-п).

Состав: 1. Музыкант («Жил Александр Герцевич...»); 2. «За гремучую доблесть грядущих веков...»; 3. Кинематограф («Кинематограф. Три скамейки...»); 4. Ленинград («Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»); 5. Вожди («Мы живем, под собою не чуя страны...»); 6. «Сохрани мою речь...»; 7. Песенка о Чарли Чаплине («Чарли Чаплин вышел из кино...»); 8. «Отравлен хлеб и воздух выпит...»; 9. «Я с дымящей лучиной вхожу...».

Лит.: *Польдясова Е.* Московская осень между прошлым и настоящим // Муз. Академия. 1993. № 2. С. 41; *Рожневский В.* «Proto...intra...meta» // Там же. С. 47.

*ДЕНИСОВ Эдисон Васильевич (1929-1996).

I. На повороте. Вок. цикл на стихи О.Э. Мандельштама (1979).

Состав: 1. «О небо, небо ты мне будешь снигаться!...» (Ночь); 2. Божье имя... («Образ твой, мучительный и зыбкий...»); 3. Зимний путь... («Как кони медленно ступают...»); 4. Silentium («Она еще не родилась...») [11].

Библ.: На повороте. Вок. цикл для меццо-сопрано, кларнета, альты и фортепиано на стихи О.Э. Мандельштама (1979) // Из поэзии Мандельштама. М., Сов. композитор, 1992. С.31-36.

II. Боль и тишина. Вок. цикл для голоса, кларнета, альты и ф-п. (1979).

Состав: 1. В лесу («Воздух пасмурный влажен и гулок...»); 2. Одиночество («Я наравне с другими хочу тебе служить...»); 3. Тишина («Слух чуткий парус напрягает...»); 4. Я боль («И опять набухают почки...»).

Библ.: Произведения для голоса и камерного ансамбля. Вып.3. М.: Сов. композитор, 1988.
Лит.: *Фрумкин Т.* Еще раз о поэзии и музыке // Сов. Музыка. 1981. № 7, с. 39.

ДЕРЕВЯГИН Александр Владимирович (р.1962).

1. «Только детские книги читать...»; 2. Шерри-бренди («Я скажу тебе с последней прямой...»); 3. «Довольно кукситься...»; 4. «Сохрани мою речь навсегда...»; 5. Волга («На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь...»)

Ист.: CD «Улица Мандельштама», «АЗИЯ-плюс», СПб, 2005.
http://www.bards.ru/archives/albom_show.php?id=2349

ДИВА Костя (Константин Гончаров, 1963-2012).

1. «От легкой жизни...»; 2. «Не спрашивай, ты знаешь...»; 3. «Нет, не мигрень...».

CD «Не спрашивай, ты знаешь...»
<https://irwi99.livejournal.com/869.html>

* ДМИТРИЕВ Георгий Петрович (р.1942).

Семь детских стихотворений О. Мандельштама для юношеского хора и ф-п.

Состав: 1. Чистильщик («Подойди ко мне поближе...»); 2. Калоша («Для резиновой калоши...»); 3. Муха («Ты куда попала, муха?...»); 4. Сахарная голова; 5. Курица и пава («Курицы-красавицы...»); 6. Полотеры («Полотер руками машет...»); 7. Рояль («Мы сегодня увидали...»).

Библ.: Репертуар детских и юношеских хоров. Вып. 19. М., Сов. композитор, 1991. С. 22-30.

ДМИТРИКОВА Елена.

Романсы на стихи О. Мандельштама.

*ДУДКИНА Наталья Александровна (р.1960).

Царское село! («Поедем в Царское село...»)

Лит.: *Смирнова Т.А.* Allegro, ч. 3, тетрадь 8. М., Композитор, 1996.

ДУНСКАЯ Елена.

«Жизнь упала, как зарница...».

* ЕГИКОВ Игорь Андреевич (р.1936).

«Куда везут они меня?». Вок. цикл для голоса и ф-п. на стихи О. Мандельштама (1987). Состав: 1. «Куда везут они меня?...» («Как кони медленно ступают...»); 2. «Скудный луч, холодной мерою...»; 3. «Смутно дышащими листьями...»; 4. «На мертвых ресницах Исакий замерз...»; 5. «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»; 6. «Колот ресницы. В груди прикипела слеза...»; 7. На луне («На луне не растет...»); 8. «Куда везут они меня...» (Вариант).

Премьера: Московская Осень-87. Дом Композиторов. Солистка И. Воронцова, партия рояля — автор.

Ист.: Аудиозапись – «Ниоткуда с любовью. Вокальные циклы». М.: Мелодия, 1990.
Лит.: Обо всем в одних стихах не скажешь. М., Композитор, 1997.

*ЕЛИСЕЕВА Наталия Петровна (р.1959).

«На луне не растет ни одной былинки...».

Библ.: *Елисеева Н.Н.* Песенки бабочек. Для детей. М., Апко, 1993. С. 3-5: № 5:

* ЖВАНЕЦКАЯ Инна Абрамовна. (р.1937).

Стихотворения О. Мандельштама. Вок. цикл для баритона и виолончели.

Лит.: *Алексеева Л.* «Московская осень—90» // Сов. музыка. 1991. № 2. С. 49; Муз. обозрение. 1999. № 7-8. С. 9.

ЖЕРНОВОЙ Максим (р.1967).

Ангел Мэри («Я скажу тебе с последней прямокой...»)

ЖУРБИН Александр Борисович (р.1945).

1. «Я изучил науку расставанья...»; 2. «Я вернулся в мой город...»

<https://gendelev52.wordpress.com/>

*ЗАРИЦКИЙ Анджей (Zarycki Andrzej) (р.1941).

1. Скрипач («Жил Александр Герцевич...»); 2. Цыганка («Сегодня ночью, не со-
лгу...»). В сети: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Zarycki

<https://www.youtube.com/watch?v=owebjfhvbc>

<https://www.youtube.com/watch?v=CvotF89wvW4>

Исп. Эва Демарчик (Ewa Demarczyk).

ЗИНИН Сергей

1. «Что поют часы-кузнечик...»; 2. «Я не знаю, с каких пор...»; 3. «Я по лесенке
приставной ...».

ЗЫСЛИН Юлий М. (р.1930, живет в США).

Песни на стихи Осипа Мандельштама

1. «Скудный луч, холодной мерою...»; 2. «Я вздрагиваю от холода...»; 3. Песенка
(«У меня немного денег...»); 4. «Я наравне с другими...»; 5. Век («Век мой, зверь
мой, кто сумеет...»); 6. Одеальная страна; 7. Муха; 8. Ленинград («Я вернулся в
мой город, знакомый до слёз...»); 9. «Мы с тобой на кухне посидим...»; 10. «Я
скажу тебе с последней прямокой...»; 11. Фазтонщик; 12. «Мы живём, под собою
не чуя страны...»; 13. «Заблудился я в небе – что делать?..»; 14. «На меня нацели-
лась груша да черёмуха...»

<http://www.museum.zislin.com/>

ИВАНОВ Владимир.

1. Луна. 2. Дурной день.

<https://www.youtube.com/watch?v=KnHYowIgw8w>

*КАЗЕНИН Владислав Игоревич (р. 21.4.1937, Вятка).

Веселые и грустные песни для голоса, ф-п. и флейты.

Состав: 1. Звуки («Звук осторожный и глухой...»); 2. Знакомство (для флейты); 3.
Ты («Нежнее нежного...»); 4. Молчание («Она еще не родилась...»); 5. Сон («Мой
тихий сон, мой сон ежеминутный...»); 6. Ночь («Из полутемной залы, вдруг...»); 7.
Таинство («Не спрашивай, ты знаешь...»).

Библи.: Веселые и грустные песни — В.И. Казенин. Веселые и грустные песни для голоса, ф-
п., флейты. М., Композитор. 1997.

Лит.: *Корев Ю.* В уповании на жизнь вечную нашего искусства // Муз. Академия. 2000. № 3.
С. 17.

КАПУСТИН Михаил Анатольевич (р. 1973).

1. «Мы с тобой на кухне посидим...», <https://gendelev52.wordpress.com/>

2. «Куда как страшно нам с тобой...»,
http://mp3.music.lib.ru/mp3/k/kapustin_m_a/kapustin_m_a-kuda_kak_strashno_nam_s_toboj-2.mp3
3. «Мы живем, под собою не чуя страны...»
http://mp3.music.lib.ru/mp3/k/kapustin_m_a/kapustin_m_a-мы_zhiwem_pod_soboju_ne_chuja_strany-2.mp3

КАЧАН Владимир Андреевич (р.1947).

1. «Мастерица виноватых взоров...»; 2. «Сегодня дурной день...»; 3. «Я вернулся в свой город...».
<http://www.bards.ru/person.php?id=170>

КЕДРОВСКИЙ М.

«За гремучую доблесть грядущих веков...».

*КИВА Олег Филиппович.

Камерная кантата № 4 для сопрано, баритона и камерного оркестра на стихи Н. Заболоцкого и О. Мандельштама.

«Звук осторожный и глухой...»

Лит.: Музична Украина. Киев, 1985. С. 3-6.

КИНЦЛЕР Буркхард (Kinzler Burkard, р. 1963, Штутгарт).

«Камень» на стихи О. Мандельштама для сопрано, трубы и органа (1999)

Первое исполнение: Шветцинген, 1999.

КИСИН Виктор Романович (р.1953).

I. Дуэт для альты и виолончели (1998, второе издание 2011): «Слух чуткий парус напрягает...»

Запись: Victor Kissine. Between two waves. "Duo", ECM 2013

Библ.: Victor Kissine. Duo für viola und violoncello (nach Ossip Mandelstam). Frankfurt/M.: M. P. Belaieff, 1998. 25 S. (Bel. Nr. 624).

II. Экспромпт (Impromptu) для скрипки и Ф-но (1998): «Невыразимая печаль /Открыла два огромных глаза...»

Библ.: Victor Kissine. Impromptu für Violine und Klavier (nach Ossip Mandelstam), 11', M.P. Belaieff - Frankfurt/M. Bel. Nr.626, 1998.

III. Партита для пьяно-форте (инструмента эпохи Моцарта), арфы и струнных, посвящена Андрею Волконскому (1998): «Звук осторожный и глухой...»

Запись: Victor Kissine. Chamber Music, "Partita", SOCD0002, 2003

КНИППЕР Лев Константинович (1898 - 1974).

Музыка к песне Неле из романа Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель». Пер. О. Мандельштама. 1932.

Нотная корректура с пометами автора. Апрель 1936.

РГАЛИ. Ф. 653 (Муз ГИЗ). Оп. 1. Д. 941. Л. 1-8.

КОЛЕСНИКОВА Галина.

«Эта ночь непоправима...».

КОРЕНБЛИТ Станислав.

Черная свечка. Песни на стихи Осипа Мандельштама.

Состав: 1. Воспоминание о лете; 2. «Твой зрачок...»; 3. «Вернись...»; 4. Мастерница;

5. Луч; 6. Импрессионизм; 7. Создатель; 8. Мадригал; 9. Раковина; 10. «Еще не умер ты...»; 11. Слабый звук; 12. Черная свечка; 13. «Я скажу тебе...»; 14. Рождение улыбки; 15. «Я видел...».

*КОРОВИНА Ольга Борисовна (р. 1953).
Вокальный цикл для меццо-сопрано и ф-п. (1994).
Лит.: Московская осень 1988-1998. М.: Композитор, 1998. С. 288.

КОРОЛЕНКО Псой (ЛИОН Павел Эдуардович, р.1967).
«На откосы, Волга, хлынь, Волга хлынь...» (совместно с Аленой Аренковой, 2007).
Альбом «Русское богатство. Т.II» (2013).
<https://gendelev52.wordpress.com/>

КРАВЦОВА-КУРТЦ Светлана.
«Мы с тобой на кухне посидим...»; 2. «Жил Александр Герцевич...»

*КРАВЧЕНКО Максим Анатольевич (р. 9.6.1962, Москва).
Tristia. Вок. цикл для баритона, ф-п., кларнета и треугольника (1985).
Состав: 1. «Как кони медленно ступают...»; 2. «Увы, растаяла свеча...»; 3. «Только детские книги читать...»; 4. «На луне не растет ни одной былинки...»; 5. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...»; 6. «Мы с тобой на кухне посидим...».
Два дополнительных романса: «О свободе небывалой...» и «Как подарок запоздалый...»

КРАМАРЕНКО Андрей Георгиевич.
1. «Только детские книги читать...»
Ист: CD-DA "ВсяЭтаМузыка-Продакшн", 2008.
2. «Навстречу звездному лучу».
<http://www.bards.ru/archives/part.php?id=25516>

*КРЕЙН Александр Абрамович (20.9.1883, Нижний Новгород — 21.4.1951, Старая Руза Московской обл.).
Две еврейские песни. Вок. цикл на стихи Л. Яффе и О. Мандельштама. Op. 29/2. На русском и немецком языках.
«Нежнее нежного...» (1918).
М., Музсектор. 1922. № 2.
Нотная рукопись. РГАЛИ. Ф. 653 (Муз ГИЗ). Оп. 1. Д. 1113. Л. 3-4.С
Лит.: Августова Р. На вечерах памяти // Сов. музыка. 1984. № 7. С.140.

*КРИВИЦКИЙ Давид Исаакович (1937 - 2010).
«Я изучил науку расставастья». Вок. цикл. Памяти Л.В. Варпаховского (1969). С.3-65.
Состав: 1. Fantasia Funeste (ф-п.); 2. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»; 3. «О, как же я хочу...»; 4. «Жил Александр Герцевич...»; 5. «Мы с тобой на кухне посидим...»; 6. «Вооруженный зреньем узких ос...»; 7. «Как подарок запоздалый...»; 8. «Я нынче в паутине световой...»; 9. Ritornando (ф-п.); 10. «За гремучую доблесть...».
Лит.: *Кривицкий Д.И.* Пройден путь науки и ненастья. М., Композитор, 1997. С.3-65.

КРУГЛИКОВ В.
1. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»; 2. «Поедем в Царское Село».

КРЫМСКИЙ Салим Манусович (р.1930).

11 песен на стихи О. Мандельштама. Вокальный цикл для голоса и фортепиано (2004-2006).

Состав: 1. Ленинград («Я вернулся...») 2. Мы на кухне («Мы с тобой...») 3. Шерри-бренди («Я скажу тебе...») 4. Музыкант («Жил Александр Герцевич») 5. Свобода («Я с дымящей лучиной...») 6. Улица («Это какая улица») 7. Ещё не умер ты; 8. Ось Земная («Вооружённый зреньем...») 9. Луч («О, как же я хочу») 10. Пароходик («Пароходик в пелухах») 11. Волга («На откосы, Волга, хлынь»).

Премьера: Токарева Элла, меццо-сопрано, 2006.

Лит.: Белая Л. Звучащая библия. Беседа с композитором Салимом Крымским // Родник. 2005 - 2006. № 2. С. 19-21.

КУКУЛЕВИЧ Михаил Анатольевич (р. 1939).

1. «Поедем в Царское Село!»; 2. «Сестры тяжесть и нежность...».

<http://www.bards.ru/person.php?id=1677>

КУРТАГ Дьердь (Kurtág György) (р.1926).

Песни отчаяния и печали (1994) на тексты О. Мандельштама, А. Ахматовой и М. Цветаевой для смешанного хора и инструментального ансамбля.

*КУРЧЕНКО Александр Петрович (р. 1939).

Детский вок. цикл для хора на стихи Н. Комаровской, О. Мандельштама. 1976.

Лит.: Сов. композиторы и музыковеды. Т. II. М.: Сов. Композитор, 1981. С. 124.

КУЧИНСКИЙ Владимир.

«Я наравне с другими ...»

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Алексеевич.

«Невыразимая печаль...»

http://www.bard.ru/html/Lavrent'ev_A..htm

ЛЕВКОЕВА Елена (1954 - 1993).

Скрипачка

<https://gendelev52.wordpress.com/>

ЛЕТУН Иосиф.

«Скажи мне, чертежник пустыни...»

ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА Татьяна Ивановна (1903-1998).

«Скудный луч, холодной мерою...».

*ЛОБОЗОВ Александр Сергеевич.

1. «Нежнее нежного...»; 2. «Жил Александр Герцевич...».

Группа «ЛУКОМОРЬЕ» (К. Егоров, А. Загрунный)

1. «Дано мне тело...»; 2. «Это всё о луне...»; 3. «Только детские книги читать...»; 4. «Нежнее нежного...»; 5. «Я не слышал рассказов Оссиана...»; 6. «Смутно-дышащими листьями...»; 7. Tristia; 8. «Есть иволги в лесах...»

МАКСИМЕНКО Сергей

1. «Я вернулся в свой город...»; 2. «Я скажу тебе с последней прямой...»

МАЛЫГИН И.

1. «Скудный луч холодной мерою...»; 2. «Дум туманных перезвон ...».

МАРЕН Марнэ.

1. Silentium; 2. «Я вздрагиваю от холода...».

МАТВЕЕВ Е.

«Как на Каме-реке...»

МАТЮХИН Александр Борисович (р.1947).

Песни и романсы на стихи О. Мандельштама (2004-2006).

Состав: 1. «Я наравне с другими хочу тебе служить...»; 2. «Я пью за военные астры...»; 3. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»; 4. «Я вздрагиваю от холода...»; 5. «Мне Тифлис горбатый снится...»; 6. Муха; 7. «Мы живем, под собою не чуя страны...»; 8. «На луне не растет ни одной былинки...»; 9. «О, как же я хочу...»; 10. «О свободе небывалой...»; 11. «Тянется лесом дороженька пыльная...»; 12. «Только детские книги читать...»; 13. «Жил Александр Герцевич...».
http://music.lib.ru/m/matjuhin_a_b/alb2.shtml

*МЕЕРОВИЧ Михаил Александрович (26.11.1920, Киев — 12.7.1993, Москва) [12].
Пять стихотворений О. Мандельштама. Вок. цикл для баритона, кларнета и альты (1980). Состав: 1. «Жил Александр Герцевич...»; 2. «За гремучую доблесть грядущих веков...»; 3. «Мы с тобою на кухне посидим...»; 4. «Это, какая улица?..»; 5. «Я скажу тебе с последней прямой...».

Лит.: *Глинка И.Г.* Дальше - молчание. Автобиографическая проза о жизни долгой и счастливой. 1933-2003. М.: Модест Колеров, 2006. С.163.

МЕНАБДА Манана (р.1948).

1. «Сегодня ночью, не солгу...»; 2. «Нежнее нежного...».

МИХАЙЛОВ Анатолий.

«Скудный луч, холодной мерою...».

МОЗАЛЕВСКИЙ Александр Васильевич (р.1953).

I. «Диптих» («Пароходик с петухами», «На откосы, Волга, хлынь»).

II. «Вослед лучу».

III. «Из воронежских тетрадей».

IV. «Нежнее нежного» - вокальные сочинения для баса-баритона и фортепьяно.

V. «Фиолетовый гобелен» для хора без сопровождения.

МОРАЛЕС Герберт Леопольдович.

«Улыбнись ягненок гневный...».

В сети: <https://gendelev52.wordpress.com/>

<https://muzofon.com/search>

МОРОЗОВ Сергей.

1. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...». <https://gendelev52.wordpress.com/> 2. «Кому зима арак...»; 3. «Я не слышал рассказов Оссиана...»; 4. «Петербургская зима»; 5. «Как на Каме-реке...»; 6. «Снится Тифлис»; 7. «Холодок щекочет темя...».

НАЗРУК И.Н. (р.1949).

I. Collage «Путешествие во времени»: Состав: 1. «Источается тонкий тлен...»;
2. «Ветер нам утешенье принес...».

II. Collage & Feat «Музыка, которой нет»: Состав: «Я не знаю, с каких пор...»; «Я по лесенке приставной...».

III. Ежик в тумане

IV. Feat. «Морожено! Солнце. Воздушный бисквит...».

V. Collage «Колыбельная щеглу»: Состав: 1. «Дано мне тело...»; 2. «Мы с тобой на кухне посидим...»; 3. «На луне не растет...».

VI. «Музыкант»: «Жил Александр Герцевич...».

VII. Рэгтайм Невского проспекта: «Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...».

VIII. «Я ненавижу свет...».

IX. «Нежнее...».

XI. Feat. «Сказки лунного трактира» - «На луне не растет...».

XII. Икар («О, как же я хочу...»).

НАРОДОВИЧ Юрий. (р.1953).

Мой Мандельштам. Фолк-поп-рок кантата.

1 "О, небо, небо ты мне будешь сниться..."

2 "Сегодня дурной день..."

3 "Скудный луч холодной мерою..."

4 "Смутно-дышащими листьями..."

5 "Раковина"

6 "Образ твой изменчивый и зыбкий..."

7 "Золотой"

8 "Лютеранин"

9 "Только детские книги читать..."

10 "Я ненавижу свет..."

11 "Из Омута злого и вязкого..."

12 "Невыразимая печаль..."

13 "Кинематограф"

14 "О как же я хочу..."

15 "Скажи мне чертёжник пустыни..."

НЕРЛЕР Павел Маркович (р.1952).

1. Ленинград; 2. «За то, что я руки твои не сумел удержать...».

НИРМАН Леонид Ефимович (р.1949; живет в Тулузе, Франция).

«Поедем в Царское село...».

http://www.bard.ru/html/Nirman_L.htm

НОВОЖИЛОВ Валерий

«Дано мне тело...».

НОВОСЕЛЬЦЕВА Лариса.

I. Песни на стихи Мандельштама.

Состав: 1. «Поедем в Царское Село...» (вариант); 2. «Петербургская зима»; 3. Мельпомена («Чуть мерцает призрачная сцена...»); 4. Париж («Язык булжника...»); 5. Сайма; 6. Феодосия; 7. «Возьми на радость...»; 8. «Только детские книги читать...»; 9. «Я больше не ревную...»; 10. «Ты прошла сквозь облако тумана...»; 11. «Воздух пасмурный влажен и гулок...»; 12. «Как кони медленно ступают...»; 13. «Как на Каме-реке (из вариантов + «Твоим узким плечам...»); 14. «Жизнь упала как зарница...»; 15. «Скудный луч холодной мерою...»; 16. «О, этот воздух, смутой пьяный...»; 17. «За гремучую доблесть...»; 18. «Кому зима...»; 19. «Вослед лучу»; 20. «Качает ветер тоненькие прутья...» (из вариантов); 21. Приглашение на Луну (из вариантов); 22. «Как Черный ангел на снегу...».

Ист.: CD «La romance» 25 романсов на стихи русских поэтов. Музыка Ларисы Новосельцевой (2000-2008), ООО МИЦ «Музпром МО», 2008; CD «La romance». Vol.2.

II. Счастье сирени. 25 романсов на стихи русских поэтов. Музыка Ларисы Новосельцевой, ООО МИЦ «Музпром МО», 2009; CD «Вослед лучу...» Музыка Ларисы Новосельцевой, ООО МИЦ «Музпром МО», 2009; DVD Концерт Ларисы Новосельцевой «Вослед лучу...», ООО МИЦ «Музпром МО», 2010
<https://gendelev52.wordpress.com/970-2/>

ОКС Женя (гитара, голос), РУЭ Элизабет (флейта, аккордеон, голос).
Песни на стихи О. Мандельштама.

ОРКИН Евгений (р.1977, Львов; с 1999 в Германии).

Четыре песни на стихи О. Мандельштама:

Состав: 1. «Я живу на важных огородах...»; 2. «О, как же я хочу...»; 3. «Колпот речницы...»; 4. [Нет сведений].

ОРЛОВА Алина (р.1988).

«Ни о чём не нужно говорить...»

ОСИНА Елена.

1. «Невыразимая печаль...»; 2. «Оттого все неудачи...»; 3. «Я буду метаться по табору улицы темной...».

*ОСТРОВСКАЯ Татьяна Лазаревна (р.1949).

1. Век («Два сонных яблока у века-властелина...»).

2. «Заблудился я в небе — что делать?...».

Лит.: Песни. М., Сов. композитор, 1989. С. 49-52.

3. «Дано мне тело, что мне делать с ним?...».

Лит.: Песня-90. Вып. 1. М., Сов. композитор, 1991.

*ПЕТРОВ-ОМЕЛЬЧУК Петр Владимирович (р. 1943).

Три вокальные миниатюры на стихи О. Мандельштама, М. Лермонтова, Г. Аполлинера (1977).

ПОВОЛОЦКИЙ Ю.Л. (р.1962, Одесса; живет в Израиле).

I. Камерно-вокальная и хоровая музыка.

Пять стихотворений Осипа Мандельштама (2006)

II. Музыка к театральным постановкам: «Шум времени. Осип Мандельштам» (2006).

В сети: <http://www.bard.ru/>

*ПОДГАЙЦ Ефрем Иосифович (р.1949).

Внешняя печаль. Вок. цикл для голоса и ф-п. в шести частях (1991).

Состав: 1. «Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...»; 2. «Сусальным золотом горят...»; 3. «Когда удар с ударами встречается...»; 4. «Невыразимая печаль...»; 5. «Скудный луч, холодной мерою...»; 6. «Только детские книги читать...» В сети: <http://podgaits.info/>

*ПОНОМАРЕВ Геннадий Робертович (р. 13.1.1957, Тула).

1. Раковина («Быть может, я тебе не нужен...»); 2. «Скудный луч, холодной мерою...»^[13]. В сети: <http://www.bard.ru/>

ПОПОВ Виктор.

1. «Жизнь упала, как зарница...»; 2. «Заресничная страна».

В сети: <https://gendelev52.wordpress.com/>

ПРИХОДЬКО Михаил Сергеевич (р.1959).

«Я не знаю, с каких пор ...».

ПУГАЧЕВА Алла Борисовна (р.1949).

1. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»^[14]. 1977.

Лит.: Антология русской песни / Сост., предисл. и коммент. В. Калугина. М.: Эксмо, 2005.

2. Музыкант («Жил Александр Герцевич...»). *Памяти Лидии Клемент*^[15]. 1980;

3. «Я больше не ревную...» («Я наравне с другими...») ^[16]. 1982.

РАЗДОЛИНА Злата Абрамовна

1. «В Петрополе прозрачном мы умрем...»; 2. Петербург

*РУБИН Владимир Ильич (р.1924).

Вок. цикл для баса и ф-п. на стихи А. Блока, У. Крехта, О. Мандельштама, А. Твардовского, В. Набокова (1995).

I. «Век мой — зверь мой...»^[17].

Библ.: «Век мой — зверь мой...» Вок. цикл для баса и ф-п. на стихи А. Блока, У. Крехта, О. Мандельштама, А. Твардовского, В. Набокова (1995). М., Русское музыкальное товарищество. 1997.

Лит.: В. Рубин, Л. Тевосян. «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» // Муз. академия, 1995, № 1. С. 33.

II. «Ангел хранитель, 12 видений грозного века» на стихи Блока, Мандельштама, Набокова, Брехта, Твардовского, Бараташвили, Церетели в переводе Пастернака (2007).

*РЯБОВ Владимир Владимирович (р.1950).

Слушай. Третья симфония для струнных, четырех тромбонов, ударных и фонограммы. По мотивам произведений А.И. Солженицына (1981). С эпиграфом из О. Мандельштама: «Мы будем помнить и в стигийской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля...»

*САВИН Мирослав (р.1951).

I. 1. «Только детские книги читать...»; 2. «Невыразимая печаль...».

Ист.: пластинка С 60 25149.006.

II. «Источается тонкий тлен...». Из вокального цикла «По снегу русскому домой...».

Ист.: пластинка С 60 31307 004.

III. «Дано мне тело...».

В сети: <https://gendelew52.wordpress.com/>; <http://miroslavsavin.ucoz.ru/>

СЕВЕРИНОВА Татьяна (р.1963).

«Я слово позабыл...» (Ласточка).

СИДОРОВ Владимир Александрович (р.1956).

Цикл «Шесть нежных романсов» (ор. 28, 1979 г.)

1. «Нежнее нежного». на стихи Осипа Мандельштама

В сети: <http://vlsid.narod.ru/>

*СИЛЬВЕСТРОВ Валентин Васильевич (р. 30.9.1937, Киев).

I. Тихие песни. Вок. цикл на стихи поэтов-классиков для голоса и ф-п. Посв. Альфреду Шнитке.

Библ.: *Сильвестров В.В.* Тихие песни. М.: Сов. композитор, 1985. С. 90-93.

II. 1. Ода («И Шуберт на воде, и Моцарт в пичьем гаме...»); 2. «Я скажу тебе с последней прямой...».

Библ.: Из поэзии Мандельштама. М., Сов. композитор, 1992. С. 27-30.

III. Простые песни. Вок. цикл на анонимные стихи, отрывок из «Пира во время чумы» А.С. Пушкина и стихи О.Э. Мандельштама.

Состав: 1. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»; 2. «Жил Александр Герцевич...»

IV. Четыре песни на стихи О. Э. Мандельштама (1982).

Состав: 1. «Колот ресницы. В груди прикипела слеза...»; 2. «Я не знаю, с каких пор...»; 3. «За гремучую доблесть грядущих веков...»; 4. «Поит дубы холодная криница...»

Примечание: В 4-й песне использована последняя строфа из стихотворения «На каменных отрогах Пиэри...».

V. Ступени. Вок. цикл.

Состав: 1. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»; 2. «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...»; 3. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...».

Лит.: *Нестьева М.* Просто о замечательном // Сов. Музыка. 1980. № 9. С. 82-83; *Фрумкин, Т.* Еще раз о поэзии и музыке // Сов. Музыка. 1981. № 7. С. 39; *Нестьева М.* Творчество Валентина Сильвестрова // Композиторы союзных республик. Вып. 4. М., Сов. композитор, 1983. С. 103-120; Концертное обозрение // Сов. музыка. 1985. № 7. С.51.

В сети: <https://silvestrov.at.ua/>

СЛЕДИН Александр.

Цикл романсов «Вчерашние песни» на стихи Набокова, Мандельштама, Бунина.

В сети: <http://bogemniypeterburg.net/vocabulare/alfavit/persons/s/sledinaleksandr.htm>

*СЛОНИМСКИЙ Сергей Михайлович (р.1932).

I. Четыре стихотворения О. Мандельштама (1974). Посв. Надежде Юреновой.

Состав: 1. «О небо, небо, ты мне будешь снится!...» (Речитатив); 2. «Нежнее нежного...» (Романс); 3. Музыкант («Я вздрагиваю от холода...») (Песня); 4. «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» (Монолог).

Библ.: Из поэзии Мандельштама. М., Сов. композитор, 1992. С.5-24.

II. «Я скажу тебе с последней прямой...» Хор без сопр. 1974.

Библ.: *Слонимский С.* Хоры без сопровождения. в инструментальном сопровождении. Л., Сов. композитор, 1982.

III. Романсы на стихи О.Э. Мандельштама для высокого голоса и ф-п.

Состав: 1. «Звук осторожный и глухой...»; 2. «От легкой жизни мы сошли с ума...»; 3. «Вполоборота, о, печаль...»; 4. «За гремучую доблесть грядущих веков...»; 5. «На луне не растет ни одной былинки...»; 6. «Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант...» (Песня судьбы).

Библ.: *Слонимский С.* Романсы на стихи О.Э. Мандельштама для высокого голоса и ф-п. Л.: Сов. композитор, 1991.

Лит.: *Дараган Л.* На авторских концертах // Сов. Музыка. 1975. № 2. С.18-19; *Дробышевская И.* Звучит советская музыка // Сов. Музыка. 1976. № 11. С. 58; *Рыцарева М.* Вокальное творчество С. Слонимского // Композиторы Российской Федерации. Вып. 2. М., Сов. Россия, 1982. С. 34-36, 40-42, 47, 50, 53; *Кац Б.* Стань музыкою, слово!.. Л., Сов. композитор, 1983. С. 88-90.

СМЕТАНИН Николай.

1. «Я больше не ревную...»; 2. Шерри-бренди.

В сети: <https://www.youtube.com/watch?v=FtQE3Ttb8U>;

<http://www.bard.ru/cgi-bin/trackography.cgi>

СМИРНОВ Алексей.

1. «Как кони медленно ступают...»; 2. «Я не знаю, с каких пор...».

*СМИРНОВ Дмитрий Валентинович (р.1952).

«Я наравне с другими хочу тебе служить...». Для смешанного хора без сопровождения (1982).

*СМИРНОВ Дмитрий Николаевич (р.1948; живет в Англии).

Восьмистишия. Вок. цикл для сопрано, арфы, флейты, валторны и струнного трио (1989). Op. 53.

Состав: 1. «Люблю появление ткани...»; 2. «О, бабочка, о мусульманка...»; 3. «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...»; 4. «Скажи мне, чертежник пустыни...»; 5. «В игольчатых, чумных бокалах...».

*СМОРГОНСКАЯ Дина Михайловна (р.1947, живет в Израиле).

«Нежнее нежного...» (Романс).

*СОНИН Олег Борисович (р. 1948).

Улица. Маленькая оратория на стихи О. Мандельштама. 1977.

Лит.: Сов. композиторы и музыковеды. Т.Ш. М.: Сов. композитор, 1989. С. 42.

СТАРЧИК Петр Петрович (р. 1938).

1. Волк («За гремучую доблесть...»); 2. Сохрани («Сохрани мою речь...»); 3. Сеновал («Я по лесенке...»); 4. Ламарк («Был старик застенчивый...»); 5. Герцевич («Жил Александр Герцевич...»); 6. «Пою, когда гортань сыра...»; 7. Осы («Вооруженный зреньем...»); 8. Франция («Я молю, как жалости...»); 9. К немецкой речи («Себя губя, себе противореча...»); 10. Жюкей («Довольно кукусься...»); 11. Флоренция («Слышу, слышу ранний лед...»); 12. Луч («О как же я хочу...»); 13. Небылица («Это все о луне, только...»); 14. Улица Мандельштама («Это какая улица...»); 15. Черная свечка («Твоим узким плечам...»); 16. Бушлатник («Колот ресницы к груди...»); 17. Сталин («Мы живем, под собою не чуя страны...»); 18. Ласточка («Я слово позабыл...»); 19. Опыт («И Шуберт на воде...»); 20. Silentium («Она еще не родилась...»); 21. Цыганка («Сегодня ночью не солгу...»); 22. Сонатина («Кто время целовал...»); 23. Гри-

фельная ода («Мы только с голоса...»); 24. Табор («Я буду метаться...»); 25. Керосин («Мы с тобой на кухне посидим...»); 26. Щелкунчик («Куда как страшно нам с тобой...»); 27. Сайма («О красавица Сайма...»); 28. Квартира («Квартира тиха как бумага...»); 29. Чаплин («Чарли Чаплин вышел из кино...»); 30. Заноза («Как тельце маленькое...»); 31. Советская поэзия («Полобил я лес прекрасный...»); 32. Петрополь («На страшной высоте...»); 33. Барыня («Вы с квадратными окошками...»); 34. Кама («Как на Каме реке глазу...»); 35. Гудок («Из-за домов, из-за лесов...»); 36. Ночь («Когда городская выходит...»); 37. Азраил («Ветер нам утешенье принес...»); 38. Холодок («Холодок щекошет темя...»); 39. Век («Век мой, зверь мой...»); 40. Воронеж («Пусти меня, отдай меня...»); 41. Декабрист («Тому свидетельство...»); 42. Ленинград («Я вернулся в мой город...»); 43. Концерт («Нельзя дышать и твердь...»); 44. Федра («Я никогда не увижу...»); 45. Фазтонщик («На высокоом перевале...»); 46. Опара («Как растет хлебов опара...»); 47. Рапортчики («На полицейской бумаге...»); 48. Кашей («Отчего все неудачи...»); 49. Год рождения («Наливаются кровью аорты...»); 50. Молитва («Помоги, Господь, эту ночь...»); 51. Флейгист («Флейты греческой мята...»); 52. Пушкиноведа («День стоял о пяти головах...»); 53. Небохранилище («Я скажу это начерно, шепотом...»); 54. «В морозном воздухе...»); 55. Эфирная («Душу от внешних условий...»); 56. Иосиф («Отравлен хлеб и воздух...»); 57. Свобода («О свободе небывалой...»); 58. «В хрустальном омуте...»); 59. «Пришла Наташа...»); 60. Маргулеты («Старик Маргулис...»); 61. Рим («Пусть имена цветущих...»); 62. Часы-кузнечик («Что поют часы-кузнечик...»); 63. Армения («Орущих камней государство...»); 64. Эривань («Ах, ничего я не вижу...»); 65. Шарманка («Шарманки жалобное пенье...»); 66. Дурной день («Сегодня дурной день...»); 67. «Смутно-дышащими листьями...»); 68. Ветер Орфея («Отчего душа так певуча...»); 69. Подкова («Глядим на лес и говорим...»); 70. Умывался («Умывался ночью на дворе...»); 71. Глина («Лазурь да глина...»); 72. Яйцо («Курицу яйцо учило...»); 73. Полюнь («Когда укор колоколов...»); 74. Загогули («Я писать умею: отчего же...»); 75. Трамвай («У каждого трамвая...»); 76. Веретено («Бесшумное веретено...»); 77. Осень («В холодных переливах мир...»); 78. Небо («О небо, небо, ты мне будешь...»); 79. Швец («Я в сердце века - путь неясен...»); 80. Октябрь («Где ночь бросает якоря...»); 81. Красная площадь («Да, я лежу в земле...»); 82. Губы («Лшив меня морей, разбега...»); 83. Углыны («Куда мне деться в этом январе...»); 84. Рембрандт («Как светогени мученик...»); 85. Нищенка («Еще не умер ты...»); 86. «Разрывы круглых бухт...»); 87. «Заблудился я в небе...»); 88. Скудный луч («Скудный луч холодной мерой...»); 89. Кольцов («Я около Кольцова...»); 90. Обряд («Исполно дымчатый обряд...»); 91. У них («Не у меня. Не у тебя...»); 92. Сумерки свободы; 93. Точка безумия («Может быть, это точка...»); 94. Чернозем («Переуважена, перечерна...»); 95. Гобелен («Источается тонкий тлен...»); 96. Не в убытке («Римских ночей ...»); 97. Маргулеты; 98. Посвящение О. Ваксель («Жизнь упала как зарница...»); 99. Тайная Вечеря («Небо вечера в стену влюбилось...»); 100. Плеяды («В смиренномудрых высотах...»); 101. Дыхание («Дыханье вещи в стихах...»); 102. Зима («Кому зима - арак и пушш...»); 103. Мура («Нет, не спрячется мне...»); 104. Мигрень («Нет, не мигрень, - но подай...»); 105. Неправда; 106. Лжа («Ночь на дворе...»); 107. Лжа («Холодная весна. Голодный Старый Крым ...»); 108. Путь («Душный сумрак кроет ложе...»); 109. Черепаха («На каменных отрогах...»); 110. Современник («Нет, никогда, ничей я не был современник...»); 111. Лютер («Здесь я стою - я не могу иначе...»); 112. Рождественская («Суальным золотом горят...»); 113. Нежная («Нежнее нежного...»); 114. Звук («Звук осторожный и глухой...»); 115. Душа («Ни о чем не нужно говорить...»); 116. Страсти («Не спрашивай:

ты знаешь...»); 117. Посвящение Наталии Штемпель (1); 118. Посвящение Наталии Штемпель (2).

В сети: <https://gendelev52.wordpress.com/>

СТЕПАНЕНКО М.Б. (р.1942).

Памяти Серебряного века: вокальный цикл на стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаевой

Библ.: Михаил Степаненко - Київ: Музична Україна, 2010. 72с.

СТОЛЯРОВ Виктор (р.1956, живет в США).

1. «Нет, не мигрень- но подай карандаш ментоловый...»; 2. «Еще не умер ты...»; 3. Петрополь («В Петрополе прозрачном мы умрем...»); 4. Батюшков.

*СТРЕЛЕЦКИЙ Сергей (р. 1959).

Четыре стихотворения О. Мандельштама. Вок. цикл (1986), оп. 21.

Состав: 1. «Нежнее нежного...»; 2. «Еще не умер ты, еще ты не один...»; 3. «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»; 4. «Качает ветер тоненькие прутья...».

Библ.: Из поэзии Мандельштама. М., Сов. композитор, 1992. С.57-70.

Лит.: *Е.В. Сергеев* // Сов. Музыка. 1984. № 4. С. 69.

ТИЩЕНКО Борис Иванович (1939 – 2010).

Шестая симфония памяти Е.А. Мравинского на стихи А. Наймана, А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама и В. Левинзона.

Первое исполнение -1989. Дирижер Г. Рождественский. Солисты В. Юзвенко и Е. Рыбин.

ТРЕЙВИШ Андрей Ильич (р. 18.6.1950, Москва).

Гитарные версии 1970-1990-х гг.

1. «Тифлис»; 2. «Бессонница. Гомер...»; 3. «Декабрист»; 4. «Жил Александр Герцевич...»; 5. «Золотистого меда струя из бутылки стекла...»; 6. «Неправда».

ТРУХАНОВ Сергей

«Золотистого мёда струя...»

В сети: <http://vk.com/club20744241>

Ансамбль «УЛЕНШПИГЕЛЬ»

1. «Возьми на радость из моих ладоней...» (муз. Кондратьева Е.); 2. «Кому зима арак и пунш голубоглазый...» (муз. Леонтьева В.); 3. «Это все о Луне, только небылица...» (муз. Перваковой С.); 4. «Я не знаю, с каких пор эта песенка началась...» (муз. Леонтьевой Л.)

*УМАНСКИЙ Кирилл Алексеевич (р. 24.4.1962, Москва).

Три стихотворения О. Мандельштама для сопрано и ф-и. (1994).

Состав: 1. «На бледно-голубой эмали...»; 2. «Как тень внезапных облаков...»; 3. «Есть целомудренные чары...».

УСТИНОВ Максим (р.1974).

Silentium.

*ФАЛИК Юрий Александрович (1936, Одесса - 2009).

1. Скудный луч («Скудный луч, холодной мерою...») (1980)

II. Звенидень. Вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано. Стихи русских поэтов XX века

Библ.: Фалик Ю. Звенидень. Романсы на стихи русских поэтов. Л.: Сов. композитор, 1983. С. 26-29.

Лит.: Ручьевская Е. Юрий Фалик. Монографический очерк. Л., Сов. композитор, 1981. с. 71-73; С. Сигитов, Ю. Шалыт. На авторских вечерах // Муз. Жизнь. 1987. № 6. С. 6-7.

*ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР Эдуард Борисович (р. 1947).

«Мы ждем гостей». Хоровой цикл на стихи О.Э. Мандельштама, Л. Маргынова, С. Есенина.

Лит.: Муз. обозрение. 1996, № 3. С. 3.

*ФИРСОВА Елена Олеговна (р. 1950, живет в Англии).

I. Сонеты Петрарки в пер. О. Э. Мандельштама. Кантата для сопрано, флейты, гобоя, валторны, арфы, челесты и струнного трио (1976).

Состав: 1. «Речка, распухшая от слез соленых...»; 2. «Когда уснет земля и жар отпышет...»; 3. «Как соловей сиротствующий славит...»; 4. «Промчались дни мои — как бы оленей...».

Библ.: Сонеты Петрарки в пер. О. Э. Мандельштама. Кантата для сопрано, флейты, гобоя, валторны, арфы, челесты и струнного трио (1976) // Произведения для голоса и камерного ансамбля. Партитура. М., Сов. композитор, 1983. С. 78-114.

II. Tristia. Лирическая кантата для сопрано и камерного оркестра. Op. 17 (1979).

Состав: 1. «Мне холодно. Прозрачная весна...»; 2. «Что поют часы-кузнечик...»; 3. «Возьми на радость из моих ладоней...»; 4. «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...».

Премьера: Третий фестиваль «Ленинградская музыкальная осень-81. Исполнители: Ленинградский камерный оркестр старинной и современной музыки. Дир. Э. Серов, солистка И. Муратова.

III. Три стихотворения О. Мандельштама (1980). Вок. цикл.

Состав: 1. «От чего душа так певуча...»; 2. «Нежнее нежного...»; 3. «Смутно-дышащими листьями...».

Библ.: Из поэзии О. Мандельштама // М., Сов. композитор, 1992. С.44-56; Three poems of Osip Mandelstam. For voice and piano. New York: G. Schirmer Inc., Milwaukee: Hal Leonard publishing corporation, 1991 (Serie: Library of Russian-Soviet music. English translation by Graham Hobbs); Contemporary anthology of music by women. (What has caused my heart to feel songful: from Three poems by Osip Mandelstam). Indiana University Press, 1997.

IV. Стигийская песня («Я слово позабыл, что я хотел сказать...»). Для сопрано, гобоя, ф-п. и ударных.

Лит.: Фрумкис Т. Включаясь в дискуссию // Сов. музыка. 1982. № 1. С. 42; Крутилова Т. Традиции жанра сегодня // Сов. музыка. 1982. № 2. С. 20-21; Екимовский В. ?? // Мелодия. 1990. № 2. С. 17-18.

V. Камень. Камерная кантата для сопрано и большого симф. оркестра. Op. 28 (1983).

Состав: 1. «На бледно-голубой эмали...»; 2. «Невыразимая печаль...»; 3. «Я ненавижу свет однообразных звезд...»; 4. «Как кони медленно ступают...»; 5. «Только детские книги читать...».

VI. Земная жизнь. Камерная кантата для сопрано, флейты, арфы, ударных, трех скрипок, двух альтов, виолончели, контрабаса. Op.31 (1984). Состав: 1. «Звук осторожный и глухой...»; 2. «Здесь отвратительные жабы...»; 3. «Дано мне тело, что мне делать с ним?»; 4. «Из омута злого и вязкого...»; 5. «Я в хоровод теней...».

Библ.: Elena Firsova. Earthly life: cantata for soprano and chamber ensemble on poems by Osip Mandelstam. Op. 31. London: Anglo-Soviet Music Press, 1989. 1 score.

"Full score". Russian words, with English and German translations printed as text on p. [vi-vii].

VII. Лесные прогулки. Для сопрано, кларнета, арфы и струнного квартета (1987). Состав: 1. «Скудный луч, холодной мерою...»; 2. «Воздух пасмурный влажен и гулок!...». Библ.: Forest walks. For soprano and chamber ensemble. Op.36. Poems by Osip Mandelstam. London; New York: Boosey & Hawkes music publishers limited, 1993. 18 p.

VIII. Silentium. Для сопрано и струнного квартета, ор. 51 (1991). Состав: 1. «Она еще не родилась...»; 2. «Сегодня дурной день...»; 3. «Я вздрагиваю от холода...»

IX. Осенние песни. На стихи М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Блока, Б. Пастернака. Лит.: Сов. композиторы и музыковеды. Т. III. М.: Сов. композитор, 1989. С. 206.

X. Раковина («Быть может, я тебе не нужен...»). Для сопрано, кларнета, альты, виолончели и контрабаса. Ор. 45 (1991).

XI. Омут («В огромном омуте прозрачно и темно...»). Для меццо-сопрано, флейты и ударных инструментов. Ор. 50 (1991).

XII. Тайный путь («Я слово позабыл, что я хотел сказать...») [18]. Для сопрано и большого симф. оркестра (1992).

XIII. Зимние песни. Ор. 104 (2003). Для сопрано и виолончели (исп. Sara Leonard и Robert Michael).

ФРОЛОВА Елена (1969, Рига).

Состав: 1. «Нежнее нежного...»; 2. «Отравлен хлеб, и воздух выпит...»; 3. «Жизнь упала, как зарница...»; 4. «Куда как страшно нам с тобой...»; 5. «Мастерица виноватых взоров...»; 6. «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»; 7. «Пароходик с петухами...».

Ист.: CD «Улица Мандельштама». «АЗИЯ- плюс», СПб, 2005.

В сети: <http://frolova.golos.de/ru/index.html>

ХАРИСОВ Виталий Вакифович (р.1962).

«Бессонница. Гомер...». В сети: https://www.youtube.com/watch?v=Z1C_1TGaFH4

Группа «ХИЛЬТ».

1. Пилигрим («Слишком лёгким плащом одетый...»); 2. Чернорабочий («У меня не много денег...»).

ХОХЛИКОВ Юрий Александрович (1937-2000).

«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...».

В сети: https://www.youtube.com/watch?v=Z1C_1TGaFH4

ХУБЕР Клаус (Huber Klaus) (р.1924, Берн, Швейцария). ОН УМЕР НЕДАВНО! Чернозем. Опера в девяти картинах (Schwarzerde. Bühnenwerk in neun Sequenzen.) Театр Базель (Швейцария), 2001.

2 CD, DVD. В сети: <https://www.klaushuber.com/pagina.php?0,0,0,0>

ЦАЙГЕР Михаил Исаакович (р.1949, с 1992 в США).

Вокальный цикл «Воронеж».

*ЦЕСЛЮКЕВИЧ Ирина Викторовна (р.1955).

Утро. Кантата на стихи Альфреда де Мюссе и О. Мандельштама для баритона и камерного оркестра (1982).

Состав: 1. «О, небо, небо, ты мне будешь снигаться!...»; 2. «На темном небе, как узор...»; 3. «Из полутемной залы...»; 4. «Дай руку мне...»^[19].

ЧЕНЦОВ Илья Порфирьевич (р.1946).

«Твоим узким плечам под бичами краснеть...».

В сети: <http://www.bards.ru/archives/author.php?id=1600>

ЧЕРЧЕНКО Дмитрий.

1. «Жизнь упала...»; 2. «Сегодня ночью...»; 3. «Слух чуткий парус...»; 4. «Вы, с квадратными...».

*ЧИСТЯКОВ Валерий Валентинович.

Муха («Ты куда попала муха?...»).

Библ.: На эстрадно-музыкальной волне. СПб., Композитор, 1999.

*ШАХБАГЯН Арменак Гургенович (1947-1999).

Сероглазый король. Вок. цикл для сопрано и ф-н. на стихи А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама.

ШВЕЦ Сергей Владимирович (р.1956, живет в США).

1. «Нет, не мигрень-но подай карандашк ...»; 2. «Я пью за военные астры...».

В сети: http://russian-bards.jacum.com/bard/Sergej_Shvec_i_Alabin

ШУЛЬЦ Волфганг-Андреас (Schultz Wolfgang-Andreas) (р.1948).

Три стихотворения Осипа Мандельштама (в переводе Пауля Целана) для mezzo-сопрано/альта и рояля (2003)

ШУТЬ Владислав Алексеевич (Shoot Vladislav) (р.1941, живет в Великобритании).

Три песни на стихи О. Мандельштама для высокого голоса, флейты, кларнета и струнного квартета.

Состав: 1. «Пою, когда гортань суха...»; 2. «Я к губам подношу эту зелень...»; 3. «Заблудился я в небе – что делать?...»

Библ.: Vladislav Shut. Drei Lieder auf Texte von Ossip Mandelstam, für hohe Stimme, Flöte, Klarinette und Streichquartett. Partitur und Stimmen. Frankfurt/M.: M. P. Belaieff, 1994. 35 S. (Bel. Nr. 569).

ЩЕДРИН Родион Константинович (р. 1932).

«Век мой, зверь мой...». Вок. цикл на тексты О. Мандельштама для тенора (О. Мандельштам), чтеца (А. Ахматова) и ф-п. Посв. В. Ашкенази.

Первое исполнение – 06.02.2003, Кельнская филармония. Исполнители: М. Таккер, В. Ашкенази и С. Каммер.

Состав: 1. Прелюдия; 2. «Дано мне тело, что мне делать с ним?...»; 3. Биографическая справка; 4. «Век мой, зверь мой...»; 5. Воспоминания современника; 6. «Квартира тиха, как бумага...»; 7. «Помоги, Господь, эту ночь прожить...»; 8. «Петербург, я ещё не хочу умирать...»; 9. «Нет, не спрятаться мне от великой муры...»; 10. Первый арест; 11. «Сохрани мою речь...»; 12. «Пусти меня, отдай меня, Воронез...»; 13. «Заблудился я в небе...».

Библ.: Rodion Shchedrin. «Век мой, зверь мой» – «My age, my wild beast» – «Meine Zeit, meine Raubtier». Mainz – London – Madrid etc.: Schott Music International & Co, Mainz, 2005. 54 с. (англ. и нем.)

ЩЕРБАКОВ Евгений Владимирович (р.1969).

«Мы с тобой на кухне посидим» (1995). В сети: <http://www.schwv.ru/>

ЩУКИН Владимир Всеволодович.

1. «На бледно-голубой эмали...»; 2. Печаль («Скудный луч холодной мерюю...»);

3. «Только детские книги читать...»

CD В. Щукин и ансамбль «Серебряный век». Песни на стихи поэтов Серебряного века. Soyouz Music, 2009.

4. «Как кони медленно ступают...»

CD «Где лебеди?». Артель «Восточный ветер», 2000. В сети: <http://www.shukin.ru/>

ЭДЕЛЬШТЕЙН Юрий.

1. «Нежнее нежного...»; 2. «Коллот ресницы...»; 3. «Помоги, Господь...»; 4. «Жил Александр Герцевич...»

* ЭНКЕ Владимир Робертович (1908 – 1987).

«Нежнее нежного...». Романс (1981).

ЭРЁД Иван (Egöd Ivan) (р.1936, Будапешт).

I. Чернозем. Пять песен на слова О. Мандельштама для баритона и оркестра op.49.

II. Vox Lucis. Кантата для баритона, гобоя и оркестра op.56.

На слова Т.С. Эллиота, П. Клоделя, О. Мандельштама, Р.М. Рильке, Д. Унгаретти и Ш. Вёреша.

*ЮСФИН Абрам Григорьевич (1926 – 2011).

Жизнь без начала и конца. Композиция для сопрано, баса, камерного ансамбля (флейта, кларнет, валторна, лигавры, гитара, ф-п. и струнный квинтет). На стихи А. Ахматовой, К. Некрасовой, О. Мандельштама и др. (1978).

ЯКИМОВ Николай Николаевич (р.1959).

1. «Я ненавижу свет...»; 2. Соломинка («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...»); 3. Приношение («Возьми на радость из моих ладоней...»).

Ист.: CD «Улица Мандельштама». «Азия-плюс», СПб, 2005

Приложение

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА, ПОЛОЖЕННЫХ НА МУЗЫКУ [20]

«1 января 1924»: Старчик («Сонатина»)

«Ах, ничего я не вижу...»: Старчик («Эривань»)

«Ахматова»: Слонимский

«Батюшков»: Столяров

«Бах»: Бахов

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»: Бахтин, Гельман, Кругликов, Морозов,
Сильвестров, Трейвиш, Харисов

«Бесшумное веретено...»: Старчик («Веретено»)

«Буквы»: Старчик («Загогули»)

«В игольчатых чумных бокалах...»: Смирнов Д.Н.

«В морозном воздухе...»: Старчик

«В огромном омуте прозрачно и темно...»: Фирсова («Омут»)

«В Петербурге мы сойдемся снова...»: Белов

«В Петрополе прозрачном мы умрем...»: Раздолина, Столяров («Петрополь»)

«В смиренномудрых высотах...»: Старчик («Плеяды»)

«В холодных переливах мир...»: Старчик («Осень»)

«В хрустальном омуте...»: Старчик

«Век»: Зыслин, Островская, Старчик, Щедрин

«Вернись в смесительное лоно...»: Корнеблит

«Ветер нам утешенье принес...»: Назарук, Старчик («Азраил»)

«Вечер нежный...»: Гельман

«Воздух пасмурный влажен и гулок...»: Денисов («В лесу»), Новосельцева, Фирсова

«Возьми на радость из моих ладоней...»: Баснер, Новосельцева, ансамбль «Уленшпигель», Фирсова, Якимов («Приношение»)

«Вооруженный зреньем узких ос...»: Кривицкий, Крымский («Ось Земная»), Старчик («Ось»)

«Вы помните, как бегуны...»: Альперович («Новеллино»)

«Вы, с квадратными окошками...»: Галеева, Назарук («Рэгтайм Невского проспекта»), Старчик («Барыня»), Черченко

«Где ночь бросает якоря...»: Старчик («Октябрь»)

«Грифельная ода»: Старчик

«Да, я лежу в земле...»: Старчик («Красная площадь»)

«Дано мне тело - что мне делать с ним...»: Арапов, Гельман, группа «Лукоморье», Назарук, Новожилов, Островская, Савин, Фирсова, Щедрин

«Декабрист»: Трейвиш, Старчик

«День стоял о пяти головах...»: Старчик («Пушкиноведы»)

«Довольно кукусься!...»: Деревягин, Старчик («Жокей»)

«Душный сумрак кроет ложе...»: Арапов, Старчик («Путь»)

«Душу от внешних условий...»: Гельман, Старчик («Эфирная»)

«Дыханье вещи в стихах...»: Старчик («Дыхание»)

«Есть целомудренные чары...»: Уманский

«Еще не умер ты...»: Корнеблит, Крымский, Старчик («Нищенка»), Столяров, Стрелецкий

«Жизнь упала как зарница...»: Галеева, Греков, Дунская, Новосельцева, Попов («Заресничная страна»), Старчик («Посвящение О. Ваксель»), Фролова, Черченко («Жил Александр»)

Герцевич...»: Альперович, Вустин, Дашкевич, Зарицкий («Скрипач»), Кравцова-Куртц, Кривицкий, Крымский, Лобозов, Матюхин, Меерович, Назарук, Пугачева («Музыкант»), Сильвестров, Слонимский, («Песня судьбы»), Старчик («Герцевич»), Трейвиш, Эдельштейн.

«За гремучую доблесть грядущих веков...»: Белов, Войнер, Дашкевич, Кедровский, Кривицкий, Меерович, Новосельцева, Сильвестров, Слонимский, Старчик («Волк»)

«За Паганини длиннопалым...»: Левкочева («Скрипачка»)

«За то, что я руки твои не сумел удержать...»: Нерлер

«Заблудился я в небе – что делать?..»: Зыслин, Островская, Старчик, Шуть, Щедрин.

«Звук осторожный и глухой...»: Бобылев, Бэлза, Казенин («Звуки»), Старчик («Звук»), Слонимский, Фирсова

«Здесь отвратительные жабы...»: Фирсова

«Здесь я стою - я не могу иначе...»: Старчик («Лютер»)

«Золотистого меда струя из бутылки текла...»: Трейвиш, Труханов

«И опять набухают почки...»: Денисов («Я боль»)

«И Шуберт на воде, и Моцарт в пичьем гаме...»: Сильвестров («Ода»), Смирнов Д.Н., Старчик («Опыт»)

«Из-за домов, из-за лесов...»: Старчик («Гудок»)

«Из омота злого и вязкого...»: Фирсова

«Из полутемной залы, вдруг...»: Казенин («Ночь»), Цеслюкевич

«Из табора улицы темной...»: Бережков, Горев, Осина, Старчик («Табор»)

«Импрессионизм»: Корнеблиг

«Исполню дымчатый обряд...»: Старчик («Обряд»)

«Истончается тонкий тлен...»: Галеева, Корнеблиг («Создатель»), Мозалевский («Фиолетовый гобелен»), Назарук, Савин, Старчик («Гобелен»)

«К немецкой речи»: Старчик

«Казино»: Давыдов

«Как кони медленно ступают...»: Банников, Денисов («Зимний путь»), Егиков, Кравченко, Крамаренко («Навстречу звездному лучу...»), Новосельцева, Смирнов А., Фирсова, Щукин

«Как на Каме-реке...»: Матвеев, Морозов, Новосельцева, Старчик («Кама»)

«Как подарок запоздалый...»: Кравченко, Кривицкий.

«Как растет хлебов опара...»: Старчик («Опара»).

«Как светотени мученик Рембрандт...»: Старчик («Рембрандт»).

«Как соловей сиротствующий, славит...» (из Петрарки): Фирсова.

«Как тельце маоенькое крылышком...»: Старчик («Заноза»)

«Как тень внезапных облаков...»: Уманский

- «Как Черный ангел на снегу...»: Новосельцева
«Какая роскошь в нищенском селенье...»: Гофман
«Калоша»: Дмитриев
«Качает ветер тоненькие прутья...»: Новосельцева, Стрелецкий
«Квартира тиха, как бумага...»: Старчик («Квартира»), Щедрин
«Кинематограф»: Арцинович, Дашкевич
«Когда городская выходит...»: Старчик («Ночь»)
«Когда удар с ударами встречается...»: Подгайт
«Когда укор колоколов...»: Старчик («Полынь»)
«Когда уснет земля и жар отпышет...» (из Петrarки): Фирсова
«Коллот ресницы. В груди прикипела слеза...»: Давыдов, Егиков, Оркин, Сильвестров, Старчик («Бушлатник»), Эдельштейн.
«Кому зима – арак...»: Морозов, Новосельцева, Старчик («Зима»), ансамбль «Уленшпигель»
«Концерт на вокзале»: Старчик («Концерт»)
«Куда как страшно нам с тобой...»: Капустин, Старчик («Щелкунчик»), Фролова
«Куда мне деться в этом январе...»: Старчик («Углань»)
«Курицы-красавицы...»: Дмитриев («Курица и пава»)
«Лазурь да глина, глина да лазурь...»: Гофман, Старчик («Глина»)
«Ламарк»: Арцинович, Старчик
«Ласточка»: Кравченко, Северинова, Сильвестров, Слонимский, Старчик, Фирсова («Стигийская песня»), Фирсова («Тайный путь»)
«Ленинград»: Арапов, Гельман, Дашкевич, Журбин, Зыслин («Ленинград»), Качан, Кривицкий, Крымский, Максименко, Матюхин, Нерлер, Пугачева, Раздолина («Петербург»), Сильвестров, Старчик, Хохликов, Щедрин.
«Лишив меня морей, разбега и разлета...»: Старчик («Губы»)
«Люблю появление ткани...»: Смирнов Д.Н.
«Мадригал»: Корнеблит
«Мастерица виноватых взоров...»: Качан, Корнеблит, Фролова
«Мне жалко, что теперь зима...»: Корнеблит («Воспоминание о лете»)
«Мне Тифлис горбатый снится...»: Галеева («Тифлис»), Матюхин, Морозов («Снится Тифлис»), Тревиш («Тифлис»)
«Мне холодно. Прозрачная весна...»: Фирсова.
«Может быть, это точка...»: Старчик («Точка безумия»)
«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...»: Горев, Казенин («Сон»), Подгайт
«Моргулеты»: Старчик
«Морожено! Солнце. Воздушный бисквит...»: Назарук
«Московский дождик»: Горев
«Муха»: Дмитриев, Зыслин, Матюхин, Чистяков
«Мы живем, под собою не чуя страны...»: Дашкевич, Зыслин, Капустин, Матюхин,

- Старчик («Сталин»)
«Мы с тобой на кухне посидим...»: Гельман, Зыслин, Капустин, Кравченко, Кривицкий, Крымский, Меерович, Назарук, Старчик («Керосин»), Щербаков
- «На бледно-голубой эмали...»: Гофман, Уманский, Фирсова, Щукин
«На луне не растет...»: Бобылев, Богданова, Егиков («На луне»), Елисева, Кравченко, Матюхин, Назарук («Сказки лунного трактира»), Слонимский
- «На меня нацелились груша да черемуха...»: Зыслин
«На мертвых ресницах Исакий замерз...»: Егиков
«На откос, Волга, хлынь, Волга, хлынь...»: Деревягин («Волга»), Короленко (совместно с Аренковой), Крымский («Волга»), Мозалевский
- «На полицейской бумаге верже...»: Гофман, Старчик («Раппортички»)
«На страшной высоте блуждающий огонь!...»: Белов («На страшной высоте»), Старчик («Петрополь»)
- «На темном небе, как узор...»: Цеслюкевич
«Нашедший подкову»: Старчик («Подкова»)
«Не говори никому...»: Гельман
«Не спрашивай: ты знаешь...»: Горев, Дива, Казенин («Таинство»), Старчик («Страсти»), Цеслюкевич
- «Не у меня, не у тебя...»: Старчик («У них»)
«Небо вечера в стену влюбилось...»: Старчик («Тайная Вечеря»)
«Невыразимая печаль...»: Галеева, Лаврентьев, Осина, Подгайц, Савин, Фирсова
«Нежнее нежного...»: Адлер, Баснер, Бобылев, Броннер, Гельман, Гринберг, Казенин («Ты»), Крейн, Лобозов, группа «Лукоморье», Менабда, Назарук, Сидоров, Слонимский, Сморгонская, Старчик («Нежная»), Стрелецкий, Фирсова, Фролова, Эдельштейн, Энке
- «Неправда»: Дашкевич, Крымский («Свобода»), Старчик, Трейвиш
«Нет, не мигрень...»: Гельман, Дива, Старчик («Мигрень»), Столяров, Швец
«Нет, не спрятаться мне от великой муры...»: Старчик («Мура»), Щедрин.
«Нет, никогда, ничей я не был современник...»: Старчик («Современник»)
«Неумолимые слова...»: Арапов («Окаменела Иудея»)
«Ни о чём не нужно говорить ...»: Орлова, Старчик («Душа»)
«Ночь на дворе...»: Старчик («Лжа»)
- «О, бабочка, о мусульманка...»: Смирнов Д.Н.
«О, как же я хочу...»: Кривицкий, Крымский («Луч»), Матюхин, Мозалевский, Назарук («Икар»), Новосельцева, Оркин, Старчик («Луч»)
«О красавица Сайма ...»: Новосельцева («Сайма»), Старчик («Сайма»)
«О, небо, небо, ты мне будешь снится!...»: Бобылев, Денисов («Ночь»), Слонимский, Старчик («Небо»), Цеслюкевич

- «О порфирные цокая граниты...»: Гофман
«О свободе небывалой...»: Кравченко, Матюхин, Старчик («Свобода»)
«О, этот воздух, смутой пьяный...»: Новосельцева
«Образ твой, мучительный и зыбкий...»: Алешина, Денисов («Божье имя...»)
«Одеяльная страна»: Зыслин.
«Орущих камней госуларство...»: Гофман, Старчик («Армения»)
«От легкой жизни мы сошли с ума...»: Дива, Слонимский.
«Отравлен хлеб и воздух выпиг...»: Дашкевич, Старчик («Иосиф»), Фролова
«Оттого все неудачи...»: Осина, Старчик («Кашей»)
«Отчего душа так певуча...»: Старчик («Ветер Орфея»), Фирсова.
- «Париж»: Новосельцева
«Пароходик с петухами...»: Крымский («Пароходик»), Мозалевский, Фролова
«Песенка»: Гельман, Зыслин, группа «Хильт» («Чернорабочий»)
«Песня Неле» (из романа Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель»): Книппер
«Петербургская зима»: Галеева, Морозов, Новосельцева
«Пилигрим»: группа «Хильт» («Чернорабочий»)
«Поле мертвыми костями...»: Старчик («Поле»)
«Полотеры»: Дмитриев
«Полнобил я лес прекрасный...»: Старчик («Советская поэзия»)
«Помоги, Господь, эту ночь прожить...»: Старчик («Молитва»), Щедрин, Эдельштейн.
«Пою, когда гортань...»: Гельман, Старчик, Шуть
«Приглашение на Луну» (из вариантов): Новосельцева
«Пришла Наташа...»: Старчик
«Промчались дни мои — как бы оленей...» (из Петрарки): Фирсова
«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...»: Старчик («Воронеж»), Щедрин.
«Пусть имена цветущих городов...»: Старчик («Рим»)
- «Равноденствие»: группа «Лукоморье»
«Разрывы круглых бухт...»: Старчик
«Раковина»: Альперович, Горев, Корнеблиг, Пономарев, Фирсова
«Реймс — Лаон»: Корнеблиг («Я видел...»)
«Речка, распушшая от слез соленых...» (из Петрарки): Фирсова
«Римских ночей...»: Старчик («Не в убытке»)
«Рождение улыбки»: Корнеблиг
«Рояль»: Дмитриев
- «Сахарная голова»: Дмитриев
«Сегодня дурной день...»: Броннер, Качан, Старчик («Дурной день»), Фирсова.
«Сегодня ночью не солгу...»: Зарицкий («Цыганка»), Менабда, Старчик («Цыганка»), Черченко
«Сестры тяжесть и нежность...»: Бахмутова, Гельман, Кукулевич, Сильвестров

- «Silentium»: Гельман («Афродита»), Денисов («Она еще не родилась...»), Казенин («Молчание»), Марен, Старчик, Устинов, Фирсова.
- «Скажи мне, чертежник пустыни...»: Летун, Смирнов Д.Н.
- «Скудный луч, холодной мерою...»: Альперович, Астраханцева, Бикташев, Броннер, Гельман, Горев, Егиков, Зыслин, Корнеблит, Лещенко-Сухомлина, Малыгин, Михайлов, Новосельцева, Подгайц, Пономарев, Старчик («Скудный луч»), Фалик, Фирсова, Щукин («Печаль»)
- «Слух чуткий парус напрягает...»: Денисов («Тишина»), Черченко
- «Слышу, слышу ранний лед...»: Старчик («Флоренция»)
- «Смутно- дышащими листьями...»: Броннер, Галеева («Чёрный ветер»), Егиков, группа «Лукоморье», Старчик, Фирсова.
- «Соломинка»: Якимов
- Сонеты Петрарки в пер. О.Э. Мандельштама: Фролова.
- «Сонный трамвай»: Старчик («Трамвай»)
- «Сохрани мою речь навсегда...»: Дашкевич, Деревягин, Полякова, Старчик («Сохрани»), Щедрин
- «Старик»: Гельман («Сократ»)
- «Старик Маргулис...»: Старчик («Моргулеты»)
- «Старый Крым»: Старчик («Лжа»)
- «Стихи о неизвестном солдате»: Старчик («Год рождения»)
- «Сумерки свободы»: Старчик
- «Сусальным золотом горят...»: Подгайц, Старчик («Рождественская»)
- «Твоим узким плечам под бичами краснеть...»: Егиков, Корнеблит, Новосельцева, Старчик («Черная свечка»), Стрелецкий, Фролова, Ченцов («Черная свечка»)
- «Твой зрачок...»: Корнеблит
- «Только детские книги читать...»: Бахмутова, Деревягин, Кравченко, Крамаренко, группа «Лукоморье», Матюхин, Новосельцева, Подгайц, Попов, Савин, Фирсова, Щукин «Tristia»: группа «Лукоморье», Журбин («Я изучил науку расставанья...»)
- «Ты прошла сквозь облако тумана...»: Альперович, Новосельцева
- «Тянется лесом дороженька пыльная...»: Матюхин
- «Увы, растаяла свеча...»: Кравченко
- «Улыбнись, ягненок гневный...»: Моралес
- «Умывался ночью на дворе...»: Старчик
- «Фаэтонщик»: Зыслин, Старчик («Умывался...»)
- «Феодосия»: Новосельцев
- «Флейты греческой...»: Альперович («Флейга»), Старчик («Флейгист»)
- «Холодок щекочет темя...»: Алешина, Бобылев, Морозов, Старчик («Холодок»)
- «Царское село»: Дудкина, Кругликов, Кукулевич, Нирман, Новосельцева

- «Чарли Чаплин»: Дашкевич («Песенка о Чарли Чаплине»), Старчик («Чаплин»)
«Черепашка»: Сильвестров («Поит дубы холодная криница...»): Старчик
«Чернозем»: Старчик
«Чистильщик»: Дмитриев
«Что поют часы-кузнечик...»: Альперович («Часы-кузнечик»), Бэлза, Зинин, Старчик («Часы-кузнечик»), Фирсова
«Чуть мерцает призрачная сцена...»: Новосельцева («Мельпомена»)
«Шарманка»: Старчик
«Эта ночь непоправима...»: Альперович, Колесникова
«Это всё о луне...»: группа «Лукоморье», ансамбль «Уленшпигель», Старчик («Небылица»)
«Это какая улица?...»: Крымский («Улица»), Меерович, Старчик («Улица Мандельштама»)
«Я больше не ревную...» (из «Я наравне с другими...»): Новосельцева, Пугачева, Сметанин
«Я в сердце века - путь неясен...»: Старчик («Швец»)
«Я в хоровод теней...»: Корнеблит («Слабый звук»), Фирсова.
«Я вздрагиваю от холода...»: Алешина, Броннер, Зыслин, Марен, Матюхин, Слонимский, Фирсова,
«Я живу на важных огородах...»: Оркин
«Я к губам подношу эту зелень...»: Шугь
«Я молчу, как жалости...»: Старчик («Франция»)
«Я наравне с другими хочу тебе служить...»: Вайханский, Горев, Денисов («Одиночество»), Зыслин, Кучинский, Матюхин, Смирнов Д.В.
«Я не знаю, с каких пор...»: Алешина, Зинин, Назарук, Приходько, Сильвестров, Смирнов А., ансамбль «Уленшпигель»
«Я не слышал рассказов Оссиана...»: группа «Лукоморье», Морозов
«Я не увижу...»: Старчик («Федра»)
«Я ненавижу свет...»: Альперович, Галеева, Гельман, Назарук, Фирсова, Якимов
«Я нынче в паутине световой...»: Кривицкий
«Я около Кольцова...»: Старчик («Кольцов»)
«Я по лесенке приставной...»: Гельман, Зинин, Назарук, Старчик («Сеновал»)
«Я пью за военные астры...»: Горев, Матюхин, Швец
«Я скажу тебе с последней прямою...»: Белов, Бережков, Галеева, Деревягин, Жерновой («Ангел Мэри»), Зыслин, Корнеблит, Крымский, Максименко, Меерович, Попов, Сильвестров, Слонимский, Сметанин («Шерри-бренди»)
«Я скажу это начерно, шопотом...» Старчик («Небохранилище»)
«Я тебя никогда не увижу...» (из цикла «Армения»): Беляев
«Яйцо»: Старчик

Примечания

- [1] Среди их авторов Б. Кац, Т. Лангерак, Р. Пшибыльский, А. Фэвр-Дюпэгр, Д. Черашняя и др.
- [2] Афиша концерта (Архив Музея истории евреев в России в Москве).
- [3] См.: *Нерлер П.* Битва под Уленшигелем // *Знамя.* 2014. № 2. С. 126-163; № 3. С. 130-171.
- [4] См.: *Мандельштам О.Э.* Собр. Соч. Т.3. М., 1994. С. 159-164.
- [5] Осенью 2014 г. вышел альбом «Сохрани мою речь...»
- [6] См., например: *Фрейдкин М.* Опыты. М.: Carte Blanche, 1994.
- [7] Свою вокальную симфоническую поэму «Сохрани мою речь» он посвятил памяти Н.Я. Мандельштам.
- [8] *РГАЛИ. Ф. 2590. Оп.1. Д.103. Л. 42.*
- [9] Стихи и лишь в исключительных случаях – проза.
- [10] *Розенфельд Б.* Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип Мандельштам и Борис Пастернак в музыке. Нотография. Stanford, 2003. 174 с. (Stanford Slavic Studies. Vol. 25).
- [11] Заклучит. строфа отсутствует.
- [12] Автор музыки к мультфильмам Ю. Норштейна.
- [13] Из репертуара Ж. Бичевской.
- [14] То же, в частности: замена мужского рода на женский («Я вернулась в мой город...»), замена слова «Петербург» словом «Ленинград» (вместо «Петербург, у меня еще есть адреса...» - «Ленинград, у меня еще есть адреса...»).
- [15] В текст песни композитором (А.Б. Пугачёвой) внесены искажения (объединенные третья и шестая строфы превращены в рефрен песни).
- [16] То же.
- [17] В один романс объединены два стихотворения: «Век мой, зверь мой...» и «Мне на шею кидается век-волкодав...».
- [18] Произведение, отличное от «Стигийской песни».
- [19] Третья строфа из стихотворения «Не спрашивай, ты знаешь...».
- [20] Композиторы, сведениями о конкретных произведениях О. Мандельштама, положенных ими на музыку, мы не располагаем или располагаем лишь частично: Баснер, Бендицкий, Бикташев, Бордог, Бредемейер, Ганзбург, Гельман, Гоголин, Гофман, Дмитрикова, Жванецкая, Кива, Кинцлер, Коровина, Куртаг, Курченко, Мозалевский, Окс, Петров-Омельчук, Поволоцкий, Рубин, Руз, Рябов, Следин, Сонин, Старчик, Тищенко, Фертельмейстер, Хубер, Цайгер, Шахбагян, Цайгер, Шахбагян, Шульц, Эрэд и Юсфин.



Сергей Колмановский

ПОКА Я ПОМНЮ...

(продолжение. Начало в №12/2015)

Царская охота

Талант - талант, как ни клейми...

Евг. Евтушенко

Уже в первые годы советской власти в песне образовались две категории композиторов. У одних музыка возникала из жизни, а не из придуманного властями благополучия. Их песни были живыми, трепетными, часто с царапкой и даже с болью. Таких композиторов старались «задвинуть», им не воздавали до тех пор, пока они «всем ветрам назло» не становились классиками. Их фамилии люди запоминали от песни к песне. Тянули же, увешивали орденами и сажали в президиумы совсем других композиторов – авторов песен со стерильными музыкальными интонациями и идеологически выверенными деревянными стихами. Их имена широко пропагандировались, но часто вызывали недоумение — фамилия вроде на слуху, а вот что он написал — понятия не имею. Ведь жизнь их песен заканчивалась одним-двумя исполнениями по радио или на торжественных концертах.



Э. Колмановский и Е. Евтушенко

Время от времени на любимых народом композиторов устраивали настоящую охоту, и отец был далеко не первым из них. И тут я не могу обойти навязшую в зубах формулировку: «Его выбрало время». Действительно, время выбрало не только песни Эдуарда Колмановского, но и его характер, его представление о чести и гордости.

В начале шестидесятых идея самовластья несколько потускнела (правда не надолго), и этого не почувствовали гонители отца. Когда-то у жертвы проработки не было иного выхода, кроме полного признания справедливости критики и обе-

щения перестроиться, то есть начать калечить своё творческое естество. Позже возможен был уклончивый ответ типа: «Спасибо, я подумаю».

Отец первый отважился на решительный отпор сановным охотникам, и именно поэтому стал последней жертвой организованной травли.



С Я. Френкелем и С. Михалковым в окружении слушателей после выступления.

Я не думаю, что он рассчитывал на послабления короткой хрущёвской оттепели, он просто не мог иначе. И его темперамент так удачно совпал с ломавшимся временем, и это соответствие дало такие результаты, что больше уже никогда ни одного песенника даже и не пытались уничтожить.

Я хочу подчеркнуть два очень важных обстоятельства. Царская охота или, иначе говоря, организованная травля не обязательно означала указание сверху или какой-то сговор. В иные времена, когда без высочайшего решения и чихнуть было нельзя, погромная статья в центральной прессе была знаком к началу охоты. Но с отцом у егерей вышла запятая: наступало время, когда даже партийные газеты начали спорить между собой...

И второе: всё выше изложенное отнюдь не означает, что Эдуарда Колмановского травлили только бездарности. Оценка нового произведения и, особенно, нового направления в песне — такое же творческое дело, как и сочинение. Тут может ошибиться и гений. Но талант — не обязательно порядочность и благородство. Иногда стремление задавить чуждого и непонятого становится моноидеей и у одарённых людей. В зависти же я не хочу обвинять никого из отцовских врагов — чего не знаю, того не знаю...

Итак, сначала появилась в «Правде» статья Д. Кабалева «Нам нужны мужественные песни!», где он («по первое число»), как он сам выразился при встрече с отцом, приложил «Тишину», как противоречащую заглавию статьи. При этой встрече отец не стал распинаться даже перед почитаемым им классиком, лишь сказал: «Я верю, что вы написали это из принципиальных соображений». И я думаю, что так и было. Но где-то ближе к музыкальному олимпу содержание статьи по старинке перевели на охотничий язык: «Ату его!»

Вскоре А. Новиков в «Советской культуре» прошёл уже по всему творчеству отца. Даже в песне «Я люблю тебя, жизнь!» он нашёл надлом и надрыв, правда, признав песню в целом «нашей». Но с каким же гневом он обрушился на

«В нашем городе дождь!» И беспросветность, и мрачная меланхолия, и весь джентльменский набор! Эта песня вообще вызвала озлобление музыкальной администрации. Казалось, будто они все боялись за трудящихся — вот послушают грустную песню о неразделённой любви и враз перестанут строить коммунизм. А тут ещё Майя Кристалинская спела «Дождь» в «Голубом огоньке» под седьмое ноября. На это соответствующим образомотреагировал сам Т.Н. Хренников и не где-нибудь, а в той же «Правде»!



С Борисом Александровым (сидит) – худ. руководителем краснознамённого ансамбля песни и пляски советской армии.

Э. Колмановский удостоился приглашения к заместителю министра культуры СССР В. Кухарскому для порицания и внушения. А «Советская музыка» опубликовала пародию на отца — насколько я знаю, это единственный случай в истории наших музыкальных журналов. И то сказать — какая честь! На бездаря пародию не напишешь! Не помню, в чём там могла заключаться пародийность музыки, но стихи были примерно такого уровня:

Пусть над городом дождь,
Сколько хочет, идёт.
Всё равно молодёжь
Мою песню поёт.

Очевидно, имелось в виду, что опьянённый дешёвым успехом композитор игнорирует квалифицированную критику, которая могла бы ему здорово помочь. А получилась-то высшая похвала песнетворцу! Но кульминацией этой царской охоты стала проработка Э. Колмановского в московской композиторской организации.

Пользуясь отсутствием председателя правления В. Мурадели (не ахти какого принципиального, но дипломатичного и осторожного), его заместитель К. Молчанов предложил отцу показать на заседании правления несколько песен и после показа задал тон всей последующей экзекуции. Это даже нельзя было назвать речью — он просто плевался и был близок к терминологии РАПМовцев, то есть композиторов-идеологов 20-х и 30-х годов, которые порой призывали к физическому уничтожению композиторов-лириков.

Примерно в этой же тональности выступили и другие члены правления. Но к их общему изумлению отец принял бой! Один из охотников утверждал, что популяр-

ность — фактор второстепенный. Впрочем, смотря какая. Популярность «А» — когда народ любит, а профессионалы не приемлют (то бишь отцовский случай) — ничего не стоит; популярность «Б» — когда песней восторгаются только профессионалы — куда более почётна; популярность «В»... тут отец прервал его: а к какой категории популярности относятся ваши песни? Не к категории ли «Г»?..

К слову: именно этот систематизатор потом первый извинился перед папой. Но тогда Колмановскому не простили непослушания. Стенограмма протокола заседания была опубликована в «Советской культуре», разумеется, без отцовской отповеди. Случись всё это на десять лет раньше, не сносить бы Э. Колмановскому головы. Но выбравшее его время тем и отличалось, что уже не каждое слово даже в центральной прессе было указанием к действию для всего пропагандистского корпуса. Тем не менее, отец был в тревоге.

Узнав, что «Я люблю тебя, жизнь!» собираются дать в очередном концерте по заявкам, он позвонил на радио — не передумали ли на фоне развернувшейся против него кампании. И услышал: эта песня никогда больше не будет звучать по радио. Надо же случиться, чтобы как раз в это время папа получил из музыкального издательства отказ в издании «Я люблю тебя, жизнь!» Это не было частью охоты, там просто не поняли песню, посчитали её банальной и слабой. Но бодрости папе и это не прибавило.

Вообще в те времена редкий талантливый художник не подвергался остракизму. Но мне от этого не легче, когда я вспоминаю, как отец с его ранимостью и обострённым чувством справедливости всё это переживал. Я имею в виду не только предвзятость критики, но и разочарование в некоторых коллегах, по волчьим законам того времени сразу присоединившихся к хору преследователей по отношению и к тем песням, которые они раньше в глаза отцу хвалили.

Пару лет назад на мой концерт памяти отца пришла Циля Абрамовна Коган — музфондовый врач, большой друг нашей семьи. После концерта она подошла ко мне: «А знаешь, когда на Эдуарда Савельевича охотились, у него была плохая электрокардиограмма...»

...Высшее руководство союза композиторов не вступилось за Колмановского. Вернувшийся из отпуска В. Мурадели обещал поддержку, но в первом же публичном выступлении тоже «долбанул» по «Дождю»: «Я сын крестьянина и отношусь к дождю уважительно, но от песен мы ждём солнца!» Когда же «Советская музыка» стала обстреливать «Хотя ли русские войны!» (уж, казалось бы, куда мужественнее и гражданственнее? — Ан нет — тангообразные интонации, оказываются, мешают воспринимать содержание песни), Э. Колмановский пошёл к Хренникову. Но и тот уклонился: «Эдик, ну что ты носишься с этой песенкой — завтра новую напишешь!» Справедливости ради, Тихон Николаевич отреагировал лишь на папину другую жалобу: партбюро отказало отцу в характеристике для туристической поездки в Италию.

Хренников осадил секретаря партбюро музыковеда Б. Тищенко, но поезд уже ушёл, и в тот раз папа в Италию так и не поехал. Впрочем, и Хренников осудил слишком вольную манеру выступления отца на партбюро. Папа сказал тогда: «Причём тут мои творческие заблуждения, на которые вы ссылаетесь? У вас ведь тоже наверняка попадают ошибки в работе, но разве кому-нибудь придёт в голову из-за этого отключить у вас телефон?»

Впоследствии Борис Тищенко не только высказывался о творчестве отца исключительно в панегирических тонах, но и читал вступительные слова к моим концертам.



С молодым Иосифом Кобзоном

Вспомню довольно занятный случай из того времени. У Э. Колмановского был авторский вечер в доме журналистов. Вступительное слово поручили Светлане Виноградской. Она не смогла отказать от такого соблазнительного предложения, хотя душой была по другую от отца сторону баррикады. Перед самым концертом она спросила: «Эдуард Савельевич, вы не обидитесь, если я вас во вступительном слове покритикую?» Отец ответил: «Ваше дело, Светочка. Но понимаете ли вы, что зал до отказа набит моими поклонниками?» И, действительно, в какой-то момент её просто прервали, потому что она зарাপтовалась, говорила как-то невнятно — ни нашим, ни вашим... Итак, больше искать защиты было негде.



С Расулом Гамзатовым

Был, правда, момент, когда отец собрался обратиться к одному из секретарей ЦК, да видно, всё-таки не хватило наивности. Но, повторяю, в эти годы даже такая активная травля сверху уже не всегда вела к уничтожению, запрещению и неупоминанию. И пошло параллельное действие. В «Комсомольской правде» написали, что четыре советских солдата, выброшенные в океан, пели там «Тишину». Потом Ю. Гагарин запел в космосе «Я люблю тебя, жизнь!» — и об этом писали во многих газетах. В очередной статье (кажется, в «Музыкальной жизни»), Д. Кабалевский поддержал «Хотят ли русские войны!», потом она была исполнена в правительственном концерте, и миллионы телезрителей увидели аплодирующего песне Хрущёва. Да ещё в своём докладе на встрече с творческой интеллигенцией он назвал её в ряду своих самых любимых.

Весь этот позитивный ряд подытожила статья А. Ёлкина в «Комсомольской правде» под названием «Как стать Дунаевским?», где автор резко выступил против преследователей Э. Колмановского на том основании, что жизнь никак не подтверждает и не подписывает их суровые приговоры всё больше любимым народом папиным песням. Наступило затишье. Только «Советская музыка» ещё долго огрызалась. Там появилась новая статья против «Хотят ли русские войны?», где было дано понять, что новое время работает и на них, и они остаются при своём мнении, несмотря на то, что песня приобретает всё большую популярность «и даже склоняет в свою сторону видных музыкантов» (дескать, и Кабалевский нам не указ).



С Майей Кристалинской

Затем этот журнал разразился гневным ответом А. Ёлкину под названием «Спорить по существу!» Письмо подписали несколько авторитетных музыкантов, в том числе Д. Шостакович, который вскоре передал отцу через Евг. Евтушенко извинения: он дал согласие на свою подпись, не читая письма. Дмитрий Дмитриевич часто так поступал, лишь бы его оставили в покое. Но через некоторое «Советская музыка» оставила папу в покое и тем самым молчаливо признала своё поражение. А когда отцу стукнуло 50 лет, наиболее восторженно отозвался на его юбилей именно этот журнал. Зачем тогда он нужен, если он шлётётся у широкой публики в хвосте длиною в десятилетия?..

Но я считаю, что полное фиаско охотники потерпели ещё на 10 лет раньше. Вскоре после ёлкинской контратаки отец уехал в дом творчества композиторов «Руза». Там же в это время находился его главный супостат К.В. Молчанов. В день рождения папы (9-го января) по традиции по радио прошёл концерт из его песен, в основном тех же, за которые его по инициативе Кирилла Владимировича убивали на совсем ещё недавнем судилище. Так вот: после этого радиоконцерта Молчанов позвонил папе и сказал: «Эдик, это было очень здорово!

...Нужны ли тут комментарии? Представьте себе, ещё как нужны!

Прежде всего: отец выносил на суд слушателя только то, что считал сполна выражающим его благородные художественные устремления. Это достоинство было дано ему Богом в придачу к его дару, может быть, даже в защиту его. При совершенно бескомпромиссных требованиях к себе и другим (из-за чего возникало особенно много сложностей с соавторами-поэтами) и соответственно тщательности в работе Эдуард Колмановский испытывал трепетную потребность показать коллегам свою музыку. То есть он не просто лояльно относился к авторитетной, компетентной и объективной критике, он просил о ней. Постоянно играл свои песни И. Дунаевскому, затем З. Компанейцу, позже О. Фельцману. С особым вниманием прислушивался к мнению композитора В. Белого, главного редактора журнала «Музыкальная жизнь», постоянно публиковавшего папины песни. И, если критическое замечание убеждало его, отец без малейшей жалости с таким трудом и жаром написанному передёльвал, а что-то и вовсе выбрасывал. Но и сам не церемонился, высказывая своё мнение товарищу по цеху, наивно рассчитывая на то, что его поймут на его же профессиональном и этическом уровне. До чего же редко это случалось!..

Однако то, о чём я сейчас рассказываю, не имело никакого отношения к профессионализму и этике. Тут надо было драться! И, слава Богу, отец это тоже умел!



С двумя дуэтами — сёстры Лисициан и В. Кажю и И. Кобзон

Вдумчивый читатель вправе требовать от меня объяснений: как же всё-таки выживали песни, авторы которых были не угодны разного рода начальству? Ответ ясен и прост: судьбы песен решают исполнители. Артисту всё равно, кто написал песню. Он выходит на сцену или в эфир только с тем, что его волнует и чем он надеется взволновать слушателя. Спасибо тем из них, кто часто до последнего, а то и с риском для карьеры бился за настоящие, в том числе и папины, песни!..

Отец всегда учил меня из всего в жизни делать правильные выводы. Во время охоты, и, особенно после неё, я понял, как он сам владеет этой нелёгкой наукой. В его поступках и высказываниях не было и намёка на желание отомстить.

Он продолжал любить и почитать Д. Кабалевского, часто на примерах из его музыки учил меня композиторскому ремеслу, восхищался Дмитрием Борисовичем и как просветителем, и как педагогом. А когда пришла моя пора поступать в консерваторию, отец привёл меня именно к Кабалевскому, чтобы я показал ему свои опысы на предмет поступления именно в его класс (Д.Б. с радостью согласился).

А.Г. Новикова (напомню самые известные из его песен — «Гимн демократической молодёжи» и «Эх, дороги!») папа продолжает считать одним из патриархов советской песни, и не просто почитал его музыку, но иногда по-настоящему увлекался какой-нибудь, иногда даже мало известной мелодией этого талантливейшего композитора.

Отец вообще умел ценить чужую музыку. И мои самые первые, самые яркие детские впечатления, связанные с отрывками из сочинений великих композиторов, освещены радостью, восторгом и даже какой-то гордостью за человечество, которой светились папины глаза, когда он играл мне эту музыку или рассказывал о ней...



Приём в кремле после очередного съезда союза композиторов. Слева от А. Микояна Т. Хренников, слева от К. Ворошилова В. Мурадели, отец стоит за Н. Хрущёвым, крайняя справа Е. Фурцева.

Не поменялось его отношение и к Молчанову, но оно и до всего было неоднозначным. Он, конечно же, очень любил замечательные песни Кирилла Владимировича (напомню хотя бы «Вот солдаты идут» и «Огней так много золотых»). К тому же отец был в восторге от композиторской позиции Молчанова. У того очень хорошо получались песни, и с ними ему было бы гораздо легче и сытнее жить, чем с операми, которые композитор почему-то считал главным делом своей жизни. И он работал почти исключительно в этом жанре, написал их достаточное количество и ещё балет. Таково было его убеждение, и он ему следовал.

Какие оперы писал Молчанов, я сказать не могу — ничего не слышал (хотя это уже кое о чём говорит). И не в этом дело. Речь идёт о следовании внутренней убеждённости. Однако по жизни это был махровый карьерист. Когда вышло недоброй памяти постановление 1948-го года, Молчанов — поздний студент консерватории и одновременно ранний член союза композиторов — выступил на общем композиторском собрании: «Наконец-то! У меня душа поёт!»

Впоследствии он всегда стремился занять руководящий пост. После смерти Мурадели боролся за освободившееся место председателя правления московской композиторской организации. А когда это не получилось, через некоторое время стал директором Большого театра. Получив этот рычаг, он больше занимался своими делами, осуществил постановку собственной оперы «А зори здесь тихие», не слишком вникая в дела театра. Этого ему не простили ведущие певцы этого прославленного коллектива, и решением худсовета К.В. был отстранён от лакомого кусочка.

На одном из выступлений я получил записку с вопросом: «Правда ли, что Молчанова выгнали из Большого театра за плохую оперу?». Наивно, конечно, но автор записки не так уж далёк от истины. Если бы Молчанов написал гениальную оперу, на уровне Прокофьева, и, таким образом, помог бы театру, пусть не по своей прямой служебной принадлежности, возможно, его бы не тронули и как директора...

Колмановскому настолько был чужд молчановский карьеризм, что, когда тот ушёл из семьи ради новой любви, отец, как это ни странно, был приятно удивлён: «Надо же! Выходит, не такой уж он карьерист, если ради чувства рискует карьерой!»



С Артуром Эйзенем

...Был бы отец жив, он возражал бы против упоминания имён побеждённых им врагов. Он им всё простил. А с одним из редакторов «Советской музыки» он в какой-то момент по-настоящему подружился до самой смерти. Но папа не терпел заискивания.

Сейчас уже не вспомню, на каком выезде он оказался в холле гостиницы у телевизора вместе с Ю. Милотиным — талантливым композитором, к сожалению участвовавшем в травле. Передавался эстрадный концерт, и после выступления заграничной певицы Милютин сказал: «Чудная песенка, не правда ли, Эдуард Савельевич? А появивись такая у нас — заклюют, скажут — мрачная меланхолия, упадочничество». Папа ответил: «Конечно. Вы же первый и скажете»...

Когда усилиями папиной вдовы Светланы издавалась книга об Э. Колмановском, она (более верная жизненным принципам отца, чем я) таки не дала мне назвать ни одного имени в негативном контексте. Но что поделать, я другой человек, я больше не могу — люди должны знать правду...

Как было бы здорово, если бы можно было верить пушкинской формулировке о несовместимости гения и злодейства! Как высоко, справедливо и красиво! И как жаль, что эта формула не имеет ничего общего с жизнью...

Замечу: папа ничего подобного не говорил. Стало быть, из этой непростой истории я сумел сделать свой собственный вывод. Только вот правильный ли?

С отцом бы обсудить...

Страсти по кривому углу

*И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.*

А. С. Пушкин

«Аллé! Александр Эдуардович? Здравствуйте! Меня зовут Галя, я звоню, чтобы уточнить время сегодняшней консультации». Мой брат, известный в Москве психолог Александр Колмановский, растерянно уточняет: «А когда мы с Вами договаривались? Что-то я Вас вообще не припоминаю. Впрочем, приходите часов в пять, что-нибудь придумаем».

В назначенное время в кабинет, который брат снимает в подвале знаменитого композиторского дома в Газетном переулке (бывшая улица Огарёва) входит энергичная, уверенная в себе женщина: «Извините за обман, я не нуждаюсь в психологической помощи. Я агент по продаже недвижимости. Если Вы узнаете, что в этом доме продаётся квартира, продайте мне эту информацию — я не постою за ценой»...

Этот разговор произошёл на прошлой неделе. Представим же себе, какие страсти кипели вокруг квартир в этом доме, когда он начинал строиться больше полувека назад, в почти полностью коммунальной Москве. Я не мог быть тому полноценным свидетелем — мал был, — но слышал об этом так много и из таких авторитетных источников, что не могу не поделиться услышанным с читателем, у которого, впрочем, заранее прошу прощения за неточности и додуманности.

Инициатором создания и первым председателем правления кооператива был И. Дунаевский — не только гениальный композитор, но и человек огромного общественного темперамента. Только его энергией и авторитетом объясняется разрешение властей на строительство огромных квартир, которые должны были занять, в основном, малочисленные семьи, полностью игнорируя советские жилищные параметры (6 кв. метров на человека). Проект ещё успел подписать Сталин. Вождь всех времён и народов считал правильным не только убивать, сажать и страшить, но и подкупать. Неслучайно при нём стали создаваться особые условия, в том числе и для композиторов (начиная с райских домов творчества). Да и потолки в проекте были «сталинской» высоты.

Одним словом, кооператив — исключение, кооператив — покупка, в отличие от последующих прихрущёвских скромных кооперативов стандартной планировки, имевших целью улучшение жилищных условий всего населения. Конечно же, претендентов на квартиры хватало.

Папу в члены кооператива не приняли — не занимал он тогда соответствующего положения, но занесли в список кандидатов за номером три. Вскоре объявили: кандидат, предоставивший площадь жителям построек, находящихся на территории будущего строительства, переходит без очереди в основной список. Поселив в наши три комнаты в коммунальной квартире родственников и отдав их комнату на общее благо (всё это тоже легко сказать!), отец стал-таки полноправным членом кооператива.

Вскоре, однако, его снова перевели в кандидаты. Выяснилось, что квартира понадобилась батарю, без которого было недостатать строительные материалы. Произошёл пренеприятнейший разговор папы с Дунаевским, и мы снова перешли в основной список.

Я позволяю себе ворошить эти «дела давно минувших дней», потому что испытываю к обоим лишь сочувствие, к которому призываю и читателей. Что было

делать Дунаевскому, тем более не только в своих интересах? Что было делать папе, угрожавшему разоблачить действия правления в печати? А ведь он знал, что если не он, из списка будет исключен другой пайщик. Виноваты тут только условия, гримасы общества развитого социализма.

По мере строительства страсти по дому разгорались и апогея достигли при распределении сантехники (чуть ли не финской!) Вот где начались интриги, создавались группировки, готовились заговоры! Именно в этом горниле родился шикарный каламбур С. Каца (прошу прощения у дам): «Друзья познаются в БИДЭ!» Но подлинная ценность дома стала понятна значительно позже, когда он заселился, и стал важнейшей составной частью не только быта, но и оргтворческой деятельности всей музыкальной общественности страны.

Мало того, что дом находился — центрее не бывает, причём, выходил большинство окон в тихий дворик. В первые этажи его двух подъездов пересекла медчасть музфонда СССР, редакция журнала «Советская музыка», музыкальная и книжная библиотеки, музыкальное издательство. Несколькими шагами выше во дворе разместился центральный дом композиторов с рестораном и буфетом, концертным залом и комнатами для репетиций, со студией звукозаписи. На третьем этаже этого здания расположились союзы композиторов Москвы и РСФСР, а ещё выше, в совсем уже огромных государственных квартирах, жили наши корифеи — Д. Шостакович. А. Хачатурян, Д. Кабалевский. Ещё чуть дальше, на самом верху двора, вскоре появился кооператив преподавателей консерватории, а первый этаж этого здания занял союз композиторов СССР, а также его иностранная комиссия.

Совсем рукой подать было и до легендарной московской консерватории и училища при ней, поэтому, будучи студентом этих учебных заведений, я по молодому легкомыслию чувствовал себя там как бы по-домашнему, тем более что прямо в нашем доме жили мои учителя: Е.П. Макаров, С.С. Григорьев, в соседнем доме Д.Б. Кабалевский, а в консерваторском кооперативе М.Г. Соколов.

Однажды я должен был сдавать очередной экзамен по гармонии дома у С.С. Григорьева. Я знал предмет, но морально не мобилизовался, думал, проскочит как-нибудь по-соседски. Однако Степан Степанович добросовестно погонял меня по материалу, как говорится, «за всю масть», и я еле выплыл на четвёрку, и с той поры посерьёзnel...

Чтобы нам с отцом легче было разделить время для музицирования, я ходил — благо рядом — к семи часам утра заниматься в консерваторию. Там студентам давали классы до девяти, т. е. до начала официальных занятий. Каков же был мой восторг, когда однажды зимой в этот ранний час я увидел во дворе сидящего на скамеечке Д. Шостаковича. От растерянности я поздоровался.

Он, вряд ли знавший меня в лицо, тут же ответил тихим, но очень чётким «Здрасте!», при этом даже не сняв, а скорее сорвав с головы шапку. Вид у великого композитора был испуганный, как у внезапно разбуженного. Видно, в это предрасветное время Дмитрию Дмитриевичу особенно легко и сладко думалось, и моё приветствие непрощено вернуло его в реальность...

А страсти по дому не утихали. К нему примеривались и приценивались со всех сторон. Волею судьбы мне на глаза попало письмо в правление кооператива министра культуры СССР П.Н. Дёмичева, в котором он поддерживал просьбу А. Хачатуряна предоставить ему освободившуюся в доме квартиру в качестве дополнительной, поскольку в силу его разносторонней общественной деятельности его основное жильё превратилось в учреждение. Не знаю, был ли дан ход этому письму.

Не помню, что я почувствовал, прочитав его, но прожив значительное время в условиях демократии (в 1990 году я эмигрировал в ФРГ), могу опять-таки только почувствовать великому композитору. Жил бы в нормальном обществе — купил бы квартиру своему сыну, какую хотел, и не пришлось бы ему интриговать. А вот покидали дом чрезвычайно редко. Разве что какой-нибудь очень выгодный обмен. Помню, правда, съехал Г. Свиридов после получения Ленинской премии — очевидно, согласно табелю о рангах ему стало полагаться что-то совсем уж заоблачное.

Страсти, в которых рождался кооператив, как бы наэлектризовали его жителей на долгие годы. Атмосфера в доме была — не соскучишься! Ведь соседями стали не только друзья, но и чуждые друг другу индивидуальности. Вспоминаю такую, например, типичную для нашего двора сцену. Композитор, которого чуть не сбил с ног малолетний сын соседа (тоже композитора), поймал озорника и отчитывает его. Мальш, не найди аргументов в своё оправдание, но и не желая оставаться в долгу, выпаливает: «А папа говорит, что вы пишете Ерунду!» Или: одна композиторская жена говорит другой про сынишку известного модерниста: «Посмотри, какой аккуратенький и вежливый мальчик! Как будто его папа только в до-мажоре и пишет!»

Но иногда возникало напряжение из-за чисто человеческих несовпадений. Когда отец тесно сотрудничал с «Современником», к нему во дворе подошла Тереза, жена А. Бабаджаняна: «Эдик, ты не можешь достать билеты на «Голого короля»? Ты ведь там музыкальный...» И осеклась под осуждающим взглядом отца. Он и вправду не терпел ни малейшего неуважения к своей профессии, и добавь Тереза «...оформитель», не избежать бы ей его гневной отповеди. Но отец решил снять напряжение и с несколько натянутой улыбкой сказал: «Композитор». Билеты он, конечно, достал...

Средоточие на огарёвском пятачке большого количества композиторов, а также руководящих ими органов не всегда и не для всех было только удобством. В начале 60-х годов творчество отца подверглось организованной травле — с проработкой в правлении Союза, с разгромными статьями в «Правде», «Советской культуре» и, почему-то особенно старавшейся, «Советской музыке», где даже была опубликована песня-пародия на него — я повторяюсь, но случай уж очень диковинный. Ко всем папиным переживаниям и неприятностям добавлялось тогда нежелание выходить из дома — было противно встречаться со своими гонителями...

Но кто знает, может быть, как раз вся эта напряжённая атмосфера в доме парадоксальным образом способствовала сумасшедшему успеху многих из его обитателей, некоторые из которых взлетели, только вселившись в огарёвские подъезды?!

Я забыл упомянуть ещё один источник междусоседского напряжения. В это трудно поверить, но именно в нашем доме не было предусмотрено практически никакой звукоизоляции. Я хорошо слышал игру А. Островского, жившего двумя этажами выше. А тот же С. Кац говаривал: «Приходите в гости! А. Лепин новое сочинение написал — послушаем!» Максим Дунаевский рассказывал мне, что С. Туликов очень выразительно импровизирует. Но, когда я бывал у Максима в гостях, этого как-то не случалось. А сам я жил в другом углу...

Получается, что композиторы были друг у друга не только на виду, но и на слуху. Может быть, поэтому им было особенно интересно следить за судьбой сочинений, которые они слышали ещё корчившимися в черновиках.

Помню, по телевизору шёл очередной песенный концерт. Впечатление было благоприятное, но не более. Поэтому я очень удивился, когда отец после конца концерта вдруг воскликнул: «Невероятно!» На мой вопрос, что он имеет в виду, папа

объяснил: «Как это они обошлись без кривого угла?» Действительно, этот элитный дом имеет ещё такой вот банальный недостаток — один его угол несколько скошен. И папа был прав — в доме жило слишком много популярнейших композиторов, и концерт без единой песни хоть одного из них был невероятной редкостью...

Но вот что странно. Помимо композиторского таланта, отец обладал редким редакторским дарованием — недаром он пять лет проработал на радио. Его коллеги, работавшие в разных жанрах, очень любили показывать ему свои сочинения и высоко ценили папино мнение. И сам он испытывал потребность показать кому-то из композиторов свою музыку. Да и человек он был общительный. Почему же, переехав в композиторский дом, он так редко общался с соседями *творчески*?

Причин на это можно найти достаточно. Тут и несколько раз упомянутое мною напряжение, и склонность всякой творческой природы к затворничеству, а может быть, потребность в контактах исчерпывалась почти ежедневными встречами то на худсовете на радио, телевидении, в издательствах, на фирме «Мелодия», то на заседаниях творческих комиссий союза композиторов. Но как всё-таки полезны и приятны были индивидуальные встречи, и — простите за повторение — как редки! Только уже в зрелом (мягко говоря) возрасте отец и О. Фельцман наладили постоянные встречи, где они играли друг другу свои сочинения и обсуждали их. До этого такие контакты как с Оскаром Борисовичем, так и с другими соседями были спонтанными, случайными.

Когда папа сочинял для М. Бернеса песню «Американцы, где ваш президент?», они заспорили. Одно место явно не получалось. Отец стал обзванивать «кривой угол», застал А. Бабаджаняна, тот с радостью прибежал, высказал много интересных соображений, затем поблагодарил папу за недавнюю честную и нелицеприятную критику своей песни (очевидно, разговор был в доме творчества композиторов «Руза». Насколько я понял, Арно Арутюнович ту песню так и «пригормозил»). Потом оба стали говорить, что надо бы встречаться чаще, Бабаджанян сознался, что ему не хватает здесь армянских композиторов, которые знают его сочинения, как свои — и наоборот, но на том творческое общение и закончилось. Засосала цепкая композиторская рутинка.

Арно Арутюнович пришёл как-то ещё раз, но уже посоветоваться по околотворческой проблеме. Он написал песню на стихи Евг. Евтушенко, с которым, кстати, его познакомил отец — в той же «Рузе». И тут Евгения Александровича «закрыли» из-за телеграммы протеста, которую он дал власть предержащим в связи с арестом Солженицына перед его высылкой. У отца был огромный и многострадальный опыт общения с инстанциями по аналогичным причинам — его песни с Евтушенко постоянно «перекрывали» из-за гражданской непокорности поэта. Папа смог лишь объяснить Арно Арутюновичу, что его наивный вопрос «Да или нет?» не внесёт ясности в дело, ни один начальник не выскажется открытым текстом. Ведь Евтушенко запрещали устно и тайно. Вот такие консультации были между композиторами в обиходе.

Когда папу обделили в какой-то телевизионной передаче — дали показать меньше песен, чем другим её участникам, — он решил поговорить с А. Долуханяном. Тот тоже выступал в этой передаче и умел очень точно разбираться в сложных ситуациях. Отцу важно было его мнение: нет ли на папин счёт каких-либо негативных указаний на телевидении. Александр Павлович успокоил отца, хотя и признал: «Да, Эдик, с тобой поступили неарифметично».

Это был какой-то совсем особенный человек. Он был очень красивый, и ему так шла ранняя седина, как будто она ему была дана с рождения. Он был разносто-

ронне одарён — не только талантливый композитор и пианист, но ещё замечательный шахматист, лучший среди композиторов бильярдист. А как-то раз он, выйдя из подъезда, встретил папу, который уныло пожаловался ему: «Саша, у меня отобрали водительские права!»

Ознакомившись с обстоятельствами дела, Долуханян нашёл в нём изъян. Они с папой поехали на место происшествия, и Александр Павлович убедил инспектора отдать отцу права...

Особая взаимосимпатия связывала папу с А.И. Островским. Папа считал его песенником номер один того времени. Островский как-то вёл радиопередачу об отце, и даже один раз приходил посоветоваться насчёт инструментовки, а в этой области он сам был суперспециалистом. Но отец вообще любил «подколоть». Шутит он в основном над слабостями, которыми был очарован. Они с Островским часто вместе выступали.

Аркадий Ильич пользовался бешеным успехом и от радости по этому поводу иногда терял чувство меры. В конце концерта он порой приглашал на сцену какого-нибудь мальчика из публики, и тот пел «Пусть всегда будет солнце!» Тут уж публика неистовствовала, а композитор в восторге брал мальчика на руки и бегал с ним по сцене...

Когда они вместе ждали во дворе машину перед совместным выступлением, папа говорил Островскому: «Тебе-то что волноваться? Успех в любом случае обеспечен — берёшь мальчишку на руки и даёшь с ним лишний круг по сцене!»

Аркадий Ильич, надо сказать, ценил юмор. Но один раз взорвался. На одном из концертов он прямо на сцене продемонстрировал слушателям будильник с мелодией «Пусть всегда будет солнце». Отец, выступавший после него, не преминул этим воспользоваться и закончил свое выступление небольшим приколом: «У меня есть пудреница, в которой звучит моя песня «Вы служите — мы вас подождём», но я не знал, что её надо приносить с собой сюда».

Тут Островский помрачнел, а когда оба уже были дома, он не выдержал и позвонил отцу: «Врешь ты всё! Нет у тебя такой пудреницы!»

Но всё это не может сравниться с шикарным приколом самого А.И. Островского. Они сидели втроём (не помню у кого) — папа, Островский и Фельцман, — и готовились к совместному выступлению. Как вдруг позвонили с концертной площадки с извинениями — забыли сказать, что у них нет фортепиано. Находчивый Аркадий Ильич спросил: «А аккордеон найдется?» — «Конечно!» «Ну, так я приеду и выступлю один за всех — я ведь аккордеонист! Эдик, Оскар, напишите мне только слова ваших песен». «Подожди, Аркаша, а как же мотивчики?», — забеспокоились коллеги. Островский ответил, не задумываясь: «А мотивчики у нас у всех одинаковые!».

Давняя «доогарёвская» дружба связывала папу с Д.Л. Львом-Компанейцем и М.В. Мильманом. Оказавшись в одном доме, они, конечно, общались, но не так уютно, как раньше. Намного чаще, чем когда жили далеко друг от друга. Да и другие соседи-композиторы ходили к нам не чаще, чем, например, М. Фрадкин, М. Вайнберг или Г. Фрид, жившие в других домах и даже районах. Так и напрашивается цитата из стихотворного письма Евг. Евтушенко К. Симонову: «Мы не дружим, скорее, соседствуем».

В студенческие годы ближайшим другом отца был А. Муравлёв. Они оба учились у В. Шебалина. Одно время Муравлёв даже жил в семье у папы. Они не ссорились, просто впоследствии жизнь их как-то развела. Однако отец не только с гордостью рассказывал об успехах своего друга, но и наигрывал отрывки из симфони-

ческой поэмы «Азов-гора», за которую А. Муравлёв получил Сталинскую премию, будучи ещё студентом. Тем не менее, когда они стали соседями, ни разу и не созвонились. Я даже был удивлён, увидев Муравлёва на гражданской панихиде по отцу (папа скончался 27 июля 1994 года)...

В этом году я выступал в доме композиторов с концертом памяти отца к его 85-летию. После концерта ко мне подошёл А. Муравлёв: «Сергей! Вы знаете, Эдуард Колмановский — мой любимый композитор!» И попросил компакт-диск с музыкой отца...

Тяжёл композиторский труд. Он забирает не только творческую энергию. Для того чтобы по-настоящему понять соавторов-поэтов, драматургов, режиссёров, артистов, слиться с ними в одно целое, требуется ещё и напряжённое человеческое общение. Вот почему очень часто ближайшими друзьями композитора становятся его соавторы, порою вытесняя все остальные дружеские связи. Вот и у нас в квартире собиралось огромное количество людей искусства. Достаточно сказать, что когда отец особенно тесно сотрудничал с театром «Современник», к нам почти каждый вечер приходила после спектакля практически вся труппа и гудела за столом всю ночь — не понимаю, как это терпели соседи. Всё это требовало титанических усилий, прежде всего, от хозяйки дома.

Здесь надо заметить, что мама не очень умела, да и не успевала готовить. Кроме того, она ни за что не хотела быть только женой Колмановского и до последнего дня работала, была доцентом кафедры иностранных языков института физкультуры. Поэтому её главной проблемой был постоянный поиск домработницы.

Прежде всего, упомяну Дашу, растившую меня с годовалого возраста. Когда мы переехали на Огарёва, она уже получила комнату в коммуналке и постоянно с нами не жила, но оставалась другом семьи, заполняла собой безвременье, а то и просто приходила в гости, любила сделать замечание очередной нашей помощнице, да и нас всех постоянно поучала. Больше всего её беспокоило финансовое положение семьи, поскольку она считала (а может, и придуривалась), что зарабатывает только мама — ведь отец не ходил на работу.

Даша не уставала его осуждать: «Работал бы, как все люди, а после работы пришёл домой и стучи себе по клавишам!» Многие расходы от Даши скрывались, родители боялись её гнева. А дом и вправду атаковали любители заработать. То позвонит в дверь с утра пораньше жаждущий опохмелиться дворник Лёша: «Помоёмся?» — имелось в виду, не надо ли помыть машину, то жуликоватый крестьянин Гаврюша несёт творог необыкновенного качества и соответствующей стоимости. Мы брали у него всегда и на долю чрезвычайно осторожного в еде М. Бернеса. А то заявятся и коммерсанты посерьёзней — спекулянты заграничной косметикой и даже радиоприёмниками.

В зените своей популярности отец был так завален работой и так страдал от дефицита времени, что позволял себе вызвать на дом парикмахера. Это был настоящий художник, корифей своего ремесла с 60-летним стажем работы, начинал ещё у Базиля и о себе говаривал: «Я среди парикмахеров всегда в первых рядах; это я без лестии!» После стрижки отец подносил ему маленькую рюмочку водки. Даша мрачно ворчала: «Старика в вытрезвитель!..»

Не менее колоритной была Ольга Александровна, привезённая родителями из Литвы. Воспитанная в старорежимных условиях, она насаждала в семье культ мужчины: «Понас есть король дома!». Если мама приходила с работы в папино отсутствие, О.А. просила её подождать «Понаса», не обедать без него. А если ожидание

затягивалось, она снисходила: «Хорошо, садитесь, но когда придёт Понас, Вы должны посидеть с ним за столом — он не должен обедать один»...

Как-то рано утром она стала меня будить: «Беги за молоком и маслом, вот проснётся Понас — захочет яичницу!» Я огрызнулся: «А что, он яйца поесть не может?» Когда отец встал, О.А. спросила, хочет он яйца вкрутую или всмятку. И надо же было ему сказать: «Вы знаете, я предпочёл бы яичницу». Разумеется, я получил от О.А. удар из большой берты...

На приёме в Кремле по случаю окончания очередного съезда композиторов отец сфотографировался с членами правительства. Рассматривая эти фотографии, я восторгался — какая честь для отца! Но Ольга Александровна меня поправила: это для правительства большая честь — сфотографироваться с самим нашим Понасом...

До Ю. Любимова театром на Таганке руководил Плотников, талантливый режиссёр и очень самобытный актёр, но весьма невзрачного вида. Он много снимался в кино, потому что такой типаж требовался практически в любом фильме. Отец писал музыку к спектаклю этого театра «Скупой рыцарь», и в связи с этим Плотников должен был к нам прийти. Отправляясь на работу, мама соответствующим образом проинструктировала Ольгу Александровну, для которой приём гостя был святым делом, она — прекрасная кулинарка — очень любила этот процесс. Однако придя вечером домой, мама застала папу и Плотникова в столовой (т.е. было понятно, что работу они уже закончили), но за пустым столом. Раздосадованная, мама побежала к Ольге Александровне на кухню объясняться, но та опередила её вопросом: «А когда придёт *настоящий* гость?..»

Гораздо чаще композиторов ходили друг к другу их жёны то за соседской помощью, а то и просто по-женски поболтать. К тому же у них всегда была общая тема для обсуждения: трудности профессии под названием «жена композитора».

Мне довелось краем уха услышать, как подруга жизни одного композитора во дворе жаловалась соседке: «Я ему создаю все условия для творчества, а он только в него и погружён, а на меня, как на женщину ноль внимания. В домашнем быту пустое место, никакой помощи, и вообще какой-то неуправляемый». «Да-да, — прозвучал ответ, — я вас так понимаю, и у нас всё то же самое. Но ведь нормальные мужья музыки не сочиняют!»

Однажды к маме в гости пришла Евгения Петровна Фельцман. Отец это время был погружён в напряжённый телефонный разговор с телевизионным порученцем. Окончив эту беседу, он выскочил в коридор с криком: «Кретины!» И осёкся — не ожидал увидеть гостью. Но Евгения Петровна с улыбкой успокоила его: «Не смущайся, Эдик! Представь себе, сколько раз мне пришлось слышать этот текст!»

...Но самой близкой «огарёвской» подругой мамы была Циля Абрамовна Коган, наш музфондовый «добрый доктор Айболит». Она была не только великолепным специалистом с феноменальной интуицией — от неё исходило неизбывное человеческое тепло, в котором одном, казалось, уже мог растаять любой недуг. С нами же она особенно сблизилась, когда отца травили, так сказать, «за муки полнобия». В условиях тогдашнего медицинского обслуживания Циля Абрамовна с её квалификацией, бездонной добротой, желанием помочь была добрым ангелом всего союза композиторов. В этом году она ушла из жизни. Редко кто в этом мире оставляет по себе такую добрую память...

Конечно же, легче всего сходились между собой мы, дети. У нас была большая, дружная и очень веселая компания. Мы ведь тоже были везде вместе — не только жили в одном доме и ходили в одну школу (некоторые и в музыкальную),

но и вместе проводили все каникулы в благословенной «Рузе» то с родителями в коттедже, то в рузовском пионерском (летнем и зимнем), а позже студенческом лагере. Поначалу моим самым близким другом был Володя Мильман. Помимо уже перечисленных мною пересечений, у нас ещё было общее увлечение. Дело в том, что ещё во время международного фестиваля молодёжи и студентов, который проходил в Москве, я пристрастился к собиранию значков. Накопилась небольшая коллекция, и мне захотелось её пополнить. Но если, скажем, марки можно было купить в филателистическом магазине, то значки можно было только выменять у иностранцев или на черной бирже (впрочем, там можно было и купить заграничные значки, но за большие деньги и с риском нарваться на подделку).

Заниматься этим одному у меня не хватало куража, и я подбил Володю себе в компанию. Близость огаревского дома к «Националко» и «Метрополло», где в большинстве своём останавливались иностранцы, а также к Кузнецкому мосту и Красной площади, где располагались спекулянты и перекупщики, сыграло тут свою роковую роль. Прогуливая школу, мы каждый день подходили к гостинице и предлагали иностранцам советские значки на обмен, а по «биржевым» дням общались с криминалом. Родители были тревогу, отец систематически прятал мою заветную картонку со значками и отдавал её мне только в обмен на успехи в учебе, но излечить меня от детского заболевания не могло ничего, даже привод в милицию.

Однако «не было счастья, да несчастье помогло». В какой-то особенно масовый биржевой день на Кузнецком мосту собралась особенно многочисленная компания значкистов с богатейшими коллекциями и, повертевшись там, я пошёл домой и вернулся в этот вертеп со своей картонкой в надежде на интересный обмен. И тут некий интеллигентного вида коллекционер отвлек меня беседой, а его сообщник выбил у меня из рук коллекцию, которая была смыслом всей моей жизни, и скрылся с нею.

Пролежав некоторое время носом к стене, я вернулся к нормальной жизни. Вскоре и Володя образумился. Наши школьные дела наладились, а досуг мы проводили вместе со всей огаревской компанией во дворе, в основном, стояли и разговаривали, никаких других возможностей наш двор (узкий и вытянутый) не предоставлял. Но молодому организму требовались движения, и мы всё же приноровились играть в футбол, и даже провели чемпионат — правда, один на один и в одни ворота.

Когда Володя перешёл в гнесинскую десятилетку, где преподают и музыкальные, и общие предметы, мы стали видеться всё реже. В этом году он эмигрировал в Германию, и наше общение (правда, пока телефонное в силу отдалённости друг от друга), активизировалось, как никогда.

А в то время я особенно сблизился с Максимом Дунаевским. Мы вместе поступили в музыкальное училище к одному педагогу Григорию Самуиловичу Фриду, то есть практически были неразлучны. К тому же мне очень нравились его студенческие работы — он писал тогда камерную музыку. Позже, в связи с его разводами и переездами, мы потерялись. Недавно мы встретились в Берлине во время его турне по Германии, которое я помог организовать, и мне было приятно во вступительном слове к его концерту вспомнить наше студенческое время, когда мы чуть ли не каждый день ходили друг к другу. Сейчас, вспоминая огромную, роскошную квартиру Дунаевских, я всё время думаю: как жаль, что его отец так никогда её и не увидел, не дожидаясь до конца строительства...

Квартиры у нас в доме вообще были чудесные. Я имею в виду не только размер, но и на редкость складную планировку. И в нашу квартиру я был просто влюб-

лён. Хотя в ней имелся серьёзный ущерб: она проектировалась как 4-комнатная. Но нашим соседом был член правления кооператива и сумел одну из комнат присоединить к своей квартире. Поэтому у нас не было балкона. Однако же, нам как-то хватало, тем более что обставлено жилище было с любовью и трепетом.

Вообще неумение готовить с лихвой восполнялось в маме другими женскими достоинствами: тонким и безупречным вкусом, умением не петушиться в спорных ситуациях, готовностью отдать всю себя детям и мужу, юмором, которым она смягчала свои материнские выговоры. Вот она отругает меня за что-нибудь, а в конце добавит: «И когда только мне надо будет ехать до тебя с двумя пересадками?» (Надо же! Впоследствии точно так оно и было!) И сразу становилось ясно, что она не сердится. Так только, делает вид. Не помню, кто и при каких обстоятельствах полшутя написал про маму:

*Верная подруга Колмановского!
Где ещё найдёшь такового?*

Покупка каждого предмета обстановки тщательно обсуждалась, и я мог бы рассказать историю возникновения в квартире каждого стула. Но больше всего мне запомнилось, как у нас появился магнитофон. Теперь эти бобинные громады могли бы вызвать лишь улыбку, а тогда этот уродец привнёс в дом ощущение чуда.

Через несколько дней к нам в гости зашла папина сестра Маша, большая любительница весёлых историй. Папа попросил её что-нибудь рассказать, и таким образом на магнитофон впервые было записано нечто членораздельное (начали-то, конечно, с «Мы — весёлые ребята!» в исполнении моего тогда совсем ещё маленького братишки). Пусть этот рассказ, который тоже можно считать огарёвским атрибутом, развлечёт теперь и вас, дорогие читатели...

Завод, на котором работала Машина знакомая, посетил Ворошилов, тогда ещё в полном почёте. Проходя по цехам, он неожиданно заговорил с «неподготовленной» работницей, которая со страху отвечала ему односложно и даже грубовато. Ворошилов в недоумении обернулся к сопровождавшему его директору завода: «Она что, с Вами тоже так разговаривает?» «Что Вы, Климент Ефремович, — ответил тот, — со мной она так не посмеет, я же директор!»

...С годами маме становилось всё труднее работать. Жанровый и всякий другой диапазон отцовского творчества всё расширялся, и он всё острее нуждался в организационной и дипломатической помощи. Мама перешла на полставки. Отец не противоречил её желанию работать, и они оба мужественно преодолевали психологический барьер, ведь материальной нужды в этом не было никакой.

Мне запомнилась вечеринка по случаю присвоения маме звания «доцент». У нас дома собрались её коллеги. Папа задерживался, он в этот вечер сидел в юрии на телепередаче КВН, и вся компания видела его по телевизору. В качестве угощения он потом привёл с собой М. Светлова, сидевшего на передаче с ним рядом. Михаил Аркадьевич очаровал гостей, сыпал экспромтами, один из них я запомнил:

*Гуляли у доцента,
Пропили всё! До цента!*

Как же отец был доволен, что смог так развлечь маминих сослуживцев! Ко всему ещё Светлов подарил отцу дружеский шарж, который нарисовал на него какой-то художник на КВНе. При этом М.А. сказал: «Берите, не стесняйтесь. У меня их полно. Такое вот лицо: фотографии выходят жуткие, а шаржи — один другого удачней». И ещё надписал:

*Пусть поругивают иногда,
Пусть все пишут, что музыка Ваша интимна,
Всё равно, Эдуард, за талант я люблю Вас всегда,
И надеюсь, что это взаимно!..*

Мама не просто стремилась обустроить дом, сделать всё возможное для отца и нас с братом, она хотела всё время быть рядом с папой, тяжело переносила даже самую короткую разлуку, у них вообще продолжалась какая-то молодая страсть. Но как было всё это совместить с потребностью самовыражения, с нежеланием бросить любимую работу?

В последнее время я всё думаю: не это ли противоречие привело её к гибели?

15 января 1968 года мама принимала в институте экзамены, после чего должна была ехать к папе в «Рузу» с А.П. Долуханяном на его машине. Экзамен затянулся, Долуханян её ждал, и в результате они выехали вечером, хотя отец ей запрещал ездить в темноте да ещё зимой. Александр Павлович слишком поздно заметил на шоссе каток, трамбующий дорогу, и врезался в него. Оба погибли.

Долуханян был классным и честолюбивым водителем. Любил ездить с большой скоростью и, должно быть представлял себе, как по приезде он скажет: «Ну, Тамара, расскажи Эдику, как быстро я тебя довёз!» Но разве *ему* нужно было дожидаться темноты? Если бы не мамина просьба, поехал бы ещё при свете дня, а мама на следующее утро на поезде. К тому же следователь говорил, что и каток был в вполне по норме освещён. Нет, тут решительно лучше не искать виноватых и не пытаться уйти от банального, но единственно возможного объяснения: судьба!

Это был страшный удар для всех нас. Брату было 11 лет. Папина нервная система не справилась с этой трагедией, и оставшиеся 26 лет жизни он прожил по существу инвалидом. Второй брак отца был очень непростым. Его вторая жена Светлана была моложе папы на 16 лет, и что только не вменялось ей в вину, тем более что окружающие познавали её в сравнении. У неё была маленькая дочка, потерявшая после скарлатины большой процент слуха. Светлана работала ведущим редактором издательства «Знание». «Ведущий» означает в данном случае не должность, а профессиональную и этическую характеристику — на ней держалась работа целого отдела. Она правила рукописи по ночам, но днём вынуждена была пойти на несколько часов в издательство, главным образом для встреч с авторами.

Разумеется, она заранее готовила папе обед (Света вообще хорошо и с удовольствием готовила) и подробно объясняла, как его подогреть. Но у отца не получалось даже это, и он часто звонил ей на работу с таким, например, заявлением: «А половничек-то с дырками!», потрясая дуршлагом. Конечно, имели место домработницы, но они часто менялись, а в промежутках уже нельзя было рассчитывать на суровую Дашу: она не простила отцу второго брака и навсегда порвала с ним всякие отношения. Светлана ни минуты не жила для себя, они с папой, безусловно, любили друг друга, многое из написанного отцом в этой новой жизни навечно ею, Свете посвящена одна из лучших его песен «Женщине, которую люблю».

Я считал, что всего этого более чем достаточно, чтобы быть ей благодарным, если даже что-то в её приоритетах и настораживало. Я был всегда её другом и союзником, часто держал её сторону, когда она ссорилась с папой, несмотря на его упрёки. Вскоре и у неё обнаружилось тяжёлое заболевание, но это не мешало ей тянуть всю ношу своих обязанностей и ещё помогать окружающим. В какой-то момент, например, она стала опекать уже совсем пожилого и больного М.И. Блантера, который в силу тяжести своего характера часто оставался неухоженным.

К тому времени я уже давно жил самостоятельно и как-то, зайдя на Огарёва, взялся подменить Свету — пошёл к Матвею Исааковичу, чтобы закапать ему глазное лекарство. За 5 минут, что я у него находился, наслушался достаточно, чтобы почувствовать, какое тяжкое бремя Светлана на себя взяла, а ведь ей — дай Бог — разобратся бы с папиным характером, совершенно испортившимся из-за болезни.

Кстати сказать, болезненное состояние отца однажды проявилось совершенно неожиданной ипостасью. Среди членов кооператива нашёлся композитор, начавший плести интриги вокруг квартир Г. Вишневецкой и М. Ростроповича. Лишённые советского гражданства, они должны были быть исключены из кооператива, но ни у кого не поворачивался язык это предложить. И тогда композитор, имени которого — не ждите! — не назову, решил попробовать с другого конца. Он заявил о недопустимом поведении жильцов, которые то ли снимали эти пустующие квартиры, то ли жили там по дружбе. Стало быть, пайщики, поселившие у себя нарушителей общественного порядка, проявили неуважение ко всему дому и т.д.

Воспользовавшись предстоящей встречей М.С. Горбачёва с Р. Рейганом, папа заявил, что позвонит Михаилу Сергеевичу и расскажет об этой возне, тот обратится к Рейгану, который проинформирует Галю и Славу. Только в болезненном возбуждении отец мог произнести такую нелепость. И то подумать: так это легко — дозвониться Горбачёву! А тот за неимением других дел так и кинется исполнять папино поручение, да и Рейгану будет, наконец, чем заняться! И разве нет более простой возможности связаться с Вишневецкой и Ростроповичем? Но, видно, именно нервное напряжение помогло отцу почувствовать, какое впечатление может произвести само упоминание имён этих государственных мужей. Свара была блокирована...

Через некоторое время после папиной смерти Светлана тоже эмигрировала в Германию, где уже жила её дочь. Мы продолжали дружить, но перед самым её уходом из жизни впервые поссорились. Я был при этом далеко беззастенчив, и мне больно, что моё примирительное письмо было в пути, когда Светы уже не стало. Оно вообще затерялось, дочь Светланы его не получила, и ко мне оно не вернулось...

Ниточка между нашей семьёй и «кривым углом» не оборвалась. Мой брат Саша не только пайщик, но и член правления этого кооператива. К тому же, как тут уже говорилось, он снимает там помещение для своих психологических консультаций. К этому занятию брат пришёл не сразу. В детстве он учился музыке, но большого интереса к этому субстанцу не проявил, однако очень рано стал писать стихи. Честно говоря, я уже раскатывал губу — мол, будет у меня брат-соавтор. Будут прямо в семье стихи, а то и либретто, тем более что маленький Сашенька с ума сходил по театру. Особенно был увлечён «Белоснежкой» с папиной музыкой в «Современнике». Имена гномов там соответствовали дням недели. И, когда в то время Сашу спрашивали, кем он хочет быть, он отвечал: «Средой!» «А почему, Сашенька?» «Название очень красивое — Сергачёв!» Но, получив несколько образований, в том числе и университетское, и сменив несколько профессий, он пришёл к психологии и часто ставит с детьми спектакли, способствующие наглядности пропагандируемых им психологических постулатов. И песни там случаются, стихи для которых Саша с удовольствием пишет сам...

В самый страшный для нашей семьи час, отец, не контролируя себя, кого и что только не проклинал! Как-то он даже произнёс: «Это всё наш дом. Я уеду отсюда». О косом угле вроде речи не было, но номер 13, стоявший на доме, упоминался. Конечно же, это была «только тягостная бредь».

Но вот за короткое время до его смерти отца нагло обошли в кооперативе при распределении освободившегося гаража, и он ввязался в совершенно непосильную

для него тяжбу. Без гаража он обошёлся бы, как обходился 71 год, но несправедливости не терпел, был ранен ею и говорил Светлане: «Если я завтра умру, то знай, что из-за этой истории». Вот я и подумал после его кончины: а вдруг он что-то предчувствовал тогда, много лет назад, и, если бы переехал и избежал этой нерво-трёпки, прожил бы дольше?

Да кто может это знать? Нет, от судьбы не переедешь! И мне, давно уехавшему не только из дома, но и из страны, никуда не деться от воспоминаний о родном косом угле, о нашем уютном дворе.

Как только я эмигрировал, меня стало преследовать воспоминание, в котором на первый взгляд не было ничего значительного. Воспоминание о ярком зимнем дне, когда я вошёл с улицы во двор и застал там десятилетнего Володю Фельцмана, который восторженно кружил вокруг себя на вытянутых руках школьный ранец и в избытке радости ловил губами снежинки. На мой естественно возникший вопрос: «Ты чего?» он ответил: «Учительница заболела, на два урока раньше отпустили».

Не понял я тогда, что в это воспоминание судьба зашифровала предупреждение: «Не лезь в учителя!».

Действительно, преподавание всегда было палочкой-выручалочкой любого музыканта в начале эмиграции, и, хотя я прежде никогда не преподавал, стал набирать учеников, с которыми напрасно промучился не один год. Не вышел из меня Песталотци...

И сегодня огарёвский дом в эпицентре страстей. Насколько я знаю, над ним веют и враждебные вихри. Идут обычные в наше время разборки с наобещавшим и золотые горы, а теперь чуть ли не наезжающими партнёрами. Как хочется, чтобы в этой круговерти стены дома не забыли хотя бы самых ярких из своих неординарных обитателей.

Недавно на стене дома появилась мемориальная доска А. Бабаджяну. Что это? Первая ласточка или яблоко раздора? Ведь родным, наверное, неловко и совестно — кругом спрашивают: почему ему первому, и как это случилось? Да и самому композитору, надо думать, одиноко и неуютно рядом с пустотой, заполнить которую должны бы те, кого и он ценил и почитал.

Из моего далека мне не понять, кто на самом деле в Москве может ответить на напрашивающиеся тут вопросы, поэтому кричу наугад: Сильные мира сего!.. Помогите Арно Арутюновичу снова оказаться в достойной соседской компании! Как при жизни!

(продолжение следует)



Борис Родман

МОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Ввиду предстоящих в скором времени важных для меня событий — моего 80-летия и моей же кончины, спешу поведать о моём происхождении то, что не раз рассказывал окружающим меня людям, но ныне нашёл время изложить наиболее полно и систематично, с допущением, что эта информация может пригодиться и моим потомкам, которые у меня, как ни странно, всё-таки имеются.

1. Материнская линия

Моя мать Александра Михайловна Ткачёва (1897–1983) родилась в городе Ромны, ныне Сумской области Украины. Её отец Михаил Ткачёв (1860–1940), мещанин из Львова, был осмотрщиком вагонов. Её мать, имени которой я не помню (кажется, Феодосия или Евфросиния), урождённая Овчаренко, была, по-видимому, крестьянского происхождения. В их семье родилось десять детей — шесть девочек и четыре мальчика. Никто из них не родился мёртвым, никто не умер в детстве. Трое моих дядей (все они были железнодорожниками) жили до 80–81 года, а большинство тёток до 83–86 лет. Да они жили бы и дольше, если бы не укоренился среди них заразительный обычай кончать самоубийством в старости. Таким способом расстались с жизнью как минимум одна моя тётя, один дядя и одна (уже в наши дни) двоюродная сестра. Четвёртый мой дядя, из братьев моей матери, самый младший, в юном возрасте ушёл в Польшу с петлюровцами и там затерялся перед Второй мировой войной. Остальные мои родственники по материнской линии были на стороне большевиков.

Когда моя мама была ещё в дошкольном возрасте, её отца перевели на службу в город Лубны Полтавской губернии. Они продали свою хату в Ромнах за две или три тысячи рублей, но тотчас же налетели воры и отняли все эти деньги. Потрясённая несправедливостью судьбы, моя бабушка отреклась от веры в бога и задолго до революции 1917 г. воспитала своё потомство в духе безоговорочного, яростного атеизма.

Пришлось поселиться на окраине Лубён в деревне Залёпівка. Все дети спали на одних нарах, носили обувь и одежду по очереди. Эти дети изобрели тайный тарбарский язык, на котором разговаривали между собой и во взрослом состоянии (и меня научили). Осмотрщик вагонов получал 40 рублей в месяц. Большую роль в жизни бедной семьи сыграли покровительство и благотворительная помощь помещиков Скаржинских.

Моя мама окончила трёхлетнюю начальную школу, где хорошо усвоила русский язык; никогда не мешала его с родным украинским ни устно, ни письменно. В Лубнах действовал (или гастролировал) украинский театр. Всю жизнь я ежедневно слышал от матери пословицы и поговорки: 1) русские — серьёзные, литературные, философские; 2) украинские — народные, смешные, грубые, неприличные. Моя мама до самой смерти проливала слёзы при звуках украинской речи и песен и перечитывала единственную сохранившуюся у нас украинскую книгу некоего Ивана Ле «Роман Міжгір'я» (о советской стройке в Средней Азии). Источниками маминного самообразования были книги, газеты и радио.

Когда моя будущая мать, бойкая и смазливая девчонка, подросла, её устроили «магазинёркой» (продавщицей) в еврейский магазин, но продержалась она там недолго из-за приставаний хозяина. Зато она научилась немного понимать идиш и обогатила свою и без того яркую лексику несколькими еврейскими ругательствами. Её первым возлюбленным стал один местный поляк.

В первые годы НЭПа Александра Ткачёва должна была делать аборт от своего второго друга, тоже поляка, и с этой целью приехала в Москву к своей сестре Марфе, состоявшей в компартии с 1919 г. и работавшей у Розалии Самойловны Землячки (1876-1947). По протекции знатной большевички моя будущая мать получила комнату 15 кв. м в коммунальной квартире пятиэтажного дома во втором Смоленском переулке, поступила работать на швейную фабрику (где-то на Плющихе), пела в хоре работниц у гроба В.И. Ленина (мой коллега И.М. Любимов подтвердил это, увидев её в документальном кинофильме) и вступила в партию по ленинскому призыву. Она с удовольствием оставалась в конце недели на партийном собрании и после него там же отправляла свою личную жизнь. Она не признавала семьи, не хотела иметь детей и считала брак буржуазным пережитком. Мою будущую мать демонстрировали в медицинском институте как образец молодой, здоровой, нормальной женщины. Она радостно вспоминала, как студенты её раздевали, ошупывали снаружи и изнутри, а профессор рассказывал о десяти здоровых детях, равномерно рождавшихся в одной украинской семье в течение 20 лет.

Окончание жизни у родителей моей мамы всё же не было радужным. После рождения десятого ребёнка моя бабушка заявила, что рожать больше не хочет, и отказала дедушке в «интиме», поскольку он не признавал противозачаточных средств. И он сразу нашёл себе другую спутницу жизни. А бабушка не прожила так долго, как ей полагалось, из-за разразившегося на Украине голода. Моя мама, в то время уже жившая в Москве с моим папой и со мной, «как-то не подумала», по её словам, посылать материхоты бы сухари. По-видимому, не подумала об этом и тётя Марфа, погружённая в партийную работу. Или наши пайки по карточкам этого не позволяли? Так или иначе, но я не раз слышал от мамы, что бабушка опухла от голода, что у неё была водянка.

В 1936 г. моя бабушка преждевременно скончалась у себя на Украине от последствий Голодомора. А дедушку Михаила я видел в 1938 или 1939 г. всего несколько минут. Он жил на окраине Лубён за железной дорогой с очередной женой. Ко мне он не проявил никакого интереса. Он с гордостью показал нам единственный вставной зуб (передний), который он собственноручно выточил из телячьей кости. Остальные зубы у него были целы. И у моей мамы зубы были крепкими. Она в 80 лет грызла ими орехи, употребляла их вместо ножей и ножниц. Но папа у меня в этом направлении подкачал...

Я думаю, хорошо, что мой дедушка, умерший в 1940 г., не дожид до великой войны. У братьев и сестёр моей матери рождались, за двумя исключениями, только мальчики. Почти все они успели вырасти до начала войны. До этой войны у меня было не менее 12 двоюродных братьев, а после осталось только два по маминой линии и один по папиной. Остальные погибли в боях (среди них были и лётчики), один бежал из плена во Францию и погиб, сражаясь в рядах Сопротивления.

2. Отцовская линия

Отец мой и его предки рождались в результате «целого ряда» изнасилований польскими «панамы» своих служанок. Собственно говоря, это были и не изнасило-

вания, а «законное» употребление господами подвластных девушек по их прямому назначению. Так появился на свет не только мой отец (22 февраля 1887 г. по н.ст.), но и его мать, Анна Антоновна Осташевская (1871-1963). Она родилась в Восточной Галиции (в Австро-Венгрии), а моего отца родила на территории Российской империи, где-то на границе Вольни и Подолии. Фамилия моего польского деда была Крулевский, а имени его я не знаю, потому что мой отец как незаконнорождённый (байстрюк) не носил (никогда или впоследствии) его отчества.

Когда моему будущему отцу было три года, его послали в аптеку за каким-то лекарством, а он на обратном пути упал, разбил пузырёк и так страшно порезал руку, что шрам остался на всю жизнь. Своего «биологического» отца, пана Крулевского, мой папа запомнил в своём шестилетнем возрасте и только мёртвым, когда их допустили к смертному одру; его почему-то поразили ноги покойника.

Итак, в детстве мой отец был настоящим поляком, и звался не Борис, а Бронислав, и родной язык у него был польский, и крещён он был, естественно, как католик. На каком языке он учился в школе, я уже не помню. Однако я хорошо помню отрывки некоторых польских стихов и песен, которые он напевал. В них были такие слова: «Co to za chłopiec, pęknę i młody, / Co to za łoża krasa» и «Idą brzegami...». Кроме того, уже будучи пожилым, мой папа, надевая вставные зубы, говорил: «Зембы мои, зембы! Если б не вы, была б дупа з дембы!». Он знал и стихи А. Мицкевича, но более всего любил его вольный перевод — балладу А.С. Пушкина «Будрыс и его сыновья»: «Нет, отец мой; полячка младая!». И у моей мамы, и у её подруг (отчасти с её подачи) господствовало убеждение, что поляки — самые галантные мужчины и искусные в интимных делах, а польские девушки — самые красивые.

Оказавшись в России, молодая (не старше 24 лет) Анна Осташевская с незаконнорождённым сыном вышла замуж за белоруса Иосифа Ивановича Родомана и поселилась с ним в Конотопе (ныне Черниговской области), где он работал столяром в паровозном депо. Почему он женился на бедной девушке с ребёнком, какие обстоятельства вынудили его это сделать? Насколько мне известно, он не был старым вдовцом с детьми, а она — выдающейся красавицей. На этот счёт нет никаких предположений и семейных преданий. На фотографии дед выглядит совершенно стандартно — с бородой, сидит в окружении стоящих женщины и детей, как было принято в ту эпоху.

Аня называла своего мужа Юзефом (Юзей), а сына — Броней. Она родила ещё немало детей, из которых две девочки умерли в младенчестве, а две дочери, Леонида и Елена, и сын Анатолий, успешно выросли в XX веке и были мне хорошо знакомы. После усыновления моему отцу условно приписали место рождения отчима — местечко Снов Новогрудской волости Барановичского уезда и принадлежность к крестьянскому сословию.

Фамилия «Родоман» в разных странах и в разное время писалась по-разному. В Белоруссии это Радаман (см. «Книгу памяти белорусского народа»), в Черногории и Сербии — Радоман (сам видел на кладбище). И в театральные афиши мой отец иногда значился как Радаман. Но следует помнить, что все однофамильцы не являются моими даже отдалёнными биологическими родственниками, поскольку мой отец получил эту фамилию от отчима.

Однажды летом Иосиф Родоман привёз своего пасынка в родную Белоруссию, т.е. в Новогрудскую волость — в самое сердце бывшего Великого княжества Литовского. Там мой отец познакомился со своими новоприобретёнными кре-

стьянскими «предками». Из них двое были старше ста лет. Они никогда не видели железной дороги и при рассказе о паровозах крестились в ужасе: «Зварящица можно!» («С ума сойти!»). Мой будущий отец ходил в деревне босиком в одной рубашке без штанов и одно время работал подпаском (помощником пастуха). Он, по преданию, даже пас свиней!

Все дети Иосифа Ивановича Родомана, включая и моего отца, пошли по железнодорожной колее. Мой будущий отец стал железнодорожным телеграфистом, его брат Анатолий — преподавателем геодезии в Конотопском железнодорожном техникуме, его жена Клара Максимовна, полька, бывшая медсестра германской (кайзеровской) армии, преподавала там же немецкий язык; мужа папиных сестёр тоже были железнодорожниками. И сам я безумно люблю железную дорогу, ненавижу автомобили, а на лыжах хожу потому, что лыжня напоминает рельсовую колею. Для меня рельсы — символ порядка и рациональности, а также гарантия охраны природы.

Чтобы стать российским государственным служащим, моему отцу, рождённому католиком, пришлось сменить вероисповедание. Его крестили в православие не где-нибудь, а в киевском Софийском соборе! Раздеться не пришлось, поп слегка побрызгал его водичкой. Пустая формальность, более лёгкая, чем в «советское» время вступление в комсомол для поступления в вуз. Отец мой тоже был смолоду атеистом, но не таким воинственным и глумливым, как моя мать. Одна лишь бабушка Анна Антоновна сохранила верность религии и, оставаясь католичкой, до самой смерти читала Библию на польском языке.

Окончив какое-то училище и став железнодорожным телеграфистом, бывший Бронислав, а ныне Борис Родоман стал быстро продвигаться по службе, но не вверх, а по горизонтали — по железнодорожной линии. Первым местом работы у него был Хутор Михайловский, вторым — Навля, а третьим (или четвёртым — после Брянска) уже станция Москва-Вторая (ныне Москва-Сортировочная) Киевского направления.

Отец усердно занимался самообразованием, собирал библиотеку, учился в бесплатном Народном университете А.Л. Шанявского (впоследствии в его здании помещались ВПШ и РГГУ), не дававшим никаких дипломов и привилегий. И мой папа в своё время был подвержен всем модным «теориям», таким, как новые методы изучения иностранных языков, йога, вегетарианство, раздельное и бутербродное питание, а лечебным голоданием чуть не довёл себя до смерти и необратимо испортил желудок. Зато я с детства узнал обо всём этом по книгам и рассказам отца и сам не увлекался подобной ерундой.

Отец немного участвовал в революции — не Октябрьской, а Февральской, простоял несколько минут с ружьём где-то около Красной площади, а также был избран депутатом ВИКЖеля. Там он оказался во фракции, поддержавшей большевиков. Раскол профсоюза железнодорожников не случаен. «Советская» власть аннулировала пенсии царской России, поэтому служащие в возрасте не могли с нею примириться, а молодым было наплевать.

Из телеграфиста мой отец превратился в актёра благодаря художественной самодеятельности, а окончательно перейти в профессиональный театр ему помогла некая Надежда Константиновна Крупская (1869-1939), жена Владимира Ильича Ульянова и известная деятельница Наркомпроса. Записка от неё затерялась в моём архиве и вместе с ним будет выброшена на свалку.

Примерно в 1918 или 1919 г. мой 31-32-летний отец женился (впервые) на юной Наденьке, дочери настоящего замоскворецкого купца. Они венчались в церкви. Детей у них не было, а она, по-видимому, вскоре умерла.

В момент знакомства с моей будущей матерью, Александрой Ткачёвой, отец мой ещё считался «гражданским мужем» Нины Ильиничны Крымовой (1902–1983), переводчицы со скандинавских языков, которая надолго уехала в Норвегию в качестве секретарши при Александре Михайловне Коллонтай (1872–1952).

В заключение данного раздела вернусь к отцовским конотопским родственникам. В 1941 г. мой дядя Анатолий Родоман поступил на службу немецким оккупантам и с ними, а также со своей семьёй, эвакуировался при отступлении немцев на Запад. Куда делись дядя и его жена, нам неизвестно, а бабушка Анна Антоновна осела на своей родине, в посёлке Волковинцы Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области, где и скончалась в 1963 г. в возрасте 92 лет, пережив своего старшего сына (моего отца) на шесть лет. Тетки Леонида и Елена закончили свою жизнь в глубокой старости и нищете, а сын одной из них, мой последний двоюродный брат со стороны отца, спился.

3. Знакомство родителей и моё рождение

Советской Москве как будто не свойственно формирование этнических кварталов, а возникшие до революции (армянский в Армянском переулке, татарский на Большой Татарской улице, названной именем вышеупомянутой Землячки после её смерти), Грузинский на Большой Грузинской и прочие) быстро рассасывались. Тем не менее, есть что-то географическое в том факте, что некие выходцы с Украины поселились недалеко от родного Киевского вокзала, называвшегося тогда Брянским.

Мои родители познакомились потому, что жили в соседних коммунальных квартирах на пятом этаже пятиэтажного дома № 1 во 2-м Смоленском переулке. Комната отца выходила окнами на север, была связана с парадной лестницей, имела роскошный бетонный балкон с видом на Москву-реку и Пресню (слева). С этого балкона я впоследствии кидал огромные игрушечные трамваи и автобусы из фанеры на головы прохожим. У папы была настоящая мебель и прочая мелкобуржуазная обстановка. А мамина комната выходила окном во двор (зато на юг), не имела балкона, их квартира обслуживалась крутым черным ходом. Обе эти квартиры, каждая из которых имела, разумеется, свою кухню и санузел, были соединены длинным коридором, по которому я впоследствии катал свои игрушечные машины, прежде чем их сломать или выбросить. На одном конце коридора, на папиной стороне, имелся висячий (пристенный) телефон.

Однажды, а именно 29 мая 1930 г., моя мама пришла в папину квартиру разговаривать по телефону и принимать поздравления с днём рождения. Тут вышел из комнаты мой будущий папа и стал её обнимать и целовать. Узнав о дне рождения, он пригласил её к себе отметить это событие («выпить рюмочку коньяка»). С тех пор 29 мая считается днём свадьбы моих родителей.

На август-сентябрь они, как это делала моя мама и раньше, поехали отдыхать в Крым, где в Феодосии постоянно жил брат моей матери, дядя Володя, главный ревизор вагонных весов Южных железных дорог. В его узком ведении находилась железнодорожная сеть всего Крыма и Донбасса вплоть до Харькова. Он жил совсем недалеко от моря, на ул. Айвазовского, д. 8, но родители сняли угол в знаменитом доме № 2, у смотрителя Картинной галереи, и спали на балконе. Под балконом проходила неширокая улица-набережная, за нею — железная дорога (заранее нарисо-

ванная И.К. Айвазовским, принимавшим участие в её строительстве) и пляжи — мужской и женский, где все купались полностью обнажёнными — на виду у проезжающих пассажиров. С тех пор, подъезжая на поезде к станции Феодосия, я показываю своим спутникам балкон, на котором в сентябре 1930 г. произошло моё зачатие.

В разгаре своей беременности моя мама отнюдь не была уверена, что мой папа является или будет её мужем. Он был актёром, ездил на гастроли, у него были любовницы, относительно интеллигентные и шикарные (судя по имеющимся у меня фотографиям). По этой или иной причине мама очень колебалась и одно время пыталась самостоятельно избавиться от плода. Она била себя по животу и, по совету соседки по квартире, «Свечки» (Свешниковой), избегала по лестнице на пятый этаж, чтобы вызвать выкидыш. Но это не помогло. Мы оказались достаточно живучими. Мама прожила 86 лет, а о моей живучести теперь уже, в 2011 г., можно тоже утверждать с уверенностью, не боясь сглазить.

Я родился в день рождения мамы, 29 мая 1931 г., в родильном доме имени Г.Л. Грауэрмана, где рождались многие знаменитые москвичи, и поэтому считаю себя «сыном Арбата». Я появился на свет недоношенным, очень худым и дохлым. При виде меня мать заорала «Уберите эту гадость!» и впала в истерику. Материнское чувство проснулось, когда я взял грудь. С тех пор в отношении матери ко мне (да и в моём к ней) преобладала амбивалентная смесь отвращения с животной любовью и жалостью. Похоже, что вся моя жизнь была эмоционально ущербной, но это компенсировалось успехами в другой сфере. А что касается здоровья, то в детстве меня считали больным и таскали по врачам. Став взрослым, я покончил с этим безобразием.

В день моего рождения мой папа пребывал в Звенигороде в доме отдыха (сначала мама говорила, что с любовницей, и фото её показывала, но потом, в порядке формирования вдовьего мифа, отказалась от этой версии). Мою маму вывозила из родильного дома на извозчике её сестра, моя тётка Марфа. Вернувшись из дома отдыха, папа, согласно семейному преданию, разрыдался у моей колыбели, когда я раскрыл свои голубые глаза. Так началась обычная семейная жизнь, полная забот о ребёнке и раздоров, связанных с его воспитанием, которое полностью сводилось к питанию, большей частью насильственному и выработавшему у меня стойкий негативизм. У отца не было детей от двух предыдущих жён, и он было усомнился в своей способности их иметь, поэтому моё рождение было для него большим актом самоутверждения. Он с гордостью показывал меня своим женщинам.

Вскоре после моего рождения моя мама покинула фабрику и стала «иждивенкой» советского «служащего» (в кавычки взяты официальные формулировки, зафиксированные в паспорте). К 1934 г. она «автоматически выбыла» из коммунистической партии. Товарищи отпустили её с большим сожалением. Она подавала надежды, собиралась учиться в партшколе, чтобы стать судьёй или прокурором (в нашей стране это практически одно и то же), т.е. осуждать и карать. Теперь ей предстояло выступать и обличать врагов на кухне коммунальной квартиры, гремя кастрюлями. Она упрекала своих соседок в отсталости и несознательности, кричала: «Вы не имеете права!». От матери я унаследовал болезненно обострённое чувство права и справедливости и перенёс его на повседневные склоки с моими жёнами.

В 1935 г. я заболел скарлатиной с осложнением на уши и после трепанации черепа лежал в Сокольнической больнице, как полагали, при смерти. Тотчас же мои папа и мама, уже вошедшие во вкус родительских ролей, лихорадочно кину-

лись делать второго ребёнка, но у мамы не получилось — сказалось осложнение после прежнего аборта. Зато они с тех пор не предохранялись и жили в этом смысле в своё удовольствие.

А между тем, я мечтал иметь сестрёнку, чтобы было кого любить и о ком заботиться повседневно. В школе я допытывался у мальчиков, как они относятся к своим сёстрам. Мечты о сестре сыграли важную роль впоследствии, в моих отношениях к девушкам.

Отцу приходилось содержать двоих иждивенцев, и наша семья навсегда впала в настоящую бедность (по нынешним понятиям), тянувшуюся для меня почти до 90-х годов XX века. Отныне моему папе и мечтать не приходилось, чтобы приобрести, скажем, ручные часы или новый костюм.

Убедившись в прочности своего фактического брака и в живучести их единственного сыночка, мои родители решили объединить свои жилплощади и в 1936 г. получили при обмене две смежные комнаты в коммунальной квартире на 1-й Мещанской (ныне проспект Мира), д. 47, где я прожил большую часть жизни и где меня застало старшее и среднее поколение ныне живущих российских географов. Две комнаты по 15 кв. м, полученные моими родителями, провинциальными пролетариями, в первые годы советской власти путем уплотнения буржуазии, превратились в те же 30 кв. м в отдельной квартире. И хотя к ним прибавились 20 кв. м прочих помещений (кухня, санузел, прихожая), зато высота комнат снизилась на метр. В итоге получается, что почти с 1922 г. по нынешний 2011 моя семья из двух или трёх человек неизменно пребывает в жилом пространстве объёмом в сто кубометров.

Итак, резюмируя, напомним, чтобы примазаться к великой истории страны: своим появлением на свет и дальнейшей жизнью с родителями я обязан трём великим большевикам. Надежда Крупская помогла моему отцу стать актёром, Розалия Землячка способствовала поселению моей матери в Москве, а Александра Коллонтай избавила моего папу от его второй жены в пользу третьей, т.е. моей мамы.

4. Ещё раз о фамилии «Родоман»

В 1939 г. мои родители совершили последний акт сближения — пошли вместе со мной в ЗАГС и зарегистрировали там свой брак, а мне, перед поступлением в школу, дали папину фамилию. Я до того дня был Боря Ткачёв, а теперь стал Родоман. Фамилия эта считалась красивой, благородной и благозвучной; она несомненно была редкой и почти уникальной. (Я в первой половине своей жизни никогда не слышал об однофамильцах. Секрет же в том, что они ещё были «простыми трудящимися» и не успели выбиться в люди. Теперь среди них есть лица, известные гораздо больше меня — см. в Интернете). Кроме того (что стало ясно и важно уже в наши дни), моя фамилия идеально легко транскрибируется на всех иностранных языках, не то, что Tkachev (почему не Tkachov?), Khrushchev (почему не Khrushchov?) или Lyashchenko (тьфу ты, господи!). И, наконец, её можно было выдавать за иностранную, например, немецкую, что было модно среди плебеев в нашей стране. Так, многие белорусы пошатились ссылкой и даже жизнью за передачку своих, как им казалось, грубых фамилий на иностранный лад. Повезло только памяти лётчика Гастелло (Гастыло). Вот и мои родители отчасти клонули на ту же удочку. Они были слишком наивны и верили в советскую власть, при которой быстро отомрут всякие предрассудки. И хотя в паспорте у меня и у моего отца было всегда написано «русский», никто из обывателей этому не верил и разубеждать их было совершенно бесполезно: это привело бы только к обратному результату.

Фамилия «Родоман» несомненно закрыла для меня некоторые пути к карьере в «этой стране», и хотя я сам ни к какой карьере, связанной с властью над людьми, не стремился, меня в звании «Ткачёва» могли бы к ней толкать, выдвигать, тянуть в правящую партию и кое-куда вербовать. Ввиду специфического этнического состава советской интеллигенции, особенно же в Москве и в Питере, в Академии наук, да и в центральных издательствах, найги толкового, умного славянина на руководящую должность было весьма не просто. За выезды за границу в советское время пришлось бы расплачиваться отказом от чести и совести. Ну, а в звании «Родомана» с меня были взятки гладки. У меня на лице, как и на фамилии, было написано, что я антисоветский элемент, а в постсоветской России — явный русофоб. Это было ожидаемо и даже нравилось широкой публике.

Нет худа без добра. Фамилия «Родоман» обеспечила мне хороший круг друзей, умных, талантливых, добропорядочных, которые меня всю жизнь поддерживали и «принимали за своего» в большей степени, чем я подавал для этого поводы своим нелюдимым, необщительным поведением. За что я им всем очень благодарен!

Происхождение человека не может не отразиться на его мировоззрении. Будучи такими иначе связанным с четырьмя славянскими народами — русским, украинским, белорусским и польским (при всей условности и искусственности их различения в некоторых регионах), я по понятной причине не отдаю предпочтения ни одному из них и с полным моральным правом ненавижу великорусский национализм и шовинизм, даже в его евразийской ипостаси. Я чуток к альтернативным концепциям российской истории, в том числе и к тем, которые разрабатываются за границей и вращаются вокруг Великого княжества Литовского, но я далек и от того, чтобы считать его самым демократичным и правовым государством средневековья, пострадавшим только от пагубного соседства с варварской отатарившейся Московией.

Для меня и в истории нет святых, кумиров и героев. Я не являюсь ярким патриотом или особенным любителем никакого народа или государства. Точнее говоря, мой патриотизм половинчатый, он связан с моей географической профессией и относится больше к ландшафту, чем к человеконаселению. Я люблю землю, на которой родился и жил, но не в восторге от людей, которые её захватывают и зажимают.



Владимир Бабицкий

ОТБЛЕСКИ МИНУВШИХ ВСТРЕЧ

Случайная встреча, это приключение в мимолетности, всегда сохраняет заманчивость неизвестности, привлекает отклонением с наезженной колеи обыденности.

Михаил Веллер

Подвиг учительницы

Послевоенные детские годы протекали, главным образом, во дворах. Там царили свои порядки. Верховодила дворовая шпана, хорошо понимавшая субординацию. Мгновенно установленное во дворе 'ущербное' происхождение отодвинуло меня в категорию презираемых. Я был очень обескуражен неожиданно вскрывшимся 'дефектом', о существовании которого даже не подозревал. С такой дискриминацией я столкнулся впервые, в моей медицинской семье темы 'национальностей' не обсуждались. Озабоченность вызывало происхождение болезней, а не больных.

Казалось, что я ничем не отличаюсь от остальных мальчишек нашего двора: так же с ходу мог прыгать на подножки трамвая и соскакивать на ходу и не хуже их играл проволочными самодельными клюшками в хоккей. Но шпана считала по-другому, я был явно не как все, 'не ихний'.

Тем не менее, задевать меня было опасно, потому что пришлось бы иметь дело с моим соседом по общей квартире и грозой улицы Витькой Белозерским, который был старше на восемь лет.

Это был бесстрашный боец, обладавший большой физической силой, что позволило ему в будущем стать боксёром, выступая за армейские клубы. Учиться он не хотел, обычно прогуливая уроки.

Витька шпаной не был, много занимался спортом, научил меня никогда не жаловаться и уменью постоять за себя, и эти уроки пригодились в жизни. Его авторитет во дворе был фундаментальным, шпана его боялась и слушалась.

Конечно, у меня тоже был свой добрый круг общения среди ровесников во дворе, но шпана досаждала своими ядовитыми антисемитскими насмешками. Жаловаться родителям не полагалось, Витька бы это сурово осудил. Он считал, что с обидчиками надо разбираться самим, и у него это всегда получалось.

Изредка приходилось драться и мне. Витька учил меня, внимательно выжидать пока противник откроется, но мне почему-то было жалко причинять боль своим обидчикам, даже когда я видел такую возможность, и я старался больше зашищаться, чем нападать.

Родители Витьки глубоко уважали нашу семью, и коммунальная ванная комната на две семьи была предоставлена мне в неограниченное пользование для фотографических опытов. Его мама, Агрипина Кузьминична, впоследствии, уже уехав от нас, работала продавцом в магазине «Молдавия» на Земляном валу, и я неизменно заходил к ней повидаться по дороге с работы, всегда тепло ею приветствуемый.

В противоположность дворовой атмосфере в мужской школе номер 330, куда я поступил, моё происхождение ни разу не стало предметом какого бы то ни было специального внимания. Как всегда среди мальчишек, в классе царил дружная весёлая обстановка взаимного интереса и поддразнивания. Моими ближайшими друзьями стали Коля Губонин и Володя Соколов, с которыми делились многие детские увлечения.

Школа располагалась в Большом Казённом переулке, за известным в Москве «Чкаловским домом», недалеко от Курского вокзала, в помещении бывшей Елизаветинской женской гимназии. Красивое здание гимназии было построено по проекту архитектора И.И. Рерберга в 1911-12 годах первоначально для детей-сирот воинов, погибших в Русско-Турецкой войне.



Школа 330 (бывшая Елизаветинская гимназия) в Большом Казённом переулке. Справа видна часть «Чкаловского дома», в котором проживали многие советские знаменитости

В дальнейшем, контингент девочек-учащихся был расширен. Среди бывших учениц гимназии – певица и кинозвезда Мелица Корьюс – исполнительница роли Карлы Доннер в голливудском блокбастере «Большой вальс», а также, выдающаяся советская актриса Вера Петровна Марещкая.

В наше время директор школы, известный педагог Афанасий Трофимович Мостовой, старался поддерживать некоторые гимназические традиции. Нас учили бальным танцам, а выходя отвечать к доске, нужно было поклониться учителю. С восьмого класса в школе преподавали латынь (однако мой класс перевели к этому времени в школу-новостройку в Лялином переулке).

В пятом классе началось изучение «Истории древнего мира», которую вела энергичная, красивая молодая учительница Любовь Павловна Добышева. Наша компания была увлечена в это время радиолубительством, которое мы осваивали в кружке районного дома пионеров. Поэтому перипетии ассиро-вавилонских и греко-римских времён никак не могли соперничать по интересу с расчётом выходного трансформатора или проектированием колебательного контура однолампового радиоприёмника, который мы постепенно создавали.

Поглощённый обсуждением этих деталей с сидящими со мной за одной партой Колей и сразу за нами Володей, я вдруг услышал из уст учительницы, увлечённо о чём-то рассказывающей, так задевавшее меня обидное слово 'евреи'.

– Что она говорит? Разве может учительница произносить в классе такие слова, которыми меня дразнили во дворе?!

Съёжившись от такой неожиданности, я начал прислушиваться к её повествованию. Любовь Павловна, покрасневшись от собственного энтузиазма, вдохновенно и интересно рассказывала о героическом восстании евреев под руководством Бар-Кохбы против римлян. О проявленном восставшими военном искусстве и мужестве, позволившем освободить на несколько лет значительную часть Иудеи, включая Иерусалим, от могущественного римского владычества. Евреи в её рассказе были храбрыми воинами, героями.

Домой я возвращался вприпрыжку. Значит, я могу не стесняться, а гордиться своим еврейством, как рассказывала об этом наша учительница.

Решив подробнее прочитать об этих событиях, я начал искать такой материал в школьном учебнике, но там ничего подобного не было.

Как-то я позвонил уже из Англии, где теперь постоянно живу, в Москву своей учительнице математики и бесменному классному руководителю Нине Васильевне Манукьянц. В значительной мере благодаря её поддержке, а также прекрасным урокам физики, проводимым уже в новой школе-новостройке бывшим фронтовиком, эрудитом, Львом Абрамовичем Ляховецким (впоследствии он подготовил кандидатскую и докторскую диссертации по философии, преподавая физику в ВУЗе), практически весь наш класс поступил в технические институты для продолжения своего образования.

– Вы с кем-нибудь встречаетесь из наших учителей? – осведомился я (Льва Абрамовича уже не было).

– С Любовью Павловной и её мужем, Владленом Самуиловичем. Он был завучем в старших классах. Ты их помнишь? – спросила Нина Васильевна.

– Передайте, пожалуйста, Любви Павловне, – попросил я, – что в Англии живёт профессор, который помнит до сих пор один её урок древней истории в пятом классе.

Нина Васильевна засмеялась, решив, что я шучу.

Положив трубку, я неожиданно задумался: «А когда этот урок мог иметь место?»

Пятый класс моей учёбы в школе приходился на 49-50 годы. Это ведь был период разнуданной антисемитской государственной кампании по борьбе с так называемыми 'безродными космополитами', одним из которых оказался мой отец, получивший в результате испытанных унижений смертельную болезнь.

Какая же высокая моральная чистота и гражданская смелость могли подвигнуть нашу учительницу на этот подвиг?! В классе было около сорока учеников, и любой из них мог поделиться с родителями с непредсказуемыми для неё последствиями.

Поистине, люди высокого духа и мужества не только в древних легендах, они могут быть просто рядом и остаться незаметны.

Друзья оказались на уровне. Незабываемо появление в школе 4 апреля 1953 года. Это был день моего рождения, омрачённый тяжёлой обстановкой новой гос-

ударственной антиеврейской кампании, по так называемому 'делу врачей-отравителей'. Кампания непосредственно касалась моей любимой сестры, молодого врача, приходившей каждый вечер с работы в слезах.

Валя окончила 1-ый Московский медицинский институт по кафедре профессора В.Н. Виноградова и проходила ординатуру в Боткинский больнице в клинике профессора М.С. Вовси. Оба они были арестованы. Больные отказывались идти на приём к врачу-еврейке, пьяницы, требовавшие бюллетень для уклонения от работы, оскорбляли её за стремление следовать врачебной этике. Мой отец уже умер, и она должна была ходить на эту ежедневную пытку, чтобы как-то поддерживать семью.

Войдя в школу, я увидел рванувшегося ко мне издали, сияющего широкой улыбкой, моего друга Колю. Никогда не видел его таким счастливым.

– Володя, ты читал сегодняшние газеты? – кричал он. – Дело врачей – разоблачённая фальшивка!

Я не мог поверить услышанному.

Замечу, что за всё время позорной кампании в классе об этом не было сказано ни слова, с друзьями это тоже не обсуждалось. На наши отношения эти события никак не влияли.

P.S. В 2008 году мы отпраздновали 70-летие профессора кафедры радиотехнических систем Московского энергетического института, доктора технических наук, Николая Сергеевича Губонина, в ресторане Московского еврейского общинного центра вместе с его женой Ритой и дорогой учительницей, Ниной Васильевой, посвятившей жизнь нашему классу.

Когда мы закончили школу, Нина Васильевна перешла на инженерную работу, продолжая поддерживать связь со своими учениками. Володя Соколов неожиданно нашёл меня спустя 50 лет, прислав в Англию письмо из Израиля, где он живёт со своей женой Эммой последние тридцать лет, сделав успешную инженерную карьеру. Из этого письма я только и узнал, что он оказывается, тоже еврей (по материнской линии). Он рассказал мне, что его отец, Николай Константинович, председатель правления Госбанка СССР, был расстрелян в июле 1941 года по обвинению в шпионаже (впоследствии, конечно, реабилитирован). Семье удалось спастись, поскольку родители брак не регистрировали. Следуя документам, 'бдительные органы' репрессировали первую семью Н.К. Соколова.

Занимательная механика

Начавшийся в 1957 году, на втором году обучения в Станко-инструментальном институте курс теоретической механики не предвещал каких-либо неожиданностей. Будущие инженеры-конструкторы должны были, конечно, глубоко понимать механику. Лекции читал профессор Александр Фёдорович Николаев, а через пару недель начались семинарские занятия по решению задач механики.

На первое занятие в аудиторию быстрой походкой вошел элегантно одетый, аккуратно причёсанный, энергичный, стройный преподаватель средних лет, представившийся как Иван Иванович Станкевич. Буквально от двери аудитории, он приступил к объяснению материала, чётко формулируя доставляемые сведения и дополняя рассуждения аккуратными рисунками мелом на доске.

Его имя напомнило моё детское увлечение футболом. Тогда, в 1945 году, состоялась триумфальная поездка московской команды «Динамо» в Великобританию, за которой следила вся страна. Команда была усилена моим кумиром, напа-

дающим из ЦДКА Всеволодом Бобровым. «Динамо» выиграло два матча и два свела вничью, закончив турне с общим счетом 19:9.

Главным английским бомбардиром в команде «Арсенал» играл против «Динамо» специально приглашенный из другого клуба легендарный футболист Стэнли Мэтьюз. Именно его должен был опекать динамовский защитник с такими же именем и фамилией, как у преподавателя – Иван Станкевич. Об этом много писали. Считалось, что ему удалось блокировать Мэтьюза, не забившего ни одного гола, хотя один гол был всё-таки забит с подачи Мэтьюза.

Прибывав домой после занятий, я бросился искать старую брошюру под названием 19:9, подробно освещавшую триумфальную поездку команды «Динамо». Наконец, найдя её, я обнаружил среди фотографий членов команды портрет нашего нового преподавателя.



Иван Станкевич – бесстрашный защитник московского «Динамо»

Из брошюры я узнал, что Иван Станкевич был единственным игроком в команде, имевшим высшее образование, закончив в параллель со своей выдающейся спортивной карьерой Московский институт инженеров транспорта. На следующее занятие я принес брошюру и показал в группе. Это была сенсация!

Иван Иванович прекрасно владел материалом и вёл практические занятия очень организованно и серьёзно. Ни о каких разговорах с ним на не относящиеся к механике темы не могло быть и речи. Поэтому удовлетворить наше дальнейшее любопытство о его триумфальной спортивной карьере нам так и не удалось.

Позже я узнал, что покойный отец Ивана Ивановича, доктор физико-математических наук, профессор Иван Вячеславович Станкевич, был первым заведующим кафедрой теоретической механики в Станкине (сочетая заведование с многолетней профессурой в МГУ). В 1896 году он закончил с золотой медалью физико-математический факультет Московского университета и по рекомендации Н.Е. Жуковского был командирован в Париж, где работал в 1908-1909 годах под руководством выдающихся математиков и механиков: Пуанкаре, Аппеля, Пенлеве, Дарбу и др.

Запомнилось одно личное впечатление. Для того, чтобы быть допущенным к экзамену, мы должны были сдать Ивану Ивановичу зачёт по решению задач. Быстро справившись с основными предложенными задачами, я неожиданно застрял на последней. Проходя мимо и заметив мою растерянность, наш непробиваемый беском-

промисный преподаватель тихо подсказал мне направление решения. У этого 'железного' человека оказалось доброе сердце.

Однажды, сидя в комнате отдыха со своими новыми английскими коллегами за чашкой кофе в университете города Лафборо, я рассказал им, что моим инструктором по теоретической механике в университете в Москве был бывший игрок команды «Динамо», блокировавший легендарного Стэнли Мэтьюза. Они не могли поверить, что футболист высшей лиги, да ещё такого класса, мог просто преподавать в университете механику. Для нового поколения это было невероятно.



Монумент в честь Стэнли Мэтьюза в Британском городе Сток-он-Тренте

Стэнли Мэтьюз является символической фигурой английской спортивной истории. Дважды он был признан в своей стране футболистом года, причём первый раз, в 1948 году, открыв этот список. В 1956 году он был назван первым обладателем звания лучший футболист Европы, получив приз «Золотой мяч».

Как раз во время нашей учёбы в Москве под руководством Ивана Ивановича Станкевича закончились триумфальные выступления Стэнли Мэтьюза за сборную Англии. В советских газетах это широко комментировалось. За всю свою рекордно многолетнюю футбольную карьеру (более 700 игр) он не получил ни одного судейского замечания.

Королева Елизавета II пожаловала ему рыцарский титул, который также впервые был присвоен футболисту. В городе Сток-он-Тренте, клуб которого он неизменно поддерживал, ему возведён посмертно монумент. Ещё один бронзовый памятник установлен в его родном городе Хенли.

Позже, один из наших лафборовских лекторов, Ник Биркетт, рассказал мне, что его мама, урожденная Наталья Михайловна Яковлева, внучка профессора Склифосовского от первого брака, была переводчицей во время приезда команды «Динамо» в Глазго.

Со своим будущим мужем, Жоржем Артуром Биркеттом, она познакомилась в Москве ещё до революции. Будучи исследователем русской истории, он приехал пополнить свои знания и был принят во многих лучших домах города. Здесь и произошло его знакомство с будущей женой, перешедшее в многолетнюю супружескую связь.

В 1915 году в связи с войной Жорж Биркетт должен был вернуться в Бриганию. Однако разразившаяся русская революция надолго разлучила его с женой и дочкой, Купавой, оставшимися в Москве. Лишь зимой 1922 года они были высланы с маленьким чемоданом вещей из СССР в Финляндию по приказу Сталина в составе других семей иностранцев.

Жорж и Наталья вырастили пятерых детей, боготворящих своих благородных родителей. Дети сохранили огромную переписку родителей во время вынужденной разлуки, и, благодаря стараниям одного из сыновей, она полностью переведена на английский и собрана в двадцати томах.

Со своими близкими, жившими в СССР, Наталья Михайловна, тем не менее, переписываться не могла, боясь скомпрометировать. Наличие заграничных родственников могло полностью перечеркнуть их жизнь.

Живя и работая в Англии в качестве университетского профессора динамики, мне приятно осознавать, что один из моих первых наставников в механике - заслуженный мастер спорта, дважды чемпион СССР, кандидат технических наук, сын известного профессора механики, Иван Иванович Станкевич, сумел достойно противостоять здесь, на родине популярнейшей спортивной игры, легендарному Стэнли Мэтьюзу. Такая вот занимательная механика!

P.S. Отдав с юных лет безусловное предпочтение интересу к механике перед футболом, я неожиданно столкнулся со следующей дилеммой, работая в Англии.

Дело в том, что наш университет является абсолютным спортивным лидером среди всех британских университетов. По количеству призов и медалей, завоёванных нашими студентами и преподавателями на международных соревнованиях, включая олимпийские игры, университет мог бы выступать успешно как отдельная солидная страна.

Видимо, не без влияния этих достижений школа механики и технологий, в которой я работаю, начала развивать исследования по совершенствованию спортивного оборудования.

В начале этих работ, профессор Нил Халливел, мой бывший шеф, а теперь один из руководителей университета, зашёл ко мне.

– Владимир, я осмотрел новые лаборатории спортивного оборудования. Изучение удара является ключевым в большинстве исследований. Твоя экспертиза в этой области им бы очень помогла.

– Понимаешь, Нил, – прокомментировал я, – для меня спорт – просто приятное времяпрепровождение. Поэтому я с готовностью отвечу на их вопросы, но такая техника не может конкурировать с моим интересом к высоким технологиям, ставящим перед динамикой гораздо более сложные проблемы.

Так получилось, что поддержанная группой спортивных технологий разработка новой Адидасовской модели футбольного мяча для розыгрыша мирового кубка FIFA и европейских чемпионатов UEFA вместе с разработанным моей группой сверхбезопасным отбойным молотком для концерна JCB по представлению

премьер-министра Великобритании были отмечены премией Королевы Елизаветы II в области образования, присуждённой нашей школе "в знак признания исследований и разработок высокоценных технологий, способствующих экономическому росту". Вот и реши тут, то ли футбольные мячи стали высоко технологическим оборудованием, то ли высокие технологии достигли публичного интереса, близкого к футболу?!

Глоток воздуха свободы

В начале 1990 года я впервые получил разрешение на служебную поездку в капиталистическую страну в качестве приглашённого профессора Института механики Мюнхенского технического университета. Перестройка принесла свои плоды.

В иностранном отделе Президиума Академии наук мне выдали служебный паспорт и авиационные билеты. Они предназначались в салон первого класса. Никогда раньше я первым классом не летал.

Моё место оказалось рядом с пожилой представительной дамой. Большинство остальных мест в салоне заняла команда спортсменов. Это была сборная команда страны по хоккею, летевшая в Германию на международные соревнования.

Мы быстро нашли общий язык с моей соседкой, обсуждая московские культурные новости, в которые она, как оказалось, была глубоко посвящена. Во время нашей оживлённой беседы она часто упоминала свои высокие знакомства, рассказывая о приёмах у Горбачёва, патриарха, председателя КГБ Крючкова и других важных персон.



Ольга Лепешинская в балете «Дон Кихот»

Чувствовалось, что ей очень хотелось быть узнаваемой, и я лихорадочно прокручивал в голове различные варианты, пытаясь по случайным намёкам понять, с какой знаменитостью я сижу рядом.

Где-то в разговоре я рассказал ей о впечатляющих встречах на даче в Серебряном бору, в кругу моего бывшего учителя физики и проживавшего в их семье переводчика Сергея Таска, с живой историей, Ритой Яковлевной Райт-Ковалёвой.

Моя соседка отметила, что её родственник – старый революционер тоже имел там дачу. 'Пазл' наконец сложился!

– Так вы Ольга Васильевна Лепешинская?! – сказал я восхищённо.

Со мной сидела легенда балета, многократно титулованная всеми высшими наградами и званиями, окутанная славой, почётом государства и поклонением многих поколений любителей балета. Её искромётные исполнения в постановках балетов «Дон Кихот» и «Красный мак» я видел ещё будучи школьником.

Моя соседка была абсолютно счастлива, что я её узнал.

Между тем, наши знаменитые хоккеисты, беспрерывно курившие и пившие всю дорогу, становились всё более шумными и раскованными, никак не сдерживая свою пересыпанную матерщиной речь и заполняя салон табачным дымом.

Ольга Васильевна деликатно игнорировала этот фон, продолжая беседовать со мной, однако я почувствовал, что ей становилось всё трудней дышать прокуренным воздухом.

Обратившись к сидящему поперёк кресла прямо через проход курильщику, я вежливо попросил его не курить в нашу сторону из-за присутствия пожилой дамы.

Презрительно осмотрев нас обоих и глядя ей в лицо, 'гордость советского спорта' процедила сквозь зубы: «Жаль, что Гитлер не спалил вас всех в крематориях!»

На мою соседку лучше было не смотреть. Её лицо покрылось красными пятнами. Я как мог старался её отвлечь.

К счастью, мы вскоре приземлились и вышли из самолёта, вдохнув, наконец, свежий и свободный мюнхенский воздух. Ольгу Васильевну встречала машина прямо у трапа.

Так случилось, что после переезда на следующий год в Мюнхен на постоянное жительство моя жена начала работать аккомпаниатором в Балетной академии Высшей школы музыки. Ольга Васильевна Лепешинская оказалась почётным патроном Академии и ежегодно приезжала на мастер-классы и выпуски. Коллеги жены, среди которых было несколько русских музыкантов, рассказали ей ужасную историю, случившуюся с выдающейся балериной в самолёте, о которой она уже знала от меня.

Совесьть нации

Начало трудовой деятельности в Мюнхене после переезда в 1991 году и обустройство во вновь снятой квартире на улице Гогенцоллернов быстро выявили необходимость срочного приобретения пианино для профессиональной работы моей жены – Эллы – в качестве аккомпаниатора Высшей школы музыки.

Нашим центром социальной жизни на этом этапе стала еврейская община, самоотверженно поддерживавшая вновь прибывших членов. По приглашению главы культурного центра общины, доброжелательной и энергичной Элен Прессор, Элла подготовила и провела концерт камерной музыки с одним из аспирантов её бывшего коллеги по Гнесинскому институту, Якова Гильмана, работавшего уже много лет профессором скрипки в Мюнхенской консерватории.

Концерт прошёл с большим успехом и по 'гемайнде' распространился слух, что приехавшая русская пианистка не имеет инструмента. Вскоре в нашей квартире раздался телефонный звонок. Всеведущая Элен рассказала, что она разговаривала

с семьёй фон Вестфаллен, и они сообщили, что собираются заменить имеющийся у них старый инструмент. Они пригласили нас приехать и опробовать его, добавив, что если он устроит Эллу, они его ей подарят.

Упоминание аристократической фамилии фон Вестфаллен, из которой, как известно, происходила жена Карла Маркса, Женни, произвело впечатление, и я попытался узнать у Эллы подробности. Она подтвердила, что это очень известная в Германии семья. Её глава – профессиональный писатель, а его супруга – талантливый художник.

В назначенное время мы появились в старинном доме на окраине Мюнхена и были гостеприимно встречены приятными хозяевами. Угостив нас кофе в красивой гостиной с видом в сад, они показали инструмент и предложили Элле его опробовать. Это было немецкое пианино 20-х годов с хорошим звуком и в хорошем состоянии.

При изучении его механики я обнаружил, что пианино имеет необычно массивную чугунную раму, что, по моим представлениям, должно было сильно утяжелить его транспортировку.

Поблагодарив хозяев за столь щедрый подарок, я пообещал заняться его перевозкой.

– Не затрудняйтесь, – сказали они. – Когда рабочие привезут нам новый инструмент, мы договоримся с ними о доставке вам этого пианино, предварительно предупредив вас.

– Проблема в том, – объяснил я, – что мы живём на пятом этаже старого дома с высокими потолками, и в наш маленький лифт инструмент не поместится. Поэтому доставка такого тяжёлого пианино потребует дополнительной рабочей силы.

– Мы сообщим им об этом, – пообещали приветливые хозяева.

Тепло распрощавшись и оставив наш телефон и адрес, мы счастливые вернулись домой. Главное приобретение было сделано.

Вскоре позвонила баронесса (или графиня?) и назвала дату и примерное время доставки. Элла в это время должна была быть на работе и оставила мне чёткие инструкции по приему рабочих и оплате. В кухне был накрыт обед с вином, водка охлаждалась в холодильнике, и я приготовился гостеприимно встретить перевозчиков драгоценного груза.

Наконец раздался телефонный звонок и рабочий сообщил, что они направляются к нам. Через некоторое время позвонили снизу и двое молодых людей появились в квартире. Стояло жаркое лето, и они были в серых рабочих майках. Их тела покрывали плотные татуировки. Почти как русские рабочие, – подумал я. "Стиль татуировок", конечно, различался.

Выяснив, куда нужно поставить пианино и оставив на пороге каталку, они направились к двери.

– Ваши коллеги ожидают внизу? – спросил я.

– Мы сделаем это вдвоём, ответил один из них.

– Но инструмент имеет увеличенную чугунную раму, он необычно тяжёлый, – возразил я.

– Мы знаем, но мы профессионалы, – объяснил старший, показав широкие ремни.

Я вышел на лестницу, чтобы наблюдать эту механику в немецком исполнении. Будучи мужем пианистки, мне приходилось видеть подобную операцию несколько раз в Москве.

Перекинув подведённые под пианино ремни через плечо, два человека начали медленный подъём тяжеленного груза со ступеньки на ступеньку на пятый этаж. На них было почти невозможно смотреть. Пот катился с них градом, намокшие майки облепили мускулистые тела. Каждый пролёт преодолевался с огромным перенапряжением, и они регулярно останавливались, чтобы восстановить дыхание. При опускании на каменную лестничную площадку инструмент наполнял весь пролёт протяжным реверберирующим гулом.

Мне показалось, что это не может кончиться благополучно, и совершенно расстроенный, я ушёл к себе наверх. После продолжительного времени, рабочие появились в проёме входной двери и поставили пианино на каталку. Они были полностью истощены, бледность проступала даже через их загорелые лица.

Подкатив инструмент к назначенному месту, они установили его наконец, сняв с каталки. Мы все трое вздохнули с облегчением.

– Моя жена приготовила для вас обед (время как раз соответствовало), и я приглашаю вас к столу, – объявил я.

– Спасибо, у нас ещё много работы, – заявили такелажники, направляясь к выходу.

– Жаль, что у вас нет времени, тогда вот ещё плата за доставку, – поспешил я, вынув из кармана заранее приготовленную хорошую сумму.

– Нам уже заплатили предыдущие хозяева, – бросил мне через плечо уходящий старший, оставив меня стоящим растерянно с деньгами в протянутой руке.

Да, это были какие-то другие рабочие, а ведь как внешне похожи!

Наше знакомство с немецким аристократическим обществом, как оказалось, на этом не закончилось. Однажды, нам позвонил член общины, с которым мы встречались несколько раз на организуемых общиной приёмах, один из которых происходил в его небольшом доме. При первом знакомстве он рассказал, что занимается продажей недвижимости.

Сейчас он сообщил, что из Америки приехала его хорошая приятельница-пианистка, и он говорил с ней об Элле. Она пригласила нас к себе в гости. Имя пианистки оказалось Маргарет Мольтке. Я был ошарашен.

Напомню читателям, что фамилия Мольтке является символом Германии. Граф Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке (1800-1891), германский генерал-фельдмаршал, русский генерал-фельдмаршал, военный теоретик, начальник генерального штаба, считается наряду с Бисмарком одним из основателей Германской империи. В Берлине ему установлен памятник.

Его племянник, граф Хельмут Иоганн Людвиг фон Мольтке (1848-1916), генерал-полковник, был начальником Большого генерального штаба Германской империи и, фактически, управлял германскими войсками во время первой мировой войны.

Ещё одна выдающаяся фигура германской истории, граф Хельмут Джеймс фон Мольтке (1907-1945), правнучатый племянник фельдмаршала, получив юридическое образование в лучших университетах Европы, стал убеждённым противником нацизма, собрав вокруг себя группу единомышленников, готовивших будущее преобразование Германии после падения нацизма на основе принципов, близких христианскому социализму. Молодые люди не были заговорщиками, их беспокоила судьба своей страны.

Как специалист в области международного права, граф помогал эмигрировать евреям и другим жертвам нацистского режима, защищал их в суде. Во время своей поездки в Осло ему удалось через надёжные каналы предупредить норвежских участников сопротивления о готовящейся депортации евреев, что позволило переправить многих евреев в нейтральную Швецию. В январе 1944 года он был арестован гестапо и впоследствии казнён. Ему было 37 лет.



Граф Хельмут Джеймс фон Мольтке (1907-1945) – спаситель норвежских евреев. Почтовая марка ФРГ, выпущенная к 20-летию покушения на Гитлера, 1964 год

Наш знакомый не мог удовлетворить моего исторического любопытства и сказал, что Маргарет нам расскажет о своих предках сама. Сев в его машину, мы отправились в путь и вскоре выехали на площадь Нимфенбургского дворца – резиденции баварских королей. Красивый старинный дом, к которому мы подъехали, располагался в непосредственной близости от дворца.

Дверь открыла хозяйка дома, приветливая миловидная женщина средних лет. Наш 'водитель' тепло поздоровался с ней и, представив нас, уехал.

Маргарет провела нас в красиво обставленную старинную гостиную, в которой стоял концертный рояль. Посадив нас в центре на уютный диван, она легко присела на ковёр у наших ног. Её располагающие манеры мгновенно растопили нашу скованность, и началась интереснейшая беседа, запомнившаяся на всю жизнь. Разговаривали на английском.

Из разговора выяснилось, что казнённый граф является её свёкром, поэтому их семья живёт постоянно в США, где она преподаёт музыку в университете, а её муж занимается адвокатурой.

– В Германию мы наезжаем только, чтобы повидаться с родственниками, – пояснила она. – Канцлер Коль звонил нам в Америку и просил нашу семью вернуться, но это для нас неприемлемо.

Сама Маргарет оказалась дочерью выдающегося дирижёра Ойгена Йохума, который до войны возглавлял Симфонический оркестр Берлинского радио, затем стал преемником Карла Бёма на посту руководителя Гамбургской государственной оперы, а после войны руководил Симфоническим оркестром Баварского радио, а также, оркестром Концертгебау в Амстердаме.

Маргарет рассказала, как отец восхищался талантом Эмиля Гилельса и много выступал с ним.

– Он часто бывал в нашем доме, и отец активно приглашал его остаться работать в Европе, объясняя какая триумфальная мировая карьера его ожидает, – дополнила она свои воспоминания.

– Можно себе представить, сколько волнений стоили Гилельсу эти разговоры, – подумал я.

Она подробно расспрашивала Эллу о её музыкальных предпочтениях, иногда подходила к роялю, чтобы что-то проиллюстрировать. В заключение этого незабываемого общения она предложила: «Мы можем пройти прогуляться в сад Нимфенбургского дворца. Мой отец был почётным гражданином Мюнхена, и город вручил нашей семье навсегда ключ от парка».

Прогулка по утопающему в лунном свете пустынному дворцовому парку, ворота которого Маргарет открыла собственным ключом, завершила этот незабываемый вечер.

По дороге домой я размышлял о том, почему эти высокие аристократические семьи – гордость немецкой истории, проявляют столько внимания еврейской общине. Может быть, это повышенное чувство ответственности за преступления нацизма, жертвой которых они тоже стали?!

Я так и не пришёл к однозначному заключению, но на основе своего опыта и последующих событий уверовал, что 'совесть нации' не просто удачный оборот речи. И ещё я подумал, только ли музыка позволила нам легко найти взаимопонимание с этими людьми? Наверное, они и есть воплощение того, что мы называем 'европейской культурой', такой благородной, близкой, понятной и притягательной.



Дмитрий Бобышев

Я ЗДЕСЬ (ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ)

Трилогия. Книга вторая

АВТОПОРТРЕТ В ЛИЦАХ

(продолжение. Начало в №12/2015)

Дело Швейгольца

В первой порции этих заметок несколько раз промелькнуло имя Володи Швейгольца: сначала как предприимчивого юноши, навязавшегося мне в попутчики в крымскую поездку, а затем ставшего пляжным приятелем по Евпатории, обучавшим меня плаванию по методу Джонни Вейсмюллера, соперником в наших не вполне напрасных ухаживаниях за соломенноволосой Светланой, а также моим ранним оппонентом по литературным спорам.

Сопровождал он меня и в поездке в Мисхор к Евгению Рейну, когда мы втроём, переночевав прямо на земле в парке Чайр, прошли с широкоплёчным фотоаппаратом „Любитель” по основным красотам побережья. Я выстраивал композицию, состоящую из Симеизской скалы, из волны, накатывающей на крупную гальку, и двух поэтов, которые пучились обнажёнными торсами (один – сутулым и бочкообразным, другой – весьма даже атлетическим, угадайте, кто есть кто?), я выставлял диафрагму и выдержку, а Швейголец делал заключительный: щёлк! В результате получилось несколько примечательных снимков.

Все эти солнечные пятна в моей памяти окружены, однако, мрачным ореолом, отброшенным событиями последующей жизни, и я дал знать о том после первых же упоминаний о Швейгольце: он в дальнейшем стал убийцей. Но в те времена какой-либо зловещей тени ни на его облике, ни на поведении не лежало, был он общительным и компанейским парнем, познакомил меня в Питере со Славинским и его полубогемной бражкой. Все они немного писали, немного рисовали, слегка диссидентствовали и витийствовали и, как все мы, искали в наступающих и уходящих днях и вечерах жизни свой кайф, то есть свои удовольствия, находя их в труднодоступном или же вовсе запретном чтении, в музыке (и не только джазовой), во флирте, более или менее в выпивке, а кое-кто и начал уже „торчать”, „ширять” и „задвигаться”. Что касается этих последних радостей, то я раз навсегда постановил с ними не экспериментировать, потому что, не доверяя себе, опасался чрезмерно ими увлечься, и это было одним из моих лучших жизненных решений.

Бражка в коловращениях своих создавала среду, но не могла напитать полноценный талант, – попросту не хватало у неё интеллектуальных, волевых силёнок, и потому люди с поиском в сердце и на уме вовлекались туда лишь временно, по касательной. Анри Волохонский ткал схоластические узоры стихов и трактатов по образцам ископаемых философий. Леонид Аронзон из воздуха выстригал косые силуэты своего условного мира. Появился добрый молодец Алёша Хвостенко и тоже стал теоретизировать на авангардные темы, подкрепляя теории бессвязицей текстов, порою забавных. Образовалась субкультура, скатывающаяся к тому, что позд-

ней обретёт легендарное наименование „Сайгон”. Но вот Алёша взял в руки гитару, и всё-всё отозвалось на свои имена и клички:

*Хочу лежать с любимой рядом,
а на работу не хочу.*

Действительно, кто бы в таком предпочтении, положи руку на сердце, не признался? Но в том-то и дело, что свобода эта райская достигалась лишь через зависимость, унижения и труды, пусть даже и не свои. Военком засылает повестки? На время отлова призывников можно „слинять”, а то и „закосить” под язву желудка или дефект позвоночника, под бруцеллёз, под психа, наконец. Не исключено, что дадут инвалидность и даже пенсию, – разумеется, грошовую, да ещё и с контрольными перепроверками. В общем, при такой жизни на ежедневное тисканье музыки остаётся мало пороку. Швейголец весь его заряд вложил в математику, но экзамен на физмат провалил и своё фиаско объяснял только антисемитизмом. Так это или нет, попробуй докажи, особенно если и русские, и евреи были по обе стороны экзаменационного стола. Я тоже слишком хорошо помнил своего рыжего математика из ЛЭТИ, влпившего мне двойку „ни за что”... Но Швейк, как его стали прочно называть, из гордости отказался держать экзамен в Педагогический институт и сыграл в солдаты.

Служба, к счастью, не подорвала его здоровья, но у него сложилось убеждение, может быть истинное, хотя и не совпадающее с принятым, что свой гражданский долг он выполнил до шпента. Его отстаивание бытовой свободы, не поддержанное теперь ни математическим, ни каким-либо художественным призванием, пошло по тем же кругам: нелёгкая, долгая и унижительная добыча статуса инвалидности и пенсии... Не знаю, как скоро, но он в конце концов этого достиг. Мы стали редко пересекаться, его шутки при разговорах стали заменяться экстремальными философемами, – ну, например, из „Эристики” Шопенгауэра: „Если твой противник застенчив или туп, смело обвиняй его в невежестве.” Или же выкопанное из Ницше: „Идя к женщине, не забудь взять с собой плётку.” Надо же – не букет, не бутылка, не конфеты, не пару презервативов, наконец, а – плётку! Ну, хоть стой, хоть падай.

Случайно столкнулись на Кирочной. Я шёл домой на Таврическую, он пустился меня провожать. В ту пору я сменил своё пальтецо на рыбьем меху, „построив” себе новое, утеплённое, со вшитым под подкладку выношенным джемпером, и чувствовал себя от этого превосходно. Швейк, поживаясь от ветерка с крупитчатым снегом, явно находился по другую сторону гоголевской „Шинели”. Глаза его угрюмо (может быть, даже голодно) блестели, щёки голубели запущенной небритостью. Вдобавок к такому контрасту, я нёс ещё портфель польской жёлтой кожи, купленный недавно за улоительную дешёвку, но вид у него был щегольской.

Впервые Швейк попрекнул меня:

– Ты ведь поэт, Деметр, как можешь ты инженерить?

– Что ж тут такого? Всё равно не печатают. А так я хотя бы не бегаю по редакциям в поисках халтуры.

– Да это ж – филистерство, буржуазность...

Слова его неожиданно озадачили и даже задели меня осуждением – одновременно как с советской, так и с англосоветской стороны.

И – опять в районе Кирочной и Восстания. Я провожаю рыжеволосую сотрудницу, живущую где-то в этих краях, и, затягивая прощанье, приглашаю её зайти куда-нибудь в кафе на чашечку кофе или бокал шампанского. Ничего подходящего

поблизости нет, только это, с дурацким названием „Буратино“, к тому же работает как столовая. Но моя знакомая не прочь и пообедать. Зелёные щи с желтком, котлета с ячневой кашей, кисель. Через столик от нас – Швейгольц со спутницей, они заканчивают тот же набор блюд. Она – блондинка с недовольным, надутым лицом, на него вообще страшно смотреть: налит угрозой. Идут через проход мимо нас, от меня как бы не видит, и я чувствую облегчение, словно от миновавшей опасности.

Через день:

– Швейк-то убил! И сам, похоже, того... В больнице.

– Да кого убил-то? Как?

– Просто зарезал, и всё. Последнюю подружку свою, любовницу, что ли – какую-то парикмахершу. И – себя пытался...

Это было весной 65-го. А осенью:

– Суд идёт!

Сочувствующих зрителей собралось много, несмотря на рабочее время. Да и у меня теперь почти свободное расписание. И – свой интерес: как сумел человек, мой приятель, превратиться в кровавого монстра? По опыту, мне к тому времени доставшемуся, я считал, что покусившийся на другого прежде всего смертельно увечит свою душу. А тут ни о какой презумпции не было и сомнения – сам ведь сознался. Он сидел, наголо остриженный с белым шрамиком на затылке. Оглядывался, знакомым кивал. Кивнул и мне. Я не ответил. Он понял это и как бы принял к сведению.

Из обвинения, из допроса подсудимого, из первых свидетельских показаний получалась такая картина: Лахта, низкий берег Маркизовой Лужи с причалом и мостками, около которых покачиваются зачехлённые лодки и несколько яхт. Поодаль – ряд деревянных домов, переходящий в улицу. В одном из них – довольно большая комната, которую снимает Швейгольц со своей (для меня – безымянной) подружкой у хозяйки дома, в данный момент гремящей во дворе ведром, выгребавшей оттуда отруби для поросёнка. У Швейка – гости: поэт Леонид Аронзон, владелец лодки, который держит её поблизости под присмотром приятеля, и Валерий Шедов, по профессии электромонтёр, а по кличке Курт, он же Понгила, владелец и капитан яхты, между прочим, крейсерского класса, стоящей на ремонте тут же.

На столе – две бутылки, стаканы, пепельница. Рыжеватый и горбоносый, Аронзон ходит по комнате, прихрамывая, читает с листа свои воздушно-расплывчатые, косо летящие строки:

*Хорошо ходить по небу,
вслух читая Аронзона.*

Швейк не может не сделать замечания по поводу стихотворения: синтаксис прихрамывает тоже. Зато образность, образность – замечательна! Теперь читает свою мутноватую бредоватую прозу Швейгольц, его слушает только Аронзон. Безымянная подруга строит глазки Понгиле, тот расправляет свой могучий торс, вякает об очередном восхождении на Эльбрус. Понгила хорош собой, да просто-напросто мужественно красив – куда только смотрит Ленфильм? – синеглазый блондин, тёмные брови, рост. Словом, Курт. После своих восхождений он обычно подрабатывает на обратный билет тем, что на черноморских пляжах даёт с собой фотографироваться дамочкам из Караганды и Сольвычегодска – за трёшку кадр.

Швейк выпаливает тираду о женском непостоянстве и о трёхрублёвых зарплатах, за которые кой-кого давить бы надо. В раздражении хлопает дверью, ухо-

дит. „Опять натрескались, тунеядцы!” – бурчит из-за стенки хозяйка. Поэт догоняет друга уже на мостках.

– Ну что ты, Володя, раскипятился? Пойдём-ка с ребятами зачифирим.

– Вот у меня для них что! – в руке Швейгольца оказывается садовый кривой нож.

– Что ты, что ты, отдай-ка ты мне это лучше...

Аронзон мягко отбирает нож и, размахнувшись, далеко забрасывает его в воду. Друзья возвращаются в накуренную комнату, их встречают приветственным криками:

– Мир! Мир! Выкурим трубку мира!

Забивают косяк. Делается смешно, потом странно, предметы на столе оказываются исполнены космического значения: бутылка, стаканы, консервная банка в качестве пепельницы. От их расположения завясят судьбы Вселенной: уберёшь один, и – весь Мир на краю гибели; переставишь, и вновь наступает Золотой век человечества.

Откинувшись на кровать, Швейголец тяжело задремал. Аронзон слинял ещё раньше. Сговорённые любовники отправились ночевать на яхту Курта.

Как там у Пушкина? *«Внезапный мрак, виденье гробовое!»* На следующий день Швейк запорол подругу раскрытыми парикмахерскими ножницами. Ткнул и в себя между рёбер. Обожгло. Ткнул туда же ещё, но глубже не смог. Хозяйка обнаружила его сидящим на крыльце в крови и полуобмороке. А наверху – „всё в кровянице, прости Господи!”

Мать убитой оказалась на месте раньше милиции и скорой. Вот её-то стало очень остро жаль, – каково матери всё это было видеть! Сквозь надсадный рыд её, впрочем, прослеживалась настойчивая версия: над кроватью с растерзанным телом дочери были якобы начертаны кровью на обоях кресты „и ещё какие-то знаки”.

Обвинитель, надо отдать ему должное, этот подталкивающий намёк на ритуальное убийство не поддержал. Также отбросил он и объяснение, которое, например, складывалось у меня в голове: о том, что то был замысел двойного самоубийства, осуществлённый лишь наполовину, а точнее – на три четверти... Да, смесь Метерлинка, Ницше и Достоевского в одном уме могла привести к гремучим выводам, но напарница Швейка была для такого сюжета всё-таки простовата... Следственная версия склонялась к эффектной, почти голливудской мелодраме, подтверждаемой не домыслами, а фактами: адюльтер на борту яхты, задуманная месть, вспышка ревности и насилия...

Аронзон своим видом вполне вписывался в кинематографическую фабулу: лёгкий серый костюм, твёрдые манжеты и воротничок, галстук в тон. Выброшенный в воду нож описал длинную дугу в его рассказе. Приятелю своему он давал лучшие характеристики:

– Мухи не обидит! То есть буквально, идёт по земле, – на муравья, на жука какого-нибудь не наступит, перешагнёт...

Для многих в зале это уже было слишком – мол, свою бабу зарезал, а муравья пожалел. Ну, а Шедову киногеройства было не занимать: внешность, Эльбрус, яхта... Судыха лишь сочувственно кивала его рассказу.

Вмешался адвокат с требованием экспертизы для подсудимого. Эксперт, интеллигентный полковник Военно-Медицинской академии, терпеливо объяснял: пациент ранее находился на психиатрическом обследовании, которое показало у него развитие шизофренической болезни. Для специалиста характерные симптомы

видны и сейчас, они проявляются в его неадекватных показаниях, в претенциозном поведении на суде. То, что он требовал и читал книги по психиатрии во время следствия, не может служить подтверждением его симуляции, а, наоборот, является типичным для больного поведением с его самоуглублённым копанием в своём сознании. Произшедшая трагедия является не актом мести, но скорей актом самоуничтожения, разрушения своего мира, значительной частью которого была, увы, несчастная жертва, и всё это завершилось несомненной суицидной попыткой, которая не удалась лишь потому, что после прободения сердечной сумки пациент потерял сознание...

Странное дело, такая внятная разумная речь произвела скорей отрицательное впечатление на суд. Вызвали своего медицинского эксперта, его вывод был прост: подсудимый вменяем. Приговор: 8 лет с отбытием их – где? – если жертва находилась, по швейгольцевым бессвязным словам, в Раю, то где ж ему было отбывать наказание, как не в Аду? Я, конечно, имею в виду не только советскую пенитенциарную систему, но главным образом Ад его внутренней жизни, так убедительно описанный избранным и излюбленным писателем Швейгольца. У его персонажей мой злосчастный знакомец заимствовал многое, если не всё – чуть ли не собственную личность, но, увы, он не усвоил их горестных выводов. Его жизнь оказалась как бы ещё одним, сверхтиражным экземпляром "Преступления и наказания". Странно и страшно было впоследствии узнать, что у всей той компании их молодые жизни покатылись в метафизические тартарары. Вот в чём ужас и преимущество моего возраста: я вижу их в тогдашнем времени, но также и в последующем, а сам нахожусь в том, где их уже нет. Свидетели-приятели Швейгольца, так ярко выступившие на суде, кончили сходным и необъяснимым образом – и, причём, добровольно. Аронзон вдруг застрелился из ружья, а Шедов в припадке депрессии влил в себя какую-то мучительную отраву.

Ранее Швейк был помянут в печально знаменитом фельетоне „Окололитературный трутень” в качестве „окружения Бродского” – Впрочем, лишь в придаточном предложении: „физиономию которого не раз можно было обозревать на сатирических плакатах”, а также в скобках. Тот, кого он „окружал”, всё-таки выразился о случившемся:

*Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою
любовницу – из чистой показухи.
Он произнёс: „Теперь она в Раю”.
Тогда о нём курсировали слухи,
что сам он находился на краю
безумия. Враньё! Я восстаю.
Он был позёр...*

Конечно, – не „Баллада Редингской тюрьмы”, но хоть какая-то память... Швейгольца знали многие, но забыли быстро. Однако, не все. Славинский, упомянутый в том же фельетонном „окружении”, переписывался с ним и изредка мне сообщал:

– Швейк-то – в порядке. Устроился прорабом на лесопилке. Зеки его уважают: „мужик в законе”.

– Что это значит? Я знаю – „вор в законе”, а это?

– Ну, значит „правильный мужик”, справедливый.

О его освобождении из лагеря мне сказал кто-то другой, не Славинский (топ по иронии судьбы сам оказался тогда в заключении), и я предпочёл бы не видеться

со Швейгольцем даже случайно, хотя и знал, что где-нибудь мы непременно пересечёмся. Это в Москве можно жизнь прожить и кого-то из однажды знакомых потом уж не встретить, вращаясь в разных компаниях; в Питере же – не так.

Однажды мать попросила меня помочь ей: она совсем изнервничалась с моим младшим братом. Костя, крупный голубоглазый блондин, был любимцем всей семьёй: и родительским, и феничкиным (для которой он был как свой), да и мне с ним бывало занятно поговорить и перед „младшеньким” порисоваться. Его отец, а мой отчим, души в нём не чаял, пустил его после школы по стезе приборостроения, записав в институт Бонч-Бруевича, а дальше уже предполагалось ему шагать след в след по отцовским стопам. Но в этом целостном замысле возникла трещина: Константин всерьёз увлёкся искусством, и я его зауважал, увидев в нём способности, стал давать свои стихи, делился тем, что успел узнать сам. Отчим старался отгадать меня, оградить от „дурного влияния” своего сына, и это противостояние закончилось плохо: Костя заболел. В доме, естественно, обвинили меня. Он действительно бредил отрывками из моих поэм, в частности „Диалогами Фауста”, видел во мне повелителя таинственных сил, искал и ловил повсюду знаки потустороннего мира. Больничный психиатр затребовал мои тексты для исследования, пришлось дать безо всякой гарантии, что изучать их будут только в научных целях. Как бы то ни было, врач заключил, что они могли спровоцировать обострение, стать предлогом, но никак не причиной болезни. Это уменьшало, но не снимало чувства вины-невины, но всё же своей причастности к этой беде, а во-вторых тяжёлого изумления, вроде стояния с раззявленным ртом и растопыренными руками перед вовсе не доброй или, лучше сказать, вне-доброй силой своих же словес, действовавших за пределами авторской воли.

В период обострения болезни мать попросила меня отвезти Костю на домашний приём к женщине-психиатру, куда-то далеко на Московский проспект за „Электросилу”, поэтому лучше было бы с утра... Но с утра я не мог и, вымотавшись на своей Чапыгина-6, приехал автобусом через весь город на Таврическую и, взяв Костю, отправился с ним на метро. Глаза его, покрасневшие от бессонниц, смотрели с тревожным напряжением, мой контакт с ним, если и был, мог непредсказуемо оборваться. Тем временем в метро наступил час пик, хлынула толпа. У Техноложки нас вынесло из вагона, я с трудом провёл больного, маневрируя между снующих сограждан, к противоположной платформе на пересадку. Последний перегон, и мы будем у цели.

Поезд что-то задерживается, толпа всё уплотняется, нервозность больного, моя тревога за него и раздражение от людского множества всё возрастают. Но вот пахнуло резиной и ветром, толпа прибывших смешивается с толпой стремящихся уехать, и я слышу, как чей-то голос зовёт меня сверху в этом набитом людьми мраморном подземелье. Крутом незнакомые люди, а голос знакомый. Снова: „Дима!” Поднимаю голову, вижу: стоит на переходе, свесившись через перила – Швейгольц... Чур меня! В коротком широком пальто, наподобие средневековой накидки, с какой-то по-мефистофельски направленной небритостью на лице, но в глазах обрадованное, чуть ли не умильное выражение. Миг, и я вталкиваю брата в вагон, двери захлопываются, и мы уезжаем.

И – вот ещё одна писательская помета на этой теме: повесть Бориса Ивановича Иванова „Подонок”, написанная по горячим следам дела Швейгольца. Я познакомился с автором повести в начале 70-ых, но ещё раньше в нём произошла знаменательная метаморфоза: писатель, член Союза с абсолютно советским про-

шлым (служил в чине капитана оккупационных войск в Германии, был, разумеется, членом партии) вдруг рассорился с официозом и полностью перешёл в самиздатское существование. Его повесть, даже судя по заглавию, давала лишь плоский и сугубо негативный (близкий к фельетонному) образ нашего знакомого, – молодого негодяя и манипулятора, докатившегося до столь мрачного преступления. Поздней, во время прогулок по Васильевскому острову, я расспрашивал Бориса Ивановича, почему он дал известному прототипу столь однозначное толкование; он ответил, что искал в нём лишь определённый социальный тип.

И автору, и его антигерою пришлось ещё раз пересечься на литературной почве. Пока Швейгольц отбывал свой срок, Иванов превратился в активиста, одного из лидеров, а затем и в патриарха ленинградского Самиздата. Он годами издавал подпольную периодику и притом умело соблюдал дистанцию враждебного нейтралитета по отношению к властям. Придумал даже литературный приз для авторов андеграунда, пародирующий официальные награды: премию имени Андрея Белого, и ежегодно вручал кому-то карнавальную бутылку водки („белого вина” по-простонародному), яблоко и рубль денег. С наступлением дальнейших свобод этим курьёзом стали забавляться журналисты, он был особенно комичен на фоне появившихся тогда частных и государственных премий размером в тысячи и десятки тысяч долларов. В конце концов, приз, за его яркость и дешевизну, перекупило одно крупное издательство, сохранившее за Борисом Ивановичем как основателем премии право вручать её победителям. Большая газетная помпа уравнивала неизбежный плебейский оттенок награды и восполняла её ничтожное материальное выражение. Однако, после финансового обвала, мягко именуемого дефолтом, как раз рубль-то и исчез из обращения, заменившись нулями; его стало трудно найти. Перед очередным вручением искомое пришлось занять „у небезызвестного Швейгольца”, который „постоянно лежит на набережной”, – как это объяснил бори-иванович подручный.

Да возможно ли это – постоянно валяться на набережной – ввиду петербургского климата, не говоря уж о милиции? Воображал ли он себя парижским клошаром, лондонским хобо или сан-францисским бамом, – вольным жителем городов, в которых ему никогда не суждено побывать? Но оказалось возможно: у него была там клетушка в полуподвале, откуда он, лёжа не подоконнике в тёплые дни, предлагал прохожим партию в шахматы. У него же нашёлся и рубль.

Прикладная гениальность

Тема шизофрении или раздвоения личности подступала к жизни вплотную, хотя, к величайшей удаче, душевные болезни меня самого не коснулись. Постучу костяшками пальцев по своему бюро, купленному за полгроша на американской гаражной распродаже и отлакированному мной собственноручно, и на всякий случай добавлю осторожное слово „пока”, потому что никто не знает, когда и в какую часть тела поразит его очередной перун. „Весь мир безумен. Кай является его частью. Следовательно...” А следовал из этого силогизма и в самом деле неутешительный вывод: сознание раздваивалось на незаметное, одинокое и мало кем востребованное „служенье муз”, которое, как известно, суеты не терпит, и на эту самую небезопасную суету, в которой всё трудней становилось увливать, изворачиваться и увёртываться от пропагандного „падения тяжестей”. Правда, я редко брался за сценарии, не рвался в эфир, но идеология висла над головой гроздьями начальственных предписаний.

Я как-то сказал об этом Довлатову, и он тут же отстукал на своём „Ундервуде“: „Бобышев жалуется на неудобства работы на телевидении. Приходится всё время проверять свой зад на вертлявость. Мол, а не вертляв ли он?“ Потом вычеркнул. В заводских многотиражках пришлось ему и не так вертеться. Рассказывал с отчаянным цинизмом, как он писал антиалкогольные статьи, и гонорары от них шли целиком на пропой души, а если верней, а если отмыв. А когда не хватало, собирал дань у всегда чуть виноватой писательской общественности для помощи несчастному Риду Грачёву-Вите (с одним „г“), который почти не вылезал из жёлтого дома. Представляю себе несколько запущенного „со вчерашнего“, но всё ещё обаятельного динозавра в дверях какой-нибудь литературной дамы, Линецкой или Хмельницкой, когда он излагает убедительную просьбу оказать помощь нуждающемуся молодому писателю, уникальному таланту, может быть, гению, попавшему в тенета душевной болезни... Ну, как не оказать, как не сунуть такому пятёрку, ну как не добавить, подумав, ещё и трёшку!

Между тем, именно эти две дамы реально помогали Риду Грачёву, и не только пятёрками-трёшками, но главным образом тем, что создавали ему репутацию литературного самородка и гения, свежей надежды 60-ых. Его прозу всерьёз расхваливал Дар, о его переводах из Сент-Экзюпери и Камю многозначительно и возвышенно выражался Рейн, позднее я услышал о каких-то эссе, которые, если бы их напечатать вовремя, произвели бы общественный резонанс не меньший, чем „Жизнь не по лжи“ Солженицына. Да, именно так говорилось. Но автор самиздат их не пускал, а его репутация, не подкреплённая текстами, превращалась в легенду, что, впрочем, действовало на окололитературную публику с пущей силой.

Меня тогда одолевала идея солидарности и, по тогдашнему временному ощущению не меньше, чем за 200 лет до Леха Валенсы, я мечтал о совместной судьбе (и – борьбе?) литературных неофициалов. Как же, мол, так – официалы в спайке, а мы нет, и потому мы бесправны:

Солидарность, кричу, солидарность!

Так начиналось одно из моих тогдашних стихотворений. Напрасные мечты: сам не умел я кучковать, гуртовать людей, давать им направление или ими манипулировать, но и не терпел, чтобы это проделывали со мной. Как раз в то время ко мне обратился Довлатов (как вначале мне показалось, всерьёз) с идеей самиздатского сборника, наподобие несбывшихся „Горожан“:

– В общих чертах всё уже „обмозговано“, извините за этот советизм, – надо только изобрести хорошее название.

– Название? Вот оно: „Быть или не быть“ без вопросительного знака!

– Зачем же, к чему здесь пессимистическое „не быть“? Мы как раз хотим именно „быть“.

– Потому что символически – все мы принцы датские. К тому же у меня есть стихотворение, дающее на знаменитый гамлетовский вопрос – ответ, и не только мой личный: „Быть и противобыть“. Такая строчка могла бы даже стать девизом...

Приставка „противо-“ Довлатова явно не устраивала. Он был нацелен на профессионализм, на гонорары, – наверное, даже на членство в СП, отнюдь не на солидарность отверженных. А ответил окольно:

– Вы хотите назвать общий сборник по Вашему стихотворению? Не слишком ли это... нескромно?

Затея сама по себе оказалась ещё одним дохлым номером. Впрочем, она состоялась, но не тогда и не там. И – без меня. Однако, „нескромность“ стала умест-

ной, когда величали другого автора. Второго ноября 79-го года я буквально с неба свалился в Нью-Йорке. Посадка была произведена пилотами „Аэрофлота” довольно мягко, и уже через неделю, полный планов и ожиданий, с запасом рукописей, своих и чужих, объёмом на несколько альманахов, я связался с Довлатовым, а он меня познакомил со своим соседом, застенчивым и лысоватым Гришей Поляком (ударение на первом слоге), который работал в башнях-Близнецах механиком по системам вентиляции и одновременно создавал своё издательство „Серебряный век”. Типичная американская мечта, не правда ли? И, что самое интересное, она уже сбывалась. Первый блин был некоей „Кукхой” Ремизова, но дальше Поляк готовил к выпуску новый литературный альманах, – „так не хотели бы Вы поучаствовать?” Ещё бы! Очень бы даже хотел.

– Я пока не уверен относительно названия... Как Вы думаете: „Шум времени” подходит для альманаха?

– Замечательно подходит! Мандельштам на обложке нового периодического издания – что может быть лучше? Это объединит многих.

Но нашлось лучше, гораздо лучше по мнению Довлатова и редколлегии, где были, конечно, „все свои” и все единомышленники. Барышников вложил деньги, и альманах вышел под названием „Часть речи” с портретом Бродского на обложке. Разумеется, своих материалов я туда не давал, а последующих выпусков я уже и не видел.

Перенесу память обратно, в тот ленинградский денёк, когда я шёл познакомиться поближе с легендарным Ридом Грачёвым. Погода отсутствовала начисто, как это нередко бывает у нас в Ингерманландии, заменяясь на сырую сквозящую серость, выраженную не только состоянием неба, но и нашей демисезонной одеждой. Цвет мокрого асфальта, присущий эпохе, был даже моден в те годы и назывался „маренго”. Ну, что сказать о нашей встрече? Мой собеседник был с виду неказист, если не сказать мозгляв. Белесыми проницательными глазами бывшего детдомовца он окинул меня и сразу предложил:

– Пойдёмте-ка поедим где-нибудь, а то я проголодался. Поищем какую-нибудь пельменную, что ли...

Пельменная, конечно, тут же оказалась за полквартала. Да на шашлычную я бы и не потянул. Прикидывая свой бюджет, я соображал: если он заплатит за себя, то у меня должно будет хватить на порцию „сибирских” плюс пиво. Тогда интеллектуальная беседа польётся сама собой, весело и витиевато закучерявливаясь жигулёвской пеной. Рид безжалостно окоротил мои фантазии:

– Но денег у меня, увы, уже который день – того-с...

– Что Вы, что Вы, я заплачу, какие тут могут быть сомнения?

Я заказал две порции скользких, дымящихся в холодном воздухе пельменей и, уже смиряясь с отсутствием пива, стал растворять горчицу укусом для подливки, как вдруг услышал Рида, обоняющего свою порцию:

– Пахнет только что изверженной спермой.

Отодвинув тарелку, я вышел, выпустив порцию пара из двери забегаловки, и больше уже никогда не видел этого человека.

Использование своего дара или, если хотите, своей „гениальности” (в кавычках и без) не ради служения литературе, а ради личных целей – явление не новое. В конце концов, это и есть профессионализм, не правда ли? Но верно и то, что цели могут быть вовсе неблагоприятными, даже шкурными: принудить женщину к близости или отомстить ей за отказ, очернить репутацию противнику, – да чем это лучше общерас-

пространённого чиновничьего греха „использования служебного положения“? Ну, разве что тем, что „гений“. При этом надо кивать на пушкинский тезис о несовместности его со злодейством. А если этот гений безо всяких кавычек пользуется семейным гостеприимством, а потом пишет на хозяйку сальную эпиграмму „Один имел мою Аглаю“? Трудный вопрос, который заставляет задуматься о том, кому даётся и кому принадлежит божественный дар – неужели вон тому чернявому живчику? Или же это – надмирное понятие, дух извне, который свободно облюбовывает избранника и, садясь ему на плечо, нашёптывает то „Гильгамеш“, то „Кубла-Хан“, то оду „Бог“, то „Пророка“, или же „На воздушном океане“, или „О чём ты веешь, ветр ночной?“, либо даже диковинное „Кикапу“, а то и вовсе неведомое критикам и историкам литературы „Пели-пели-пели, пили-пили-пили“? Разумеется, на чьём-то плече гамаюн засидится подольше, вот и песен появится больше, но и у певца разведётся оттого больше иллюзий относительно своей запредельности добру и злу, а то и, наоборот, о своём праве судить и даже карать неудобных, – ведь слово есть власть.

Эпиграмма – изящное средство, в чём-то подобное фехтованию, с той только разницей, что о рапирных наскоках и выпадах противник узнаёт одним из последних, когда уж проколот. Конечно, можно и проще: обозвать пожилую сплетницу „трупердой“ и получить в ответ диплом рога носца, – действия, лишь с большой натяжкой относящиеся к литературным. Впрочем, собственно литература вооружена и более сильными средствами, и пародия – одно из сравнительно добродушных. Басня, сатира – вот крупнокалиберные жанры, палящие картечью, но не по личностям, а по обобщённым мишеням, которые скорей прячут, чем обличают караемую персону, потому как тут подвергаются бичеванию не люди, а их пороки.

Ну, а если ты гений и жаждешь отомстить конкретным лицам, то о правилах забудь, этику-эстетику тоже, бери в руки суковатую дубину и, в духе Гая Валерия Катулла (не путать с Валерием Туром!), гвозди ею, дубась по мозгам – и свою ветреную возлюбленную, и кого там она предпочтёт тебе – всех внуков Рима, которых тешиг она по подворотням, вплоть до небезызвестного Кая Юлия Цезаря:

*Чудно спелись два мерзких негодяя,
кот Мамурра и с ним распутник Цезарь!
Оба в тех же валяются постелях,
друг у друга девчонок отбивают...*

Вот это уже будет не иносказание, а прямая инвектива, порицание, персональное поношение, и кого? – величайшего властелина и его глав-интенданта. На такое, как выразился когда-то Кирилл Косцинский, у современных поэтов „кишка тонка“, но это смотря у кого. Например, Маяковский официально именовался тогда „наш современник“, а как он лущевал дубиной по головам, и не только буржуазным, но и литературским: Корнея Чуковского, Игоря Северянина, Ильи Сельвинского, Георгия Шенгели, и всё – внутри текстов, постранично прошгемпелёванных „гениально“, „гениально“, „гениально“. Пусть трижды три так, и даже в квадрате и кубе, но всё-таки разрушительно и, что надо обязательно отметить, само-разрушительно как в переносном, так и в буквальнейшем смысле.

Властелина, однако, он почтительнейше похвалил. А вот у Мандельштама хватило-таки куражу, – он, как Давид из пращи, вlepил свою сатиру не в бровь, а в глаз даже не Голиафу, а Полифему власти. И жизнь смельчака стремительно сократилась.

В нашу пору ничего подобного не было, – дерзили разве что в анекдотах. Но вот Андрей Сергеев переложил в стихах на русский лоренс-даррелово поношение адмирала Нельсона, и мы подивились заново открываемому перед нами жанру. Ни

на Голиафа, ни на Полифема, ни тем паче на маршала Жукова (сухопутный вариант Нельсона) никто, разумеется, пойти не решился. Разве что Волохонский полыхнул спичечной вспышкой негодования и приложил её к общему нашему приятелю:

*Германцев, ты за что меня хулишь?
Германцев, ты об этом пожалеешь!*

А тому и жалеть-то было не о чем. Между тем, рядом с нами тайно рождалась великая книга о Гулаге с таким зарядом правды, что легионерская поступь Государства о неё споткнулась. Полифем засеменил, замахал руками и в конце концов рухнул, развалившись на части. Но то было позднее.

Вернувшийся из архангельской ссылки Иосиф в числе своих литературных сюжетов принял и за меня. А поскольку я написал „Новые диалоги доктора Фауста”, он вдарил по первоисточнику: „Их бин антифашист и антифауст” и далее в том же макароническом стиле прошёл, пародируя Гёте.

*„Искусство есть искусство, есть искусство”.
Какая мысль! Какая бездна вкуса.
Немедленно внести её в анналы.
И вывести чрез нижние каналы.*

Здесь уже я цитирую свой ответ на его нападение, в котором привожу ту пародию. Забавная штука поэзия: палимпсест, да и только.

В пору своих местаний Марина, она же Марианна Павловна, сказала мне:

– У Жозефа есть теперь новый принцип в стихах. Он называет его „ярость”.

Чуждое ей словцо, произнесённое её губами-устаами, её нежным шелестящим говором, взорвало меня:

– „Ярость”! Она же ослепляет. Это же – неистовство. Нет, моим принципом будет истовость. Истовость!

Какие результаты приносит новый принцип Иосифа, я долгое время не мог узнать: только намёки, только сочувственные взгляды знакомых. Марина ни на какие расспросы разъяснений не давала: „не помню, не знаю”, и всё. Сказала лишь название стихов – „Феликс”. Почему именно так? Во-первых, по-латыни это значит „счастливец”. А во-вторых, так звали Дзержинского. Наконец, появился у меня друг „Германцев”, восполняя возникший, сознательно или случайно, многомесячный перерыв в наших общеньях, пришедшийся как раз на разгар моего конфликта с Бродским. Он сказал:

– Хочу тебя предупредить. Или – просто сообщить, что Иосиф написал стихотворение и, кажется, не одно, которое он адресует тебе. Очень, очень отрицательное...

– Я догадываюсь, но ничего толком не знаю. Пожалуйста, достань, дай мне его прочитать! Пойми, мне необходимо знать, что делается за моей спиной...

– Понимаю. Но текста уже не существует. Мне вчера удалось убедить Иосифа, что эти стихи действуют не в его интересах. Точней – против него же. Он при мне порвал оригинальный список.

– Да, чтоб какой-нибудь Б.Б. собрал, благоговейно расправил и склеил клочки воедино?

Германцев лишь воздел глаза к потолку, но так, или приблизительно так оно и было: текст сохранился. И вот, наконец, я эти стихи увидел. Иосиф уже уехал, и со времени их написания прошло уже, наверное, лет десять. Владимир Марамзин принял тогда амбициозную затею выпустить в самиздате „Полное академическое собрание стихотворений Бродского”. В 5-ти томах. С вариантами и разночтениями. С

комментариями. Самым смелым здесь было слово „академическое” и, конечно, коммерческий размах предприятия, которое опшачивалось по солидной подписке.

Я тогда только что въехал в образовавшуюся у меня как результат семейного обмена комнату в коммуналке на Петроградской стороне, рядом с „домом Горького”. Как раз между этим и моим домами обитал бывший ихтиолог Женя Егельский, которого я встречал в компании литераторов-универсантов выпуска Арьева и Чирскова, – среди них бывали Довлатов. Их приятель Егельский, семьянин, любитель коньячка и заменяющих его средств – от настойки календулы до стихов Бродского – оказался моим добрым соседом. Вот он-то и принёс мне машинописные коленкоровые тома драгоценного издания, на которое он подписался в пай с кем-то ещё. Я прочёл стихотворение „Феликс”, и кровь застарелого негодования бросилась мне в голову. Нет, не то, чтобы „узнал себя и ужаснулся”, – вот именно, что наоборот: ничего похожего, и более того – такие пошлые гадости, которые мне и в ум-то не приходили, а в его опыте, возможно, существовали. Ну, например, стакан, который его антигерой прикладывает к стенке, чтобы лучше услышать звуки совершающегося там сонитя. Отражённо почувствовав прилив той самой ранее упомянутой „ярости”, я стал набрасывать ответ „Счастливец – Несчастливец” с подзаголовком „Анти-Феликс”:

*Десятилетие ко мне ползущий,
твой пасквиль я прочёл. Теперь послушай.*

И дальше – по пунктам. Разумеется, я не стал его широко пускать, показал лишь тем из общих знакомых, кто могли быть подвержены действию изначального атакующего текста, прежде всех – Егельскому. Я даже передал ему экземпляр для Марамзина с предложением, чтобы тот учёл мою „кумулятивность” и принял к сведению способность к самозащите. Это, кажется, было усвоено.

Но Германцев оказался прав: Бродский одним этим текстом не ограничился, и толкователи „академического” издания то казали перстом в мою сторону, то тыкали другим ещё куда-то внутрь тома. Ну, и что? Пусть их, пройдёт и забудется, – напрашивается разумное замечание. Но наступила пора исследователей, копающих глубоко, – чьи выводы, однако, бывают плоски. С другой стороны, и друзья не упускают случая подчеркнуть какую-нибудь питательную цитату. Вот что писал мне Давид из города Провиденс, штат Род-Айленд, в октябре 97-го года:

„Дима, дорогой, я знал эти стихи с момента их публикации. Я не хотел тебя огорчать. Но ни один из его и твоих братьев по сиротству не то, чтобы не ответил ему или оскорбился за тебя, они продолжали кормиться из его рук. А ты их славил. Может, и теперь не надо было тебе показывать эти стихи. Он не был евреем и не был христианином. Он был дьяволом, и потому – гением. Я не двусмысленен. Я только вижу в нём гения и скорблю. Твой любящий друг, которого ты никогда не понимал.”

Я ему тогда же ответил:

„Милый Додя, спасибо за дружеские чувства. Спасибо также за указание на враждебный намёк, направленный против меня. Ставлю его в разряд многих и порой очень практических выпадов, к которым я почти привык. Когда я узнаю о подобных вещах, я стараюсь выработать противоядие и затем принять свои меры. Я ведь человек с пером, с этим надо считаться. Где-то в последние годы Иосифа (и думая о конце своих лет) я печатно попросил у него прощения и простил ему сам. Также и Толю, и Женю. Как можно было предугадать, Иосиф это проигнорировал.

Да, известная сцена из „Фауста” в ранней жизни Иосифа вполне могла быть разыграна. Но „гениальность” Бродского мозгу признать лишь условно – отнеся её к тому же типу, что и „гениальность” Брюсова: бриллианты, оказывающиеся углями.

Присутствовавший на „венецианской инсталляции” Германцев подвергся пинкам Женички и Сашечки. Под впечатлением этого он позвонил мне (из Москвы!) и сказал, что он почувствовал, как трудно быть мной. Я думаю, трудно быть собой – каждому, поскольку, пока жив, не знаешь, кто ты есть в окончательном смысле.

Будь счастлив и здоров.”

Давидов сын тоже пошёл по литературной стезе и стал славистом. Его заинтересовала эта конфликтная тема из хронологического и географического далека, и он сделал доклад на ежегодной встрече Ассоциации американских славистов. Там он дерзко сопоставил произведение Бродского „Похороны Бобо” (а Бродский ведь ни с кем не сопоставим!) с циклом моих „Траурных октав”, уверяя, что и то, и другое адресовано памяти Ахматовой. Ну, „Октавы” – это точно, этого и подтверждать незачем, но из сопоставления выходит, что Ахматова для Бродского и есть „Бобо”. Какой ужас! Я бросился спасать молодого человека, прежде чем он вздумает переделать доклад в статью и где-нибудь её напечатать:

„Милый Максим! Спасибо за тёплое письмо и за учёную, умную статью. Есть с чем поздравить автора: материал совершенно новый, и его много. К тому же научное внимание для меня непривычно и интересно. Вообще по моей части всё в порядке – „Тр. Октавы” проанализированы весьма тщательно: и по форме, и по содержанию. Непонятно лишь одно толкование, касающееся стихов Бродского: неужели „Бобо” – это Ахматова? Как же он мог дать ей такую собачью кличку? Неужели в таком гаерском тоне можно писать о смерти великой поэтессы, дарившей его при жизни своим вниманием и участием, посвятившей ему, наконец, великолепные стихи? Кем надо быть, чтобы по ней проливать шутовские „сырные” слёзы? Или писать о ней в строку с какими-то „Кики или Заза”, напоминающими прозвища жеманных кокоток? Нет, Максим, не верю. Здесь не может быть Ахматова, дело в другом. Рискну предложить Вам моё понимание – слишком, может быть, личное, но более правдоподобное. Вы, вероятно, слышали, что мы были с Иосифом не только литературными соперниками. Также в то время любителями интересных слухов распространялось повсюду, что некая особа, увы, никак не могла остановить свой выбор на одном из нас. Однажды я решил, что это – всё, баста, и один из её уходов посчитал последним. Вероятно, Бродский торжествовал, узнав, что соперник устранился, или, выражаясь иронически, „бобик сдох”. Не надо обладать особенным воображением, чтобы вывести бобика из моей фамилии. А чтоб звучало ещё обидней – Бобо, к тому же женского рода. Однако, „шапки недолой”, то есть торжество не полное. Во-первых, всё-таки жив, а во-вторых пишет, и пишет интересно – например, срацивая свой текст с текстом Пушкина. Значит, надо прочесть назидание: негоже, мол, прокалывать бабочек адмиралтейской иглой. А главное – надо высмеять, то есть магически превратить соперника в жалкий объект и затем убить его словесно. Тут-то и появляется „новый Дант”;

который ставит своё заключительное „слово“. Но какое и как? Конечно, так, чтобы рифмовалось, то есть – „херово“.

И Вы, Максим, продолжаете думать, что всё это – о похоронах Ахматовой? Лучше уж я сам окажусь мишенью насмешек, чем подставлять её имя. Впрочем, я не хотел бы делать это объектом новых научных изысканий.”

Увы, письмо это не было принято ко вниманию, и статья появилась в одном из „Славянских обозрений“.

Возвращаясь к тем временам, когда шла вторая, литературная фаза нашей распри с Иосифом, я замечал, что он не только стремится прочь из культуры, его породившей, но порой даже атакует её. Поздней я говорил об этом публично. В январе 1988-го года отмечалось 70-летие Солженицына. Коллекционер и общественный активист Александр Глезер собрал довольно большой форум в нью-йоркском Хантер-колледже и пригласил меня. В моём докладе я сделал сопоставление, которое уже давно просилось быть высказанным.

Два лауреата

1970-1987: семнадцать лет, целая литературная эпоха разделяет эти два русских нобеля, два лауреатства, столь непохожие между собой. Проза и поэзия как бы поменялись местами. Окажись оба в одном измерении, напористый идеализм прозаика встретил бы скептический отпор поэта, – настолько они разны. А ведь, кажется, и пространство у них одно, российско-американское, мировое, да и время то же, что у нас, их скромных читателей и современников. И хотя „технически“ наши лауреаты принадлежат к разным поколениям, все геройства, злодейства и тяжкие мерзости эпохи стали для каждого из них персональным опытом.

Даже война, которую один встретил воином, а другой младенцем, могла оказаться убийственной для обоих, – душевные травмы, как известно, бывают тем глубже и болезненней, чем нежнее возраст. Да и младенцы в войну мрут почти столь же часто, что и новобранцы...

Был и Гулаг у обоих, и тоже, по их соответствию, разный.

Однако я хотел бы сравнить не творческие биографии, а лишь литературные репутации, то есть сопоставить два умозримых памятника, которые уже существуют, вылепленные и отлитые, во мнениях равнодушных современников.

Конечно, у каждого писателя есть свой читательский круг (что – трюизм), и не обязательно кругам этим совпадать или пересекаться. Так, в сущности, и бывает, но только не в этих двух случаях, которые переросли из событий литературных в жизненные и общественные события, захватившие разом все читательские, и даже не читательские круги. Одним важней текст, другим – судьба, и не так-то легко отделить одно от другого. Часто именно внелитературные обстоятельства влияют сильнее всего на восприятие, – как, например, романтическая дуэль Пушкина, открывающая сочувствующие сердца юношества ещё, собственно, до сознательного прочтения стихотворных строк. Эту мысль очень точно, хотя и несколько картинно выразил в нобелевской речи Альбер Камю, сравнивший писателя с гладиатором на арене, от которого публика требует крови.

Действительно, если не буквально крови, то, можно предположить, пота и слёз пролил лауреат-прозаик достаточно, чтобы защитить от посягательств властей свой труд, и жизнь, и личное достоинство, и, главное, чтобы стать и оставаться голосом миллионов замученных душ, причём, после премии ещё более громоглас-

ным, чем до неё. Его вызов чудовищу непомерно сконцентрированной власти, вызов смелый, праведный и почти одинокий заставил всех нас, затаив дыхание, следить за перипетиями той заведомо неравной борьбы.

Необычно и его нобелевское лауреатство. Ведь чаще всего эта премия оказывается пышным надгробием для ослепленных авторов, после чего они просто тонут в лаврах. В его случае премия пришла вовремя, в самый разгар поединка. Тексты – само собой, но на уровне простых символов важнее, чтобы добро победило зло. При этом силы добра, конечно, персонифицировались в героической личности автора.

К тому времени масштабы его писательской мысли раздвинулись и вширь, и вглубь: уже не только трагедийный *архипелаг*, но весь катастрофический *материк* русской новой истории стал темой и содержанием грандиозного замысла романиста. Тем не менее (и здесь-то начинается непонятное) в западной и эмигрантской прессе прокатился какой-то холодок, как от хорошей сплетни, чувства заметно смешались, стали противоречивыми. Прозаик-лауреат начал впадать в немилость если не у читателей, то у некоторого, всё умножающегося числа критиков. В мировой публицистике наметились попытки дегероизации писателя, едва ли не скоординированная кампания, сходная с волной клеветы на него в советской прессе десятилетием раньше.

Параллельно этому (или даже в связи с этим) происходило стремительное восхождение другого нашего лауреата, поэта, к высшим литературным почестям. С ранних 60-х всё ему споспешествовало: он вошёл в узкий кружок независимых интеллигентов, где взылал, да и снискал себе репутацию будущего гения, его представили Анне Ахматовой, даже гонения обернулись ему, в конечном счёте, на пользу, а вступление к книге его стихов, изданной на Западе, начиналось с немисливо выспренной фразы о том, что он „впервые возводит русскую поэзию в сан мировой“. Если в этом странном утверждении был какой-то толк, он заключался лишь в том, что поэт, действительно, лез из своего языка и культуры, как из кожи. Его ранние поэмы имели местом действия некий общеевропейский ландшафт. Да и в дальнейшем, если освободить „космополитизм“ от советского осмысления, именно это свойство всё больше стало определять манеру и лексику поэта: латинские названия и эпиграфы, английские посвящения и заимствования стали ему присущи и характерны.

И язык поэм стал всё более отходить от слова – к фразе, строфе, периоду...

У лауреата-прозаика, наоборот, слог становится всё „узловатей“, каждое важное слово он делает наиболее русским, даже областным „по Далю“, что полностью соответствует его замыслу, сосредоточенному на узловых моментах русской культуры и истории, а также на его симпатии к земским формам народной жизни. Соответственно с этим, западная либеральная и русскоязычная эмигрантская пресса усиливают нападки на писателя: „монархист“, „враг демократии“, „русский аятолла“, „ангисемит“.

В полную противоположность прозаику, поэт в лучшем случае равнодушен, а то и саркастичен по отношению к русским культурным ценностям и даже святыням: князя-великомученики Борис и Глеб у него „в морду просят“, или „хочут“, уж не помню, как там точней... В прессе по этому поводу ему не было высказано ни упрёка, – он был вообще вне критики. Всё же некоторые моменты шокируют даже самых горячих поклонников поэта, как, например, Льва Лосева, который попытался задним числом сгладить, чуть ли не влезая в черновики, замазать слишком уродливую строчку, например, в описании отечественной вечеринки, заменив „кучу“ на „кучера“. Представленный публике через отзыв поэта-лауреата о нём,

Лосев оказался тем критиком, который разом высказывался о двух русских живых памятниках. Поэтому его суждения можно взять за „общее измерение” для этих, иначе никак не пересекающихся, фигур. Он издаёт ряд статей о творчестве увенчанного лаврами стихотворца, редактирует целый сборник исследований на эту тему. Но даже если Лосев-критик пишет о чём-то другом, то любая тема оказывается для него предлогом, чтобы послать комплимент поэту.

Неисключением в этом смысле было и его исследование о лауреате-прозаике, названное, по-видимому, с иронией: „Великолепное будущее России”. Напечатанное в виде статьи в *Континенте* в 1984-ом году и вскоре транслировавшееся по радио *Либерти*, это эссе вызвало целую бурю по инстанциям. Дело в том, что по виду оно являло литературоведческий разбор одного из главных эпизодов исторической эпопеи прозаика, а по сути имело совсем иные, публицистические цели, что совершенно ясно становится видно из логики статьи, а также из полунасмешек её обрамления.

Сам замысел романа ставится тут под сомнение, снижается ухмылкой о том, что „грандиозность проекта вызывает комические протесты у студентов и преподавателей...” На это же снижение работает и эпитафия из „Мёртвых душ” о колесе дрянной чичиковской брички, явно выбранный по аналогии с „Колесом” эпопеи. Поэтому читатель уже подготовлен, когда критик берёт один из важнейших эпизодов романа (но всё же не единственный и не центральный) и ставит его в самый центр романа: убийство русского премьер-министра Столыпина евреем-террористом Богровым. Учитывая мнение писателя (а критик с ним по-своему согласен), что вместе со Столыпиным были убиты тогда и великие реформы, и „великолепное будущее России”, можно понять, что Лосев навязывает повествователю некий композиционный намёк: смотрите, мол, кто погубил Россию! Но критик осторожничаёт и не хочет сам тыкать в великого писателя. Для этого достаточно сослаться на соответствующие страницы других экспертов-обвинителей. Если не лениться их полистать, можно прочесть такое: „Писатель поступает как заправский советский журналист, что выкуривает с наслаждением жида из благопристойно звучащего русского имени”. И даже ещё похлеще. Лосев же, наоборот, пытается из прозаика „выкурить антисемита”, для чего он, переставив композиционные акценты, обостряет еврейскую тему. Однако, этого мало: он хочет показать „зоологический” антисемитизм прозаика, – тогда читатель сам сможет ткнуть в него пальцем.

И он приступает к этому занятию: выстраивает столбцы эпитетов, сравнивает описания жертвы и убийцы, сопоставляет и – к чему же он клонит? Как заметил Жорж Нива, известный швейцарский славист, „...Речь идёт о мифологеме змеи: молодой еврей-убийца уподобляется – через размышление о змее – Сатане... Вот, по Лосеву, ещё одно свидетельство мифологемы змеи: он извивается!” Спрашивается: а чему же ещё уподобить терроризм, это зло в чистом виде, как не библейской змее, „в пату жалаящей”? Нет, Лосев уверяет нас, что этот Змий заимствован прозаиком из „Протоколов Сионских мудрецов”!

Так и представляешь сцену: писатель клянётся в верности фактам, положив руку на Библию, а критик выхватывает из-под руки клянущегося Книгу книг и подсовывает вместо неё „Протоколы”.

Итак, логика рассуждений этого критика пытается привести нас на самый порог довольно гнусного вывода о великом писателе, в то время как стиль и слог статьи маскируют это намерение побочными рассуждениями и даже рассеянными комплиментами, – однако, какими? Да, в одном месте Лосеву понравилась фраза из

романа, но он тут же эту похвалу отнимает у прозаика и передаёт своему любимцу-поэту, у которого сходная фраза была, кажется, лучше (или раньше)...

И всё-таки, даже в контексте других нападок на писателя – откровенных, оголтелых – эта попытка Л. Лосева кажется настолько опасной из-за её коварства, что хочется ещё и ещё проверить себя по другому источнику: нет ли тут ошибки, так ли уж предубеждён этот ядовитый критик против писателя?

Увы, в других сочинениях „нового Вяземского”, как его рекомендовал поэт-лауреат, любивший сравнивать своё окружение с пушкинским, неприязнь выражена ещё резче. Вот, например, стихотворение „Один день Льва Владимировича”, – не правда ли, это название чем-то нам знакомо? Мы читаем:

*... За окном Вермонт...
Какую ни увидишь там обитель:
в одной укрылся нелюдимый дед,
он в бороду толстовскую одет
и в сталинский полувоенный китель.*

Здесь уже, что ни слово, то деталь злой карикатуры на знаменитого „вермонтского отшельника”, изображённого как гибрид Толстого и Сталина с накладной бородой... Что ж, Лосев-стихотворец выражается вполне откровенно, а вот Лосев-критик, адресуясь к „не-читающим” кругам публики, как мне кажется, перемудрил. Отсюда и скандал на радио *Либерти*, когда в результате его самого обвинили в антисемитизме, что, конечно, нелепо. Как выразился по этому поводу мой давний друг, хорошо знакомый с кухней пропагандных заведений: „Своя своих не познаша...”

В конечном счёте, нельзя не задать этот горький вопрос: почему? Отчего с таким остервенением критики набрасываются на прозаика-гиганта? Не действует ли здесь, по Крылову, комплекс маленькой и очень злой собачонки? Возможно и это... Но главное в чём-то другом. Любопытно, что многие обвинения против писателя строятся вокруг такого вопроса как его национализм, хотя он себя националистом и не провозглашал. Само это понятие трактуется настолько широко, что границы его определения расплываются.

Тем больше неразберихи в оценке различных национализмов: например, так ли уж великолепен польский национализм? А эстонский, латышский, литовский? Существует ли национализм еврейский, а также хорош ли украинский, и чем плох русский? И почему за одним народом он признаётся, а другому отказан?

На эти вопросы трудно ответить, хотя чувство подсказывает простую аналогию между достоинством национально-культурным и личным. Иначе говоря, всяка может уважать себя, но только не за счёт унижения других. Если принять это немудрёное правило, то сколько же отпадёт напраслин, обид, жёлчи и, в особенности, пеннокипящего публицистического гнева!

Итак, у нас есть два лауреата, и оба принадлежат как русской литературе, так и советской эмиграции... Однажды Гёте, говоря с Эккерманом о Шиллере, заметил, что в пору его молодой славы Германия разделилась на две, чуть не до драки враждебные, партии: одна за Шиллера, а другая за него, Гёте, – „вместо того, чтобы радоваться, что у Германии есть разом два таких молодца, как мы оба”.

Не следует ли нам прислушаться к словам великого немца, или же и его следует препарировать по национальному признаку?

Раненное имя

На моей левой руке, на том месте, где отслужившие на флоте, а порой и вполне сухопутные романтики моря обычно выкалывают голубой якорёк, до сих пор виден тонкий прямой шрам. Нет, это не след от выведенной татуировки, – не настолько я безрассуден, чтобы расписывать глупостями свою кожу, но происхождение этот шрам имеет действительно романтическое, а, следовательно, без любовной истории здесь не обойгись. Однако прежде чем назвать героиню моего затянувшегося на года приключения, я должен оговориться. Её имя – вот в чём загвоздка. Я и хочу, и не могу её назвать собственным именем, потому что в пору нашей близости я-то был свободен, а она вела по крайней мере двойную жизнь, восхитительно ловко улаживая все сложности, разделяя себя, не смешивая, между работой, детьми, среднестатистическим мужем, домашним хозяйством и влюблённым в неё по уши воздушителем, то есть мною. Ничего не путала, всё помнила, никогда не горюшила и всюду успевала. Мясник, например, через головы толпящихся протягивал ей свёрток с вырезкой и коротко бросал:

– Столько-то в кассу!

Дело в том, что была она ослепительна, и не только для мужского взгляда, а как бы объективно, в сравнении с неким эталоном красоты, который, конечно, совсем объективным быть не может. Для меня, например, таковым осталась на всю жизнь наша негласная „Мисс Техноложка” Вава Френкель и, платя ей, целиком оставшейся в той поре, дань восхищения, я, пожалуй, займу у неё не совсем обычное имя для своей героини с неременной оговоркой, что она ею никак не является, но лишь подобна.

– Виктория, Вава, – произношу я по слогам, и в сердце литератора открывается сладкая ранка, вместе томящая и утоляющая. Полное имя выражает собой мнимую неприступность и притом победительность моей недотроги, в то время как детская кличка в точности повторяет рисунок её губ, обращённых при встрече. Имя – это её законченная эмблема, это и есть её облик, сильный и нежный, в котором нет ни грама пошлости, как, например, у того сладострастного поэра и педофила, кого вы сейчас вспомнили.

И – даже более. Когда я поджидал её с работы, а служила она в одном из учебных заведений за Александро-Невской лаврой, то, томясь на троллейбусной остановке среди окраинной унылости и запущенности, я вдруг поразился контрасту этого безобразного фона с нею самой, вдруг появившейся, как „соименница зари”. Нет, не зари, а именно Вавы, до боли разъедающей меня, как, может быть, душа – осчастливленное ею тело. И не только меня. Вышла – прямо польхнула красотой по этим заборам, виадукам, складским сараям.

Мы селись в троллейбус, уже изрядно набитый рабочей и служивой публикой, и, довольно скоро миновав индустриальные пейзажи, широкой дугой огибали Некрополь и Лавру, где рядом чернела польньями Нева, да и выкатывали на скучноватую в тех местах перспективу Старо-Невского. Притиснутые толпой друг к другу, мы разделяли между собой эту полуневиновую близость: я – пожирая глазами предмет моих вожделений, она – позволяя себя пожирать. В этом чаще всего и состояли наши свидания, но иногда мы выходили там, где Суворовский проспект с одной из Советско-Рождественских улиц образует косой угол на переломе Старо-Невского в Невский. В том месте, как раз на углу, стояла двухэтажная стекляшка, которую мы облюбовали для наших бестелесных общений.

Вечерами в кафешке, по слухам, собирались наркоманы и клиентура с Московского вокзала, но в дневные часы это было вполне гигиенически опрятное заве-

дение. Надо сказать, даже днём на паву мою здорово пялились, и пока я брал у стойки мороженое или шампанское, она успевала огшиг двух-трёх непрошенных кавалеров. Да я и сам приступал к ней настойчиво:

– Ну, пойдём же ко мне!

Но, честно говоря, идти было некуда. Я, правда, старался заманить её ближе к родовой Тавриге и даже уговорил однажды зайги в мой кубометр. Но открывшая нам Феничка с первого взгляда всю ситуацию прочла и, надувшись, своё отношение к госте выказала с помощью кастрюльных бряков. Та, даже не сняв шубку, развернулась, и мы ушли.

Но пора уже рассказать и предысторию. К тому времени стаж нашего знакомства был довольно продолжительным. Ухаживать за ней, ещё незамужней, я начал давно, причём настойчиво и всерьёз. Увы, именно это её тогда не устроило, она вышла за своего среднестатистического и завела двух детей. Я утешился, но мой первый брак вскоре развалился, а второй не состоялся, и, следуя своей „теории красивых женщин”, о которой я, может быть, ещё расскажу, я позванивал иногда этой, из них несомненнойшей. Расспрашивал. Рассказывал о себе. Вздыхал. И вдруг получил от неё звонок:

– Что ты сейчас делаешь? Если хочешь – можешь зайги.

Час был поздний, дети уже спали. Муж на военных сборах, в отлучке. Ну, решайся же, кабальеро, иначе зачем ты был зван? Но она капризничает, что-то ей не нравится, чем-то она недовольна: собой, мной, стремительностью событий? Что ж тогда было звонить? Об этом я и спрашиваю с досадой.

– Ах, я себя чувствую такой дрянью...

– Поцелуй же меня, дрянь.

Тот вкус я буду помнить с благоговением до конца дней. А тогда мне было недостаточно, началась возня.

– Ты всё теперь испортил. Уйди.

С тяжёлым чувством непоправимого проигрыша я ушёл. Томился. Злился на себя, на неё. Пытался выбросить всё из головы. Но вкус райского яблочка оставался во рту. И вот – звонит опять, голос – чуть со вздрогом, а тембр наполнен уверенной нежностью, силой:

– Эй, как ты? Можешь сегодня встретить меня у работы!

И начались наши лирико-эпические шляния по городу, который, собственно говоря, полностью участвовал в них сам-третей, но не лишний, дразня и отталкивая закоулками лестниц, изгибами каналов, проходными дворами и порой убогим уютом стекляшки на углу Суворовского и Первой. Разумеется, какая-либо телесная разнужданность между нами была исключена, но доставались мне время от времени знаки её нежности, срывался иногда поцелуй, грозивший разразиться сценою у фонтана или же у балкона, но тут же ею бывал остановлен.

В этом смысле многочисленные ленинградские музеи были спасительным убежищем для бродячих любовников, особенно в ненастную пору. Впрочем, мы были разборчивы: идеологическая и связанная с ней военно-патриотическая тематика нам не подходила. Ни на борт крейсера Аврора, ни в особняк Кшесинской, где был Музей революции, мы – ни ногой, а вот в Летний дворец Петра зайги было можно. Даже музей почвоведения им. В.В. Докучаева между Биржей и Пушкинским домом годился в качестве укывища, чтобы переждать заряд мокрого снега. Но, конечно, почти бесплатные тогда Зимний дворец и Эрмитаж были заповедниками для наших прогулок. Километры и километры озлащённых, омраморенных,

малахитовых и златотканых залов стлали перед нами улицы и площади своих узорных паркетов. В окнах открывались прославленнейшие виды, на которые из дворцового тепла можно было глядеть без содрогания.

Конечно, я и прежде бывал здесь в лирических путешествиях и, натолкнувшись на какой-либо знаковый шедевр, испытывал укол ностальгии, нанесённый мне из прошлого. Смущаясь, я обходил стороной укоряющие меня картины или скульптуры, но тени былых переживаний растворялись в наступившем „сейчас“, которым распоряжалась она, та, которую я почему-то избегаю называть даже её заёмным именем Вава. Соименница Вавы.

Даже в современном облике она была не чужда дворцовому стилю, но избегала наиболее посещаемых залов, опасаясь, возможно, кем-то быть узнанной. Мы заходили в римские и греческие интерьеры первого этажа, оставленные бюстами и чернофигурными вазами, где Венера Таврическая настолько успешно клонировала стати моей подруги, что сама казалась каменной тавтологией. Другое дело – узкие, как пирамидальные коридоры, зальцы Древнего Египта, где я не бывал со времён школьных экскурсий. Сидящая фигура царицы из чёрного базальта со львиной головой прикрыла нас на мгновение от наблюдательных сторожих. Спасибо, Ваше фараонское величество! Из таких мгновений и состояли наши теперешние экскурсии. Вот мы у мраморного медальона ещё одной Афродиты – на этот раз ренессансной, французской. Или – во дворцовой церкви, где выставлены камни и мелкая пластика из фарфора и фаянса. На всё это, как и на нас самих, вдруг брызжет солнце сквозь верхние окна из разорвавшихся где-то над нами балтийских туч. Позолота убранства, в этот миг совсем не излишняя, вызывает счастливое, до слёз, ослепленье.

А вот мы стоим перед Амуром Кановы, куда её тянуло больше и чаще всего. Белый почти до свечения мрамор. Сверхискусное изображение тел, сияющая их нагота. Наверное, даже слишком балетное изящество поз и пропорций. Прежде я этот ренессансный китч за версту обходил. Но сейчас она говорит:

– Смотри!

И я вижу: душа. Действительно, Психея. Тонкие до полупрозрачности пальцы любовного бога держат нечто ещё более хрупкое: бабочку, тоже из мрамора. Душа, или душенька, или же Псиша, нежнейше склонилась над своей эфемерной эмблемой. И я изменил прежним заветам. Хватит. Красивое это и есть красота.

Большие манёвры

И вдруг наше паломничество по афродитам и амурам насильственным образом прервалось: меня вызвали в военкомат. То, что я посещал военную кафедру в институтские годы, даже во время академического отпуска, дало свой результат, меня выпустили со званием офицера запаса. Освободив от солдатчины, это лишь изредка обременяло „переподготовкой“, от которой несложно было и отлынивать. Но не в этот раз! Мне дали 2 часа на сборы, пригрозили на всякий случай серьёзными неприятностями за уклонение от „священного долга“, да и отправили на общевойсковые манёвры. Пусть игрушечная, но война, и вместе с тёплыми носками и бритвенным прибором я бросил в сумку „Илиаду“ в переводе – кого ж? – Гнедича, конечно, справедливо полагая, что и на войне могут случиться периоды ожидания и скуки, когда уместно будет стряхнуть пыль со старика Гомера. Учения назывались „Двина“, а которая из двух Двин, имеющих на карте, это мало кто знал на отдалённой платформе Московского вокзала, где стояли толпой такие же, как я, отловленные недобровольцы. Кто-то читал в газете, что „Двина“ эта – Западная, но

когда подали поезд и все рассовались по бесплацкартным местам, выяснилось, что мы едем как раз на Север. Не на Северную Двину, однако, а ещё дальше к Полярному Кругу, на Кольский полуостров, а именно – в Колу. Должно быть, весьма многоумно с точки зрения стратегической было замыслено наше передвижение.

Ключья ни городского, ни сельского, а именно железнодорожного пейзажа отбрасывались назад. Столбы, будка, мелколесье, заснеженное болотце, снова столбы, мост. Спать, спать, не считать же столбы! А зачем я взял с собой „Илиаду”? Забавно было читать эти великие гекзаметры, подскакивающие на каждом стыке рельс и оттого образующие непредусмотренные цезуры и спондеи. Я стал помогать себе, произнося их вполголоса, и тут они точно сели в размер колеи и воистину заговорили. Ахейские генералы собачились высокопарно по поводу полонённых особой женского полу и дележа прочей добычи. Повелитель мужей Агамемнон явно злоупотребил положением главнокомандующего; теперь Ахиллес богоравный его шангажировал, то грозя дезертировать со своим войском, обнажив ему фланг, то напуская на него походного прорицателя. На провокацию повелитель мужей не пошёл, хотя озлился ужасно, поносил богоравного так и эдак и позорил всячески. Всё ж пришлось ему согласиться на передел, хотя и частичный. Компромисс многоумный достигнув.

Кто-то придумал слащаво, что гениальный слепец свои ритмы подслушал у плеска эгейских волн. Цезуру это как-то объясняет, не спорю, но спондеи? Их можно услышать скорей в перестуках и перелязгах колёс по рельсовым стыкам, в скрипах и скрежетах буферов на разъездах.

Между тем, вот и Мурманск. Буро-заснеженные сопки, силикатного кирпича многоэтажки, чернота Баренцева моря и траулеры у пирса. И – круглая, как земной шар, туча с пятиминутным зарядом мокрого снега, залепающим этот вид.

В самой Коле и того нет: сопки да заборы. За один из них и поместили прибывших. Тут мне предстала армейская структура во всей наглядности. Ну, иерархия – это понятное следствие единоначалия. Но какая к тому же сословность, даже кастовость: белая кость и чёрная, баре и крепостные, даром что все тебе товарищи, и товарищ генерал в первую голову. Сдали мы одежду, в обмен получили: офицеры – стёганье на вате штаны и овчинные полушубки, солдаты – шинельки, но все – без погон. Назначен был непосредственный начальник – строевой капитан, глядевший на беспогонных „офицеров” с холодным презрением. Солдат увели в работы, господа офицеры остались играть в солдатики. Набравши в грудь воздуха, заходили в палатку, наполненную якобы отравляющим газом, где, не дыша, должны были натянуть противогаз и сделать несколько приседаний. Потом заведены были в шатёр, пахнувший резиновым клеем и морозом, где получили под расписку личное оружие: пистолет Макарова в портупее. Пока назначались стрельбы, один из господ офицеров забился в падучей. На лицах у сгрудившихся с болезненным любопытством был написан один вопрос: не симулянт ли? Нет, пена во рту мелко пузырилась, заведённые под лоб глаза зияли белками. Наконец, ответили его куда-то под руки. Оружие велели чистить и сдавать: завтра в поход, а на теперь назначен был смотр и присяга.

Долго стояли, переминаясь на морозе. Тут, в лучших традициях отечественной прозы, вдоль строя протрепетало: „генерал, генерал”, и вышел некто плотный, самодовольный и самоуверенный, в привычной для него обстановке. Боевые задачи, понимаете ли, передислокация и дисциплина, дисциплина, дисциплина. Исползовать только по назначению. Строжайше! Ткнул:

– Рядовой! Что у вас во фляге?

Взял, отвинтил крышку, понохал, отшатнулся. Отведя руку, вылил содержимое в снег. Строй сочувственно охнул. Как это он так угадал?

После таких сокрушительных впечатлений всего несколько часов душевного впалку сна, и – подъём! Торопили, вывели в темноте к железнодорожным путям, а теперь вот стой в строю при крепчайшем морозе. Кругозор непроницаем, заперт с боков сопками, слабые фонари лишь усиливают тёмные нагромождения, а над головой – запрокинутая глубина, воистину ломоносовская бездна, полная звезд. Обе Медведицы прямо под куполом, Полярная чуть не в зените, вся звёздная карта неузнаваемо развёрнута из-за близости полюса. Млечный Путь, как никогда контрастно яркий, пересекает прозрачную черноту от одной кромки сопки до другой, но я отыскиваю в нём горсть Плеяд и стараюсь пересчитать их: 7 или 9? От мороза набегают слеза, созвездье мерцает и расплывается. Гигантская судорога вдруг, засветясь, пробежала по бедру Андромеды к перевёрнутой вместе с треном Кассиопее, исчезла, дёрнулась снова, повисла по бокам кисеями, завесила на миг Ориона, препоясанного трёхзвёздно и всю мелко сверкающую свору его Гончих Псов. Вот заходила, загримасничала холодным светом небесная твердь, а земная осталась стоять, как была, и потому от всего спектакля упрочилось чувство несерьёза, небесного капустника, в который пустились играть звёздные боги, цари и чудовища. К тому же, увы, он давался в нецелетном варианте. И грудь богини, укушенная младенцем, проливалась Млечным Пугём над гаснущим зрелищем.

Был подан состав из дощатых теплушек для нас, военной скотины, да из платформ для тягачей и тяжёлой техники. Что ж, делать нечего, надо лезть внутрь, ведь мы с маршалом Гречко играем в войну. Господа офицеры, прежде чем возлечь на нарах, изловили дневального из солдат и приставили его к печурке подбрасывать угли. И застучали опять железнодорожные гексаметры. Стал, наконец, понятен глобальный замысел этих передвижений между двумя Двинами: запутать гипотетического противника, развернуть склады у северных границ и перерубить их к линии западного „фронта” манёвров. Ирония судьбы, между тем, состояла в том, что поезд полным ходом приближался к нашему пункту отправки. Замелькали знакомые названия пригородных станций, сквозь отодвинутую створку двери можно было узнать пейзажи окраин. Теперь уже с долгими остановками состав судорожно маневрировал где-то между Сортировочной и Навалочной уже, собственно, в черте города, вызывая нестерпимую, до ломоты в черепе, тоску по дому. А ведь день-то какой: 8-ое марта! И никуда не уйги, – сколько ещё стоять будет этот поезд, наверное, и машинисту неведомо. Стал я туда-сюда рыскать между путей в поисках телефона, а у самого и монетки нет. Ткнулся в какую-то дверь, там диспетчерская.

– Лапушки и братцы, с 8-ым марта вас всех! Разрешите воспользоваться телефоном земляку и защитнику отечества!

– Вообще-то нельзя, но уж ради такого дня – звоните.

Первым делом – на Таврическую. Мать, всегда такая выдержанная, звучит растерянно: где я, куда, насколько? А я и сам не знаю. С Международным женским днём тебя, мама, и Феничку, и Танюшу, и сейчас ни казёнщины советского праздника, ни затёртости этих слов я нисколько не чувствую.

Теперь звоню по заветному номеру, помню его наизусть. Муж. Ну, тут официальный праздник как раз кстати, предлог совершенно невинный. Вот и она. Обрадовалась, голос напряжён до звона. И в сердце отгукнулось: ты, ты, ты.

После этого – хоть на край света. И опять застучало, заскрипело, залязгало, но уже гораздо веселей. В белорусских перелесках начали выгрузку, в воздухе уже

вигала подтаявшая влага, но сугробы ещё залегали исполинские. Тяжёлая техника их разворотила, начавши солёной, солнце уже начало ноздреватить снег сверху, но к вечеру всё схватилось ледяной коркой. Господа офицеры старались до темноты установить свой шатёр для ночлега. Увы, бока его морщило, углы торчали косо-криво. А солдаты в свою ладную брезентовую палату, на которую было любо-дорого взглянуть, уже начали затаскивать мешки и раскладушки.

– Молодцы, ребята! – похвалил их откуда-то взявшийся капитан. – Постарались для своих офицеров. Правильно. А теперь ставьте свою палатку. Живо, пока не стемнело!

Вместе с остальными господами я ринулся занимать чужой, уже приготовленный ночлег, мне повезло захватить покойную раскладушку в углу, и через минуту я спал.

Резкий свет фонаря, направленный в лицо, разбудил меня, и сознание всплыло из глубокого сна вместе с запомненным отрывком чужого разговора:

– Может, всё-таки неудобно? Мне бы где-нибудь на мешках, что ли...

– Зачем на мешках? Щас на раскладушке будешь спать, как король.

Не понимая, какое отношение этот разговор имеет ко мне, я открыл глаза.

Всё тот же неумолимый капитан стоял надо мной, а с ним ещё кто-то, тоже в погонах.

– Лейтенант, получаете боевое задание.

Когда я вышел в морозный мрак, на раскладушке, нагретой моим телом, уже кто-то дрых, так что принцип, на коем зиждется армейская служба, был усвоен мной аж до самых потрохов.

Между смутно белеющими сугробами ещё днём были разъезжены глубокие колеи, которые ночью накрепко схватились льдом. Ковыляя и оскальзываясь, идти можно было по одной из них, словно по жёлобу для бобслея, но уступить дорогу, случись какой-нибудь транспорт, было вряд ли возможным. Да никакого транспорта и не случилось, все спали, и только я, проклиная злодея-капитана, тащился, с трудом соображая куда и зачем, зная лишь, что надо мне двигаться, а не то пропаду. Одинокой пульсирующей точкой я продвигался в пространстве, переходя от густой темноты к более разряжённой. Наконец, желоба превратились в накатанную поверхность, и я понял, что это дорога, а вдали показался просвет. В сущности, если б не абсурдно ночное время и не раскладушка, угретая для кого-то, моё псевдо-боевое задание имело бы видимость смысла: я послан был сопровождать колонну грузовиков, доставляющих якобы боеприпасы к якобы передовой линии фронта.

И я нашёл эту колонну, зачехлённо и без огней стоящую у дороги, нашёл по гулу их работающих на холостом ходу двигателей, при том, что водители непробудно спали в кабинах. Пока ходил, хлопая трёхпалой рукавицей по дверкам, дёргал за ручки, пока кто-то, зевая, наконец проснулся, – глядишь, и занялся рассвет, высветил заснеженный склон холма с грудой тёмных изб, откуда, не торопясь, выползло немногочисленное офицерство, ночевавшее там с клопинами, должно быть, комфортно, но и не без стопара самогона на ужин, на сон грядущий, ныне уже испаряющийся, улетающий в морозный воздух вместе с дизельными выхлопами тягачей. Разобрались со мной, распределились по кабинам, и – в путь!

Разумеется, из высших тактико-стратегических соображений путь был проложен не по большаку, а по лесным и просёлочным дорогам, где на ухабах подбрасывало так, что не то, чтоб вздремнуть, – голову приходилось беречь от ударов о потолок кабины. А каково было „боеприпасам” в кузове? Так же, наверное, как Иву

Монтану, подрядившемуся доставить тонну взрывчатки в увлекательной ленте „Плата за страх“, где рядом с водителем покачивался коротко стриженный блондин Питер ван Эйк, точная копия Курта Шедова из главы „Дело Швейгольца“ (см. выше), погибшего как в кино, так и в реальности. Вот вам и человекофильм внутри человекотекста! Наша колонна выехала на Витебское шоссе и влилась в поток колёсной и гусеничной техники; движение то и дело начало стопориться, и любопытно было глядеть на движущуюся мешанину железа, людей и снега, отстранясь от неё, хотя бы условно, окошком кабины.

– Больше всего дают регулировщиков, особенно танки, – откомментировал мой водитель одну из таких заминок. – Ну, и солдат плющат без счёта при пехотно-танковом наступлении, особенно, если по снегу.

Тут же мы убедились, что и танкистам достаётся не слабо: из проломленного льда у края озера торчала лишь башня танка, корпус был весь под водой, и пара таких же проломов зияла чуть дальше от берега, там уже с головой.

Вот и Витебск мелькнул уже не шагаловым захолустьем, а силикатно-кирпичным, и, наконец-то, – Двина! Причём, Западная, которую надо форсировать по наведённой из понтонов переправе. Шаткое, однако, сооружение, ёрзает под колесом, вода рядом с бортом, водила мой нервничает, но дело своё знает он туго, опытный шофериче, из таксёров, даром что выдернутый, как и не я, на эти расперепрокладные игрища.

Всё ж миновали благополучно большую и чёрную воду, и отрегулировали нас опять на просёлок, на ухабный тряс, но тут был уже и конец, в смысле: достижение цели.

Прибыли мы, привезли свой груз и остановились на поле, заставленном сплошь такими же зачехлёнными кузовами вперемешку с цистернами для горючесмазочных материалов. Уж не знаю, содержали они что-либо горючее, или являлись такой же имитацией, как наши боеприпасы, но если бы это было всерьёз, одной какой-нибудь случайной вражеской мины хватило б, чтобы всё это поле лепестком пешла взлетело и долго кружило бы в поднебесье.

Не буду откручивать ленту назад, скажу лишь, что тем же колёсным и рельсовым путём вернулись мы к исходному месту – в Колу, где в обмен на изгвазданные полушубки и ватники получили свои изрядно помятые шапки и польта. И – всё. Манёвры окончены. А как же добраться до дому? Ничего не знаем, никакого приказа не поступало... Пришлось штурмовать плацкартный поезд; оробевшие проводники не смели противостоят оскорблённым в своей правоте безбилетникам, которые в остальном вели себя мирно, продрыхнув на багажных полках весь путь до Города-героя.

Но какая-то декоративная вишетка, чувствую я, всё-таки требуется, чтобы завершить это жанровое отступление от моего, в общем и целом, литературоцентрического описания. Это же чувство испытывал, видимо, и военкомат, откуда мне вновь принесли повестку. Первое движение возмущённой души – выбросить её прочь! Второе движение – прочитать, в чём там дело. Оказывается, за моё мучничество мне причитается с них медаль. Правда, юбилейная, с профилем лысого кесаря, – кому она нужна? Их выдавали тогда поголовно всему начальству с их шестёрками. Но, с другой стороны, моя будет не „За трудовую“, а „За воинскую доблесть“, а это уже кое-что. Да, но выдавать-то станут на собрании, где надо стоять навтыжку перед каким-нибудь генералом, да ещё под „Союз нерушимый“, а потом шёлкнуть каблуками и гаркнуть „Служу Советскому Союзу!“ Не дождётеся. А что, если получить медаль

раньше, до собрания, да и подарить её Федосье Фёдоровне, няньке нашей семейной, у неё как раз день рождения, а денег на подарок, как всегда, ни шиша?

Не помню, что я наплёл в военкомате, – наверное, что срочно вылетаю в Москву на киносъёмку в Министерстве обороны. Полковник с сомнением покачал головой, вышел. Через минуту, гляжу, возвращается торжественный, как на параде, в руках – коробочка.

– Лейтенант Такой-то Сякой-то, за такие-то и сякие-то качества, проявленные при участии в общевоинских манёврах „Двина”, Вы награждаетесь Ленинской юбилейной медалью с гравировкой „За воинскую доблесть”. Поздравляю Вас, Такой-то Сякой-то!

Я щёлкнул каблуками и произнёс:

– Служу отечеству!

– Советскому Союзу? – Подсказал полковник.

И получил мой ответ:

– Ну!

Словечко это лишь недавно появилось в городском лексиконе, привезённое, видимо, геологами из уральских деревень, и означать оно могло множество противоречащих друг другу понятий: и „да”, и „нет”, и „а как же”, и „предположим”, вплоть до „не на того напали”, или даже „не утомляй, начальник”.

Полковник выбрал то, что более отвечало его вкусу и обстановке, с чем и вручил мне медаль.

(продолжение следует)



Андрей Алексеев, Анатолий Марасов

ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В 2015 году исполнилось 125 лет со дня рождения Александра Александровича Любищева (1890-1972). А.А. Любичев – ученый-биолог, энциклопедист, философ, историк и методолог науки – человек, которого пора уже называть великим, как мы зовем, например, Н. Вавилова или В. Вернадского.

Андрей Алексеев

НАШ СОВРЕМЕННОК И ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА – АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЮБИЩЕВ

Содержание

1. Человек, смотрящийся в часы
2. Основные даты жизни и деятельности
3. Эта странная жизнь... Этот удивительный человек...
4. А.А. Любичев: "Мысли о многом"
5. Собеседники и соавторы А.А. Любищева
6. А.А. Любичев: масштаб личности и духовное наследие
7. Критический плюрализм А.А. Любищева
8. Дополнительные факты и соображения
9. В коридорах власти
10. Уроки мысли, жизни и общения
11. «Как стать личностью более благоустроенной, хотя бы в смысле использования собственной головы для себя...»

1. Человек, смотрящийся в часы

[Ниже – извлечение из статьи автора этих строк, написанной в 1983 г. и тогда же, в сокращенном виде, опубликованной. Впоследствии была включена в том 1 (раздел 6.5.1) «Драматической социологии и социологической ауторефлексии» (М.: Норма, 2003) – А.А.]

Из работы А. Алексеева «Система «времяпользования» А.А. Любищева и возможности ее применения и развития» (1983)

...Самое дорогое, что есть у человека, это жизнь.
Но если всмотреться в эту самую жизнь поподробнее,
то можно сказать, что самое дорогое – это Время,
потому что жизнь состоит из Времени,
складывается из часов и минут...

Д. Гранин ("Эта странная жизнь")

После опубликования документальной повести Даниила Гранина "Эта странная жизнь" в 1974 году [1; 2] стал широко известен эксперимент, поставленный на самом себе нашим выдающимся современником, ученым-энциклопедистом, биологом, философом Александром Александровичем Любичевым [3].

Ремарка: кем был Любичев.

Вклад А.А. Любищева (1890-1972) в науку далеко выходит за пределы собственно биологических дисциплин, в которых он специализировался (энтомология, сельскохозяйственная наука, генетика, биометрия, морфология и систематика жи-

вого, эволюционная теория), — и является также крупнейшим общенаучным и общекультурным вкладом: философия природы, история и методология науки, гносеология, история и философия культуры, эстетика, этика, экономическая и политическая история, литературоведение... Список — не исчерпывающий! (Декабрь 1999).

...Это пример человека, отважившегося собственной жизнью если не решить, то поставить фундаментальную проблему ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА СО ВРЕМЕНЕМ.

На протяжении десятилетий, изо дня в день, А.А. Любищев вел кропотливый и неуклонный учет своего "времяпользования" в соответствии с выработанной им для себя СИСТЕМОЙ. Эта система предполагала не только особым образом организованный хронометраж собственной жизни, но и регулярный самоотчет и оценку жизненной продуктивности...

Ремарка: учет, самоотчет и планирование

Система "времяпользования" А.А. Любищева включала в себя:

а) УЧЕТ, с точностью до 5 минут, затрат времени на всякое конкретное занятие;

б) САМООТЧЕТ – ежемесячная и ежегодная статистика времени, посвященного основной научной работе: научному творчеству, чтению специальной литературы, научной переписке, – а также временных затрат на другие виды занятий: лекции, доклады, чтение художественной литературы, чтение газет, личная переписка и т.д., (что не относилось Любищевым к основной работе);

в) ПЛАНИРОВАНИЕ "времяпользования" – на месяц, на год. Результаты: в среднем за день – из года в год – порядка 5 часов только "основной" научной работы. Точность выполнения планов на год – до 1 процента. (Декабрь 1999).

...Вот как об этом пишет Д.А. Гранин:

«...Для Системы нужно было знать ВСЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, со всеми его закоулками и проблемами. Система не признавала времени, негодного к употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, пустого, излишнего. И нет времени отдыха. Отдых – это смена занятий, это как правильный севооборот на поле... В этом была своя нравственность, поскольку любой час засчитывается в срок жизни, они все равноправны, и за каждый надо отчитаться...» ([4], с. 35).

«...Любищев глядялся в отчет как в зеркало. Амальгама этого зеркала отличалась тем, что отражала не того, кто есть, а того, кто был, только что минувшее. В обычных зеркалах человек под собственным взглядом принимает некое выражение, не важно какое – главное, что принимает. Он – тот, каким хочет казаться...»

У Любищева отчет беспристрастно отражал историю прожитого года.

Его Система в свои мелкие ячи улавливала текучую, всегда ускользающую повседневность, то Время, которого мы не замечаем, недосчитываемся, которое пропадает неведь куда... ([4], с. 41-42).

«...Меня поражала у Любищева смелость, с какой он обращался с плотью времени. Он умел ее осязать. Он научился обращаться с пульсирующим, ускользающим «теперь». Он не боялся измерить тающий остаток жизни в днях и часах. Осторожно он растягивал Время, сжимал его, стараясь не уро-

нить, не потерять ни крошки. Он обращался с ним почтительно, как с хлебом насущным, ему и в голову не могло прийти - «убивать время». Любое время для него было благом. Оно было временем творения, временем познания, временем наслаждения жизнью. ОН ИСПЫТЫВАЛ БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ (выделено мною. – А.). Оказалось, что жизнь вовсе не так коротка, как это считается. Дело тут не в возрасте и не в насыщенности трудом. Урок Любищева состоял в том, что можно жить каждой минутой часа и каждым часом дня, с постоянным напором отдачи...» ([4], с. 88).

«...Через свою Систему он изучал себя, испытывал: сколько он может писать, читать, слушать, работать, размышлять? Сколько и как? Не перегружая себя, не взваливая не по силам, он шел по кромке своих способностей, оценивая их все более точно. Это был безостановочный путь самопознания...» ([4], с. 105).

В итоге своего анализа «этой странной жизни» Д.А. Гранин делает следующий важный, обобщающий вывод:

«...Автор убежден, что проблема разумного, человеческого обращения со временем становится все настоятельнее. Это не просто техника экономии, проблема эта помогает понять человеку смысл его деятельности. Время – это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно, и можно его губить. Так легко его проболтать, проспять, истратить на бесплодные ожидания, на погоню за модой, на выпивки, да мало ли.

Рано или поздно в наших школах начнут учить детей «времяпользованию». Автор убежден, что с детства надо воспитывать любовь к природе и любовь ко времени. И учить, как беречь время, как его находить, как его добывать...» ([4], с. 112).

К сожалению, нам неизвестны ни (кроме Д.А. Гранина) попытки осмысления замечательного опыта А.А. Любищева [*здесь автор проявил неосведомленность; см., например, [5]. – А.А.*], ни попытки практического воспроизведения – хотя бы использования основных идей его Системы [*а вот об этом - и по сей день автор никакой информацией не располагает. – А.А.*]. Возможно, отпугивает как раз максимализм, уникальность, недостижимость этого жизненного примера.

<...> Опыт А.А. Любищева выступает примером "предельного" овладения человеком структурой жизнедеятельности (и тем самым - структурой собственной личности). Это – осознанное использование "времени жизни" С МАКСИМАЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ в рамках определенного, наиболее отвечающего интересам и способностям, вектора деятельности субъекта. <...>

Литература

1. Гранин Д.А. Эта странная жизнь // Аврора, 1974, №№ 1, 2.
2. Гранин Д. Эта странная жизнь. М., 1974.
3. Александр Александрович Любищев. 1890-1972. Под ред. П.Г. Светлова. Л.: Наука, 1982.
4. Гранин Д. Эта странная жизнь / Гранин Д. Выбор цели. М., 1975.
5. Время – союзник или враг? Диалоги о повести Д. Гранина "Эта странная жизнь" ведет критик Виктор Дмитриев – с учеными Н. Амосовым, Р. Баранцевым, С. Мейсеном, Р. Хохловым, Ю. Шрейдером, а также с автором // Вопросы литературы, 1975, № 1.

А. Алексеев

2. Основные даты жизни и деятельности

[Ниже – извлечение из книги: Александр Александрович Любичев. 1890-1972. Под ред. П.Г. Светлова. Л.: Наука, 1982. – А.А.]

<...> Родился 5 апреля 1890 г. в Санкт-Петербурге.

1906 – Окончил с золотой медалью 3-е Реальное училище и поступил в С.-Петербургский университет на естественно-историческое отделение физико-математического факультета.

1909 – Практика на биостанции в Неаполе.

1910 – Практика на биостанции в Виллафранке.

1911 – Окончил университет с дипломом 1-й степени и стал работать в особой зоологической лаборатории Академии наук.

1911 – Женильба на В.Н. Дроздовой и свадебное путешествие по Греции, Италии, Египту.

1914 – Ассистент высших женских (Бестужевских) курсов.

1916 – Начал дневник, который не прекращал вести до конца жизни.

1918 – Приглашение в Таврический университет и переезд в Симферополь.

1921 – Переезд в Пермь на работу в должности доцента университета по кафедре зоологии.

1927 – Профессор кафедры зоологии Самарского сельскохозяйственного института.

1930 – Переезд в Ленинград на работу в ВИЗР.

1936 – Присуждение ученой степени доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссертации.

1939 – Присвоение ученого звания профессора по специальности “энтомология”.

1941 – Эвакуация в Пржевальск; профессор кафедры зоологии Педагогического института.

1943 – Заведующий эколого-энтомологическим отделом Киргизского филиала Академии наук СССР.

1948 – Женильба на О.П. Орлищкой.

1950 – Заведующий кафедрой зоологии Ульяновского Педагогического института.

1955 – Выход на пенсию.

1961 – Начало работы над рукописью “Линии Демокрита и Платона в истории культуры”

Скончался 31 августа 1972 г. в г. Тольятти. <...> (Александр Александрович Любичев..., с. 140).

[В известных мне энциклопедических словарях имя А.А. Любичева пока отсутствует. – А.А.]

3. Эта странная жизнь... Этот удивительный человек...

[Ниже – две композиции извлечений из работ разных авторов, посвященных А.А. Любичеву.

Первая – из книги писателя Даниила Александровича **Гранина** “Эта странная жизнь” – была составлена мною в начале 1980-х, по изданию: Гранин Д. Эта странная жизнь. М.: Советская Россия, 1982.

Вторая – из “Заметок об Александре Александровиче Любичеве” математика и философа Юлиа Анатольевича **Шрейдера** – составлена по изданию: Любичевские чтения. 1999. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 1999.

В скобках указаны страницы по соответствующим изданиям. Части композиций озаглавлены мною. – А.А.]

Д.А. Гранин об А.А. Любичеве (1974)

СИСТЕМА ЖИЗНИ. БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ

<...> То, что он [Любичев. – А.А.] разработал (речь идет о системе “*времяпользования*”, или учета “*жизненного времени*”). – А.А.) представляло открытие, оно существовало независимо от других его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая, так она возникла, но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни Любичева. Не только наивысшая производительность, но и **НАИВЫСШАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** [*здесь и далее выделено мною. – А.А.]*. (91-92).

<...> У большинства людей так или иначе складываются собственные отношения со временем, но у Александра Александровича Любичева они были совершенно особыми. Его время не было временем достижения. Он был свободен от желания обогнать, стать первым, превзойти, получить... Он любил и ценил время не как средство, а как **ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЕНИЯ**. Относился он ко времени благоговейно и при этом заботливо, считая, что времени не безразлично, на что его употреблять. Оно выступало не циферблатным верчением, а понятием, пожалуй, нравственным. (180).

<...> Обращение со временем было для него **ВОПРОСОМ ЭТИКИ**. На что имеет человек право потратить время своей жизни, а на что не имеет. Вот эти нравственные запреты, нравственную границу времяупотребления Любичев для себя выработал. (180).

<...> Любичев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработанные им и связанные как-то с его Системой жизни. (92).

<...> Не ожидая похвал, он научился сам воздавать себе должное. Система учета давала ему объективные показатели своего состояния. С гордостью он отмечал 1963 год, как рекордный по числу рабочих часов – 2006 часов 30 минут! В среднем в день 5 часов 29 минут. А до войны получалось примерно 4 часа 40 минут! Он отчетливо понимал цену этим цифрам, он сам устанавливал нормы, сам следил за собой с секундомером в руке, сам награждал и сам наказывал себя. (173-174)

<...> Скромная система учета времени стала **СИСТЕМОЙ ЖИЗНИ**.

Согласно этой системе получалось, что у Любичева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка. (179).

<...> Кроме системы у него имелось несколько правил:

- “1. Я не имею обязательных поручений;
2. Не беру срочных поручений;
3. В случае утомления сейчас же прекращаю работу и отдыхаю;
4. Сплю много, часов десять;
5. Комбинирую утомительные занятия с приятными”.

Правила эти невозможно рекомендовать, они его личные, выработанные под особенности своей жизни и своего организма: он изучил как бы психологию своей работоспособности, наилучший ее режим. (160).

<...> Вникая в Систему Любичева, автор увидел время словно через лупу. Минута приблизилась: она текла не монотонным безразличным ко всему потоком – она отзывалась на внимание, растягивалась, выявлялись ступки, каверны, струк-

тура что-то означала, как будто перед глазами автора проявилось течение мысли, время стало осмысленным. (182).

<...> Если сравнивать время с потоком, как это принято было еще у древних греков, то Любичев в этом потоке – гидростанция, гидроагрегат. Где-то в глубине крутится турбина, стараясь захватить лопастями поток, идущий через нее. Вот в этом – и, пожалуй, только в этом – свойственна была Любичеву машинность. (182).

<...> Что все это означало? Спросить было некого. Любичев в механику своего учета никого не посвящал. Не засекречивал, отнюдь, видимо, считал подробно-сти делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям. Но там были итоги, результаты... (96).

<...> Думаю <...>, что возникли отчеты из необходимости анализа: с каждым годом у Александра Александровича нарастало ощущение ценности времени, какое появляется в зрелости у каждого человека, у него же особенно. Система выработки уважение к каждой частице времени, БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ. (144).

Ремарка: Любичев о своей системе жизни

“...Любичев в механику своего учета никого не посвящал...”

Это не совсем так. Д.А. Гранину в 1970-х, вероятно, еще не были знакомы тексты А.А. Любичева, специально посвященные как цели, так и процедуре своего учета “времени жизни”.

См., в частности, ниже: раздел 7.6. (Декабрь 1999).

ТАЛАНТ НАУЧНОГО ЕРЕТИКА

<...> Размышления о жизни, о себе, о науке не уменьшали его активности. Жажда действия возрастала, мысль подстегивала его. Он не боялся вопроса о том, каков смысл в его неутомимых писаниях, в его энергичной деятельности. Одно он знал твердо и повторял другим: тот, кто мирится с действительностью, то не верит в будущее. (154).

<...> У него был особый талант научного еретика, умеющего подвергать сомнению самые, казалось бы, прочные догмы. Он опровергал, оспаривал иногда вещи, которые для меня были очевидны, и это заставляло думать. Вот, что, пожалуй, существенно: он возбуждал мысль, он пробуждал к мысли людей, давно отвыкших от этого. Как ни странно, многие ученые страдают болезнью бездумья. (158).

<...> Систематика, которой он [Любичев. – А.А.] занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинения в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии. (108).

<...> Среди биологов А.А. Любичев известен как решительный противник эволюционных взглядов, совмещающих учение о ведущей роли естественного отбора эволюции с достижениями популяционной генетики. Поскольку с эволюционным учением прямо или косвенно связаны чуть ли не все другие общие проблемы биологии, то не удивительно, что и в подходе к этим проблемам А.А. Любичев очень часто не разделял господствующих взглядов. В этой постоянной “оппозиции” – особая ценность. (157-158).

<...> В 1937 году произошло памятное заседание Ученого совета ВИЗРа. Пять часов длилось обсуждение работ Любичева. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого Любичева. Его обвиняли в том, что он систематически чуть ли не умышленно снижает опасность вредителей (*Име-*

ются в виду сельскохозяйственные вредители-насекомые. – А.А.) с целью демобилизации борьбы с ними... да и, кроме того, он вообще виталист. В те годы подобные формулировки звучали угрожающе. Слово “вредитель” играло вторым смыслом. Адвокат вредителей, пособник... Правда, в заключительном слове он признал, что последние годы ему приходилось менять свои взгляды, но, видите ли, он никогда не делал этого по приказу. Ему, видите ли, нужны доказательства. Оказывается, это единственное, что может на него подействовать.

Совет признал научные взгляды Любищева ошибочными и ходатайствовал перед ВАКом лишить его степени доктора наук. Постановление было принято единогласно, но и это не смутило Любищева: он полагал, что в науке голосование ничего не решает: Наука не парламент и большинство оказывается чаще всего неправым.

Нельзя сказать, что он не учитывал реальности. После такого решения Ученого совета он вполне мог, как он сказал, “перейти на казенные харчи”.

И все же иначе поступить он не мог... Тупо и упрямо он стоял на своем. Вопреки своему хваленому рационализму. Это всегда удивительно – ощутить вдруг предел, неподвластный логике, разуму, непонятный, необъяснимый духовный упор, воздвигнутый совестью или еще чем-то: “На этом я стою и не могу иначе”.

<...> Пока дело тянулось в ВАКе, прихотливая судьба перетасовала все обстоятельства: директора института арестовали, и среди прочих обвинений было – разгон совета он вполне мог, как он сказал, “перейти на казенные харчи”, и ВАК (еще и по ходатайству академика Ивана Ивановича Шмальгаузена) оставил Любищеву степень доктора наук.

Похожая история повторилась с ним спустя десять лет, после известной сессии ВАСХНИЛа, в 1948 году.

Выручала его, как ни странно, откровенность, с какой он излагал свои взгляды. (141-142).

<...> Он обладал высокой “инцидентоспособностью”. Он не умел уклоняться от неприятностей, от опасных споров, от скользких мест, и если падал, то развивался. (143).

НАУЧНАЯ ПЕРЕПИСКА. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РАЗУМА

<...> Возьмем первый попавшийся год, чтобы представить масштабы его переписки:

“1969 год. Получено 410 писем (из них 98 из-за границы). Написано 283 письма. Отправлены 69 бандеролей”.

Адресаты его писем – институты, научные общества, академики, журналисты, инженеры, агрономы... Некоторые его письма перерастают в трактаты, в научные статьи. Некоторые письма, например, переписка с Павлом Григорьевичем Светловым, Игорем Евгеньевичем Таммом, с Алексеем Владимировичем Яблоковым, с Юлием Анатольевичем Шрейдером, с Рэмом Баранцевым и с Олегом Калининным, составляют как бы научные обзоры, диалоги, научные диспуты, которые могут быть изданы сборниками.

Если взять только научную переписку Любищева, эти большие переплетенные тома, то они сами по себе энциклопедия современного естествознания, философии, истории, права, науковедения, этики и еще неведь чего.

Я никогда не мог понять, каким образом ухитрились в прежние времена люди поддерживать такую обильную переписку. Тем более умирающее это искусство изумляло у Любищева, человека нашего века. (162).

<...> Читать его письма – удовольствие особое. В них проявляется широта его таланта, позволяющая ему видеть мир целостно. Вещи далекие, экзотические, какие-то частности, осколки всегда становятся у него частью целого, соединяются в единую картину. Он умел находить место любой вещи и учил восстанавливать эту утраченную целостность восприятия. (163).

<...> Письма имели адрес, их ждали, они были нужны не вообще людям, как нужны статьи и книги, – а нужны человеку имярек, и это было Любищеву дороже времени. Так же, как истинный врач творит для одного человека, одного больного, так и Любищев не скупился, он мог жертвовать и им [*временем*. – А.А.]. В нем не было всепоглощающей, нетерпимой научной одержимости. Наука, научные занятия не могут и не должны быть высшей целью. Должно быть нечто дороже и Науки, и Времени... (164).

<...> Не стоит считать его таким уж альтруистом. Он тратил много времени на письма, но они же и сберегали ему время. Копии писем в переплетенных томах стояли на полках вместе со стомамиконспектов прочитанных книг – отсюда Любищев часто черпал заготовки для своих работ. Иногда письма почти целиком входили в рукопись... (170).

<...> Письма, рукописи перепечатывались, копии подшивались – не из тщеславия и не в расчете на потомков, несколько. Большею частью архива Любищев сам активно пользовался, в том числе и копиями собственных писем. (92).

<...> Архив как бы фиксировал, регистрировал со всех сторон и семейную, и деловую жизнь Любищева. Сохранять все бумажки, все работы, переписку, дневники, которые велись с 1916 года (!), – такого мне не встречалось. Биографу нечего было бы и мечтать о большем. Жизнь Любищева можно было бы воссоздать во всех ее извилах, год за годом, более того – день за днем, буквально по часам. (92).

<...> Так вот, в федоровском смысле воссоздать Любищева, или “воскресить”, можно, вероятно, легче и точнее, чем кого-либо другого, поскольку имеется множество материалов, иначе говоря – параметров. Можно как бы восстановить все его координаты в пространстве и времени – где он был в такой-то день, что делал, что чтил, кого видел. (93).

<...> Подвига не было, но было БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДВИГ – была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. МОЖЕТ, ЭТО И БЫЛА ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РАЗУМА? Может, самое трудное – достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой и каждая секунда имеет смысл. (185).

<...> Пользуясь библейской мифологией, его можно сравнить с Иоанном Предтечей: он один из тех, кто готовил новое понимание биологии. Он сеял – зная, что не увидит всходов. В нем жила уверенность, что то, что он делает, – пригодится. Он был нужен тем, кто останется жить после него. Это было утешение, привычное скорее художнику, чем ученому. Но и современники нуждались в нем, каждый по-своему. (157)

(Гранин Д. Эта странная жизнь. М.: Советская Россия, 1982)

Ю.А. Шрейдер об А.А. Любищеве (1973):

ЧЕЛОВЕК, ТВОРЯЩИЙ КЛИМАТ ЭПОХИ

<...> Александр Александрович не был в узком смысле человеком своего времени, человеком, которого творила его эпоха. Он был “человеком на все времена”, одним из тех, кто творил климат эпохи. Он мог трезво относиться к пониманию смысла науки потому, что он не был жестко связан сегодняшним сиюминутным по-

ниманием этого смысла. Сегодняшняя наука была для него одним из многих этапов диалектического развития человеческой мысли, явно отвергающей те корни, из которых она неявно выросла. Для него наука шла к сегодняшнему состоянию из многих истоков, и он пытался осмыслить ее, не ограничиваясь представлением современной науки о самой себе. Тем самым он избежал порочного круга, в который попали, например, Н. Винер и С. Лем, когда пытались осмыслить развитие науки, оставаясь в рамках созданных этой же наукой методических постулатов и позитивных воззрений.

Благодаря ощущению прошлого, он лучше многих других видел ростки будущего, едва различимые в настоящем. Свое отношение к науке он выразил прекрасными словами о том, что ее здание никогда не строится на пустом месте и никогда не достраивается до конца. Новая эпоха склонна порой считать предрассудком то, что накоплено предыдущими. Но не бывает чистых предрассудков, как не бывает окончательных истин в последней инстанции. Нельзя удержаться от пересказа одного из примеров Любищева. В свое время отрицательное отношение к астрологии помешало Галилею построить правильную теорию приливов, поскольку он не мог допустить влияния луны на земные события. Такую теорию построил Кеплер, серьезно относившийся к астрологическим концепциям. Значит ли это, что астрология права? Нет, разумеется, не значит. Это значит только, что отвергая астрологические предрассудки, связанные с предсказанием судьбы (это полагала суеверием христианская церковь и сурово относилась к деятельности астрологов), нельзя отвергать мысль о влиянии небесных тел на земные процессы. <...> (12-13).

СВЯЗЬ С ПРОШЛЫМ, ПОНИМАНИЕ БУДУЩЕГО

<...> Мы часто понимаем науку как прогрессивное накопление новых фактов. Действительно, стремление к добыче новых фактов, новых конкретных и полезных знаний о мире, – это лейтмотив сегодняшней науки. Но кроме индустрии знаний наука имеет и другой аспект, определяемый стремлением понять сущность мира. Этот аспект науки был наиболее дорог и важен для А.А. Любищева. И тут бывает важнее наблюдение и осмысление известного, чем ворох новых фактов... Но в осмыслении фактов Любищев видел не столько прогрессивное накопление новых идей, сколько трансформацию некоторых “вечных” идей, идущих еще от древних греков. Отсюда его пристальный интерес к истории воплощения идей, к диалектической смене, борьбе и сосуществованию идей, находящихся в каждый исторический период свое конкретное воплощение. Под его пером внезапно раскрывалось, как аристотелевская идея энтелехии, жизненной силы неожиданно возникает в новом обличье в трудах современного биофизика Рашевского, как высмеянная Вольтером телеологическая идея преадаптации заново появляется в современной биологии.

<...> Именно умение А.А. Любищева критически осмысливать очевидные вещи, понимая, что очевидность целей – понятие историческое, а не абсолютное, делает его человеком не только прочно связанным с прошлым, но и ясно понимающим будущее. Не случайно его соображения о редукционизме и эмергентных факторах в теории систем, о нетривиальности понятия существования и многие другие, тесно связанные с идеями классиков науки, столь важны для будущего науки. Словами “человек на все времена” названа пьеса О.Болта о Томасе Море, чье имя в 1918 году помещено на обелиске в саду у Кремля, а в 1935 включено в святцы Римско-Католической церкви. Эти слова как нельзя лучше подходят к Александру Александровичу Любищеву, хотя мы сегодня еще и не знаем, в каких почетных списках его имя будет помещено через 400 лет после кончины. <...> (13-15).

“ЗА ЧЕСТЬ ПРИРОДЫ ФЕХТОВАЛЬЩИК...”

<...> По-видимому, многим приходит в голову, что наша эпоха сумела как-то особенно подчеркнуть быстротечность времени. Сменяют друг друга научные теории, моды и нравы, растут города и пустеют деревни, меняется картина мира... Категория вечности кажется предрассудком далеких эпох, когда люди ощущали ее дыхание, передавая по наследству платье и дом, участок земли и ремесло, сословие и место на кладбище. Нет уже вечного и неизменного пространства, какими его рисовали себе Ньютон и Кант, нет вечных и неизменных атомов, которые оказались сложными системами, изощренно поддерживающими динамическое равновесие, сама Вселенная оказалась то ли пульсирующей, то ли взрывающейся. Простые житейские ценности девальвируются на наших глазах вместе с долларом, недавно еще служившим символом экономической устойчивости.

И в этом сложном, динамическом, раскручивающемся с бешеной скоростью мире раздается спокойный голос Александра Александровича, который говорит, что вечная “особенность человеческого духа – совесть и ничем не удовлетворенность”.

Он говорит о добре и гармонии, воплощенных в этом мире, об отсутствии имманентной необходимости борьбы за существование, о вечных ценностях. Его трезвые коллеги полагают, что тому причиной наивный идеализм старого ламаркизма: “Был старик застенчивый как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх... Кто за честь природы, фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный Ламарк. Если все живое лишь пометка, за короткий выморочный день, на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень” (О.Мандельштам).

Идеализм? Да. Но наивный ли? Так ли уж безразличен мир к тому, как мы о нем думаем? По совету Вивекананды, “не говорите о порочности мира и его грехах. Плачьте, что вы сами все еще принуждены видеть порочность. Плачьте, что вы не можете не видеть везде грехи, и, если хотите помочь миру, не осуждайте его. Не ослабляйте его еще больше”.

Не будем сейчас спорить о том, насколько наше отношение к миру влияет на мир. Одно бесспорно, мы видим в мире то, что мы настроены в нем увидеть, т.е. проекцию нашей души. Мы видим во встреченной женщине шлюху или королеву, и она оказывается именно тем, кого мы в ней увидели. НАША СПОСОБНОСТЬ ВИДЕТЬ МИР, ЗАВИСИТ О ТОЙ ПОЗИЦИИ, КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ В ЭТОМ МИРЕ. *[Здесь и далее – выделено мною. – А.А.]* Дело, конечно, не в том, чтобы не замечать зла. От этого оно не исчезнет. Дело в том, чтобы уметь видеть добро. Александр Александрович умел и учил других видеть в Природе начала гармонии, принципы красоты и добра. Для этого не нужно никакой предвзятой точки зрения, НУЖНО ТОЛЬКО НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ НАМЕРЕННО СВОЙ ВЗОР, ОТМЕТАЯ С ПОРОГА НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ПО ВУЛЬГАРНО-ФИЛОСОФСКИМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯМ. В поисках мировой гармонии нельзя быть предвзятым. Иначе мы будем искать не реальность, но наше представление о ней и не найдем ничего. Основное зло Любичев видел в вульгарном монизме, в попытках навязать природе свои убогие представления о ней. Он был воистину “за честь Природы фехтовальщик” и это свидетельствует о его мудрости. <...> (22-23)

(Шрейдер Ю.А. Заметки об Александре Александровиче Любичеве / Любичевские чтения. Ульяновск, 1999)

4. А.А. Любичев: “Мысли о многом”

[В 1997 г. в издании Ульяновского государственного педагогического университета, по решению IX Любичевских чтений, вышла (тиражом 500 экз.) книга, составленная еще в 1951 г. женой А.А. Любичева Ольгой Петровной Орлицкой (ныне покойной), под названием “Мысли о многом”.

Ниже – композиция извлечений из указанной книги. Фрагменты озаглавлены О.П. Орлицкой.

В скобках указаны страницы по изданию: А.А. Любичев. Мысли о многом. Ульяновск, 1997. – А.А.]

О.П. Орлицкая об истории создания книги “Мысли о многом”

<...> Пересматривая архив Александра Александровича, я поразились многогранности его интересов, отраженных в его научной и личной переписке с родными и друзьями. Однажды, когда А.А. был в командировке, я сделала для себя выписки из ряда писем по разным, на мой взгляд, интересным темам.

Делая выписки из его писем, я невольно стала просматривать и письма друзей, родных. Меня поразили полемический характер переписки и я стала подбирать материал, отражающий полемику друзей с А.А., сына и дочери с отцом. Так возникли “Мысли о многом”. При проведении этой работы я руководствовалась желанием сделать “Мысли о многом” достоянием детей и внуков Александра Александровича. Как-то жаль было оставлять эти яркие, порой вызывающие возражения со стороны его друзей мысли в груде писем, большей частью трудно читабельных...

Александр Александрович одобрил мою работу и решил послать ее кроме детей и своим друзьям, отталиваясь от мыслей которых он излагал свои мысли.

“Мысли о многом” были преподнесены друзьям и, по выражению друга А.А. профессора П.Г. Светлова, они явились “редкостным ферментом для умственной деятельности”...

О. Орлицкая. Октябрь, 1951 год.

(Цит. по: Любичев А.А. Мысли о многом. Ульяновск, 1997, с. 4-5)

Из переписки А.А. Любичева (1940-50-е гг.)

О смысле переписки лиц, резко расходящихся по своим взглядам

Из письма Б.С. Кузину. 16.01.1949

<...> А РАЗВЕ ТАК УЖ ХОРОШО БЕЗУСЛОВНО ВЕРИТЬ В СВОЮ ПРАВОТУ И СМОТРЕТЬ НА ВСЕХ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ С ЧУВСТВОМ ГОРДЕЛИВОГО ПРЕВОСХОДСТВА? [*Здесь и далее выделено мною. – А.А.*]. По-моему, это и есть источник подлинного фанатизма: человек остается вполне приличным человеком, пока его воздействие на инакомыслящих ограничивается возможностью взирать на них с чувством горделивого превосходства, но как только у него появляются иные методы ведения спора, то он редко воздерживается от соблазна заткнуть противный рот, и он это действие оправдывает тем, что твердо уверен в своей правоте.

Моя точка зрения иная: ИСТИННЫЙ УЧЕНЫЙ И ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ НИКОГДА АБСОЛЮТНОЙ УВЕРЕННОСТИ НЕ ИМЕЕТ (конечно, дело касается тех областей знания, где существуют споры): он пытается все новыми и новыми аргументами добиться согласия своего противника не потому, что он чувствует горделивое превосходство перед ним и не из тщеславия, а прежде всего для того, чтобы проверить собственные убеждения и не прекращает спора до тех пор, пока не убедился, что точно понял всю аргументацию противника, что противник держится своих взглядов не на основании строго объективных данных, а по причине тех или иных предрассудков и что, следовательно, дальнейший СПОР МОЖЕТ БЫТЬ ОКОНЧЕН ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА АВТОР МОЖЕТ ИЗЛОЖИТЬ МНЕНИЕ ПРОТИВНИКА С ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНЬЮ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ, С КАКОЙ ЕГО

ИЗЛАГАЕТ ПРОТИВНИК, НО ПОТОМ ПРИБАВИТЬ РАССУЖДЕНИЕ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОРНИ ПРЕДРАССУДКОВ ПРОТИВНИКА. Учителем в искусстве такого спора, по-моему, является величайший философ всех времен и народов Платон. <...> (11-12).

О принципиальности

Из письма к дочери – Евгении Александровне Равдель. 16.12.1949

<...> Истинной принципиальностью можно назвать такое поведение, которое в своем наиболее полном виде удовлетворяет трем требованиям:

- 1) ПРИНЦИП НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЧИСТО ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ, А ПОДЧИНЕН НЕКОТОРЫМ НАДЛИЧНЫМ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ,
- 2) ОН ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ИЗВЕСТНУЮ УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОГО ХАРАКТЕРА и
- 3) СЛЕДОВАНИЕ ЕМУ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСКРЕННИМ, А НЕ МАСКОЙ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ БОЛЕЕ НИЗМЕННЫХ МОТИВОВ.

Последнее требование является обязательным так как нельзя назвать принципиальным человека, который делает вид, что поступает согласно некоторым высоким принципам, а на самом деле только прикрывается ими для достижения более низменных целей. Что касается первых двух, то непосредственно неясно, обязательно присутствие обоих признаков.

Разберем какие существуют принципы. Они основаны на верности:

- 1) ОПРЕДЕЛЕННОМУ ДОГМАТИЧЕСКОМУ УЧЕНИЮ – РЕЛИГИОЗНОМУ, НАУЧНОМУ, ЭТИЧЕСКОМУ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОМУ;
- 2) ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЛИЧНОСТИ (МОНАРХУ, ВОЖДЮ, СЮЗЕРЕНУ);
- 3) ОПРЕДЕЛЕННОЙ СОВОКУПНОСТИ ЛЮДЕЙ: ПАРТИИ, КЛАССУ, НАЦИИ, ПЛЕМЕНИ, ОТЕЧЕСТВУ, ГОСУДАРСТВУ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ;
- 4) РАЗУМУ.

Последовательный рационализм и заключается в признании единственного принципа – следования разуму с отрицанием самостоятельного значения за всеми другими принципами. Я себя причисляю к таким рационалистам. <...> (15-16).

О разуме

Б.С. Кузин – А.А. Любищеву. 1.02.1951

... Неужели Вы серьезно считаете, что истинно-человеческая добродетель только одна – РАЗУМ? [*здесь и далее – выделено мною. – А.А.*]. А куда же Вы денете все моральные достоинства и чувства прекрасного? Меня прямо пугает Ваше преклонение перед разумом. Хорошо, что я Вас знаю так давно лично и поэтому мне известно, что всякие другие добродетели, кроме разума присущи Вам в высокой степени. Я думаю, что разум, конечно, очень важное и очень высокое качество. Но он ужасен в человеке, если составляет единственную его добродетель. Всякие попытки утвердить культ разума неизбежно влекли за собой жестокость и фальшь, губительную для искусства. ГОЛЫЙ РАЗУМ – ЧУДОВИЩЕ, ЕЩЕ БОЛЕЕ УЖАСНОЕ, ЧЕМ ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ. Величие человека состоит не в том, что он разумен, но что он РАЗУМЕН, МОРАЛЕН И СПОСОБЕН ВОСПРИНИМАТЬ ПРЕКРАСНОЕ. <...> (181)

А.А. Любичев – Б.С. Кузину. 19.09.1951

<...> Вы пишете: “МЕНЯ ПРОСТО ПУГАЕТ ВАШЕ ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД РАЗУМОМ... <...>

Я думаю, что Ваше негодование проистекает только из неправильного понимания разума и морали. Можно ли построить мораль независимо от разума. Здесь мое учение вовсе не оригинально. Это просто повторение старого сократовского и платоновского учения. <...> Какое положение морали Вы можете выдвинуть, чтобы оно приводило к хорошим результатам независимо от критики разума? Любая добродетель, не контролируемая разумом, приводит к смешным или преступным поступкам. <...>

И, конечно, гораздо больше жестокости внесено в мир вследствие неограниченного проведения моральных доктрин, чем вследствие неограниченного господства разума. Торквемада, вероятно, был убежденным сторонником определенных, и притом неплохих, моральных доктрин, и, возможно, как это в некоторых поэмах изображено, он даже считал, что, сжигая еретиков, он тем самым спасает их от вечного мучения в аду. Что же тут разум виноват? ЖЕСТОКОСТИ МНОГИХ УБЕЖДЕННЫХ ВЛАСТИТЕЛЕЙ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ОТТОГО, ЧТО ОНИ НЕ ДОПУСКАЮТ ПРОТИВОРЕЧИЙ ИСКРЕННЕ СЧИТАЯ, ЧТО ПРОТИВНИКИ ИХ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИАВОЛА В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЕ. ИНСТИННЬИЙ РАЗУМ ВСЕГДА ПРИВОДИТ К ПОЛОЖЕНИЯМ ПОДОБНЫМ НЬЮТОНОВСКОМУ, ЧТО ТО, ЧТО МЫ ЗНАЕМ, ЕСТЬ НИЧТОЖНАЯ ДОЛЯ ТОГО, ЧТО ВОООБЩЕ МОЖНО ЗНАТЬ, А ОТСЮДА ПОДЛИННО РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА СКЛОНЕН К ТЕРПИМОСТИ. [Выделено А.А. Любичевым. – А.А.]. Крайняя степень убежденности и отрицание “с порога” всякого инакомыслия есть признак несовершенного разума. Здесь всегда мораль приводит к жестокости, а не разум. <...> (33-35).

Об иррационализме

Из письма сыну. 19.12.1949

<...> Может показаться, что с точки зрения самого принципа, который является руководящим в моей деятельности, все иррациональное должно быть отвергнуто. Это неверно. Слово “иррациональное” имеет очень много смыслов.

1) ПОСТИГАЕМОЕ НЕ РАЗУМОМ, А ЧУВСТВАМИ. От этой формы иррационального не свободен, конечно, ни один человек. <...>

2) Иррациональное как АБСОЛЮТНО НЕДОСТУПНОЕ РАЗУМУ, иначе говоря, утверждение, что существуют области бытия, которые разумом достигнуты быть не могут. Если это утверждение носит окончательный характер, то оно явно противно науке. <...>

3) Иррациональное как НОВАЯ ФОРМА РАЦИОНАЛЬНОСТИ. Тут мы можем принести полную аналогию из математики. Когда Пифагор открыл иррациональные числа, для него они показались сначала нарушением разумного порядка Вселенной, то есть сначала он их понял как нечто недоступное разуму. Но иррациональные числа оказались полностью подчинены разуму и нашли свое место во вполне рациональной математике. То же случилось и с трансцендентными числами, мнимыми числами и т. д. Сами названия показывают, что авторы, установившие эти понятия, считали их противоречащими или выходящими за пределы разума или, наконец, неспособными к реальному существованию: как могут мнимые числа существовать! Тут как будто противоречие в определении. И, однако, сейчас

со всеми этими числами рациональная математика справилась и включила их в свой аппарат и они служат для отображения вполне реального мира, являясь мощными орудиями познания действительности. Вот я и считаю, что очень многие направления, как, например, интуитивизм Бергсона, которые как будто порывают с рационализмом, на самом деле являются только новыми формами рационализма. Но догматизм сторонников механистического материализма эту мысль никак не может принять. <...>

Вот я и считаю, что в биологии и в других науках наряду с рациональными в узком смысле слова должны быть иррациональные, трансцендентные, мнимые, и т.д. понятия, с которыми будущая наука будет оперировать так же свободно, как современная физика оперирует с разнообразнейшими понятиями математики. <...> (36-38).

О равноправии разных наук

Из письма сыну. 6.01.1947

<...> А для чего нужна теория сама по себе? Прежде всего это есть наивысшая форма наслаждения, что так ценилось эллинами, почему Эллада, несмотря на ужасы и хаос в политическом устройстве, дала несравненно более гармоническую культуру, чем Римская империя практиков, где практика была на первом месте. А отсюда и отношение к так называемой “чистой” науке, которую вовсе не следует смешивать с теоретической. ЕСТЬ ДВЕ СОВЕРШЕННО ОТЛИЧНЫЕ ДРУГ ОТ ДРУГА АНТИТЕЗЫ: ЧИСТАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ. [*Здесь и далее выделено мною. – А.А.*]

Теоретической может быть и прикладная наука (напр. теория корабля в волнуемом море нашего академика Крылова или вся баллистика) и чисто эмпирической может быть и “чистая” наука, например история в понимании историков буржуазного толка, считающих, что дело истории просто объективное изложение событий почему-либо для нас интересных. Как будто и дошли до того, какая наука является наименее ценной – это ЧИСТАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ НАУКА, но и она не оставалась без защитников: а где вы проведете грань между той отраслью науки, которая навсегда останется неиспользованной, и той, которая используется сегодня или завтра. Такой областью, которая в широких массах является совершенно бесполезной, является, например, систематическая энтомология, и сбор и определение насекомых для многих кажется совершенно ничемным занятием и в первый период моего пребывания в ВИЗРе (начало тридцатых годов) чистая систематика в глазах многих коммунистов казалась чуть ли не контрреволюцией, но потом они убедились, что это совсем не так. Можно привести ряд примеров, где пользу принесли такие отрасли энтомологии, которые развивались вне всякой связи с практикой. <...>

Если прибавить к этому, что филлоксеру [*вид тли, обитающей на корнях винограда. Примеч. ред.*] “прозвали” потому, что она не была известна до ее обнаружения в Европе, что теперь всевозможные заносы вредителей все учащаются благодаря усилению авиации, то станет ясно, сколь даже объективно полезен тот смешной тип энтомолога, который, например, выведен Жюль-Верном в образе кузена Бенедикта в “Пятнадцатилетнем капитане”. А если мы примем в соображение то удовольствие, которое доставляет занятие энтомологией и вообще “чистой” наукой, даже коллекционированием, насколько оно заполняет досуг, делает жизнь интересной в самых глухих уголках, то польза ее станет очевидной даже там, где никакого практического использования от нее не получается. Люди, занимающиеся

такой наукой не в качестве профессии, и чисто из интереса, и составляют тот “КУЛЬТУРНЫЙ ФОН”, которого нам еще очень недостает. <...> (45-47).

О применении математики и биометрии в биологии

Из письма А.А. Передельскому. 20.08.1950

<...> Вся моя работа пропитана биометрией, без этого я работать и думать не могу и не желаю (будучи убежден, что недостаточное введение биометрии в биологию приносит ежегодно многомиллионный убыток), а Вы сами знаете, что на биофак, как и на гуманитарные факультеты, идут преимущественно по признаку совершенной невинности в математике. Этот биологический обскурантизм поддерживается очень многими биологами, и очень умными к тому же, и эта нелепая доктрина сейчас проводится в жизнь в смысле полного изгнания математики и биометрии из биологических вузов стараниями уважаемого Т. Д. (*т.е. Трофим Денисович Лысенко – от ред.*). Жду не дождусь, когда эту доктрину постигнет судьба доктрины Марра и мой несокрушимый оптимизм заставляет меня думать, что ждать остается недолго. <...> (59).

["Ждать" и действовать ради этого, в том числе самому А.А. Любищеву, автору работы "О монополии Т.Д. Лысенко в биологии" посланной в ЦК КПСС в 1953 г. и других выступлений в защиту науки оставалось еще 15 лет. (См.: Любищев А.А. В защиту науки. Л.: Наука, 1991; Любищев А.А. Этика ученого. Подбор писем и статей А.А. Любищева против лысенковщины. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 1999. – А.А.]

Об искусстве и науке

Из письма Б.С. Кузину. 19.09.1951

<...> Не могу не привести одно из выражений математика Мордухай-Болтовского о математике: “Ведь это единственная наука, ставящая условием красоту, изящество и т. д. Она стоит на грани науки и искусства. Ее следует оценивать не только как полезную науку, но также как расцениваются прелюдии Шопена или симфонии Бетховена”.

Я считаю, что Мордухай-Болтовский неправ в том отношении, что считает математику единственной наукой, ставящей условием красоту. Это свойственно всем подлинным наукам и систематик, конечно, в своей работе получает прежде всего удовлетворение своему эстетическому чувству. Но так как большинство людей противопоставляет стремление к истине стремлению к красоте, то большинство ученых стыдится в этом признаться, а псевдоученые, нахлынувшие в массу в область науки, конечно, не стремятся ни к истине, ни к красоте, а только тому, чтобы получше поесть, получше одеться и помягче поспать. Чем выше стоит наука, тем больше в ней играет роль интуиция, догадка, воображение и все прочие способности, присущие только искусству в обычном понимании. Догадка в математике и физике играет огромнейшую роль.

Один математик, академик Н.М. Крылов мне даже цитировал выражение одного французского математика: “ТЕНИАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИКИ ВЫСКАЗЫВАЮТ ТЕОРЕМЫ, А ТАЛАНТЛИВЫЕ ИХ ДОКАЗЫВАЮТ”. Хваленое воображение поэтов, художников и т. д. не идет ни в какое сравнение с воображением современных математиков, строящих неэвклидовы геометрии, геометрии многомерного пространства, формулирующих абстрактные положения теории групп множеств и т.д. Поэтому когда говорят, что искусство выше науки, то к этому можно присоединиться в таком понимании: те способности, которые считаются

особенно необходимыми для искусства, характеризуют в своем лучшем развитии наиболее гениальных людей. <...> (79-90)

Двух станов не боец...

Из письма К.В. Беклемишеву. 7.03.1953

<...> Позиция “двух станов не боец” вызывает решительное осуждение, как отсутствие твердых убеждений. Я склонен думать наоборот: ИМЕННО СОЗНАТЕЛЬНОЕ ИЛИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ НАДЕВАНИЕ НА СЕБЯ ШОР ОЗНАЧАЕТ НЕТВЕРДОСТЬ СОБСТВЕННЫХ УБЕЖДЕНИЙ О БЕЗУСЛОВНОЙ СПАСИТЕЛЬНОСТИ РАЦИОНАЛИЗМА, БОЯЗНЬ УСТУПКИ “ЛУКАВОМУ РАЗУМУ” [выделено мною. – А.А.]

Но даже принимая как первое приближение, что в период решительных переворотов позиция “двух станов не боец” недопустима, мы должны вспомнить старую поговорку: “всякому овощу свое время”. Убежденность с отрицанием “с порога” всякого инакомыслия, нетерпимость, даже фанатизм могут быть полезны в период крупных переворотов, но превращаются в безусловный вред в период эволюционного прогресса после завершения переворота, так как тогда они стремятся остановить развитие мысли. <...> (258-259).

Двух станов не боец, а только гость случайный.
За правду я б и рад поднять свой добрый меч,
Но спор с обоими – досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь.
Союза полного не будет между нами,
Не купленный никем, под чье б ни стала я зная,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я б знамени врага отстаивал бы честь!

А.К. Толстой

[Приведа эти строки поэта, А.А. Любичев в письме к сыну (4.12.1953) замечает:

“...Когда я говорю с коммунистами, я многим из них (конечно, не очень умным) кажусь страшной контрой, и, наоборот, в разговоре с людьми, критикующими современность, я часто наталкиваюсь на вопрос: “Вы – коммунист?”.

Я унаследовал это свойство от моего покойного бати, я считаю это объективностью, отсутствием фанатизма и не вижу в этом ничего дурного...” (Любичев А.А. Мысли о многом. Ульяновск, 1997, с. 223-224). – А.А.]

Будьте независимы!

<...> И вот я думаю, что я все-таки имею право дать совет молодым людям на их жизнь. Мой совет: **будьте независимы** [здесь и далее выделено мною – А.А.], и этот совет можно понимать в разных смыслах:

1. **Независимость от окружающих.** “Ты сам свой высший суд”. Это вовсе не означает презрения к людям или культа собственной личности. Это просто означает, что высшим арбитром в решении спорных вопросов должны быть собственные разум и совесть.

2. **Независимость от условий среды.** Очень часто в оправдание обывательского загнивания приводят слова: “среда заела”, говорят о скуке и однообразии тех или иных условий существования. Но мы знаем множество примеров, когда человек, усиленно работая над собой, преодолевая самые неблагоприятные условия, не

только достигал хорошего среднего уровня, но подымался по своим результатам и по своему умственному развитию высоко над окружающим уровнем.

3. Независимость от узкой специализации. Специализация необходима и неизбежна, но это не влечет за собой разделения всего человечества на узких специалистов. Есть хорошее изречение: надо знать все о кое-чем и кое-что обо всем. Умственная культура человека должна строиться не в одном направлении и не в одной плоскости, а про крайней мере в двух-трех, взаимоперпендикулярных направлениях; такой принцип осуществляет связь разных специальностей и обуславливает целостность и прочность всего мировоззрения человека.

4. Независимость от догматов любого сорта: если можно говорить о бесспорном выводе из истории человеческой культуры, то любое, самое прогрессивное учение, переходя в неподлежащий критике догмат, из стимула развития превращается в тормоз развития. <...>

Любищев А.А. Каким быть. 25.01.1956.

(Цит. по: Марасова Л.И. Классные часы в школах № 34 и 38 г. Ульяновска о жизни и творчестве А.А. Любищева / XII Любищевские чтения. Ульяновск, 2000, с. 85)

5. Собеседники и соавторы А.А.Любищева

Ремарка: кто же здесь автор?

Интересно замечание редакторов сборника: А.А. Любищев. Мысли о многом. Ульяновск, 1997 (Р.В. Наумов, А.Н. Марасов, В.А. Гуркин):

“...У данной книги фактически несколько авторов, прежде всего это, конечно, Александр Александрович Любищев, мысли которого составляют главное содержание. Но с полным правом авторами данной книги можно считать и тех корреспондентов, в переписке с которыми А.А. эти свои мысли развивал. Также и составитель, Ольга Петровна Орлицкая – жена А.А. – имеет право на авторство, во-первых, потому, что подборку материала из огромного эпистолярного наследия А.А. она осуществляла согласно своей точке зрения, а, во-вторых, в некоторых дискуссиях... она сама принимала активное участие...” (Любищев А.А. Мысли о многом. Ульяновск, 1997, с. 270).

Ниже – извлечения из откликов корреспондентов А.А. Любищева на “Мысли о многом” (начало 50-х). В скобках указаны страницы по названному изданию. (Апрель 2000).

Н.М. Воскресенский – А.А. Любищеву (6.03.1952; Курган)

Дорогой А.А.!

<...> Я готов с радостью поддерживать эпистолярный обмен мыслей, раз Вы уже включили меня в свою философскую интереснейшую конференцию (не обижайтесь за это сравнение).

Я хотел бы подчеркнуть одну черту Вашей манеры изложения своих взглядов, которая мне чрезвычайно нравится – это “растекание по дереву”, как Вы ее обозвали, хоть это и не совсем так: при растекании основная нить (“сквозное действие” по Станиславскому) терется и может вовсе исчезнуть, а у Вас лишь так окружается экскурсиями в смежные области, что само изложение основного в результате делается выпуклее и яснее; иногда, впрочем, надо, чтобы временно не потерять нить, перечитать написанное Вами, каковое от этого становится интереснее; а эта эмоция стимулирует внимание к собственной мысли; в чтении видишь Вас быстро говорящим, нагромождающим мысли. <...> (260-261).

Б.С. Кузин – О.П. Орлицкой (31.01.52; Алма-Ата)

Дорогая Ольга Петровна!

<...> По-настоящему мне теперь следовало бы года на два удалиться на необитаемый остров, захвативши с собой “Мысли” и несколько стоп чистой бумаги. Там писать свои соображения по поводу каждого прочитанного отрывка. И мне очень грустно, что я заведомо не “проработаю” таким образом и десятой доли собранного Вами материала. – Даже на живые и актуальные письма, смотришь, сколько времени не могу собраться ответить... Не ответить Вам на письмо тотчас же я не мог. Уже хотя бы потому, что было бы величайшим свинством не поблагодарить Вас за присылку такой необычайно вкусной мозговой пищи. А ответ отнял еще время от ее поглощения. Все равно эту вещь быстро глотать не годится <...> (262).

Б.С. Кузин – О.П. Орлицкой (14.09.1952)

<...> За это время я несколько раз перечитывал отдельные места “Мыслей о многом”. И мне стало виднее, что они очень неравноценны. В них представлены очень блестящие рассуждения А.А., и довольно слабые. Не знаю, хорошо это или плохо. Если Ваша цель была запечатлеть наиболее ценные плоды деятельности ума А.А., то, конечно, примесь менее ценного досадна. Но с точки зрения создания портрета А.А., это получилось удачно, т. к. для него как раз характерно это сочетание большой разрешающей силы ума с не всегда правильным определением области приложения этой силы. И в этом отношении выбранные Вами образцы очень показательны. <...> (263-264).

О.П. Орлицкая – Б.С. Кузину (3.10.1952)

<...> По поводу “Мыслей о многом”. Вы пишете, что эти мысли неравноценны. Все дело в том, что эти “Мысли о многом” выбрала из груды писем А.А. и разных лиц я, а не он подбирал, что ценно или, напротив, не заслуживает отбора. Следовательно, я и виновата в том, что не сумела отобрать то, что отражало бы наиболее ценные плоды деятельности ума А.А. Но я как раз, кстати, и не задавалась целью взвешивать на весах, что более, а что менее ценно. Я подбирала зачастую то, что как раз больше всего вызвало возражения со стороны корреспондентов А.А., а, следовательно, как мне казалось, и положения, которые отстаивал А.А., были спорны.

Вы написали: **“Но с точки зрения создания портрета А.А. это получилось удачно, т. к. для него как раз характерно это сочетание большой разрешающей силы ума с не всегда правильным определением области приложения этой силы”.**

А раз так, то выходит, что я действительно всесторонне (в силу возможностей) и достаточно объективно подошла к подборке “Мыслей о многом”. <...> (264)

(Цит. по: Любичев А.А. Мысли о многом. Ульяновск, 1997)

Ремарка: читатели, собеседники, соавторы

Приведенная выше, наша собственная композиция извлечений из книги “Мысли о многом” (той, где со-авторами А.А. Любичева выступают его жена, дети, друзья) являет собой, по-видимому, “вторичное” (“третьичное”?) СО-авторство.

...Всякий читатель – потенциальный СО-БЕСЕДНИК, а всякий собеседник – потенциальный СО-АВТОР!

Вот и автор этих строк со-беседует с героями и действующими лицами настоящей книги. А они – со-авторствуют с ним... (Апрель 1999).

6. А.А. Любищев: масштаб личности и духовное наследие

[Ниже – статья математика и философа Рэма Георгиевича Баранцева, опубликованная, под названием “О духовном наследии А.А. Любищева”, в журнале “Реальность и субъект” (1999). Р.Б. был одним из тех, кому Любищев завещал заботу о своем архиве.]

Рэм Баранцев сегодня – один из главных публикаторов любищевского наследия. – А.А.]

С 1890 по 1972 год в России жил человек, который, будучи виталистом, открыто критиковал материалистическое мировоззрение и в качестве основного постулата этики призывал способствовать победе духа над материей. Не имея академических званий и широкой прессы, Александр Александрович Любищев был известен сравнительно небольшому кругу людей. Но он оставил гигантское рукописное наследие, по мере освоения которого постепенно вырисовывается подлинный масштаб ученого-гуманиста.

Архив Любищева превышает 2000 печатных листов. Наряду с научными трудами он включает переписку (600 л.) и дневники (200 л.), о которых писал Д.А. Гранин в повести “Эта странная жизнь”. В последние годы опубликованы книги Любищева: “Проблемы формы, систематики и эволюции организмов”; “В защиту науки”; “Расцвет и упадок цивилизаций”; “Линии Демокрита и Платона в истории культуры”; “Мысли о многом”; готовится к публикации книга “Наука и религия”. В г. Ульяновске, где он провел последние годы жизни, ежегодно проводятся Любищевские чтения. Имя А. Любищева стало упоминаться рядом с именами К. Линнея, Д. Менделеева, Н. Вавилова, В. Вернадского.

Чем же интересно, актуально, значительно наследие Любищева?

Лет 15 назад один из молодых людей после недельного погружения в его архив сказал: “Я нашел ответы на вопросы, которые еще не успел себе поставить”. Наше крутое время успело поставить множество горячих вопросов. И если выделить те фундаментальные вопросы, которые связаны со сменой парадигмы, то ответы на них скорее можно найти в трудах Любищева, чем в море публикаций современных социологов. Переживаемый ныне кризис мировоззрения заботил Любищева задолго до того, как его осознало общественное мнение. Корни ошибок он правильно связывал с одномерной структурой мышления, указывая, что диалектика не сводится к антитезам “или-или”. И во всех своих работах он демонстрировал диалектику многомерную. Так, в книге “Наука и религия” упоминаются 5 форм суеверий и 6 степеней защиты религии, а 4 вида жертв инквизиции сопоставляются с аналогичными категориями в современных преследованиях. Системы мировоззрений он обычно рассматривал в 5-мерном пространстве: онтология, гносеология, биология, этика, социология.

Одновременно Любищев разрабатывал такие проблемы многомерной диалектики как ортогонализация осей семантического пространства, комплексирование признаков по критериям реальности, синтезирование целостных сущностей. Еще в 40-е годы он ставил вопрос о “преодолении всех форм плюрализма в едином высшем синтезе”, в 70-е годы писал: “Проблема целостности сопряжена с глубочайшими философскими вопросами”.

Открытая методология, которую с трудом постигает сегодняшняя синергетика, была доступна Любищеву во все годы господства идеологии закрытого общества. В письме к Д.А. Никольскому от 20.12.60 он утверждал:

“Детерминизм является не только антинаучным, но ответственным за многие выводы, которыми многие ученые и неученые пытаются оправдать все мерзости истории”.

В статье, посвященной принципу дополнительности, он отмечал, что согласно Бору высшая мудрость должна обязательно быть выражена путем использования таких слов, смысл которых нельзя определить однозначно, и между прочим само понятие дополнительности трактовал в 4-х вариантах. В письме к В.Н. Беклемишеву от 05.11.58 читаем:

“Я думаю, что среди открытий XX века следует различать три группы: 1) те, которые поддерживают сделанные выводы, но не ставят никаких новых проблем, 2) те, которые ставят по новому казалось бы разрешенные проблемы, 3) те, которые оказываются совершенно непредвиденными. Первую категорию следует признать приятными открытиями, вторую – полезными, третью – интересными”.

Прогресс в обществе Любичев признавал в смысле гуманизации, оговаривая однако, что он идет не прямолинейно, а зигзагообразно. Откликаясь на речь В.А. Энгельгардта “Творчество ученого” по радио 19.12.64, Любичев писал 21.12.64:

“В.И. Вернадский и Тейяр де Шарден, отошедшие уже в вечность, все время настаивали, что с появлением разумного человека зародилась новая сфера бытия, ноосфера, область действия сознательного разума. Не этот ли инстинкт, стремление к чистому знанию, к рационализации всего бытия, является основным принципом развития ноосферы, подобно эктропизму в биосфере. Может быть, для биосферы можно согласиться в первом приближении, что природу к жизни побуждают голод и любовь, но следование этому положению в ноосфере, как ведущему принципу, есть предательство человека по отношению к своему высшему назначению... Порыв ученого к познанию, сходный с “жизненным порывом”, есть нечто первичное, в подлинном смысле слова ведущее”.

По поводу слов о рационализации всего бытия развернулась острая дискуссия Любичева с П.Г. Светловым, который писал:

“Познание не обязательно результат рационализации. Знание имеет множество источников и рефлектирующий разум – лишь один из них... Часто знание противопоставляют вере. Антитеза: “чистое” знание и “слепая” вера. Однако, как знание может быть слепым и нечистым, так и вера может быть не слепой и чистой... За пределами применимости разума залегает огромная область, океан своего рода, о котором нам дают понятие внеразумные источники знания, каковые служат и фундаментом разумного”.

Любичев отвечает:

“Я... чувствую себя в одной компании с Эйнштейном, Эддингтоном, Гейзенбергом, Шредингером, Вейлем...”

Все они – рационалисты, как и Кант: религия в пределах чистого разума; а глубоко религиозные люди, как наш покойный друг В.Н. Беклемишев и ты, интуитционисты. Вот этого у меня нет и потому я совершенно бессилен в размышлениях на темы религии в духе, например, П.А. Флоренского... Но я высоко ценю все разумное, что дала в частности христианская религия. Проповедь любви и учение о Логосе, данное апостолом Иоанном, интернационализм апостола Павла и то критическое отношение, которое дано в поведении апостола Фомы”.

Свой рационализм Любичев видел в том, чтобы не ставить априорных пределов возможностям познающего разума. Такое понимание рационализма далеко выходит за рамки классического идеала и представляет интереснейший объект для современных охотников расширенного толкования этого термина. Склоняясь к пантеистическому мировоззрению, Любичев стремится к высшему синтезу Истины, Красоты и Добра на пифагорейском пути в развитии Культуры. Не случайно в своей работе он приводит слова А. Эйнштейна: «Все религии, искусства и науки являются ветвями одного дерева».

Дополняя голод и любовь жаждой познания, а полезное и приятное — интересным, Любичев фактически образует системные триады.

Отталкиваясь от традиционной постановки вопроса о двух линиях в философии, он неминуемо приходит к мысли, что «надо говорить не о двух линиях — Платона и Демокрита, а по крайней мере о трех. Третья линия — линия Аристотеля, которую строго говоря, нельзя отнести ни к чистому идеализму, ни к чистому материализму».

Потрясающая эрудиция, удивительная работоспособность, гражданское мужество Любичева получили широкое признание. Покоряет самостоятельный, независимый, свободный стиль его жизни и работы, предельная честность и щедрость в науке, уважение к инакомыслящим. Находит понимание его многомерная диалектика, ценится рационализм, оптимизм, гуманизм. И в масштабе уходящего века можно видеть его как гигантский мост разума над бездной упадка, ведущий от нравственных традиций российской интеллигенции к грядущему подъему духовности.

(Баранцев Р.Г. О духовном наследии А.А. Любичева // Реальность и субъект, 1999, N 1/2, с. 154-155).

7. Критический плюрализм А. А. Любичева

[Ниже — тезисы одноименного доклада поэта, культуролога и философа Ю.В. Линника, подготовленного к XIX Любичевским чтениям в Ульяновске, состоявшимся в апреле 2005 г. — А.А.]

1. Заимствуя понятие «критический плюрализм у К. Поппера, я хочу подчеркнуть, что между ним и А.А. Любичевым немало созвучий (*Поппер К. Все люди — философы. М., 2002, с. 26*). Сопоставление двух мыслителей укрепляет мое убеждение, что критический рационализм эволюционирует в направлении критического плюрализма — находит в нем оптимальную для себя форму.

Трудно представить критическую форму монизма — естественное для него тяготение к унификации оборачивается догматизмом; внутри монизма затруднена полемика.

Замечательно, что декартовский дуализм зарождается в лоне радикального сомнения, — однако существует опасность, что он будет бесконечно осциллировать между своими полюсами, не получая положительного разрешения. Тем не менее самоочевидно, что дуализм и критицизм совместимы — в рамках этого мировоззрения разум обретает почву для спора, диалога, дискуссии. Напомним, что главное назначение разума К. Поппер видел как раз в инициации «критической дискуссии» — и дуализм, изоморфный бинарному коду бытия, тут является отличным ферментом (*Там же*). Но еще более этой задаче соответствует плюрализм.

2. «Критическая дискуссия» у К. Поппера — это не только внешняя арена для разума, но и выражение его сущностной природы. Разум призван дискутировать с

самим собой! И дискутировать критически. Разум есть нескончаемая самодискуссия. Это прекрасно показал родоначальник рационализма Сократ. Вспомним, что провоцированные им споры внутренне плюралистичны — в них сталкиваются не два, а чаще несколько подходов. Для Сократа «критическая дискуссия» была не просто методом, а скорее образом жизни, который хотелось бы спроецировать на весь социум. К. Поппер приходит к схожим мыслям. Состояние перманентной «критической дискуссии» — это норма для открытого демократического общества. Повторим еще раз: рационалистический монизм быстро исчерпывает себя, закостеневающая в своих претензиях на исключительность и бесспорность; критический дуализм, содействуя зарождению столь важных для познания антиномий, грозит навечно оставить их неразрешенными; нельзя исключить, что духу истины — и духу свободы — максимально соответствует именно критический плюрализм.

3. Диалоги Платона могут вести к вполне монистическому выводу. Но это движение осуществляется в атмосфере толерантности. Все высказываются в полную меру — нет ни прерогатив, ни дискриминаций. Цензура отсутствует начисто. Вот здоровый пример! Характерно, что ранние диалоги Платона — их называют «сократическими» — часто оставляют обсуждаемую тему открытой; нет вывода — нет результирующей — нет окончательной дефиниции! Очень возможно, что в этой незавершенности своеобразно проявилась разомкнутость истины — ее внутреннее родство с бесконечностью. Диалоги Платона оказали весьма нетривиальное влияние и на стиль мышления А.А. Любищева, и на поэтику его статей. Часто они как бы изоморфны диалогам Платона. Это невидный изоморфизм. Тем не менее именно в нем находит свое самое тонкое и сокровенное выражение глубокая привязанность А.А. Любищева к Платону. Вот вторая часть статьи «Уроки истории науки».

Здесь поочередно обсуждается гегемония авторитетов, большинства, практики, традиции, математики, точных наук, эксперимента. По сути каждый «гегемон» — как участник диалога, или полиалога: все они не просто последовательно «выступают», но и спорят между собой. Если редуцировать диалоги Платона к их смысловой составляющей, убрав персоналии и драматургию, то мы получим схожую канву. Можно представить и обратную операцию — своего рода инсценировку статей А.А. Любищева. Тогда они станут похожими на диалоги Платона. Такая транскрипция может иметь разве лишь игровое или педагогическое оправдание. Но главное, что она принципиально возможна: диалогизм — и именно платоновский диалогизм! — как бы имманентен стилистике А.А. Любищева.

4. Не элиминация оппонентов, а скорее их культивирование: вот установка «критического плюрализма». Разум зиждется на изначальной бифуркации Единого, запускающей ветвящуюся цепь тез и антитез. Единое само по себе мета-разумно. А потому и несказуемо. Тогда как раздвоение Единого ведет к бинарному коду, который является структурной основой и сократического диалога, и кантовских антиномий. «Критический плюрализм» имеет глубочайшее онтологическое обоснование. Дискуссии — это жизненное; там, где дискуссия невозможна, верх берет унификация, замещающая ничтожное Единое на социальном уровне; за псевдосогласием и псевдо-единодушием может скрываться танатофилия — влечение к небытию. Таков коммунистический социум — дискуссия там табуирована! Дискуссия вительна. В ней находит свое выражение антиэнтропийное начало бытия.

5. В сократических диалогах Платона звучит полифония критического разума. Монофония разуму противопоказана. Она опять-таки заканчивается обрывом в Единое, не знающее никаких различий и противоположений — разум в такой си-

туации не только не может мыслить самого себя: его попросту нет. Разногласия мнений нужна разуму как питающая среда. П.А. Флоренский называл диалоги Платона «драматизированными антиномиями». Тут возможно не только классическое двухголосие, но и многоголосие: когда структура спора, перерастая диадку, уводит к триаде, тетрактиде и более сложным сочетаниям. Такое многоголосие характерно для А.А. Любищева. Например, он сравнивает семь гипотез происхождения позвоночных — и каждая из них представлена своими лучшими аргументами. Как бы воссоздается атмосфера платоновского симпозиона! Состязательность способствует оптимальному выбору. Когда делается отбраковка, то она мотивируется всесторонне; отброшенное помогает укрепиться апробированному — оказавшиеся неверными или избыточными движения мысли не пропадают втуне.

6. В кантовских антиномиях спорят два голоса. Г.В.Ф. Гегель введением синтеза добавляет к ним третий. Но этот процесс может быть продолжен! Исходная диада если не снимается здесь вовсе, то все же теряет жесткий характер, открывая путь к новому, подчас весьма нетривиальным возможностям. Очень вероятно, что плюрализация коррелирует с уровнем организованности: в фундаменте бытия — где раздвоение Единого обнаруживается со всей непосредственностью — мы находим четко бинарные структуры типа корпускулярно-волнового дуализма, но с подъемом на более высокие ступени происходит размывание оппозиций и замещение их более сложными, не двух-, а многочленными схемами. Эта тенденция созвучна «критическому плюрализму», собственно, она и делает его возможным. Утвердившись в исходной дихотомии, критический разум не исключает возможности ее расшатывания, ослабления — исподволь он переходит к политомии, преодолевая привычный алгоритм альтернативного мышления.

7. У А.А. Любищева мы видим явную тягу к вовлечению в критический анализ как можно большего числа гипотез и теорий. Чем богаче такое множество, тем труднее оно накладывается на дихотомический развил — внутри него действуют весьма гетерогенные, не укладывающиеся в привычную матрицу отношения. Мы поняли, что фундаментальная истина не унитарна, а по крайней мере комплементарна. А если дополнительность тут не является последним рубежом? Она очень удобна для описания дуалистического космоса. Но как ее применить в плюралистическом Универсуме? Быть может фигура Лейбница выдвинется на первый план в методологических исканиях XXI века — плюрализм все больше привлекает нас и онтологически, и ценностно. Мы все острее чувствуем, что критический разум уже не довольствуется мышлением по схеме «pro» и «contra» — ощущается потребность перейти на более гибкий язык, адекватный многомерной истине.

8. Сократ — Кант — А.А. Любищев: эти фигуры видятся в одной перспективе, ибо ярко воплощают дух рационализма с его трезвой оценкой возможностей человеческого познания. Все три мыслителя сохраняли верность идеалу единой истины. Но каждый по-своему ощутил ее недостижимость:

- а) Сократ смирился с тем, что предельно общие понятия лежат за порогом однозначных дефиниций — и апеллировал к вне-рациональным аргументам типа анамнезиса;
- б) И. Кант открыл, что разум, пытаясь выйти за пределы опыта, неизбежно порождает антиномии;
- в) А.А. Любищев показал, что ПРОЦЕССНАЯ ИСТИНА МОЖЕТ БЫТЬ МНОГОЗНАЧНОЙ. МЫ ДВИЖЕМСЯ К НЕЙ С РАЗНЫХ — ПОДЧАС ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ — СТОРОН, ВСЕ ПЫТАЯСЬ ИСЧЕРПАТЬ ЕЕ

СОДЕРЖАНИЕ. МЫ ДИСКУТИРУЕМ ОБ ИСТИНЕ. А ЕСЛИ ИСТИНА И ЕСТЬ ДИСКУССИЯ? [*Выделено мною. — А.А.*]. Создается ощущение, что именно такую форму она обретает в исследованиях А.А. Любищева — причем не в тех выводах, к которым они приводят, а в самом характере движения к ним. Выводы могут быть спорными в своей однозначности. Но импульс любощевской мысли не дает нам остановиться на них! Самое ценное — именно дискуссия, дух которой А.А. Любищев умеет воспроизводить и сохранять как никто другой.

(Линник Ю.В. Критический плюрализм А.А. Любищева / XIX Любищевские чтения. Т. 2. Современные проблемы эволюции. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 2005, с. 181-184)

8. Дополнительные факты и соображения

Две ремарки от автора

Ремарка 1: Начало любощевщины (70-90-е гг.)

Как уже отмечалось ранее в томе 1 (раздел 6.5) «Драматической социологии и социологической ауторефлексии», ныне, усилиями друзей и учеников Александра Александровича один за другим выходят все новые и новые — извлекаемые из архива — биологические, исторические, культурологические, философские труды Любищева, его эссе и письма.

Суммарный объем этих посмертных публикаций уже далеко превысил объем прижизненных.

Здесь ограничимся краткой библиографией — перечислением только **монографических** публикаций А.А. Любищева, появившихся за последние 20 лет:

- Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. М.: Наука, 1982;
- Дисперсионный анализ в биологии. М.: МГУ, 1986;
- Каким быть (мое пожелание молодежи). Основной постулат этики. Двух станов не боец. Партийность культуры. О морали, браке, любви. Ульяновск, 1990;
- В защиту науки. Л.: Наука, 1991;
- Материалы в помощь начинающим научным работникам. Ульяновск: УГПИ, 1991;
- Расцвет и упадок цивилизаций. Ульяновск-Самара: Русский лицей, 1993;
- Мысли о многом. Ульяновск: УГПУ, 1997;
- Линии Демокрита и Платона в истории культуры. М.: Электрика, 1997;
- А.А. Любищев — А.Г. Гурвич. Диалог о биополе. Ульяновск: УГПУ, 1998;
- Этика ученого. Ульяновск: УГПУ, 1999.

(Во всех перечисленных изданиях имя А.А. Любищева — на титуле).

Еще в 1982 г. в научно-биографической серии АН СССР вышла книга:

— Александр Александрович Любищев. 1890-1972. Л.: Наука, 1982.

(Среди авторов этой книги: П.Г. Светлов, ныне покойный; дочь А.А. Любищева Е.А. Равдель, ныне покойная; С.В. Мейен, ныне покойный; Ю.А. Шрейдер, ныне покойный; Р.Г. Баранцев; М.Д. Голубовский; В.А. Дмитриев; А.Ф. Зубков; О.М. Калинин; В.Г. Ковалев. Все это люди, очень много сделавшие для освоения и распространения идей А.А. Любищева).

Пожалуй, наиболее полный обзор теперь уже четвертьвековой люблицевщины содержится в статье Б.С. Шорникова “К 25-летию Люблицевских (биометрических) чтений (историография и хроника)”, опубликованной в сборнике “Теория эволюции: наука или идеология?” (М.-Абакан, 1998).

Б.Ш. выделяет четыре этапа в освоении наследия Люблицева:

- 1) Осознание горечи утраты (1972-1976);
- 2) Осмысление феномена А.А. Люблицева как гуманиста-энциклопедиста (1977-1982);
- 3) Издательско-публицистический период реализации наследия А.А. Люблицева (1983-1990);
- 4) Расширяющееся понимание (с 1991).

До 1990 г. Люблицевские чтения, посвященные теоретико-биологическим, биометрическим, классиологическим, общенаучным и философским проблемам, происходили в основном в Ленинграде и в Москве. Ныне центр этих чтений переместился в г. Ульяновск.

В 1990 г. (год столетия со дня рождения Люблицева) на стене старого корпуса Ульяновского педагогического института (ныне Ульяновский государственный педагогический университет), был открыт мемориальный горельеф.

В апреле 2000 г. в Ульяновске состоялись очередные, уже двенадцатые Люблицевские чтения.

Оргкомитет Люблицевских чтений в УГПИ, в составе: проф. Р.В. Наумов, доц. А.Н. Марасов и доц. В.А. Гуркин, – является постоянно действующим.

...И вот только что (июнь 2000) произошло важнейшее событие: в серии “Философы России XX века” вышли два тома избранных сочинений А.А. Люблицева (ответственный редактор и составитель – Р.Г. Баранцев):

– Люблицев А.А.. Линии Демокрита и Платона в истории культуры”. СПб: Алетей, 2000, 256 с.;

– Люблицев А.А. Наука и религия. СПб: Алетей, 2000, 358 с.

Все, для кого значимо и дорого имя Люблицева, поздравляют и благодарят Тебя, Рэм! (Сентябрь 1999 – июнь 2000).

Ремарка 2: мысль изреченная всегда неполна...

Несколько слов относительно люблицевской “апологии рационализма”.

Читатель, вероятно, помнит “антирационалистические филиппики” Ухтомского, цитировавшиеся выше. Ухтомский, вероятно, солидаризировался бы с П. Светловым или Б.С. Кузиным (см. выше) в их с Люблицевым споре о рационализме.

Наша собственная позиция в данном вопросе сегодня, пожалуй, все же ближе к Ухтомскому – в морально-этическом аспекте, а в гносеологическом – к М. Полани или Питириму Сорокину (см. том 4 (разделы П.23.2 и П.23.3) «Драматической социологии и социологической ауторефлексии»), чем к Люблицеву.

Однако не стоит так уж абсолютизировать мировоззренческие ЗАЯВЛЕННЫЕ мыслителей!

...И Люблицев был вовсе “не только” рационалистом, иначе мы бы не наблюдали “феномен Люблицева”, во всем богатстве и величии его умственных, душевных и духовных жизнепроявлений.

...И Ухтомский, разумеется, делал свои выдающиеся открытия в области физиологии нервной системы и т. д. – вовсе не на “одной только” иррациональной основе.

И так далее...

Отмеченные “рассогласования” (противоречия) лишь подтверждают ту всеобщую, как нам кажется, закономерность, что целостная личность, “лицо”, человек, во всем многообразии своей жизнедеятельности, – “шире” ЛЮБОЙ декларации или “символа веры”.

Интересен обмен репликами на эту тему П.Г. Светлова и А.А. Любищева в их переписке.

“Интуитивист” Светлов пишет “рационалисту” Любищеву по поводу только что прочитанной рукописи последнего “Наука и религия” (письмо от 21.11.1969):

“...Я далек от мысли упрекать тебя за то, что ты ограничил план своей работы взаимоотношениями науки и религии как общественных явлений, сделав центром внимания пользу и вред, приносимый ими друг другу. Вышло здорово: бесчисленные нападки на религию, как на врага науки, оказались разбитыми вдребезги. Замечательно, что это сделано безбожником! (Только во имя справедливости)...” (21.11.1969). (Любищев А.А. Наука и религия. СПб, 2000, с. 315).

А.А. Любищев отвечает своему корреспонденту (22.12.1969):

“...Ты пишешь, что с поставленной мной задачей я справился хорошо, и за это большое тебе спасибо. Напрасно ты только называешь меня безбожником, ведь в одном из предыдущих писем ты меня причислял к религиозным людям...”

Далее А.А. Любищев вспоминает апостола Фому:

“...Фома – наиболее критически мыслящий из всех апостолов. По поразительному совпадению имя Фомы носят три выдающихся мыслителя: Фома Аквинат, Кампанелла и Мор. Если угодно, моя работа “Наука и религия” проникнута духом апостола Фомы...” (Там же, с. 316).

Заметим еще, что всякого мыслителя следует воспринимать не изолированно, а в комплексе (единстве) с его “заслуженными собеседниками”.

Как справедливо пишет Рэм Баранцев в своем предисловии к избранным трудам А.А. Любищева, “...рациональность Любищева, эстетичность Кузина и духовность Светлова в своем единстве образуют ту ноосферную целостность, которая достойным образом завершают эту книгу” (Баранцев Р.Г. На пути к единому знанию / Любищев А.А. Наука и религия. СПб, 2000, с. 10). (Июнь 2000).

9. В коридорах власти

Из архива А. А. Любищева (1950-е гг.)

[Разговор с Василием Васильевичем Ивановым. Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС. Беседе Любищева с В.В. Ивановым непосредственно предшествовала его беседа с В.П. Орловым в сельскохозяйственном отделе ЦК КПСС. — А.А.]

Разговор продолжался короче, чем предполагалось (45 мин.), так как по телефону я договорился сначала с Орловым на 12 час. и Иванов тоже меня просил сначала на 12 часов, когда же я сказал, что я занят, он перенес на 13 час., но и тут меня задержал Орлов, а потом бегодня (это в другом здании и требуется новый пропуск), пришло меня к тому, что я попал к Иванову в 13 ч. 45 м., а в 14 ч. 30 мин. у него началось совещание работников кафедр общественных наук. Секретарша Иванова меня спросила, не на совещание ли я прибыл. Когда я узнал, на какое совещание, то заявил: «Что вы — кафедры общественных наук мне только мешали в работе».

Иванов — довольно пожилой солидный мужчина — сначала заявил о своем уважении к представителям старой интеллигенции, а потом стал разъяснять разницу между «Крыльями» и «Гостями». Он сам заявил, что истинная сущность обвинения Зорина в клевете была сформулирована не четко и что дело в том, что Зорин указал, что власть разрешает и что у нас закладывается новая буржуазия и высший свет. Что объективным законом советского строя является то, что такие разложившиеся люди выявляются и подвергаются наказанию, между тем как по Зорину выходит, что советская власть закономерно такие явления, как Кирпичева и Дремлогу, порождает. Поэтому за «Гостей» чрезвычайно ухватились наши враги в Бибиси, «Голосе Америки» и даже английском журнале «Экономист», обычно не касающемся вопросов литературы. Он привел пример Александрова, которого разоблачили и устранили с поста. Я ответил, что появление новой буржуазии и высшего света — несомненный факт. Они не являются закономерным порождением советской власти, но вполне закономерным порождением того культа личности, который у нас господствовал последние годы до 1953 г., когда без личного участия Сталина и солнце не всходило и земля не рождала, что такое рождение нового высшего света представляет собой огромную опасность для всего дела социализма.

Когда он спросил, как же могут закономерно вырождаться избранники народа, я ответил, что будем откровенны: хорошо известно, что список выставляемых кандидатов составляется обкомами и горкомами, в большинстве случаев настоящие лица кандидатов нам неизвестны, а когда они хорошо известны, то часто кандидат уклоняется от встречи с хорошо знающими его избирателями: наш первый секретарь Скулков не баллотируется в Ульяновске. Избиратель, голосуя за кандидата, обычно голосует за советскую власть, а вовсе не за ему неизвестного кандидата (большой частью). Поэтому большей частью наши депутаты не имеют права считать себя персонально избранниками народа.

Что касается Александрова, сказал я, то, во-первых, он не был разоблачен, так как истинная причина его снятия с поста министра не была опубликована, а кроме того, с моей точки зрения, вина Александрова ничтожна по сравнению с виной такой фигуры, как Лысенко, а Лысенко продолжает оставаться президентом ВАСХНИЛ и проч. и тормозит развитие науки. Вот тут, кажется (а может быть я сказал это обоим), я сказал, что пока у власти Лысенко умные люди имеют право бояться рецидивов ежовщины. «Это невозможно» — ответил Иванов. «Я тоже думаю, что это невозможно, — ответил я, — но это мое убеждение я не в силах передать моим товарищам».

Поэтому я сказал, что в обвинении Зорина в клевете смешиваются две вещи: 1) возможность закономерного порождения разложившихся бюрократов советской властью и 2) такая же возможность, как следствие культа личности; и забывают, что время действия «Гостей» относится к началу пятидесятых годов. Вот если бы Зорин отнес это действие к настоящему времени, то тут обвинение в клевете имело бы основание, так как сейчас о подобных злоупотреблениях в судебном ведомстве не слышно. Иванов ответил: «Но она была напечатана в 1954 году».

Я спросил о судьбе Зорина. «Он уже написал какую-то комедию, которая идет на сцене, — ответил В.В. Иванов. — Никаких репрессий он не претерпел».

Я спросил еще, что, значит, Бибиси и «Голос Америки» оказали Зорину плохую услугу, создав ему такую «паблисити»? Он ответил, что мы не настолько наивны, чтобы не заметить того политического вреда, который имела [нанесла? — А.А.] эта пьеса. «Однако многие товарищи не заметили, так как пьеса шла беспрепятственно в ряде театров».

В конце я заявил, что очень удовлетворен беседой, так как для меня сейчас вполне ясны психологические основания кампании, поднятой против Зорина, но я все-таки сохраняю свое старое мнение, что эта кампания была не нужна. Подробно обосновывать свою точку зрения по вопросу партийности культуры я не считаю возможным, так как думаю это сделать осенью в пятой главе «О монополии», которую я надеюсь, В.В. Иванов сможет прочесть. (*Речь идет о работе А.А. Любищева «О монополии Т.Д. Лысенко в биологии». – А.А.*) Вкратце же могу сказать, что хотя в политике никакого участия не принимал, но давно интересуюсь как политикой, так и общефилософскими вопросами, и давно известен, в частности, как вигилист (этот термин В.В. Иванову оказался неизвестен и он спросил: «А что это такое?» — пришлось вкратце разъяснить), и что понятием диалектического материализма сейчас пользуются вкривь и вкось. Необходимо творческое отношение к марксизму, а не догматическое, противное всякому духу марксизма, которое господствует в настоящее время.

На этом мы расстались.

26.VIII.55 г.

Москва. А.А. Любищев

(Цит. по: Любищев А.А.. Этика ученого. Подбор писем и статей А.А. Любищева против лысенковщины. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 1999, с. 61–63).

10. Уроки мысли, жизни и общения

...- Я – кто? Я – дилетант, универсальный дилетант. Слово-то это происходит от итальянского "дилетто", что значит удовольствие. То есть человек, которому процесс всякой работы доставляет удовольствие... (А.А. Любищев – о себе. – А.)

Д. Гранин ("Эта странная жизнь")

Ремарка: "любительство" Любищева

...И еще одна сторона "феномена Любищева", оставшаяся до сих пор мало затронутой в нашем мозаичном портрете. Это его постоянное "любительское" обращение к истории, культуре, искусству, т.е. к сугубо гуманитарным областям, где он тоже был энциклопедистом (а не только в естествознании!).

Причем в данной сфере – не меньшая глубина, новаторство, независимость и даже "рискованность" суждений: "суд разума" над официальной или общепринятой точкой зрения.

Фактическое подтверждение сказанному можно найти хотя бы в серии любищевских публикаций в петербургском журнале "Звезда" последнего времени:

– "Идеология де Сент-Экзюпери" (Звезда, 1993, № 10);

– "Понятие великого государя" (Звезда, 1995, № 8);

– наконец, фрагменты 80-страничного письма Любищева – Д.А. Никольскому: "Если бы противостояние с Москвой завершилось в пользу Новгорода..." (Звезда, 1999, № 10).

В последнем Любищев выражает убеждение в том, что "разгром Новгорода (Москвой, в XV веке) – "несчастье не только для Новгорода, но и для всего русского народа и даже отчасти для всего человечества". Он показывает, что возникшее в период "собрания Руси" верховенство московской "программы и идеологии" было победой **регрессивной** тенденции над исторически прогрессивной, что существенно определило весь дальнейший ход российской истории.

(Этой же теме посвящена люблицевская “Апология Марфы Борецкой”, опубликованная в цитированном выше сборнике “Мысли о многом”).

Иллюстрируя тезис об “энциклопедизме, рационализме и независимости” Любичева, приведем здесь фрагмент из еще одного его личного письма – Надежде Яковлевне Мандельштам, опубликованного недавно в журнале “Звезда”. См. ниже. (Июнь 2000).

А. Любичев – Н. Мандельштам (1955)

<...> В отношении того – составляют ли систему мои высказывания, ответ дан в длинном письме к Жеке (“Жека” – Евгения Александровна Равдель, дочь А.А. Любичева. – А.А.), копию которого Вам пересылаю. Я думаю, что сейчас все мои работы связаны друг с другом и обусловлены логической целью обоснования и защиты новой БИОЛОГИИ. Это вместе с тем отчасти и объясняет то, что я не стремлюсь расширить многих своих эстетических запросов. По-видимому, Вы были очень довольны, что некоторые стихотворения Вашего покойного мужа [О.Э. Мандельштам. – А.А.] мне нравились. Верно, что одно или два я почувствовал. За это время у меня было еще и другое новое эстетическое переживание. Будучи в “Борке”, я первый раз с чрезвычайным удовольствием прослушал действительно высокую музыку. Там я слышал на долгоиграющих пластинках “Крейцерову сонату” Бетховена. Весьма возможно, что если бы я стал посвящать больше времени чтению стихов и слушанию хорошей музыки, я, может быть, и понял бы самые высокие произведения, но это не входит в мою систему, и потому я удовлетворяюсь теми стихами (скажем А.К. Толстого, Лермонтова, Жуковского, Некрасова и др.), которые мне приятны, не делая попытки подниматься в более высокие сферы, которые я вполне уважаю, но считаю, что необъятное объять невозможно. Я резервирую за собой право считать, что необъятные непонятные для меня стихи и музыкальные произведения выше того, что я понимаю. Наряду с действительно очень высокими непонятными для меня произведениями, вероятно, непонятно для меня и многое такое, которое просто относится К ИНОМУ КАНОНУ [выделено мною. – А.А.], вовсе не более высокому, чем тот канон, который мне нравится. И вот для обоснования этого могу использовать опять то же слушание “Крейцеровой сонаты”. Что существует такая соната, я в свое время узнал только прочтя повесть Льва Толстого под тем же заглавием. Это было очень давно. Так как тогда я был полным нигилистом, музыкой не интересовался, то и полагал, что “Крейцера соната” написана Крейцером. Из самого чтения повести я сделал два вывода: 1. что написавший “Крейцерову сонату” Лев Толстой никак не мог быть счастливым в семейной жизни, и в этом я был, оказывается прав; 2. что эта самая “Крейцера соната” есть какое-то исключительно развратное, возбуждающее чувство, произведение, если Лев Толстой, который большинством людей признается великим художником и великим знатоком разных видов искусства, избрал это произведение как символ господства животного начала над человеческим. Когда я узнал потом, что “Крейцерову сонату” написал Бетховен, вообще более, чем другой крупный композитор, для меня доступный, я прослушал эту сонату в хорошем исполнении, то убедился, что, очевидно, Лев Толстой в настоящей музыке ни хрена не понимает. Более нелепого толкования, чем дал Лев Толстой, дать невозможно. Совершенно для меня ясно, что сам Лев Толстой был крайне обуреваем чисто животными стремлениями, это он сознавал и с этим старался бороться, но почему Бетховену попало – это уже дело чистой физиологии. Из воспоминаний Софьи Андреевны видно, что она когда-то увлеклась Танеесым. Л. Толстой, очевидно, сильно ревновал, и так как, возможно, С.А. с Танеесым исполняла “Крейцерову сонату”, то у Л. Толстого и

образовался условный рефлекс, установивший связь между его ревностью и таким величайшим произведением, каким является “Крейцерова соната”. Вы знаете, что наш общий друг Б.С. Кузин, у которого я гостил десять дней, резко отрицательно относится к Л. Толстому (между прочим, это не столь редкое явление). Я не являюсь восторженным поклонником Л. Толстого, считаю, что большинство его философствований (кроме суждения о Шекспире) чрезвычайно невысокого уровня, и ставлю его гораздо ниже А.К. Толстого или, например, Лескова, но все же я считаю его крупным писателем и не мог понять такого резко отрицательного отношения Б.С. Теперь я понимаю, и хотя своего отношения к Толстому не изменил, но этот случай с “Крейцеровой сонатой” прибавил мне еще один резкий аргумент для моего критического отношения к нему.

Ваше замечание о сравнении Энгельса и Ленина, по-моему, очень метко. Для Ленина философия была целиком подчинена его политической деятельности, и это было причиной написания его книги “Материализм и эмпириокритицизм” со всеми вредными последствиями. По ряду последующих замечаний Ленина в конспектах на “Историю философии” можно догадаться, что если бы у него было больше времени, он мог бы исправить сделанные им ошибки, которые сейчас книжниками и фарисеями, используются во вред культуре. Об этом у меня намечено написать в “Философских письмах”, но до них я доберусь, вероятно, не скоро, вернее, до соответствующей части “Философских писем”.

Теперь очень трогательны Ваши сомнения о своевременности (! – А.А.) моих писаний. Выражаясь Вашим языком, “позвольте, сказал Ал.Ал. и полез разговаривать...”. Эта фраза мне очень понравилась, и согласно с ней я сейчас и живу.

Вам кажется осложнением, что я, будучи рационалистом, в значительной части своих боковых высказываний – **моралист** [выделено мною. – А.А.], и потому я могу попасть на крючок. Хотя тут же Вы возражаете себе. Что я рационалист, это, конечно, верно. И мой рационализм распространяется целиком и на область морали. Поэтому я моралист не вопреки тому, что я рационалист, а именно потому, что я рационалист. Тут я вовсе не оригинален, тут я следую великой традиции Сократа, Платона, Аристотеля, Спинозы, Канта. Начиная с Сократа, развивается положение, что разум есть не только высшая, а единственная подлинная добродетель человека и что неразумный человек быть подлинно добродетельным не может.

Ваше рассуждение о моменте и времени вполне справедливо, и я вполне понимаю разницу между пеной и течением. Вы пишете, что течение других изученных областей мне не поможет. Эту область я очень внимательно и давно изучал. Я никогда не принимал участия в политике, но всегда ею интересовался, и поэтому я, пожалуй, лучше разбираюсь в ходе событий, чем многие лица, обвиняющие меня в наивности и оторванности от жизни. Поэтому я полагаю, что никакой крючок мне не угрожает. <...>

А. Любищев

Ульяновск. 15 октября 1955 г.

(Цит. по: Звезда, 1999, № 10, с. 124-125)

Ремарка: стиль Любищева

Для полноты картины, можно было бы процитировать еще какую-нибудь из работ А.А. Любищева, из области его “узко-профессиональных” научных интересов: будь-то сельскохозяйственная энтомология или биометрия, генетика или эволюционная теория, и т.д., которые, кроме всего прочего, оказываются удивительно эвристичными для непрофессионального читателя (сужу по себе).

Например, его “Загадки биологии” (1970), недавно опубликованные в материалах XII Любичевских чтений (Ульяновск, 2000).

Но – не стану!

Пожалуй, наиболее репрезентативным в этом отношении до сих пор остается обзор, содержащийся в коллективной монографии об А.А. Любичеве, вышедшей 20 лет назад, под редакцией П.Г. Светлова, в серии “Научно-биографическая литература”: Александр Александрович Любичев. 1890-1972. Л.: Наука, 1982.

...В заключение, обратим внимание на “стилистику” письма А.А. Любичева к Н.Я. Мандельштам. Воспроизводя его выше, я опустил лишь несколько вступительных строк и заключение, где Любичев сообщает, что “...живем мы сейчас прекрасно. Дел у нас у обоих (Любичев и Ольга Петровна Орлицкая. – А.) столько, что не до скуки...” (следует перечисление “дел” – на несколько строк).

“...Материальное положение у нас улучшилось... так что, очевидно, на пенсию мы сможем жить, не нуждаясь в дополнительно заработке... Будем заниматься только тем, что для нас представляет интерес...”

Основная же часть письма – как бы комментарий к собственному письму Н. Мандельштам; развернутые реплики, перерастающие в самоценное обсуждение (впрочем, в данном случае, заведомо не рассчитанное на переработку в статью, как в некоторых других, многостраничных “письмах-трактатах”).

Уроки Любичева, извлекаемые нами сегодня, это уроки мысли, жизни и ОБЩЕНИЯ (диалога). (Июнь 2000).

11. «Как стать личностью более благоустроенной, хотя бы в смысле использования собственной головы для себя...»

Ремарка: «секреты» системы Любичева

Вернемся к теме системы «времяпользования» А.А. Любичева.

Среди недавних публикаций эпистолярного наследия А.Л. – большое письмо, адресованное Никите Кривошеину (1959), в котором Любичев «делится секретами» организации времени, а точнее - рассказывает «откуда взялась» его система учета жизненного времени и т.д.

Примечательно, что отвечая на узко поставленный вопрос (о способе рационального использования времени), Любичев ставит свою «технологию» организации времени и т.п. - в контекст всего своего жизненного пути и, по существу, дает – под этим углом зрения – краткий очерк собственной жизни, эволюции жизненных и научных интересов, своего рода ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ БИОГРАФИЮ.

Отсылаем читателя к журналу «Звезда» (1999, № 10).

Здесь же ограничимся непосредственно относящимися к проблеме «времяпользования» выдержками из этого письма-самоанализа и жизненной ретроспекции. (Март 2000).

А. Любичев – А. Кривошеину (1959)

Дорогой Никита!

<...> В этом письме ты затрагиваешь вопрос и просишь ответа по поводу организации времени. Ты жалуешься на размагничность и полагаешь, что такое состояние мне всегда было чуждо. Ты пишешь:

«Вам ведь всю жизнь удавалось планомерно, сжато и продуманно использовать время, и любое интеллектуальное бездействие вам немислимо». Поэтому ты

просишь сообщить секреты организации времени, и на каких фундаментах можно стать личностью более благоустроенной, хотя бы в смысле использования собственной головы для себя. Постараюсь ответить на твой вопрос.

Мы с тобой познакомились, когда я был уже стариком (больше 60 лет), и странно потому думать, что я всегда был таков как в старости. Но некоторая повышенная серьезность (унаследованная моим покойным сыном) у меня действительно была. Я очень рано научился читать (как будто четырех лет) и чтение с ранних лет было моим любимым занятием. <...>

...Ознакомление с менделизмом заставило меня заинтересоваться больше вопросом приложения математики к биологии, и я стал знакомиться с высшей математикой. Кто-то из знакомых мне посоветовал великолепную для самообразования книгу Лоренца (в двух томах) «Элементы высшей математики». Я ее проработал основательно и проделал все приложенные задачи. И вот, в процессе изучения этой книги, я и натолкнулся на необходимость учета времени. В каком году это было – сказать не могу, может быть в 1910 году, вернее в 1913. На лето я наметил себе план, как всегда неясно сформулированный, в него входили и собирание насекомых, и чтение биологической литературы, и занятие математикой. Намерен был месяца за два-три продвинуться достаточно далеко. Но в конце первого месяца убедился, что математика очень мало продвинулась, хотя, по неточному плану, я должен был часа по два-три заниматься этим ежедневно. «Неужели я так туп, что не могу осилить математику? – подумал я. – А ну-ка проверю, сколько я фактически трачу на это времени». После этого, занимаясь математикой, я стал записывать начало занятий и конец и точно учитывал все перерывы (разговоры, минуты отдыха, посещение уборной и проч.), и оказалось, что при недисциплинированных занятиях я фактически затрачивал очень мало времени на математику. Это заставило меня пересмотреть план, быть более дисциплинированным, и тогда дело пошло гораздо лучше. Постепенно я распространил учет и на другие виды работы, и С 1 ЯНВАРЯ 1916 ГОДА СТАЛ ВЕСТИ ДНЕВНИК УЧЕТА, КОТОРЫЙ ПОСТЕПЕННО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛСЯ [выделено мною. А.А.]. За первые 21 год (1916-1937) дневник утерян, а С 1 ЯНВАРЯ 1937 ГОДА ОН ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНИЛСЯ, СОСТАВЛЯЯ ЧЕТЫРЕ ТОЛСТЫХ ТОМА.

<...> Когда я вступил на этот путь (речь в данном случае идет не о ведении дневника, а о формировании у А.А. Любищева определенной системы научных убеждений - витализма, о чем тот подробно в этом письме рассказывает. – А.А.) то уже состояние размагничности, отсутствие *Arbeitslust* (удовольствия в работе) наступали у меня лишь тогда, когда я был нездоров, что и случилось в 1925 году, когда у меня оказалось расстройство сердечной и нервной системы, вероятно, в значительной степени как результат перенесенного в 1922 году сыпного тифа. Но перемена режима по советам врачей поправила дело, и сейчас, несмотря на преклонный возраст, моя работоспособность удовлетворительна. Вот вкратце мое изложение того, как я дошел до современного состояния. Я, конечно, не считаю свою систему единственно возможной или даже наилучшей. огромное большинство ученых достигают часто гораздо больших результатов при отсутствии моей системы, но для людей, подобных мне, она оказывается полезной.

Какие же эти мои личные свойства? Я считаю своими достоинствами:

1) глубоко сидящую нелюбовь к безделью; 2) сильно развитую склонность к теоретизированию и критическому размышлению. <...> А.Г. Гурвич в свое время сказал, что мой характер более подходит не к тому, чтобы открывать пути к новым

областям фактов, а к тому, чтобы осмысливать достигнутое (конечно, точно не помню). Меня тогда это огорчило, хотя Гурвич свои высказывания сопровождал весьма лестными цитатами, кажется, Шопенгауэра, что наибольшая заслуга не в том, чтобы открыть то, чего раньше никто не видел, а в том, чтобы о том, что все видят, думать так, как никто не думал (вспомним яблоко Ньютона).

С этими моими свойствами гармонируют и мои недостатки: 1) совершенная техническая бездарность, несмотря на любовь к разнообразному ручному труду. Если бы я захотел заниматься экспериментальной работой, то, вероятно, ничего бы не вышло или вышло что-либо совсем жалкое; 2) неспособность к длительному непродуктивному наблюдению: я очень увлекался работами Фабра и других по биологии насекомых, и сейчас восхищаюсь этими достижениями, но следовать им совершенно не в состоянии; 3) чрезмерная обстоятельность: я способен тратить массу времени на деталь, забывая иногда общее, от этого и сейчас я трачу очень много времени на проработку заинтересовавших меня работ; 4) очень скромные математические способности. Времени на занятие математикой я затратил уйму, занимался этим с величайшим удовольствием, но к сколько-нибудь оригинальному мышлению в этой области совершенно не способен. Решил сотни дифференциальных уравнений и совершенно не способен сам составить хотя бы одно. <...>

Я поэтому считаю, что МОЯ СИСТЕМА РАБОТЫ ПРИГОДНА И ЦЕЛЕ-СООБРАЗНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ МОЕГО СКЛАДА И СОВЕРШЕННО ЧУЖДА ДЛЯ ЛИЦ ИНОЙ УМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ И ИНЫХ НАУЧНЫХ И КУЛЬТУР-НЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ. Следовательно, если ты хочешь в той или иной степени мне следовать, подумай, в какой мере ты на меня похож.

На этом пока кончаю, как говорил Аристотель, «необходимо остановиться», и думаю, что на первый раз достаточно. Если тебя эта тема интересует, пиши, буду рад ответить. <...>

Твой А. Любищев
Ульяновск. 26 октября 1959 г.
(Цит. по: Звезда, 1999, N 10, с. 130-134)

Ремарка 1: «Такая добровольная каторга...»

Вот еще одна рефлексия самого А.А. Любичева по поводу его системы «вре-мяпользования»:

"...Моя система способствует повышению продуктивности работы и вместе с тем является эквивалентом санатория... Путем постоянной тренировки я значительно увеличил свою работоспособность и потому я рекомендую попытаться применить эту систему в порядке опыта. Каковы достоинства этой системы? 1) Повышение эффективности. Это иллюстрация к словам поэта: "Ты сам свой высший суд". Она приучает к точному учету всего того, что проделано, и к самоконтролю. 2) Полезно отражается на здоровье, избавляет от скуки, от возможности говорить, что "делать нечего". 3) Самокритика, самопонимание увеличивается тогда, когда вы видите, насколько вы правильно используете любое время..." (Любичев А.А. Такая добровольная каторга // Химия и жизнь, 1976, № 12. с.14).

По утверждению самого А.А. Любичева, его система "...пригодна для тех, кто в известном смысле сходен со мной по следующим признакам: главный интерес в жизни - научная работа, не профессия, а основное содержание; большие поставлен-

ные перед собой задачи, требующие разносторонних знаний; с возрастом не сужение интересов, а наоборот все продолжающееся расширение..." (Там же, с. 9).

(Июль 2012)

Ремарка 2: возможно ли воспроизведение опыта Любичева?

Как уже говорилось, «система Любичева», при всей ее уникальности, в принципе воспроизводима, хотя бы частично:

«...Около 20 лет назад, автор, находясь под сильным впечатлением опыта А.А. Любичева, описанного Д. Граниным, разработал методiku «концептуализированной самофотографии бюджета времени», которую назвал – «ВРЕМЯ ЖИЗНИ». Эта методика создавалась для личного пользования и опробовалась в течение нескольких лет. (На повторение подвига человека, «смотрящегося в часы» на протяжении всей своей жизни, у автора не хватило внутренней собранности и «ответственности перед Временем»)...)» (Алексеев А.Н. Система «времяпользования» А.А. Любичева и возможности ее применения и развития» / Любичевские чтения. 1999. Ульяновск, 1999).

Подчеркнем, что наша методика учета и контроля использования жизненного времени во многом ОТЛИЧАЕТСЯ от Любичевского прототипа, хотя и исходит из главной идеи последнего. (Март 2000).

...Жил человек, его дух породил множество форм, не вещественных, но существующих отдельно от вещей. Это его тексты, его поступки и фразы, оставшиеся в памяти современников. Жизнь Любичева продолжается в эти виртуальных формах. Читайте его тексты, спрашивайте, пытайте о нем тех, кто его знал. Он безусловно в них переселился. Даст Бог, переселится и в вашу память, чтобы возжечь в ней костер познания истины...

Александр Зинин. Искатель Истины // Мономах, 2000, № 1, с. 63

Ремарка 1: «Душеприказчики» А.А. Любичева

«...Тот, кто однажды столкнулся с Любичевым, будет снова возвращаться к нему, – писал Д. Гранин в своей повести «Эта странная жизнь». – Автор заметил это не только по себе, но и по многим людям, число которых растет» (Д. Гранин. Эта странная жизнь. М.: Советская Россия, 1974, с. 184).

Из письма А.А. Любичева к Р.Г. Баранцеву:

«...Я давно думал, а сейчас укрепился в своем мнении, что Вас я считаю в случае смерти (возможно недалекой) моим душеприказчиком, стоящим в самом первом ряду претендентов на получение моего архива (довольно значительного). К таким идейно мне особенно близким людям я отношу (исключая лиц, мне близких по возрасту, так как в силу своего возраста они не являются надежными душеприказчиками) Юлия Анатольевича Шрейдера в Москве и Михаила Давидовича Голубовского в Новосибирске...». (29.11.1970). (Цит. по: Любичев А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. СПб: Алетейя, 2000, с. 5).

Из воспоминаний Ю.А. Шрейдера (одного из тех, кого Любичев назначил своими «душеприказчиками»):

«...В октябре 1972 г. мне довелось участвовать в разборе архива скончавшегося за полтора месяца до этого в возрасте 82-х лет Александра Александра Любичева... И вот мы троим (Р.Г. Баранцев – профессор Ленинградского универси-

тета – и двое москвичей С.В. Мейен и я) едем в Ульяновск, чтобы вместе с учениками А.А. Любичева В.С. Шустовым и Р.В. Наумовым решить судьбу оставшегося архива и библиотеки...» (Шрейдер Ю. Три жизни профессора Любичева / Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сб. 14. М., 1978, с. 393-394).

Архив Любичева: 2000 печ. листов, включая 600 л. переписки (4500 писем) и 200 л. дневников, – был впоследствии депонирован его дочерью Еленой Александровной Равдель (ныне покойной) и его «душеприказчиками» в Санкт-Петербургское отделение Архива РАН (фонд № 1033).

...Ныне, благодаря усилиям Р. Баранцева и других младших друзей и учеников Любичева, творческое наследие замечательного ученого-энциклопедиста и мыслителя стало активно осваиваться. (Май 2000).

Ремарка 2: «Эта счастливая жизнь»

«ТРИ ЖИЗНИ ПРОФЕССОРА ЛЮБИЩЕВА» - так называется одна из работ Ю.А. Шрейдера. По мысли Ю.Ш., первая жизнь профессора Любичева – это «жизнь квалифицированного творческого специалиста в сравнительно узкой области, биологии»; вторая жизнь (после выхода на пенсию в 1955 г.) – «потрачена на осмысление и разработку методологических проблем науки, далеко выходящих за пределы собственно биологии».

«...То, что произошло потом [после смерти Любичева. – А.А.] не назовешь иначе как третьей жизнью, – пишет Ю. Шрейдер, – внезапно открылся масштаб творческой личности, возник массовый интерес к наработанному Любичевым запасу идей и к его личности».

Все это не похоже ни на ритуальное почитание памяти, ни на иллюзорное бессмертие застывших идей. Мысли Любичева не стали каноном. Пищущие о нем и работающие в его направлении продолжают диалог. То, во что трансформируются в дальнейшем идеи Любичева, может оказаться неожиданным для самого Александра Александровича.

Может в этом наилучшая форма бессмертия, которое наука дарит тем, кто ее делал...»

(Шрейдер Ю.А. Три жизни профессора Любичева / Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сб. 14. М., 1978, с. 397).

И еще – значимое в контексте настоящей книги – замечание Ю. Шрейдера: «...Почти ровесник А.А. Любичева М.М. Бахтин (живший по странной случайности в Саранске – совсем близко от последнего места обитания Любичева) создал теорию диалога как способа познания человека. Любичев фактически осуществлял диалог в естествознании и в познании природы науки как человеческой деятельности...» (Ю.А. Шрейдер. Указ. соч., с. 396).

Это писано (точнее сказать – напечатано) пять лет спустя после смерти Любичева.

А вот из «Заметок» Ю. Шрейдера об Александре Александровиче Любичеве, датированных январем 1973 г., т.е. лишь полгода после того, как Любичева не стало:

«...Александр Александрович Любичев прожил долгую, светлую и преисполненную радости жизнь».

С первым аспектом, вероятно, согласится любой человек средних лет, когда срок 82 года кажется еще достаточно большим.

Второй естественно приходит в голову всем, хоть немного знавшим покойного.

С третьим не согласятся очень многие. Этим многим Александр Александрович представляется человеком, незаслуженно обиженным судьбой, не оцененным по достоинству, обойденным почестями, известностью.

И все-таки я готов настаивать на том, что, жизнь Александра Александровича была преисполнена радости, что в ней не было ничего пустого, ненужного, мелкого. Он не был наивным человеком, создающим себе иллюзию счастья. Вряд ли последнее понятие имело для него смысл. Но он жил поиском и отстаиванием истины и пребывал в радостном состоянии духа, которым заражал своих собеседников и корреспондентов...» (цит. по: Любичевские чтения. 1999. Ульяновск, 1999, с. 8).

(Июнь 2000).

(См. соответствующий раздел из работы А. Алексеева «Из неопубликованных глав «Драматической социологии...»», том 1)

Анатолий Марасов

АЛЕКСАНДР ЛЮБИЦЕВ (ЭПИСТОЛЯРНЫЙ КОЛЛАЖ)

Согласно смыслу природы

А.А. Любичев родился 5 апреля 1890 г. в Санкт-Петербурге в семье богатого лесопромышленника Александра Алексеевича Любичева, жившей в собственном 5-этажном доме на Греческом проспекте, 23; на фронтоне здания *до сих пор* отчетливо просматривается вензель А.А. Л.

В 1906 г закончил реальное училище с золотой медалью, в 1911 г. естественное отделение физмата Петербургского университета с дипломом первой степени.

С 1912 г. работает на Мурманской биостанции, с 1914 на Бестужевских курсах в Петербурге, с 1918 в Таврическом университете (Симферополь), с 1921 г. в Пермском университете, с 1927 г. в Самарском с/х институте, с 1938 г. в Институте биологии АН УССР, с 1941 г. в Пржевальском пединституте, с 1943 г. в Киргизском филиале АН СССР (Фрунзе), наконец, с 1950 г. по 1955 – в Ульяновском пединституте *до вынужденного выхода* на пенсию.

Умер 31 августа 1972 г. в Тольятти, приехав читать лекции в Институт экологии АН СССР. Могила А.А. Любичева ныне находится на территории Ин-та экологии Волжского бассейна РАН. Кроме надгробной плиты из цельного куска гранита рядом с могилой установлен памятник с барельефом мыслителя и цитатой из его работы 1952 г. «Основной постулат этики»: *«Жить согласно истинному смыслу природы».*

В Ульяновске Любичевы жили вначале по адресу ул. Труда, 28 и 27 (не сохранилось; ныне расположено новое здание пединститута), с 1955 г. – ул. Красноармейская 2, кв. 4 (не сохранилось; ныне выстроено здание Центрального Банка), наконец, с мая 1969 г. – ул. Средний Венец, 23, кв. 12.

Письма – университет Любичева

Я думаю, что опубликовано в виде книг и статей около четверти всех работ А.А.; весь же Архив по объёму превышает 2 000 печатных листов (приблизительно 100 томов). Для нас важно отметить, что в силу того, что философские и политиче-

ские взгляды Любичева, «мягко сказать», не совпадали с идеологически выдержанными, ученики Любичева (палеонтолог С.В. Мейен, философ Ю.А. Шрейдер, математик Р.Г. Баранцев и энтомолог Р.В. Наумов) с его гигантского архива *во время* сняли копии и один из экземпляров в 90-е годы переправили в Краеведческий музей г. Ульяновска.

28 томов составляет переписка (ок. 12 000 страниц, т.е. ок. 800 авторских листов), число адресатов превышает 700. Описание писем представлено в трудах Любичевской конференции (Ульяновск) за 2004-2010 гг. Многие письма опубликованы в центральных и местных научных и научно-популярных изданиях, возможно, также около четверти от их объёма. Это не удивительно, так как *письма А.А. Любичева* – по большей части являются *развёрнутыми научными или философскими трактатами на десятках машинописных страниц*.

Письма Любичева читать *крайне интересно уже потому, что получаешь* идеологизированную информацию, и с какого-то времени начинаешь осознать, что получаешь *настоящее образование*. Без ложной скромности я могу сказать, что лично я получил образование, учаь в Любичевском университете.

На равных с Аристотелем

Просматривая письма А.А. Любичева, обратим внимание вначале на «глобальные» штрихи. *Кто он, Любичев на фоне общемировых стандартов?*

В письме генетику М.Д. Голубовскому от 12.10.65 он пишет, что «придерживается старой доктрины *Сократа – Платона – Аристотеля*, что единственной подлинной человеческой добродетелью является разум». По Любичеву «несомненно, из тулика вывело человечество не наука и не искусство, а религия...».

Ему же от 31.01.66: «В Москве у него был не один, а три доклада, один из выступавших в прениях сравнил меня с *Иоанном Предтечей*». Любичев отметил, что «более лестного сравнения не ожидал».

Ему же от 25.06.69 о том, что его выводы (в одной из общебиологических работ) совпадают с выводами таких умов, как *Эйнштейн и Винер*, «но эти их идеи пока ещё не развиты».

Но «сам» Любичев в письме зоологу А.А. Передельскому от 29.04.63 считает, что «гораздо уместнее меня сравнивать с деятелем католической церкви *Игнатием Лойлой*, и, если мне удастся выполнить более или менее план моей жизни, то я буду доволен, если меня сравнят с *Н. Кузанским* или недавно умершим *Тейяр де Шарденом*».

Впрочем, в письме от 2.12.53 будущему лауреату Нобелевской премии физики И.Е. Тамму Любичев в свойственной ему *иногда* раскованной манере сообщает, что он «бродяга в физической и умственной сферах».

14-страничная рукопись 1943 г. «Программа моей философской системы», как и предыдущие большие и глубокие *письма также не публиковались*, но архив у нас под рукой: «моя философская система по замыслу должна дать синтез всех философских систем прежних времён и народов, выделив в каждой здоровое зерно, и, таким образом, совершить дело, подобное *Аристотелю*... его попытка будет отличаться от аналогичных попыток *Спенсера и Канта*, которые были только философами... Попытка же *Аристотеля* является незавершённой в силу хронологической отдалённости. Попытка *Лейбница* (далеко не завершённая) должна быть признана неудачной: *reductio absurdum* монады, нереальность внешнего мира, пред-установленная гармония...»

Бродяга в умственных сферах

Какой это «бродяга в умственных сферах» не мне одному, естественно, судить, но многие заслуженные современники в разных областях знания ставили Любичева *в один ряд с выдающимися людьми всех времён и народов*.

А какой он «бродяга в физических сферах», отчасти мы уже можем судить по городам, где Любичев работал. Попробуем иллюстрировать «бродяжничество» только за ульяновский период жизни (до мая 1968 г, когда Любичев сломал шейку бедра; операцию 3,5 часа ему делал доктор А.П. Чулков). Без ссылок на письма укажем географию поездок, безотносительно цели поездки и рода деятельности, кроме Москвы и Ленинграда, куда каждую зиму ездил Любичев: Хвалынский, Киев, Минск, Гагры, Львов, Сурский район, Казахстан, Киргизия, Латвия, Новгород, Калужская область, Таруса, Борок, Белый Яр, Горький, Белое озеро, Новосибирск, Сосногорск, Курская область, Сурский район, Акшугат... Ежегодно Любичевых дома не было по 2-3 месяца.

И вот Любичевы приезжают домой:

Из письма А.Ю. Давыдовой (вдове зоолога К.Н. Давыдова, в Париж) от 22.06.62: «После возвращения из Ленинграда, Москвы и Минска у меня необходимость написать около 60 писем». Физик Г.Б. Анфилову от 4.12.70 (т.е., в 80-летнем возрасте) пишет, что него сейчас около 30 писем, требующих ответа.

Эпистолярный цейтнот сопровождал его всю жизнь, но он успевал и работать, и отдыхать; замечательная книга Д. Гранина о Любичеве 1974 г. именно об этом: мудрый Даниил Александрович прекрасно знал, о чём можно было писать.

В защиту Теняева

О том, как жили Любичевы в Ульяновске в начале 50-х годов можно прочесть в «Воспоминаниях» Н.А. Кривошеиной, перепечатанных в «Симбирском курьере» в апреле и мае 1993 г. А есть ли эпистолярные свидетельства «самого» Любичева о том, как он «жил»? только ли работал в пединституте и уезжал в центральные библиотеки и экспедиции? Нет, он, например, вступился за коллег (Н.Я. Мандельштам и Э.Р. Геллера), которых попросили уволиться по «5-ому пункту», рассорился с директором-антисемитом УГПИ...

И в то время Любичев уже вёл беспощадную войну с «позорным пятном» отечественной науки – лысенковщиной. И «всё» это сейчас общеизвестно: опубликованы книги, статьи по этому поводу. «Неприлично молчание мне» – это цитата из одного из писем в защиту настоящей науки и образования, кстати, инструктору ЦК КПСС В.П. Орлову. В советские годы *А.А. Любичев не боялся отстаивать истину на любом уровне*. Известны его письма и Н.С. Хрущёву (опубликованы).

28.01.62 он пишет письмо 1-му секретарю Ульяновского обкома КПСС А.А. Скочилову. Речь идёт о выдающемся враче Ульяновска А.В. Теняеве. Ему 74 года, но из-за маленькой пенсии он не может бросить работу. Положение могло быть исправлено, если бы он получил звание Заслуженного врача, дающего право получать персональную пенсию. В 30-е годы, однако, Теняев был репрессирован, и, хотя сейчас он полностью реабилитирован, это обстоятельство, видимо, мешает присвоению звания. Любичев просит исправить допущенную по отношению к Теняеву несправедливость.

Видимо, данное письмо осталось без ответа. 17.12.62 Любичев пишет письмо уже академику В.В. Парину с просьбой о содействии в деле ходатайства о предоставлении персональной пенсии А.В. Теняеву, врачу-оториноларингологу, совер-

пившему 11 тысяч операций, но представление к званию заслуженного врача дважды отклонялось местными органами на том основании, что А.В. Теняев был в известные годы репрессирован и был в заключении около 7 лет.

Любищев и Гончаров

А вот переписка с М.П. Ганзен-Кожевниковой важна нам тем, что может заинтересовать биографов нашего выдающегося писателя И.А. Гончарова. Из письма от 18.09.61 мы узнаём, что отец М.П. переписывался с писателем Гончаровым (!).

О чём данное письмо? О прогнозе литературных критиков на примере И.А. Гончарова, об архиве Гончарова, который сам писатель не хотел предавать гласности, т.к. недооценивал некоторые собственные способности.

О родителях Г.-К., которые переводили на русский язык скандинавских авторов, являясь ярким примером уровня интеллигенции рубежа веков.

Пишет Любищев о качестве современных переводов, приводя примеры в разных изданиях, о том, что заинтересовался философом С. Кьеркегором.

Приводит мнение Тиммериха о Гончарове, о высокой оценке Гончаровым творчества А.К. Толстого, о пьесах Ибсена, об известности в России английских поэтов...

О своей статье «Лесков как гражданин».

Вновь о Гончарове, его взглядах и оценке его романов в центральной печати в «гончаровское» время. Пишет, что критики не щадили и Тургенева, и Лескова, и даже Толстого. На это указывал и отец Г.-К. – П. Г. Ганзен-Кожевников. В своё время, являясь Председателем оргкомитета Любищевских чтений в Ульяновске, я сожалел, что не опубликовал данное обстоятельное письмо...

Гражданская позиция

Краеведам, думаю, небезинтересна также будет и 3-х страничная рукопись Любищева «О реконструкции центральной части Ульяновска» (1965), находящаяся в фондах краеведческого музея по состоянию на 1993 г., т.е. ещё до того, как ученики Любищева переправили копию его гигантского архива в Ульяновск...

Я напомню, что Александр Любищев по профессии «был» биологом (энтомологом). Но в вышеприведённых отрывках из писем мы видим, что его интересы, даже переживания, охватывали совершенно далёкие друг от друга сферы. Это был не только *мыслитель и энциклопедист*, это был *гражданин, настоящий гуманист*, это был *Великий человек*, проживший страстную жизнь в отстаивании истины. Вот удивительно, что в такой жёсткой идеологической системе, каковой, безусловно, являлась все советские десятилетия наша страна, *свободолюбивый Любищев* не стал диссидентом! Ведь он открыто писал: «я к партии сыновних чувств не питаю»!

Примечательно, что спустя годы, в 1980 г ученик Любищева Р.В. Наумов, пытаясь организовать наконец-то конференцию памяти Любищева в Ульяновске (и это после известной книги Д. Гранина в 1974 г.), пошёл в обком партии за разрешением, секретарь по идеологии В.Н. Сверкалов сказал свою знаменитую фразу: «Как учёный А.А., может быть, и большой, но его гражданская позиция для нас неприемлема».

А я от себя сейчас добавляю: *если бы была приемлемой позиция Любищева, то великая страна наша была целостной и богатой.*

Полистаем ещё несколько десятков страниц из 28 томов его писем, уже не придерживаясь той или иной точки зрения на охват проблем.

Л.М. Глускиной от 27.11.58 напоминает, что афинская демократия погибла не в силу внешнего завоевания, а в силу *внутреннего разложения*, перерождения в охлократию. (Как актуально! – А.М.).

На своем месте

Л.В. Голованову от 21.02.72. Размышляя над идеями Чижевского, считает, что организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен. «Поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него».

Биологу И.С. Гребенникову от 6.09.67. О том, что «прогресс в физике оказался связанным с колоссальными сдвигами в области философии, так с ещё более колоссальными сдвигами должен быть связан... прогресс... в биологии. Работа по перестройке философии биологии настолько грандиозна, что потребует многих великих умов, с меня довольно будет... быть *Иоанном Предтечей*».

Энтомологу Н.Д. Перловой от 31.08.51. Благодарит за приглашение участвовать в конкурсе на замещение зав. кафедрой зоологии б/п Горьковского ун-та и *отказывается*, т.к. он в Ульяновске всего год и *принял моральное обязательство в течение определённого срока не покидать данное место* (о директоре УГПИ А.В. Козыреве который принял его на работу у Любищева и спустя годы сохранились самые «светлые воспоминания»).

Ей же (без даты, пригл. сентябрь 1953 г.). Поскольку руководство УГПИ сменилось (пришёл ангисемит В.С. Старцев), «моральное обязательство отпадает».

Ю.В. Петрову от 3.10.61. Любищев не видит перспектив создания международной Академии теоретической биологии. Считает, что академики-биологи (современные) чрезвычайно разношерстная группа: открытые лысенковцы, крайние дарвинисты и не интересующиеся теоретической биологией. На первом же заседании случился бы скандал.

В других письмах Петрову Любищев сообщает, что из академиков *к нему хорошо относятся* Скрябин, Энгельгардт, Ю. Орлов, Шмальгаузен. Сообщает о своих недоброжелателях: Паладине, Никольском, о том, что Опарин, Давиташвили и Сисилян – лысенковцы. Любищев решительно возражает против подобной академии, подчёркивая, что «сидеть за одним столом с подхалимами ему удовольствие не принесёт».

Биологу Ю.И. Полянскому от 15.05.61. Пишет, что с «моих работ табу пока не снято... чувствую себя в положении юной невесты из одного анекдота, где жених ухаживал за одной красивой девушкой, но не делал предложения. Когда его спросили, почему он колеблется, он сказал, что опасается, нет ли у невесты какого-то скрытого недостатка. А когда позволили ему полюбоваться невестой в натуральном виде, он сказал, что ему не нравится форма её носа».

Посадить не успели

В.Н. Рекачу от 28.03.66. Своему старому другу Любищев пишет, «что у нас сходная судьба: нас не успели посадить. Видимо, некоторые из заведующих посадкой лиц об этом иногда сожалеют, но сейчас сажать стало труднее».

Ему же от 22.07.69. «По-прежнему ковыляю на костылях, но радиус ковыляние понемногу увеличивается, возможно, к моему столетию дойдёт до 5 км».

Ему же от 29.11.69. «Сейчас у меня 2 интереса: общая биология и натурфилософия и голая систематика». Пишет, что с продовольствием у нас делается всё хуже

и хуже и цены растут не так как в презренных капстранах на 5-6% в год, а сразу на 30-40%.

Считает лидерами свободомыслящих людей *Солженицына и Сахарова* (но «это такая крупная фигура, что наши сталинисты его тронуть не решатся»).

Ему же от 10.07.70. Считает недопустимыми выражения «собаке собачья смерть», «сукин сын». Соглашается с афоризмом «собака вывела человека в люди», но дополняет: «лошадь – в дворяне», «овца – в капиталисты», а свинья по проекту Хрущева должна привести к коммунизму.

Материя и дух

Энтомологу Т.Н. Рязанцевой от 5.12.48. По поводу похорон собственного сына пишет, что он «сходен с индусами: раз душа покинула тело, то сам по себе труп не будит никаких эмоций. Я про себя думаю завещать, чтобы мой труп был отдан в медицинский ин-т и полностью был использован для целей преподавания».

Цитологу И.И. Соколову от 28.03.65. Поскольку Соколов старше Любищева, то Любищев желает ему брать пример с недавно умершего математика в Киеве Буныковского, который заведовал кафедрой до 100 лет и умер на 103 году.

Ему же от 30.06.70. Поздравляет Соколова с 85-летием. Напоминает о профессоре Френкеле, работающего по проблемам долголетия; ему недавно исполнилось 100 лет.

Из письма мы узнаём, что в 1910 г. Любищев был во Франции.

Философу Т.Я. Сутт от 4.12.71. Любищев считает К. Бэра величайшим и умнейшим биологом всех времён, и три нации могут считать его своим: немцы, эстонцы и русские.

Философу А.И. Сырцову от 21.03.30. Считает, что исторический материализм – новая методологическая метла, которая износится весьма скоро и в отношении к ней, следуя примеру Гегеля, можно процитировать слова *апостола Петра*: «*Вот пришли люди, вынесшие твоего мужа, подожди немного – вынесут и тебя*».

Ботанику, академику А.Л. Тахтаджяну от 30.08.64. Сообщает, что прочёл роман Верфеля «40 дней Муса Дага» по-немецки, который произвёл на него огромное впечатление. «А у нас этого писателя как будто совсем не знают».

Биологу Ф.А. Турдакову от 22.06.54. Старому другу Любищев пишет, что он подумает о переезде во Фрунзе, т.к. он «*всё начальство здесь выдрессировал, а если я приеду во Фрунзе, то там дрессировку придется начать снова*».

Энтомологу К.П. Трубецкой от 24.03.64. «Получил оригинальное поздравление с Новым годом на 12 языках (очевидно, от Трубецкой), но из 12 языков Любищев *узнал только 10*».

Генетику Ю.А. Филиппенко от ноября 1930 г. По Любищеву, дух и материя реальности, такой дуализм развивался Бергсоном, и учение Бергсона есть великий ренессанс. Эклектиками Любищев считает Нэгели, Берга и др.; сумбурно эклектичен был Дарвин, который к своему основному учению пристроил целый ряд допущений и прямо противоположных суждений.

Экологу К.М. Хайлову от 17.10.71 г. Об экологии: «по-моему, экология и сейчас «недонаука».

Ему же от 3.12.71. Слово «недонаука» Любищев понимает «по аналогии со словами недодес, недovyручка, недозрелый, недоросль, недосев». Слово «наука» имеет много смыслов. Ненаука – это то, что никогда не может стать наукой, например, филателия; лженаука – проповедует вздор, например, астрология, или мичу-

ринская биология; донаука – то, что уже отбирает факты, констатирует («научное» издание писателей); недонаука уже какие-то обобщения получает, но в чрезвычайно примитивном и рыхлом виде; наконец, наука – характеризуется полным отсутствием всяких догматов, жёстким, прежде всего математическим формулированием выводов. Поэтому «марксистская наука» – в лучшем случае «недонаука», а в биологии только сравнительно небольшая часть перешла в область настоящей науки, но «даже там влияют недонаучные и ненаучные подходы».

Астроному В.П. Щеглову от 9.11.57 Любищев пишет, что Польша уже в 15-м веке обладала высокой культурой, что Коперник – порождение прежде всего польской культуры, он был философ, юрист, медик, астроном, художник, экономист, а его рукописи распространял сам папа Климент VII.

Литератору Б.М. Эйхенбауму от 9.02.52. По поводу издания Лескова, где дана несправедливая оценка Лескова как общественного деятеля. Любищева возмущает, что в качестве судьи выдвигают Зайцева – «омерзительную личность». Высылает статью «Лесков как гражданин» (которая увидит свет только в 1977 г. в журн. «Север», № 2).

Остановимся; мы не просмотрели и сотой доли эпистолярного наследия великого гуманиста. Закончим отрывком из письма писателю М.А. Поповскому от 24.11.66 г. Это письмо – соображения Любищева по поводу «превосходной повести» Поповского «Тысяча дней академика Вавилова». Вначале о том, что Вавилов ошибся в отношении культурной значимости Лысенко. Вавилов считал его талантливым и честным знахарем, но Лысенко оказался знахарем бесчестным. И Мичурин был знахарем, а не настоящим учёным, но он был честный человек. «Если бы Вавилов мог чуточку проникнуть в чёрную душу своих противников!»

«Мы живём в странном веке... с одной стороны – величайшее торжество человеческого разума..., с другой – потрясающий успех таких проходимцев, которым трудно найти прецедент во всей мировой истории – Распутин, Гитлер и Лысенко, который приобрёл колоссальное влияние при деспоте Сталине».

В странном веке мы живём.

(См. литературный журнал «Симбирск», 2015, № 5, с. 46-49)

Конец



Лариса Миллер
НОВЫЕ СТИХИ
НОЯБРЯ-ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Где одиночество живёт?
В любой душе, в любой и каждой,
И даже если вдруг однажды
Его кто в гости позовёт,
Оно придёт, гостей любя,
И, сидя за столом широким,
Ещё острее одиноким
Средь них почувствует себя.
Ему уж лучше жить в тиши,
В потёмках чьей-нибудь души.

Надеюсь, что дан мне пожизненный дар
Прожить эту жизнь без пометки "устар."
Коль нынче горю, как вначале горела,
То вряд ли я выдохлась и устарела.
Мне чудится, я даже ярче горю.
Не верите мне, так спросите зарю,
Которая видиг: я не отдыхаю
В часы заревые, а вся полыхаю,
Стремясь из горючих словечек и строк
Сложигь, смастеригь и разжечь костерок.

Зря ты печалишься. Временем смоет
Всё, от чего так душа твоя ноет.
Всё, что сегодня терзает, гнетёт, -
Канет, исчезнет, бесследно уйдёт
По одиночке, а, может, гурьбою.
Но, к сожалению, вместе с тобою.

Не будет земля столь опасной и шаткой,
Коль где-то на ней пригулигься с тетрадкой
И столбиком лёгкие строки писать.
А как же ещё эту землю спасать?
А как этот мир, что всё время не в духе,
Иначе спасать от скорбей и разрухи?
А как же ещё-то беду миновать,

Коль не научиться легко рифмовать
Подёнщину с праздником, быт с чудесами,
А землю с несущими свет небесами?

Жить стоит, но хотя бы ради
Того, чтоб шарил по тетради
Небесный луч, и чтобы он
Бесшумно проникал в наш сон.
Или хотя бы ради трелей
В саду. Да мало ль разных целей?
И сад и трели, и лучи,
Твоё дыхание в ночи, -
То, без которого не надо
Ни трелей, ни лучей, ни сада.

Я тоже, я тоже хочу научиться
У вешнего неба сиять и лучиться.
Хочу научиться у птицы мелькать
И пёстрые пёрышки в воздух махать.
Хочу научиться веселью у лета,
У ветра летучести, а у рассвета -
Волшебной способности всё озарить
И всем безутешным надежду дарить.

Кого, не знаю, попросить
Меня водичкой оросить
Живой и снять с меня усталость.
Что? Некого? Какая жалость.

Нет поводов для радости, помимо
Того, что тянет так неодолимо,
Из дома выйдя, топтать в энный раз
По тропам тем, что ожидают нас.
Пусть даже по размокшим и раскисшим
Дорожкам топтать, думая о высшем,
И радуясь, что меж озябших крон
Сияет небо с четырёх сторон.

22 декабря. Долгота дня 7.00

23 декабря. Долгота дня 7.01

Я сплю так мало, сплю так чутко,
Что слышу – родилась минутка,

Минутка света родилась
И сразу же светить взялась.
Взялась светить и строить планы,
Взялась зализывать нам раны,
Что темнота нам нанесла,
А ранам этим несть числа.
Хотя она покамест кроха,
Но ворожит она неплохо
И смело посулила нам
Цветущий куст и пчичий гам,
И яркую палитру лета,
И полную победу света.

23 декабря 2015 г.

Мне жить идёт, мне жизнь к лицу.
На мне, я знаю, как вливая
Сидит и осень золотая,
И май, столь щедрый на пыльцу.
И дивно смотрятся на мне
Зимы и белизна и блёстки.
Лишь лето, что прекрасно в носке,
Коротковато по длине.

Простите, что суффикс люблю уменьшительный,
Но он такой добрый, такой утешительный:
Смени на "овечку" словечко "овца",
И вот уже жизнь не имеет конца.
И ежели облако белой овечкою
Плывёт над рекой, а тем паче над речкою,
Белея и тая в дали голубой,
То всё будет чудно и с ним и с тобой.

О Боже ты мой, все стареют повально.
Неужто и я поступлю так банально
И вместо того, чтобы весело петь,
Костяшками старыми буду скрипеть?
О Господи, Господи, все поголовно
Стареют, хиреют и беспрекословно
Уходят, беспомощный сделав шагжок.
А я предлагаю собраться в кружок
И всё обсудить за чайком и вареньем.
Короче, вплотную заняться твореньем,
Поскольку всё то, что имеем сейчас,
Нисколько, нисколько не радует нас.

И спросила я у дня:
"День мой белый, что ты хочешь?
Ведь не зря же ты щекочешь
Тонким лучиком меня".
И спросил мой день: "А ты?
Что ты ждёшь от нашей встречи?"
И вели мы эти речи
Чуть ли не до темноты,
Кончив новеньким стишком,
Свежевыпавшим снежком.

Здесь нечего делать
Тому, кто не может летать.
Здесь все воспаряют,
Едва начинает светать.
Мечты воспаряют,
Поскольку стремятся к весне.
Младенцы летают
В предугреннем сладостном сне.
Здесь все воспаряют:
И птицы и снег, и листва.
Здесь предпочитают
Селиться во имя родства.
И вряд ли нас ночь
Вдруг возьмёт да совсем поглотит,
Поскольку сама же
Навстречу рассвету летит.

Будет вам и белка, будет и свисток,
Будут ваши окна утром на восток,
То есть, на сиянье, то есть, на зарю.
Верьте мне, я знаю, что я говорю.
Дни пойдут однажды тихим чередом.
Я сама добилась этого с трудом.
И прекрасно знаю, сколько сил берёт
Дней безумный хаос превратить в черёд,
В мирную цепочку, в непрерывный ряд
Светлых дней, надевших праздничный наряд.

Я помню всех, кто разбивал мне сердце,
Тем самым мне приоткрывая дверцу
Туда, куда иначе б никогда
Проникнуть не смогла бы я. Туда,

Где тучи - на серебряной подкладке,
Где счастье обожает игры в прятки,
Чтоб в пору всех моих душевных смут,
Шепнуть новость откуда: "Тут я, тут".

О время, чтобы даже духу,
Чтоб даже духу твоего
Здесь не было. Подобно пуху
Летает снег. И ничего,
Знать ничего он не желает
Про твой весьма печальный дух,
И от любви к той песне тает,
Что подбираю я на слух,
Её подслушав у рассвета,
У снега и у тишины.
А те, что стонут: "Счастья нету" -
Те просто слуха лишены.

Перспективы туманны, дела не ясны,
Но зато есть немислимый запах весны,
Той весны, что лишь мреет и лишь предстоит.
Перед нею, о Господи, кто устоит?
Я готова воскликнуть: "Полжизни отдам
За бездонную синь, щебетанье и гам,
И зелёную дымку и градус тепла...
Я бы жизнь отдала, но она истекла".

Вчера я дурочку валяла,
Сейчас уроки прогуляла,
Что мне судьба хотела дать.
Короче, Божья благодать.
И ветер свеж, и свет - на диво,
И я чудесно нерадива,
И на уроке не сижу,
На доску тупо не гляжу,
И не слежу я за указкой,
И жизнь назвать готова сказкой.

И куда это мы на таких скоростях?
Уж не лучше ли нам задержаться в гостях,
Где по стенам и полу гуляют лучи,
Где счастливые звёзды мерцают в ночи,
Где так сладко чаёк попивать вечером?

И куда это мы так летим с ветерком?
Так летим, будто где-то счастливый народ
С нетерпением ждёт нас у райских ворот?

Проснусь и снова обретаю
Тот мир, к которому питаю
Такую слабость, что боюсь -
А вдруг я завтра не проснусь.
И почему он мне так дорог -
Тот мир, где нынче хмарь и морок?
И, хоть в нём места нет лучу,
Я всё равно в него хочу.

Найдёныш я, найдёныш ты.
Коль не нашли бы мы друг друга,
То нам пришлось бы очень туго
В глухую пору темноты.
Не забываю ни на час,
Что ты - счастливая находка.
И жду, приемля беды кротко,
Чтоб ты пришёл домой и спас.

А день текущий не считается,
Поскольку нынче мне летается.
Я нынче в воздухе кружу
И к пешим не принадлежу.
И, хоть вполне живу и здравствую,
В земном сюжете не участвую.
И, из сюжета выйдя вон,
Я обрела небесный фон.
И, если часики затикают,
На них здесь ангелы зашикают,
И, коль мгновенье пролетит,
То век мой не укоротит,
Поскольку, - светлое иль тёмное -
Оно летает неучтённое.

Он шлёт мне всё новые хвори. Видать,
Ему интересно за мной наблюдать.
Кому? Да тому, кто заведует нами -
И нашими днями и нашими снами.
Ну что ж, коль охота ему посмотреть,
Как буду справляться, пусть шлёт их и впредь.

Мне даже приятно, что я интересна
Тому, чья душа непостижна, небесна.

Надо насмерть стоять.
Вот мы так и стоим.
И сегодня опять
Этим делом своим
Занялись мы, едва
На земле рассвело.
Ясно, как дважды два,
Что нас всех бы смело,
Если б мы, выползая на свет из ночи,
Не твердили б себе: "Хлопчи, хлопчи".
Даже если все хлопоты блажь, миражи,
Всё равно хлопчи, спинку ровно держи.

Это время - моё. Я его никому не отдам.
Я дарю уйму строк быстрокрылым летучим годам.
А они дарят мне то пространство, в котором могу
Размещать те стихи, что слагаю почти на бегу.
И хочу одного: чтоб запас к свету рвущихся строк
Не закончился раньше, чем мне предначертанный срок.

Я взвесила шансы -
Все против и за,
И вдруг поняла, что небес бирюза,
Оттенки, нюансы,
И после дождя золотая слеза,
И птичьи романсы -
Они за меня, за меня, за меня,
Без них не смогла б продержаться ни дня.
Они - моё лобби.
И обе зари, не жалея огня,
Прекрасные обе,
Готовы и дальше меня освещать
И столбики строк моих бедных вмещать,
И даже, - о счастье! -
Готовы и дальше меня посвящать
В секрет своей страсти.



Сергей Носов

ИЗ СТИХОВ 2015 ГОДА

Я стал проще
и не узнаю
лица тех кто прошел не здороваясь мимо
и канул
как в колодец
в бессмысленно прожитый день
вижу – тени
считаю – слова
собираю мечты
и бросаю их в море
по которому в странную Вечность плыву.

Изваяние дня
застыло в томительной прозе
и не предлагает
ни бед
ни обид
ни простуд для бездомной души
которая просто слоняется вновь среди улиц
кривых как улыбки
как пустынные долгие скучные сны
и как слепки
давно превратившейся в проседь
на окраине жизни
простой тишины
Болтать ногами во дворе
ждать чуда
его падения с небесной высоты
когда оно на потном горизонте
появится
и выльет из ведра
тебе на голову
невиданное счастье
которое тебя преобразит
как травы в обезвоженной пустыне
вдруг оказавшейся под проливным дождем
сегодня чуда чуда чуда ждем
и прошлое пакуем в чемоданы
на всякий случай
чтобы не забыть

его лица
его последних мыслей.

Водоворот воды в стакане
невозможен
невероятно небо из стекла
душа из пластилина
или камень
из скомканной бумаги потому
нет даже отпечатков пальцев
чуда
которое открылось как ладонь
протянутая Богу
этим утром.

Как радостно
что новый день пришел
как призрак
обойдясь без двери
а сквозь стекло
закрытого окна
в котором небо звезды тишина.

Как наивный листок
ты тянешься к небу
где нет ничего
не растут полевые цветы
не качаются кроны деревьев
бесконечность как сон
белый лист тишины
и на облаке
Бога кочевье.

О.М.

Осень приходит
как светлое чувство
прохладой
скользящей как призрак
в тени порывшей аллеи
пустынного парка
где нет никого
кроме сторбленной памяти
утром сменившей
портрет постаревшей мечты
с голубыми глазами
и фигурку Амура
на розовой тумбе
с тяжелой и острой стрелой.

Образ мысли бабочки
похож на полет
среди цветов
в отсутствии других
ярких примет бытия
которыми завалена кладовка
этого странного лета
с тяжелым замком на ее двери
вместо ответа
на навязчиво глупый вопрос
зачем почему как
порхаем смеемся танцуем живем
просто так.

Статуэтка вождя
с опущенной головой
на столе
ворона
с распушенными крыльями
под окном
улыбка
расползающаяся как блин
по лицу
и большое желание
глотать мысли поодиночке
запивая их
скукой.
Белое облако
в форме перчатки
брошенной небу
и ветер
это красиво
и даже прекраснее моря
по которому волны стекают
как в пропасть
за край бытия
где зловещее солнце
единственным глазом
все светит и светит
и тянет
как пальцы лучи
в никуда.

Переулки сознания
пусты как стаканы
опрокинутые в прошлое
застывшее на городской площади
изваянием

из окаменевшей памяти
простирающей мертвую руку
к небу.

Безногая игрушка
словно память
о нежном прошлом
в уголке судьбы
которую сегодня завалило
насмешками
в обертках от конфет
и слепками окаменевших чувств
похожих на разинутые рты.

Похолодало
тень души уходит
в неяркий свет
старяющего дня
стоящего бездомно у окна
в задумчивости
или в ожиданье
чудес
без привкуса неловкой тишины
у самой двери выцветшего Рая.

Холод осенний укусит как пес
и уйдет
в неприкрытую дверь
привидением белым
а я
я останусь стоять к окна
и смотреть на тяжелое небо
где сгрудились тучи
как стадо
которое надо бы гнать
на окраину мира
но некому
выдохся ветер
и лежит во дворе на асфальте
а зря
лучше б встал размахнулся
хлестнул бы под хвост этим тучам
чтобы им в распростертую по небу Вечность
лететь кувыркаясь пришлось.

Небо упало без чувств
в зачарованный пруд
на котором колдуют как ведьмы кувшинки
и я сам

колдовски отражаюсь в зеркальном воде
силуэтом
настолько прозрачным
как будто
неподвижно лежу словно зыбкая тень
на поверхности сказочной
вдруг потерявшей сознание жизни.

Л.Н.

У этих счастливых минут
такие красивые лица
что нежность
касается их так волнуясь
словно они хрустальны
как хрупкие рюмки
и могут разбиться
от дуновения чувства
из распахнутой настежь души
где летящие звезды
над розовым морем клубятся
и тают.



Мишель Деца

ЧЁРНЫЕ ЛЕБЕДИ

От “душ” Аристотеля, рыцари Знания
искали назвать минимальное в
понятиях жизни, сознания, мысли.
Живут-ли кристаллы, прионы и вирусы?
Сознание как мерцание: от крупинок
стабильности к зёрнышкам хаоса.
Мысль как дитя нарастания сложности
в витках степеней рекуррентности.

Когда пылающим соколом
взлетает новая мысль,
понятия стали упругими,
слова крошатся в руках.
Застыли все ветераны-взгляды,
идёт пересмотр всей армии...
Пока не рассыпется искрами
сгоревший звёздный корабль.

Человечество как авантюра Знания -
это весёлый способный ребёнок.
Гейзеры злобы из общества - можно
предвидеть, понять, уклониться.
Природа, в сравнении, кажется доброй.
Та часть неизвестного, что мы сознаём,
не смотрится срочной опасностью.
Гости из космоса, вирусы, роботы...
не страшно: договоримся опять.
Чёрные-чёрные, лебеди Рока,
не торопитесь нас унести.

Жизнь трупа значительно дольше:
скелетом, распятым в смоле,
плыву по Дороге Времени.
Таю и леденею
в пламени-холода времени.
При вспышке метаболизма,
в пучке разъерошенных смыслов.
я бил - крылышками мотылька -
не слыша мета-мелодии.
Выветривание - тайна бытия,
Уроборос - ритм ритмов, ведёт
очарованный танец материи:
создание как элемент распада.
Замыкаются линии времени

в бесконечностях полураспадов:
плыву по моей бесконечности
к нирване слияния в точку.

От жидоедов Москвы
я скрылся в храме Науки
и там остался, спасибо
тому же, от intellos Парижа.
Скульптура из страха, дитя
их смеси суда и ненависти,
превратил их мега-энергию -
надежду испепелить -
в сладчайшую волю жить,
в свежесть каждой минуты.
И таю - скульптура из льда -
при вспышках жара от них.

Тела одеты, но мозг обнажён.
Мы ВИДИМ чувства
других животных:
коллег, друзей и прохожих.
Схватка чтения мыслей
идёт в любом разговоре.

Невидимый третий всех разговоров,
“мир-и-мораль”, наблюдает
каждую важную встречу.
Зло и Добро - это чуют Свидетеля,
заручаться поддержкой стаи.

Равноправию в стяжке не быть
без узких и точных целей.
Как зебра и страус: удвоить чуткость,
то есть сообщники по выживанию.
В семье, оно невозможно без третьих:
общих детей, врагов, предрассудков.

Среда влияет четырежды
сильнее общей генетики,
судя по близнецам,
сравнимым в их 50.
Культура—эпигенетика
ваяет в горниле общества.
Разве скользя в расщелинах,
между углями и бликами,
может уйти ящерка
к печам своего выбора.

По дороге в 1 миллиард
обещанных сердцебиений
Такие, кажется, разные; зато
похожие, глядя из Космоса.
Не будут нам братья-по-Космосу
ближе земных растений.

В 16-ом веке любили страдать,
сейчас обязательно - счастье,
любовь - ОК, людоедство - не очень.
Но всё это лишь социальные моды,
кастинги в универсалии.
Но свобода, порядок, амае, ислам...
несовместимы и неустраимы.
Нет “человечества” на Земле:
в шкурах религии и государства,
племена гоминидов делят планету,
в древнем наборе целей и чувств.
Мораль и политика - тоже не ново:
лгать мы умели и в Плейстоцене.

Между Землёй и Космосом
ещё бредём по пустыне.
Свободны от гнёта среды
с открытия земледелия,
но ещё такие же стаи
гоминидов с теми же идолами,
промежуточный вид -
Человек “Разумный”.
Моисея не будет, но Ханаан,
как следующий вид, возможен.

Неразделённое знание -
слишком тяжёлая ноша.
Познание неотделимо от
желания быть понятным,
то есть приласканным.
Мозг, язык и абстракция
рождены не средой, а стаей.
Не абстрактны мотивы учёных.
Опасность? Пицца-ли? Самка?
кишиг всегда в подсознании.

Расширив саванну своих интересов,
опять подбираем падаль.
Разделить тушу теории,
гипотезой как копьём
в терпкую плоть непонятого.

Мы были ночными хищниками
или, скорее, падальщиками.
Научились жарить добычу,
но не делить, если важно.
Первичная сущность Хищника
усилилась и разветвилась.
Развились щупальца мозга,
внимательный взгляд стервятника.
Одежда - шкуры культуры -
прячет оскал души.
Таков же и я, но “ботаники”
пожирают разве абстракции.
Мы кажемся безобидными
за не-интерес к человечине,
уход к “несъедобной пище”.
Но это неверно: жестокость
как точность удара мыслью
в разделке туш неизвестного,
ближе к стержню Охотника
обычного: грабить людей.

Охота за знанием - это представить
лики явлений во Тьме Бытия,
и кастинг: связи среди соседств,
затем причины из корреляций.
Наука осталась магией -
сплетая желания с фактами,
бросаем сети причинности:
поймать, разделать, обжарить
съедобный кусок Необъятного.

Приручать - это форма охоты:
собак - бабуины, дельфины - губок,
тлей - муравьи, но и их - голубянки.
Волков - охотники, а их же,
как злаки и скот, - землелашцы
(не убил, приручил, Каин Авеля).
Капитализм приручает полуфашизмы.
Приручать - это склеить акты охоты
в многоклеточность целой системы,
паразитизм большого на среднем.
Так Кембрийское кредо “сожри соседа”
превратилось в изящное “ну, объясни им”.

Размеры живых: 10^{-8} — 10^3 м.
Законы физики и измерения
беспредметны вне 10^{-17} — 10^{12} .
Но мир - это 10^{-35} — 10^{27} .
В бездонных глубинах Малого

тятся первопричины.
А их конечные следствия,
проскочив людскую срединность,
тают в высях Громадности.

Почувствовать вместе новые точки
в толще нашего Знания.
Центральную точку хондрита Земля
в железном кристалле ядра.
Центроид нашей галактики.
Есть центр и у Мира -
он в сверх-пустоте Эридана,
в холоднейшей точке/истоке,
в начале Большого Взрыва.
И самый дальний и быстрый,
глаз (с 63 КВ памяти) -
Вояжёр-1 - бегущая точка,
фокус Большого Контакта.

В среднем, Космос - прохладный газ
(2.735 К), цвета “космический латте”,
протон (один) на 4 кубических метра.
Но массы пока хватает на плотность чёрной дыры.
Измерить/очислить Целое пытались и раньше.
От Песни Песней к Шиур Кома, размеры
Бога - 140 миллиардов Вселенных.
Время Вед - бесконечность жизни/нежизни
Брахм, каждая по 311.04 триллионов лет.

Одеяло бактерий укутало Землю, как
часть их диаспоры в нашем парсеке.
Если был и Адам, то Эукариот,
гигант по размеру и сложности,
дитя самой важной Встречи,
когда паразит ли, добыча ли
стали ядром, митохондрией.
Грибы, растения, мы (животные)
рассыпались по одеялу
в горячем супе бастерий,
вспыхивая и растворяясь...
Чем отличаемся мы от бактерий?
Пузырьком мимолетным, лети моя воля,
неуёмная блёстка в каскаде Вселенной.

Задолго до нас, цианобактерии,
первые сверхинженеры планеты,
выделяя O₂, отравили живое;
остатки стали ДЫШАТЬ кислородом.
Так же и мы: продуктами мозга

перебьём остальных (и себя) животных,
перебьём всех коллег и посредников
по пищевым цепям, до простейших.
И выживут не тараканы и крысы,
а снова, как прежде, микробы-мутанты.

Над океаном первичной жизни
- бактерий, архей и растений -
смерчами идут цепи хищников,
пожирая, растя колонии клеток.
Микрожизнь отвечает паразитизмом,
бесчисленной армией малых.
Потоки рождений и умираний
несутся как две Амазонки.
Но это и есть Эволюция Жизни:
микробы сложнеют, используя нас.

Через узкий проход в Грядущее
пропихнуть своё семя/отпрысков,
не это ли цель эволюции, булавка,
которой мы все приколоты?
Но сверхпаразит - общество
(другие цели других)
вставило лестницы средств
и супернормальные стимулы.
Знания, власть, наслаждение
из средств превратились в цели
(как я - наркоман науки).
Но может, это и есть Размножение -
почкование целей от средств -
сверхцель эволюции, как прыжок
к фотосинтезу или на сушу?

Прокрутив свою ленту назад,
увидеть себя до-гаметой,
искоркой первого взгляда,
надеждой отца и матери.
Увидеть мир-до-себя,
самое раннее утро.

Терять предрассудки
на тропах Познания,
может и погубить.
Уйдёт причинность и agency
(учуять тигра за шорохом),
растает запах надежды.
И за иллюзией личности,
воли/свободы и времени
уйдёт и иллюзия жить.

Числа живых и живших,
включая прионы и вирусы,
конечны, хоть и громадны.
Конечны и числа их состояний.
Склеив всё, мы получим Мегахимеру:
жизнь как одно большое число,
и всё же песчинку в величии
обоих, пространства и времени.
Вот так машины и чувствуют нас.

Задачи сложнеют быстрее нас.
Недалеки пределы мышления,
границы доступной сложности.
Размеры данных и сроки опытов
превзойдут человеко-возможное.
Машины и их людские подобию -
коллективы, киборги и гении -
закроют науку для одиночек.
Атлетизм ума превратится в спорт,
как орудия сняли потребность в силе.
Философы и математики, физики
отступят с боем, последними.

В громадных бесформенных данных,
за заборами опыта, чувств, аналогии,
без надежды и нуль-гипотезы,
почуять Непознаваемое и,
в судорогах несовершенности,
уткнуться в стенку аквариума.

Собирать и хранить
блестящие камушки -
предметы, люди и знания -
плотные зёрна значения.
Каждый владеет Лувром
своих концентратов смысла,
пытаясь понять свой аквариум,
обуздать безразличие мира.

В дожде ощущений, отсутствий, гипотез,
в нарастающем гуле вскипания тревоги,
Понимание встанет как радуга:
осмысление молний, обратно в стаю,
тепло и уют казуальности.

Я не боюсь нагромождений:
чрезмерность - это часть сигнала
(для каши нет избытка масла).
У точности, своя эстетика,

свои приличия и адресат
с нехрупким фокусом внимания.

“О, поднимите мне веки,
будите спящую душу”:
стонет молчание-в-нас.
Измельчены и очищены,
выварены волей автора -
сорняки, колоски, недоделки,
отходы мысли и знания -
встают компостом Поэзии,
питательным кормом Любви.

Ощутить пространство безлюдия -
всё что не тронуто человеком -
ни рукой, ни глазами, ни мыслью.
Стада неосмысленных фактов,
объекты без контура и названия,
неизвестное Неизвестное,
никогда и ни в чём недоступное.

Исход игры совсем не ясен,
не выпить нам бокал планеты.
Летит и наш метеорит или
циклон мутаций вируса.
И за последний миллиард
до опаления Земли
другие хищники захватят
глаз бури всех существований.



Александр Бирштейн

НЕПРАВИЛЬНЫЕ СТИХИ

ПОТОП

Долины долили дождями. И лилий
круги по воде, как на карте мишени.
Машины мешали, а люди курили
правителей ждали, а с ними лишений.

И сколько-то лет одинокая скука слонялась.
И каждый, кто был неприкаян,
считал свои сны, собирая их в руку.
Но сны не сбывались... Границы окраин
опять уходили то вверх, то под воду,
дожди продолжались, долины пустели.
И не было смысла, припав к разговору,
его предпочесть тишине и постели.

Да, все начиналось с прогноза погоды,
а брань на заборе висела и пахла.
И люди опять пробивались в народы,
а верность терпела себя из-под палки.

Несметное время голодных соитий
давно миновало... Все жили зевая.
Но жили. Дышали. И ждали открытий.
А время текло, как вода дождевая.

Пространство обычая. Долго ли, споро ли
освоено речью чужой и своей.
И может быть, верно, за долгими спорами
все стало понятнее, но не теплей.

Надежда, спеша, прикрывается именем.
И нет для нее ни оврагов, ни гор.
И наша зима, занесенная инеем,
не оттепель ждет, а как видно, снегов.

Брели пешеходами к общему, к частному?
Зашли далеко. Разглядели весну.
И не было времени плакать от счастья нам,
и не было сил навестить тишину.

Ругались, спеша в одиночество толпами.
Искали причину, надежду забыв.
И были обычными, разными... Только ли?
Дарили слова и любили за быт. 20.10.15

Ну, наконец, заснул и этот город,
пытавшийся пленить меня всерьез.
Вакансия поэта – это голос
для шепота и крика, и угроз.

Вчерашний стыд остался в красном цвете
от винных пятен прямо на душе.
О чем спешу? Наверное, о лете,
а осень надоела мне уже

температурным призраком туманов,
ненастным утром или же дождем
и мокрыми деньгами из карманов...
Еще коротким, полутемным днем.

Весна стихов, в календари не глядя,
давно прошла. Но вновь придут слова.
И трудно строки складывать в тетради,
как перед печкой мокрые дрова.

И стоит прочесть себе и только
свои стихи и думать, что зазря.
И понимать, что рвутся там, где тонко,
и нить, и связь времен, и якоря.

Канарейки уселись на рейки. Дятел нес:
– канарейки – еврейки!

Те обиделись:

- Мы-то с Канар!

- Ничего не слышал про Канары, -
дятел молвил, - но знаю про нары...

И с «Казбеком» достал портсигар.

Это – лес! Это – мокро и глухо.

Это – время. Не то, что бы вспать.

И не жизнь, а сплошная непруха,

но другую, увы, не достать.

Попугай от самодовольства с голубями пойдут в «Элтон-клуб».

Пострадают щеглы от щегольства, воробьями уйдя на этап.

И деревья шипят им вдогонку, словно гуси при виде врага.

Антилопы, как будто иконку, целовали портрет лесника.

Дикобраз иглы нес неопратно, как указки для контурных карт.

Леопард примерял себе пятна на афише, где Лео он Пард.

Только вдруг там все замерло, что ли.

Как всегда, на зверей не похож,

человек шел с двустволкой по полю

и мочился на спелую рожь.

Упаду на землю. Трын-трава,
принимай. На все имею право.
Дрессировка прошлого – слова,
дрессировка времени – забава.

Написать стихи – побыть шутком,
Зазвонит на шапке колокольчик.
По кому?
Захочется потом
веселиться или рожи корчить?

Дрессировка боли – тишина,
Когда сердце бьется гулко-гулко.
А! Пускай! И музыка слышна.
Да, Шопен! Но все-таки мазурка.

Так уж вышло: не до чепухи,
Раз вино сливается с виною...
Дрессировка честности – стихи,
только что написанные мною.

«Под небом голубым...»... Когда услышал это,
То понял – навсегда, как родинка, как шрам...
Туманный, легкий дым зовут зачем-то светом.
Я этот свет глотал в Столице по утрам.

«Под небом голубым...»... И нет нигде иного!
Одесса и Париж, люблю вас, но зато
есть Город на земле, и золотое слово
начертано ему... А воздух от Ватто.

Пронзительно и зло равняет время сроки:
Кому... Куда... За что... И тут не суета!
И, как весну вода, вдруг наполняют строки,
чтоб хоть одна и
з них осталась навсегда!

«Под небом голубым...»... А жизнь всегда начало!
И я опять в слова играю с тишиной.
Ох, Город золотой, как долго не хватало
меня в тебе, с тобой, тебя во мне, со мной...



Юрий Кудлач

БАЛЕРИНА

Пианино в огромном репетиционном зале звучало призрачно. Квакающие аккорды плохо настроенного инструмента ударились о зеркальную стенку и подвывали от боли. Резкий голос педагога-репетитора Галины Николаевны отзывался эхом, как в бане.

Матвею пришлось долго уговаривать Галину Николаевну разрешить ему посидеть на уроке. Он льстил, фальшиво улыбался, вилял хвостом и заглядывал в глаза:

– Галиночка Николаевночка, – приторно-умильно говорил он, слегка приседая, чтобы казаться ниже ростом, – ну, Галиночка Николаевночка, ну один только раз! Один ма-а-ленький разочек! Я у двери на приступочке, а? Вот вы ведь мама. А у Юлечки, кровиночки моей, мамы-то и нет. Умерла наша мама. Ну пожалуйста!

– Нельзя! – тонкие губы Галины Николаевны вытягивались в шнурок. – Родителям нельзя!

Она с нескрываемым презрением смотрела на его длинное, мосластое тело, в конце которого болталась плешивая голова. Этот экстерьер оскорблял её эстетические чувства. Она, привыкшая к хватистым, крепкозадным юношам, не могла понять, как может существовать такой нелепый организм.

– Нельзя! – повторяла она раз за разом.

Но Матвей так ныл и хныкал, просил и унижался, что она сдалась.

И вот он сидит на низенькой спортивной скамейке и во все глаза смотрит, как его Юлечка делает упражнения у палки.

– Препарасьон! – кричит Галина Николаевна.

И все девочки плавно отводят правую ручку с полуприжатым к ладони большим пальцем в сторону, проводя её глазами, и приседают, вывернув колени.

– Господи, – подумал Матвей, открывая альбом со старыми, выцветшими и пожелтевшими фотографиями, – как же давно это было! Да и было ли вообще? Может, я придумал себе дочку-балерину, потому что очень хотелось. Нет. Была. Дочка была. Вот она маленькая. Её мягкие русые волосики я собирал в хвостик. И в балетную школу я её водил. Помню – на улице Зодчего Росси. До неё пешком было полчаса. А вечерами, придя с работы и занимаясь всякими женскими домашними делами, я заставлял её садиться на шпагат, потому что учительница была недовольна её растяжкой. В перерывах между мытьём посуды и приготовлением ужина я подбегал к ней, сидящей на этом проклятом шпагате, и давил ей на плечи, заставляя как можно шире раздвигать худенькие ножки. Она кривилась, закусывала губы и с ненавистью смотрела на меня, не зная, что в эти минуты я готов был кричать от боли, разрывающей моё сердце. Я отворачивался, чтобы не встречаться с ней глазами, но моё воспалённое воображение тут же услужливо подсовывало мне соблазнительную картинку: моя Юля, сексапильная хищная Одилия в чёрной пачке с роскошным чёрным пером в лакированных волосах, стоит в вертикальном шпагате, опираясь на стальную руку стройного принца в обтягивающем трико, демонстрирующем его значительные мужские достоинства.

Матвей вздохнул и, с некоторым трудом высвободившись из объятий любимого кресла, потащился в спальню, где на прикроватной тумбочке лежала целая гора лекарственных упаковок.

– Вот чёрт, не могу вспомнить, принимал я сегодня метатринаклозин. Вроде принимал. А этот... как его... ну, который от сердца... Не помню. Вообще ни черта не помню. Хорошо, что ещё не забыл, как меня зовут.

Руки его не очень хорошо слушались, поэтому возникли некоторые проблемы, когда он попытался извлечь очередную таблетку из хрустящей серебристой пластинки. Но он справился и, запив таблетку водой из чашки с эротическим рисунком, поплёлся обратно к своему потёртому креслу. Чашку когда-то подарила ему очередная претендентка на его руку и сердце. Ни руки Матвея, ни его сердца она не получила. Правда, ей достался другой орган, которым она активно и пользовалась целый год. Потом исчезла куда-то. Матвей не мог вспомнить, как это произошло.

Со своей будущей женой он познакомился в доме своего институтского приятеля. Кто-то из гостей привёл с собой маленькую неприметную девушку. Она была смущена, и не знала, как себя вести в этой шумной, горластой компании, где молодые люди старались переострить друг друга, зычно хохоча и залихватски хлопая рюмку за рюмкой. Воспользовавшись удобным случаем, она выбралась из-за стола и устроилась в уголке под торшером, выглядывая оттуда, как испуганный зверёк из норки. Вначале Матвей особого внимания на эту девушку не обратил. Проходя мимо её убежища, он покосился на неё и сказал что-то смешное. Она улыбнулась в ответ. И вот тут-то Матвей увидел её улыбку. Это было что-то необыкновенное: из-за раздвинутых губ показались зубы нечеловеческой ровности и красоты, а глаза вдруг увеличились в два раза и сделались огромными, на пол-лица. Впоследствии, когда Ляля уже была женой Матвея, он любил проделывать такой фокус – приходя с ней к незнакомым людям, вдруг говорил: «Лялочка, покажи глазки». Она распахивала свои синие глаза, и не было мужчины, которые не оторопел бы от этого. В тот памятный вечер молодому человеку, с которым пришла Ляля, очень не понравилось выражение лица Матвея, с которым он смотрел на девушку. Выведя его на лестницу, молодой человек без всяких объяснений быстро и как-то по-деловому надавал ему по физиономии. Драться Матвей совершенно не умел, поэтому уже через полторы минуты он был весь в крови. На шум выбежали гости. И пока они решали, что делать, откуда-то вывернулась маленькая Ляля, с удивительной для девушки силой оттолкнула своего ухажёра и, сказав ему несколько презрительных слов, увела Матвея. Через полгода они поженились, а через девять месяцев, как и положено, родилась Юлька.

Ляля умерла, когда Юльке едва исполнилось три годика. Умерла нелепо, случайно: в кухне поскользнулась на свежевывытом полу, упала, ударившись головой об угол газовой плиты. Скорая помощь приехала через десять минут, но она уже была мертва.

Несколько лет Матвей не по-мужски плакал, когда вспоминал свою Лялю в плоском, обитом дешёвой красной тканью гробу. Почти каждую ночь Ляля приходила к нему во сне. Просыпаясь утром, он разговаривал с ней, как с живой. Постепенно всю свою любовь к покойной жене Матвей перенёс на маленькую Юльку. Он отказался от всего – от весёлых компаний, развлечений. Если бы было можно, он перестал бы ходить на работу, но надо было как-то выживать. Сидя на работе, он каждый час звонил домой и подробно выспрашивал, что Юлька делает, что она ест, с какой куклой играет. Он использовал каждую свободную минуту, чтобы поговорить с дочерью. Постепенно в его сознании произошло некое смещение: Юля и Ляля превратились в одно существо. Когда друзья говорили ему, что так жить

нельзя, что он ещё молод и мог бы составить счастье какой-нибудь женщины, что, в конце концов, Юле нужна мать, он криво улыбался и переводил разговор на другую тему. Женщины перестали его интересовать. Как-то раз, гуляя с дочерью в парке, он встретил свою одноклассницу. Она показалась ему старой и некрасивой, а ведь когда-то, в школе он был влюблён в неё. Вспомнив об этом, он пожал плечами и, криво усмехнувшись, распрощался. Но она стала ему время от времени звонить, в один прекрасный день напросилась в гости и осталась. В ту ночь он ничего не смог. Однако, одноклассница оказалась терпеливой и понятливой. И постепенно Матвей начал оттаивать. Но их отношения быстро закончились: она не нравилась ему. Кроме чувства благодарности, он ничего к ней не испытывал. Она пыталась зацепиться, лебезила перед Юлькой, прибегала днём, чтобы приготовить обед, убирала квартиру. Но чем больше она старалась, тем мрачнее становился Матвей. Он не мог внутренне смириться с тем, что место его очаровательной юной жены займёт эта женщина с несвежей кожей и торчащими жёлтыми зубами.

Так, без особых событий проходил день за днём, пролетал год за годом. Как-то Юлька примчалась домой вся взъерошенная и сказала, что её взяли в квартет маленьких лебедей в новой постановке Марининского театра.

В день премьеры Матвей отпросился с работы пораньше и, вытащив из шкафа свой единственный выходной костюм, долго придирчиво его рассматривал в поисках следов моли. К счастью, костюм был цел. А то, что он не совсем соответствовал требованиям моды, Матвея не волновало вовсе. Час он потратил на заглаживание складок на брюках и добился выдающегося результата. Наведя звёздный блеск на старые, стоптанные башмаки, Матвей отправился в театр. Он пришёл слишком рано, публику ещё не пускали. Не зная, куда себя девать, он топтался в мрачноватом фойе, уж в который раз разглядывая висевшие на стене фотопортреты артистов театра. Мужчины были все, как один, мужественны, а женщины многообещающе улыбались. Наконец, дали первый звонок, и Матвей рванулся в зал, боясь, что начнут без него. Обливаясь потом от волнения, он рисовал себе картины одна другой страшнее: вот Юлька, подвернув ногу, хромот к кулисе. Или. Она не удержала равновесия в последней позиции и позорно зашаталась. Но, конечно же, ничего такого не случилось, всё прошло замечательно. Недели три после этого Матвей был под впечатлением. Он, такой немногословный и совсем не компанейский человек, взахлёб всем рассказывал об успехах дочери и сильно всем надоел. Его коллеги по работе вообще не поняли, чем он так восхищён.

Если бы кто-то спросил Матвея, как он живёт, он ответил бы, что совершенно счастлив: Ляля постоянно присутствовала в его памяти, воспоминания о ней с годами не тускнели. Он часами копался в них, как Скупой рыцарь в своих сокровищах. Он спорил с ней, что-то доказывал, о чём-то спрашивал, слышал её голос и все её милые интонации. Иногда делал себе подарок: говорил ей «Лялочка, покажи глазки» и погружался в синеу. Юля подрастала, и Матвей с умилением отмечал в ней прорезающиеся черты матери – поворот головы, плавность движений, такие же прекрасные – один к одному – зубы. А самое главное – она унаследовала от Ляли её голос. Стоило прикрыть глаза, и он слышал свою любимую Лялю. Так он и жил – с призраком и неполным воплощением.

Однажды, возвращаясь вечером домой, он заметил в тени большого дерева, что стояло у соседнего подъезда, парочку. Девочка обнимала невысокого мальчика за шею и быстро-быстро целовала его лицо – будто кусала. Матвей, проходя мимо, деликатно отвернулся. Что-то вроде зависти шевельнулось в его душе.

Уже никогда, печально сказал он себе, поднимаясь по лестнице, никогда не будет меня так целовать девочка, уже никогда у меня не задрожат руки от лёгкого прикосновения к тоненькой талии, уже никогда я не буду, изнывая от безумной похоти, прижимать к холодной стенке подъезда нежное тело. Ничего этого больше не будет в моей жизни. Горестно вздыхая, он пошёл на кухню готовить ужин – с минуты на минуту должна была прийти с репетиции Юлька. Но сегодня она чего-то задерживалась – обычно к девяти уже была дома, а сейчас почти десять. Прошло ещё полчаса. Матвей начал волноваться. Надо было после работы не домой спешить, а за Юлей поехать, ругал он себя. Через час волнение превратилось в страх. Он обзвонил всех Юлиных подруг. Все сказали, что после занятий она пошла домой. Матвей не знал, что делать. Бежать в училище бессмысленно, там уже наверняка никого нет. Обращаться в милицию? Остатками охваченного паникой разума Матвей понимал, что там его просто высмеют. Около двенадцати Матвей решил, что всё равно пойдёт в училище. Таким образом, он пройдёт по дороге от дома к нему. Воображение уже рисовало жуткие картины: изнасилованная, убитая, ограбленная дочь лежит в канаве. Подвывая от ужаса, Матвей натянул куртку и достал из-за двери здоровенную дубину, которую когда-то собственноручно вырезал из гигантской платановой ветки. В это время щёлкнул замок, и слегка запыхавшаяся Юля вошла в прихожую. Она с изумлением уставилась на нелепую фигуру отца в криво надетой куртке с дубиной наперевес. Он был похож на питекантропа.

– Ты что? – спросила Юля. – На мамонта собрался?

– Где ты была? Что ты себе думаешь? Хочешь отца в могилу свести?!

– Что ты раскричался? Зашла после репетиции к Светке. Посидели с ней, кофе попили.

Это было неправдой – Матвей разговаривал со Светкой. Он растерялся: Юля никогда не лгала ему.

Между тем она сняла коротенький плащик и принялась разматывать шарф, который когда-то связала ей одноклассница Матвея. И тут он увидел на шее дочери огромное багровое пятно. Точно озарение сверкнуло в его голове: так ведь это она, его доченька, кровиночка, любимая крошечка, стоя в тени старого дерева, клевала в лицо невысокого парня.

– Ты врешь! – закричал он. – Шлюха! Ты была с мужчиной!

Это была первая размолвка в их жизни. Потом они, конечно, помирились, и долго плакали, прося друг у друга прощения. Но Матвей понял, что дочь становится взрослой, и что это сулит ему массу неприятностей. Он понял, что его спокойной счастливой жизни наступает конец. Ночью он советовался с Лялей, спрашивал, что ему делать, но она ничего не отвечала, только улыбалась. Таким одиноким он никогда ещё себя не ощущал.

В день, когда Юле исполнилось девятнадцать лет, она преподнесла отцу сюрприз.

– Папа, – сказала она, заходя в кухню, где Матвей уничтожил остатки пиршества и мыл посуду, – похоже на то, что я выхожу замуж.

– Замуж? – рассеянно переспросил Матвей. – То есть, как замуж? В каком смысле?

– Он хороший, – ответила Юля, – славный. И очень меня любит.

– Значит, ты оставляешь меня?

– Папа, ну все девушки выходят замуж. Или, по крайней мере, стремятся к этому. У тебя будут внуки. Ты подумай, ведь это же так замечательно!

Свадьбу играли в небольшом ресторанчике. По этому случаю Матвей потратил целый час на заглаживание складок на всё тех же брюках.

Совершенно потерянный, он сидел рядом со счастливой невестой и думал о том, что сегодня у его Юли будет первая брачная ночь. И что совершенно чужой человек по полному своему праву овладеет его дочерью, причинив ей боль. Он осквернит её тело своими грязными прикосновениями и отвратительными поцелуями.

Эта ночь была самой страшной в жизни Матвея. Он не сомкнул глаз, и видения, одно другого омерзительнее, витали над его подушкой. Только под утро он забылся. Проснувшись в полдень, он не сразу вспомнил, что Юля больше здесь не живёт. Ему стало плохо. «Юлечка», прошептал он. Но никто не отозвался.

Около года понадобилось Матвею, чтобы как-то успокоиться и привыкнуть к своему новому положению – положению абсолютно одинокого человека. Ему не на кого было изливать свою любовь, не о ком было заботиться, и он стал стремительно стареть. Он ещё продолжал беседовать с Лялей, но время прилежно выполняло свою работу: образ его любимой жены, не подпитываемый Юлькиной улыбкой, постепенно размывался. Однажды он поймал себя на том, что разговаривает уже не с Лялей, а с Юлей. Она ещё забегала к нему иногда, но её муж, ощущая нескрываемую неприязнь со стороны тестя, как мог, препятствовал их свиданиям. А вскоре судьба подсобила ему: он нашёл работу в Москве и уехал туда, забрав с собой жену. Время от времени, не очень часто Юля звонила отцу, приглашала его в гости, понимая, впрочем, что Матвей не приедет. Связь между ними становилась всё слабее и слабее, Матвей дряхлел, целыми днями не вставал со своего кресла перед телевизором. Он часто вспоминал, как заставлял маленькую Юльку растягиваться на шпагате и плакал старческими бессильными слезами, представляя себе, какую боль испытывала его девочка. Образ Юли-Одиллии совершенно вымылся из памяти, и он уже не мог вспомнить, для чего нужны были все эти мучения. Он задавал себе вопрос, для чего он жил, на что потратил свою жизнь. Он сожалел о том, что когда-то не послушал друзей, которые говорили ему, что так жить нельзя, что он ещё молод и мог бы составить счастье какой-нибудь женщины. Он думал, что сможет заменить Юле весь мир, а она променяла его на первого встречного. Он старел и болел. И постепенно его мысли переключились с Юли на почки и сердце, которое начало сильно пошаливать. С Лялей он уже не разговаривал, а если и вспоминал о ней, то ему казалось, что про большеглазую Лялю прочитал когда-то в почти напрочь забытом романе.

В день, когда Матвею исполнилось восемьдесят, неожиданно приехала Юля. Он не узнал свою дочь: перед ним стояла рыхлая, расплывшаяся женщина с крашеными в какой-то нелепый цвет волосами.

– Садись, – равнодушно сказал он и поплёлся в спальню, где на прикроватной тумбочке лежала целая гора лекарственных упаковок.

– Вот чёрт, не могу вспомнить, принимал я сегодня метатриаклозин. Вроде принимал. А этот... как его... ну, который от сердца... Не помню... Не помню... Ничего не помню...



Анна Наталия Малаховская

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ТЬМА

Повесть

Памяти Наталии Горбаневской

ПРОЛОГ

Володя стоял перед дверью этой квартиры, о которой он столько слышал, но никогда ещё не видел её воочию, живьём, и нажимал кнопку звонка. Сверху послышались чьи-то шаги и голоса: Володе захотелось спрятаться куда-нибудь в угол, но никуда не спрячешься, как назло, свет из высокого окна падает так, что все углы освещены. Как бы избавиться от этой одежды – раздеться и остаться в одном нижнем белье?

Одежда – вдруг вспыхнуло в его сознании – это оказалось единственным, по чему его станут судить, как только увидят, - тут, перед этой дверью. Как только те, кто спускаются сейчас сверху, дойдут до этого этажа и увидят, кто тут стоит. И тут ему вспомнилась та опера, которую написал недавно Ян: опера про африканские маски, изображающие предков, в роль которых надо входить, чтобы отогнать, чтобы они больше к тебе не приставали. Не мешали тебе жить. Чтобы превратиться в такого покойного предка, следует надеть особую одежду, и лицо закрыть полностью. От тела человека, спрятанного под такой одеждой, видимым не оставалось вообще ничего. Разве не то же самое происходит сейчас с ним самим: вот он стоит с открытым лицом, и по лицу его можно было бы кое-что прочитать, кто он такой на самом деле, но читать никто не станет, его сразу же сочтут за того, кем он стал из-за того, что надел эту одежду: она затмила его лицо и всё остальное, что в нём было до сих пор. От всего человека, каким он был на самом деле, осталась одна она: торжествующая и надменная.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1 ГЛАВА:

ЗАМОК С СИНИМИ ГЛАЗАМИ

«В много раз красноречивей
красноречья многих слов
взгляд единственный, в котором
сердце выскажет себя».
Метастазио, «Парнас сконфуженный»^[1]

«27 июля 1965 года»

Сашка, дорогая, привет! Пишу тебе, как ты просила, в первый же день – то есть вечер, потому что солнце уже заходит. Ты просила меня написать тебе моё первое впечатление. Так вот оно тебе: что нас всю жизнь обманывали! Начиная ещё с детского сада. Что нам внушали? Что сказки – это враньё. Даже Пушкин постарался на этом поприще, ухитрился написать, что сказки это ложь. Так вот, это неправда. Сказки это не ложь, вот одна из них выглядывает сейчас из-за де-

рева, которое перед окном той комнаты, куда меня поселили. Кажется мне отсюда, что это дерево – клён, и сказка у него из-за спины выглядывает таким смешным куполом. У меня уже про него начали сочиняться стихи: «Замок с синими глазами, купол – золотом волос». Хотя это, кажется, не замок, а что-то вроде церкви. Так вот наврал всё этот наш высокочтимый Пушкин, и сказка – она вся тут и на каждом шагу. А есть ли в ней какой-то намёк, как уверял Пушкин, этого я пока не рассмотрела: не расчихала, как сказала бы моя мама (ты знаешь, что она любит «яркие выражения»). Ну что тебе сказать, как описать? Что я попала в такой мир, какого не бывает. Ты скажешь, что и у нас красоты достаточно. Но здесь какая-то не такая красота. Она смотрит на тебя (то есть на меня) и улыбается, и говорит, что она рада меня приветствовать, рада, что я здесь очутилась. Статуи на мосту изгибаются, выворачиваются, прыгают и чуть ли не пятками сверкают – как живые! А мы с тобой к каким привыкли? Ты, конечно, помнишь памятник Екатерине перед Александрийским театром – там, где ты мне недавно свечку капитана сорвала. Так она, эта статуя, как мне отсюда видно, просто – всех давишь! А эти такие смешные и совсем как будто не мёртвые. Кстати, на этом мосту уже произошло одно небольшое чудо. Как ты знаешь, у людей глаз на затылке обычно не бывает. Это в сказке. А в этой вот сказке стою я на этом мосту, отец обо мне как будто забыл, он разболтался со своими коллегами, к которым мы приехали (конечно, по-английски). А мне вдруг плохо стало. Меня уже и до того укачало в самолёте, а тут вдруг сразу – как будто перед глазами почернело (может быть после болезни?). Ну, думаю, грохнусь сейчас, как бы на ногах удержаться, а если уж не выйдет, то хотя бы сесть, прямо на землю, чтоб головой не стукнуться. И в этот момент из тех, кто стоял впереди, передо мной, один какой-то оборачивается – и прямо ко мне, на меня смотрит и говорит что-то вроде того, что со мной случилось? – спрашивает (уж не знаю, на каком языке) так, как будто почувствовал затылком. И пока он так на меня смотрел, я стала вроде как приходить в себя, я поняла, что на землю садиться не придётся, а не только падать. Такой взгляд был – заботливый, добрый, словно бы он испугался за меня. И он удержал меня, он словно бы меня вылечил, за одну минуту или, может быть, за две. Вот какие бывают люди! Не на самом деле, конечно, а в сказке. Но я в неё и попала, только не знаю, чем она кончится.

Этому человеку (его зовут Ян) пришлось освободить свою комнату, чтоб мне было где ночевать. Куда его переселили, я пока не поняла. У его родителей мы и будем жить. И завтра я пойду смотреть Прагу! Не одна, конечно, а с Яном. Он меня поведёт. Пока кончаю это письмо: смотри-ка, вышло на 2 страницы! Через неделю напишу ещё раз. Целую. Твоя Аня».

2 ГЛАВА:

ЗВОН

Когда Ян проснулся, перед ним в полной свежести, во мраке своих теней стояло раннее утро, глядя на него во все глаза, словно ожидая чего-то. Ян привстал. Настороженно он обводил взглядом комнату – но всё молчало, только тени листьев покачивались отовсюду.

Что же это? Как тонкий звон, что-то реяло в воздухе, усиливаясь, приближаясь. В тревоге он встал, вышел на балкон. Тьма, влажная тьма листвы, ещё не вспомнившей своего цвета. Всё в синей тени; одна, пронзённая лучом, покачива-

ется розовая ромашка. Всё молчит и ничто не отвечает, повторяя только надвигающийся и тонкий, как игла, звон. Словно он что-то забыл, словно кто-то позвал его...

Он вышел в коридор. Застоявшаяся здесь ночь сомкнулась над головой. Ни движенья и ни звука.

Где-то шорох? Скрип?.. Нет, тихо. Забрезжило что-то? Он подался вперёд, пристально взгляделся. Нет, всё тихо и ничего не видно... будто и нет ничего. Неужели нет, неужели только показалось? Сдерживая дыхание, он вслушался – нет, всё напрасно. Нет, ничего нет, он один.

Нить напряжения отпустила: как бы проваливаясь в пустоту, он ощутил, как пол подступил под ноги, и всё вещное, трезвое, тяжёлое разом придвинулось со всех сторон. Духота мешала дышать, затонувшие во мраке вещи, отдельные друг от друга и от всего, угрюмо молчали, а коридор вёл на кухню и больше никуда. И звон, тот дальний, высокий звон – пропал.

– Ян! – расслышал он вдруг – и, проникая сквозь мрак, нашла его чья-то рука.

– Аня? – спросил он – и тут только понял, что это Аня стоит перед ним.

– Тише! – попросила она, едва шевеля губами. – Тихонько, а то они проснутся. Давай убежим, пока они спят?

Он смотрел на неё, не понимая ни одного её слова. Потом он шёл, стараясь двигаться так же тихо, как она. Мельком он видел прозрачную тьму вокруг себя: она вся оказалась пронизана светящимися жилками. Эти пульсирующие сосуды пустого прежде пространства мерцали отовсюду...

– Знаешь, папа, если проснётся, – шопотом говорила Аня, – он что-нибудь такое скажет, что сразу всё испортит.

– A ja vysvetlím, ze... [2]

– Высветлишь? – перебила его Аня. – Никогда ты его не осветлишь! Он просто любит всё нудное, понимаешь?

– Rozumím [3], – кивнул он, радуясь как будто даже тому, что её отец любит всё нудное.

Они пришли на кухню, и Ян заварил кофе. На солнце кофе казался прозрачным и красноватым, как вино. Ян вытаскивал что-то из холодильника: того, что брал в руки, он не видел, ощущая только лёгкость воздуха и невесомость всего, к чему прикасался.

– Что ты ничего не ешь? – улыбаясь, спрашивала Аня. – Умрёшь с голоду где-нибудь посреди Праги – что я тогда буду делать?

– Я теперь никогда не умру.

И тут оба услышали звонок будильника.

– Побежали скорей! – вскочила Аня.

На лестнице они переглянулись.

– Ой, а я плащ забыла! – Аня схватилась за ручку захлопнувшейся двери.

– Ніс, не бойся – целый день будет солнце.

...Звон. Так далеко отдаются шаги по утренней улице, что сама тишина, как звон прозрачный, стоит вокруг. Синяя брусчатка под ногами. Тихо. Так тихо, что почти страшно, дыхание останавливается у губ. Страшно оглянуться и и страшно идти, словно впереди прячется что-то, невидимое в ранней мгле – и жжёт лицо.

Ян обернулся.

– Что? – Аня робко подняла к нему глаза. Он остановился. Да что же это, не у неё же спрашивать о том, чего он сам не может понять! Он опустил голову и пошёл дальше.



«Ветер»

По старинной улице, обходящей вокруг холма, они сделали несколько шагов и подошли к одинокому дереву. Огромное, оно к траве приклонило свои ветви. Не шелохнулись его листья, и затаённо слева, со стены – пасть льва. И вот из глубокой травы растут, поднимаются ступень за ступенью: они почти телесного цвета, чудится – прикоснись к камню, и он окажется мягким.

Шаг – и вдруг солнце, праздником со всех сторон. Оглядываешься, и хочется засмеяться: так изменилось всё вокруг.

– Почему ты улыбаешься? – оглянулся Ян.

– Я вспомнила – ещё одно такое утро было, правда! Не веришь?

– Верю.

– Тогда... холодно было, мы маленькие, маршировали в тени, и тень такая студёная, синяя. И вдруг – сразу на солнце, и на ногах белые носочки, сияют. Белые носки – это значит праздник... Другого такого утра никогда больше не было...

– Только сегодня?

– Да, потому что я так давно... – она запнулась.

– И меня ты тоже боишься, как своего отца?

– Я всех боюсь.

– Зачем? – засмеялся Ян. – Зачем всех бояться?

В солнце восходили на холм, от цветов и к цветам: как дикие и свободные, они как хотели, так и вились, и ноги задевали мокрыми стеблями. Ян улыбался, пряча глаза, предвкушая, как Аня сейчас удивится. До чего удачно, всё-таки, это всё построено: из Райского сада попадаешь в собор святого Вигта, – и тут же, в двух шагах, – Бельведер, Хотков парк, Летенские сады. Просто как нарочно! Даже если специально сочинять, такой город не придумаешь, а тут всё как-то само вышло. Разные люди строили в разные времена, а вышло – как один вздох, одно созвучие, один аккорд... Ян даже покраснел, словно он сам был виновником всей этой красоты. А Аня идёт себе, поднимается, разглядывает цветы, и даже не подозревает, что ей суждено сейчас увидеть. В чистом воздухе так далеко отдаются шаги.

– Где это мы? – спросила она наверху.

– В Райском саде.

– В райском?!

Светло-синие цветы волновались, а посреди них сияли жёлтые тюльпаны. Аня смотрела, как завороженная, как бы подавленная недоумением.

– Тебе не нравится?

Она мельком глянула на него (опять ему почудился в её лице испуг) и, отвернувшись, пошла к стене Града.

– Смотри, – она остановилась, – прямо как Аленький цветочек!

– Какой аленький?

– Такой вот. Ты что, разве сказку про Аленький цветочек не знаешь?

– Нет.

– Рассказать?

Он кивнул.

– Ну так вот... Один купец уезжал в заморские страны...

– Куда?

– Ну за границу. И спрашивает своих дочек, что им купить. Одна попросила каких-то драгоценностей, другая зеркало. А третья, самая младшая, говорит: найди мне там, батюшка, аленький цветочек. Казалось бы, странное желание: какая корысть от цветочка? Но купец не стал удивляться, сел на корабль и поехал. Долго ли коротко, всё он купил, и только нету нигде аленького цветочка. Вот однажды он заблудился в лесу, ходит-ходит, дороги нет. Он уж совсем испугался, как вдруг видит свет: такой странный свет, какого ещё нигде не было. Он и видит, что этот свет от цветка идёт, от настоящего аленького. Ведь и раньше ему встречались разные красные цветы, но, знаешь, как бывает, что всё будто бы не то... а когда то, – сразу это чувствуешь.

– Да... это правда, – проговорил Ян.

– И вот только он обрадовался, сорвал этот цветок, – вдруг гром, мрак, и чудовище к нему ползёт. Так мол и так, раз ты мой цветок сорвал, присылай мне за это твою дочку, которая цветок просила. Купец там плакал, умолял, ничего, конечно, не помогло, чудовище чуть его не съело. Короче говоря, пришлось той девушке приехать к чудовищу. И вот постепенно она его полюбила.

– Полюбила? Она – чудовище?!

– Ну да. Оно очень доброе было, всё для неё самое прекрасное делало. Ей с ним говорить очень нравилось.

– А-а, понимаю.

– И вот однажды она ездила домой, когда её отец заболел, а назад вернуться на минуту опоздала. Прибегает – а оно там мёртвое лежит. Вот как она бросилась перед ним на колени...

– Пред чудовищем?

– Да. И говорит ему, и умоляет, и что без него жить не может. А оно – мёртвое, не шелохнётся. Как она тогда заплакала... И вдруг гром, всё затряслось – а когда она раскрыла глаза – принц перед ней стоит прекрасный. Оказывается, этого принца давным-давно какой-то злой волшебник превратил в чудовище. И так заколдовал, что одна любовь могла этого чудовища в человека превратить. То есть – если б его, такого противного, кто-нибудь полюбил. А кто такого полюбит? Никто даже не догадается, кто он на самом деле.

– Но эта девушка, которой был нужен алый цветок – она полюбила?

– Да, и он расколдовался. Это же сказка. На самом деле никому не нужен аленький цветочек.

Они миновали Райский сад.

– Хорошая сказка, заметил Ян.

Вышли на пустую площадь, и перед ними оказалась громадина: не верилось даже, что это – здание, что его когда-то создавали люди. Внизу у него обыкновенные стены; но вот поднимаешь голову – и замечаешь, что эти стены постепенно начинают прорастать словно побегами. Побегі – они похожи на башни, только очень узкие, и кончаются пиками с узорными шишками. И растут они словно бы в беспорядке, обгоняя, перебивая друг друга.

Ане так это дивно показалось – этот лес, эти живые стены, не закаменевшие в одном затверженном положении. Ей даже почудилось с первого взгляда, что там, наверху, эти башни и башенки гнутся, сокрушаются в какой-то неведомой муке. И только в самой вышине, куда и взгляд-то уже едва долетает – только там, внезапно распрямившись, одним взмахом они опрокидываются в небо.

– Храм, – произнёс кто-то рядом с ней, когда она с трудом раскрывала тяжёлую и огромную дверь.

Храм... храм... храм... – кажется, шептали многие голоса вокруг, когда она шагнула внутрь. Да, это не собор, собранный и строгий, это действительно – храм. На «хор» похоже это слово – храм, но только как-то шире: словно во всё оно проникает, всё пронизывает собою, и всё покорно ему отзывается: храм...

Над головой – тёмная пучина. По стенам красные, лиловые, зеленоватые ходят волны, всё это вместе – всё это невыразимо огромное существо – дышит, колыхается и вздыхает, слышится его густой, тяжёлый голос.

То Ане казалось, что она – на дне моря, то – что внутри какого-то чудовища. Людские толпы, как гряды песка, то прибывают, то убывают. Колонны, множество колонн, и священник торжественно говорит, звучным металлом издали его латынь.

Вдруг Аня остановилась. Посреди всей темноты она увидела свет. Он исходил от людей: их лица, их руки, их одежды источали свет. Эти люди, на витраже – они были живы, гораздо живее тех, кто стоял внизу, на дне, с глухими непроницаемыми лицами.

...Это ли не мечта – всегда затаённая, никогда не осознанная, это ли не мечта всякого камня и зверя, и травы и человека, – стать прозрачным, как они, наполниться одним светом и потерять всё, что не он. Вот же она, Радость, – как мечом поражая, она воочию горит перед тобой. Только руки протянуть – вот же она, бери!

3 ГЛАВА:

ЧУРИКИ

«4 августа 1965.

Сашка, привет тебе отсюда, из прекрасного далека!

Вот я и в деревне. Теперь я могла бы заполнить сотни страниц восторженными описаниями, но постесняюсь. Ты спросишь: неужели в деревне мне больше нравится, чем в Праге? Конечно, нет. Но в Праге я чувствовала, что я должна быть каким-то возвышенным, изумительным существом, подстать всему окружающему, а здесь я распоясалась, я стала такой, какая я на самом деле. А на самом деле мне, как выяснилось, не больше пяти лет, а порой и меньше. Я вспоминаю своё ужасное детство в детском саду: а особенно летом, по три месяца безвы-

лазно в этой тюрьме. А сейчас лето – и никакой тюрьмы, я могу делать, что хочу, не шагать строем, а баловаться вволю. Мне кажется, я пытаюсь наверстать упущенное в детстве, возместить те убытки, что мне причинил сначала детсад, а потом лагеря с их линейками, и по стойке смирно – ну ты знаешь.

Конечно, я могла так себя вести, потому что у меня появился товарищ по играм, этот Ян, сын тех папиных коллег, у которых мы жили в Праге. Он весёлый и простой, и, хотя уже учится в Консерватории, на самом деле ему не больше лет, чем мне, ну от силы шесть лет, и он тоже балуется, так, словно в детстве недобаловался, словно с цепи сорвался.

Он называет свою маму почему-то по имени, а отца – папой. Я читала однажды, что для родителей это не очень хорошо, когда их дети называют их по имени – тем самым дети открывают их влиянию злых духов. Это я читала там же, где написано, что слово «чурики» идёт от слова «працур», то есть предок, и вчера я ему это объясняла, что когда я успею крикнуть «мне чурики», он уже не может меня запятнать, даже если догнал, я выиграла всё равно. При этом, как я вспоминаю, надо ещё руки как-то сложить на груди: ты не помнишь? Если я всё это сделала, то я словно бы очутилась в царстве предков и они меня охраняют, со всех сторон. Перед сном я пыталась представить себе это царство предков и ничего не вышло. А ночью мне приснился почему-то замок, как в фильме про Гамлета со Смоктуновским, ну ты знаешь, очень страшный замок, но в нашей стране ведь таких замков, кажется, не бывало, да и здесь я пока что ничего подобного не встречала, всё только красивые помещения, например, с цветами по золотому потолку – весело и нестрашно. Защищают ли меня на самом деле мои предки, когда я кричу «чурики», я не знаю. Не уверена. Вчера я так сделала, когда мы играли в прятки и он меня нашёл. Он хохотал до упаду, моё утверждение, что я всё равно выиграла, хотя он меня нашёл, просто вывело его из себя. А когда я о предках сказала, он прямо плакал от смеха, не мог остановиться.

Вот видишь, какая у меня теперь весёлая жизнь пошла. Его бабушка меня до того балует, что дальше некуда, каждый день подарки, каждый день что-то особенное сготовит, меня помогать ей по хозяйству не допускает. Отца я последний раз видела неделю назад, и он был до того увлечён каким-то научным спором (или разговором) с отцом Яна, что на меня не обратил никакого внимания, ничего мне не запрещает: как подменили человека. Даже глаза у него разблестелись, чего с ним давно не случалось. Моё желание поехать в деревню к бабушке Яна воспринял как-то между прочим. Что мы с Яном подушками бросались и на четвереньках бежали, на него не произвело никакого впечатления – емулишь бы до этого Вацлава дорваться. До его лаборатории. Я, конечно, не понимаю, что в этом может быть такого уж интересного, но чем бы дитя ни тешилось, только бы не приставало.

Вчера мы с Яном бросались не подушками, а охапками сена. Если тебе доводилось когда-нибудь прыгать по сему, ты знаешь, что это – самое большое счастье на свете! Правда, потом мне было не расчесать волосы, Ян стал помогать, и это было уже как-то не так весело, как всё остальное. Не потому, что больно, он старался не дёргать, но какой-то при этом он стал странный, что-то буркнул себе под нос, передал расчёску бабушке, а сам ушёл в лес. Боюсь, что с ним больше не поиграешь. Стех пор он стал почти как взрослый, при этом мрачный взрослый, а я ничего взрослого не хочу! Ты скажешь, что мне уже 17 лет – ну и пусть! Чего я хотела, того и добилась: полной свободы от всего, даже от того, что написано в паспорте!

Какие-то стенки с меня свалились, я прямо чувствую, как что-то рухнуло, и поэтому не знаю, охраняют ли меня ещё мои предки или уже опустили руки: что с меня возьмёшь? Знаешь, это прямо какая-то оргия. Так я чувствую сейчас. Я живу на полной свободе, чего и тебе желаю. Больше я писать не буду, через неделю мы уезжаем, а там скоро и увидимся. Пока!

Твоя Анька».

4 ГЛАВА:

ЗИМА

В Прагу вернулись днём. Разгар дня бесцветным блеском раздражал взгляд, оглушал пыльный грохот вокзала.

– Какой вокзал! – Аня покачала головой, – правда же, в Праге должен быть не такой вокзал?

Она спустилась по ступенькам вагона; держась за поручни, ловя ногой останавливающийся асфальт перрона, – и, отпуская руку, отрываясь, – чуть покачнулась и встала.

– Аня! – позвал Ян, внезапно чего-то пугаясь. Он спрыгнул вслед за ней, подхватил рюкзак.

– Что? – она оглянулась.

– Мы... домой сейчас пойдём? – он спросил, чтобы что-нибудь спросить, он уже сам не понимал теперь своего страха.

– Нет, мы лучше скорей... ты же обещал показать мне Петршин? А поесть можно в столовой.

– Ян, – спросила она, когда они уже шли по улице, – сколько нам ещё осталось дней?

Он остановился. Кто-то его толкнул, он отступил в сторону, – и всё так же смотрел на неё, будто не в силах понять её вопроса.

– Когда мы должны... то есть я... уехать?

– В субботу, – выговорил, наконец, Ян.

– Значит, – заметила она, когда они прошли несколько шагов, – ещё три дня.

На Петршине, высоко на холме. В красноватом торжественном воздухе, перед отдалёнными Градчанами она стояла, – такая маленькая, – и, опустив голову, смотрела вниз, на город.

Вон там полукруг окна выглядывает из-под листвы, такое блаженное лицо у этого дома, оцепеневшего на солнце. Карминная, прозрачная от лучей черепица крыш, где-то древняя стена под навесом плюща, и синие башни храма святого Витта на вершине холма.

Молчание длилось, чуть покачиваясь, как этот протяжный воздух. И Аня, склонившаяся над городом, с каждой волной прибывающего молчания всё дальше, дальше уплывала куда-то.

– Пойдём в твой дворец? – окликнул её Ян.

– В какой мой дворец? – она обернулась, оказываясь снова рядом с ним. – В Бельведер?

– Это же есть твой дворец: дворец королевы Анны.

– Правда? – она чуть улыбнулась, – но я же не королева... Пойдём лучше сейчас к моему дереву, во дворец мы ещё завтра успеем.

– К какому твоему дереву?

– На Кампе.

– Ты мне о нём не говорила.

– Я тебе не обо всём говорила.

Они проходили мимо увитой плющом ограды Лобковицкого дворца. Уютно в живой колеблющейся одежде было чугунным лепесткам и колоннам из древнего камня, и привольно дышалось растению на этой ограде, почти ожившей от любовной работы человека.

Аня шла, задевая плечом дремлющие листья. Старинный фонарик прятался в тени у входа.

– Зайдём? – спросил Ян.

Вошли в подъезд – словно в опрокинутом цветке очутились: потолок лепестками опирался на колонны. Аня прислонилась к колонне и стояла сторбившись, чёрным силуэтом на фоне яркого воздуха. Сквозь полукруглую арку она глядела: как виденье, рисовался плющ на ограде, за ним таяли в вечернем воздухе деревья. Опираясь на колонну, она стояла, с головой погружённая в слабеющий свет. Он ещё прикасался к плечу, согревая, – но уже готов был отпустить руки и уйти, и её одну оставить в темноте. Она поёжилась.

– Je tebe zima?^[4] – спросил Ян.

– Зима? Какая зима?

– Для тебя есть зима?

– Для меня? – она чуть усмехнулась, – зима... снег... – она привлекла к себе руки светлую, едва развинувшуюся прядку плюща. И снова оцепенела, словно забыв о том, что собиралась идти на Кампу к своему дереву, – стояла, как выпавшая из жизни, бессознательно глядя в темноту между листьями. Где-то прошёл, не задевая сознания, голос Яна.

– Что? – она встрепенулась.

– Ты не хочешь отсюда уехать?

– Уехать? – переспросила она. – Уехать от Праги? – она смотрела на него в недоумении, словно только что подняла лицо от сна.

– Ты не хочешь, – повторил он.

– Какой ты странный, Ян! Как же можно... об этом говорить? – добавила она поспешно и невнятно, словно надеясь и сами эти слова спрятать. Пригушить, схоронить от него, как прятала глаза.

– Но ведь ты не хочешь уехать! – он настоячиво смотрел ей прямо в лицо.

– Какие у тебя глаза... – она отвернулась, отошла за колонну. Но он её догнал:

– Аня! Зачем ты уедешь, если не хочешь?

– Не мучай ты меня, – она снова отвернулась, – мне и так... будет хуже, чем тебе.

– Если ты не хочешь, значит...

– Что значит? – она вдруг резко обернулась.

– Значит – не надо, ответил он, пугаясь её побледневшего лица.

– Тебе нравится меня мучить? – тихо спросила она таким голосом, какого он у неё не знал. – Ты – злой, Ян? Я не знала. Я думала, хоть ты добрый.

– Я злой?! Я не хочу, что тебе есь зло!

– А ты знаешь, почему мне зло? Ты понимаешь, – она дрожала, – почему мне хуже всего? Нет? – у неё перехватило дыхание. – Потому что ты, всё время, мучаешь меня своими глазами, ты смотришь на меня, всегда. – она уже не разбирала слов, как, падая с горы, не разбирают дороги. – Ты хочешь меня мучить, ты мне больно делаешь, – она задышалась, – ты – хуже всех! Лучше б тебя совсем не было! – она закрыла лицо руками.

Легче было бы плакать, но она только вся дрожала, прижимая руки к лицу. Потом колонна, к которой она прислонялась, остыла. Аня подняла голову. Уже сумерки встрепенились, ветром ходили под деревьями, задевая ветви. Чужие люди, переговариваясь, шли по улице, - а Яна не было нигде.

Наутро солнца не было. Пасмурное было утро и холодное. Ян отпер дверь, вошёл в квартиру.

В тишине раздавался тонкий Анин голосок. Ян подошёл к приоткрытой двери в кухню. Аня пела, песня была грустная и такая странная:

Я на кончик пики
Привяжу платочек,
на твои синие
погляжу глаза...

На слове «синие» у неё голос искривился, последние слова она почти прошептала и замолчала. Ян толкнул дверь, вошёл.

– Ян! – Аня обернулась к нему навстречу. Он смотрел на неё в растерянности, будто не узнавая. Глаза у него были блестящие, как от высокой температуры.

– Где ты был?

– В Праге.

– Но всю ночь дождь был.

– Да. Я... сейчас уйду.

– Куда?!

– Ты хочешь, чтоб я не был.

– Это неправда. Ян...

– Я – мучал тебя?

– Нет. Я не знаю, кто нас мучает... Пойдём в комнату, здесь холодно.

– Не гневаешься больше на меня? – он остановился на пороге. Она оглянулась:

– Какой ты! – от слёз её глаза казались ещё больше. – Это ты должен на меня гневаться!

В комнате казалось теплее от мягкой мебели. Аня с ногами забралась на диван, закутавшись в пиджак Яна, – так непривычно она выглядела под серым пасмурным светом.

– Утром я шёл к Вашеку... – начал Ян. – И он... не даётся с ним говорить. Когда ты уедешь, ни с кем буду говорить.

– У тебя останется твоя музыка. Ты ведь пишешь оперу.

– А у тебя – твои образки...

– Какие образки?

Ян кивнул на альбом, торчащий из-под книг на столе.

– Ты думаешь, мама даст мне в этом году рисовать? – Аня покачала головой. – Она ещё весной говорила, что не даст мне больше чепухой заниматься.

– Какой чепухой?

– Ну рисовать. Она всегда надо мной смеётся, как я рисую, вообще обещала у меня все картинки отнять. Говорит, художники никому не нужны, и вообще это несерьёзно, им гроши платят. У нас, говорит, висеть на шее собираешься – или у мужа?

– У мужа? – Ян глядел на неё бледный, ничего не понимая.

– Ага. Говорит, мне твой муж спасибо не скажет за такое сокровище.

– Это не люди! – он сделал несколько шагов, как бы не зная, куда деваться. – Разве такие люди бывают? – в замешательстве он обвёл глазами комнату, балкон.

- Ты на балконе меня от них спрятать хочешь? – усмехнулась Аня.
- Почему... ты и в комнате жить можешь.
- Она подняла глаза, оглядывая стены, мебель.
- А что – хорошая комната. Вон там можно раскладушку поставить.
- Какую кладушку?
- Чтоб мне спать.
- Я тебе свой диван дам, а сам пойду спать в гостиную.
- Так это будет моя комната? – не поверила она.
- Еслипустишь меня заниматься на рояле...
- Так уж и быть, – разрешила она. – как хорошо-то! Целая комната...
- По-новому она оглядела всё вокруг, – и всё ей показалось уместным, симпатичным, как и надо. Она перевела взгляд на Яна: он всё-таки был самым лучшим в этой комнате, ей даже показалось, что комната много проиграет без него. Вообще без него будет скучно. Она вздохнула и сама подошла к балкону.
- И вы никто не будете говорить, что я – дура, если я буду рисовать?
- Что ты! Мы все рады, что ты рисуешь. Хочешь, я тебе масляные краски куплю?
- И вы... не будете надо мной смеяться?
- За что над тобой смеяться?
- Что я не такая, как другие.
- Все не такие, как другие. Я тоже не такой, как другие. Разве надо мной смеются?
- Как хорошо... когда никто не смеётся. Правда? Да, Катержина очень добрая. И дядя Вацлав хороший. Я вам буду картошку чистить.
- Нет, я сам буду! А ты только рисуй... и танцуй. Я не буду смотреть, если ты не хочешь.
- Может быть, я тебе потом разрешу.
- Это будет лучше всего!
- Почему?
- Как ты танцуешь – это лучше всего. Ты не сердись, что я смотрел? Я же не знал, что ты не хочешь.
- Я уже не могу на тебя сердиться. А то если сейчас сердиться, я уже не успею тебя простить.
- Почему? Ведь ты же остаёшься! Ты будешь жить здесь.
- Ян, – перебила она, – хватит уже. Не надо больше так играть.
- Я не играл. Зачем уехать, если ты не хочешь?
- Какой ты... нет, не глупый, а просто ничего не понимаешь!
- Почему я ничего не понимаю?
- Не знаю. Просто ты совсем не такой... У тебя даже походка другая. Когда ты идёшь, это похоже... вот помнишь, та музыка, мы однажды в Бертрамке слышали? Не Моцарта, а... –
- Мысливечка?
- Да, Мысливечка. Она такая – смелая, свободная!
- А ты разве не свободная?
- Конечно, нет. Я вообще таких людей, как ты, не видела. Ты не понимаешь, что если чего-то хочешь, то как раз этого и нельзя.
- Почему нельзя, если хочешь? – он с тревогой и недоумением смотрел на неё.
- Потому что это всегда так. Я уже привыкла. Да вот хоть с музыкой – как было. Я её полюбила – а зачем? Я так просила, чтоб мне купили пианино, чтоб музыке учиться, так плакала, а они только смеялись.

- Кто – они?
- Родители. Это потому, что я хотела. Если б не хотела, меня бы нарочно заставляли, как других. Поэтому лучше никогда ничего не хотеть. Понимаешь?
- Не понимаю. Они тебя просто не любят.
- Она пожалала плечами:
- Все всех не любят.
- Почему?! Наоборот, меня все любят.
- Тебя...
- И тебя: Катержина, и мой папа.
- Да, они не такие, но на самом деле...
- Что на самом деле?
- Ну как бы тебе это объяснить... Вот выходишь на улицу – тебя могут толкнуть, стукнуть, сумку из рук выбить, – никому и дела нет. В магазине обсчитывают: ну если не обсчитают, то обвесят обязательно. В столовой обругают, в прачешной ругаются всегда, и в автобусах...
- Тебя ругают? – удивился Ян. – За что?
- Не за что. Им просто нравится ругаться, им это удовольствие. И вещи такие делают! Стол купили – ножка отвалилась, проигрыватель – сразу испортился. Туфли всегда до крови ноги натирают, потолок протекает, пол проваливается – чинить не хотят, и вообще... Если б все всех любили, разве стали бы так всё делать? А когда уже так обидают, что идёшь по улице и плачешь – ведь никто не подойдёт, не спросит, всем наплевать.
- Ты плачешь?
- Стало тихо. За окном всё больше темнело, мрачная башня, нахохлившись, глядела из-за мокрых крыш.
- Я тебя... не пущу, – выговорил, наконец, Ян. – Я не хочу...
- Разве мы можем хотеть или не хотеть?
- Не пущу тебя, – почти шёпотом прибавил он.
- Кто ты такой, чтоб не пустить?
- Кто я? – он удивился. – Я – человек.
- Нет, Ян! Это так только кажется. Это только на вид. А на самом деле мы – не люди, мы ничего не можем.
- Совсем стемнело в комнате. Ян положил руки на стол, опустил на них голову. Сознание уносилось в разбегающееся пространство: ни за что не удержаться. Как быстрый конь, скачет оно прочь, вот уже едва слышен замирающий звон копыт...
- Ян, что с тобой?
- Он поднял голову.
- Ты заболел?
- Нет, – он покачал головой, – я не болен.
- Не жалобный у него был взгляд, – просто очень искренний, очень серьёзный: он как бы хотел отвести её от своей боли.

5 ГЛАВА:

ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА

На площадь выходили люди, они переговаривались и шутили, выбегали девушки в разноцветных юбках. Словно подхваченные музыкой, все собрались вместе и вдруг запели:

Pros bych nam se ne veselít?!^[5]

И вот уже несут май^[6], весь увитый цветами, с огромным венком наверху, и от венка спускаются, развеваясь, ленты. А музыка подступает всё ближе, громче, девушки за ленты взялись и пляшут вокруг мая, закружился венок.

Что же это? – Аня привсталла, не сводя глаз со сцены. Когда-то... нет, никогда, но ведь это уже было. То родное, что помнится не памятью... –

И вдруг из ничего, будто из синего неба над площадью, возник голос хора. Он мощно и радостно вознёсся, стройный, как множество башен и фиал храма святого Вигта, единым взмахом запрокидывающихся в небо.

Музыка кончилась, омертвел без неё воздух. Аплодисменты тоже смолкли. Аня с Яном выходили из театра. А там, за порогом, уже ждал вечер.

Через много недель, в один сырой и серый день, немолодая женщина, учительница литературы, проверяла сочинения на тему «Лучший день лета». «Усталые, но довольные», «купались и загорали», «грибы и ягоды»... снова «усталые, но довольные!» У неё уже рябило в глазах, когда она раскрыла очередную тетрадь и прочла:

«Вместо сочинения я напишу сказку. У неё не будет начала, не будет сюжета и даже не будет коца, и я не знаю, как её назвать».

И за этим длинным заглавием следовали две странички, исписанные смешным детским почерком:

«Дождь уже кончался. Полнеба смеялось глубокой синевой, и золотое ликование звенело в тяжёлых каплях. Они шли вдвоём под одной накидкой, развевавшейся над их плечами отважными голубыми крыльями. Эти крылья, со всех сторон облитые солнцем дождем, то нетерпеливо билась где-то за спиной, то, смеясь, запрокидывались над их головами, обдавая их мокрыми осколками неба.

Праздничное ощущение мгновенного счастья, такое частое в детстве, не покидало её. С томительным весельем, ещё не отзывающимся болью, рассматривала она, может быть, в последний раз прекрасные замки и лестницы, увитые плющом, сады и дома. Он тоже улыбался, обращаясь к ней: ему передалась эта странная иллюзия растянутых последних часов. Так тишина перед выстрелом всегда кажется самой глубокой.

Удивительные минуты вечера, когда солнечное великолетие прозрачно и глубоко горит на всех стенах, деревьях, на лицах и одежде людей, а посреди тёмной воды мерцает золотой отблеск: это солнце сверкнуло в чьём-то окне над рекой и отразилось среди волн. Синева неба расцветает ярче и свежее, а мрак теней смягчается лёгкой сиреневой теплотой.

Потом запахло железным и тревожным запахом вокзала. На этом скачка кончилась: я же предупредила, что у неё не будет конца».

Учительница пробежала глазами эти странички, потом пересела на диван и ещё раз прочла сочинение ничем не примечательной угрюмой девочки.

Несколько мгновений она сидела неподвижно и, сощурившись, вглядывалась в уютную тьму под дочкиной кроваткой. Трудно было пошевелиться: сказывалась многолетняя усталость. Наконец, она почесала в затылке и приписала под сочинением своим неопрятным взрослым почерком: «Чересчур много эпитетов, выпрэнно».

...Как странно выглядят её размашистые красные слова под аккуратными фиолетовыми строчками! Она коротко вздохнула и поставила пятёрку.

6 ГЛАВА: ВМЕСТО СМЕРТИ БЫЛ СВЕТ

«Где она? Какая смерть?
Страху никакого не было,
потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет».

Л.Толстой, «Смерть Ивана Ильича».

В глубокой темноте стояли вагоны со странными замкнутыми лицами. Вагоны, под чью власть так беспечно предал себя человек – по которым бежал он теперь, не переводя дыхания.

Перед дверью он замедлил шаги. Остановился. Но рука сама толкнула её, и он шагнул вперёд.

За толстым стеклом, в тусклом воздухе, прислонясь к стене, стояла Аня. Она стояла бледная, подавленная, а вокруг неё ходили и разговаривали люди.

Сосредоточенный от знобящего страха, Ян толкнул и эту дверь. Аня оглянулась –

Он легко, не помня своего ужаса, прошёл несколько шагов по исчезнувшему коридору. Улыбаясь счастливой улыбкой, он прощался с теми, кто стоял перед ним. Только не к ней, не сразу. Ну вот и всё, что же теперь...

Он сделал шаг. Вот что, оказывается: он просто пожимает ей руку и говорит «до свиданья». Её лицо – улыбка такого счастья, что нет больше мрака, нет и быть не может.

В самозабвении он кивнул ей ещё раз и пошёл по коридору. Дверь почему-то никак не открывалась, он её толкал и толкал. Тогда (он услышал шаги) её отец и она подошли, и её отец раскрыв перед ним дверь. Они вышли в тамбур, и Ян спрыгнул на земл. Поднял руку над головой, помахал им и вдруг неожиданно для себя прокричал:

– Жду писем!

Её отец казался чёрным на фоне проёма. Но из-за его фигуры Аня появилась в дверях, всё так же улыбаясь и махая в ответ.

– Я не помню адреса, – обернулся к ней отец.

– Я помню, – ответила Аня. Она была светлая, хотя (Ян потом вспомнил) на ней был тёмно-красный свитер. Она была вся совершенно светлая. И дверь захлопнулась.

Ян сделал несколько шагов. И тут только, опомнившись, понял, где он, что за земля у него под ногами, понял, что означает этот поезд.

Время тоже очнулось, оно забило, отсчитывая последние секунды. Ян шёл всё быстрее по колдобинам тесной земли между поездами. Он спешил, словно надеялся убежать и скрыться от этого места. Свернул направо, перепрыгнул через рельсы – и выбрался на платформу. Скорей! Он не понимал, куда так торопится, но даже захыхался. Платформа, асфальт... Так что же это?

Ян оглянулся.

Поезда не было. Он не ушёл, не уехал, он просто бездвижно и неслышно, как стоял, так и канул во тьму.

«Приди, как дальняя звезда», – вспомнил вдруг Ян, глядя в эту тьму, что сокнулась за поездом. Строчки из стихотворения, которое в бабушкином лесу читала ему Аня:

Приди, как дальняя звезда,

как лёгкий звук иль дуновенье», – повторял он про себя, ускоряя шаг. В жар-

ком ожесточении, когда все силы сжимаются в один пучок, он твердил всё одни и те же слова:

Приди, как дальняя звезда!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1 ГЛАВА:

НА МОСТУ

Над Аларчиным мостом, над его перилами – чередой вертикально вытянутых чугунных колец, над покосившимся зелёным ларьком, где вчера продавали арбузы, – сероватое и жемчужное брезжило утро.

Аня медленно шла по влажному тротуару; Крюков канал, горбатый деревянный мостик, Никольский собор справа, – и она снова углубилась в тесное ущелье, по дну которого протекал канал.

«Сашка, дорогая, здравствуй! Опять я пишу тебе письмо. Вот видишь, как мне понравилось это занятие. Когда я вижу белый листок бумаги, мне кажется, что он зовёт меня к себе. А когда я его не вижу, а только представляю его себе, какой он чистый, какой белый посреди всей черноты, мне кажется, что он – какой-то прибор, при помощи которого я могу сказать тебе что-то такое, чего я самой себе вымолвить не сумею».

Аня брела вдоль канала, сочиняя письмо подруге, с которой виделась каждый день... *«Ты спросишь меня, зачем писать письма теперь, когда мы день за днём встречаемся в школе. Но я вспомнила, как писала тебе письма совсем недавно, да, только что, но вот теперь мне показалось вдруг, что совсем другой рукой. Я ведь вижу свои руки, когда пишу, и замечаю, что даже и они стали совсем не такими, как тогда. Я пишу тебе теперь не такой, как прежде, рукой, не такое, как прежде, письмо, и хочу объяснить тебе про то, про что мы вчера говорили. Может быть, в письме это мне удастся. Вчера ты сказала, что я устроила забастовку. Нет, ты сказала, что я будто бы эту забастовку объявила, но это не так, я, конечно, ничего не объявляла и даже не устраивала, просто вышло так...»*

По тому берегу тянулось бесконечное здание: багровые кирпичные стены, про которые пыталось вымолвиться очень неприятное слово, и Аня запиховала его куда-то поглубже, словно бы в карман, чтоб оно не вылезало наружу, а слово всё высовывалось и выговаривало само себя: тюрьма. Да, самое любимое место в городе на это самое и было похоже, и этого сходства хотелось не замечать, на него хотелось не обращать внимания.

Аня знала наверняка, что придёт сюда чуть ли не в первый же день после приезда. И теперь в нетерпении она ускорила шаг. За скудной листвой на том берегу мелькнуло что-то серое. Аня прошла ещё два шага и остановилась.

Из глубины воды вырастают мощные колонны, в них упираются точно такие же, охваченные полукруглой аркой. В проёме – вверх и вниз – распахнулось небо, словно створки дверей откинута на обе стороны, разрывая напополам тяжкое замкнутое пространство. И отсюда вырывается на волю – простор. Невероятный и неведомый, какого и быть здесь не может.

...Чего ты палку сосёшь? – раздалось за спиной. Аня вздрогнула, оглянулась: мимо проходила пожилая женщина, держа за руку мальчика в чёрном пальто. Кругом было очень пустынно, больше ни одного прохожего. На стене соседнего дома

чрезвычайно аккуратно, с маленькой буквы, было выведено: «добрякова – мешок с жиром». Аня опустила глаза: по бурой воде изгибаются смолистые разводы, седые завитки, покачиваются тугие серые комья. Во всём этом и отражается арка. Аня снова взглянула на неё – словно вздохнула полной грудью. Ворота в никуда, за ними – низкие, невыразительные строения. ... Нет, скорее – ворота в небо («но почему с такой тоской, с такой щемящей тоской смотрят на меня эти стены?»). И всё-таки они летят, хоть непомерно малы раскрывая.



«Новая Голландия»

Теперь – всё равно куда. Но не домой. Аня обогнула Новую Голландию, пересекла площадь Труда и, миновав угловой гастроном, вошла в великолепную панораму набережной.

«Но сама по себе забастовка – это правильное слово. В этом слове есть какой-то смысл, который мне хотелось бы распаковать. Забастовка – это как обций наркоз. Если тебе никогда не делали операцию под обцим наркозом, ты этого не знаешь и не поймёшь. А мне делали, и я знаю, что это такое: это – полное отключение всего, что в тебе есть. Тебя режут, а ты этого даже не замечаешь».

За чугунными перилами шевелилась водяная масса точно такого же чугунного цвета. Едким смрадом ударяли в лицо с воем проползавшие по мосту машины. Аня поймала себя на том, что идёт сторбившись, опустив голову и не глядя по сторонам, словно торопится скорей уйти прочь отсюда. Ещё не веря себе, она замедлила шаг и подошла к перилам.

Плоская пустыня расстилась перед нею. Солнце с грязновато-белого неба распространяло от себя металлический блеск: он как-то неестественно ложился на воду, жирной плёнкой на её мускулы, перекатывающиеся под угольной кожей. А дальше волны брели безропотно, стадами, всё уменьшаясь к горизонту, и туда же брели квадратные дома, безучастно уставившись в пространство. Величественный гранит набережных такой гладкий, и люди по нему скользят ненужные, посторонние, как с гуся – вода. Слева – хищные мёртвые звери перед входом в жёлто-белое

здание. Справа вдавлен в каменную массу тусклый пятак – купол Исаакя. И кажется, что город на ощупь холодный и твёрдый, как кожа древнего ящера.

«Сашка, дорогая, привет! И вот я снова стою на мосту, но теперь уже на совсем другом, не на том, где у статуи пятки сверкают. Уж здесь-то меня никто не спросит «что с тобой», даже если мне станет совсем плохо. И на меня ползут, наползают огромные чудовища, со скрежетом, и мне в лицо своё грязное дыхание выпускают, плюют свои чёрные клубы дыма, горькие на вкус.

Почему же не убежать бы отсюда, да и поскорей? Наверное, ты права, что я устроила забастовку, вернее, попала в неё. Иначе не могу себе объяснить этого оцепенения, как кролик перед удавом, перед этими грузовиками. Меня так и тянет смотреть с этого моста, не могу понять, что меня так привлекает, но не в добром смысле этого слова, а наоборот, и если город на ощупь окажется как липкая лапа древнего ящера, так зачем же к этой лапе прикасаться? Не знаю, не могу поверить сама себе и не могу понять, почему мерещится мне чуть левее на этом же мосту стоявший когда-то... нет, он никогда тут не стоял, потому что его и не было на самом деле, но вот тут одному писателю примерещилось, что стоял один, как ты бы сказала, дядька, а на самом деле довольно симпатичный студент, и вырезал себя ножницами из всего живого, сияющего мира. Я почему-то вижу сейчас эти ножницы, вижу красное пространство с ярким, острым, бьющим в глаза контуром, и по этому контуру они режут, вырезают – навсегда. У ножниц, которые я сейчас вижу, концы почему-то тупые, закруглённые. И я начинаю завидовать этому студенту, Раскольникову, потому что он как-никак сам производит над собой эту операцию и снаружи режет, по контуру, а из меня те же самые ножницы вырезают что-то изнутри, кромсают что-то внутри, и я не знаю, кто это делаети зачем – ведь не ящер же, хоть ящеры бывали и с пятипальными лапами.

Я и до того, как эти ножницы заметит, Раскольникову завидовала, что ему в лицо чёрными горькими клубами никто не плевал. И ещё я думала почему-то про Сашку – не про тебя, а про другого, про высокого стройного красавца, мне кажется, что он имеет какое-то отношение к этому месту, то ли он учился где-то здесь, то ли жил. У этого Сашки был брат Вовка-морковка, как у меня. И был этот братишка старшему не чета, приземистый он был и неказистый, и очевидно в каком-то возрасте вцеплялся старшему в шевелюру, а потом рисовал ему в тетрадь бяку-закаляку, и приходилось за это старшему расплачиваться, как и мне в своё время за художества моего Вовки-морковки, а чем всё это кончилось и какой горячей любовью младшего к старшему обернулось, и заплатила за это вся страна, да ещё как! И этот Вовка-морковка сказал тогда своей плачущей матери, у которой старшенького загубили, сказал одно слово, и оно впечаталось в память, он сказал «мы пойдём другим путём», и все ему поверили. Но никакого другого пути не оказалось, не вышло ничего другого. Как пошли однажды против души, против природы, как построили этот город не потому, что он сам захотел тут вырасти, а потому, что никакой город тут расти ни за что на свете не хотел, и его не растили, а выбивали из мертвеющего под руками камня, не с любовью, а с ликованьем торжествующей воли, не по своей воле, а по воле одного-единственного человека – царя. И не хотел красавец Сашка, чтоб нами всегда правили цари, и убил одного из них (единственного того, которого стоило бы пожалеть, ведь это он отменил крепостное право, это ему я должна быть благодарна за то, что мои предки перестали быть крепостными!). И за это убийство убили и его самого – на этом втором убийстве цепочке мести и оборваться бы, но тут-то она и расสวิ-

репела, потому что Вовке-морковке уже одного только царя в память о брате убить оказалось недостаточно, он пошёл другим путём и вернулся на ту же дорожку, по которой и цари ходили, а вернее, ступил в тот же след: я вижу след, выбитый в камне, след ступни, и в этот след поставил свою ногу, вставил, но и сам того не заметил, и Вовка-морковка, а перед смертью понял, что к чему, что и из урода и гада царя себе сотворят, потому что руки чешутся и царя хочется, в этот каменный след вернуться так и тянет. И «в этой каменной стране», как поётся в одной дурацкой песне, которую я, как ты знаешь, ненавижу, в этой каменной стране всё должно идти по этому следу, иначе не получается, все усилия Вовки-морковки сотворить что-то новое и другое потерпели крах. Ничему не позволим вольно расти, по своей воле, воля должна быть одна на всю страну, и железными щипцами выжгем всё то, что не она, всё, что посмеет то ли отклониться, то ли рот открыть, то ли слово страшное прокричать. Но и без прогресса не обошлось: раньше вырезали по контуру и внутрь не залезали, своими тупыми концами душу не корёжили.

Теперь я вижу эти ножницы с тупыми концами совсем близко от себя, они подошли ко мне. Ты сказала, что я устроила забастовку. А что же мне ещё оставалось делать, как не убежать в эту забастовку... мне кажется, что это – как общий наркоз, а с местной анестезией мне бы этого не выдержать. Я подходила к Новой Голландии и думала, что там что-то пойму, ведь я её всегда так любила, помнишь, мы с тобой там часто ходили, нам казалось, что она какая-то волшебная, что в ней какая-то тайна, и я теперь надеялась, что она мне эту тайну откроет, что-то такое скажет, что всё объяснит, но ни на какое объяснение она не раскошеллась, ни на какую мысль меня навести не захотела.

Если всё объяснение в том, что из души надо что-то вырезать, и именно то, что самое заветное, самое святое, для того, чтобы стать как все... а я не знаю, какие – все! Ты тоже не как все, а Коробка уж как из кожи лезет, чтобы стать не как все, но вот это «как все» - когда я об этом думаю, кто такие эти все, то кажется, что, видимо, все - как та Добрякова, про которую на стене было написано, что она – мешок с жиром. Вот такой надо стать, и тогда будет не больно.

И это письмо я тебе не отправлю, Сашенька, я спрячу его в самый долгий ящик, где скрываются от света все мои драгоценности. Или – ещё лучше – я его тебе даже не напишу».

Домой Аня добралась, когда солнце уже садилось. По булыжникам подворотни прошла в тесный двор. «Господи, – вдруг проговорила она про себя, – как это больно – запрещать себе!..» Её взгляд тем временем скользил по облезлым стенам, настолько грязным, что сама эта грязь казалась чем-то значительным, полным тайного смысла. Она свернула в низкую дверь, очутилась в темноте. Не вслушиваясь, она входила в запах кошек, помоев и какой-то кислой гнили, восходила по склизким ступеням мимо сломанных перил, скрученных проволокой. Ссутулившись, в чёрно-коричневой форме, она казалась маленькой старушкой с оцепенелым, сосредоточенным лицом.

Вот эта дверь – ей с раннего детства казалось: вдруг откроется, за ней – тёмный провал какого-то затхлого и страшного зала. И в том зале стоит строгая женщина в суконном зелёном, как у мамы, костюме. Внезапно вокруг её талии раскрываются медные лопасти – и сжимаются с гулким стоном, хлопают, как у жестяной игрушки. Нежилой запах, запах чего-то казённого, – это тоже очень страшно. Страшно тут всё, каждая подробность: и тусклая медь, и мёртвый её звон, и даже

этот убитый зелёный цвет, – много такого зелёного было в ту пору, как та вывеска на сберкассе, где её вырвало и где на стене висел портрет сталина. Так вот прямо, как войдешь, – да нет, это был не просто портрет, это была картина: сталин на жёлтом поле в своих чёрных сапогах беседует с трактористом. И потом, – вот интересно, ей никто ничего плохого о сталине не говорил, но её начинало тошнить каждый раз, как она видела его портрет.

Однажды её кто-то спросил, как же она могла тогда, такая малявка, расчихать, кто такой сталин и почему этот всеми любимый мог вызвать у неё неприязнь? Чтобы это понять, надо было вспомнить, что это значиг – быть именно да, именно малявкой, когда все люди выше её в три раза, как огромные деревья на пути, и она между ними мечется, между этими суконными тенями, чтобы пробиться, наконец, к дверям. А к дверям надо было успеть добежать, чтобы её не вырвало прямо здесь, посреди этого жуткого дома... А всё-таки – почему? Откуда такая тошнота вдруг набежала? Эта отвратительная жёлтая краска, цвет этого поля под ногами, под сапогами, тоже омерзительными, тоже такой же жирной краской нарисованными, она напомнила ей тогда пузыри жира, что плавали поверх супа в детском саду. А этот суп её, малявку, заставляли съесть и угрожали ей, что в противном случае не отдадут её маме. И она проглотила этот жир и ничего, и её вырвало не сразу, а только когда она с мамой за ручку дошла до этой сберкассы, и очутилась внутри, и увидела на стене жёлтое поле: оно началось вонь противного жира. И в нём, внутри его, помещался дядька в чёрных сапогах и с масляной, слегка хитровой усмешкой в пышных усах. Он с кем-то там спорил, но этот кто-то был не важен, он не вызывал никаких чувств, а про дядьку с усами она уже знала, и тогда, что это был тот самый, что висел на каждом суку, на каждой стене, и даже в бане. Её заставляли учить стихи про то, что она его любит, и она повторяла эти строчки и ничего, от стихов её не тошнило. А до дверей в сберкассе она добежать тогда успела, успела-таки, и это до сих пор наполняло её гордостью.

Наконец, она добралась до своего этажа. Позвонила: прогрохотал чугунный крюк, и она очутилась в приторном воздухе коммунальной кухни перед лицом своей матери, Веры Павловны.

– А-а, Анютка! Пришла... – говорила мать. Звучание её голоса было такое приятное, словно она вздыхала с облегчением. Вера Павловна повесила плащ на вешалку и теперь, держась рукой за стенку, снимала туфли. Аня кинулась и проворно подставила матери тапки.

– Спасибо, доченька. Ну, как у тебя в школе? Писали сочинение?

– Ага.

– Ты какую взяла тему?

– «Мой любимый герой».

– О ком писала?

– О Фучике.

Мать нахмурилась:

– Не могла кого-нибудь из наших взять? Что, у нас своих героев, что ли, не хватает? – она подозрительно взглянула на Аню. – Не могла написать о Зое Космодемьянской, о Матросове?

– Но я... – начала Аня. (Ведь сказано же – любимый! – чуть не вырвалось у неё).

– Ну? – строго спросила мать. – Что – ты?

– Я думала... я читала, и у меня мысль такая была... – пролепетала Аня. Она понадеялась, что слово «мысль» её спасёт.

– Твои мысли пока никого не интересуют, – отдельно произнесла Вера Павловна. – И если ты хочешь когда-нибудь поступить в институт, запомни, что твои мысли никому не нужны. Поняла? – Она взглянула своими тёмными тяжёлыми глазами, словно угрожая, будто взглядом внедрялась в глаза дочери, чтоб раздавить в них всё лишнее, чужое и ещё глубже впечатать свою волю.

– Поняла, я спрашиваю?

– Нет, не поняла, – прошептала Аня, опустив голову. «Жалкие, светлые волоски, – внезапно с каким-то брезгливым чувством подумала Вера Павловна о дочери, – и тонкие, как пух».

– Ну, так подумай о том, что я сказала, – веско произнесла она и, отвернувшись, пошла в комнату. Она шла, высоко неся голову, в своём вишнёвом халатике царственная и неприступная, как королева.

Аня пошла в бабушкину конурку. От сети дождя, что невидимо была представлена в воздухе, её теперь познабливало. Она скорей сняла форму и закуталась в бабушкин платок.

«Бабушка!» – прошептала она, грея ноги в бабушкиных клетчатых шлёпанцах. Со стула свисали чёрные крылышки передника, краплёные дождём. Забыв о времени, сгорбившись, Аня сидела на диване. И никто не знал, о чём она думала, упорно глядя в слезящееся окно, под паутиной сумерек и в сером платке, похожем на большой клок паутины.

– Анютка, выйди скорей, у нас гости! – укоризненно шептала мать, просунув голову в дверь. Аня, опомнившись, встала. Она ничего не могла понять: почему так темно, почему снова так ласков стал голос матери, а из коридора несётся весёлый гул.

– К нам тётя Эра из Москвы.

– Да? – удивилась Аня. – Одна?

– С какой-то своей ученицей. Иди скорей, сбегашь купить чего-нибудь вкусенького.

– Знаешь, мам, пошли лучше Володьку, я замёрзла, промокла сегодня.

– Ничего, оденься потеплее. Пальто накинь. Володька никогда ничего путного не купит. Ты же у нас специалист в этом деле. На, вот тебе денюжка.

За склизкими от сырости стенами, в тесной комнатухе, освещённой светильником болотного цвета, сидели люди, старавшиеся развеселиться, и пели весёлые песни. Сухопарый Александр Николаевич, приклонившись к гитаре, пел тенором:

Но не оставил там души ни крошечки – она

она для ней,

она для милой Верочки моей, –

и поглядывал на жену ласковыми голубыми глазами. Вера Павловна укоризненно покачивала головой, едва скрывая удовольствие. Она сидела гордая, даже седина в её густых тёмных волосах сияла празднично, как кружева белой блузки. И она пела молодым, счастливым голосом:

Вперёд же по солнечным реям

На фабрики, шахты, суда, –

По всем океанам и странам развеем

Мы алое знамя труда!

Пели с воодушевлением, словно что-то, чего нельзя назвать словами, дохнуло им в лицо и вновь воскресило их. Седые, покрытые морщинами, они пели со всей страстью юности... И песни звучали, почти независимо от тех, кто их пел, оживляя невозвратимое, немислимое теперь время.

За стеной, в комнате соседней, укрывшись с головой одеялом, потихоньку плакала в своей постели шестилетняя Танечка. Она плакала из-за этих песен: из-за того, что в песнях всё так хорошо, а на самом деле так никогда не бывает. Она плакала о яблоках и грушах, которые представлялись ей совсем не такими, какие мать приносила с рынка. Они были огромные, загадочные, от них даже как будто исходило свечение. Она плакала как о личной, невозвратимой потере о тех молодых капитанах, которые с такой покоряющей отвагой вели наш караван сквозь бури, ветры и ураганы. И весёлых друзей, как родных, как близких и пропавших, ей было жалко. И о том серебряном голосе она плакала, о котором пели за стеной:

И подруги серебряный голос
Наши звонкие песни поёт!

Услышав среди всех голосов один настоящий серебряный, девочка заплакала ещё горше. В угловой комнате на пятом этаже, говорят, живёт людоедка; по их собственному коридору живьём разгуливает баба-яга, а все для приличия называют её нормальным именем «Ксения Васильевна». Так, может быть, и Аня, которая живёт за стеной, на самом деле никакая не Аня, а просто заколдованная царевна? Отчего же у неё тогда такой серебряный голос? Отчего у неё всегда такое грустное лицо, если её не заколдовал никакой колдун или Змей Горыныч?

– Про того, чьи письма берегла, – доносилось из-за стены. ... Среди голубых и сиреневых туманов просвечивали золотом магические яблоки и груши; по колдобинам неровного берега крутого кралась Аня к большому рассохшемуся дубу и, пугливо озираясь, прятала в дупло пачку писем. Больше Танечка ничего не видела: она заснула среди песен и слёз.

– Эх, дороги, – фальшиво затянула тётя Эра, высокая, всё ещё стройная и подзабывшая уже, что она когда-то стеснялась своего имени. А раньше, когда пели песню про то, что «близится эра светлых годов», одноклассники, бывало, подхихкивали и кивали в её сторону. Александр Николаевич уже подтягивал:

Выстрел грянет,
Ворон летит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит... –

звучали слова, от которых холодно становилось.

...А дорога дальше вьётся. Всё дальше от того убитого дружка, который остался лежать в бурьяне за пылью и туманом времён. Так далеко она увела, эта дорога, что вот уже и сын Александра Николаевича – почти ровесник тому, убитому. Вот он, сын. Отец взглянул на Володю. Тот сидел с неживым лицом и ни на кого не смотрел.

– Тёмная ночь, – завела Вера Павловна. Аня взглянула в окно, в глаза темноте.

Тёмная ночь
Разделяет, любимая, нас...

...Вот она, тёмная ночь: стоит невозмутимо, словно ничего не случилось и не прошло столько лет, словно с такой неизбежностью не настигла пуля того единственного, кто упал в бурьяне. Вот она: вплотную приблизилась к окну. Стоит и разделяет. Нет, это не обыкновенное пространство, которое ничего не стоит преодолеть поездом или самолётом. И это не простая темнота ночи, темнота из-за того, что солнце на время отвернулось от земли. Это – тьма, поистине тьма, расплывающаяся и бесформенная, без души и без вины.

Тем временем военные песни допели, и, как бы встряхнувшись, Вера Павловна предложила:

Ну-ка, молодёжь, – теперь спойте ваши!

Молодёжь растерянно переглянулась. То есть Володя не переглядывался, так, как если бы обращение «молодёжь» не имело к нему никакого отношения. Переглянулись Аня с Тamarой, ученицей тётки Эры, и тут же опустили головы, чувствуя, что после тех, отзвучавших, им петь нечего.

– Давай-ка, Анютка, эту твою... как она... про камни.

– Да ну её, совсем она не моя.

Но отец уже подстроил гитару, и взрослые затаили нудными голосами, в то же время довольно переглядываясь: вот, мол, мы и запросы молодёжи понимаем:

...В этой ка-а-менной стране
я бы сама превратилась в камень,
лишь бы ты поклонялся мне...

Аня в нетерпении хмурилась:

– Пусть лучше москвичи споют нам что-нибудь московское.

Москвичи посоветовались и вскоре пропели странную московскую песню, видимо, совсем без мотива, про девушку, которая, выпивая стакан простокваши, отвергала пятьсот женихов.

Но уже пора и прощаться. Последние улыбки в коридоре, последние всплески ласкового смеха Веры Павловны.

Дверь захлопнулась. Отец повесил гитару на стену за клетчатую занавеску и теперь с будничным серым лицом стелил постель. Мать перед зеркалом снимала с себя бусы, и вместе с ними выражение радушной сердечности сползло с её лица. Когда Володя вошёл в комнату, она сурово спросила:

– Где ты после школы шлялся?

– На стадион ходил, – невозмутимо отозвался Володя, искоса наблюдая за матерью.

– Ну, бог с тобой, – проворчала Вера Павловна, и по её лицу было видно, что она успокоилась. Успокоилась, как был уверен Володя, именно потому, что он сказал неправду, и мать это почуяла и оценила. Анька никогда не может спокойно соврать, за это её мать и не уважает. В самом деле, как бы он стал объяснять, что он просто гулял после школы по Васильевскому острову, потому что ему нравится этот район? И кому нужны его душеизлияния? Володя был на год младше сестры, но он уже твёрдо усвоил, что, если хочешь сохранить душевный покой, даже и в малейшем пустяке нельзя говорить родителям правду. Дело даже не в том, что именно соврать, а как раз в том, чтоб просто соврать. Ведь неправда всегда глаже, благопристойнее и даже правдоподобнее правды.

2 ГЛАВА: ЯБЛОКИ И ГРУШИ

Исходная рана существования так и оставалась бы для него скрытой, и, по-видимому, навсегда, если бы ему не повстречалась однажды эта страшная старуха. Это было на рынке в самом начале пятидесятых. И пахло яблоками, и пахло грушами, да к тому же ещё и такими помидорами, которых в наши времена нет и в помине, и что у них был такой запах и такой вкус, от которого хотелось встать на волосы и запеть... всё это стёрлось и пропало под грузом тяжёлых времён, а ведь было всё это на самом

деле! И яблоки сияли, с тонкой кожицей, и обещали тот самый вкус, для которого в сказках есть особое название - *наливные*. А про груши и говорить нечего, их сок и так уже грозил вот-вот вырваться из-под кожицы наружу и залить и губы, и лицо, и весь мир... Ян как раз указывал на одну из них и кричал:

– Мама, мама, купи мне ...

И не успел он договорить, как у него над ухом раздался этот вкрадчивый голос:

– Какая она тебе мама! Она тебе такая же мама, как я тебе – папа!

Ребёнок поднял глаза и увидел старую женщину с коротко подстриженными и завитыми, как у барана, волосами, со среднеарифметическими чертами лица и с глазами того неопределённого цвета, который в те времена было принято называть серо-буро-малиновым. Но из них бил такой ярко-жёлтый взгляд, что мальчик оцепенел.

Может быть, эта женщина вспомнила в тот миг своего любовника, который погиб при исполнении служебных обязанностей? А эти обязанности состояли в том, чтобы расстреливать из автомата стариков и детей, бежавших по обочине дороги Ленинградской слободы в Новгороде. Она об этом как будто не знала, о том, как он ворвался на мотоцикле в Новгород вместе с оравой таких же удалых молодцов и для начала сбил пулей самую красивую женщину, которую ему удалось увидеть в жизни, бежавшую по сваям рухнувшего моста с младенцем на руках. Она об этом якобы не догадывалась, а знала только, что погиб он сам, был ранен где-то, нет, не в Новгороде, а под Орлом, истёк кровью на поле боя, и никто ему на помощь не пришёл, и считала, что это несправедливо, и радовалась поэтому, что может сама причинить кому-то боль, и не кому-то, а маленькому ребёнку, и этим как будто бы отомстить за ту боль, что была нанесена ей самой. Да, вот тут, в толпе, в царстве изобилия, в празднике пылких запахов и опьяняющих красок, и была ей преподнесена, как на тарелочке, эта непередаваемо привлекательная закуска – власть! Ну и что же тут такого, она ведь сказала правду, одну чистую правду, в эти испуганные синие глазёнки она эту правду вкладывала, облизываясь и как будто восхищаясь, такую исторически неоспоримую правду о том, как половину головы снесло, *она* снесло, каким-то залетевшим в окно осколком, никто в ту юную, в молодуху, не целился и никто гильотину на её шею не наводил, никто даже не имел в виду именно её, мать этого мальчика, тогда новорожденного, тогда – о да! – прикившего ротиком к её груди, и его волной воздуха вырвало тогда у неё из рук, видимо, разжала она в тот миг свои красивые ручки, всё у неё было красивое, в отличие от видевшей всё это своими глазами этой вот самой соседки, у которой всё было некрасивым, но вот теперь можно и за некрасивость свою отомстить, да, вот этому несправедливой красоты ребёнку, который цепляется за рукав какой-то чужой вертихвостки, длинноногой, рыжей, с веснушками, не чета той, которой, ха-ха, да-да, вот именно... и на пятке у тебя, – произнесла она вдруг, – должен был шрамчик остаться! Вот посмотри! Сними ботиночек (ишь, какие модные тебе купили), да не поленись, глянь!..

С тех пор прошло много лет, но до сих пор его тошнит, когда он видит женщин с короткими волосами, завитыми мелким бесом, он не может выносить эту причёску и точно знает, почему. В конце концов он криками и слезами вымолил у отца фотографию той, заветной, которая ведь была когда-то на свете, не придуманная, а живая, и смотрела в объектив и улыбалась, так несмело, так ласково, она смотрела в тот миг ведь не на него, а смотрела на такого же юного, как она сама, а было им в ту пору лет по 17, не больше, и было там на обороте написано «июль 1943». Тогда она ещё не знала, что у неё будет вот такой изумительно милый и ни

с кем не сравнимый сыночек, цветочек, как она его называла потом, когда купала в ванночке, в их сырой комнатухе с облезлой штукатуркой, и назвала его Яном в честь своего отца, который в те времена пропал в застенках Панкраца в связи с покушением на хайдриха...

Но об этом Ян узнал, уже когда вырос, и что был такой самый сволочной из всех приматов германской «расы» гад по имени хайдрих (ну а почему на букву «х»?).

Тем, кто знает русский язык, нетрудно догадаться, почему имена многих ближайших соратников гитлера начинались на букву «г» (гёббельс, гёринг, гейдрих, гиммлер...). Но есть мнение, что немецкую букву «h» следует переводить русской буквой «Х» – и тогда всё становится ещё ясней. Но среди всех прочих то ли на z, то ли на x, гейдрих, он же хайдрих, выделялся, да ещё как! Он один из всех них обладал правильными чертами лица и вполне соответствовал выдвинутому в те годы идеалу «белокурой бестии». Может быть, именно это и разожгло и разогнало безмерность его устремлений. Потому что, когда просыпаешься по утрам и видишь в зеркале такую неприглядную рожу, какую видели и химмлер и гёббельс, то это может как-то затуманить идеальные устремления и навести на некоторые мысли, например, о том, что такое сокровище ничем не отличается (в лучшую сторону) от физиономий тех, которых надо вырывать и с корнем, с корнем «с земли нашей прекрасной отчизны». Видимо, поэтому-то у химмлера и вырвались однажды слова о том, что «нелегко убивать в день сотни людей и при этом оставаться порядочным парнем». Но когда видишь поутру в зеркале точный портрет того, каким настоящему германцу быть и положено, это подстёгивает, да ещё как! На 11 миллионов, несколько тысяч и 476 единиц размахнулся этот, на букву «х», но не в деньгах он эти миллионы подсчитывал, а в человеческих жизнях.

Почему покушение именно на этого красавца удалось, в то время, как покушения на других выдающихся подонков провалились, не узнает никто никогда. Один из очевидцев, услышав взрыв и увидев залитый кровью автомобиль, в котором хайдрих ехал на работу, поднял взгляд, и ему привиделось, что всё небо залито кровью. Так оно и оказалось. За смерть своей белокурой бестии хитлер отомстил отменно, и в тюрьмы попали тысячи, теперь уже не по расовому признаку, теперь уже хватали и белокурых, и синеглазых, но это им было всё равно.

Тюрьму Панкрац мы знаем потому, что её описал Юлиус Фучик, способный радоваться перед лицом смерти и даже шутить, и назвал он свои записки «Репортажем с петлём на шее», хотя в результате не петля оказалась у него на шее, а острый топор гильотины. И он об этом знал. Но про дедушку Яна, которого тоже забрали в эту тюрьму, так никто и не узнал, что именно там с ним произошло и почему не осталось никаких документов... Он там сгинул, как-то затесался и пропал, и никто не узнал, как его там запытали до смерти, и он сам не узнал, что у него родился такой замечательный внук, самый лучший на свете, как полагала его мать, купая в тёплой водичке, а цветочком она его называла, потому что глаза у ребёнка были невероятно синего цвета, и этот цвет заставлял всех встречных останавливаться и оглядываться, чтобы убедиться в том, что такой цвет бывает на свете на самом деле и это не обман зрения.

От дедушки Яна не осталось ничего, даже фотографии не осталось, а его дочь, Милену, Вацлав успел сфотографировать, в те времена, когда казалось, что нечего тут успевать, вся жизнь впереди, и будет ещё сотни моментов, когда удастся сделать подходящий снимок... И эта фотография стояла у Яна на книжной полке, возле

изголовья, и, может быть, его охраняла от чего-нибудь, или давала ему всё то, что даёт нормальная живая мать своему ребёнку, если она его любит. И однажды, в какой-то день, а в какой именно день, он почему-то забыл, Аня взяла с полки в руки этот портрет и воскликнула:

– А когда...?

Её голос был полон удивления, даже изумления, но, произнося эти слова, она почувствовала вдруг, что наткнулась на какую-то преграду, преграда стояла в воздухе, и дальше продолжать произносить слова своего вопроса было нельзя. Поэтому она оборвалась, замолчала, и Ян ответил именно на те слова, что были вымолвлены на самом деле: он вытащил фотографию из рамки и показал, что было написано на обороте. *Июль 1943*. Аня остолбенела. И одновременно обрадовалась, что вовремя запнулась и не успела выговорить слова своего вопроса до конца. Потому что с фотографии на неё глядело лицо... правда, в чёрно-белом исполнении, но всё же, и с тем же самым выражением, но только она не могла припомнить, когда ей довелось вылезать из стога сена, и даже если она тогда, в деревне у бабушки Яна, в сене искупалась, то ни у кого ведь поблизости фотоаппарата не было. «А когда ты успел меня сфотографировать?» – чуть было не вырвалось у неё, и поэтому она теперь покраснела и отвернулась. И опять, как тогда на мосту, когда он увидел её впервые, у Яна возникло это ощущение, будто его отбрасывает, как взрывной волной, и переносит через что-то, к чему лучше не приглядываться и что он про себя называл подлостью истории. Что через эту подлость истории возможно если не перепрыгнуть, то как-то, на чём-то, неизвестно на чём, но перенестись и достичь, наконец, того, чего всякая добрая мать желает своему ребёнку.

3 ГЛАВА:

ЧТОБЫ СТАЛО КАК ТОГДА

Наутро что-то случилось. Сначала Аня не обратила внимания на то, что пространство сделалось легче, проходимей. Она задержалась у бабушкиного стола, разглядывая его чёрную облупленную кожу, – вместо того, чтобы сразу идти завтракать; она долго сидела, глядя в голубое небо, отразившееся в чашке суррогатного кофе (это был единственный способ увидеть небо из этой квартиры). Всё это на мамином языке называлось *валандаться и копаться*: но и упрёки – хладнокровные мамыны упрёки, – не были так тяжелы в это утро, и в сердитое лицо матери Аня глядела с ожиданием, как бы надеясь увидеть в нём что-то другое. Она раскрыла дверь, – старуха в грязновато-красной кофте шаркнулась из-под ног (видимо, подслушивала, как всегда). И ей – сегодня впервые – Аня взглянула в лицо. Сегодня и это почему-то можно – и ведьме в лицо посмотреть. Правильное лицо с резкими сухими чертами, и злой радостью ярко сверкают глаза.

Шершавый крюк в конце тёмного коридора, вонючая лестница, булыжник под ногами, из подворотни – на улицу. И тут только Аня поняла, что случилось. В этот день случилось солнце.

С портфелем в руке и поёживаясь от лёгкого мороза, она пошла... Багровое, осенённое тенями, с чудесным красным светом внутри. В переполненном автобусе – разглядеть его за чёрными головами. И вот – снова в свободный воздух солнца. Как странно сегодня! Озарённая пороша по обочине, это само собой, но вот фонарь. Раньше некрассивый, чугунный – у него была бочкообразная фигура с тонкой змеиной шейей, тупой железный характер и болотный взгляд. Не то теперь. Нет, он прежде не светил, когда привинченная к его голове лампа испускала из себя желтизну. Только сейчас он

светит, сейчас, когда выключен. Когда он так промёрз, что уже не болотного цвета, а как цветок всё его тело. Сейчас, когда он почти прозрачный от солнца и, может быть, уже живой. Аня подняла глаза. Высоко на проводах висит огромный кусок льда – и как он там только удерживается, не падает?! Ещё несколько шагов – и вдруг таким светом этот лёд пронзило, что от счастья у неё в глазах помутилось. Она сделала ещё шаг и оглянулась: что это? Это не лёд, это ничто не прозрачное, это просто мёртвый дорожный знак держится на проводах в воздухе, - и это даже он был так прекрасен, как чудо. Они все хотят ожить, только и ждут, чтоб стало, как тогда. Им всем тоже этого хочется. Вот мимо проезжает грузовик, его золотой бок притягивает к себе. Бросилась, прижалась щекой! Нет, слава богу, только показалось. В самом деле, как в этих стихах:

«Уснуть бы: ведь и сон, и смерть, и солнце,
всё близко так, и просто, и тепло...»

Набережная распахнулась перед глазами. Так вот в чём тайна! Солнце стоит над самой тучей в красном тумане: вот почему его проникающие лучи так чётко обведены глубокой тенью

Подходя к школе, Аня улыбалась – чего с ней давно не случалось. Радостно она открыла дверь; глянув на часы, побежала в раздевалку. Но потом, когда уже сняла пальто, она понурилась, как всегда. Отчего-то тяжело, гнёт к земле. Подобрала портфель и побрела по лестнице наверх.

Высокие окна с яркими льдистыми разводами. Солнце сквозь них смотрит совсем не так, как на улице. Словно столбы дыма, какого-то голубого и душного дыма, красиво извиваясь, заслоняют школьный воздух от прямого солнечного взгляда.

Огромный кабинет – химия, химик далеко-далеко, на другом конце света, что-то бубнит – не поймёшь, что. А уйти нельзя, сиди тут, как привязанный. Нехороший он человек, химик: ехидная ухмылочка никогда не сходит с его лица, с нею он, наверное, и родился. Он любит, когда ему не могут ответить, - предоставится возможность поиздеваться над человеком. Может быть, ему хочется доказать себе, что он чем-то кого-то лучше? Голос у него громкий - бас, он даже грохочет, но почему-то слов не разобрать.

Аня зажмурилась – она представила себе, что сидит в классе у Яны и смотрит на него сзади: золотистые волосы так ясно, так действительно увидела. Потом раскрыла глаза: чей-то чужой тёмноволосый затылок, по-детски нежный и беззащитный. Случайного человека, которого она всегда презирала, и за человека-то не считала. Как же так? Нет, не обманул прояснившийся от света взгляд, так оно и есть. Да, беззащитный, совершенно человеческий затылок, и даже лицо в полоборота - сейчас, когда он не старается напустить на себя, - нормальное, грустное, человеческое лицо. Вот какой сегодня день, всё он переворачивает, ничто не хочет оставить на старом месте!

– У тебя температура (холодом Сашина ладонь ко лбу). Зачем это. Дышать нечем, вот в чём дело. Вздохнуть. Саша, парты, ребята, – всё лишнее, мешает. Яркие подоконники рябят в глазах, больно.

...Изломанные, нарисованные фигурки, от скуки начирканные на бумаге. Приближаются к глазам. Шаг вперёд – машут руками, мелькают в глазах, перекрывают друг друга, шумом наполняя изнемогающий слух.

Рина Коробкина (жёлтое лицо и глаза – как тени от надбровных дуг):

– Нет, вы послушайте, это блеск просто!

Оля Сорокина (огромная чернота глаз мечется по лицу):

– Ребята, ребята, кто участвует в вечере...

Рина Коробкина:

– Гляжу на след ножовый – успеет ли зажечь (плавно по воздуху её лаковые загибающиеся коготки). А рядом, над ухом – лениво, с хрипотцой:

– Арабы – это просто бандиты (это – Споднизовский).

Оля надрывается:

– Ребята, ну послушайте!

Рина:

– До первого чужого, который скажет – пить!

Надя Павлова:

– На вечер? Чтоб с Морозовой, с Петровой рядом сидеть? (невывразимое, брезгливое презрение бледного лица, смахивающего на лошадиное).

Неразличимый в шуме, как гора под волнами океана, где-то настойчиво существует звон. Носятся, орут, застят свет. Что-то слегка грохнуло, собираются по местам, встают (и ей надо встать, но никак). Чёрные спины заслоняют её от глаз учительницы, и Татьяна Борисовна, не заметив, что одна из учениц не встала, подходит к своему столу. Тихо. Слава богу, теперь терпеть всего один голос.

Татьяна Борисовна была выдержанным человеком, привыкшим хладнокровно переносить самые разнообразные житейские неприятности. Если она иногда и взрывалась – это шло ей только на пользу, помогая удерживать душевное равновесие. Но на этот раз происходило нечто такое, от чего ей порой делалось не по себе, от чего иной раз все её чёткие, ясные представления и принципы ей самой начинали казаться не более, чем милыми игрушками. А всё этот проклятый класс! А какие чистенькие, хорошенькие все были ребята в первый день, как пришли, какими внимательными, жадными глазами все на неё глядели! Нет, это что-то непостижимое. Ведь, если и теперь говоришь с каждым из них по-отдельности – это всё нормальные люди, каждый со своим хорошим. Но вместе! Иногда ей делалось жутко, иногда она чувствовала, что перед ней – не группа людей, а химический раствор, неизбежно складывающийся в одну и ту же кристаллическую структуру: высшие, низшие, болото. Как ни крути, а соединённые вместе, они начинали терять человеческое обличье. Для человека, влюблённого в музыку, становилось важнее всего подавить эрудицией окружающих. Девушка, для которой, казалось бы, поэзия была важнее всего на свете, вдруг начинала тщеславиться своей безумно дорогой одеждой и третировать всех, кто одет хуже её. Весёлая наивная девчушка вдруг делалась забитым, заморенным зверьком. И как чётко, как неумолимо все они, все, сидящие перед ней, складывались в одну и ту же примитивнейшую структуру! высшие, низшие, болото. Иной раз её собственные попытки привить «высшим» - доброту, «низшим» - чувство собственного достоинства и «болоту» - хоть минимум инициативы, - казались ей самой смехотворными. В глубине души она с ужасом порой чувствовала, что и она не может не презирать этих идиотиков на задней парте, этих – в ситцевых передничках, с глупыми лицами и дрожащими от страха голосами. Одним она только могла себя оправдать – что и «болото» презирала не меньше. Ох уж это болото! Про себя свои мысли прячут, всё для себя, ничего для других. Сколько ни выкладывайся, сколько в него ни кидай – всё проглотит, всё зря, следов не останется.

(продолжение следует)

Примечания

[1] первая опера, которую чешский композитор Йозеф Мылшивечек написал в Италии.

[2] А я объясню, что...

[³] Понимаю.

[⁴] Тебе холодно?

[⁵] Как же нам не веселиться?

[⁶] Столб, который устанавливают первого мая в честь наступления весны



Юрий Котлер
ОН, ОНА... ОНИ, ИЛИ БЛЮЗ
"ВОСПОМИНАНИЕ О КАЧЕЛЯХ"

Драма в трёх действиях

Действующие лица:

Он

Она

Весна, разгар дня. Сквер в большом городе, вдоль сквера проезжая часть, машины медленно движутся в пробке. В сквере редкие прохожие. Длинная скамейка в тени дерева. Неторопливо выходит Он, а вскоре и Она, садятся по обе стороны скамейки. Это пожилые люди, Он старше Нее на 15-20 лет. Он, седой, в строгом дорогом костюме, с тростью. Она выглядит много моложе своих лет, одета легко и изящно. По мере разговора тень от дерева медленно сдвигается. До конца спектакля Он и Она остаются практически в одном положении.

Действие первое. Возвращение

Она. Здравствуй?!

Он. Я рад.

Она. И чему же?

Он. Прекрасно выглядишь.

Она. Спасибо. А ты, как всегда... элегантен.

Он. Спасибо. Ничто не может нас вышибить из седла.

Она. Ты не меняешься.

Он. А надо?

Она. Как ты живёшь?

Он. Обычно... Вот научился засыпать с холодными ногами.

Она. Это высокое искусство... пальцы у тебя ледяные.

Он. Да... кровь не доходит. Было хорошо... Тебе не холодно?

Она. Солнышко!

Он. Редкий день. Теперь вообще редкость всё... кроме дерьма.

Она. Ты не меняешься. Не устал брюзжать?

Он. Зачем?.. Я разве брюзжу?

Она. Не знаю... Будь поспокойнее, не так уж всё плохо.

Он. Да. *(Мимо проходят двое обнявшихся парней, занятых только собой)* Погляди-ка, а? До чего же людям не терпится отменять правила. Лишь бы доказать

себе... всем... что сам набольший, что власть Бога – чушь, фикция. Я хочу, я! а Бога-то нет. Ау, Боженька?.. нету! Вот и бунт... бессмысленный и бездарный. (Пауза.) Ещё и пол меняют... смельчаки-охальники.

Она. Ты об этом хотел поговорить? Именно об этом?

Он. Нет! Нет, конечно... Как дочка? Как мама?

Она. Пожалуй, я пойду, и вправду не жарко.

Он. Извини. Но ей ведь девяносто?

Она. Чуть больше... в общем, да.

Он. Ещё одна смутьянка... Откуда у всех такая неутолимая жажда победить Бога?

Она. Потому что вакуум. Нету свободы, тью-тью.

Он. Зачем мы разошлись?

Она. Мы?

Он. Не заводись... Ну, я! Какая разница?

Она. Есть, для меня есть.

Он. Помнишь «Театральное», в проезде МХАТа?

Она. Ты мне?.. Всё изменилось. Сто лет как Камергерский.

Он. Не надо. (Пауза) Скажи, неужели два года прошло? Или три? Я не помню.

Она. Раньше память тебя не подводила.

Он. Я знаю, ты меня любила... нет? Я ушёл... конечно, я. Почему?.. ты знаешь, почему?

Она. Ты прав, самое сейчас время, самое-самое.

Он. Сердишься... но ведь не уходишь?

Она. Уйти!?

Он. Ни за что! Нет!

Она. Не кипятись, я не в том настроении. Я не уйду, я... смешно, но я не хочу уходить.

Он. Спасибо. Посидим немного, ладно?.. Расскажи.

Она. А ты?

Он. Что я? Ничего особенного... не знаю, нет. Всё нормально... Вот кошку завёл.

Она. Сколько новостей, и все сразу... Как зовут?

Он. Кошку-то? Сенька!.. Семён.

Она. Значит, не одиноко. Впрочем, тебя этим не напугаешь.

Он. Да. Мы не из пугливых... Она тоже в возрасте.

Она. Сенька?

Он. Приходи, покажу.

Она. Ты везунчик.

Он. Не сглазь, это откуда посмотреть.

Она. С высокой горы.

Он. Тут ошибка! Слишком общий вид, детали пропадают. Главная наша ошибка – всё видеть вообще. Мелочи не в счёт, а мелочи-то и есть суть. Всё в мелочах! Вот Анатолий Франс побыл в Германии, предвоенной, – красота, порядок. А попало, как солдаты уронили в грязь сочную баранину, чтобы честь отдать надутому генералу, и всё понял – кирдык миру, всему хана. А ведь было сие аж до Первой мировой. В мелочи разглядел зловещие признаки. Мелочи – это всё! Не зеркало – увеличительное стекло. Увидеть характерную детальку и всё понять, чего, казалось бы, проще? Ан нет, все силы кладём доказать – как хорошо, какая прелестная картина... ежели вообще! Нет вообще, есть один! Частность – и всё как на ладони.

Она. Но зачем горячиться? Куда тебя понесло? Чего ты добиваешься?

Он. Да?.. Как всегда, ты права. Не умею я видеть вообще, не хочу!

Она. Милый мой! Для этого тебе понадобились чуть не три года?

Он. Извини! В самом деле, извини.

Она. Не стоит, в нашем возрасте не меняются.

Он. Ну... какие наши годы?.. Если честно, и нас развели мелочи.

Она. Вот и поговорили... А то сидим, сидим.

Он. Думаешь, разговором?..

Она (*смеётся*). Язык – та нить, по которой человечество ощупью пробирается через бытие.

Он. Ясперс? Славная цитата.

Она. Что толку ворошить прошлое?

Он. Не скажи... На ошибках учимся - что за глупость! (*Пауза*) И в самом деле не жарко. Может быть, прой-дёмся? Или ресторан напротив, а? Помнишь его? Тоже из тогда. (*Не обнаруживает ни малейшего желания встать.*) Ты на машине?

Она. Нет. Пробки, в это время, да здесь всегда пробки.

Он. Вот и я... Сто лет в метро не ездил. Смешно, место уступают, девицы вскакивают. Потеха.

Она. Ты не стареешь... Девицы! Это ты должен место уступать... ловелас.

Он. Что я и делаю... Ты никогда не ревновала меня. Смешно, я тоже.

Она. Это правда.

Он. Слушай, знаешь что? Махнём-ка в Рим, проветримся. Какие проблемы? Тряхнём стариной. А вернёмся... посмотрим...

Она. На что посмотрим, милый?.. Когда пересаживают сердце, это уже не сердце покойника. Можешь ответить, чьё же это сердце?

Он. Как всегда, под дых! (*Пауза*) А в Риме сейчас хорошо.

Она. В Париже, где нас нет, тоже.

Он. Как хочешь... А твои – мамаша, дочка – меня хоть раз вспомнили?

Она. А ты – меня?

Он. Пожалуйста, не заводись. Написала?

Она. Защитилась.

Он. Ух ты! Здорово! Поздравляю! Всегда знал, что ты... Что ж не позвонила? Отметим бы по-настоящему.

Она. Мы отметили.

Он. Поздравляю! Всегда знал, что ты молодец.

Она. Это позади... всё уже позади.

Он. Как же ты справилась? С твоими проблемами?

Она. А тебе-то что?

Он. Да. Извини.

Она. Что ты заладил: извини, извини.

Он. Извини! *(Смеются)* На самом деле... как же ты?

Она. Будто не знаешь?... ты!

Он. Выходит, я негодяй.

Она. Ничего не выходит, ничего никогда не выходит.

Он. Я действительно себя подонком чувствую.

Она. Почему ты ушёл? Скажи честно! Я помню чушь, что ты молел... а на самом деле? Ты хоть держишь в голове, сколько мы прожили? Что пережили?

Он. Честно? Я, вроде, и не выкручивался? Честно... Хорошо. Да ведь ничего нового.

Она. Я простить не могла... себе простить! *(Всхлипывает)*.

Он. Ты... ты что, ты что? Себе... Только не плачь! Я прощу тебя! Ты не при чём, ты... Я люблю тебя! Я сам не знал, как я люблю тебя!

Она. Ты помнишь...

Он *(перебивая)* Да!.. Не хочу ничего помнить. Что! Я ведь старик. Прожито. Мне ничего не надо.

Она. Не будем об этом... Расскажи, что нового. Не один ты... и я пенсионерка, подзабыл? Помоложе, да какая разница?

Он. Закурим? *(Достаёт сигареты, не предлагая ей, закуривает, Она тоже, вынув из сумочки пачку, закуривает)* Добрые старые времена. Те же?

Она. Вежлив, как всегда. Те же.

Он. А-а...

Она. Проехали, милый. Прошлого, как бы хорошо оно ни было, увы... Колись... ты же, вроде, начал.

Он. Колись... это точно к месту. Понимаешь... что толковать... ну! Тебя не было. Всё было путём... а тебя не было.

Она. Очень чёткое выражение мысли.

Он. Издеваешься? Право твоё... ты вправе. Теперь что? Теперь можно и сказать. У тебя это какой брак?

Она. Второй.

Он. Что я не знаю? А у меня третий.

Она. Открытие... И что дальше? Дважды два?

Он. Пять... А ведь у нас тогда совсем не было денег. И ты не работала. (*Смеется*) Картошка... вермишель... хорошо, если с работы удавалось бутылец спереть. До чего лихо мы жили! А тесно?!

Она (*поддаваясь его настроению*) И никто ничего не знал... а! наверно знали... «Театральное»... коньяка по пятьдесят.

Он. И бегом, чтобы дочку из детсада... Славное время!

Она. Восемнадцать лет... семнадцать и девять месяцев... через неделю.

Он. Ну, память. Точно? А я и не помню.

Она. Что ты помнишь?... не хочешь. Так спокойнее. (*Он снова закуривает*) Много куришь.

Он. Птиц почему-то нет, ты заметила?

Она. Увиливаешь? Не увиливай.

Он. Спешить?

Она. Нет. Сегодня нет.

Он. Я рад. И я свободен сегодня.

Она. Поздравляю.

Он. Может, всё-таки ресторан?

Она. Никаких ресторанов. Я могу и уйти. (*Закуривает*) Что мы здесь делаем? Я хочу знать.

Он. Ты тоже много куришь. Нехорошо.

Она. Ты опоздал с нравоучениями. Ушёл поезд!

Он. Ладно! Я скажу, только не ерепенься, послушай, пойми. Глухой с глухим – это ужасно.

Она. Ничего ужасного, прекрасно жестами объясняются. Ты не увиливай. В конце концов, и через три года я имею право.

Он. А знаешь, сколько за это время я намотал? Только Индия - восемь раз! Красота неземная. Кокосы, кобры, слоны! Слушай, поедem в Мадрас... лучше в Гоа, а? насовсем! во где дешёвка. А океан? А пляжи? Ничего нет лучше. И – тишина. И покой! Ом мани...

Она. Мечтатель. В кришнаиты решил податься?

Он. Куда нам! Не нашим лаптем их щи хлебать. Я по воспитанию, увы, атеист. Хотя их объяснение Бога – ух, здорово!

Она. Ты аферист! Вот так взять, сорваться... сволочь ты всё-таки большая.

Он. Я знаю. *(Снова достаёт сигарету, мнёт её, но не закуривает. Очень серьёзно)* Лапочка! Не перебивай, ладно? Мелочь решила всё, мелочи, вообще, решают всё. Она позвонила...

Она. Ты о чём? Я не помню... мать, что ли? Мне позвонила?

Он. Да. Пустой звонок... и ты знала, что пустой... а я... понимаешь... такая ерунда, а заноза. Ты не помнишь. У меня что-то болело... сердце, что ли, желудок?... неважно. И ты сорвалась в ночь... «знаю, что симуляция, но не могу.» Такая история, что мать, что дочь... здоровая тёлка, ребёнок, вон, вымахал, муж, всё при них... а они, как были, так и остались - главные. Нет, не то... я не места делю. Конечно, и матери девяносто, и с ребёнком посидеть можно, но чем её работа важнее, чем твоя... чем наша? мы-то совсем не молоды. Просто, если что, меня в секунду задвигают за шкаф - нет меня, и всё! А они, извини, они же полное дерьмо, но они это - о-о! Поверь, не обида, не ущемлённое самолюбие. Тебе больше, чем мне, достается, доставалось. Если честно, не знаю, как ты ещё защитилась: ни дня, ни ночи покоя. Одно на первом месте: чем вам помочь, как вас обиходить? Чуть что, всё коту под хвост... ради тех, кто не просто не любит - не уважает, не считается. Извини, понесло.

Она. Другими словами – накишело? Родной мой! Я видела.

Он. Я знаю.

Она. Что я могу? Что я могла?

Он. Знаю.

Она. Бедный ты мой.

Он *(улыбаясь)*. Уже нет... Работа позволяет сорваться... мигом.

Она. Фанфаро-онишь. Не знаю, как я прожила эти годы...

Он. Прожила же, не умерла.

Она. Правильно, никто не умер.

Он. И ты по-прежнему как лошадь?..

Она. И я по-прежнему как лошадь. Ты же работаешь.

Он. Я бегу... от кого?.. куда? Все мы немножко лошади... А мясо в том же магазине покупаешь?

Она. Чудак ты! Там давно уж какой-то банк.

Он. Банк это хорошо. Всё хорошо.

Она. Вероятно, ты прав.

Он. И это очень плохо... хуже некуда.

Она. Не надо, прошу тебя.

Он. Извини, раньше не спросил. Как у тебя с деньгами?

Она. Ты!.. ты!.. Ты соображаешь?

Он. Да! Чёрт! Ну, проехали... ну, чёрт меня...

Она. Вечно ты... тебе-то что? Господи, до чего же глупый. Идиот!

Он (*наклоняется, очень заинтересован*). Смотри, смотри! Вот... сюда. Видишь? Асфальт вздулся. Вон, вон. Лопнул. И комочек зелёный! Надо же, скоро лист проклонется. Такое только ломиком... а это ж росток слабый! Откуда мощь берётся? Ну, дела!

Она. Не кривляйся. Тебе бы только от жён бегать, от одной, от другой...

Он. Покурим?

Она. Кто бы спорил?... Каждый свою.

Он (*достаёт пачку*). Да, каждый... (*Читает*) «Курение убивает». Если бы.

Она. Ты совсем не стареешь.

Он. Думаешь? Это вряд ли! Просто некогда. Мотаюсь, мотаюсь... словно, двадцать.

Она. Кокет! А я тебе звонила... в твои восемьдесят. Хотела поздравить... хотя зла была...

Он. Спасибо. Восемьдесят? Я в Ханое был... жарница, ящерицы на потолке, чёрт-те что!

Она. Зато запомнил. Чего тебе не сидится?

Он. Зуд, наверно... Не нравится мне, когда героем становится тот, кто осмеливается заявить - Волга впадает... у-у. Мелко всё. И вообще, когда тебе всерьёз плохо, ты погружаешься в это плохо, и до других тебе уже нет дела.

Она. Да, конечно.

Он. Не сердись. Я не о нас.

Она. Я знаю.

Он. Смотрю я на этот росток сквозь асфальт, зачем он? Стопчуг прохожие, как пить дать.

Она. Я думала... я не судья вообще... ты весь в себе. А я - есть? И как мне, по-твоему, жить?

Он. Знаешь, я приезжал в эту жару московскую, в пожары... уже трубку снял... И подумал... опять она, она, она. (*Дразнит*) Как ей тяжело, как устала, ах, ребёнок, муж не понимает... а они по два раза в год на Карибах или где там ещё. И если няня отъехала, а у меня приступ, та сторона перевесит без вопроса. Ну, и вообще... Чёрт, как же ты зацигилась в таких условиях?! Устал! Сама лучше меня знаешь. (*Пауза*) Помнишь, у меня фиалки на кухне? Соседка ещё поливает. Так они в жару ту сдохли, две былочки торчат - всё! А ведь воспряли, пошли... зимой вдруг - шапка цветов. Вот я и уехал, снова уехал...

Она (*очень грустно*). Возомнил себя Толстым в Астапове?..

Он. Вряд ли. (*Пауза*) Смешно в мои-то годы ревновать к твоей дочери. Я и не ревную, ты что? (*Пауза*) До войны меня ребёнком на дачу вывозили... в Лебедянь. Я себя в четыре года помню. Перед верандой кустик, ярко-жёлтый, на нём бабочка, почти чёрная, с алыми разводами. И река, стремительная, до жути. А когда мне одиннадцать было... ночью бум-бум в рельсу... война! Жизнь встала. И по-

шла... До чего же криво она пошла. Так что, нет! О смерти я не думаю... о еде, о сне мы разве думаем? зачем же о ней?.. Смерть страшно, если боль, или ты как растение... но это, Боже мой, - всё ещё жизнь. Мне твоя матушка, давно-давно, вальтер подарила. С войны он у неё. Тайком от тебя. Хотела сдать, да побоялась, меня решила осчастливить, а я и правда рад, люблю оружие. Так и лежит у меня... классная штука - пистолет, воронёный, рукоять коричневая, две обоймы. Блеск!

Она. Выброси. Зачем тебе?

Он. Нет. А как врагов стрелять? Видишь ли, я в двенадцать лет курить начал, подворывал, ничего, умело, я же с Покровки, прибалтнённый район, нам без стволов нельзя.

Она. Дурак ты, ей-богу, дурак!

Он. А ещё я с марьинорощинским дружил... редкая честь по тем временам.

Она. Ты и сейчас такой.

Он. Где уж нам уж. Да... надо же, вспомнилось... В октябре сорок первого... ох, и жуткое же было время!.. на крыше по ночам дежурил... двенадцати не исполнилось... герою. А щипцы для зажигалок – ух, мальцу не поднять. Медаль мне дали «За оборону Москвы»... не стал брать - гордый... пионерам, вон, ордена, а медаль – тьфу! (*Смеётся*) За это теперь льгот лишился. Врач у нас был... домашний врач, тогда ещё было такое. Еврей. В сорок первом, в Москве, на Покровке, забили еврейское отродье до смерти. Лет семьдесят ему было. Кровь на снегу... я видел.

Она. Эй?

Он. Я здесь! Извини, бывает. Проехали.

Она. Ты мальчишка. Ты всё ещё мальчишка... без медали. Взрослеть не пора?

Он. Я виноват, я очень перед тобой виноват. Ты права, ты, как всегда, права!

Она. Не надо раскисать. Жизнь продолжается. Честно? Ты думал, я без тебя не смогу? Думал, пропаду? Повешусь? С десятого этажа?.. Как же мало мы все друг о дружке знаем! Почему только о себе, да о себе? Другие где? Те, кто любит? У кого сердце разрывается? Кто ночами не спит? Сел – и на тебе: океан, и крабы на пляже... до чего славно горе тешить! Чем лангустов запивают - текилой, ромом?

Он. Кокосовым молоком.

Она. Пошёл ты!

Он. Я подумал, славно мы с тобой движемся по направлению к Свану, чуть не бежим, а топчемся на одном месте, жуём каждый своё.

Она. И что?

Он. Ничего. Чего мы боимся? Оба?

Она (*после паузы*). Да. Мы многого не совершили по собственной глупости... по занятости... чёрт-те знает по чему.

Он. Ты, пожалуй, права. Но я не стану извиняться за свою жизнь... за нашу жизнь. (*Из ресторана напротив сквера доносится музыка, нечто из рок-н-рола*) Какое старьё! Помнишь? Потанцуем?

Она. Конечно! (*Оба остаются неподвижны*) Нелепая жизнь... или это сон?

Он. Эй, а мне больше по душе Джойс. Вот мужик! Никакой грязи не боялся. *(Долгая пауза)* Дети, дети, у тебя, у меня, и всё порознь... а мы бездетны... Сейчас модно рожать, когда мужику за семьдесят.

Она. Опоздал.

Он. Вот и жизнь прошла... почти прошла. А мы... всё двое на качелях.

Она. Только ты не Кторов!

Он. Это точно... *(Усмехается)* А у тебя по-прежнему там хохолок? Или состригла?

Она. Ф-фу! Пошляк! Грязный развратник.

Он. Что ты? Я старый, я дряхлый жук. Неужели я не понимаю, что почти ничего не осталось? В прошлое не вернёшься... и не надо! Кто я, если подумать? Никому не известный обломок шестидесятников. Когда Водолагин гнал из института Евтуха, я вякнул что-то, Женя об этом и не слышал. Мне Ахмадулина подарила первую свою публикацию... и где Белла? Я – случайность. Подумать только, почти четверть века я при Сталине жил. Я рассказывал?

Она. Ты? Когда ты вообще что-нибудь рассказывал?

Он. Ладно тебе, не преувеличивай. И зачем?.. *(Смеётся)* Сколько же всего было... Помню инвалидов после войны, вся Москва в инвалидах, и как их в одночасье в вагоны... метлой энкаведешной. И в чисто поле – подыхать. И голод 46-го... ужас, не передать. А вот в реформу 47-го я нажился: вечером сказали, что мелочь номинал сохраняет, я все бумажки выскреб, рублёвки, тройки, даже, помнится, два червонца. И в трамвай, а билеты пять, десять копеек. Одна кондукторша чуть не побила... Но нажился, карман порвал, и на следующий день - новые деньги, а я в коммерческий, всё на конфеты спустил, капиталист сраный. Так вот... Потом мама умерла, вдруг, сразу. Школу как раз закончил. И в Ленинград. Поступил, сначала в мед, потом в пед, это скучно. Отца я обидел, жутко обидел, простить себе не могу, до сих пор, до сих пор. Решил сам большой, а его к дьяволу. М-да. Простить себя по сю пору не могу. *(Пауза)* Вернулся я на каникулы домой, и чуть не на второй день навстречу однокашник, Володя Осенев... Ещё говорят, Бога нет... И он мне... лейтенантом в ГБ уже был... манатки в руки, и сегодня же, любым поездом, ты в списке, больше ни слова. Дурак ты, говорю. А он - еле слышно - Васю Бетаки назвал, тут я и перебздел... тогда не то второй, не то третий эшелон ленинградского дела шёл. Ни черта мы не знали, но слушок полз, а мы с Васей в университете стихи читали, сама понимаешь, какие. Потеха! Через сутки я уже в Краснодарском крайню анкету заполнял... чушь какую-то... так и попал я в школу станицы Бакинской... Директор, надо же, помню, Шамрай Фёдор Фёдорович... сортир там на улице, а у него своя выгородка и ключ индивидуальный, потеха.

Она. Потеха?

Он. Ну... в общем... А в марте 53-го там зима была - ужас! Метелища, снег по колено. И по радио - такая дрына здоровая на столбе - ах! ах! Я чуть не запрыгал, а кругом, представляешь, бабы, старики... и стон, рыдания в голос: на кого ты нас?.. Это те, кто не просто помнил, пережил и расказачивание, и раскулачивание!.. Кто же мы, чёрт задери?! А я по снегу, выше валенок, в Саратовскую, это станица километрах в пяти, и надрался... с какими-то прибулудными... И вот я дома. И на завод – какие-то выключатели для армии клепать. Ну... и так далее... А Вася сел.

Она. А я вот помню, как тебе фрак шёл. Ты где этому научился?

Он. Я? Ты такое помнишь?.. Я всего-то раз надевал... приём у этого...

Она. Пойдём ещё раз, а? Чтобы снова надел. Откуда у тебя такой талант, аристократ вонючий?

Он. Отчего не пойди... Пойдём... коль позовут. *(Пауза)* Чего мы ищем? Что мы всё время что-нибудь ищем? Неужели непонятно, что это то же самое, что рыскать за сокровищем по карте пиратов? А жизнь тем временем разрушается... как зубы... медленно и неизбежно. И остаётся, в лучшем случае... имплантанты, протезы. *(Пауза)* Скажи, ты мужу изменяла? В первом браке? Во втором?

Она. Дурак ты, ей-богу. Изменяла... и что? один раз... по пьянке, сдуру.

Он. А мне ни разу.

Она. А тебе ни разу!.. Мы тогда женились, потом разженились... вот и получилось два брака... два в одном. Чепуха какая-то.

Он. Сон золотой... честное слово, одно безумство кругом. Я хочу вернуться... куда вернуться? разве я уходил? Я просто прыгаю... мечусь. Не знаю, правда, не знаю. Может быть, я просто... репетирую.

Она. Да уж, в актёрстве тебе не откажешь. Господи, Господи, скажи, почему ты такой бестактный?

Он. Никогда не говори Богу, что он бестактный.

Она. Дорогой мой, что мы здесь делаем?.. родной!

Он. Я цветы купил, шёл сюда... то ли потерял, то ли забыл взять.

Она. Это на тебя похоже.

Он. Ничего непохоже... И что, так и будем сидеть?

Она. Так и будем... я ничего не хочу. Тень ушла, солнышко греет... тихо... что ещё человеку надо?

Он. Ой, много!

Она. А мне ничего не надо.

Он. Неправда.

Она. Правда, родной мой, правда!

Конец первого действия

Действие второе. Восхождение

Он. Ты устала. Ты устала?

Она. Я очень устала!

Он. Пойдём?

Она. Нет. Не сейчас.

Он. Студенты, не сдавшие сессию, повешены на третьем этаже. Администрация.

Она. Шуточки у тебя... примитив.

Он. Разве это не твоя жизнь нынче? Цитата точная.

Она. Глупости не надоели?

Он. Ну, ты даёшь, кому когда надоедали глупости?

Она. У тебя нет ощущения, что мы медленно превращаемся в скульптуры?

Он. Памятники себе... Когда-то я знал слепого... с детства. Ему вернули зрение, и он перепугался: если не ощущал пальцами, не видел; трогая – видел!.. Костыли, что ли, всем нужны?

Она. При чём здесь костыли? Костыли ни при чём... Тебе никогда не приходило в голову, что мёртвые не воюют? Мёртвые только и делают... что стремятся примирить всех. Но никто их не слышит... Не хотим мы слышать!.. ни живых, ни мёртвых.

Он. Не хотят они сказок...

Она. Что?

Он. Так, присказка... Об этом ещё Платон со своим человеком в Пещере...

Она. Что ты заладил с этим Платоном? При чём здесь Платон? Надо просто-напросто жалеть друг друга, не надо ни малейшего деспотизма между людьми... А ещё проще – слышать, что говорят, не переиначивать услышанное на то, что мнится, а, скорее - хочется слышать.

Он. Да... Немцы убили моего отца... какие немцы? немец убил его!

Она. Можно и так... но этого мало.

Он. Мы устали!.. юный запал, ау!?! (Пауза.) Скажи, как тебе удаётся это чудо? Ты молода до неприличия... хоть снова влюбляйся!

Она. Не ёрничай, зачем? Я ужасно выгляжу, ты что?

Он. Неправда! Ты потрясающе смотришься... моложе дочки.

Она. Хорошо, раз так, спасибо. Что тебя понесло?

Он. Просто подумал, почему мы только и делаем, что теряем, теряем? Ведь любовь это всё! Что больше любви? Когда думаешь об этом, понимаешь, что Бог есть! Он рядом. И ты обязан знать, что Он рядом... Полагаю, не след мне больше... ездить в Индию.

Она. Болтун, как всегда болтун... Я не спросила, что с твоим сыном? Видел его?

Он. Смеёшься? Ничего не изменилось, ничего! Цирк... Будто ещё один гвоздь... в крышку. Ни звонка, ни письма... Зажило, эй! Наверно, и это у меня зажило.

Она. Ужасно! Правда, ужасно... разве такое заживает?

Он. Что, что я ему сделал? Ушёл от его матери - велика трагедия.

Она. Бросил. Это ты ко мне ушёл...

Он. А ты кто, каракатица? Я сам ушёл, ты при чём?

Она. Не знаю... Может, задело? Может, простить не может?

Он. Что тут прощать? Я один, что ли, развожусь?

Она. Он – один!

Он. Я тоже один... Должно быть, я очень плохой отец.

Она. Ты - один, ты всегда один, ты единственный... Но он жутко не прав... не имеет права. Я помню, как ты дёргался... ждал... мы ждали... пока на ноги его не поставил. Ты всё для него сделал. Может, и больше.

Он. Он нынче боольшая шишка... вон, исключительно в Лондоне одевается.

Она. Я ведь ему звонила, когда тебя в Склиф уложили...

Он. Не царапай, помню! Никак не заживёт... Если прямо, дрянь он. Большая дрянь!

Она. Ну, ну, ну. Подожди, появится... поймёт, что на пустом месте... взрослый уже. Сколько ему?

Он. Что говорить... Пошёл он к чёрту! Я в его годы...

Она. Ах, ах, в его годы... Каждый за себя, каждый в одиночку.

Он. Единственно кто радует – дочка... моя, не твоя. Сидит себе в Италии копаются в буддизме... почему в Италии?.. и – счастлива... надеюсь. Все мы сами по себе. *(Пауза)* Пойдём к тебе?

Она. Пойдём... Только там мать после больницы.

Он. Ч-чёрт! Когда нас оставят в покое?

Она. Ты же ушёл... забыл?

Он. Да?... думаешь? Старческий склероз.

Она. Чем тебе здесь плохо?

Он. Плохо? Мне хорошо... солнышко, люди спешат. Ты же сама понимала, что так, как у нас, нельзя. Но - молчала, а я всё знал, каждым нервом чувствовал... И тоже молчал. Но это стало невыносимо... невольно. У всех свой предел, увы.

Она. Почему же, почему предел этот для себя, для одного себя? А тот, кто рядом, где он? Какой предел для того, кто рядом? Ему что, заткнуться? Ценить чужой предел, потому что он чужой? Молчать в тряпочку?

Он. Ради Бога! Прошу тебя! Разве ты не видишь? Боже, что с нами сделали? За что нам такое?

Она. А ты прав, птиц почему-то, и в самом деле, ни одной. Ни голубей, ни воробья. Куда они могли деться? Им тоже плохо? Ужас какой-то, всем плохо!

Он. Не хотим мы сказок... Даavno... ехал я в электричке, и дед, пьяненький, всё сказку порывался рассказать - кто там, сама понимаешь, его слушал? Вот дед и заплакал: не хочут они сказок!

Она. И что?

Он. Я... тебя... люблю! Я тебя люблю так, что не представить. Сердце рвётся! Всю, всю тебя... я всё помню... каждую извилинку.

Она. Вот и высказался... Родной мой, сколько мыс тобой, я... помыслить себя не могла без тебя... как же... ночью, днём... было пусто... бездна.

Он. Разве поезд ушёл?

Она. Я не знаю... правда, правда, я ничего не знаю. Извини... о поезде... сегодня нянька уезжает... в ночь.

Он. Так! Повесили мочало... Тогда спрошу, квартиру ты всё-таки переписала? на дочку?

Она. Да.

Он. Поздравляю. Я же предупреждал... я просил тебя. А если... Тоже мне, король Лир... в юбке. Но у него-то их – было три! Зачем?!

Она. Именно узнать это ты и приехал? Тогда я тебя от души поздравляю.

Он. Да!.. Как скажешь... У каждого своя Индия... или свой возраст. Боже мой, как же прав был Овидий: «Так, не в силах я жить ни с тобой, ни в разлуке с тобою, сам я желаний своих не в состоянии постичь». Прошлое неизменно, будущее неизвестно... остаётся настоящее? Чушь! Хотя... Большинству, как ни странно, будущее известно во всех подробностях: через час я выпью кофе, в августе поеду на море, через три года погашу кредит, а потом... потом помру, всё, братцы! Эй! Ан не всё – пьяный сосед залил квартиру, ты поскользнулся, сломал ногу, и – все твои подробности дьяволу под хвост. Мелковато? Мелковато получается.

Она. И при чём здесь дед? Думаешь, люди не понимают друг друга? Не хотят, всего-навсего. Так проще, так удобнее. Я знаю, что ты хочешь услышать, но... зачем? что изменится? Мир жесток, как был холоден, равнодушен, жесток, так и остался. И не собирается стать добрее.

Он. Калигула спал с сёстрами, Нерон - с матерью... и делали это публично, на глазах у народа. Ты об этом? А где же Орфей и Эвридика, Пирам и Фисба, Филемон и Бавкида?

Она. Идеи – это причины вещей, существующие до вещей.

Он. Пошли и ты этого Платона к чёрту. Что нам древности? Мы живём от зарплат до зарплат – и счастливы по уши.

Она. Не скажи... Хотя правда - наш мир что болото для головастика, ничего, кроме болота. А ведь даже вокруг, рядом - и лес, и луг, и ромашки. Смешная цель – вырасти в жабу да прятаться от хищников.

Он. И всё же ты не права, глубоко не права. Ты... очень чистая. Но ты в себе... как та вещь.

Она. Благодарю тебя.

Он. Остынь!.. Мир молодеет, мир стремительно молодеет... просто мы закрываем на это глаза. Человечество обрело второе дыхание, мощное как никогда. Сколько времени прошло от сигнального костра до телеграфа? А от телеграфа до телефона? От телефона до мобильного? Время сжимается, ускоряется стремительно. Бог с ней, с техникой. Сегодня возможны четвертования, дыбы, испанские воротники?

Она. Завираешься, дорогой, завираешься. Ещё как!

Он. Да? Пусть так, да. Однако жизнь слишком коротка, чтобы замечать перемены. Обладеть - сегодняшние технологии, чуть не каждый день меняющие жизнь,

мы не замечаем, а? привыкли, что постоянно появляется новое. И не надо, не надо! Зверств прошлых нет и не будет... никогда. Мир стремительно добреет, ты не права, ты зашорена на сиюминутном. Ты угнетена. *(Пауза)* Шесть тысяч лет до Христа, две тысячи - после, вот масштабы!.. Коротка жизнь, слишком коротка... Ты знаешь, что мать Иисуса была очень красивой женщиной?

Она. И что? Мы живём в жизни, не в мечтах.

Он. Кто бы спорил? *(Пауза)* Ты опять ушла...

Она. Я устала от высоких материй... когда каждый день... каждый час...

Он. Бедная ты моя, забудь хоть на время. Я понимаю... *(Пауза)* Богиня Йштар у шумеров – покровительница любви и - распри, вождения – и войны... они это всё совмещали.

Она. Правильно делали. *(Пауза)* Иисус тоже, должно быть, был красив?..

Он. Чего не скажешь о наших кумирах. Страшноваты на морду, а? Или кажется? Мы ушли от прошлого... Угадываешь, в чём гений Сталина?

Она *(ласково улыбается)*. Вот ты и опять в своей тарелке, как хорошо. Я с тобой успокаиваюсь. Я слушаю, говори.

Он. Золото ты моё! *(Привстает, садится)* Накипело же. Ему одному удалось неслыханное, невозможное, непосильное. Он смог казнить историю! Не затормозить, не повернуть, не остановить – подвергнуть казни. Поднять на дыбы страну, поставить её на дыбу и - точка! Бедность не может спасти мир, бедные могут только разрушать, и он понял это, он встал на люмпенство как на постамент и, подъяв меч, снёс истории голову. Заодно и десятку-другому миллионов... мелочь по тем временам. *(Пауза)* На этом-то переломе мы и живём. И главное – вернуться нельзя! Но куда идти? Тут всё ясно... ей-богу, очевидно уже многим. То новое – я о науке, технике, технологиях, – что появилось... появится вот-вот, не может не появиться, оно влияет, даже диктует человеку, как себя вести сейчас, сегодня. И простые вещи... как он там? - не убий, не укради, люби ближнего, - очевидным вещам возвращается подлинный смысл. Король казнён, да здравствует король! Мы – в начале новой истории! С чистого листа!.. А Сталину – конечно памятник. Из жертв! На крови!

Она. Дорогой мой, чистый соловей... слушать и слушать. Тебе бы туда... к тем, кто наверху.

Он. Кто спорит? Коммунизм - дикое заблуждение человечества, симуляция христианства. И спасение мира в руках сильных, богатых, обладающих властью, не бедных, не угнетённых. Решение? - нутро этих сильных, их мозг, их душа. Но когда давят все, попробуй, воспротивься. А общество уже - давит. Нравственные законы никто не отменял, просто их надо соблюдать. И всем, и неукоснительно.

Она. Ты идеалист, надел розовые очки - и счастлив. Оглянись, родной мой, сними очки. Видишь ту пару? Ничего тебе не говорит?

Он. Опять дважды два? *(Пауза.)* Пенелопа ждала Одиссея... Пигмалион оживил статую... Лаодамия умерла вместе с Протесилаем... Филлида повесилась от тоски, когда Демофонт вовремя не вернулся из-под Трои... Эванда кинулась в погребальный костёр мужа... Дидона, покинутая Энеем, бросилась на меч... Геро, увидев утонувшего Леандра, утопилась в море...

Она. Ты в своей тарелке, как всегда. Сталин... Эней... Я ведь тоже сильна в цтатах. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Так? Верно?

Он. Не кипятись... Был у меня дядя... в детские мои годы. Майор. Смершевцев... Даже фотография сохранилась... Сейчас я представляю, сколько на нём было... всего! - грязи, крови. Жена его вдруг, ни с того, ни с сего, заболела... опухоль мозга... бах, в одночасье... Сорок седьмой год...ему где-то за тридцать было. В общем, неважно. Он застрелился в день, когда её похоронили.

Она. Ужас! Но дети? Как же можно бросить?

Он. Не было детей. Так что я не идеалист, не утопист, не романтик, я - реалист. Просто смотрю дальше... И, честное слово, вижу!

Она. А кто мимо ходит, видишь?

Он. И их вижу. Люди как люди. Я же сказал: сильным и богатым... Жизнь требовательна, мы сами не подозреваем, насколько она требовательна. И мы подчиняемся ей, как бы это нам не претило. *(Пауза)* Был я в Париже... ну, когда вулкан этот полыхнул. Неделю Европа закрыта, небо закрыто. И вот надо мне зарегистрироваться, иду к Опера, а там очередина чуть не до Лувра. Понимаю, что бессмысленно, но становлюсь. И представляешь, подходит дама... девица, мол, на Мон-мартре агентство без очереди... и пошла всем сообщать, терпеливо, рисуя как доехать. Надо было ей? Вот уж мелочь так мелочь. Но у меня не возникло проблем... и не я один.

Она. Поздравляю.

Он. Не будь побежден злом, Павлова заповедь, побеждай зло добром.

Она. Всё так, всё так. Ты не меняешься, о тебе Жан-Жак точно сказал: «Можно ли убежать от врага, которого всегда носишь в себе самом?»

Он. Родная! Я тебя ношу. Тебя!.. Боже мой! Боже мой. Что я наделал? Зачем? Чего добился? Я казню себя, простить не могу...

Она. А я пережила... хотела пережить... смешно, но я всё больше думаю о своём возрасте. Не о твоём... ты, чёрт, не стареешь. Удаётся же такое.

Он. И всё-таки, как у тебя с деньгами? Ты гордая, но жить же надо. Сиделку матери ты оплачиваешь? Что молчишь?.. Ты! И хватит ерунды. Я здесь. Нельзя же отдавать им всё. Кровососы. Прости, ладно? Не надо с чистого листа. Поживи хоть немного для себя... Для меня! Деньги не главное, когда их много... народная мудрость. У меня есть... что мы в детство играем?

Она. Мы не играем! Ты же всегда знал, что я люблю тебя. И что... родственнички эти не главное, не смысл моей жизни. И знал, что деться мне некуда. Некуда! Хочешь, называй это моим крестом, ты же не выдержал. Я знаю им всем цену. И что? Что я могла сделать? И ты – знал. Знал! Да. Мать кровосос, вампир, дочь эгоистка до мозга костей, муж её дрянь, новости? Это для тебя новости? Тебе больно... извини, но это... ковыряние в болячках, правда.

Он. Себя не поборешь. Конечно, никакие не новости. *(Закуривает)* Я без тебя не могу. Я понял – не смогу!.. *(Пауза)* Скажи, у тебя кто-нибудь был?

Она. Вот чего тебе хотелось. А у тебя?

Он. Под дых! Запрещённый приём.

Она. Честно? Ты никогда не думал, что учинённое тобой уже запрещённый приём?.. с твоей стороны.

Он. Думал. Так и есть.

Она. И что?

Он. Ошибка. Страшная ошибка. Непоправимо?

Она. Непоправимо другое.

Он. Да. Что, по-твоему?

Она. Непоправимо, когда мы друг дружку загоняем в угол... не оставляя выхода. Что толку рассуждать о светлом будущем человечества, если одному из нас плохо?

Он. Двоим, не одному...

Она. Двоим!.. Какая Пенелопа? (*Усмехается*) И я, как бы тебе ни хотелось, огнюдь не Дидона.

Он. Я вернулся, поверь. Я вернулся навсегда... с тобой, без тебя. Я здесь. И билет у меня в один конец. Аннулирован обратный.

Она. Тогда я с тобой... Но ты знаешь, на что идёшь? После такой-то свободы?

Он. Каторги!

Она. Ты где остановился?

Он. Где? Я бездомный. Квартиру я ещё тогда ей оставил... и отродью своему.

Она. Не смей так говорить! Мы вместе это решали. Не смей! Ты и права не имел по-другому.

Он. Что ты раскричалась? Я и не делал ничего, вспомни. Не жалко, хоть и тяжеленько эта квартира далась. Ох, квартирный вопрос, квартирный вопрос...

Она. С чего ты вдруг разнылся? Ты-то? А Сеня твой?

Он. Грустно всё... И убого. Хотя... кошка это целый коллектив.

Она. Вот это правильно. Не позволяй себе опускаться. Никогда не позволяй!

Он. Никогда!

Она. А солнышко-то совсем развеселилось.

Он. У тебя хорошее настроение. Это радует. Хочешь, я куплю фиалок?

Она. Тебе нужно разрешение?

Он. Спросить-то можно?.. Эй... эй. Эй! (*Пауза*) Чёрт! Не слышит.

Она. Так звал... Ты в своём амплуа. Покурим? раз уж фиалок нет.

Он. Отчего не покурить? Покурим. (*Закуривают, пауза.*) Может быть, движем?

Она. Нет! (*Пауза.*) Ты уверен, что разбитую чашку можно склеить? чтобы незаметно?

Он. Я? Боже мой, я? Что с тобой? Зачем ты так?

Она. Я думала, ты скажешь, что чашка и не билась.

Он. Ты стала жестокой?

Она. А ты как думаешь?

Он. Боже милостивый!

Она. Всё так плохо?.. А я не хочу уходить... я всё равно не хочу уходить. (Пауза.) Ты же всегда был чуткий... внимательный. Не выношу, когда ты тупеешь, ты - толстокожий. Вот мы сидим, целую вечность сидим... и я не хочу уходить. Ведь мы никогда не были просто мужем и женой. Как я этим гордилась. Как думаешь, бывают вечные молодожёны?

Он. Ты не простудишься? Ветерок. Я боюсь банальности... не мальчик... я столько хотел сказать... и ступор какой-то. Человек ничего не умеет: ни плавать как рыба, ни летать как птица, ни прыгать по деревьям как обезьяна. Всё имитация... даже если превосходит оригинал. Кроме нас. У нас было – почему было? – по-настоящему!

Она. Наверное, тебе стоит уйти первому... Может быть, всё дело в самооценке? в правильности позиции? Но кто скажет, что правильно? Кто решает? Поэтому, должно быть, так модны нынче двойные стандарты... И на самом деле... человека легче любить, чем жить с ним.

Он. Это про меня? В общем-то, дело просто... а значит - неосуществимо. Чем больше человек не прав, тем твёрже он стоит на своём.

Она. Абсолютная истина? Где она? Иллюзия. Каждый за что-то борется, ставит какие-то цели, ищет какие-то идеалы. Кто ему скажет, что он прав? Азарт, ад-реналин заменяют правду, и куда как успешно.

Он. «Что есть истина?»

Она. Не юродствуй, да! что есть истина?

Он. Подсолнухи видели все. Написал - один! Открытия дело одиночек, в основе любого открытия – прозрение одиночки. Знаешь, мне повезло: я попал, когда к Туринской плащанице допускали. Меня перевернуло.

Она. Никогда никому не завидовала...

Он. Стоит того! Словами... не передать, немислимо. В этом... незнакомом лице... неслыханная мука! Не мороз по коже... всего трясёт!.. сотрясает! И неземная мудрость в этих муках. Не передать, нет, не передать! Я плакал. Ей-богу, плакал. *Passio Christi, passio Hominis*. Потом ехал в автобусе, и почему-то Скворода, Григорий Саввич Скворода: «А эта любовь – Бог, значит, человек вечен. О люди! Зачем удивляетесь океану, зачем удивляетесь звездам? Идите, вернитесь домой! Узнайте себя! Этого будет достаточно. Аминь». Вот, наверное, истина. Если любовь станет нормой, если мы станем любить, как он учил – я Христа имею в виду... Тот же Павел: «Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона». Закон времени – движение только вперёд. Что в истории? В истории всё было, от Нерона до Гитлера, и в этом опора пессимизма. Но! Ни одно человеческое качество, ни доброта, ни самопожертвование, ни щедрость, ничто не исчезло, только приумножилось и развилось. Вот моё доказательство. Зло уходит, скукоживается, как шагреновая кожа. И это не банальность. Времени увидеть это нам отпущено слишком мало, не успеваем разглядеть, за сиюминутным, частным... а частное страшновато... не видим, вернее, не хотим видеть суть – то, что только ещё проклёвывается.

Она. До чего же здорово, что ты не меняешься. Но ты, скажу я тебе, эгоист! Клейма ставить негде. *(Скрывает слёзы.)* Я тебя и люблю за это. Но до чего же больно, как больно! *(Всхлипывает.)* Хорошо. Ты победил, ты всегда побеждал... Так легче жить, наверное. «Идите, вернитесь домой!» Ах, Скворода, Скворода!.. Мы совсем стёрли слова, мы выучили столько красивых слов, что утонули в них, для любой дряни находится такая оболочка, что руки опускаются. И нечем возразить. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий». Любимый твой Павел, помнишь?

Он. Ты расстроена? Что ты? Что я сказал? Я же вижу – не плачь, не надо плакать. Я не понимаю.

Она. И не поймёшь. И не надо тебе понимать! Говори. Я слушаю. И не обращай внимания – устала... расстроилась. Пройдёт. Всё проходит.

Он. Может быть, пойдём, всё-таки?

Она. Сиди! Мне хорошо. Я не вру, мне – хорошо.

Он. Но под крышу? Выпить можно... музыка. По пятьдесят... как в добрые времена.

Она. Нет. Я бы отсюда вообще не уходила.

Он. Я... И я! Останемся... люди идут... спешат. А мы не спешим, некуда нам спешить. *(Пауза.)* Я не боюсь одиночества, я ему даже рад. Всегда радовался. С тобой я не был одинок, только с тобой. Смотрю назад, никогда, никого... только мама... она рано умерла, слишком. А отца я обидел, всегда обижал. Стыдно. Должно быть, то, что сейчас с сыном, – распата, воздаяние.

Она. Не смей! Это не так.

Он. Так, не так, кто рассудит? Себя я сужу. *(Усмехается.)* В сорок седьмом, всё в том же сорок седьмом уехал я – мама только что умерла – учиться в Ленинград. А время было – охо-хо, голод, – у меня ватник и всё. И отец, представляю, чего это ему стоило, достал мне пальто, бобрик, – роскошь по тем временам неслышанная. И я – редкая, конечно, сволочь – пальто это из принципа тотчас продал. *(Пауза.)* Вот видишь, кто говном был, тот говном и останется. Извини меня.

Она. Ты пил сегодня?

Он. Строишь в корень? Нет, конечно. Самооценка донельзя трезвая. *(Пауза.)* Знаешь, как здорово – полить цветы... налить молока котяре... принять душ... и – всё. Всё! Никаких обязанностей!

Она. Давай я тебе Иоанна почитаю, а? «Возлюбленные! – это к тебе! – будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Он. Я знаю, я тоже силён в цитатах. Только не понято сие, а кто понял, того числят по сумасшедшему ведомству, больным, чудачком, в крайнем случае. Чего там? Гоголь по сю пору псих, а что он? всего-навсего напомнил, что есть идеал христианской любви.

Она. Псих ты. Бросаешься из крайности в крайность, всем недоволен, всех учишь.

Он. Неверно! Совсем это неверно. Я не учу, я не Гоголь. Я не наивный мечтатель. И не утопист. Я не просто уверен, я твёрдо знаю, что идеал осуществим, что

время спешит, что совершенствование человечества необратимо и наступит в скорое время, увы, исторически скорое. Слишком много тому доказательств. Просто не нужно спешить, не след опережать идущее своим путём, по своим законам. Ещё Максим Исповедник, а это седьмой век, учил: «Добровольно делать добро ненавидящим свойственней только совершенной духовной любви». Он не знал, что и сама-то ненависть бессмысленна и бесполезна.

Она. А я? А мы? Где мы в твоём прекрасном далеке? Каком, к чёрту, далеке? Где мы, мы с тобой, сегодня? сейчас? *(Пауза.)* Идеализм жесток, мечтатель. И ты жесток. *(Пауза.)* Вправду ветерок... пора.

Он. Нет! Не сердись. Не делай меня заранее виновным. Ты мой горизонт.

Она. Послушай, о чём мы говорим?

Он. Не знаю... И в советское время я не вылезал из командировок. Всегда надо помнить, что за углом тебя что-то ждёт. Заешь, что осталось от этих поездок? Броня. Человеческие лица – броня, чушь, что лицо – зеркало души, смотришь, ничего понять нельзя... почему?

Она. Ты просто устал. Боже, как я ждала твоих звонков... письма. Я тебя вычёркивала из своей жизни... и не могла. Проклинала... и не могла!

Он. Так! Ты сможешь когда-нибудь простить?.. Я бы, наверное, не смог. *(Пауза.)* Ты открытку с Таж-Махалом получила?

Она. Нет. А что там?

Он. Жаль... разве расскажешь? *(Пауза.)* Люди идут... идут. Не знаю, с чего пришло в голову... Все довольны, заняты чем-то по уши... а на самом-то деле? Авторитаризм в политике, монополизм в экономике... не то что гражданину дышать, просто пожрать, если дома не успел, нигде. Во вертикаль! Богатенькие бедняки. *(Пауза.)* А Таж-Махал надо видеть, никакая съёмка...

Она. Эй, очнись, куда тебя понесло? Мы об этом? Проснись!

Он. Прости. Прости! На самом деле жизнь вовсе не трагична, она никогда не бывает трагичной... это потом осознаёшь... если дожить удаётся. *(Пауза.)* Знаешь, я всегда с собой возил... ну, твой кулончик, медальончик...

Она. Да. Помню. И что?

Он. В Мумбаи... на Обезьяньем острове маргышка... тварь шустрая... спёрла, прямо из кармана... Вот я и приехал.

Она. Не сердись... не получается... поздно. Видишь, где солнце?

Он. Я люблю рождественские фильмы... но сейчас весна. Идём?

Конец второго действия

Действие третье. Воздаяние

Он. Ну вот... так мы и не ушли...

Она. Нет, не ушли.

Он. Солнце садится, скоро сядет...

Она. И что?

Он. Тебя ждут...

Она. Да.

Он. Нет.

Она. Да! (*Пауза.*) Зачем тебе пистолет?.. И кошка?

Он. Понятия не имею...

Она. Ты его с собой носишь?

Он. Я что, похож на сумасшедшего?

Она. Почему похож?.. Носишь?

Он. Нет... Я люблю тебя! Знаешь?

Она. Нет... Уже нет.

Он. Врёшь, знаешь!

Она. Шёл бы ты...

Он (*поёт*). "До тебя мне дойти нелегко, а до смерти..."

Она. Не смешно.

Он. Я - смешон... и что? очень. Я!

Она. Ты? Возможно.

Он (*показывает вниз*). Вот и росток затоптали... я же говорил. (*Пауза.*) Когда Иисус твердил: возлюби ближнего... это и есть мелочи... жену, друга, ребёнка, не - человечество, нет! - то, что можно охватить руками. И тогда, как говаривал Марсель Пруст, наша гибель будет не такой уж мрачной, не такой бесславной, быть может, не такой неправдоподобной.

Она. Не надо философии... мыслитель.

Он. Как скажешь.

Она. Вообще ничего не надо.

Он. Перестань. Прошу тебя, перестань!

Она. Как скажешь... Смотри, облака набежали.

Он. Разойдутся, на то они и облака.

Она. Уверен?.. Дело к вечеру.

Он. Не надо, ладно? Не надо!

Она. Хорошо.

Он. Маме, наверно, следует что-то купить.

Она. Боже, о маме вспомнил, альтруизм проснулся.

Он. Но мы здесь.

Она. Где здесь? Где?

Он. Пожалуйста... прошу тебя.

Она. Нет! Не пожалуйста! Ты!..

Он. Пойдём?

Она. Да!.. Опять ты ничего ты не понял... Впрочем, ты никогда ничего не понимал. Пойдём!

Он. Я понимал, не надо... Будто жизнь прошла... на этой самой скамейке. (Пауза.) Задним умом все крепки, ох, стоило нам последовать моде... – насчёт родить... лет 18 назад – и 70-ти же ещё не было... Мне.

Она. Дурак! Какой же ты дурак.

Он. Я тебе говорил, что кошка это целый коллектив, о чём мы так тосковали в добрые советские времена?

Она. Ты, в самом деле, такой... молодой или - придуриваешься?

Он. Верните пчеловода, прошу вас, верните пчеловода.

Она. Не дури, ладно? Шутка устарела, не поймут.

Он. Я не дурую. Ну, устарела, и что? Есть ещё одна - тоже удачная: лодка утонула. (Пауза.) Просто, понимаешь, я увидел дверь... и она открыта. Она уже открыта. И в этом нет ничего особенного... норма. Для одних раньше, другим позже. Хочешь, скажу ещё одну - банальную... нелепую - вещь? Вот дети. Из небытия в жизнь... год, два, три... и поехали. А мы... из жизни в небытие... три, два... один. И?.. Пруст, правда, считал, что истина, возможно, и есть небытие.

Она. Не думай об этом. Какой в этом смысл?

Он. Я не думаю... «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно?» Слабое облегчение.

Она. Ни от чего не легче. Кроме как от себя, от себя самого.

Он. Ты мне советуешь не философствовать? «Молодую страсть никакая власть, ни земля, ни гроб не охладят». Отнюдь!

Она. Боже! То Матфей, то Гёте. Прячешься за цитатами? Образованность свою хочешь показать?

Он. Зачем?.. Я всегда хотел спрятаться за тобой. Скрыться.

Она. Это заметно.

Он. Верните пчеловода - какая, однако, глубокая мысль.

Она. Неисправим. Ты неисправим.

Он. Это про могилу горбатого? Фи, похоронная тема - смертельно скучно.

Она. А что за погоды в Риме, умник, не знаешь?

Он. О-о, там хорошо. Благорастворение воздушных. (Пауза.) Прости меня... пожалуйста. Молчишь? Посмотри на меня. Я здесь.

Она. Да... здесь... там. Нет разницы.

Он. Есть! Неправда, есть! К чёрту молодость! Мы - живём! Ты. Я. Живём. Я знаю, знаю зачем. Никогда... понимаешь, никогда... я не видел таких, как ты. Мне незачем врать. Я... как двадцать лет назад... Эксперимент провалился. Поводок у собак, видела? тянется, тянется, потом - раз, и стоп. И это смешно. Нет! Не смешно. Думал, справлюсь... ничего я не думал. Вернись, пожалуйста, вернись. Прости!

Она. Поводок?.. Кому нужен поводок?

Он. Мне дышать нечем. Не могу без тебя! Какой, к чёрту!.. Не понимаю, как я жил...

Она. Но ведь жил.

Он. Несло. Как щепку. Я знал... должно быть, я знал, что прибьёт. Не могу объяснить. Ты мне снилась. За одну только фразу я готов перевозносить Пруста.

Она. Вот как?

Он. Не смейся... «Поцеловать на лету её ускользающее, благозвучное тело». Такое не придумаешь... это ты... это о тебе!.. Я измучился. Я ничего не знаю. Но я знаю, я всегда знал, что без тебя мне конец. Ты мой берег, мой горизонт, моё всё.

Она. Путаешь, это Пушкин - всё.

Он. Зачем ты так?

Она. А ты зачем?

Он. Затем, что понял. Ты - одна. Видеть тебя, боже, трогать тебя... целовать! Я думал, успокоился... забыл. Я ведь сорвался, бросил всё... скандал, э-э! плевать. Ты - главное, ты счастье! «Ни земля, ни гроб»...

Она. Не надо. Прошу тебя. Не рви мне сердце... и себе тоже. Прошу тебя! (*Пауза.*) Ты эгоист. Ах, не он глава семейства, ах, отодвинули в сторону, какое несчастье. Ты обо мне подумал, ты? Что я могла? Что прикажешь мне? Броситься в твои объятия и затихнуть в умиление? А кто за меня, кто за меня хоть пальцем о палец? Ты? (*Пауза.*) Помнишь Париж? Я ведь там до тебя никогда не была. Париж это миф... богемная придумка... проект талантливых проходимцев, которым было хорошо.

Он. А нам?

Она. Нам? Нам было потрясающе. (*Пауза.*) Я тебя любила. Я тебя... люблю! Больше, чем ты, не было... нет... за всю мою жизнь. Я думала, что ты... откуда мне такое? Ты был для меня всем... больше, чем всем. Вселенной. Я всегда боялась, что рухнет, разрушится. Такого просто не могло быть. (*Пауза.*) Но ты сделал, ты это сделал... Поводок-то... на моей шее, оказывается. (*Пауза.*) Вот так!.. И что же за скандал?

Он. Что?.. какой?.. ты о чём? А-а! Бог с ним. Я им контракт сорвал... когда уехал сюда. Какая тебе разница?

Она. Уволят?

Он. Уже.

Она. Понятно... Поэтому мы здесь!

Он. Хочешь, чтобы я ушёл?

Она. Говорят, у нас свободная страна.

Он. Это точно.

Она. Ты огорчён?

Он. Нет. От них я не завишу. А дело, дело всегда найдётся. Нет проблем.

- Она. Я за тебя рада.
- Он. Спасибо. (*Очень тихо.*) Не прогоняй меня, прошу тебя... пожалуйста.
- Она. Кошка твоя... Сеня, да?.. Не проголодалась?
- Он. Всё-таки гонишь?
- Она. Нет. Не гоню.
- Он. Но тебе всё равно?!
- Она. Мне не всё равно! Ты! Тупица! Ты эгоист, ты жестокий эгоист!
- Он. Я не верю! Ты простила?! Ты - здесь! Ты... ты счастье! Я сейчас...только не давай мне плакать.
- Она. Ты не давай мне плакать. Чёрт бы тебя драл!
- Он. Уж будь спокойна. Ты!.. Я... Теперь тебе я не то что плакать... До чего же мы глупы.
- Она. Давай покурим. Угостишь?
- Он (*протягивает пачку*). Давай покурим. (*Молча курят.*) Эти ещё оттуда.
- Она. Я слышу, хорошие. Почему здесь таких нет?
- Он. Расскажи, как жила... И пойдём, наверно?
- Она. Конечно. Не вечно же сидеть на одном месте.
- Он. Нет. Не вечно. (*Пауза.*) А вот Кант считал, что человек обязан любить.
- Она. Дурак он, так ему и скажи.
- Он. Непременно. Как только увижу.
- Она. Ты тоже дурак!
- Он. По-твоему же - Кант... Обменялись комплиментами. Это как Бородино, французы держат победу за свою, мы - за свою... Спасибо.
- Она. Не стоит благодарности.
- Он. Так и будем?..
- Она. Так и будем.
- Он. Здорово, что ты не меняешься.
- Она. Не уверена, что могу сказать то же о тебе.
- Он. Господи! Как хорошо! (*Пауза.*) А знаешь, есть теория, что человек проживает, если доживёт, конечно, две старости. Одну - в семьдесят, вторую - в восемьдесят... и вторая очень продуктивна.
- Она. А у тебя всё нулевая. Кокетство утомительно, поверь мне.
- Он. Я согласен. «Мы сотканы из ткани наших слов». До чего же глуп Шекспир... или мудр? Всё равно, и он дурак.
- Она. Боже, когда ты успокоишься?
- Он. Двучисие лучше? Строить всё на лжи и ханжестве? Как эти... полковники?.. Мы одни в этом мире. Что движет человека? Голод? Вражда? Ненависть?

Нет! Любовь! Доброта. Внимание ко всем. (*Пауза.*) Сейчас... сейчас надо писать не Благоую весть... а Погаённую... о том, кто казнил историю.

Она. До чего же ты беспомощен... и это подкупает... уже нет! Раньше подкупало.

Он. Приехали. Ты стала откровенна... спасибо.

Она. Не стоит благодарности... (*Долгая пауза.*) Пора. Наверное, в самом деле, пора. Засиделись... и ничего и не сказали. Ни каждый себе. Ни друг другу.

Он. Неправда!

Она. Ты знаешь, что – правда?

Он. Да! Это ты! Моя правда – в тебе. Ты всё, что только есть, что может быть... на этом прекрасном и пакостном свете. Для меня!

Она. Какие пышные речи!.. Сколько же слов влезает в одного человека, красивых... пустых? Легче пуха...

Он. Знаешь, когда разговор заходит в тупик, герой произносит монолог «в сторону». Но я не хочу, чтобы мои слова слышали все прохожие, я хочу, чтобы их слышала только ты, ты одна. Ладно бы, выдумал нас некий досужий бездельник, но мы – вот они, мы живые. Я всегда боялся закрывать глаза. Закрою, а ты исчезнешь.

Она. Напрасно надеешься. Ты тупая... дубина! Никто нас не слышит. Кому мы нужны? Ты что возомнил о себе? Ты кто такой? (*Пауза.*) Что мы делаем?.. Что же мы делаем?!

Он. Мы просто живём. Но... чем сложнее, тем почему-то лучше.

Она. И всё же мир прекрасен! Не отпирайся – твои слова, цитата.

Он. Поговорим спокойно. Нервничаем... нужно ли? Не всем, нет, не всем! – тебе... тебе хочу... Сколько я пережил, передумал за это время. Пустые вечера... пустые дни.

Она. Кого прикажешь винить?

Он. Полегчает? Нет. Никогда!.. Нет виноватых.

Она. Кроме... нас.

Он. Кроме нас. (*Смеётся.*) И надежды нет, что вернут пчеловода.

Она. Надежды нет?

Он. Байки - есть, а что нам байки? Понимаешь, какая штука... Когда дверь приоткрывается, неодолимо хочется заглянуть за неё. А там - пустота... или нет?

Она. Бедный мой.

Он. И вот вопрос: можно ли представить что-либо, кроме реальности? Все эти Байроны, Шелли, Савинковы... опиумные настойки, кокаин... Сумасшедшие фантазии, до потери пульса... и всё равно - реальность, так или иначе - реальность... повсюду только жизнь. Никуда от этого не деться бедному человеческому мозгу.

Она. Но хочется. Тебе хочется?

Он. Нет. Каждая на свете вещь имеет своё место. Скупец нищ... независимо от того, сколько ему принадлежит. И если можешь от чего-нибудь отказаться, ты

богач. Я не говорил тебе, но я всегда жалел, что не умею рисовать... скорее, ваять. Не сердись, послушай. Тело твоё уже немолодо... подожди... оно по-прежнему прекрасно, я помню... знаю! Тело для художника. Даже не рассказать, когда руки... мои руки... там... везде! «Ускользящее, благозвучное тело». Дышать нечем!

Она. Ах, ах. Но и спешить к нему, к этому телу, незачем.

Он. Бьёшь ты наотмашь. Я не понимаю... простить себе не могу. Почему, почему есть трава, лес, чистое небо? Почему есть разум, совесть, любовь? Зачем я уехал? Как я смог?

Она. Так почему же? Зачем? «Как долг велит, – не больше и не меньше»? Почему, ответь.

Он. Не знаю. Ты вопреки жизни, повседневности её. Ты – вне... суеты, сама по себе, даже не... в параллельном мире. И я стал другим. То, что узнал, что пережил... не знаю, как сказать... стало особым измерением моей жизни, всей. И обратного хода нет. Я сцеплен с тобой навсегда.

Она. Какая наивность... в твои-то годы. Послушай меня, давай сменим тему, не будем рвать нервы друг другу, ты же сам предлагал... И сам же... зачем, зачем ты?

Он. Я не прав... понесло ни с того, ни с сего. Да нет! Опять вру.

Она. Ещё не вечер. Хотя... Ты сам не отдаёшь отчёта, как ты жесток.

Он. Нет. Нет!

Она. Тихо, тихо, не надо... Мы были каждый сам по себе... мы остались каждый сам по себе.

Он. Нет ничего неизменного на свете.

Она. Есть. И как правило в худшую сторону.

Он. Конец дня... скоро по ногам пойдут, чего доброго.

Она. Домой спешат. Всех дома ждут... дома, это здорово... Посидим ещё, в метро сейчас не вобьёшься. И не вздумай говорить, что и у нас есть дом.

Он. Нет? Но был. Был!

Она. Не было у нас дома. Никогда не было, не тешь себя. Иллюзия - не лучшее, что заменяет правду. Я тебе верила. Как никогда и - никому. С меня хватит. Я пережила... Я привыкла. Зачем менять? Для чего вступать в ту же реку? Невозможно! Кот есть, разве кога мало?

Он. Кошка! Я же говорил - кошка.

Она. Спасибо.

Он. Не за что. (Пауза.) Я книгу пишу... роман, повесть... О нас.

Она. Поздравляю. Что ты о нас знаешь?

Он. И тебе спасибо. Что верно, то верно... Вообще-то, писать не о чём, всё уже сказано тысячи раз. Прекрасно сказано. И уж такими гениями, не нам чета. Но человек не в силах молчать, он думает, что изрекает новое слово... что каждое откровение каждого человека уникально. (Пауза.) Я хочу, чтобы ты осталась.

Она. Не много ли на себя берёшь?

Он. Я говорил, что в восемьдесят наступает вторая старость?

Она. Не льсти себе. И второй-то молодости не бывает...

Он. Правда? Жаль... Похоже, срок годности неизбежно истекает у любого продукта.

Она. Нет, это не при чём. Увы, победа - всегда поражение... если не во всём, то в частностях точно. Нет! Во всём! Во всём. Победа всегда насилие... подавление, гнёт. Зачем это?

Он. Ты права, конечно. Если диктаторы это либо совершенно съехавшие с катушек от толерантности сильных, либо спекулянты, умеющие лихо и нагло торговать собой. Мир и вправду принадлежит им. С нашей глупостью мы на них только и делаем ставку... всегда дружим против. Грустно жить на этом свете, господа. Точнее, скучно. Какая, впрочем, разница?

Она. Тебе грустно?... скучно? Ты во всём верен себе... Но я не о том, поди они все... это твои проблемы? Смешно, но для тебя небо в алмазах - с твоей щедростью, это человечеству... не меньше. А мы? А я?..

Он. Я думал, это верный курс – на Луну.

Она. Ты ошибался. Ты как всегда жестоко ошибался. Ладно, давай остынем, а то неизвестно куда занесёт. Всё-таки, расскажи, как жил... что видел. Скоро толпа схлынет... и пойдём потихоньку. Наконец.

Он. Послушай, ещё Метерлинк толковал: «Нет ничего более требовательного, неуклюжего и слепого, чем доброта, красота и нравственное совершенство в состоянии желания». А ещё он сказал, что «только любя, мы научаемся любить».

Она. Ты – любишь? Ты уверен, что любил! Ну, – подумай, покопайся в душе. Если неуклюж и слеп, значит любишь?

Он. Что случилось? Почему ты снова всё перевёртываешь?

Она. Да потому, что даже всеми так горячо чтимый Энгельс был уверен: «Остаётся лишь старая песенка: любите друг друга, бросайтесь друг другу в объятия все, без различия пола и звания, - всеобщее примирительное опьянение». Старик смотрел в корень.

Он. Господи, цитата на цитате, прямо книжные черви. Себя бы не прогрызть.

Она. Ты тоже смотришь в корень. Что только из него вырастает?

Он. Как правило - сорняки.

Она. Сорняк... очень жаль.

Он. Я не могу тебя потерять. Теперь уже - не могу... и – не хочу.

Она. Потерять можно только то, что принадлежит. Иное – уходит, фук, и не было.

Он. Не надо играть словами, плохая привычка.

Она. Мне оставлен иной путь? Вообще, что-нибудь иное?

Он. Послушай... когда говорят, даже в кино... когда говорят: примите наши соболезнования, - одни и те же слова... представляешь? на протяжении веков, веков, веков... Прошу тебя, перестань, пожалуйста, перестань.

Она. Как прикажете... хозяин барин. Какие соболезнования? Ты что? Ты о чём?

Он. Скажи, ты когда-нибудь обращала внимание, как одна твоя тень догоняет другую, твою же, и не может догнать... не может, и всё.

Она. Это про фонари на аллее, что ли?

Он. Да... Можно и так.

Она. И что?

Он. Не знаю... ничего не знаю. Нельзя обернуться в детство, вообще в прошлое... нельзя. Даже если это город, который подарил тебе однажды счастье. Он уже другой, переменился невозвратно. Всё испаряется.

Она. Ты, однако, стал сангиментален. Всё-таки стареешь?

Он. Это не зависит ни от чьего желания.

Она. К сожалению.

Он. К сожалению.

Она. Трудно в это поверить, но в те игры, где не бывает выигрышей – есть и такие, – я проиграла. Только сейчас поняла... поздновато.

Он. Не грешь... и не каркай.

Она. Похоже, всё осталось на своих местах. Устаканилось, как говорится. Сгорело, не загораясь... Мечта пожарных. Продолжаем жить, леди и джентльмены?

Он. Это приговор?

Она. Никоим образом, милый, никоим образом. Я не вижу перемен, всё на своих местах, приковано намертво. Смешно было ждать... Это я, дурочка, взвилась, распустила слюни. Разлеталась!.. размечталась. Если бы ты знал... Как жестики любящие... или говорящие, что любят.

Он. Это обида говорит. Но не на что обижаться. Ты ничего не поняла. Всё не так.

Она. Так. Не обманывай себя... и меня! Больно... очень больно. Но я спокойна. Как лёд. Так что не волнуйся, ты всё правильно сделал. Всё!.. Я не знаю, когда умирает надежда... но очень больно, когда она умирает. Ты всё помнишь, да?... помнишь Балтику, Меллужи? Нет, ты не помнишь.

Он. Что с тобой? Помню, конечно.

Она. Ты не то помнишь. Мы тогда в первый раз поругались... через два года жизни. Из-за мелочи, не в ней дело, хотя я помню... Но это было... как тебе сказать... словно удар хлыста. Потом стёрлось, конечно.

Он. Но не забылось?

Она. Ничто не забывается... увы. Стирается, ложится на дно, но... всегда с тобой. Двое... а порознь.

Он. Неправда, неправда, не было так. Никогда не было. Неужели тебе и в постели было плохо?

Она. Бедный ты, бедный. Не расстраивайся. Не было. (Пауза.) Ты проклятый дурак, забиваешь голову ерундой. И в постели, да поди она к чёрту! и без никакой постели... мне было хорошо. Это главное? может быть... И да, и нет. Я помню, сколько ты для меня сделал, помню. И никогда не забуду! Ах, в постели надо быть на высоте. Не бери в голову, ты был на высоте, не журишь. Я думала тогда, что это счастье, вершина... никому недоступная... Так и было, так оно и было!

Он. Не ушло. Не ушло! Поверь мне, всё вернётся... Разве не в нас дело? Забудем, пожалуйста... к дьяволу! Есть же чистый лист! Не держи зла... ты не такая. Виноват я, я – виноват! Но забудь... забудем. Прошу тебя!.. Хочешь, на колени стану?

Она. Достойная шутка. Но... я уже никакая. Когда перегорает... остаётся пусто. Дырка... в сердце. Думала, заделаю, залепится... нет. Ты далеко-далеко... Я тебя почти не вижу.

Он. А что, если ничего не говорить... просто обняться... можно, я тебя поцелую?

Она. Ушло, родной мой, ушло. Мы живём, мы просто живём сегодня, и с этим не надо спорить. Вокруг сон, сладчайшее из яств... и некому его убить.

Он. Надо?

Она. Пустые слова. Тебе не стыдно?

Он. Ты нужна мне, я хочу вернуть тебя, вернуться... Много ли осталось?

Она. А раньше? Оставалось больше? Так?

Он. Мы поздно умнем. Мне недавно пришло в голову... я долго думал... и понял. Жизнь это искусство познания смерти. И нет ничего выше и главнее. Вершина этого искусства, непревзойдённая и – недостижимая, – Иисус, названный Христом. Но и в истории человечества были, о них можно спорить, то ли это Матросов, то ли Мартин Лютер Кинг, не в этом дело... люди, тысячи людей, поднимавшихся... познавших, так или иначе, это искусство. Человеческий мозг мал и несовершенен, но он вмещает всю накопленную историю, всю мудрость предков.

Она. Скажи мне, почему, почему не может быть так, как прежде, как было, как нужно, как должно быть?

Он. У меня стариковская болезнь - люблю хорошие рождественские фильмы. А там закон – всё кончается хорошо, только хорошо. Но к великому сожалению, это передозировка... чуть не смертельная. Почему же мы помним всегда только скверное?

Она. Ты - мне? Неправда. Я помню хорошее, много, много хорошего.

Он. Представляется мне, что сначала на человека влияет прошлое, оно захватывает, подчиняет себе, потом в дело вступает будущее... как? я не знаю, как... но чем ты старше, тем его влияние мощнее... Помнишь дупло у Вонг Кар Вая?.. Может быть, всё-таки дать тебе пиджак?

Она. А ты уже предлагал? Я, должно быть, не слышала... Какое дупло? Ты о «2046»? Далёкая дата. Не дожить!..

Он. Факт. Не дожить... Инвалид инвалиду не друг, а свидетель.

Она. Похоже, мы слишком поздно встретились... И, похоже, мы слишком много позволяли судьбе. Где она, обратная дорога? Тю-тю!

Он. Нет, если сам не захочешь... если позволяешь.

Она. Ты, как всегда, слишком уверен в себе. А другие?.. Что они? У каждого свой взгляд, у каждого своё. Я – не исключение. И ты прав, будущее, похоже, подчинило нас, уже, и – навсегда.

Он. В наших силах...

Она. Не в наших! Что есть, то есть. И нечем вышибить... нечем. Незачем!

Он. Ты?.. Друг не позволит убить тебя сзади, он убивает спереди.

Она. Цитата не совсем верна.

Он. Неважно! Неужели так и будем пикироваться?

Она. Раньше мы только этим и занимались, давно. Качели... туда, сюда. Но было весело... потому что не всерьёз.

Он. И это время не ушло... не должно уйти.

Она. Увы! Не обманывай себя. И время ушло... и я уйду.

Он. Нет! *(Она встаёт.)* Ты?! Стой!.. Я провожу. Я тоже на метро.

Она. На метро? Жаль... мне так жалко... ты не представляешь, до чего обидно. Я думала... не знаю сама, что я думала. Надеюсь?.. Верила? Верила!.. Чему? чему?.. *(Пауза.)* Холодно. И вправду, холодно стало... и пиджак уже не нужен. Засиделись. Пустые надежды, глупые. Разбил – выброси... не склеишь. Мне, правда, жутко жаль. Извини! Поздно... и вообще. Спасибо тебе. Не грусти. Всё хорошо. Всё путём. Всё. Всё!.. Сенечке привет. Не надо! Провожать не надо. Не грусти, ладно? Заживёт. Пока. Звони. Пока!.. Не грусти. *(Быстро уходит. Он делает движение вслед, привстаёт и снова садится. Толпа полностью закрывает его. Слышен выстрел. Все застывают. Ни звука.)*

Конец



Владимир Плетинский

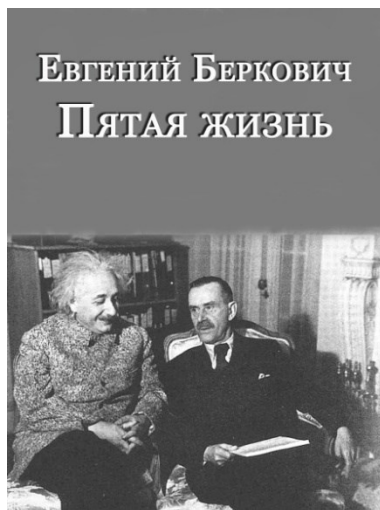
ШЕСТЬ СТУПЕНЕЙ НАВЕРХ*

Предисловие составителя к сборнику интервью Евгения Берковича

Первое интервью, вошедшее в этот сборник, датируется 1999 годом. Заключительное – годом 2015. Между ними лежат шестнадцать лет жизни автора, тот период, который он сам назвал своей «пятой жизнью», посвященной истории, литературе, журналистике...

До этого Беркович был математиком, окончившим престижный физический факультет московского университета и защитившим на факультете Вычислительной математики и кибернетики МГУ кандидатскую диссертацию по математическим проблемам выбора оптимальных решений.

Затем последовала жизнь разработчика больших информационных систем, отраслевых и республиканских. За заслуги в этой жизни он получил медаль «За доблестный труд», звание старшего научного сотрудника с дипломом ВАК, стал главным конструктором отраслевой системы связи Российской Федерации.



В перестройку состоялась третья жизнь – предпринимателя, создателя и директора успешных научно-производственных предприятий. А в 1995 году Евгений Беркович начал свою четвертую жизнь, уже в Германии, снова разработчиком информационных систем, но уже совсем в других условиях – в крупном немецком научно-исследовательском центре финансовой математики. Этот период про-

* Беркович Евгений. Пятая жизнь. Составление и предисловие Владимира Плетинского при участии Изабеллы Побединой. Семь искусств, 2015. Мягкий переплет. 200 с., с илл., ISBN 9-7813-2642-682-8

длится еще пятнадцать лет и закончится уходом на заслуженную пенсию в 2010 году.

Пятая жизнь, как мы видим, началась параллельно четвертой и продолжается и сегодня. В 1999 году, когда Евгений давал первое интервью редактору денверской газеты «Горизонт», еще не было никакого «портала Берковича», его заметки по еврейской истории публиковались в различных бумажных изданиях, газетах и журналах, от «Русской мысли» в Париже до «Вестника» в Балтиморе. И хотя статьи еще не стали книгой, которая выйдет в свет в 2000 году и будет так и называться: «Заметки по еврейской истории», автору удалось получить неплохую известность у читающей публики разных стран как журналист и публицист.

Второе интервью состоялось через четыре года, в 2003 году, когда вышла в свет вторая книга Евгения Берковича «Банальность добра» и был создан его сайт, ставший в наши дни знаменитым «порталом Берковича», крупным издательским домом, выпускающим четыре самостоятельных издания по истории и культуре. В том же 2003 году выходили только два издания – журнал «Заметки по еврейской истории» и альманах «Еврейская Старина». Они быстро завоевали широкую аудиторию, обрели представительный круг авторов. Евгений теперь не только автор двух популярных книг по истории, но и успешный редактор сетевых изданий.

В третьем интервью 2006 года Беркович предстает в новом качестве – сценариста документального фильма «Вопросы к Богу», снятого московской киностудией. Фильм развивает тему книги «Банальность добра» и рассказывает о немцах, спасавших евреев в годы Холокоста.

Четвертое интервью, которое я сам взял у Евгения в 2010 году, относится к периоду расцвета «Заметок по еврейской истории», тематика которых становилась от номера к номеру все разнообразней и многогранней. Не случайно в конце 2009 года появился на свет новый журнал «Семь искусств», объединивший в себе всю «общечеловеческую» тематику, все, что интересно интеллигентному человеку. Новый журнал соединяет, казалось бы, несоединимые направления: он и научно-популярный, и литературно-художественный, в нем освещаются такие разные темы, как социология и театр, философия и музыка, психология и страноведение...

Пятое интервью 2012 года фиксирует то состояние издательского дома Берковича, которое мы наблюдаем сегодня: к трем прежним добавлен новый издательский продукт – журнал-газета «Мастерская». В отличие от своих старших братьев, новое издание отличается газетной оперативностью – ведь материалы здесь обновляются ежедневно. Но к этому оно сохраняет журнальную основательность – статьи в «Мастерской» не уступают по своей глубине и серьезности статьям из журналов и альманаха. Просто у каждого издания свои задачи, своя аудитория, свои возможности.

Наконец, заключительное, шестое интервью, данное Евгением журналисту из американской «Чайки» в 2015 году, освещает еще одну сферу интересов Евгения – его собственные исследования в области истории науки и литературоведения. Надо отметить, что и в этой сфере он преуспел, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в серьезных «толстых» журналах: «Вопросы литературы», «Иностранная литература», «Нева», «Человек», «Зарубежные записки» и др. Предметы исследования разнообразны – тут и творчество Томаса Манна, и психологические портреты ученых, физиков и математиков, и спорные вопросы еврейской истории, верность которой Евгений Беркович сохраняет все годы его «пятой жизни». Две его последние книги – «Одиссея Петера Прингсхайма» и «Антиподы: Альберт Эйн-

штейн и другие люди в контексте физики и истории» - дают хорошее представление о высоком уровне проводимых исследований.

Все шесть интервью образуют как бы шесть ступеней вверх по лестнице духовного развития человека, взявшегося в зрелом возрасте за совершенно новое дело и успешно его осваивающего. Пройтись по ним вместе с автором не только интересно, но и поучительно.

Во второй части книги опубликовано интервью, которое сам Евгений взял у ведущего немецкого историка, директора Института исследования антисемитизма в Берлине профессора Вольфганга Бенца. Круг затронутых вопросов столь же широк, как и круг интересов Евгения.

Завершает книгу любопытный литературный эксперимент, поставленный Берковичем в самом начале его литературно-исторического периода. Из многочисленных интервью, которые дал поэт Иосиф Бродский, Евгений отобрал вопросы, связанные с отношением нобелевского лауреата к религии, еврейству, христианству... Получился вполне представительный текст, который не теряет актуальности и сейчас.

Этот сборник готовился к печати накануне семидесятилетия Евгения Берковича. Каждый юбилей – это своего рода остановка на жизненном пути, когда можно подвести предварительные итоги, оглядеться, задуматься... Евгений подошел к своему семидесятилетию с хорошими результатами. В конце своего шестого интервью он говорит:

«В последние два десятка лет я опубликовал немало работ по истории физики и математики, изучал историю антисемитизма в Европе, писал о жизни и трудах Альберта Эйнштейна, Томаса Манна, других европейских интеллектуалов... Естественно, что с этими направлениями у меня связано множество новых задумок. Но, как известно, "если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах". Поэтому от рассказа о задуманном воздержусь, а себе пожелаю, чтобы и дальше мне было так же интересно заниматься своим делом, как было до сих пор».

Нам остается только присоединиться к этому желанию.

Интервью, собранные под одной обложкой, представляют своеобразную биографию человека. Чтение жизнеописаний всегда было делом поучительным и полезным. В данном случае оно еще увлекательное и интересное.

сентябрь 2015 г.



Владимир Каганов

ТРАНСФЕР ИЗ РЕХОВОТА В ОДЕССУ

Роман Я. Шехтера «Вокруг себя был никто» (Ростов, 2004) вышел в свет почти 10 лет назад, но ни одной содержательной рецензии на него мне пока не встречалось. Между тем, роман, на мой взгляд, заслуживает особого разговора. Не претендуя на полную аналитическую выработку, выскажу о нём ряд мыслей и критических замечаний.

Структурно-композиционно роман построен как чередование глав из дневника некоего «психометриста» В. и глав из его же очерка об истории Реховотской крепости. Тематически оба плана почти не связаны, что создаёт определённые трудности для чтения, так как постоянно приходится менять фокус внимания, перекладываясь из одного плана в другой. Впрочем, оба плана изложения написаны достаточно увлекательно, так что мы вынуждены принять стратегию автора, чем бы она ни была продиктована.

Соответственно, любой развёрнутый критический анализ должен рассмотреть отдельно историю путешествия Биньомина Третьего (тэфу, «психометриста» В.) и историю Реховотской крепости, с которой данный герой связан биографически. Собственно, эта связь и образует единство повествования – при отсутствии единства сюжета. Впрочем, можно сказать, что художественное единство романа подкреплено также единством стиля, что можно отнести к единому виртуальному автору. Именно он, «психометрист» В., и главный созерцатель, и главное действующее лицо романа. Все прочие лица и события даны нам через призму восприятия В. и его размышления. Поэтому логично начать именно с этого героя, тем более что он является выразителем некоего таинственного учения «психометрия», которому принадлежит важная идеологическая функция в романе. При всей художественной увлекательности и многоплановости романа, значение этого учения для понимания событий и персонажей столь важно, что начать следует именно с него. Недостаточно сослаться на мистический характер этого учения и переключиться на действие и действующих лиц. Автор не скрывает, что концепция «психометрии» как определённого взгляда на мир имеет принципиально важное значение и является ключом к пониманию.

Сразу вынужден сказать, что термин выбран исключительно неудачно. Дело в том, что этот термин уже имеет устоявшееся значение в науке и обозначает дисциплину, изучающую теорию и методику психологических измерений, включая измерение знаний, способностей, эмоций и других психологических качеств личности. Об этом можно прочитать в любом учебнике психологии. Поэтому приписывать хорошо известному термину абсолютно чуждый ему смысл не очень корректно даже для писателя. Мы будем вынуждены везде брать это слово в кавычки, отмечая тем самым его условный и неадекватный смысл. Есть множество более удачных и точных терминов для обозначения того, что автор понимает под «психометрией»: психогностика, психомагия, психоэнергетика и т. д. Ведь на самом деле «психометрия» вообще не занимается измерением чего бы то ни было. Как же сам автор понимает смысл этого термина? Процитируем дневник В. «Есть много разных определений, кто такой психометрист... Мне больше всего по душе следующее: психометрист – тот, кто прислушивается. Космос постоянно ведёт с нами диалог. В узорчатой тени листвы, в числе автомобильных гудков, в клочке газеты

на скамейке, во всём кроется сообщение. Мир – единая гармония, и самые глубокие тайны мироздания можно прочитать на коре дерева перед газетным киоском. Надо только уметь слушать и видеть».

Таким образом, задача «психометрии» – расшифровать и понять тайные знаки Космоса, выявить скрытый смысл происходящих с нами событий, для чего нужен особый дар видеть и слышать. Этому можно также научить тех, у кого такой дар имеется. Люди, достигшие высшего мастерства в этом деле, называются Мастерами. Традиция возводит искусство «психометрии» к легендарному Гермесу Тризмегисту, с которым отождествляется египетский бог Тот. В общем, речь идёт о хорошо известной традиции оккультизма, хотя оккультизм гораздо шире. На эту тему написаны сотни книг. Говоря в современных терминах, речь идёт о семиотике и герменевтике: мир, понимаемый как знаковая система, содержит в себе некую информацию, которая может быть прочитана, осмыслена и интерпретирована тем или иным способом. В мире, доступном нашему опыту, через наши органы чувств ежесекундно проходит поток информации, большую часть которой мы не воспринимаем и не распознаём. Лишь очень малая часть этой информации осознаётся и принимается во внимание конкретным человеком. Её истолкование – сложный процесс, требующий знаний и навыков, часто весьма специальных. Понять, осмыслить и истолковать сложный математический текст или текст на санскрите способен далеко не каждый. То же можно сказать о музыкальном произведении, о художественном тексте на любом языке и т. д. Ещё более сложная задача возникает, когда мы пытаемся понять и истолковать факты и события окружающего мира, если мы воспринимаем их как знаки (каковыми они не всегда являются). Необходимо иметь систему интерпретации этих знаков и язык интерпретации. Им может быть, например, язык науки, язык философии, язык поэзии, язык религии и т. д. Многие из того, что открывается в мистической интуиции, вообще невыразимо в языке. Даже из этих кратких замечаний можно понять, насколько сложна задача «психометриста». Но это лишь часть задачи, связанная с пониманием и интерпретацией. Другая часть, не менее сложная, относится к прагматике или, если угодно, к практике. Как должен поступать «психометрист» в каждом конкретном случае, обладая той или иной информацией? Есть ли у него правила и предписания, этические нормы, цели и ценности, которыми он руководствуется на практике? Способен ли он просчитать все последствия своих поступков, правильно оценить риски и т. д.? Может ли он полностью отрешиться от своих личных симпатий и антипатий? Должен ли он считаться с мнением своих коллег, если речь идёт о важных решениях, в которых ошибка может дорого стоить? Вопрос о его психотехнических и психомагических способностях, естественно, тоже возникает. Конечно, в традиции оккультизма есть масса историй и поучительных примеров, отчасти проясняющих эти вопросы. Здесь для нас важно лишь то, насколько убедительно удалось раскрыть эти вопросы автору романа. Ведь его герой – видный представитель учения «психометрии», хотя и не достигший уровня Мастера.

Учение «психометрии», существующее несколько веков, неизбежно должно было как-то контактировать с другими духовными силами Европы. Католицизм, протестантизм, православие, иудаизм – где они? Любая реальная или вымышленная духовная традиция неизбежно вступает во взаимодействие с этими мощными духовными силами и должна выдержать конкуренцию с ними, чтобы выжить. В случае с «психометрией» это никак не показано. Скажем, алхимия, астрология, магия также занимали важное место в духовной культуре Европы. И они смогли вы-

жить, несмотря на все преследования. Оккультизм и мистицизм в разных формах были также интегрированы в европейской культуре. Включить «психометрию» в систему этих учений при желании было бы можно, но автор уклонился от этой задачи. Поэтому «психометрия» оказалась в духовном и культурном вакууме. Вот пример для сравнения. Учение, придуманное Д. Брауном в «Коде да Винчи», убеждает нас своей достоверностью, ибо опирается на реальную традицию. Учение «психометрии», придуманное Я. Шехтером, не выглядит достоверным, ибо не опирается на реальную традицию, не имеет духовных корней. Псевдоисторические легенды (например, история Оливии) недостаточны для достоверности и убедительности. Безмянные и призрачные старики-«психи», о которых бегло упоминает В., тем более, ни в чём не убеждают. Следовало бы дать портрет хотя бы одного такого старика. И скажу уже совсем прямо: если бы автор писал о реальных каббалистах, а не о вымышленных «психометристах», вся картина была бы намного яснее и убедительнее.

Итак, некий анонимный «психометрист» В., повинаясь смутному зову, прилетает из Реховота в город своей юности Одессу. Здесь его ждут встречи с коллегами-«психометристами» и неожиданные встречи с другими персонажами, создающие достаточно напряжённую интригу повествования. Судя по всему, В. ищет следы неких стариков, которые могут дать ему ключ к поиску Мастера. Поиски оказываются безуспешны, но новые впечатления и встречи вполне компенсируют поездку. Вообще говоря, В., от лица которого ведётся повествование, осознаёт своё духовное превосходство над одесскими «психометристами» и прочей публикой, встреченной в ходе визита, смело даёт им оценки, выступает с лекциями и местами живо напоминает Остапа Бендера. Однако его превосходство не слишком убедительно. За долгие годы изучения «психометрии» он так и не сумел найти настоящего Мастера. Его личная жизнь достаточно запутана, он никак не может разобраться в своих отношениях с женой. Он неплохой лектор, но ни одного серьёзного дела ему пока не поручали. Возможно, он неплохой историк, но из-под его пера пока не вышло ни одного серьёзного труда (впрочем, вставная новелла об истории Реховотской крепости хороша – и за это респект автору). Что ещё? Психолог и экстрасенс со средними способностями, владеющий элементарными приёмами психотехники. Прямо скажем, не очень впечатляет. Даже не Вольф Мессинг. Свой учебник по «психометрии» сам оценивает не очень высоко.

Его визит в Одессу в поисках Мастера завершился ничем, хотя подарил ему несколько интересных встреч и бесед. Любопытна интригующая история его исчезновения в конце романа. Автор не раскрывает нам тайну его исчезновения, оставляя простор для догадок. Самая простая догадка – его аккуратно убрали более могущественные силы, которым он чем-то помешал. Не случайно в Одессе он всё время был «под колпаком», его явно «пасли». Искать какие-то более сложные версии нет никаких оснований. Не того полёта птица, чтобы Космические Учителя забрали его куда-нибудь в Шамбалу. Ему бы со своими проблемами разобраться. Так что лежит бедняга В. где-нибудь, забетонированный в стене, на окраине Одессы или мирно плещется в водах лимана, кормя рыб. Астральные игры часто кончаются плохо, и автору это известно.

Пожалуй, наиболее интересна была встреча В. с Таней. Рассказ Тани об истории её знакомства и общения с группой Игоря в Вильнюсе, а позже – с Мирзабаем и Абаем, конечно, производит сильное впечатление. При том, что Таня получила филологическое образование в Тарту, у неё нет никаких глубоких духовных корней. Можно сказать, что весь духовный опыт европейской и русской культуры про-

шёл мимо неё. Неудивительно, что её духовная и личная неудовлетворённость привела её в объятия тоталитарной секты. Тем более что по природе она человек одарённый и любознательный. Согретая вниманием и дружеским участием своих новых друзей, она легко и бездумно отдаётся сомнительным ритуалам секты, где распитие водки и секс якобы помогают достичь полного слияния с Космосом. Её раскрывшаяся чувственность создаёт полную иллюзию погружения в сокровенные тайны. Циничный и опытный манипулятор Мирзабай легко подчиняет её своей воле, как до этого многих других. Прозрение приходит слишком поздно и даётся дорогой ценой. Гибель ребёнка, гибель друга, крах всех надежд...

Драматизм этой истории тем более впечатляет, что за ней кроется реальная история с реальными персонажами (Мирзабай, Абай, Талгат и др.), в своё время широко обсуждавшаяся в СМИ (был снят даже фильм). Видно, что автор хорошо знаком с этой историей. Вообще, система отношений в тоталитарной секте описана подробно, точно, психологически достоверно – видно, что автор хорошо владеет материалом. Нет ни профанации, ни идеализации описанных событий – хотя следует помнить, что рассказ ведётся от лица самой Тани в изложении «психометриста» В. Другие персонажи раскрываются через свои поступки и диалоги – опять же, в изложении В. или Тани. Наиболее закрыта и загадочна личность гуру секты, суфия Мирзабая. Что вообще побудило правоверного мусульманина связаться с неверными? Каким образом грязный похотливый старик с амбициями гуру смог вовлечь в свою секту культурных, образованных людей с европейскими корнями? Здесь есть проблема, до конца не раскрытая в романе. На внешнем плане событий правдоподобной выглядит такая версия (выразим её словами Мирзабая в предполагаемом внутреннем монологе): «Неверных собак надо качать, деньги брать, жизни учить... Аллах акбар, он всё видит, всё знает». Но можно допустить и более глубокий и далеко идущий умысел, о котором нам ничего не известно. «Психометрист» В. проходит мимо этой проблемы, даже не пытаясь её осмыслить.

В конце XX века, начиная с 70-х годов, в СССР необычайно усилился интерес к разным эзотерическим учениям – от йоги и даосизма до А. Кроули и К. Кастанеды. На волне этого интереса во многих крупных городах появились подпольные группы и секты поклонников этих учений, состоящие, в основном, из интеллигенции и студентов. Невозможно кратко описать этот пёстрый поток учений и их адептов. Уровень этих групп очень отличался, но интерес к экзотике и восточным учениям был преобладающим. Рериховцы, вайшнав-кришнаиты, дзен-буддисты, поклонники Кастанеды – кого только здесь не было. Многие из этих групп до сих пор действуют, если судить по выходящей литературе и интернет-сайтам. Несомненно, это интересная тема не только для специальных исследований, но и для писателей, сценаристов, режиссёров. Сотни авторов ныне активно трудятся на этой ниве. Видимо, многих привлекает не только коммерческий интерес к литературе такого рода. В мире много подлинных тайн и загадок, и самая главная тайна – сам человек. Так что поиск разгадки будет ещё долго привлекать умы людей.

На наш взгляд, талантливому израильскому писателю Я. Шехтеру в целом удалось успешно справиться с этой темой в романе «Вокруг себя был никто». Мы говорим, прежде всего, о художественном уровне романа. Некоторые недочёты идейного характера мы выше отметили. Важно подчеркнуть, что, при всей пестроте сюжета (точнее, цепочки сюжетов), этическая доминанта романа выражена достаточно ясно. И в основе своей эта доминанта имеет гуманистический, а не мистический смысл.

Дополнение

Попытка толкования заглавия романа Я. Шехтера «Вокруг себя был никто», исходя из содержания романа, представляется достаточно проблематичной. Вместе с тем, невозможно допустить, что это заглавие является случайным. Очевидно, автор вложил в него какой-то определенный смысл, прямо или косвенно связанный с идеей романа, предоставив читателю самому искать разгадку. Исходя из косвенных соображений, связанных с творчеством Я. Шехтера, попробуем найти эту разгадку в идеях Каббалы.

Краткое объяснение можно получить, обратившись к такому понятию Каббалы, как «ор-макиф». «Ор-макиф» – окружающий свет; духовный свет, окружающий каждого человека. Предназначение каждого человека – вобрать в себя этот свет и тем самым содействовать своему духовному возвышению. Таким образом, искры духовного света, которые есть в душе человека, окружены потоками света, исходящими из Высшего Источника, и эти потоки света способны, проникая в душу человека, питать и возвышать её. Можно представить также, что внутренний свет способен распространяться вовне, наполняя и освещая собой окружающий мир. Так мы получаем свет вокруг света. В каком-то смысле он есть «никто».

Однако это неполное объяснение можно расширить, если мы обратимся к другому важному понятию Каббалы «ор эйн-соф» - свет Абсолюта. Согласно учению Каббалы, на определённой стадии эволюции Творения вокруг центра («средней точки») в результате процесса «цимцум» (сжатия, сокращения) Эйн-Софа образовался вакуум – свободное пустое пространство. Но это сжатие породило своего рода «ударную волну», и свет Эйн-Софа распространился на периферию этого пространства, окружив его центр сферой. Гаари пишет об этом так: «Знай, что прежде, чем эманации были эманированы и создания были сотворены, Высший Свет просто заполнял всё сущее и не было нигде ни пустого пространства, ни вакуума. И всё было заполнено светом «Эйн-Соф» – светом безграничного мира. И когда возникло у него простое желание сотворить миры и эманировать эманации и таким образом проявить его деяния, имена и прозвания в их совершенстве, что и являлось причиной создания миров, тогда «Эйн-Соф» сам сократился, сжался в «средней точке», находившейся в самой его середине, «сжал» тот свет и отдалился по краям, вокруг «средней точки». («Талмуд эсер сфирот», ч.1)

Надеюсь, что данное толкование достаточно близко к истине.



Виктор Каган
ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ...

**Лев Бердников – Евреи в царской России:
сыны или пасынки?***

О теме «Евреи и Россия» истёрто едва ли поддающееся точному учёту множество перьев. Да и сам автор обращается к ней не впервые¹. Осёдланный любимый конёк «вечнозелёной» темы? Отнюдь. Круг интересов литератора, филолога, культуролога Льва Бердникова, находящих выражение в его исторической эссеистике очень широк². Думаю, здесь кроется один из ответов на поставленный вопрос, потому что встречи и пересечения разнообразных интересов как раз и образуют пространство, в котором исследователь может увидеть проблему сам и показать её читателю, не повторяя предшественников.



В книгу вошли некоторые очерки из предыдущих книг Автора и публиковавшиеся в периодике статьи, но композиционно она представляет собой новую целостность. В ней три части.

Первая посвящена отношению к евреям в периоды правления Ивана III, Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой и Павла I. Каждая из глав – историческая панорама, в которой встречаются, сталкиваются, переплетаются характеры и обстоятельства, намерения и действия, не могущие ни обойтись друг без друга, ни достичь, как

* Лев Бердников – Евреи в царской России: сыны или пасынки? СПб.: Алетей, 2016. – 432 с.

сегодня сказали бы, консенсуса противоположности. Как ни велик искус, исходя из „А как это для евреев?“, разделить правителей и времена на „хороших“ и „плохих“, показывает Автор, невозможно. При Иване III, цитирует он Ивана Лажечникова, «... не было выгодной должности, которую не брали бы на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеєм, головой и языком ... Во Пскове, в Новгороде и Москве шныряли евреи-суконники и извозчики, толмачи, сектаторы и послы ... В авангарде, из-под общипанного малахая и засаленного тулупа торчала, как флюгер, отроконечная бородка и развевались пейсики, опущенные морозом». Но это было в начале его правления и он долго так или иначе покровительствовал евреям, а к концу «... восторжествовали воинствующая нетерпимость и решительное неприятие иудаизма и евреев. Словами *жид*, *жидовин* стали называть *свратителей душевных*, испытывая перед ними суеверный страх. Это в годину Ивана Великого запылают *костры очищения* – аутодафе, в которых сожгут заживо в прах десятки так называемых *жидовствующих* – отступников от Христовой веры». Кто-то считает, что ересь жидовствующих была одним из клиньев, вбитых между евреями и славянами, кто-то – что это движение имело большое прогрессивное значение. Говоря о *тишайшем прозелите Алексее Михайловиче* (1629-1676), Автор замечает: «Конечно, царь Алексей был воспитан в духе святоотеческой традиции с её воинствующим антииудейским пафосом. Конечно, филиппики „богоубийца-жидам, которых всем христианским людям ненавидеть должно“ были дежурными на официальных дипломатических приёмах в Кремле, а некоторые иноземцы утверждали, что в Московии к дикарям-самоедам, поклонявшимся идолам и соолнцу, относятся куда терпимее, чем к монотеистам-иудеям. И всё же образ порфириносного ангисемита под воздействием фактов рассыпается, ибо <...> в узаконениях того времени запретов иудеям на пребывание и жительство в России не находится. И де-факто евреи приезжали и жили в стране без всякой утайки». К евреям ещё относились как ко всяким другим инородцам, без специальных запретов, ограничений, черты оседлости. Они появятся позже.

Трудно удержаться от подробного пересказа каждой главы, а то и страницы, но лучше читать книгу, чтобы вместе с Автором пройти по лабиринтам истории со всеми её деталями и вместе с ним почувствовать, пережить погружение в тончайшее переплетение сюжетов и их далеко не всегда предсказуемых, вычисляемых так наз. здравым смыслом взаимосвязей, из которых сотканы исторические контексты жизни евреев в России.

Вторая часть книги представлена литературными портретами Иегошуа Цейтлина, Константина Шапиро, Павла Шейна, братьев Петра и Павла Вейнбергов, Виктора Никитина, Моисея Маймона, Михаила Грулёва и Владимира Бурцева. Мне не стыдно признаться, что о большинстве из них я узнавал, читая эту книгу, а о немногих известных знал лишь очень поверхностно. Оставляя читателю удовольствие самостоятельной встречи на страницах книги с этими людьми, скажу немного о герое самого первого рассказа.

Иегошуа Цейтлин (1742-1821) «... был первым в России приметным еврейским деятелем, соединившим в себе глубокую раввинскую учёность со страстным стремлением приобщить своих соплеменников к российской общественной жизни». Он закончил иешиву в Минске, не прекращал изучения Торы и Талмуда, но знаниями торговать не хотел и решил зарабатывать на жизнь торговлей и предпринимательством, для чего вернулся в родной Шклов, бывший, говорит Автор,

«метрополией русского еврейства, средоточием как раввинской учёности, так и научных знаний и идей Гаскалы в России». По торговым делам он бывал в Берлине, где сблизился с деятелями еврейского просвещения, познакомился и дружил с *еврейским Сократом* – Мозесом Мендельсоном, главным раввином Берлина Гиршем Лебелем, выдающимся лингвистом и толкователем Нафтали-Герц Вессели, провозвестником реформизма в иудаизме Давидом Фридлиндером. В результате во взглядах Цейтлина сошлись идеалы еврейской интеллектуальной традиции и европейского Просвещения. Судьбоносной, говорит Л.Бердников, стала его встреча и последующая тесная дружба с князем Тавриды Григорием Потёмкиным, которому он подсказал идею о размещении евреев в отвоёванном у Турции Иерусалиме. Благодаря Потёмкину, он стал не только признан и богат, но и наладил связи с элитой российской империи, действуя по словам историка О. Минкиной «методами неформальной коммуникации с представителями российской власти, защищая евреев от преследований, за что его стали называть *Ха-сар Цейтлин, мудрец из Шклова*. Когда Потёмкин умер, Цейтлин уехал в свой шикарный дворец в Устье, где создал бет-га-мидраш (высшая школа, место, куда изучающие Закон, собираются слушать Мидраш – обсуждение и толкование Закона), где нашли приют многие известные учёные и толкователи. Не могу не упомянуть среди них знатока ивритской грамматики и полиглота Нафтали Герц Шульмана, писавшего стихотворные тексты на русском языке. У него было много надежд на ассимиляцию, но они рассыпались после утверждения Александром I в 1804 г. «Положения об устройстве евреев», закрепившего черту оседлости, сохранившего запрет на аренду и покупку земли, запретившего государственную службу и т.д. Да и то, чем обернулась ассимиляция для его собственной семьи – крещением в католичество сбежавшей с полковым лекарем дочери, в лютеранство любимого зятя и в протестантизм внука – тоже не придало энтузиазма. Он тяжело переживал это, но связей с крестившимся зятем и внуком не прерывал. Остаток жизни он посвятил изучению еврейской книжности, много пишет – его сочинение *Хидушим бепитлуп (Новые толкования)* хранится в отделе рукописей РГБ – и «умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою, и приложился к народу своему». Не знаю, передал ли я хоть малую часть того, что изложено на восьми страницах и читается одновременно как большой том в серии ЖЗЛ и как приключенческий роман. Но надеюсь, заинтересовал читателя, чтобы он захотел прочесть эту главу полностью и погрузиться в остальные, ничуть не менее впечатляющие, часто драматичные истории.

Рогшильд, бедный Рогшильд, миллионщик бедный!

Точно так же умер в золоте и ты,

Как умрет поденщик, из-за лепты медной

Изнурявший силы, жертва нищеты.

В изобилии счастья, в неге ты купался,

На тебя, счастливец, любовались мы:

Королем червонным миру ты являлся

И давал червонцы королям взаймы.

Все твои богатства, миллионы целы,

Но их песнью звонкой уж не ты воспет,

И твой дом роскошный, ныне опустелый,

Возглашает грустно — суету сует!

Пышного владельца выжили чертоги,
Перешел он скромно в общий всем покой,
Где с великолепным Крезом — Ир убогий
Тлеют безразлично под сырой землей.

С скорбью я увидел дом твой — храм богатства,
Где гостеприимно нас ты угощал,
Где на пир Лукуллов выписные яства
Ты с концов всемирных щедро собирал.

Сад твой зеленеет тенью благосклонной,
В нем цветы как прежде радостно цветут,
Негой майской дышит воздух благовонный
И на ветках розы соловьи поют.

Но уж ты не внемлешь песням голосистым;
Розы, — их взлелеял ты своей рукой, —
Но улыбкой свежей, фимиамом чистым
Пережить дано им жребий твой земной.

Всей природы роскошь, все мирские блага
Ласково радели о твоей судьбе,
Но час смерти лютой, но Дамокла шпага
Пугалом висели также на тебе.

Верю, что, прощаясь с тем, что смертным мило,
Мог ты на расстаньи горестно вздохнуть,
И с дороги светлой тяжело, тяжело было
На проселок темный круто повернуть.

Знаю, вам, счастливым, богачам-верблюдам,
Сквозь ушко иголки мудрено пройти,
Но ты ни таланты не держал под спудом,
Ни от нищей братьи дом назаперти.

В век наш златожадный, барышу послушный
Биржу — вавилонский столп и ты сложил,
Но смиренный в счастье, нравом простодушный,
Ты не корчил знати, хоть и Ротшильд был.

Да простит богатство Бог тебе! а люди
Скажут с умилением по твоим следам:
«Памятью сердечной ты помянут буди
И служи примером прочим господам!»

1855

Сокращённым вариантом этого стихотворения П.А. Вяземского на кончину Карла Мейера Ротшильда открывается третья часть книги *«Миллионщик бедный». Ротшильд в зеркале русской культуры*. О династии Ротшильдов можно говорить много, а можно — ничего, потому что едва ли найдётся человек, которому это имя не знакомо. Её историю сравнивали с «историей вавилонской башни миллионов». А начиналась она в еврейском гетто Франкфурга-на-Майне, выходцем из которого был её основатель Мейер Амшель Ротшильд. Его главным заветом сыновьям

была верность своей народу и иудейской вере. И они следовали завету отца, не только не скрывая, но и подчёркивая это – недаром их называли и *королями евреев*, и *евреями королей*. Фигуры противоречивые, как и отношение к ним. Их деньги обеспечивали им уважение даже таких, мягко говоря, не жаловавших евреев, персон как Ф. Булгарин и Н. Греч, но вызывали яростное неприятие у друзей, видевших в них плебеев, выскочек – тем более, из евреев. Для И. Аксакова, А. Хомякова, Ф. Достоевского и др. они были носителями и выразителями чуждого русскому духу начала – как писал малороссийский губернатор Н. Репнин: «Монополия есть цель всех Жидовских действий, от Ротшильдов до шинкарей, ибо в руках этого проницательного и расчётливого племени она потом соделывает их властелинами торговли, промышленности, произведений земли и, наконец, правительств». Тогда же М. Магницкий по существу запустил на орбиту идею жидомасонского заговора, которая даже самые достойные деяния делала лишь подкупом публики, обманом, маскировкой, средствами продвижения евреев к власти. Со временем имя Ротшильдов обрело самостоятельную жизнь как имя нарицательное – воплощение и олицетворение бездушно-жестокости мира капитала, так что даже отдававший им дань уважения П. Вяземский написал:

Наш век – век звонкого металла,
 Ему ль до звучности стихов,
 До чистых жертв, до идеала,
 До этих старых пустяков?
 На бирже ищем вдохновений,
 Там сны златые, бог страстей:
 Кто миллионщик, тот и гений,
 И Ротшильд – Байрон наших дней.

Л. Бердников прослеживает, как откликалось имя Ротшильдов в русской литературе, общественных и политических взглядах. Не будучи историком я не могу судить о полноте этой части. Но, судя по тому, как описываемое Автором звучит на новом витке исторической спирали сегодня в общественно-политической риторике и политике, мне кажется, что эта часть – завязка нового, более масштабного, широкого и глубокого исследования.

Список литературы насчитывает больше 300 наименований, подбор которых свидетельствует о книге как о серьёзном историческом исследовании. Кому-то она может показаться компиляцией – мол, пересказывает прочитанное. Однако, такой упрёк был бы несправедлив – это именно исследование, приглашающее к исследованию читателя. Во всём, что Автор пишет, звучит эта исследовательская работа, направленная не на оценки «хорошо vs. плохо», не на выявление и построение единственно верного понимания истории евреев в России, но на реконструкцию реальности-такой-как-она-была, лежащую в основу метода Льва Бердникова и делающую его почерк исследователя и писателя узнаваемым.

Две получившие наибольший публичный резонанс в начале нашего века книги на эту тему², во-первых, небеспристрастны или, скажем иначе, по-разному, но идеологизированы, а во-вторых и в связи этим, обращение к конкретным судьбам и фактам скорее носит характер иллюстраций и аргументов, чем инструмента исследования. У Льва Бердникова во главе угла конкретика судеб конкретных людей в конкретных обстоятельствах и в тесной взаимосвязи этих переплетающихся конкретик. Не от мнения к поиску подтверждающих его фактов, а от исследова-

ния фактов к формированию не навязываемого читателю, но требующего его собственных усилий и выборов мнения. И бог, и дьявол в деталях. Автор обращается к ним, как бережный археолог, не глядя на них через призму предзаданных значений, но выводя из них значения и прослеживая связи между деталями, что позволяет видеть не только структуру, но и образуемые ими системы культуры. Это особенно важно, когда речь идёт о книге, охватывающей шесть столетий. Достаточно напомнить, что понятие личности появилось в Европе лишь в XVII в. и «Я» как слепок социальной роли стало постепенно сдвигаться к «Я» индивида: сегодняшнее и тогдашнее «Я» – два разных «Я», которые едва ли могли бы представить себя на месте друг друга. Слово «жид» меняло своё смыслонаполнение. Во времена Ивана III оно имело смысл преимущественно религиозный: жидовин это иудей, жидовствующие – обращающиеся в иудаизм. До определяемого по крови, форме носа, при помощи антропометрического циркуля жиды были ещё далеко. Веру можно было сменить – не без того, конечно, чтобы оказаться своим среди чужих и чужим среди своих: для православных жид крещёный, даже достигавший жизненных высот, был, что вор прощёный, для иудеев он просто умирал для общины, а облик и генеалогию, сколько ни меняй имя и фамилию, не сменишь – бьют не по паспорту ... Соотношения культуры и крови в определении этноса, нации, национальности и сегодня остаются предметом непримиримых споров, а история становления этих соотношений тем более трудна для анализа вне динамичных здесь-и-сейчас во всей полноте их контекстов. Но так или иначе российские евреи были не только объектами меняющегося отношения к ним, но и субъектами, по-разному в разные времена видевшими себя, людей, власть, общество и вступающими с ними в отношения. Судить о жизни евреев в России без учёта этого, исходя из сегодняшних представлений, было бы так же опрометчиво, как судить о защищённой в XVII в. диссертации по критериям диссертационного совета начала XXI в.

Всё будет, как должно быть, даже если будет иначе – говорили древние китайцы. Всё было, как должно было быть, даже если нам хочется, чтобы было иначе. «Времена не выбирают, в них живут и умирают» (Александр Кушнер) – и мы, и те, о ком пишет Лев Бердников. Каждый из них шёл своим Путём и прокладывая свои пути в жизни – такой, какая она была в контексте их времени. Еврей или не-еврей, юдофоб или юдофил, внутренне свободный или склонный к клише чёрно-белого видения человек – все так или иначе прорабатывают своё понимание места и роли евреев в жизни. Академические рассуждения о том, что такое этнос, нация, национальность и т.п., что правильно или неправильно с точки зрения науки, тут не помогают – человеческие отношения не прикладная наука и каждый может найти в книге подтверждения своим убеждениям и предубеждениям. Но она и не направлена на убеждение и переубеждение. Она, скорее, исходит из сказанного М. Цветаевой: «... понять и есть принять, никакого другого понимания нет, всякое иное понимание — непонимание»⁴, предлагая читателю принять реальность времени и судеб такой, какой она была при жизни её героев вместо того, чтобы множить непонимания.

Примечания:

¹ – *Евреи в ливреях: литературные портреты*. М.:Человек, 2009; *Евреи государства Российского (XV – начало XX в.в.)*. М.:Человек, 2011. – 488 с.; *Jews in Service to the Tsar*. Montpelier, 2011.

² – *Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII – начала XIX века.* СПб., 1997; 2-е изд. - 2013; *Щёголи и вертопрахи. Герои русского Галантного века.* М., 2008; *Шуты и острословы. Герои былых времен.* М, 2009; *Русский Галантный век в лицах и сюжетах*, Т. 1-2. Montreal, 2013 и нескольких сотен публикаций в России, США, Канаде, Англии, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине, Беларуси, Молдове, часть из которых можно найти в Журнальном Зале - <http://magazines.russ.ru/authors/b/berdnikov/>.

³ – Солженицын А.И. *Двести лет вместе.* М.:Русский мир. Том 1 – 2001, том 2 – 2002 и С. Резник *Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки на полях диалогии* А.И. Солженицына. М.:Изд. Захаров, 2005.

⁴ – М. Цветаева. *Собр. соч. в 7-ми т.т.* Том 5. М.:Эллис Лак, 1994



Александр Левинтов

ДВЕ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

Мы, старшекурсники киноколледжа (по-школьному — 10-11 классы), два киношника — из Германии и США, и я, учитель географии в киноколледже, встретились на Новокузнецкой. Мы стоим на Пятницкой. Двое из группы работают ещё и переводчиками, что требует от них интегративной ориентации и на иностранный язык и на географию.

— Обратите внимание: все улицы Замоскворечья слегка кривоваты, чтобы ордынская или ногайская конница шла помедленнее. И на каждом углу — церковь, чем ближе к Кремлю, тем выше и праздничней, чтобы въезжающий в Москву был подготовлен к великолепию Кремля (*в отличие от истории, которая стремится всё описать, география стремится всё объяснить*). В Москве всегда любили поест, и даже были Обжорные ряды, но самыми популярными были и остаются две: Мясницкая и Пятницкая. Посмотрите, сколько здесь кафе, ресторанов, питейных заведений, забегаловок — на любой вкус и кошелек. Недаром один из популярных фильмов советского времени так и назывался — «Трактир на Пятницкой» (*надо было важно связать рассказ с интересами и будничными делами ребят, ведь кино для них — будни, а вот географическая экскурсия — праздник*).

Мы сворачиваем в Большой Климентовский и останавливаемся у церкви во имя Климентия, к сожалению, запертой.

— Кажется, всего два Папы Римских приняты в сонм святых русской православной церкви, первый...

— Апостол Петр, а кто второй?

— А вторым стал Климентий, который стал Папой сразу после апостола Петра. На иконах его обычно изображают привязанным к якорю.

— Почему?

— За приверженность к христианству он был таким странным образом казнен: его привязали к корабельному якорю и утопили в бухте, в Инкермане.

— В Крыму?

— Да. С Крымом связаны имена многих первохристиан и самые знаменитые из них целители Козьма и Дамиан. Целебный источник Козьмо-Дамиановского монастыря в Крыму признавался святым не только христианами, но и мусульманами (*никогда не надо педалировать только христианство, это выглядит как пропаганда*).

Ещё сто метров — и мы на углу Ордынки и Большого Климентовского.

— Посмотрите направо — это церковь Всех Скорбящих Радостей, построена архитектором Бовэ, автором первого генплана Москвы, разработанного после пожара 1812 года. А налево — церковь Николы в Пыжах. За спиной у нас Климентовская церковь. В этом треугольнике и находится географический или, что то же самое, геометрический центр Москвы.

— А кто это определил?

— Ваш покорный слуга, по просьбе главного археолога Москвы.

— А как это вы определили?

— Очень просто: начертил на световом столе и вырезал из листа бумаги А-4 контур Москвы по МКАДу (тогда это и была граница Москвы), взял иголку, поставил ее острием вверх и осторожно стал искать такое положение, когда бумага ба-

лансирует на острие и никуда не падает, проткнул в этом месте бумагу, ну, а потом перенес на том же световом столе на карту (*хорошо бы найти повод продемонстрировать инструментальность и практическую пригодность географии*).

— Действительно просто, а где сейчас географический центр Москвы?

— Это нелепо — он за МКАДом. Когда к Москве присоединили в 2012 году огромный клин аж до Калужской области, Москва потеряла свой урбанистический образ и смысл (*если есть возможность, надо проявлять свою гражданскую и патриотическую позицию*).

Мы проходим ещё около пятидесяти метров и останавливаемся у очень компактной, но выразительной скульптуры из нескольких картинных рам:

— Это — указатель того, что мы идем правильно: за углом — Третьяковская галерея. Обратите внимание на приятный особняк налево от нас — это публичная педагогическая библиотека имени Ушинского. Здесь очень удобно работать и хорошая коллекция книг.

Мы сворачиваем направо, к Третьяковке.

— Что вы знаете об этой галерее и ее основателях? (*к великому сожалению, даже эти, очень одарённые художественно, ребята практически не знают ничего, иностранцы же и не слышали, что такая есть*)

— Здесь собраны картины, скульптуры, иконы и другие произведения искусств, созданные нашими соотечественниками. Братья Третьяковы успешно конкурировали с самим царём, который также собирал коллекцию русских художников в Русском музее Петербурга. Именно поэтому вы увидите и тут и там знаменитый «Девятый вал» Айвазовского. Чтобы опередить царя, Третьяков стал покупать картины художников, что называется, на корню. Вы все знаете «Три богатыря» Васнецова. Третьяков купил эту картину недорисованной. Утром надо было открывать, а лица Добрыни Никитича ещё не было. Ситуация отчаянная. Где располагается Добрыня?

— Слева от Ильи Муромца.

— Верно. Васнецов приставил к картине стремянку, взял зеркало и нарисовал Добрыню как свой автопортрет.

А напротив Третьяковки, видите?, художественная школа. Это — ваши коллеги, только их школа гораздо старше вашей и расположена просто идеально, ведь для них Третьяковка — это не только святыня, но и учебное пространство.

Мы идём Лаврушинским переулком к Канаве, и я рассказываю о Кадашах, очень милом и своеобразном фрагменте Замоскворечья.

На Лужковом мостике мы останавливаемся для панорамного рассказа о театре «Ударник», кондитерской фабрике «Красный октябрь», бывшая «Эйнемъ», о «Доме на Набережной» и его обитателях, о Болотной площади (она же Лабазная, она же площадь Регина) и ее истории от скотобоев и казней Стеньки Разина с со товарищи и, через сто лет, Емельяна Пугачева и до разогнанного митинга 6 мая 2012 года.

Мы подходим к композиции Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых»: ребята сами читают надписи на фигурах и комментируют скульптурные изображения (*не надо вмешиваться в их интерпретации, даже если они кажутся наивными, неверными или озорными — тут важна не правильность суждений и оценок, а их субъективация*).

От Болотной мы идем к следующему, Чугунному, мосту через Канаву, и я рассказываю о Балчуге, о цыганском таборе, располагавшемся здесь, о том, что в

детстве ещё застал на этом месте пёстрые кибитки цыган. На Балчуге в 1552 году Иван Грозный открыл первый в Москве кабак и потому Балчуг и его продолжение, Пятницкая улица, — родина московского ресторано-кафейного бизнеса. Последний отрезок пути, сто с небольшим метров от Чугунного моста до метро «Новокузнецкая», посвящен типам древнего московского общепита и, в частности, неправильному названию фильма «Трактир на Пятницкой», ведь трактиры ставились на трактах, называемых теперь шоссе, на выезде из города, а не в самом центре его (*всего мы за полтора часа прошли не более полутора километров и сделали восемь «привалов»*).

За час мы сильно озябли и промокли, поэтому поужинали в «Дровах» на Пятницкой, где состоялась заключительная «пресс-конференция» (*вопросы должны быть исчерпаны, и не на ходу, а в степенной и теплой обстановке застолья*).

Вторая экскурсия была автобусной, всё в том же ноябре «снег с дождём». Московский киноколледж шефствует над детским домом в городе Кадников Вологодской области. «Киношники» каждое лето выезжают в Кадников, везут подарки и спектакли, а зимой принимают в Москве небольшие, по 20-25 человек, группы из Кадникова.

В программу одной из таких поездок решено было включить автобусную экскурсию по Москве.

Колледж находится на Шаболовке, и первая наша остановка намечена на смотровой площадке Воробьевых гор. Проезжаем мимо памятника Юрию Гагарину, и с ужасом понимается, что дети не знают, кто это такой.

Мы — на Воробьевых горах. Мы стоим лицом к главному зданию Московского университета (небольшой рассказ об этом комплексе и истории университета):

— За буйное поведение Михаила Ломоносова выслали из Петербурга в Москву организовывать университет. Есть такая легенда, что он — незаконный сын Петра I, бывавшего в Холмогорах. Так что, возможно, императрица Елизавета Петровна выслала своего незаконного брата за фамильное сходство.

Открылся университет в Татьянин день, по новому стилю 25 января 1755 года на Красной площади, в здании бывшей главной аптеки. В нем училось тогда 17 человек, всего лишь. Вскоре университет переехал на Моховую, а к 200-летию переехал сюда и стал самой заметной вехой Москвы.

Перед нами — панорама Москвы (*Москва никогда не была городом-ансамблем, это и не Прага, и не Париж, и не Венеция, а современная Москва и вовсе похожа на кашу с гвоздями, но ещё Н.Н. Баранский учил: город надо познавать с «пунта», с самого высокого места, чтобы увидеть всю его панораму. Демонстрируя Москву с Воробьевых гор прежде всего мы даём масштаб, исполинский размер города*):

— Мы видим лишь часть города. Москва — очень динамичный и быстро меняющийся город, особенно в последнее время. Если честно, мне всё труднее считать себя москвичом в этом неузнаваемом мною городе-нагромождении. Теперь я люблю лишь некоторые фрагменты города, некоторые из которых мы и посетим сегодня.

Студенты киноколледжа, два гитариста и вокалистка, подготовили целую музыкальную программу и здесь спели пару популярных песен о Москве.

Следующей точкой был Арбат. По дороге мы видели Москва-реку, Новодевичий монастырь, площадь Европы с Киевским вокзалом, полукруглый дом архитекторов на Плющихе.

Автобус высадил нас у высотного здания на Сенной, пообещав вернуться минут через сорок — его не было час: он застрял в Московских пробках. У памятника Окуджаве мы спели «Ах, Арбат, мой Арбат...», а у памятника Пушкину и Натали читали стихи. И, конечно, вовсю фотографировались (*ничто так не втягивает в экскурсию как действие совместное пение, даже если приходится порой шлепать губами*). Пряничный и намакияженный Арбат не произвёл на них никакого впечатления — детский вкус обычно безукоризнен.

Из-за запоздания автобуса мы уже не пели — горланили песни Булата Окуджавы под две гитары. Прохожие останавливались — полнобоваться этим детским энтузиазмом. Некоторые даже подпевали.

Дальше мы едем по Садовому. Мимо площади Восстания, Планетария. Наша цель — Патриаршие пруды (*конечно, тут сам собой напрашивается рассказ о Булгакове, о гибели Берлиоза, не композитора, о всём этом начале великого романа, но дети из Кадникова вряд ли обо всём этом слышали. Мы идем к комплексу памятника Крылову, и вдруг выясняется, что они не знают ни одной басни Крылова; не знают ничего и две воспитательницы, сопровождающие группу*). Я с трудом и часто путая или пропуская слова и строки читаю басни. Получается примерно так:

— Маргышке где-то Бог послал кусочек сыру, вертит она его и так и сяк, то к темени прижмёт, а то на хвост нанижет, а вы, друзья, как ни садитесь, а в оз и ныне там.

Детям смешно, студентам киноколледжа — очень смешно, и они также начинают импровизировать и дурачиться: пусть у кадниковских ребят останется впечатление о Крылове, как об очень весёлом поэте.

Апофеозом экскурсии, надо честно признать, стало посещение Макдональдса на Пушкинской. Для детей этот фастфуд был неким храмом, символом московской жизни, это то, что они будут рассказывать своим сотоварищам по детскому дому. С утилитарной точки зрения Макдональдс был просто необходимым, ведь мы уже более двух часов кружим по городу, а где группе из примерно 30 человек посетить туалет? Москва не приспособлена для детских автобусных экскурсий, как и для многого другого.

Наша следующая остановка — Манежная площадь, где, как ни странно, есть причал для экскурсионных автобусов. Мы идём на Красную площадь:

— А почему она называется Красной?

— Потому что красивая.

— Тут всё красное.

— Тут раньше казнили, и это цвет крови.

— Потому что в революцию победили красные.

— Версии достаточно убедительные, а я знаю такую: раньше здесь шла бойкая торговля, все лавочки были деревянными и часто горели. Раньше площадь называлась поэтому называлась Пожар. Царь Алексей Михайлович запретил здесь торговлю и велел снести все постройки, и с тех пор площадь называется Красной (*в географии, как и в истории главным методом является версильный, разработанный ещё Геродотом; никогда не надо отвергать другие версии, потому что каждая из них несёт заряд истинности*).

Конечно, самое интересное для ребят — храм Василия Блаженного

— Были попытки построить подобные храмы: в Петрограде Храм Спаса на Крови, в Париже — Храм Александра Невского. Они, конечно, прекрасны, но не смогли не только опередить этот, но и приблизиться к нему.

Осмотрев всё на Красной площади, мы идем к Театральной. По дороге останавливаемся на углу.

— Здесь долгие годы был музей Ленина (*кадниковские дети знают, кто это такой, их московские ровесники — лишь немногие*). А построено это здание было в конце 19 века для Московской Городской Думы, на деньги городской казны и пожертвования жителей.

Мы едем на Октябрьскую площадь:

— Посмотрите направо — Храм Христа Спасителя и Крымский мост, налево — Кремлевская набережная, а перед нами — улица Полянка. В Москве много улиц с приятными и добрыми названиями: Сивцев Вражек, Соломенная Сторожка, Синичкина Речка, Ленивка, Якиманка, Остоженка, Пречистенька, Солянка, Измайловский Зверинец и многие другие (*топонимика старинной Москвы очень выразительна и хорошо запоминается, это — одно из сокровищ нашего города, не показать которое нельзя*)

На Октябрьской площади в автобус набивается ещё куча киноколледжских. Вместе с кадниковскими они до самого колледжа, во всю Шаболовку, поют песни, которые я уже не знаю.



Алла Дубровская

ХРОНИКИ УОЛЛ-СТРИТА

Хроника первая. Шериф Уолл-стрит

Сильда была ранней пташкой в отличие от мужа, который часто засиживался допоздна в своем кабинете и с трудом просыпался по утрам. Почему-то на этот раз он поднялся раньше нее. В гостиной приглушенно работал телевизор. Весеннее солнце пробивалось сквозь жалюзи спальни, освещая фигурку фарфорового ангела — странного гостя в квартире Элиота Спитцера. Когда-то он был подарен Сильде и понравился ей задумчивым выражением склоненного личика. Распростертые крылья фигурки в неярких лучах солнца казались прозрачными. Цифра шесть с двумя нулями загорелась на табло будильника, когда в дверях спальни показалась худощавая фигура Спитцера.

— Сильда, я должен сказать тебе что-то важное.

Непривычная интонация в голосе мужа заставила Сильду приподняться в постели.

Под мартовским солнцем оттопыренные уши губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера пылали ярким огнем, в то время как лицо с острым подбородком было мучнистого цвета.

— Господи, да что случилось-то?

— Прости меня, прости, — грохнулся он на колени. — Все кончено... Со мной все кончено... Я попался, Сильда. Я пользовался услугами проституток из «Клуба императоров». Об этом стало известно... Теперь я должен подать в отставку...

Что Сильда может сказать в ответ? Это неожиданно. Вот она и молчит.

— Ты только, ради бога, не подумай, что мне нужны были какие-то отношения, привязанности, симпатии. Они все были для меня одинаковы... на одно лицо, то есть на одну эту... Ну, ты меня понимаешь...

А вот это неправда.

Если джентльмен покупает автомобиль, он хочет знать его технические характеристики. Если джентльмен покупает девушку, он хочет знать, за что платит. Кто-то ездит в «шевроле», ну а кто-то в «порше». Кто-то платит двести долларов в час девушке, давшей объявление в «Крейгслист», ну а кто-то платит за то же самое две тысячи долларов девушке из «Клуба императоров». Джентльмен выбирает — джентльмен платит. Дело вкуса и цены.

Оставим раз и навсегда тему несчастного голодного детства и безвыходность ситуации. Устроиться работать в «Клуб императоров» могли далеко не все желающие. Сюда брали девушек только с высшими показателями, рассчитанными на самые разнообразные вкусы джентльменов с высоким доходом: красавиц блондинок и темпераментных брюнеток, начинающих актрис и молодых певиц, длинноногих моделей и спортсменов, пытающихся пробиться на Олимпийские игры.

Выросшая на побережье Нью-Джерси Эшли Дюпре отлично смотрелась на фотографиях в бикини. Ее нельзя было назвать красавицей, но была в ней какая-то изюминка вдобавок к двум другим, призывно направленным на алчущих джентльменов. Татуировка ниже пупка и тщательно выбритая пусси добавляли особого шарма ее достоинствам, перед которыми не устоял губернатор штата Нью-Йорк.

Сильде Спитцер еще не известны пикантные подробности падения мужа, но ей уже есть о чем подумать. Двадцать один год совместной жизни. Трое детей. Все, что у нее есть, связано с ним: положение в обществе, безукоризненная репутация, деньги, в конце концов.

Она смотрит на его залитое слезами лицо. Конечно, теперь скандал неизбежен. Кто только не подбросит дров в разгорающееся пламя: неподкупный Спитцер и девочки из «Клуба императоров». Неужели так приперло, что ради этого стоило рисковать карьерой и семьей?

Сильда горестно усмехается. Значит, приперло. А вот это уже больно.

— Пусти-ка, — говорит она, отстраняя от себя мужа. — Выходит, моего тела тебе недостаточно.

Он что-то бормочет в ответ.

Когда-то Сильда Уолл была высокой светловолосой девушкой с длинными ногами. И хотя, как известно, джентльмены предпочитают блондинок, ей и в голову не приходило подрабатывать в эскорт-сервисах, зато целеустремленность и честолюбие привели ее в Гарвард, куда без этих качеств не попасть. Родители Сильды не были людьми состоятельными, но старались, как могли, поддержать дочь, пока она училась на адвоката, рассчитывая на то, что будущие высокие гонорары корпоративного юрисконсульта возместят все затраты на обучение.

Громадные состояния родителей студента Элиота Спитцера позволяло ему не думать о высоких окладах адвокатов и корпоративных юристов. Окончив Принстон, он сразу же подался в Гарвард, где хотел досконально изучить уголовное право. Странные мысли одолевали еврейского юношу из семьи миллионера. Идея социального равенства, приведшая его предков в киббуц на палестинской земле, воплотилась в голове молодого Спитцера в стремление ко всеобщему равенству перед законом. Страстность, с которой он обсуждал на семинарах скучные для Сильды статьи уголовного кодекса, обратила на себя внимание молодой девушки. Она стала провожать взглядом долговязую фигуру Элиота в коридорах университета и следить за его игрой на теннисном корте, где он с азартом вколачивал желтые мячики в поле противника. К концу первого семестра Сильда решила перейти к действиям и, узнав время утренних пробежек объекта своего наблюдения, удачно подвернула ногу прямо на виду у бегущего Спитцера. Знакомство состоялось. Дальше все получилось как-то само собой. Конечно, ни о какой хупе не могло быть и речи: Сильда была баптисткой и не собиралась менять вероисповедание. Но никто и не настаивал на еврейской свадьбе. Спитцером-старшим понравился выбор их сына. Семейство Уоллов тоже было вполне счастливо. И все было хорошо. И все было прекрасно. После окончания Гарварда жизнь покатила по накатанным рельсам: работа с высокими окладами в престижных фирмах Нью-Йорка, шикарная квартира в Верхнем Ист-Сайде, две прекрасные породистые собаки, мимо которых не мог равнодушно пройти ни один посетитель Центрального парка, где свободными вечерами их выгуливали Спитцеры. Но вскоре Элиоту наскучило быть хранителем корпоративных тайн и он перешел на работу сначала к окружному судье, а немного позднее — к окружному прокурору.

Постепенно криминальный мир Нью-Йорка предстал перед ним во всем своем отвратительном многообразии. Но не мелкие ворюшки и жулики привлекли внимание молодого и энергичного прокурора. Он решился бросить вызов главарям организованной преступности родного города. Выбор пал на мафиозный клан Гамбино, контролировавший азартные игры, доходы от продажи наркотиков и прости-

туции. Захват с поличным и арест главарей мафии — дело чрезвычайно тонкое и трудоемкое. Тут не обойтись разовым наскоком. У семейства Гамбино были прочные связи с профсоюзами и свои высокооплачиваемые адвокаты. Доскональное изучение сферы их преступной деятельности позволило Спитцеру разработать операцию по внедрению своего человека в клан и установке прослушки. На это ушло четыре года и закончилось арестом одного из главарей. Успех Спитцера был замечен. Перед ним открывалась дорога в генеральные прокуроры штата.

Пока Элиот расставлял ловушки преступникам, Сильда рожала детей и занималась благотворительностью. Она и не заметила, как поредели волосы на макушке мужа, заострился и без того крючковатый нос, а губы почти исчезли с его вечно напряженно сжатого рта. Он всегда оставался ее кумиром, на которого она взирала с гордостью и обожанием. К тому же ей вполне подошла роль сначала жены генерального прокурора штата, а потом и жены губернатора. Вокруг нее открыто говорили, что быть Спитцеру первым еврейским президентом. И вот на тебе...

В ванной комнате Сильда снимает ночную рубашку и пристально рассматривает свое тело. Конечно, не девушка из «Плейбоя», но все не так уж и плохо для пятидесяти лет. Может ли секс с проституткой считаться супружеской изменой? И вообще, что такое проститутка, как не инструмент для получения оргазма? Сильда вдруг вспомнила про вибратор, припрятанный в потайном ящичке. Не изменяла ли она мужу с вибратором? Ну, это уж совсем глупости.

Включив душ привычным движением руки, она не спешит встать под его струи. Нет-нет, это ее вина. В запотевшем зеркале не видно, как слезы скатываются по ее недавно подтянутым щекам. Хирург заверил, что подтяжки хватит лет на десять. Что будет с ней и Элиотом через десять лет?

Уже стоя под душем, она пытается вспомнить, сколько раз отказывала мужу в близости, ссылаясь то на усталость, то на головную боль. Он всегда был так деликатен и никогда не настаивал на сексе, если у нее не было настроения... И вот вам пожалуйста. Нет-нет, это ее вина.

Пока Сильда предается печальным мыслям в ванной комнате, Элиот терпеливо ждет ее решения в спальне. Он не отвечает на ранние телефонные звонки и не собирается на свою обычную утреннюю пробежку по парку. Как это там у Толстого? Все смешалось в голове у Спитцера...

Наконец дверь ванной комнаты открывается. На ее пороге стоит серьезная и сосредоточенная Сильда.

— А почему, собственно, ты должен подавать в отставку? — говорит она.

И в самом деле. Секс-скандалы стали нескончаемой темой последних извести на телевидении и первых страницах газет всех направлений. Кого тут только не было, начиная с президентов и кончая школьными учителями. И все так или иначе пережили свой позор.

Так почему губернатор штата Нью-Йорк должен уходить в отставку? Не будет ли достаточно публичного раскаяния, признания вины и обещания оправдать доверие избирателей?

До следующих выборов, по крайней мере. В конце концов, он может рассчитывать на поддержку друзей. Враги, конечно, будут злорадствовать, но это придется пережить.

А врагов у Элиота Спитцера было предостаточно, и ему всегда удавалось умножать их число. По-другому и быть не могло, потому что, став генеральным прокурором, он поставил перед собой задачу борьбы не просто с преступностью, а

с самой системой, порождающей преступность. Такой замах требовал не только титанических усилий, но и безупречной репутации. И ему пришлось немало потрудиться, чтобы такую репутацию завоевать.

Спитцера мало интересовала уличная преступность Нью-Йорка. Здесь отлично поработал его предшественник Руди Джулиани, очистив город от мелких продавцов наркотиков и проституток. Спитцеру были нужны громкие дела, привлекающие внимание прессы и жителей города. Так начался процесс с нещадно дымящими электростанциями в Огайо по делу о загрязнении воздуха Нью-Йорка, за ним последовал другой, с известной корпорацией General Electric — по сливу ядовитых отходов в воды Гудзона. Потом пошли суды с фармацевтическими компаниями из-за сокрытия побочных эффектов выпускаемых лекарств, с фешенебельными ресторанами из-за отказа в приеме на работу женщин, с ведущими дилерами из-за махинаций на рынке продажи автомобилей. Все это и многое другое можно было положить в копилку «хороших дел» Спитцера. В копилку «плохих дел» тогда еще никто не заглядывал...

— Ну, что мы будем делать дальше? — каждое утро вопрошал он команду молодых адвокатов, вдохновленных его победами в борьбе за чистоту окружающей среды.

— А не заняться ли нам Уолл-стрит? — предложил как-то один из них. — К нам поступил сигнал от некоей дамы. Она оставила длинное сообщение на ваше имя: подозревает, что на бирже происходят крупные махинации с взаимными фондами^[1].

Сообщение прослушали.

— Не может быть, — не поверил Спитцер. — взаимные фонды всегда считались надежным видом вклада для американцев со средним доходом. Что-то я не припомню никаких скандалов по этому поводу. Надо бы эту даму найти. Давайте переждем немного, может, она объявится снова.

И дама объявилась. Норин Харрингтон оказалась не сумасшедшей стукачкой, а профессиональным финансистом с многолетним стажем работы в крупнейших банках Америки. К тому же она отлично разбиралась в сложнейшем механизме нью-йоркской биржи, где проработала долгие годы трейдером Goldman Sachs^[2]. Специалисты такого уровня, как правило, высоко котируются и не жалуются на доходы.

— Так что же вас к нам привело?

Норин усадили в кресло напротив группы молодых людей, готовых выслушать ее показания.

— Моя сестра, — немного смущаясь, начала та. — В последние годы она откладывала значительные суммы на свой пенсионный счет и, как многие из нас, инвестировала эти деньги во взаимный фонд, надеясь обеспечить себе достойную старость, но ее вклады по какой-то непонятной причине растворялись. Я немного разбираюсь в финансах, и меня это страшно заинтересовало. Оказалось, что моя сестра и фирма, в которой я работала, инвестировали в один и тот же взаимный фонд. И насколько мне было известно, дела у фирмы шли отлично. Так почему моя сестра терпела убытки? Вот я и начала свое расследование.

Последующие сорок минут ушли у Норин на подробные объяснения того, что ей удалось выяснить.

Когда она закончила, слушавшие ее растерянно переглянулись. Никто ничего не понял.

— А нельзя ли все это рассказать еще раз, только проще? — попросил один из них.

— Проще... — задумалась Норин. — Ну, вот представьте себе ипподром. Ваши ставки принимаются до того, как бега начинаются, да?

Это было понятно всем.

— А теперь представьте, что вам заранее известен победитель скачек, вы ставите на этого победителя и выигрываете. Всегда выигрываете. Ваша победа гарантирована потому, что вы входите в особый элитарный круг, в то время как другие проигрывают или выигрывают случайно.

Норин вопросительно взглянула на внимательно слушающих ее молодых людей.

— Так вот, — продолжила она, — на нью-йоркской бирже цены на акции могут колебаться чуть ли не каждую минуту. Совсем другое дело с акциями взаимных фондов. Заявку на их покупку или продажу можно подавать в любое время, но цена этих акций становится известна только в четыре часа дня, со звуком финального гонга. Если вы подали заявку в 4:01, сделка будет совершена уже по завтрашней цене. А что, если вы получили возможность совершить сделку после четырех часов, но по цене текущего дня? Тогда вы можете быстро скинуть те акции, продажа которых принесет вам доход, или приобрести акции, которые будет выгодно продать на следующий день. Я не говорю о таких инвесторах, как моя сестра или ваши родители. Я говорю о крупных вкладчиках, ворочающих миллионами, а это прежде всего хедж-фонды^[3].

— Нам нужны неопровержимые доказательства такой практики, — в кабинет стремительно влетел Спитцер.

Норин почувствовала себя неловко под взглядом его внимательных глаз. «Как будто я арестована и должна давать показания», — подумала она.

— Когда и где вы впервые заподозрили неладное?

Она задумалась на какое-то время:

— Пожалуй, несколько лет назад, когда я работала в компании Эда Стерна, младшего сына миллиардера Леонарда Стерна, сделавшего состояние на продаже корма для домашних животных. У компании Стерна-младшего был свой хедж-фонд, который на удивление удачно оперировал на бирже в то время, как другие фонды терпели убытки. Само по себе это обстоятельство еще ни о чем не говорит, но однажды, засидевшись допоздна на работе, я стала свидетелем возбужденного ликования группы людей, столпившихся вокруг терминала^[4]. Насколько я поняла, они только что получили куш в девять миллионов долларов. Вот это меня действительно удивило. Время было позднее. «Вы что, торгуете с Японией?» — спросила я. Но ответа не последовало. После этого вечера я стала очень внимательно приглядываться ко времени подачи их заявок на покупку-продажу акций взаимных фондов. Оказалось, что все они подавались после четырех часов, но реализовывались по цене текущего дня. Думаю, можно с уверенностью говорить о позднем трейдинге^[5].

— Но цена акции взаимного фонда при этом остается неизменной. Найдем ли мы достаточно оснований привлечь Стерна-младшего к ответственности? — засомневался кто-то.

— Подумайте о простых вкладчиках. Моя сестра, как и тысячи других ей подобных, понятия не имеют о том, что делается на бирже, да ей и не надо этого знать. Все сделки за нее совершает доверенное лицо — менеджер взаимного фонда, конечно, за комиссионные. С этим приходится считаться. Вообще-то это обходится довольно дорого: платить тому, кто играет за тебя на бирже, но такое уж условие игры, и тут ничего не поделаешь. Расходы окупаются прибыльными сделками. Но

все дело в том, что поздний трейдинг доступен только определенной группе инвесторов и поэтому они всегда выигрывают, а такие, как моя сестра, продолжают оплачивать труд своих фондовых менеджеров даже в случае убыточных сделок. Страдают миллионы простых вкладчиков, понимаете?

— Но почему трейдеры идут на такое явное нарушение закона? — не удержался от наивного вопроса один из слушателей Норин.

— Чем крупнее фонд, тем дороже оплата услуг, и чем крупнее операция, тем больше комиссионные. Согласитесь, в этом есть определенный стимул, — грустно улыбнулась та.

— Ну что ж, — сжал губы в узкую полоску Спитцер, — посмотрим, что у них там творится с самыми «надежными» фондами, и начнем со Стерна-младшего.

А дела на бирже творились очень даже интересные. Через три месяца команде генерального прокурора стал понятен исключительный успех хедж-фонда, принадлежащего Стерну-младшему. Производимые махинации были до смешного простыми: в четыре часа дня часы на сервере банка, продающего акции взаимных фондов, переводились на три минуты назад. За это время брокеры успевали реализовать те акции, которые приносили прибыль, и отменить убыточные сделки. Другими словами, они делали именно то, в чем их подозревала Норин Харрингтон. Такие операции были запрещены законом, и банком, совершающим поздний трейдинг, был ни много ни мало Bank of America⁶¹.

Скандал разразился, как только стало известно, что подобные операции совершались постоянно и приносили миллионные доходы участникам. Доверие к взаимным фондам было подорвано. Адвокат, спешно нанятый Эдом Стерном из числа лучших специалистов по финансовым нарушениям, посоветовал ему признать факт позднего трейдинга и заплатить штраф в размере десяти миллионов долларов. Но досудебная сделка была заключена только после того, как Стерн согласился заплатить дополнительные тридцать миллионов в счет вкладчиков взаимных фондов. Bank of America внес в копилку «хороших дел» Спитцера еще шестьсот семьдесят пять миллионов долларов. Вдобавок своих мест лишились несколько членов совета директоров банка, впрочем, они скорее были этому рады: дело могло обернуться судебным разбирательством.

— Ну, и чего этим сукиным детям не хватало? — в штабе генерального прокурора решили отметить успешное завершение дела по расследованию позднего трейдинга. — Что заставило один из самых крупных банков Америки и известного миллионера с довольно приличной до этого скандала репутацией пойти на обыкновенное жульничество? — стоя с бокалом шампанского, все так же строго и энергично вопрошал свою команду Спитцер.

— Жадность, — просто и уверенно ответил кто-то.

— Ну да. Это известный двигатель нашего фондового рынка, — согласился Спитцер. — Надо бы нам присмотреться поближе к тому, что там происходит...

Что могли означать такие слова из уст прокурора? Конечно же, объявление войны Уолл-стрит. Не все поняли ожесточенность Спитцера, направленную на собратьев по классу. В конце концов, его собственный отец сколотил миллионное состояние, да и сам Элиот был далеко не беден. Его жизнь протекала между квартирой в фешенебельном Ист-сайде, Пятой авеню, где жили его родители, и офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк на Бродвее. Первые уроки игры в «Монополию» он получил уже в девять лет, заливаясь слезами после огорчительных поражений от Спитцера-старшего, учившего сына правилам игры. И игра эта была

честной. Может быть, поэтому любая нечестная игра вызывала отвращение у Спитцера-младшего. К тому же он стал популярен, а популярность, как известно, надо поддерживать. И скандалы продолжались.

Это было время стремительных взлетов интернет-компаний и небывалого оживления фондового рынка. Тысячи мелких инвесторов спешили вложить свои накопления в доткомы^[7] в расчете на быстрое и верное обогащение, но большинство таких вкладчиков не имели достаточных знаний и опыта для успешной игры на бирже. В их распоряжение были предоставлены услуги фондовых аналитиков — специалистов, готовых давать советы по покупке или продаже акций. Через какое-то время быстрый подъем многочисленных интернетовских компаний сменился таким же быстрым падением. Но странное дело, акции некоторых доткомов провалились по сравнительно высоким ценам буквально накануне их краха. Для людей, знающих, как делаются дела на бирже, было ясно, что котировки взвинчиваются специально, чтобы дать возможность кому-то избавиться от ценных бумаг до того, как их стоимость упадет ниже плинтуса. Подозрения пали на Merrill Lynch^[8]. Однако подозрения, как известно, к делу не пришьешь. У Спитцера не было конкретных улик, хотя чутье и говорило ему, что он на верном пути.

— Ну что, дадим Меррилу сорваться с крючка? — чуть ли не каждый день вопрошал генпрокурор свою команду.

Этого никому не хотелось. И вскоре зацепка нашлась: иск одного инвестора, следовавшего рекомендациям известного биржевого аналитика из Merrill Lynch и потерявшего все свои накопления.

— Отлично, ребята. Теперь давайте думать, как отбиться от своры их адвокатов и проникнуть в святая святых. Думаю, нас там ждет много интересного.

Ребята и впрямь были отличными. Они откопали давно всеми забытый, но никем не отмененный закон Мартина, принятый в 1921 году и дающий право генеральному прокурору штата Нью-Йорк возбуждать уголовные дела против тех, кто подозревается в обмане потребителей.

И такое уголовное дело было возбуждено Спитцером. По его распоряжению Merrill Lynch представил тридцать коробок электронной переписки между брокерами и знаменитым биржевым аналитиком, часто появлявшимся на экранах телевизоров. Открывшиеся цинизм и размах преступлений превзошли все подозрения.

— Нет, ты представляешь, какие мерзавцы! — делился впечатлениями Элиот с женой, сидя в просторной кухне и энергично поглощая салат, наспех приготовленной Сильдой. Три дочери, две собаки, бесконечные хлопоты, связанные с благотворительным фондом, отнимали почти все ее время, поэтому она дорожила каждой минутой, проведенной с мужем. Нежно глядя в его исхудавшее лицо, она тихонько подкладывала тофу в соусе в его быстро пустеющую тарелку.

— Эти аналитики, эти гребаные гуру фондового рынка, — увлеченно продолжал тот, — на деле обыкновенные мошенники, обворовывающие простых Мэри и Джона Смитов. Ты знаешь, дорогая, мои ребята внимательно просмотрели переписку одного такого умника с брокерами Merrill Lynch и заметили, что некоторые акции, которые он рекомендовал к продаже, помечены двумя загадочными буквами — КД. Никто из нас не мог понять, что это такое. Слава богу, у одного из брокеров мы нашли словарь кратких обозначений. И что, ты думаешь, это значит?

Сильда в недоумении пожала плечами.

— Кусок дерьма! — Спитцер возмущенно звякнул ножом о тарелку. — Они прекрасно знали, что впаривают людям дерьмо! И при этом давали этому дерьму

высокий рейтинг. Естественно, Мэри и Джон теряли деньги, и тогда им говорилось, что интернетовские компании в группе высокого риска и, мол, в них нельзя вкладывать все свои накопления.

Сильда не была наивной девушкой и кое-что в бизнесе понимала, поэтому она удивленно подняла брови:

— Ну, насчет риска с ними не поспоришь. Это действительно так. Я вот не понимаю, что, собственно, они имели с продажи, как ты говоришь, дерьма?

— Как что? Обыкновенные откаты. Числа с шестью нулями. У них ведь как заведено: какой-нибудь очередной дотком собирается стать публичной компанией и обращается, допустим, в Merrill Lynch с предложением разместить IPO^[9], что те и делают, причем, если игра кажется стоящей и сулит прибыль, этот же самый банк приобретает львиную долю акций, ну, конечно, немало перепадает и директорам компании. Остатки получают такие, как Мэри и Джон, которых наши аналитики раскручивают по полной программе. Где-то через полгода выясняется, что дотком неприбыльный. Мэри хочет продать свои акции, но ей говорят, что убытки временные и цена пойдет вверх еще через полгода. Пока Merrill срочно распродает свою долю, они говорят Джону, что есть смысл купить эти самые акции и держать их до лучших времен. И люди им верят. А как не верить? Их по телевизору показывают, они бесплатно раздают советы в журналах и газетах, только зарабатывают при этом миллионы на таких, как наши Мэри и Джон. И при этом считают, что так и должно быть, что все у них правильно и законно. Только я это так не оставлю. Не на того они напали, понимаешь?

Семейный ужин закончился. Спитцер ушел в кабинет разрабатывать тактику борьбы с адвокатами Merrill Lynch. Сильда осталась на кухне. У нее усталое и счастливое лицо. Откуда же ей знать, что не только дела Уолл-стрит занимают ее мужа. Она и понятия не имеет об эскорт-сервисе под названием «Нью-Йорк конфиденшл», разогнанном полицией в Нижнем Манхэттене. Сутенеров ненадолго посадили, проституток взяли на учет. Вполне возможно, что именно тогда Спитцер увидел и запомнил фотографию Эшли Дюпре в стрингах. Через несколько лет он выберет ее на сайте «Клуба императоров» для свидания в отеле. Ну а пока он готовится к другим встречам. Копилка «плохих дел» все еще пуста.

Борьба с адвокатами Merrill Lynch заняла несколько месяцев. На Спитцера и его команду были спущены сторожевые псы Уолл-стрит. В печати появились заметки опытных финансистов, кричащих действия прокурора, плохо понимающего тонкости биржевой игры. Они считали «обычной практикой» то, что Спитцер называл «конфликтом интересов», настаивая на преступном сговоре биржевых аналитиков и верхушки управления банка. Ссылаясь на мнения этих финансистов, адвокаты отказывались признать что-либо незаконное в действиях Merrill Lynch. Но когда наконец пришла очередь выложить переписку с загадочными буквами КД, защите пришлось отступить.

В многочисленных интервью Спитцер обожал рассказывать о своих переговорах с адвокатами:

— Я не перестаю удивляться цинизму ребят с Уолл-стрит. Они мне говорят: «Ну да, мы попались, но мы не самые плохие, есть банки гораздо хуже нас. Мы готовы пойти на сделку: заплатить штраф и возместить убытки потерпевшим, но никогда не признаемся публично в том, что наши действия были неправомочны». Договоримся, мол, по-тихому. Они привыкли так договариваться. Я работаю прокурором много лет, но никогда не слышал, чтобы один вор говорил про себя, что

он не самый плохой вор, потому что есть воры похуже... Поймите меня правильно, мне не хотелось уничтожения Меррилла. Там нет моих личных врагов. Я хотел изменить систему, которая порождает этот самый «конфликт интересов», а это невозможно сделать, тихо договорившись между собой.

Вопреки всем уговорам, Спитцер устроил-таки пресс-конференцию с обнародованием документов, компрометирующих Merrill Lynch.

Может, кто другой на этом бы и успокоился, но мысль о том, что другие банки могут быть еще хуже, не давала ему покоя. Расследование продолжалось. На этот раз его помощники провели крупномасштабную операцию по проверке десяти банков Уолл-стрит. И везде одна и та же картина: сплоченная работа биржевых аналитиков и верхушки управления банков с доткомами, подкрепленная откатами и бонусами. Цифры фантастические. Размеры коррупции потрясли даже людей со слабым воображением.

И снова Спитцер не довел дела до суда над банками, предпочтя получить с них многомиллионные штрафы и возмещение убытков потерпевшим вкладчикам.

— Так кто же защищает интересы простых инвесторов, не охваченных корпоративным зудом? — лицо генерального прокурора Нью-Йорка замелькало на страницах всех популярных журналов.

Он стал едва ли не национальным героем, взявшим на себя труд разоблачения финансовых преступлений, бывших «обычной практикой» на Уолл-стрит. С такой популярностью можно было спокойно выдвигаться в губернаторы, а там, глядишь, и в президенты. Справедливости ради надо сказать, что усилий одного Спитцера и его сподвижников было бы недостаточно для изменения этой самой «обычной практики». Довольно известные экономисты заговорили о том, что необходимо пересмотреть идею саморегулирования банков и ввести ограничительные законы^[10]. Занялась расследованием и SEC^[11]. Но главное, общественное мнение складывалось далеко не в пользу финансовых воротил. Может быть, именно поэтому десять крупнейших банков согласились подписать соглашение о реформировании своей деятельности: биржевых аналитиков вывели из-под контроля банковского руководства.

— По крайней мере, они больше не будут получать деньги за то, что втохивают людям дерьмо, — подвел итог Спитцер.

И тут, как бы в подтверждение законов диалектики, количество отвоеванных у банков миллионов привело к качественным изменениям в характере генерального прокурора. Он окончательно поверил в свою миссию и направил все силы на ее осуществление. По мнению некоторых людей, миссия эта стала схожа с крестовым походом, а во внешности Спитцера появилось что-то от гонимого пса: суховатая поджарость и неутомимый блеск в глазах. Острие следующего удара он направил уже против конкретных людей, довольно известных в финансовом мире.

Хэнк Гринберг. Исполнительный директор могучей страховой корпорации AIG^[12] с 1967 года. Человек немолодой, но, несмотря на возраст, крепкого здоровья и острого ума. Сын продавца конфет из Бруклина. Воевал в Нормандии и освобождал Дахау. Прошел Корейскую войну. Вернувшись с боевыми наградами, устроился в еще небольшую тогда страховую компанию, куда набирали ветеранов всех войн. Дальше были работа и учеба, блестящая карьера и миллиардное состояние. Под его руководством страховая компания средней руки превратилась в гигантскую корпорацию с девяносто двумя тысячами работников по всему миру. Один из самых влиятельных людей финансовой Америки. Деловой партнер и друг Генри Киссинджера. Личный враг Элиота Спитцера.

Все началось, как часто начиналось в офисе генерального прокурора, с прослушивания записей телефонных разговоров. Не будем гадать, как они туда попали. Главное, что переговаривающиеся стороны настаивали на полной секретности того, о чем шла речь. А речь шла о пятистах миллионов долларов, которые AIG просила в долг у одной из компаний, принадлежащих Уоррену Баффету. Деньги были переведены. Казалось бы, что тут такого? Но почему такая секретность? И для чего нужны были пятьсот миллионов? Не для того ли, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, поднакачав ценность акций AIG?

Неугомимый огонь в глазах Спитцера разгорелся с новой силой. Добыча была крупной.

— Я его урюю, — доверительно поделился своими планами генеральный прокурор с группой помощников.

Эти слова стали известны Хэнку. Не будем выяснять, каким образом.

Маленькие руки Гринберга задрожали от волнения. Он был человеком невысокого роста, но с чрезвычайно высокой репутацией. Его обвиняли в мошенничестве. Более того, его обвиняли в мошенничестве с экранов телевизоров и в печати еще до начала какого-либо расследования.

Сказать, что он стал врагом Спитцера, это значит еще ничего не сказать. Будет гораздо точнее сказать, что он стал смертельным врагом Спитцера. Казалось бы, он должен доказать свою невиновность, как только расследование начнется, и уж тогда-то он сам во всеуслышание обвинит Спитцера в клевете. Но вот расследование наконец начинается и... Гринберг «берет пятаю»...^[13] Никто больше не прислушивается к его ответным отчаянным обвинениям Спитцера в грязной игре, затеянной во имя победы в борьбе за пост губернатора штата Нью-Йорка. Поздно. Репутация испорчена, да и секретные переговоры для получения кредита в пятьсот миллионов долларов выглядят подозрительно.

В результате Хэнк Гринберг потерял пост главного директора компании. Совет директоров попросил его подать в отставку. Теперь стали неважны личные заслуги и успех AIG за последние сорок лет. Конечно, Гринберг не пропал. Такие люди не исчезают бесследно с финансового небосвода, но в престарелом сердце Хэнка затаилась смертельная обида на генпрокурора, самоуверенность которого росла с каждым днем.

Вскоре после скандала с AIG Спитцер решил, что настала пора испортить отношения и с руководством Нью-Йоркской биржи. Намерение серьезное, хотя вполне возможно, что им таки двигала не только любовь к справедливости, но и политические амбиции. А почему бы и нет? С его рейтингом популярности можно было позволить себе многое.

На этот раз мишенью Спитцера стал человек по имени Дик Грассо. Большинству ньюйоркцев это имя ничего не говорило до событий Одиннадцатого сентября^[14]. На экранах телевизоров всей страны он появился 17 сентября, когда символическим ударом гонга оповестил мир о возобновлении работы Фондовой биржи, коммуникации которой пострадали после падения Близнецов.

Грассо был одним из многих финансистов, начавших карьеру и состояние с нуля.

Пройдя путь от простого клерка до главы совета директоров Фондовой биржи, он готовился к тихому уходу на заслуженный покой, обеспеченный многомиллионным состоянием. Вполне возможно, что его проводы на пенсию таки остались бы незамеченными, если бы не сумма выходного пособия, вызвавшая приступ

ярости у Элиота Спитцера. К слову сказать, он стал подвержен этим приступам, проявлявшимся все чаще не только на работе, но и дома.

— Ничего себе подарки! Сто девяносто миллионов долларов! Да за что, черт побери? — кричал Спитцер в своем кабинете на притихших помощников. — Насколько я знаю, биржа — организация некоммерческая, а Грассо и без того миллиардер. И потом, кто это ему так щедро отвалил напоследок?

Кен Лангон. Бывший глава совета директоров Фондовой биржи. Член комитета по вознаграждениям.

— Да, это я предложил Дику сто девяносто миллионов долларов и считаю, что он заслужил каждый бакс из этой суммы. Совет директоров поддержал меня единогласно.

Скорее всего, Лангон поспешил с таким заявлением, не подозревая, насколько может измениться мнение директоров после поднятой Спитцером шумихи в прессе. Как выяснилось позднее, кое-кто из них просто перепутал количество нулей в сумме, предназначенной для уплаты Грассо. Во всяком случае, ни о каком единогласии говорить уже не приходилось. Более того, они решили, что Дику будет лучше всего оставить свой пост, не дожидаясь пенсии. Может, кто другой на этом бы и остановился, но только не Спитцер. Он начал процесс против Грассо за конфискацию значительной части его выходного пособия.

— Ну, а что будем делать с Лангоном? — довольно наивно спросил кто-то генерального прокурора.

— Как что? — удивился тот. — Мы его уроем...

Тут уже задрожали большие, как кувалды, кулаки Лангона. За что же такое отношение? Сын водопроводчика и буфетчицы, он трудился всю жизнь, честно заработав каждый доллар своего немалого состояния.

— Не волнуйся, Кен, всех ему не урыть. Как бы он сам не закопался, — успокоил Лангона его адвокат. — Давай лучше подумаем, как ему в этом помочь...

Для начала Лангон профинансировал предвыборную кампанию оппонента Спитцера на пост губернатора Нью-Йорка. Первый раз за много лет вложение денег не принесло ему желаемых результатов, его кандидат с треском проиграл. Следующий шаг напрашивался сам собой: переговоры с Гринбергом. Старики хорошо знали не только бизнес, но и жизнь. Кто безгрешен в этом мире? Да никто... Было решено нанять частных детективов присматривать за Спитцером. И пока Сильда с дочками знакомилась с резиденцией губернатора в Олбани^[15] и принимала поздравления с победой на выборах, детективы приступили к слежке за отцом семейства.

Нельзя сказать, что Сильду не тревожило растущее число врагов ее мужа. Занимаясь благотворительностью много лет, она знала, что и Лангон, и Гринберг, и Грассо были известными филантропами, перечислявшими огромные суммы в фонды различных организаций.

Эти люди были известны и влиятельны. Так ли уж благоразумно портить с ними отношения?

Но предвыборная гонка подхватила ее и унесла вслед за Элиотом. Времени на серьезные разговоры совсем не хватало, да ей и не хотелось осложнять отношения с мужем, который становился все более нетерпимым к малейшим возражениям.

Окружение Спитцера встретило его победу ликованием. В команду нового губернатора пришли люди, проработавшие с ним много лет в офисе на Бродвее. Для них он был сродни древнегреческим героям, кем-то вроде Геракла, расчищающего Авгиевы конюшни Уолл-стрит.

Следующими должны были стать конюшни Олбани, а потом и Вашингтона. Ни больше и ни меньше.

Но вот радость по случаю победы сменилась серыми буднями. И тут выяснилось, что работа губернатора несколько отличается от работы прокурора. Многие ньюйоркцы объясняли упадок своего штата расцветом коррупции в Олбани. Собственно, демократ Спитцер и победил на выборах благодаря обещаниям положить этому конец. Первым испытанием для него стала работа над бюджетом штата. Неопытный в таких делах, он представлял себе, что сможет договориться о бюджете, усадив демократов и республиканцев за один стол и открыто обсуждая каждую статью расходов. Но так работать в Олбани не привыкли. Тут распиливали бюджет втихую, откатывая и демократам, и республиканцам. Попытка открытого обсуждения провалилась. Оказалось, что Спитцер далеко не мастер политического маневра и компромисса. Его неумение слушать и соглашаться с другими людьми привело к небывалому: вместо того чтобы поддержать своего губернатора, демократы объединились с республиканцами против него. Лидером сопротивления стало опытный политик сенатор-республиканец Джо Бруно. Что делает Спитцер в такой ситуации? Только то, что умеет: объявляет Бруно войну. Этим никого больше не удивишь.

— Но, губернатор, здесь вам не Уолл-стрит, а вы у нас тут не шериф, — вкрадчиво отвечает Бруно разъяренному Спитцеру.

— А знаешь, кто я? — кричит тот, брызжа слюной в лицо сенатора. — Я, блядь, паровой каток! И я тебя раскатаю!

— Ну, это мы еще посмотрим...

Бруно достает носовой платок и стирает слюну губернатора со своего лица. Бывшему боксеру приходилось стирать с лица и не такое, но раскатать Джо мог далеко не каждый. Он и до Спитцера был под следствием по обвинению в коррупции, только дело закончилось ничем. Так что выдвинутое губернатором новое обвинение в использовании служебного вертолета в личных целях его не испугало. Лучше бы тот поинтересовался, куда и зачем летал Джо Бруно на служебном вертолете. А летал он на встречу с Хэнком Гринбергом.

Тучи сгушались над лысеющей головой сорокавосемилетнего Спитцера. Как выяснилось позднее, она была забита не только мыслями о борьбе за процветание штата. Странное дело, но, хорошо зная, как устанавливается слежка за другими, он не заметил такой слежки за собой, иначе не стал бы звонить в «Клуб императоров», да еще в разгар предвыборной борьбы, правда, шепотом и под чужим именем.

Вообще, с этим клиентом у «Клуба императоров» была морока с самого начала. Оплата услуг подобного сервиса производится заранее. Договорившись о свидании по телефону, джентльмены переводили деньги со своих кредитных карт на счет одной из нескольких подставных компаний. Спитцеру такой метод оплаты решительно не подходил. Из своего прокурорского опыта он знал, как просто отловить джентльмена, прослеживая платежи с его кредитной карты.

— Тогда пойдите в банк и переведите деньги оттуда, — предложила ему оператор «Клуба».

— Как вы не понимаете, я не могу пойти в банк, — прошептал в трубку незадачливый клиент.

Вот этого и вправду никто не понимал. Если все так сложно и опасно, не разумнее ли просто отказаться от затеи. Но голос разума главного прокурора штата, баллотирующегося на пост губернатора, заглушали другие голоса. Перевод денег

был осуществлен. Первая тысяча долларов легла в копилку «плохих дел» Спитцера. Так из шерифа Уолл-стрит он обратился в Клиента Номер Девять.

По всей видимости, опыт общения с девушкой из «Клуба» в отеле, расположенном неподалеку от его дома в Верхнем Ист-Сайде, произвел на Спитцера сильное впечатление. Иначе разве стал бы он рисковать снова и снова, уже будучи губернатором? Регулярность его походов на почту для отправки денежных переводов фиксировалась детективами.

Где-то в это же время на автоответчике Спитцера-старшего было оставлено угрожающее сообщение. Чей-то голос с интонацией, напоминающей сенатора Джо Бруно, обвинял отца губернатора в незаконном спонсировании предвыборной кампании сына. Несмотря на все старания, Элиоту так и не удалось вычислить звонившего. Особых оснований для беспокойства у Спитцеров не было, и они не опасались расследования, связанного с предвыборной кампанией. Зато о другом расследовании, начатом вскоре после первого похода Спитцера-младшего на свидание с девушкой из «Клуба», они еще ничего не знали. И пока новый губернатор, брызжа слюной в лица своих многочисленных противников, вел войну с коррупционерами, генеральный прокурор штата, сменивший его на этом посту, республиканец Гарсия начал расследование деятельности «Клуба императоров». Из всех клиентов этого сервиса его интересовал только Клиент Номер Девять. Телефоны Спитцера, включая мобильный, были поставлены на прослушку, зато дела Гринберга, Грассо и Лангона были закрыты за неизменением состава преступления.

А между тем в стране набирал обороты небывалый финансовый кризис. Еще каких-нибудь три месяца назад Уолл-стрит торжественно проводила 2007 год, принесший банкам невиданные доселе прибыли. Американская финансовая система казалась образцом надежности и незыблемости. Тревожные показатели рынка недвижимости, отчетливо проявившиеся к весне следующего года, еще не привели к панике инвесторов, но уже требовали неотложных мер.

— Значит, ты их опередишь, — Сильда подняла жалюзи на окнах спальни и впервые за все утро посмотрела в глаза Элиоту.

Двадцать один год назад на их свадьбе она дала клятву делить с ним радость и беду, богатство и бедность, болезни и здоровье. Что ж, настало время сдержать эту клятву.

— Так что, поняла и простила? — казалось, молча спрашивал ее фарфоровый ангел, примостившийся на тумбочке возле кровати.

— Еще не знаю, но кажется, смогу, — вздохнула Сильда Спитцер.

На пресс-конференции, состоявшейся двумя часами позже и показанной по национальному телевидению, губернатор Элиот Спитцер объявил о своей отставке. Не вдаваясь в подробности, он сообщил о том, что не оправдал доверие своей семьи и всех людей, голосовавших за него.

Рядом с ним с лицом пепельного цвета стояла Сильда. Отказавшись отвечать на вопросы, чета поспешно удалилась.

Конечно, это был шок. Сенсация. Взрыв бомбы. Для многих ньюйоркцев губернатор Спитцер был воплощением идеального политика с высокими моральными стандартами. Узнав о его отставке, Норин Харрингтон, та самая, которая несколько лет назад оставила на автоответчике генерального прокурора сообщение о биржевых махинациях с взаимными фондами, заметила с горечью: «Когда ты спасаешь вклады девяноста миллионов мелких инвесторов и разоблачаешь махинации кучки зарвавшихся миллиардеров, они обвиняют тебя в нелояльности. Когда ты

пытаться сломать систему, порождающую подобные махинации, они просто убивают тебя с пути».

Губернатором штата стал заместитель Спитцера чернокожий Дэвид Патерсон, первым делом покаявшийся в том, что в юности курил марихуану и изменял жене.

Однако падение Спитцера удручило далеко не всех. Говорят, что в офис Хэнка Гринберга было доставлено несколько бутылок шампанского Bollinger. Цена одной такой бутылки превосходила почасовой тариф даже самых высокооплачиваемых сотрудниц бывшего «Клуба императоров».

Повезло и малышке Эшли Дюпре. Крушение карьеры губернатора штата Нью-Йорк стало ее звездным часом. Именно она прослыла «девушкой Спитцера», поскольку другие ее коллеги по бизнесу предпочли остаться инкогнито. Фотографии Эшли в бикини заполнили первые страницы всех таблоидов. Но на интервью с Дианой Сойер^[6] она предстала в виде молоденькой студентки в скромном костюмчике с неярким макияжем на хорошеньком личике. Родители малышки не имели ни малейшего представления о том, на какие деньги живет их дочь.

— Что они сказали, когда узнали, что вы проститутка? — бесцеремонно осведомилась въедливая Диана.

— Но я не проститутка, мэм, — с тихим достоинством ответила Эшли, выпустив две слезинки из слегка подкрашенных глазок. — Я работала в эскорт-сервисе, а не на панели.

— А какая разница?

— Со мной было приятно проводить время, я приносила джентльменам радость во всех ее проявлениях. Вот и все.

— Чем же вы будете заниматься сейчас? — не унималась Сойер.

Проблем с дальнейшим трудоустройством у девушки не оказалось. В разгар скандала ее страницу в OpenSpase^[7] посетило более девяти миллионов человек. Получив сразу несколько предложений сняться обнаженной в популярных у джентльменов журналах, она заработала пару миллионов. Но самым замечательным было предложение газеты New York Post, пригласившей малышку Дюпре вести колонку «Спроси у Эшли». И поскольку спросить читателям было больше не у кого, тиражи газеты резко подскочили.

Не пропал и Спитцер. Против него не было выдвинуто никаких обвинений, а само расследование прекратилось, как только он подал в отставку. Вскоре всем стало не до секс-скандалов. Страна стремительно входила в сильнейший финансовый кризис.

(продолжение следует)

Примечания

[1] В российском законодательстве понятие взаимный фонд (mutual fund) не определено, однако существует брат-близнец — паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

[2] «Голдман Сакс» — крупнейший банк Уолл-стрит.

[3] Хедж-фонд обслуживает только профессиональных инвесторов с первоначальным взносом в пять миллионов долларов.

[4] Терминал — компьютер, транслирующий операции на бирже.

[5] Поздний трейдинг (late trading) — нелегальные сделки по покупке-продаже акций взаимных фондов после финального гонга (4 часа дня) по ценам уже прошедшего дня.

[6] Один из крупнейших банков Америки. Центральный офис расположен в городе Шарлотт, Северная Каролина.

[7] *Дотком* — от англ. *dotcom* или *.com*.

[8] «Меррил Линч» — еще один крупный банк Америки.

[9] *IPO* (Initial Public Offering) — первичное размещение акций на бирже.

[10] После краха Нью-Йоркской биржи в 1929 году были введены строгие законы, регулирующие деятельность банков во избежание финансовых кризисов в будущем. При Рейгане, провозгласившем дерегуляцию основой своей экономической политики, эти законы были отменены.

[11] *SEC* (Securities and Exchange Commission) — комиссия по ценным бумагам и биржам.

[12] *American International Group*, или Эй-Ай-Джи — Американская интернациональная группа.

[13] В пятой поправке к Конституции США, в частности, говорится, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, не должно принуждаться свидетельствовать против себя. Другими словами, Гринберг отказался от дачи показаний.

[14] Одиннадцатое сентября 2001 года — дата террористической атаки на небоскребы-близнецы в Нью-Йорке.

[15] Столица штата Нью-Йорк, где расположена резиденция губернатора и правительственные учреждения штата.

[16] Популярная ведущая телеканала ABC.

[17] Популярная социальная сеть в интернете.



Игорь Ефимов
ЗАКАТ АМЕРИКИ
Саркома благих намерений

(продолжение. Начало в №1/2015 и сл.)

14. СТРАХОВАЛЬЩИК

А между тем горело очень многое,
Но этого никто не замечал.

Новелла Матвеева

Насколько русский язык честнее в выборе слова для этого понятия, чем английский! Конечно же «страх» лежит в фундаменте данного института, а никакая не «уверенность» (insurance). Страх перед пожаром, перед наводнением, перед кораблекрушением и вообще – перед судьбой.

Статья в энциклопедии Британника относит рождение современного страхового бизнеса к середине 18 века.¹ Это будет справедливо, пока мы говорим о страховании чего-то материального: дома, корабля, урожая, товаров, машин. Но человек страшится угроз для души и тела ещё больше, чем утраты «земных сокровищ». И он пытался защищаться от этих страхов ещё во времена Древнего Египта.

«Высекается из камня священный жук или скарабей, на нём пишется магическая формула, начинающаяся знаменательными словами: “О моё сердце, не восстань на меня как свидетель!” Настолько могущественно это хитроумное изобретение, что, если положить его на грудь умершего под повязки мумии, то, когда грешная душа предстанет перед страшным Осирисом, укоряющий голос сердца будет безмолствовать и великий бог не увидит зла... Также жреческими писцами продаются всякому желающему свитки Книги мёртвых, содержащие, кроме всех магических формул, сцену суда и, в особенности, желательную оправдательную сентенцию, причём имя счастливого покупателя вписывается в свободные места, оставленные для этой цели на протяжении всего документа.»²

В христианскую эпоху покупка индульгенции или заупокойного молебна были по сути покупкой страхового полиса против осуждения на Страшном суде. А торговля лечебными свойствами мощей, икон, амулетов – предтечей медицинского страхования наших дней. В Византии 7-го века эти верования были так сильны, что прихожане соскабливали краску с икон в церквях, а когда император приказал перевесить иконы повыше, чтобы защитить их от вандализма, в стране началась вековая полоса страшных религиозных войн, вошедшая в историю под названием Иконоборчество.

После того как вера в науку потеснила веру в святых, в социальной жизни возникло пространство для возникновения *медицинского страхования*. А поскольку цена нашего здоровья может быть измерена только той суммой, которую мы готовы – часто из последних сил – платить за неё, медицинское страхование превратилось в безотказно доходный бизнес.

«Медицинское страхование в списке 52 самых прибыльных американских индустрий занимает 9-ое место. В 2006 году «Юнайтед Хелф Груп» заработала 4,16 миллиардов долларов, «Вел Пойнт» – 3,09, «Сигна» – 1,15. Основная часть дохода достаётся директорам. В 2004-2005 их средний заработок был от 40 до 60 миллионов в год. Ни в истории, ни в современном мире никому не удавалось заработать столько на здравоохранении».³

Пока американец здоров, он не вникает в расценки на медицинское обслуживание. Да, оно дорожает – печально. Да, хорошо бы иметь медицинскую страховку – но откуда взять денег на неё? Ты выплачиваешь долг за дом, за автомобиль, как-то выкраиваешь взносы на образование детей – всё уходит туда. Но потом врывается беда.

Нам она досталась в виде урагана, налетевшего на Нью-Йорк в декабре 1992. Улицы Манхэттена уподобились аэродинамическим трубам. С верхних этажей сыпались осколки выдавленных ветром окон. Моя жена Марина уже подходила к месту своей работы, когда очередной порыв практически оторвал её от тротуара и потом с силой швырнул обратно. Она ударилась о невысокую металлическую решётку, огораживавшую посаженное дерево.

Рентген показал перелом бедра. В такой ситуации ты не спрашиваешь, сколько будет стоить операция, не торгуешься. Доктор Вайнстин сделал очередное хирургическое чудо на следующий же день, вогнал в место перелома три металлические заклёпки, которые сидят там до сих пор. Через неделю Марина ужековыляла по дому на костылях, а через месяца начал возить её в автомобиле на работу, в редакцию радиостанции «Свобода».

В бухгалтерию больницы отправился с тяжёлым предчувствием. Когда мне показали счёт, я, видимо, побледнел и начал сползать по стене на пол.

Взволнованная сотрудница подбежала ко мне со стаканом воды.

– Что вы?! Зачем? Это же цифры не для вас, а для страховой кампании.

– У нас нет никакой страховки.

– Да? Но как же? Вы выглядите культурным человеком... Как же можно жить без медицинской страховки?

Действительно – как живут 40 миллионов американцев, не достигших ещё пенсионных 66 лет и не имеющих денег на медицинскую индульгенцию?

Спросите любого человека, который пролежал в больнице несколько дней: сколько это стоило? И девять из десяти не смогут ответить на этот вопрос. «Да-да, цены раздутые, мы знаем. Но у нас, слава Богу, есть страховка.»

В недорогом мотеле за ночь вы заплатите от 40 до 50. В гостинице в центре города – около ста и выше. Есть шикарные отели, помеченные в справочниках пятью звёздочками, – там подлетит и до 200-300. Есть, говорят какие-то невероятные дворцовые номера, с бассейнами, роялями, коврами из барсовых шкур – за них экстравагантные миллионеры выкладывают до двух тысяч.

Теперь приготовьтесь. Вдумайтесь в эти цифры. Марина вынуждена была провести в больнице после операции три дня, и мы получили счёт на 15 тысяч. Сюда не входила сама операция и медицинские процедуры – это отдельные счета, общей стоимостью около 6000. 5000 долларов в день – только за кровать в двухместной палате. Правда, над кроватью подвешен телевизор, а на столике есть телефон. Но и за телефонные звонки – отдельный счёт.

От полного разорения нас спасло тогда чудо. Ураган, обрушившийся на Нью-Йорк, был признан стихийным бедствием такого масштаба, что на помощь его жертвам было разрешено использовать средства специальной организации: Феде-

рального бюро чрезвычайных ситуаций – FEMA.⁴ Добрая ФИМА оплатила больничный счёт, а за операцию мы выплачивали по сотне в месяц несколько лет. Однако не следует забывать, что и ФИМА берёт свои деньги не из воздуха, а из бюджета. То есть это всё те же *наши* деньги, уплаченные государству в виде налогов.

Спрашивается: как в условиях нормальной рыночной конкуренции, в передовой индустриальной державе могла образоваться такая безумная, нелепая, грабительская цена?

Она оказалась возможной лишь потому, что здесь в рыночную экономику незаметно прокрался хитрый социалистический лис, над которым законы ценообразования не властны. Между врачом и пациентом сумел втиснуться посредник – государственный чиновник Медикера и Медикэйда, который расплачивается с врачом не из своего кармана.

Всё это началось примерно 50 лет назад, когда усевшийся в президентское кресло Линдон Джонсон, обуреваемый благими намерениями, обещал построить так называемое «Великое общество» (Great Society). В 1965 году он исполнил давнишнюю мечту демократов – подписал закон об учреждении Программ медицинской помощи престарелым, увечным и обездоленным (Medicare and Medicaid). Только отъявленный злодей мог бы возражать против такого гуманного и благородного акта!

Когда государство принимает на себя выполнение какой-то важной хозяйственной функции, изымая её из прерогативы рыночного регулирования, эта мера считается шагом в сторону социализма. Это слово американские законодатели произносят с презрением, они знают, что социализм опасен, неэффективен и не популярен в Америке. Чтобы убрать из нового закона неприятный социалистический привкус, мастера словесной виртуозности представили его как рыночное решение проблемы. Нет, мы не будем создавать государственную сеть больниц и клиник для бедных и престарелых. Ведь есть страховые кампании, продающие полисы на случай катастрофических заболеваний. Вот и мы добавим к ним гигантское страховое общество, которое будет получать деньги за счёт налогообложения и оплачивать медицинские счета больниц и врачей, берущих на себя лечение неимущих.

Как и следовало ожидать, этот рыночно-социалистический гибрид начал превращаться в ненасытного дракона уже с первых дней своего существования. За пять лет (1966-1971) цены на медицинское обслуживание возросли на 40%, а на пребывание в больнице – на 70%. До 1965 года Федеральное правительство тратило на медицинское обслуживание 4,8% бюджета или 5,2 миллиарда долларов, а в 1969 – уже вдвое больше. Всего за четверть века (с 1950 по 1977) государственные расходы на медицинское обслуживание возросли с 12 миллиардов до 160.⁵

Но государственные программы медицинской помощи были только началом. Всё же они потребовали введения нового налога, а это всегда вызывает сопротивление. Лисий социалистический ум продолжал искать новых лазеек к богатому рыночному курятнику. Вот например: кто будет лечить людей, не достигших ещё старости, продолжающих работать, но не имеющих денег на дорогое лечение? Опять вводить налог? Но избиратель может взбунтоваться. А почему бы не обязать предпринимателей покупать медицинскую страховку для своих служащих на свободном рынке? Предпринимателей никто жалеть не будет, пусть раскошелятся! А то, что они вынуждены будут из-за этого поднять цены на свои товары и проигрывать иностранным конкурентам, никто не заметит.

За прошедшие сорок лет стоимость медицинской страховки для служащих взлетела под небеса. Если предприниматель *обязан покупать*, страховые компании

могут диктовать ему какую угодно цену. В 2008 году, чтобы обеспечить медицинской страховкой работника и его семью, предприниматель должен был уплачивать 12 500 долларов, и эта сумма продолжает расти со скоростью 5% в год. Директор знаменитой цепи кофеен «Старбакс» объявил, что его компания тратит на медицинскую страховку сотрудников 200 миллионов долларов в год, и это больше, чем она тратит на закупку кофе.⁶

Тысячи людей попадают каждый год в автомобильные аварии, их привозят в больницы с различными травмами и ранениями. И среди этих пациентов непременно будут такие, у которых нет денег на оплату лечения. Кому же предъявить счёт? Государству? Штату? Опять новый налог? Нет, зачем. Мы выпустим закон, обязывающий каждого автомобилиста покупать страховку на лечение тех несчастных, которых злая судьба когда-нибудь бросит под колёса его автомобиля.

И самих врачей мы заставим покупать страховку против судебного иска за неправильное лечение.

И владельцев бизнесов заставим иметь страховку от несчастных случаев, которые могут случиться с их клиентами или посетителями.

Когда Марина, после падения, хромая, поднялась в свою редакцию, прибежала взволнованная администраторша и стала настойчиво расспрашивать её, где произошло несчастье: на улице или внутри здания. Марина честно сказала, что на улице. Потом оказалось, что, скажи она «в здании», радиостанция могла бы оплатить часть наших медицинских расходов, ибо у неё есть страховка от таких случаев.

Но у маленьких бизнесов таких резервов нет. За последние десятилетия тысячи вынуждены были закрыться, ибо не имели возможности платить неуправляемо растущие страховые взносы. А там, где закрываются мелкие, конкуренция ослабевает, и крупные могут гораздо быстрее повышать свои цены.

Все мы помним печальные картины жизни в пору «развитого социализма». Неубранные кочны капусты замёрзли в поле. Горы брёвен рассыпаются по берегам замёрзших рек. Грузовики, заполненные урожаем помидоров, истекают красным соком в очереди к маленькому консервному заводу. Гнилая картошка расплзается под ногой на бетонном полу овощехранилища. Добро гибнет, потому что оно – ничьё. Никому его не жалко. Никто не будет наказан. И всё будет идти одинаково из года в год.

В Америке такого быть не может, казалось нам. Здесь собственность уважают. Здесь правит не план, а свободный рынок. Если кто-то не умеет ценить плоды человеческого труда, рынок его отбросит, разорит. Если кто-то попытается слишком задрать цены на свой товар, найдётся другой производитель, который предложит такой же товар подешевле. Конкуренция! Вот верный страж, охраняющий нас от жадных грабителей. Недаром же здесь приняты антitrustовские законы, направленные против возникновения монополий. Недаром открыт ввоз иностранных товаров, так что мы можем покупать недорогие бразильские туфли, корейские телевизоры, японские автомобили, тайваньские свитера.

Да, конкуренция действует повсюду. Но только не в сфере страхового бизнеса. От иностранной конкуренции он защищён законами, запрещающими иностранным страховым компаниям оперировать в Америке. От внутренней конкуренции страховые компании защищены законом, запрещающим другим финансовым организациям (например, банкам) продавать какие бы то ни было виды страховок.⁷ И самое главное: страховой бизнес изъят из-под действия антitrustовского законодательства.⁸ По идее расценки должны регулироваться государственным учреждением (Insurance Services Office), но как можно вкручивать мозги государствен-

ному чиновнику, помнит любой советский экономист, выбивавший в своём министерстве нужные цифры плана, «расценки» и прочие «показатели».

Усилиями мощного лобби в Вашингтоне страховой бизнес добился принятия законов, позволяющих ему диктовать свою волю потребителю. Если ты не купил страховку, ты не можешь вести своё дело, не можешь иметь медицинскую практику, не можешь даже выехать в автомобиле на улицу. Когда человек поставлен в безвыходное положение, с него можно требовать любую цену. В осаждённом городе за буханку хлеба отдадут серебряное блюдо.

Страховой бизнес в Америке давно приобрёл главное свойство социалистического предприятия: полную свободу от требований рынка. Однако, при этом, он не утратил главное свойство предприятия рыночного: стремления получать максимальный доход. Поэтому он и превратился в опасную опухоль, высасывающую здоровые соки из рыночного организма страны.

Опасность раковых заболеваний состоит в том, что организм человека не опознаёт вирус рака как нечто чужеродное, не вступает с ним в борьбу, ибо вирус научился «притворяться своим».

Опасность сегодняшнего страхового бизнеса в том, что американская рыночная структура не опознаёт его антирыночной сути, не имеет аппарата ограничения его болезненного роста и пребывает в иллюзии, что это нормальная ветвь экономической деятельности государства.

К сожалению, такое положение оказывается выгодным и политическим, и экономическим лидерам страны. Страховые компании в большинстве своём принадлежат различным финансовым гигантам, являясь наиболее доходными звеньями в их структурах. Штатные комиссии, которым надлежит регулировать страховой бизнес, сплошь и рядом состоят из людей, которые владеют акциями страховых компаний или занимали в них высокие посты и часто возвращаются обратно на свои доходные должности.⁹ Политики же получают возможность уворачиваться от реального решения социально-экономических проблем, подсовывая страховой бизнес как якобы рыночный выход из положения.

Исследователь Рэй Борхис пишет, что федеральное правительство, имеющее тенденцию регулировать все отрасли экономики, не провело ни одного закона, регулирующего поведение страховых компаний. «В 1945 году, под давлением страхового лобби и взяток, именуемых “взносы на предвыборную кампанию”, Конгресс провёл закон, запрещающий федеральному правительству принимать какие бы то ни было законы, защищающие потребителя от жульничества страховальщиков... В результате страховые компании от Мэйна до Калифорнии могут включать в полисы ложные обещания, произвольно отказывать в выплате компенсаций и аннулировать договоры без объяснений.»¹⁰

Именно это случилось со мной, когда я попал в автомобильную аварию. Покупая мой «сэйбел», я долго торговался с хитрым продавцом, и он, в конце концов, соблазнил меня существенной добавкой: включил в сделку, в качестве бонуса, страховой полис компании «Лексингтон» стоимостью в тысячу долларов. В случае полного разрушения автомобиля эта компания обязывалась покрыть сумму моего оставшегося долга финансовому гиганту «Форд Мотор Кредит». Когда грянуло несчастье, я позвонил в «Лексингтон», находившийся в далёком Массачусетсе, и потребовал исполнить обязательство.

– Нет, – заявили они, – эта страховка действует только в случае, если у вас куплена страховка против коллизии.

– На чорта вы были бы мне нужны тогда?! – заорал я. – Продавец, подсовывая мне ваш полис, заверил, что я именно смогу сэкономить, не покупая страховку против коллизий.

– Ничем не могу помочь – таковы наши правила.

Как и следовало ожидать, к золотой реке, текущей в сейфы страховых компаний, стали слетаться любители лёгкой наживы. Число преступлений, совершаемых ради получения страховых денег, невозможно оценить точно, потому что большинство их остаётся нераскрытыми. Крупные компании имеют своих контролёров, расследующих подозрительные несчастные случаи или беспричинные пожары. Но даже если им удаётся собрать улики против нарушителей, компании часто предпочитают уплатить жуликам, чем затевать дорогостоящий процесс против них.

Одна из наиболее распространённых схем: инсценировка автомобильной аварии. Она тщательно планируется и требует участия не только лихих водителей, но также врача и адвоката. Один автомобиль называется на жаргоне swoor – я буду называть его «блесна». Им управляет опытный водитель, именуемый на их слэнге «койот». Другой автомобиль называется squat – что-то вроде «подставы». В него набивается полдюжины бедняков, которые счастливы получить несколько сотен долларов за участие в афере.

Обе машины выезжают на шоссе. «Койот» выбирает какой-нибудь большой грузовик, наврядка имеющий все необходимые страховки, и пристраивается перед ним. Вскоре «подстава» втискивается между «блесной» и грузовиком. Теперь всё готово. В какой-то момент «блесна» резко тормозит, «подстава» тоже тормозит, и грузовик невольно поддаёт её сзади. «Койот» тут же врывает скорость и исчезает с места происшествия. Приехавшие полицейские фиксируют аварию по вине грузовика. Теперь его страховка должна покрыть медицинские расходы всех «пострадавших» в подставе.¹¹

Дальше за дело берутся врач и адвокат, участвующие в схеме. Врач «находит» у пассажиров «подставы» самые разнообразные травмы и назначает «лечение» – чем дороже, тем лучше. Чикагские журналисты, обследовавшие коммунальную больницу в Эванстоне, были крайне удивлены, не обнаружив там докторов, а только несколько медсестёр, признавшихся им, что почти все пациенты там в лечении не нуждаются, но нуждаются в справке, подтверждающей их пребывание в больнице.¹²

Роль адвоката – оформить необходимые документы. Дело это такое доходное, что преступные группы возникают по всей стране. В Калифорнии адвокат Гэри Миллер, вступив в преступный сговор, увеличил свои заработки с 347 тысяч в 1989 году до полутора миллиона в 1991. Но ему не повезло: один из участников подстроенной аварии погиб, и тогда началось настоящее расследование, которое привело аферистов на скамью подсудимых.¹³

Расследование ФБР показало, что преступные группировки порой насчитывают и 75, и 100 человек. Они организованы в полувоенные подразделения, проводят тренировки и семинары, имеют отпечатанные руководства к тому, как устраивать правдоподобные аварии. Работают посменно, выезжают на отведённые им территории. В Калифорнии даже была обнаружена группа выходцев с Ближнего Востока со студенческими визами, которые устраивали аварии, чтобы пересылать полученные деньги Организации освобождения Палестины.¹⁴

Другой способ лёгкого заработка: застраховаться от увечья и нанести его самому себе. Бедняк, не видящий никакого просвета в жизни, может отрубить себе палец и получить неслыханный куш в 10 тысяч долларов. Если простреливают себе руку, то, как правило, левую – всё же не так жалко.¹⁵

В телевизионных передачах «Из зала суда» очень часто рассказывается об убийствах, совершённых ради получения страховой премии. Но нужно помнить, что на свет выплывают только те убийства, которые были раскрыты. Сколько раз смерть застрахованного будет объявлена результатом несчастного случая, болезни или самоубийства, подсчитать невозможно.

Страхование жизни до сих пор остаётся актом добровольным, поэтому компании тратят много денег на рекламу. Понятно, когда кормилец семьи покупает полис на крупную сумму, чтобы близкие не остались без средств, если судьба внезапно унесёт его в мир иной. Но что имеют в виду родители, страхующие жизнь своего ребёнка? Получить финансовое утешение в случае его внезапной смерти?

В судебной хронике иногда мелькают эти страшные истории: отец или мать намеренно причинили смерть своему малолетнему отпрыску ради получения страховой компенсации. Опять же, это только те случаи, которые удалось раскрыть. А прервать жизнь двух-трёхлетнего, не оставив никаких следов, так легко! Нравственное чувство вопиёт против этого вида страхования. Но, видимо, голос лоббистов страхового бизнеса звучит громче, потому что я не слышал о законодательных попытках запретить подобную практику.

На протяжении мировой истории сбор налогов всегда был делом нелёгким. Нечестные чиновники присваивали себе солидную часть собираемого, народ уклонялся от уплаты как только мог, а если становилось невмоготу, начинал бунтовать против верховной власти. И для преодоления этих трудностей многие владыки пытались использовать так называемую систему «откупов». Зловещая фигура откупщика проходит по страницам истории многих стран. Он уплачивал в государственную казну требуемую сумму, а государство отдавало ему право собирать с подданных тот или иной налог. И уж он собирал до последнего динара и намного больше! Ибо собирал теперь в собственный карман. Защиты от него не было, и жаловаться на него никто не мог.

Примерно такую же роль выполняет страховый бизнес в сегодняшней Америке. Ибо все формы обязательного страхования – это скрытое налогообложение, которое политики не смогли бы провести обычным законодательным путём. Когда налогообложение оформлено в виде покупки страхового полиса, мы остаёмся при иллюзии, что происходит обычная купля-продажа на свободном рынке.

Нас обмануть нетрудно. Но не наш кошелёк. Он делается тоньше и тоньше с каждым годом. Замечено, что по уровню сбережений на человека Америка скатывается всё дальше и дальше вниз. Пятьдесят лет назад, американец, имевший работу, мог содержать семью в приличном достатке. Сегодня и двое работающих должны трудиться очень напряжённо, чтобы сводить концы с концами.

В страховом бизнесе занято около полутора миллионов человек. То есть, вдобавок к дорогому медицинскому обслуживанию, мы должны содержать на высоких окладах огромную толпу, не производящую никакой полезной работы. А нельзя ли обойтись вообще без них? Чтобы мы ходили к врачу и платили ему из рук в руки, как это делалось до 1960 года? Или, чтобы ему платили местные власти, как они платят школьным учителям?

Такая идея даже не обсуждается. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь из политиков посмел выступить с лозунгом:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ДА!

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ – НЕТ!

Впрочем, однажды в «Нью-Йорк Таймс» я прочёл письмо врача, который не побоялся сказать, что страховка нужна каждому американцу только одна: от ката-

строфических болезней. Такая страховка стоила бы очень недорого, ибо болезни, требующие долгой госпитализации, случаются не часто. Не знаю, что стало с этим врачом, но не удивлюсь, если окажется, что у него были трудности с возобновлением страховки против исков за неправильное лечение.

Сегодня, вместо разумных реформ, по стране с фанфарами катится внедрение «Обама-карь». Суть её: заставить и беднейшую часть населения отдавать последние деньги в бездонные сейфы страховых компаний. Не купишь страховку – плати штраф. Не заплатишь штраф – Налоговое управление (IRS) возбудит против тебя дело.

Американская революция против господства Британской короны началась с лозунга: «Нет представительства – не будет налогов!» («No taxation without representation!»)

Революция американского гражданина против засилья страхового бизнеса должна начаться с осознания нами простой истины: «Обязательная страховка – это налог, размер которого назначается не избранными нами представителями, а жадными коммерсантами». («Mandatory insurance is taxation without representation.»)

Но достаточно ли сильна жажда свободы и жажда справедливости в душах сегодняшних американцев, чтобы решиться на такой бунт?

Не похоже.

Примечания:

1. Encyclopedia Britannica, 1988, v. 21, p. 600.
2. Breasted, James Henry. *The History of Egypt* (New York: Bantam Books, 1933), p. 249.
3. Weil, Andrew. *Why Your Health Matters. A Vision of Medicine That Can Transform Our Future* (New York: Hudson Street Press, 2009), pp. 73-74.
4. Federal Emergency Management Agency.
5. *National Health Insurance. Conflicting Goals and Policy Choices*. Washington, 1980, pp. 8-10.
6. Weil, op. cit., p. 22.
7. Tobias, Andrew. *The Invisible Bankers. Everything the Insurance Industry Never Wanted You to Know* (New York: Simon & Schuster, 1982), p. 273.
8. Nader, Ralph & Smith, Wesley. *Winning the Insurance Game* (New York: Knightsbridge Publishers, 1990), p. 121.
9. Tobias, op. cit., pp. 270-271.
10. Bourhis, Ray. *Insult to Injury. Insurance, Fraud, and the Big Business of Bad Faith* (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2005), p. 20.
11. Domstein, Ken. *Accidentally, on Purpose: the Making of a Personal Injury Underworld in America* (New York: St. Martin Press, 1996), p. 3.
12. Ibid., p. 273.
13. Ibid., p. 6.
14. Ibid., pp. 296, 291.
15. Ibid., p. 265.



Журнал «Семь искусств» № 1 (70) /2016 — Ганновер:
Семь искусств. 2020. — 370 с., 24,5 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка Марины Жуковой



Семь искусств
Ганновер 2020

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"



9 781716 933547